







## Редакционная коллегия:

М. П. Алексеев,  
И. Л. Андроников,  
Д. С. Данин,  
П. Л. Капица,  
Ю. И. Селезнев,  
С. Н. Семанов (редактор),  
А. А. Сидоров,  
К. М. Симонов,  
В. С. Хелемендик.

## Биографии.

## Статьи.

## Портреты

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| В. Хелемендик.   | У истоков судьбы . . . . .   | 5   |
| В. Трухановский. | Адмирал Нельсон (Черты портрета флотоводца, политика, человека) . . . . .        | 13  |
| В. И. Кардашов.  | «Чертова дюжина» . . . . .   | 59  |
| А. Бурмистров.   | Петербург в романе «Преступление и наказание» . . .                              | 71  |
| С. Г. Семенова.  | Николай Федорович Федоров (Жизнь и учение) . . .                                 | 87  |
| С. Н. Семанов.   | Григорий Мелехов (Опыт биографии героя романа М. Шолохова «Тихий Дон») . . . . . | 107 |

## Поиски.

## Находки.

## Гипотезы

|               |  |     |
|---------------|--|-----|
| Н. Шабаньянц. | Академик П. З. Захаров, художник «из чеченцев» . . | 131 |
| Ю. Лощиц.     | О сивиллах, философах и древнерусских книжниках .  | 139 |

Мастера  
биографического  
жанра

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| Эйнгард. | Жизнь Карла Великого (Вступительная статья, примечания и перевод с латинского А. П. Левандовского) . | 153 |
|----------|--|-----|



Историко-  
биографический  
альманах серии  
«Жизнь  
замечательных  
людей»  
Том одиннадцатый

Издательство  
ЦК ВЛКСМ  
«Молодая гвардия»  
Москва  
1977

Макет и оформление Р. Тагировой

Дневники.  
Воспоминания

- Джон Фолкнер. Мой брат Билл (Сокращенный перевод с английского  
Е. Егорьевой) . . . . . 171
- Надежда Павлович. Воспоминания об Александре Блоке . . . . . 219

Письма.  
Документы

- О. Лежава. «Не дам злорадствовать врагу» (Из семейной перепис-  
ки М. С. Ольминского) . . . . . 255
- Валентин Ляшенко. Руку, небо! . . . . . 279

Исторические  
очерки

- Р. Г. Скрынников. Бегство Курбского . . . . . 293
- Т. А. Павлова. Кромвель и его наследник . . . . . 303
- В. Дуров. Из истории отечественных орденов и медалей . . . . . 321

Смесь

- Г. Назарова. «Парад на Марсовом поле» Г. Г. Чернецова (Эскизы и  
этюды к картине) . . . . . 329
- Юрий Давыдов. «Никто и никогда не узнает наших имен» . . . . . 335
- Юрий Давыдов. «Темна вода во облацех» . . . . . 343
- Н. А. Троицкий. Эпизод из биографии М. Н. Ермоловой . . . . . 349
- С. М. Яковлев. Отец «Святогора» . . . . . 353
- С. Тюляев. Город Победы — Виджайянагар . . . . . 363







Многие удивились, когда Собрание сочинений Всеволода Витальевича Вишневого вышло в пяти толстых томах. Кроме пьес и рассказов, в него вошли: роман-эпопея «Война», который писался на протяжении десяти лет, но о котором автор почти не упоминал при жизни и не печатал из него отрывков — считал незаконченным; «Дневники военных лет», публицистические выступления в печати и на радио (да и то незначительная часть), переписка, воспоминания. Понадобился и дополнительный, шестой том, чтобы полнее отразить творчество писателя.

«Это — новый Вишневский. Мы его таким не знали», — сказал один маститый прозаик, прочитав Собрание сочинений. Теперь во весь рост предстал перед читателем художник, жизнь которого, говоря словами Белинского, «есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни».

А в рецензии Александра Макарова на рукопись шестого тома сочинений Вишневого эта мысль звучит так: «...он был певцом своей кипучей природы, своего неукротимого характера бойца, созданного духом революции. Помимо созданных им в драматургии образов солдат и матросов, им создан еще один образ героя нашего времени — образ самого Всеволода Вишневого... Человека большой судьбы, целеустремленного, непримиримого, ищущего, мучающегося, не уклоняющегося от ударов, а сознательно ввязывающегося в идейную драку, чтобы отстоять свое credo... Возможно, когда-нибудь литературная критика введет этот образ в обиход, как литературный образ современного положительного героя»<sup>1</sup>.

Принципиальная, перспективная мысль! Думается, что в этой связи представляют интерес малоисследованные факты жизненного и творческого пути Вс. Вишневого, в частности, его первые шаги на журналистской ниве.

# 1

1919-й год... Темная украинская ночь. На площадке бронепоезда «Грозный», за невысокими железными бортами два пулемета. Под шинелями спят бойцы. На вахте один — в бескозырке, на ремне — гранаты и револьвер. Напряженно вглядывается в даль — все тихо, спокойно. Правда, порой чудится, будто на едва заметной ленте дороги ползут, подкрадываются какие-то тени, вот они уже близко, рядом...

Обычная история: за полночь, когда предательский сон обволакивает незаметно,

## В. Хелемендик

## У ИСТОКОВ СУДЬБЫ

исподтишка. Часовой закурил, привычно пряча огонек самокрутки за щиток пулемета.

Старый «максим» тульского завода... Любит Всеволод свой пулемет. Командир бронепоезда Закревский даже посмеивается над тем, что он чересчур часто разряжает пулемет, протирает отдельные части, осматривает приемник, вытирает щеточкой грязь, вновь заряжает...

Вообще-то Вишневский давно питает слабость к оружию. Еще в первую мировую войну 14-летний доброволец-гимназист — на удивление бывалым солдатам — собирает дистанционные трубки от снарядов, пытаюсь по ним определить расстояние до немецких батарей.

В гражданскую Вишневский стал пулеметчиком. В восемнадцатом в Москве, на Поварской улице, дом восемь, он косил (тогда у него был «гочикс») засевших там анархистов во главе с белогвардейскими офицерами-инструкторами. Летом того же года Вишневский меткой стрельбой из пулемета буквально выручил корабль Волжской флотилии, отразив атаку вражеского судна, когда артиллерия — были израсходованы все снаряды — смолкла. А во время штурма Казани, идя в первой цепи атакующих матросов-десантников, Всеволод огнем пулемета рассеял прислугу батарей тяжелых орудий...

И сейчас, служа на бронепоезде, команда которого была сформирована из матросов Волжской флотилии, Вишневский сражался на Украине: при взятии Харькова и Лозовой, Екатеринослава и Синельникова, во время дерзкого штурма Мелитополя и ликвидации петлюровского прорыва под Киевом — везде находилась «работа»...

Внезапно грянули выстрелы. Всеволод пригнулся и дал длинную ответную очередь в темное, теперь ожившее смертоносное пространство.

В считанные секунды команда бронепоезда заняла боевые места, теперь можно

Вс. Вишневский.





Вс. Вишневский после ранения.

было перезарядить пулемет. И вдруг острая боль обожгла щеку. Сделав наскоро перевязку, Вишневский продолжал вести огонь до тех пор, пока враги не отступили.

Так закончился еще один бой. Их будет еще немало впереди, но этот повернул фронтовую судьбу Всеволода в другое русло. Рана оказалась рваной,гноилась, и вот что произошло:

«В вагон политотдела Заднепровской бригады бронепоездов ввалились матросы, занимая скамьи. Собрание...

— На повестке — организация Особого отдела. Районы бандитские — бьют нас тут со всех румбов. Человек оправиться выйдет, а его в расход... Поезда под откос пускают. Приходится подумать...

Секретарь ячейки встал:

— Тут одного ранило. В строю ему трудно. Пока пусть в Особый идет. Володька, встань.

Раненый встал и глянул одним глазом из-под громадного кома грязной марли, опутывавшей распухшее лицо.

Секретарь продолжал:

— Еще кандидатура Петра Попова. Они с одного корабля, с «Вани-коммуниста». Попов, встань.

Человек встал.

Раздался голос:

— Попов, у тебя какая специальность?

— Машинист.

— Вот и верти, вали.

Секретарь докладывал:

— Вот, товарищи, им все и поручим.

— А инструкции какие?

— Какие инструкции? Чудак! Доглядай да поспевай — вот и все...»<sup>2</sup>

Так пулеметчик Вишневский после ранения становится чекистом. Он получает мандат за № 2050, который дает «право обыска и ареста всех подозрительных лиц» и по которому «все гражданские и военные учреждения на территории УССР и РСФСР обязаны тов. Вишневскому, помначальника контрразведки, оказывать полное содействие»<sup>3</sup>.

Десятки, сотни встреч с людьми — военными и штатскими, поездки по стране, охваченной гражданской войной. Попробуй разберись, кто свой, а кто чужой, враг. И Вишневский пристально всматривается в лица, фиксирует, обдумывает, взвешивает поступки людей. Словом, старается «доглядывать да поспевать»...

«Однажды нам сказали, что появился какой-то подозрительный человек, — вспомнил И. Д. Папанин. — Это был на вид крестьянин в лаптях, с мешком, засаленный, обросший.

Вишневский потребовал, чтобы он разделся, стали спрашивать у него то, что нужно, а он начал путать. Вишневский предложил распороть всю его одежду. И представьте себе, что у него нашли мандат — три сантиметра шириной и пятнадцать сантиметров длиной — уполномоченного штаба Деникина...»<sup>4</sup>

Да, действительно, Вишневский мог «разгадывать» людей по тому, как они ведут себя в той или иной ситуации; умел «разговорить», используя свою феноменальную память, особенно цепкую на все, что касалось военных дел.

Как-то привели на допрос матроса: ни за что ни про что избил старуху, которая добиралась из Мелитополя к себе домой, в село. Непонятный, дикий даже по тем временам случай. Когда задержали — просил прощенья, плакал.

Допрос прошел стереотипно, ничего подозрительного. Ну что ж, бывает, иногда человек совершает необъяснимое. Облегченно вздохнув, матрос уже собрался уйти на все четыре стороны. Но тут Вишневский, стремительно шагнув к нему и глядя прямо в глаза, вдруг спросил:

— Говорят, ты плавал?

Матрос утвердительно кивнул, назвал корабль.

— Какие на нем орудия?

— Шестидюймовые...

«Неточно», — отметил про себя Вишневский (когда-то он был на этом судне в



Кронштадте) и взял матроса за ворот форменки:

— Как это называется?

— Сорочка...

Раз форменка стала сорочкой, значит, дело ясное. Поговорили «по душам», и оказалось, что «матрос» — член группы диверсантов, окруженных в Ростове и переброшенных сюда, в Таврию, чтобы проникнуть в ряды Красной Армии. Телеграфист немедленно отстучал: задерживать всех матросов, одетых как этот (шинель на нем была нерусского флотского образца). Белогвардейский агент раскрыл шифр, явки, пароли...

В жестоких схватках с врагами революции, в новых боях за Советскую власть выковывался характер Вишневого, крепла самозабвенная готовность к защите завоеваний Октября. За героизм и мужество он был награжден орденом Красного Знамени.

На полях сражений гражданской войны пробуждается расцветший позже так ярко и самобытно литературный талант, накапливается громадный жизненный опыт. Не случайно в предисловии к «Первой Конной» С. М. Буденный подчеркнул: «Без выдумки, без прикрас, без ложного пафоса, без бабелевского «обозного» вдохновения боец рассказал о бойцах, герой о героях, конармеец о конармейцах. Воспитанный Конармией, Вишневский говорит ее словами, мыслит ее мыслями. Он берет материал от самой жизни...»<sup>5</sup>

Да и период работы в Особом отделе нашел отражение в творчестве драматурга. Так, в образе матроса-чекиста Шибаяева из пьесы «Незабываемый 1919-й...» явственно угадываются некоторые черты Вишневого и даже конкретные факты из его жизни. А в спектакле Малого театра эта автобиографичность совершенно неожиданно обрела и сценическое воплощение. Игорь Ильинский (исполнитель роли Шибаяева) взял для образа «и матросскую развалочку, неторопливую, исполненную флотского достоинства, какой хаживал Всеволод, — и его же внезапный, напористый, стремительный, чуть ли не маршевый шаг. И насмешливую, презрительно-новатую, сквозь зубы интонацию, такая слышалась у Вишневого, если сталкивался он с антипатичными ему людьми, и — тоже сквозь зубы, но уже рвущуюся страсть, клочковатую, патетическую — когда Вишневский убеждает, зовет...»<sup>6</sup>.

## 2

С Красной площади транслировалась радиопередача о демонстрации, посвященной двадцатилетию Октябрьской революции. Прозвучали в эфире поздравления крейсера «Аврора», очерк о пограничнике Карацупе, приветствие Пролетарской дивизии... Все это отчетливо слышали они, четверо

зимовщиков на дрейфующей льдине, в палатке, над которой реет советский флаг. И вдруг — такой поразительно знакомый голос: «Алло, товарищи Папанин, Кренкель, Шишов и Федоров! Слушайте, говорит Москва! Здравствуй, родной, дорогой Иван Дмитриевич! Темно у тебя сейчас на льдине. Течение и ветер несут вас в пролив между Гренландией и Шпицбергом. Вся страна знает вашу жизнь и про вашу палатку знает...»<sup>7</sup>

Так ведущий радиорепортаж Всеволод Вишневский поздравил полярников и своего друга с праздником.

А впервые будущий писатель и отважный покоритель Северного полюса встретился летом 1919 года, когда в бригаду бронепоездов пришел матрос-слесарь с «Севастополя» Папанин. Вместе воевали, затем на время потеряли друг друга из виду. А вновь свели их фронтовые дороги уже в 1920 году.

Вишневский после тифа в поисках своей части добрался до Новороссийска. Заглянул в порт и столкнулся с Папаниным. Обрадовались оба.

— Видишь посудину? — Папанин показал на катер у причала.

— Как не видеть — обычный «извозчик», — ответил Вишневский, глядя на катерок, предназначенный для доставки команды, почты с линкора на берег и обратно.

— Ну так вот. Есть дело, — решительно сказал Папанин и открыл секрет: создается ударная группа моряков для десанта во врагелевский Крым и развертывания там подпольной работы. Это было важно тем более, что белогвардейские войска грозили вылиться из «крымской бутылки», как тогда говорили, и нанести удар с юга.

Предстояло прорваться сквозь многочисленные дозоры вражеских судов, блокирующих Новороссийский порт.

Не было морской карты, одна сухопутная. Папанин пошутил:

— Спасибо и на этом, тут море хоть приблизительно нарисовано синей краской, ну а дальше уж как-нибудь разберемся...

Вышли в море. Начал разыгрываться шторм. А из Керченского пролива показался вражеский эсминец. Какое-то время он шел, казалось, параллельным курсом, но затем стал приближаться. Моряки переглянулись — гибель близка. Позже Вишневский так передаст драматизм ситуации: «Многим, вероятно, знакомо то ощущение, которое испытывается при виде наведенного на вас револьвера. Может быть, и виду не показываешь, что боишься, а внутри жуть холодная копошится...»<sup>8</sup>

Что делать? При подходе противника попытаться пойти на abordаж и затем —



врукопашную? Или притвориться беглецами из Советской России, а когда примут на борт, пустить в ход ручные гранаты и маузеры?

— Поднять флаг — пускай видят, — скомандовал Папанин.

Взвился, затрепетал на ветру красный флаг. Минуты вперед! Катер ринулся в атаку. Минута, другая — и о чудо! — сильнее задымили трубы, эсминец показывает корму. Оторопели от неожиданности на катере, но продолжают идти вслед.

Только в ноябре захваченные в плен белогвардейские моряки прояснили картину: «Мы подверглись такой торпедной атаке, что с трудом ушли». Основания для такой ошибки были — революционный флот располагал несколькими трофейными торпедными катерами.

Не однажды командир катера Иван Папанин и его помощник по политической части Вишневский совершали смелые рейсы в Черном море. (С одним из десантов Вишневский прошел с боями весь Южный берег, участвовал в освобождении Алушты, в горном переходе навстречу 51-й «огненной» бригаде Блюхера.)

Тогда началась крепкая, мужская дружба. Всплеск даже из осажденного Ленинграда Вишневский посылал Папанину письма и получал ответные. Между прочим, и в переписке, и в разговорах при встречах сохранились обращения молодости: «Ванечка», «Володечка»<sup>9</sup>. Подобная несколько шутливая и в то же время трогательная форма общения широко бытовала в матросской среде в годы гражданской войны. Имя «Всеволод» непривычно звучало для солдат и матросов, и естественно было им перейти на уменьшительное «Володя», «Володечка», а не «Волечка», как называли его родные.

### 3

В газетном архиве Ленинской библиотеки хранятся номера газеты «Красное Черноморье» (орган Новороссийского окружного комитета РКП(б) и исполкома Советов рабочих и крестьянских депутатов). Желтый и серый, порою почти землистый цвет бумаги, сплошь и рядом — слепые отиски, масса корректорских ошибок и опечаток. Цена одного номера баснословная — 1200 рублей (тогда это никого не удивляло). Правда, на Серебряковской улице, 31 с девяти утра и до девяти вечера открыт «зал радио и газет Чер-Роста», где плата за вход — 500 рублей, с членов профсоюза — вдвое меньше, а красноармейцы и матросы могут проходить бесплатно...

Всеволод частенько бывал здесь, хотя в политотделе у дежурного всегда имелся

свежий номер газеты. Просто Вишневского тянуло к людям. Слушать их, самому ввязываться в разговоры, читать и обсуждать статьи.

В этот день в «радиогазетном» зале было относительное затишье. Только несколько моряков бегло просматривало страницы местной газеты: «Опять ничего о флоте».

И тут Вишневского словно осенило. Ведь и сам он не раз возмущался тем же. Человек импульсивный, быстро принимающий решения, уже спустя четверть часа он ворвался в редакцию «Красного Черноморья» и выпалил: «Что вы тут ерундите? Почему вы пишете о том, о сем, а моряками, которые сейчас столько делают, не интересуетесь?!»

Редактор — молодой, но уже почти седой мужчина — принял экспансивного матроса спокойно, и вскоре они уже мирно беседовали. Так состоялось знакомство Всеволода Вишневского и Федора Гладкова — именно он редактировал тогда «Красное Черноморье»<sup>10</sup>. В заключение Гладков сказал: «Что ж, пишите, редактируйте «Страничку моряка».

Это была первая журналистская работа Вишневского. Правда, если применить современную терминологию, следует уточнить: на общественных началах. Ведь в это же время он участвует в борьбе с контрреволюционными бандами на Кавказе и Черноморском побережье, делает доклады на политические темы, организует первые красноармейские спектакли для жителей кубанских станиц. Его избирают в Новороссийский исполнительный комитет рабочих и солдатских депутатов, поручают ответственные задания.

«Восемнадцать лет ходом вещей я был двинут на трибуну», — сказал как-то о себе Всеволод Вишневский. Выступал он перед солдатами, матросами, крестьянами. И речи его были понятны всем. Короткие, ясные по смыслу, рубленые фразы, но в них уже чувствуется темперамент оратора. Такие же фразы ложатся на бумагу, на страницы дневника...

Совсем не случаен, скорее символичен тот факт, что Вишневский выступает инициатором создания первых комсомольских ячеек. Едва перебравшись с Волги на Украину, он пишет обращение «К молодежи» — немного наивное, но чистое, страстное:

«Наконец-то мы освободились от немецко-гайдамацкого ига. Мы приветствуем в нашем городе рабоче-крестьянскую власть, которая зовет нас к строительству новой жизни! Помните! Будущее в руках современной молодежи, и наш долг во имя нашего светлого будущего принять участие в строительстве новой жизни на основе коммунизма, который приведет человечество к светлому счастью, который ведет к тру-





Вс. Вишневский — пулеметчик.

довой пролетарской коммуне, где нет богатых и нет бедняков.

Я призываю вас к организации в стройные ряды юных коммунаров, в ряды Коммунистического союза молодежи...»<sup>11</sup> И подписывает: «Организатор Вишневский».

4

В архиве В. В. Вишневского есть письмо от 25 мая 1921 года за подписью секретаря Новороссийского окружного РКП(б) Ладохи с предложением выступить на митинге-концерте в театре имени В. И. Ленина и написать статью:

«Товарищу Вишневскому.

Агитационно-пропагандистский отдел парткома предлагает Вам во исполнение постановления парткома от 19 мая с. г. написать статью о борьбе с бело-зелеными под заголовком «Смерть бело-зеленым бандитам!».

Размер статьи — 60—100 строк печатных (примерно полторы-две четвертушки, переписанных на машинке). Означенную статью представить в агитпроп не позже 30 мая с. г. Никакие отговорки неумением писать, занятостью и т. д. приниматься во внимание не будут.

Работа должна быть выполнена точно и быстро...»<sup>12</sup>

Здесь же рукою Вишневского, видимо, спустя много лет сделана приписка: «Начало моей практической журналистской работы — 1921 год».

Удивителен для нас сегодня категорический тон письма, не правда ли? Объясняется он исключительно созвучием, соответствием духу времени. А может, тем, что другие очень уж неохотно брались за перо, и Вишневский попал, как говорится, под общую грешенку? Или, несмотря на то, что на его счету уже были публикации в газете, по мнению секретаря, он должен писать чаще?

О последнем судить трудно, так как далеко не все номера «Красного Черноморья» за тот период дошли до нас. Тем не менее известные газетные материалы (их немного), подписанные «Неугомонный», «Неугомонный В.», «Черноморский Норд-Ост» — псевдонимы под стать характеру автора!

Заметки публицистического характера «В Крыму» напечатаны 19 декабря 1920 года. В этом первом газетном выступлении Вишневского речь идет о высадке десанта, о встречах с крестьянами, освобождении Красной Армией Симферополя.

Написан материал простым языком, легко, с чувством приподнятости.

Затем, уже в 1921 году, публикуются заметки «Моряки на трудфронте», «За рубежом», «На регистрации», лирическая миниатюра «Вспомните получше!». Они порою наивны. И тем не менее Вишневский добивается главного — будоражит читателя, заставляет его задуматься.

Музыка в бою... Она поднимала бойцов на штурм вражеской крепости, помогала выдержать предельное напряжение боя. Лето 1919-го, Южный фронт, моряки в атаке: «Ленточки вьются по ветру, летим полным ходом, и веселое «яблочко» раздается на полях, где схватились белые и красные...» На высокой ноте ведет разговор Вишневский — автор заметки «Вспомните получше!». Он полемизирует с другой заметкой «Вспомните», напечатанной

в одном из предыдущих номеров газеты<sup>13</sup>, в которой речь идет о скудном житье морского оркестра: то и дело приходится выступать на концертах-митингах («Когда это кончится? Все играть да играть, есть небось мало дают, за полтора фунта хлеба много не наиграешь...»). Вишневский со всей страстью развенчивает такие настроения, напоминает, что паек рабочего гораздо меньше. Уже здесь проявляется способность молодого журналиста подняться от частного факта к обобщениям: ведь то было время, когда вопрос-призыв «Чем ты помог голодающим Поволжья?» не сходил с повестки дня...

Итак, журналистское крещение Всеволода Вишневского состоялось. А первое представление об этой профессии получено еще в феврале 1915 года. Юный солдат, приехавший в отпуск домой, давал интервью репортеру из «Петроградского листка». Тот был суетлив и буквально забрасывал вопросами. Ответы краткие, сухие — никакой сенсации. Однако газетчик не унывал... Во всяком случае, когда Вишневский прочел в газете о «Володице В.», который побывал «в огненных вихрях войны», и тому подобное<sup>14</sup>, ему стало не по себе. Будущий публицист и писатель получил предметный урок того, как рождается фальшь, какой «красивой» и неправдоподобной может выглядеть жизнь на газетной полосе.

Привычка с ранних лет вести подробные дневниковые записи, сберегать письма, документы, фотографии и неизменно, если только позволяют условия, обращаться к печатным источникам — все это помогало Вишневскому исподволь, как бы само собой вырабатывать непереносимое качество журналиста — точность, документальность.

Сохранился черновой автограф статьи (зима 1916 года) за подписью «Тривэ» (по трем инициалам автора)<sup>15</sup>. Писалась она не для печати: просто хотелось разобраться в вопросах, которые тогда целиком и полностью занимали Вишневского: «При моем исключительном интересе к войне я не мог ограничиться окопной жизнью. Я подбирал газеты и журналы, валившиеся в офицерском блиндаже, изучал карты и всячески старался разобраться в обстановке»<sup>16</sup>. Он сокрушается в статье о том, что в стране «нет единой воли», о трудностях «перерождения России и уничтожения режима», всю тяжесть, бесполезность и уродство которого юноша успел познать за годы войны.

Стремительное накопление жизненного опыта, непрерывная учеба (в стихийно образовывающихся «каникулы» на фронте в 1915—1917 годах — ранение, отпуск, затишье — Вишневский приезжает в Петроград и вместе со сверстниками сдает экзамены в гимназии, переходя из класса в



класс) — все это было той благодатной почвой, которая питала, форсировала становление журналиста.

Привлекала газета и своей действенностью. Так, Вишневский с плохо скрываемой гордостью сообщает отцу из Новоросийска: «...Пишу в газету. «Продерну» кое-кого — и, глядишь, начинают оживать, шевелиться... А особенно теперь, когда мы сконтаковались с парткомом»<sup>17</sup>. Тогда он еще не знал, что, переступив порог редакции «Красного Черноморья», навсегда будет неразрывно связан с редакциями газет, журналов, радио, что напишет около 2 тысяч статей, очерков, корреспонденций, рецензий, листовок...

Паразитально разносторонней, динамичной была натура Всеволода Вишневского. Он деятельно участвовал во многих сферах общественной жизни: на окружной конференции РКП(б) «военмор тов. Вишневский указывает на недостатки газеты «Красное Черноморье» и на необходимость

развивать широкую интернациональную пропаганду среди прибывающих в порт заграничных моряков»<sup>18</sup>; был неумолимым агитатором и пропагандистом («...Работы много, с утра до вечера, на суше и на море... Чека, агитация, и пропаганда, и т. д. Интересная работа...»), остро ощущает пробелы в своем образовании и много читает («третий день читаю труды ГОЭЛРО по электрификации России. Книга страшно интересная...»).

Вишневский всегда в самой гуще стремительного потока жизни. Горнило революции и гражданской войны, школа партийной журналистики, напряженная учеба и редкое трудолюбие, позволившие раскрыться галанту писателя и публициста, — в этом истоки вдохновения автора «Оптимистической трагедии» и фильма «Мы из Кронштадта» — произведений, которые и сегодня владеют умами и сердцами миллионов, зовут на борьбу за торжество коммунистических идеалов.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> А. Н. Макаров. О шестом томе сочинений Вс. Вишневского. Закрытая рецензия (9 февраля 1958 года). Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР, 1038, оп. 1, ед. хр. 4457.

<sup>2</sup> Всеволод Вишневский. Дела былые. Этот автобиографический рассказ впервые опубликован в 1935 году (однодневная газета «Красногвардеец», 18 февраля, Московской городской комиссии по делам бывших дружинников 1905 года, красногвардейцев и красных партизан).

<sup>3</sup> См. Т. Кулаковская. В первые годы революции. «Театр», 1957, № 9, с. 91.

<sup>4</sup> И. Д. Папанин. Выступление на вечере в ЦДРИ, посвященном 60-летию со дня рождения В. В. Вишневского. ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 4599.

<sup>5</sup> С. М. Буденный. О псе пулеметчика Вишневского. Предисловие к кн.: Всеволод Вишневский, Первая Конная. М., 1930, изд-во «Федерация».

<sup>6</sup> А. Штейн. О Вишневском и не только о нем. «Театр», 1962, № 5, с. 141.

<sup>7</sup> Радиопередача с Красной площади 7 ноября 1937 года. ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 1168.

<sup>8</sup> К этому случаю Вс. Вишневский не раз обращался в

своем творчестве, например: «К белым с подпольными» (рассказ, сб. «За власть Советов», Ленинград, 1924); «Папанин на фронте», (очерк, 1937, ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 1183).

<sup>9</sup> Вот, к примеру, текст телеграммы, направленной Папаниным с Северного полюса Вишневскому: «Дорогой мой друг Володечка благодарен твоему вниманию радуюсь за тебя твои таланты заверяю тебя что я так же оправдаю доверие своих избирателей как оправдывал трудные минуты гражданской войны...» ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 3017.

<sup>10</sup> Газета «Красное Черноморье» была боевой, задиристой. Основные разделы — «По Советской республике», «По Европе», «Местная жизнь», «Последние известия» (радио тогда еще делало первые шаги, так что и оперативные новости обязана была поставлять газета). В «Красном Черноморье» рассматривались важнейшие проблемы становления Советской власти, остро критиковались недостатки. Вот, к примеру, с каким напором, чувством своей правоты в статье «Смерть бюрократизму!» газета бичует этот порок: «И на самом деле, что такое бюрократизм как не механический, мертвый, бумажный формализм, парализующий живое дело, убивающий инициативу, самостоятельность, превращающий весь сложный, многогранный процесс творческого строительства в глупую

букву бесчисленного множества нумерованных бумаг...» («Красное Черноморье», 1920, 19 декабря).

С обзорами международных и внутренних событий в газете выступал Дм. Фурманов, Ф. Гладков печатал главы из своей повести «В октябре». А редактировал «Красное Черноморье» (до Гладкова) Александр Рославлев — известный литератор, автор четырнадцати книг, организатор революционного театра политической сатиры в Екатеринодаре (скоропостижно скончался от тифа в ноябре 1920 года).

<sup>11</sup> Листовка «Известия Черниговского Временного Военно-Революционного Комитета». ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 290.

<sup>12</sup> Там же, ед. хр. 3278

<sup>13</sup> «Вспомните лучше!» подписью «Неугомонный В.» «Красное Черноморье», 1921, 22 июня. «Вспомните», подписью «Ша-у», там же, 17 июня.

<sup>14</sup> Всеволод Вишневский. Собр. соч. в 5 томах. М., 1954, т. 2, с. 685.

<sup>15</sup> ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 289.

<sup>16</sup> Всеволод Вишневский. Собр. соч. в 5 томах, т. 2, с. 690.

<sup>17</sup> Там же, т. 6, дополнительный, с. 355.

<sup>18</sup> «Красное Черноморье», 1921, 30 июня.





## АБУКИР

В воскресенье 9 июля 1797 года солнечное утро у атлантического побережья Испании предвещало жаркий день. Море было спокойным. А в английской эскадре, блокировавшей испанский флот в порту Кадис, наблюдалось необычное движение. По приказу командира эскадры адмирала Сент-Винцента мелкие и средние суда концентрировались вокруг линейного корабля «Св. Георгий». Сюда же были доставлены на шлюпках матросы с остальных линейных кораблей эскадры. Вместе с другими к «Св. Георгию» прибыл с находившимся в его распоряжении отрядом кораблей контр-адмирал Горацио Нельсон. С палубы своего судна он наблюдал, как на рее «Св. Георгия» повесили четырех матросов, приговоренных накануне к смертной казни за попытку поднять восстание на кораблях английской эскадры.

1797 год был тяжелым годом для английского морского флота. Восстания военных моряков охватили все основные базы, главные эскадры и многие находившиеся в море суда. Матросы бунтовали под влиянием вольнолюбивых идей, шедших из революционной Франции, на них воздействовало движение широких народных масс, развернувшееся в конце XVII века в Англии и Ирландии, их вынуждали поднимать знамя восстания невыносимые условия службы на британских военных кораблях — произвол и полная безнаказанность офицеров, жестокая муштра, задержка в выплате жалованья, нехватка и низкое качество продуктов, плохой медицинский уход за ранеными, наконец, свирепые телесные наказания.

В мирное время военный флот Англии комплектовался за счет добровольных наемников. Однако война против Франции и ее союзников потребовала его расширения, и английский парламент принял закон о насильственной вербовке матросов на военные корабли. В портовые города были направлены вооруженные отряды под командованием морских офицеров, которые силой брали подходящих людей в питейных заведениях или просто на улицах. «Странное стеснение воли в стране свободной! — пишет французский военно-морской историк XIX века де Гравьер. — Странное злоупотребление власти в классической земле законности! Благодаря этому сильному средству в течение последней войны на английских судах числилось почти столько же беглых, сколько и матросов...»

В апреле—мае 1797 года взрыв негодования среди команд военных кораблей вы-

## В. Трухановский

### АДМИРАЛ НЕЛЬСОН

(Черты портрета флотоводца, политика, человека)

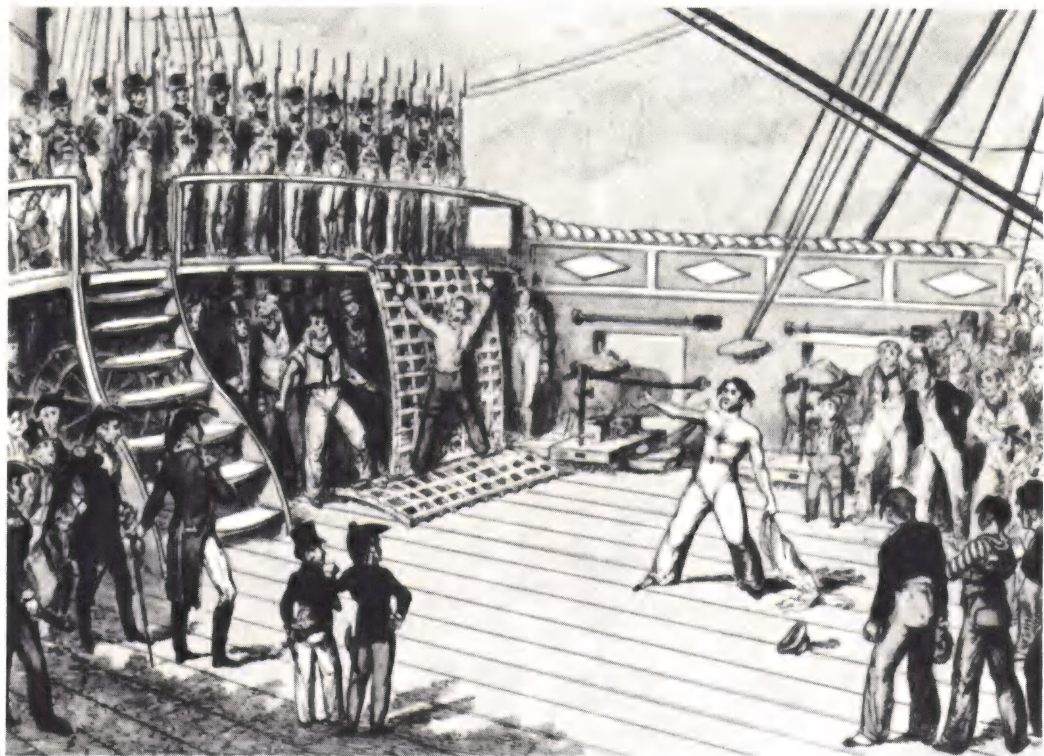
вел на несколько недель из строя флот, действовавший в Ла-Манше. Адмиралтейство незначительными уступками и обманом дезорганизовало мятежников, а когда порядок был восстановлен, казнило несколько десятков матросов вопреки официально данному королем обещанию, что за участие в восстании никого преследовать не будут. Но и эта кровавая расправа не предотвратила вызревания бунта на других эскадрах. На протяжении месяцев готовилось восстание на кораблях, блокировавших Кадис.

Зачинщиков выявили с помощью провавшегося в их среду предателя и приговорили к повешению. Военный суд заседал в пятницу и субботу, и приговор был вынесен уже после захода солнца. По традициям, имевшим силу закона, нельзя было совершать казни после захода солнца. Казнить по воскресеньям тоже было нельзя. Главкомандующий адмирал Сент-Винцент торопился и назначил казнь на следующее воскресенье утро.

Осужденные просили исполнить их последнее желание и отсрочить казнь на пять дней, чтобы они могли подготовиться к смерти. Вице-адмирал Томпсон, находившийся на эскадре, обратился к Сент-Винценту с письмом, в котором просил не нарушать порядок и не осквернять воскресенье казнью. Тот оставил приказ в силе и потребовал немедленного удаления Томпсона с эскадры. «Я надеюсь, что епископы не осудят меня за осквернение воскресенья... Преступники просили меня дать им пять дней для приготовления к смерти — за эти дни они успели бы организовать еще пятьсот заговоров».

В унисон со своим командиром мыслил Нельсон, хотя никто лучше его не знал истинного положения матросов. Контр-адмирал соглашался, что к ним «относятся с пренебрежением», а когда наступает мирное время, «обращаются позорно». И тем не менее, получив в июне сведения о вос-





Порка провинившихся матросов на английском военном корабле.

станции на базе Большой Нор, он писал Сент-Винценту: «Что касается негодяев с базы Нор, то я был бы счастлив командовать кораблем, посланным на их подавление». Когда же Нельсону Сент-Винцент сообщил о том, что он потребовал убрать Томпсона или «отозвать его самого домой», контр-адмирал тут же ответил: «Прежде всего поздравляю вас с надлежащим завершением этого дела со «Св. Георгием». И если мне будет позволено высказать свое мнение, то я целиком и полностью одобряю столь быстрое приведение приговора в исполнение, хотя оно пришлось на воскресенье... Надеюсь, это положит конец всем беспорядкам на нашей эскадре. Если бы у нас дома была проявлена такая же решимость, то, я уверен, дела были бы вдвое лучше». «Будь это даже Рождество, не то что воскресенье, — заключил Нельсон, — я все равно казнил бы их».

И все же, несмотря на все это, 1797 год был счастливым годом лично для Нельсона и его начальника. 14 февраля английская эскадра у мыса Сент-Винцент нанесла сильное поражение испанской эскадре. Это была очень нужная для Англии победа в войне против Франции и ее

союзницы Испании. Английский командующий адмирал Джервис был награжден за нее графским титулом и стал лордом Сент-Винцентом. Отличился в этом сражении смелый и находчивый капитан Нельсон. Он получил рыцарский крест ордена Бани, возводивший награжденного в дворянское достоинство. Одновременно подоспело и очередное производство в следующий чин. С этого времени начался важный период в жизни уже достаточно известного в английском флоте 39-летнего контр-адмирала сэра Горацио Нельсона.

Через неделю после событий в Кадисе Нельсону предстояло отправиться в экспедицию. Адмирал Сент-Винцент получил сведения, что вице-король Мексики, бывший тогда испанским владением, направил в Испанию галеон «Принцесса Астурии», нагруженный золотом. Драгоценный груз должен был существенно укрепить финансы Испании, подорванные войной. Командование английской эскадры загорелось желанием захватить галеон. Это сулило высокие награды и большие деньги. Поступила информация, что галеон, не надеясь прорваться в блокированный Кадис, укрылся в порту Санта-Крус на острове Тенериф.



Этот остров входил в группу Канарских островов, принадлежащих Испании и расположенных в Атлантическом океане у северо-западного берега Африки. Сент-Винцент поручил Нельсону возглавить экспедицию на Teneriffe. Были разработаны детальные планы захвата Санта-Крус, подготовлены раздвижные лестницы и другое снаряжение для штурма крепости. В распоряжение Нельсона адмирал выделил три линейных корабля, три фрегата и несколько мелких судов.

15 июля 1797 года, за час до отплытия, капитаны уходящей эскадры явились на флагманский корабль Нельсона «Тезей», получили боевые приказы и на случай, если им придется потерять друг друга из виду в бурную погоду, определили условное место встречи в море — рандеву. Приказом Сент-Винцента Нельсону предписывалось неожиданной и решительной атакой захватить Санта-Крус и завладеть «Принцессой Астурии» и всеми ценностями, которые будут обнаружены на острове Teneriffe. Если жители окажут сопротивление, на них надлежит наложить контрибуцию, а их суда, включая даже рыболовные баркасы, захватить и уничтожить.

Получив такой приказ, Нельсон сказал командующему: «Десять часов — и я буду победителем или потерплю поражение. Мы захватим все, что движется на водной поверхности».

Ровно месяц ничего не было известно о судьбе экспедиции Нельсона. Затем вернулась фрегат «Эмеральд» и доставил Сент-Винценту официальное донесение и два личных письма. Они были написаны странным, едва поддающимся прочтению почерком.

Оказалось, что отряд Нельсона благополучно прибыл к цели, но неожиданное нападение на Санта-Крус осуществить не смог. Ветер был неблагоприятным, а от него в дни парусного флота зависело очень многое. Губернатор острова, завидев корабли англичан, приготовился к обороне. Замысел внезапной атаки был сорван, и это резко снизило шансы предприятия на успех. Тем не менее Нельсон решил идти напролом. На берег была высажена морская пехота под командованием капитана Трубриджа. Однако засевший в цитадели испанский гарнизон оказал упорное сопротивление, и вскоре Трубридж выбросил белый флаг. Губернатор принял условия перемирия, на которых десант был готов капитулировать, и «прислал людям Трубриджа вина и хлеба».

Нельсон не знал об этом и организовал высадку другой группы моряков на молу в гавани Санта-Крус. Высадка происходила ночью, в бурную погоду, под ружейным и артиллерийским огнем испанцев. В авангарде десанта шел сам Нельсон. Едва он выпрыгнул на мол, как тут же был опрокинут

обратно в лодку. Его зацепило зарядом картечи и перебило правую руку. Под сильным огнем испанцев гибли английские матросы, шли ко дну их суда. Бурное море помогало обороняющимся. Атака была отбита.

Нельсона спас его пасынок Джошуа Нисбет. Он уложил раненого отжима на дно лодки и туго перетянул его растерзанную руку шелковыми носовыми платками. Потом Джошуа собрал нескольких матросов и, с их помощью вывел лодку из-под огня, благополучно доставил Нельсона на флагманский корабль.

Поднявшись на борт, контр-адмирал приказал врачу срочно собирать инструменты. Тут же была произведена операция: правую руку пришлось ампутировать — остался короткий обрубок у самого плеча. Так закончилась неудачная охота за испанским золотом.

Потери оказались велики. 141 матрос и морской пехотинец были убиты или утонули, 105 ранены. Примерно столько же стоила англичанам большая победа над испанским флотом у мыса Сент-Винцент. А что касается жертв среди офицерского состава, то они намного превзошли потери у Сент-Винцента.

Операция на Teneriffe — крупная ошибка Нельсона. После того как возможность внезапного нападения оказалась упущенной, было явным авантюризмом бросаться с имеющимися у него ограниченными силами на штурм крепости, которую защищал восьмисотый гарнизон. Английский адмирал У. Джеймс, восторженный поклонник Нельсона, писал в 1948 году: «Как могло случиться, что контр-адмирал... допустил эту грубейшую тактическую ошибку? Объяснение состоит в том, что... как он сам говорил, его гордость была уязвлена провалом его плана. И его сознание... на какое-то время было помрачено эмоциями, которые не должны воздействовать на принятие решений в ходе сражения». Джеймс, несомненно, прав. Безрассудный азарт всегда был недостатком Нельсона.

Вообще ему не везло на суше. В 1794 году он участвовал в штурме крепости Кальви на острове Корсика в Средиземном море. Ядро, пущенное из крепости, вонзилось в каменную ограду, и мелкие осколки камня брызнули Нельсону в лицо. Правый глаз навсегда утратил способность видеть.

Как все повышенно-эмоциональные натуры, Нельсон после каждой неудачи впадал в крайний пессимизм. На этот раз у него были серьезные основания для уныния: и провал важной операции, и тяжелое ранение, ставившее под вопрос его пригодность для военно-морской службы, которую он любил больше всего на свете.

Через два дня после поражения у Санта-Крус Нельсон левой рукой, непривычно нацарапал Сент-Винценту скорбное письмо



«Я превратился в бремя для моих друзей и стал бесполезным для своей страны. Когда я отбуду с вашей эскадры, я умру для всего мира. Надеюсь, вы дадите мне фрегат, который доставит в Англию то, что от меня осталось». Прибыв через две недели в расположение эскадры Сент-Винцента, Нельсон вновь обращается к своему начальнику: «Никогда уже не сочтут полезным одирукого адмирала. Поэтому чем скорее я укроюсь в укромном коттедже, тем лучше. Тем самым освобожу место для более достойного человека, который будет служить стране»<sup>1</sup>.

Когда служебная карьера терпит крах, обычно люди ищут утешения в семье, у домашнего очага. Через десять дней после ранения Нельсон писал жене: «Я настолько уверен в твоей любви, что чувствую — ты получишь одинаковое удовольствие от моего письма, будет ли оно написано правой или левой рукой. Это случайность войны, и у меня есть большие основания быть ей признательным. Я знаю, ты получишь дополнительное удовольствие, узнав, что Джошуа благодаря божьему промыслу сыграл главную роль в спасении моей жизни. Что касается моего здоровья, то оно никогда не было таким хорошим, как сейчас... Но я не удивлюсь, если мной пренебрегут или забудут меня, поскольку, вероятно, меня теперь уже сочтут бесполезным. Несмотря на это, я буду чувствовать себя счастливым, если ты будешь по-прежнему любить меня».

1 сентября фрегат «Сихорс» доставил Нельсона на Спитхедский рейд у Портсмута в Южной Англии. Жена его в это время жила в курортном городке Бат, в юго-западной Англии, недалеко от Бристоля. И через два дня контр-адмирал уже обнимал жену...

Именно в ближайшие после этого месяцы были сделаны эскизы портретов Нельсона, впоследствии приобретших большую известность. На них изображен густо увешанный тяжелыми орденами, в расшитом золотом мундире мужественный адмирал с белыми не от пудры, а уже от седины волосами, с умным, живым, пристальным взглядом. Высокий лоб, довольно большой, но не тяжелый нос и широкий, мягкий, как бы мятый рот, который обычно называют чувственным. Лицо человека, сознающего свою значительность, уверенного в себе.

Портреты, однако, приукрашивали оригинал. Нельсон был небольшого роста, худощав; когда он улыбался или говорил, можно было заметить, что у него плохие

зубы. Не мог флотоводец похвастать и крепким здоровьем, а в последние годы жизни он стал даже каким-то изможденным. По словам очевидцев, Нельсон — это «маленькая, исковерканная фигура... с беспокойными движениями и пронзительным голосом». Недвижимый, мутный, мертвый правый глаз и пустой правый рукав, согнутый и пристегнутый под грудью, производили тягостное впечатление на тех, кто видел его впервые.

Современники отмечают, что Нельсон всегда носил форменный мундир со всеми наградами, не меняя его на гражданский костюм даже дома. Объясняют это честолюбием и тщеславием адмирала. Действительно, эти слабости были присущи ему в полной мере. Но есть и другое, простое человеческое объяснение, почему Нельсон не расставался с мундиром и орденами. Рядом со своими соратниками капитанами — с рослым красавцем Самарецем или с мощным, сильным Харди — он выглядел незначительным. Вот эту-то незначительность и должны были устранить многочисленные звезды и адмиральский мундир, в который был облачен щуплый моряк, по выражению одного автора, «хрупкий, как осенний лист».

Жена Нельсона была внешне под стать мужу, такая же хрупкая и неяркая. Но внутренне эта холодная, сдержанная, рассудительная женщина ни в чем не походила на своего порывистого, эмоционального супруга. До того, как они поженились, Френсис недолго была замужем за доктором Нисбетом — врачом, практиковавшим в английских колониальных владениях на острове Невис в группе Наветренных островов в Карибском море. Молодая вдова с маленьким сыном Джошуа привлекла внимание капитана Нельсона, и он сделал ей предложение.

Бракосочетание состоялось 14 марта 1785 года на острове Невис. Жениху было 27 лет, и он думал, что ему открыты не только все секреты военно-морского дела, но и самые сложные движения человеческой души. Во всяком случае, он был уверен, что знает все о любви. «Моя любовь, — писал он молодой жене, — основывается на уважении; только оно может быть основой для существования длительной страсти».

После женитьбы Френсис (Фанни) жила в Англии, но собственного дома Нельсоны не имели. Она часто наезжала в Бат. Здесь были целебные воды, а миссис Нельсон любила лечиться. Да и климат здесь был мягче, чем в других районах Англии, особенно зимой. А в 1797 году, когда англичане с тревогой опасались вторжения французских армий, Бат считался почему-то еще и безопасным местом.

В курортном городке Нельсон задержался недолго и вскоре приехал в Лондон.

<sup>1</sup> Современный читатель не должен удивляться тому, что Нельсон, находясь в расположении эскадры Сент-Винцента, переписывается со своим начальником. Тогда отсутствовала радиосвязь, и капитанам и адмиралам приходилось вести переписку друг с другом.



Мучила не желавшая заживать рука и неизвестность относительно будущего. В Лондоне и к врачам и к Адмиралтейству было поближе.

Врачи быстро установили, что при ампутации руки корабельный хирург плохо перевязал рану. В результате плечевая артерия оказалась зажатой, и больной страдал от постоянных сильных болей. Спать он мог, только приняв дозу опиума. Постоянное лихорадочное состояние вызывало боли и в других частях тела. Нельсон считал, что это ревматизм. Врачи пытались его лечить, но лишь причиняли дополнительные мучения больному и в конце концов развелили руками, уверяя, что со временем рана заживет. Но вот времени-то у Нельсона как раз и не было.

Ежедневно он наведывался в Адмиралтейство, пытаясь выяснить, на что может рассчитывать.

27 сентября в Сент-Джеймском дворце король вручил контр-адмиралу знак ордена Бани. Одновременно ему была назначена пенсия — 1000 фунтов стерлингов в год. По тем временам это была немалая сумма. Существовало правило, по которому лицо, получающее пенсию, должно представить мемориал, содержащий перечень его деяний на службе короля. Мемориал Нельсона гласит, что он «принял участие в четырех сражениях с вражескими флотами, а именно: 13 и 14 марта 1795 года, 13 июля 1795 года и 14 февраля 1797 года; в трех случаях атаковал фрегаты, шесть раз атаковал батареи, десять раз участвовал в лодочных операциях по блокированию гаваней и уничтожению отдельных судов, принимал участие во взятии трех городов. Служил также в армии на берегу четыре месяца и командовал батареей при осаде Бастии и Кальви. Во время войны содействовал захвату семи линейных кораблей, шести фрегатов, четырех корветов и одиннадцати катеров различных размеров, захватил или уничтожил около 50 торговых судов. Участвовал в сражениях и стычках с врагом до 120 раз».

Современному читателю, привыкшему судить о напряженности войны на море по опыту первой и второй мировых войн, такая активность покажется удивительной. Но то были другие времена и другие условия. К тому же Нельсон всегда искал боевой встречи с врагом, что является одной из важнейших черт его флотоводческого таланта. Этим он и отличался от многих английских адмиралов, своих современников, придерживавшихся осторожной, выжидательной тактики. В свете тогдашней международной обстановки именно такие военачальники, как Нельсон, были необходимы Англии.

В 1797 году война приняла весьма неприятный для английского правительства оборот. Англо-французская борьба за геге-

монию в Европе имела к этому моменту уже очень длинную историю. От исхода этого противостояния зависело не только то, кто будет определять европейскую политику. На полях сражений в Европе решался вопрос о владении обширными и богатейшими колониальными владениями в Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Военные действия распространились на Северную Америку и Индию. Англия раньше Франции прошла через промышленную революцию, и это давало ей известные преимущества. Но это не предотвратило ее поражения в Северной Америке, и еще в 1783 году Англия была вынуждена признать утрату своих 13 североамериканских колоний и согласиться на независимость Соединенных Штатов Америки. То был тяжелый удар. Но английская буржуазия совсем не собиралась умерять свои поистине безграничные аппетиты. Взоры британских политиков были обращены на Индию, которой предстояло стать ядром английской колониальной империи. Однако захватнические планы относительно этого района имелись и у Франции. Противоречия нарастали, борьба усиливалась.

Французская буржуазная революция 1789 года вызвала в Лондоне резко отрицательную реакцию. Англия, в которой буржуазная революция разразилась ранее на столетие, выступила главным врагом французской революции. Что это — исторический парадокс? Страна, претендующая на звание самой демократической и самой свободной, исполняет в конце XVIII, в XIX и XX веках позорную роль наиболее упорного и последовательного душителя освободительных движений. Противоречие только кажущееся. Во-первых, свободы, о которых идет речь, принадлежали не английскому народу, а только правящим кругам. Во-вторых, бесправие и угнетение трудящихся масс в Англии было ужасающим. В-третьих, богатство лондонского Сити создавалось и приумножалось путем жесточайшей эксплуатации многих миллионов колониальных рабов. Поэтому-то любое освободительное движение являлось антитезой основам английской государственности. Поскольку такое движение неизбежно должно было революционизировать и английский пролетариат, и колониальное население, правящие круги Англии рассматривали любые проявления свободомыслия в других странах как опасную угрозу.

В конечном итоге революция укрепила позиции французской буржуазии, которая тут же не замедлила проявить свою агрессивность, и борьба Англии против Франции вскоре превратилась одновременно и в контрреволюционную войну, и в войну за господство в Европе, за захват колониальных владений. Феодальные европейские монархии, до смерти напуганные бурными



событиями во Франции, стали, естественно, союзниками Англии в ее борьбе против Франции.

Англия объявила войну Франции в 1793 году, и с этого момента борьба этих двух стран стала основным и могущественнейшим фактором всех международных отношений на последующие 22 года. Эта борьба со стороны Англии имела две специфические особенности. Во-первых, ее правящие круги, верные традиции, стремились переложить тяготы войны против Франции на других, создавая для этой цели различные коалиции. Во-вторых, островное положение Британии и ее крайняя заинтересованность в расширении старых и приобретении новых заморских владений предопределили важную роль английского флота в военных операциях.

К концу 1797 года окончательно развалилась первая коалиция, созданная Англией против Франции. Одна за другой подписывали мир с победоносной Францией Пруссия, Испания, Голландия. Успешный поход генерала Бонапарта в Италию закончился захватом почти всей страны. В октябре 1797 года Австрия — последний союзник Англии — подписала мир с Францией, уступив ей Бельгию и владения на левом берегу Рейна; Венецианская республика прекратила свое существование, поделенная между Францией и Австрией. Ионические острова стали достоянием Франции. Английскому флоту пришлось уйти из Средиземного моря.

Затишье конца 1797 года было тревожным. Премьер-министр Уильям Питт-младший, упорный и настойчивый организатор борьбы против Франции, гадал со своими советниками, куда теперь враг двинет войска, в каком пункте будет нанесен удар. Доходили слухи, поступали агентурные данные, донесения консулов о том, что в Тулоне и других средиземноморских портах Франции идет энергичная подготовка к какой-то экспедиции с участием и флота, и сухопутных частей.

Питт сознавал, что предстоит очередной и, вероятно, очень опасный раунд в схватке с Францией, и поэтому Англии требуются смелые и инициативные морские офицеры. Впрочем, симпатий к Нельсону премьер-министр не питал, но его достоинства понимал и предполагал использовать талантливое флотоводца в полной мере.

В октябре 1797 года Нельсон писал Сент-Винценту, что, хотя рука все еще очень болит, он намерен просить Адмиралтейство вернуть его на флот. Контр-адмирал не представлял себе жизни без моря.

Нелегко был путь Нельсона по служебной лестнице английского военно-морского флота. Он родился 29 сентября 1758 года в многодетной семье приходского священника Эдмунда Нельсона в деревне Барнэм Торп, графство Норфолк. Горацио был

шестым ребенком. Мать умерла, когда ему было 9 лет. Жилось семье тяжело. Мальчик недолго посещал школу в Норвиче. И в 12 лет Горацио пристроили на корабль его дяди — капитана Мориса Саклинга. Тот вначале иронически отнесся к желанию худенького, болезненного подростка стать моряком. «Ладно, — в конце концов сказал Саклинг, — пусть приходит. Может статься, пушечное ядро оторвет ему голову, и это решит вопрос о его обеспечении».

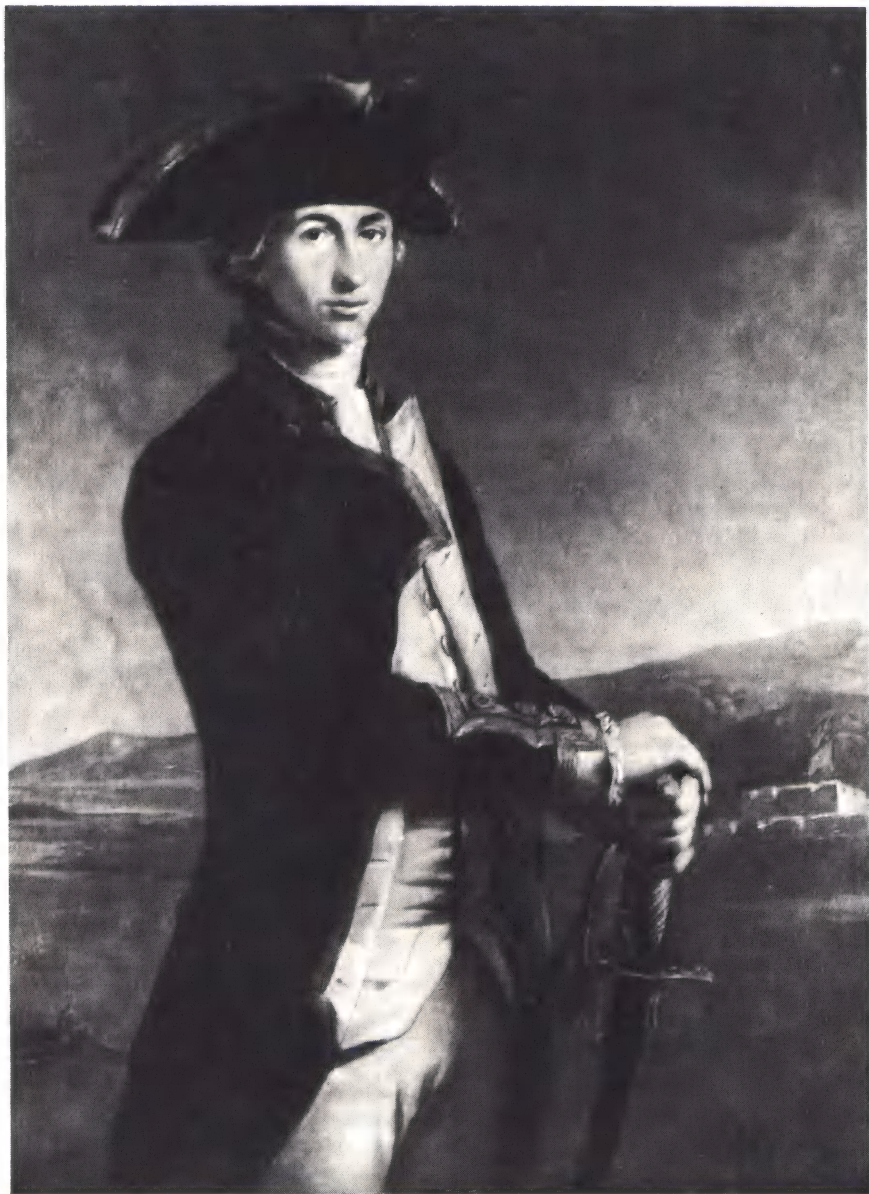
Горацио начал нелегкую службу на кораблях, кубрики которых были до предела набиты такими же, как он, юными моряками. Морскому делу учили не преподаватели, а жизнь на корабле, полная опасностей. Горацио со рвением исполнял свои многотрудные обязанности. Вскоре Саклинг устроил его на торговое судно, отправлявшееся в Вест-Индию. За время плавания юноша постиг азы навигации и управления парусником. По возвращении из плавания Горацио, опять же при поддержке дяди, попал на тендер, курсировавший в устье Темзы, что дало юному моряку возможность в совершенстве освоить трудное искусство управления небольшим судном в условиях мелководья. В 15 лет он участвует в арктической экспедиции, ко времени которой относится анекдот о том, как Нельсон встретил белого медведя и как пытался убить его ружейным прикладом. После этой экспедиции Нельсон на фрегате ушел в трехлетнее плавание к берегам Индии. Вернулся домой еле живым, его мучила лихорадка. Но вскоре Горацио выздоровел и отплыл в Вест-Индию.

Каждый раз новые корабли, новые люди, новые страны, и лишь одно постоянно — тяжелый и опасный труд моряка. Безупречно прослужив шесть лет, Горацио выдержал экзамен на лейтенанта. В 20 лет он стал самостоятельно командовать судном, бригом «Баджер». По единодушному мнению биографов, это назначение явилось следствием того, что Саклинг в то время занимал весьма важный пост контролера флота. Спору нет, Нельсон был отличным моряком. Но мало ли отличных моряков так навсегда и застряли на должностях лейтенантов?

В 1779 году Нельсону было поручено доставить по морю и по реке экспедицию для захвата важного испанского форта в Никарагуа. Самостоятельно расширив рамки своего задания, Нельсон принял участие в атаке форта. Дизентерия свалила большую часть отряда и самого капитана. Из 200 подчиненных ему моряков осталось в живых лишь 10 человек. Выздоровление же Нельсона было длительным и трудным.

Вскоре последовали плавания в Балтийское море и к побережью Северной Америки. В Вест-Индии Нельсон впервые показал свой характер. После завоевания





Г. Нельсон в 18 лет.

Соединенными Штатами независимости они стали для Англии иностранной державой, и их суда и грузы должны были рассматриваться как иностранные. Однако американские торговые суда продолжали торговлю с английскими владениями в Карибском

море по-старому, нарушая существующее законодательство. Это было выгодно и американцам, и английским купцам, и плантаторам, поэтому местные английские власти не вмешивались. Нельсон решил, что это непорядок, что закон должен со-

блюждаться, тем более тот, который защищает английские интересы. И Горацио задержал ряд американских судов. Поднялся страшный шум. Против молодого капитана ополчилось все местное «общество» — и купцы и власти. Командующий в этом районе адмирал отдал приказ Нельсону — не вмешиваться.

Однако бескомпромиссный капитан, нарушив субординацию, обратился в Лондон и получил поддержку со стороны правительства. Нельсон, конечно, ликовал. Вряд ли он тогда понимал, что старшие чины в Адмиралтействе не любят чрезмерной инициативы и строптивости подчиненных.

Вскоре Нельсон возвратился в Англию и остался не у дел, будучи списан на берег на половинное жалование. «На протяжении шести последующих лет, — пишет один из его биографов, — пока царил мир, Нельсон находился на берегу, ему не удавалось получить корабль. Причина была в том, что во время пребывания в районе Подветренных островов он причинил неприятности своим старшим начальникам и сделал себя непопулярным во многих отношениях».

Из вынужденного бездействия Нельсона вывела война Англии против Франции в 1793 году. Лорды из Адмиралтейства вынуждены были преодолеть свою неприязнь к энергичному капитану...

Через четыре года инициатива Нельсона принесла английскому оружию крупную победу над испанцами. 14 февраля 1797 года эскадра из 15 линейных кораблей адмирала Джона Джервиса, под началом которого служил Нельсон, вошла в соприкосновение с испанским флотом, разделенным на два отряда — в 18 и 8 судов, причем расстояние между ними было довольно велико. Встреча произошла у мыса Сент-Винцент — крайней юго-западной оконечности Португалии. Английский адмирал решил атаковать более крупный отряд испанцев, надеясь закончить дело до подхода второго отряда противника, для которого ветер был неблагоприятным. После ряда маневров Джервис дал сигнал своим кораблям последовательно сделать поворот и преследовать корабли уходящего противника. Передние корабли англичан исполнили маневр и следовали в кильватере арьергарда испанцев. «К счастью для Джервиса, — пишет американский военно-морской историк Мэхэн, — Нельсон был на третьем корабле, считая от концевой. Вполне усвоив цель своего начальника, он увидел, что усилиям достичь ее грозит поражение, и, не дожидаясь приказаний, немедленно вышел из линии и направил свой корабль «Капитан» на пересечение курса передних кораблей противника. В этом своевременном, но в величайшей степени смелом движении, которое чрезвычайно ярко иллюстрирует ог-

ромную разницу между отчаянным и бесстрашным поступком, 74-пушечный корабль Нельсона прошел впереди испанского отряда... и затем атаковал 130-пушечный «Сантиссима Тринидад» — самый большой из кораблей того времени».

Маневр Нельсона был явным нарушением боевого приказа командующего эскадрой адмирала Джервиса. Но проницательный Джервис сразу понял, что Нельсон поступил правильно, и тут же скоординировал капитану Коллингвуду, шедшему на «Экселенте» вслед за «Капитаном», поддержать Нельсона. В этом сражении англичане захватили четыре линейных корабля противника, обратив остальные в бегство. Был пленен испанский контр-адмирал. Нельсон взял на бордаж сразу два испанских линейных корабля, перейдя с одного на другой; с тех пор этот маневр получил в английском флоте название «мост Нельсона».

В сражении у мыса Сент-Винцент Нельсон продемонстрировал не только выдающуюся личную смелость. Он обнаружил способность лучше и быстрее других оценивать общий ход сражения. К тому же, будучи убежден в собственной правоте, он не колебался и брал на себя огромную ответственность за свои поступки. Если многие капитаны принимали решения в зависимости от положения их кораблей, то Нельсон исходил из положения эскадры в целом, хода всего сражения. Это резко выделяло его из среды действовавших в английский флот капитанов и адмиралов.

Пожалуй, адмирал Сент-Винцент лучше других понимал и ценил Нельсона. Поэтому в октябре 1797 года он приветствовал возвращение своего боевого товарища на флот и просил Адмиралтейство направить его на свою эскадру, все еще блокировавшую Кадис.

На этот раз судьба оказалась милостивой к Нельсону. 29 ноября он лег в постель и не просыпался до самого утра. Это была первая спокойная ночь с июня месяца. Утром боль почти исчезла. Нельсон чувствовал себя как заново родившимся. Срочно вызвали врача, он вскрыл повязку, и от легкого прикосновения лигатура вышла из гноящейся раны. Через несколько дней рана начала быстро заживать.

Оживший контр-адмирал тут же написал два письма. В первом, адресованном священнику ближайшей приходской церкви, говорилось: «Один офицер жалеет возблагодарить Господа Бога по случаю чудесного выздоровления от тяжелого ранения и за проявленное к нему многократно милосердие». Нельсон просил отслужить по этому поводу благодарственную обедню в воскресенье, 8 декабря 1797 года. Это была не простая формальность; Нельсон всегда оставался глубоко верующим. Подавляющее большинство моряков его времени были под-



линно религиозными людьми. Вероятно, это наряду с прочим объяснялось постоянным общением с водной стихией, столь своеобразной и загадочной, таившей в себе бесчисленные опасности.

Другое письмо Нельсон написал капитану Берри, вместе с которым в битве у мыса Сент-Винцент осуществил взятие на бордаж двух испанских кораблей. Теперь контр-адмирал хотел, чтобы Берри командовал кораблем, на котором он поднимет свой синий адмиральский флаг. Но капитан в это время готовился к свадьбе. «Если вы собираетесь жениться, — писал Нельсон, — я бы посоветовал сделать это побыстрее. В противном случае будущая г-жа Берри очень недолго сможет находиться в вашем обществе. Ибо я чувствую себя хорошо, и вас могут позвать в любой момент... Наш корабль стоит в Чэтэме. Это 74-пушечное судно, и на нем будет отборный экипаж».

Вскоре Нельсон был признан годным для действительной службы. 21 декабря было официально объявлено о его назначении на «Вангард». Пресса сообщила, что храбрый контр-адмирал вскоре отправится в какую-то секретную экспедицию. Тогда еще никто — ни Уильям Питт, ни Адмиралтейство, ни сам Нельсон — не знал, что эта экспедиция меньше чем через год принесет контр-адмиралу мировую славу, а Англии — крупный успех в борьбе с противником.

29 марта 1798 года Нельсон поднял свой флаг на линейном корабле «Вангард». 30 марта первый лорд Адмиралтейства писал адмиралу Сент-Винценту: «Я очень счастлив направить вам опять сэра Горацио Нельсона не только потому, что уверен, что не смог бы послать более усердного, деятельного и испытанного офицера, но также и потому, что имею основания полагать, что его пребывание под вашим командованием будет соответствовать вашим желаниям».

Это действительно было так. И 1 мая Сент-Винцент отвечал: «Уверяю ваше лордство, что прибытие адмирала Нельсона вдохнуло в меня новую жизнь. Прислав его, вы меня несказанно обрадовали. Его присутствие в Средиземном море настолько важно, что я имею в виду поставить под его командование «Орион» и «Александр» и, придав три-четыре фрегата, отправить по назначению, чтобы попытаться выяснить истинную цель приготовлений, осуществляемых французами».

Нельсон должен был провести ограниченную операцию исключительно разведывательного характера — установить намерения противника. Но в то же время его миссия имела и символическое значение. После того как два года тому назад английский флот был вынужден покинуть Средиземное море, приход Нельсона должен

был означать: англичане возвращаются. За чем? Ни у кого не могло быть сомнений, что их конечная цель — установление своего господства в этом бассейне.

Питт понимал, что восстановление английской репутации на морях — весьма важная предпосылка для организации следующей коалиции против Франции. 30 апреля лорд Спенсер писал Сент-Винценту: «Появление британской эскадры в Средиземном море является фактором, от которого в настоящий момент может зависеть судьба Европы». Так действительно думали в Лондоне, хотя и явно преувеличивали роль военно-морского флота в тогдашней войне. Это преувеличение характерно как для политиков того времени, так и для бесчисленных английских и не только английских авторов, писавших о Нельсоне.

Весной 1798 года прежде всего требовалось точно установить, к чему готовятся французы в портах Тулона, Марселя, Генуи, Чивитта-Векии и некоторых других. Правительство и Адмиралтейство имели несколько предположений о возможных намерениях противника. Думали, что это подготовка к захвату Сицилии или острова Корфу. Не исключалось и нападение на Португалию. Полагали, что французы собираются атаковать Неаполь. Обсуждалась возможность замышляемого ими далекого похода в Восточную Индию с целью захвата находившихся там английских колоний. Очень вероятным представлялось, что Франция предпримет попытку послать флот и войска для высадки в Ирландию, с тем чтобы совместно с ирландскими патриотами нанести удар по Англии. Наконец, страшно боялись, что подготавливаемая экспедиция направится в Ла-Манш, соединится там с другими кораблями французского флота, находящимися в Бресте, и войсками вторжения и обрушится на юго-восточное побережье Англии. Страх перед высадкой французов овладел многими свайрами, до этого спокойно сидевшими в своих родовых поместьях, и они потянулись на западное побережье страны, наивно полагая, что французская армия в случае успеха ограничится оккупацией только восточной части страны. Думали обо всех этих возможностях, отмечая адмирал У. Джеймс, «но никто в это время не подумал о Египте». Почтенный биограф адмирала Нельсона допускает неточность. Документы свидетельствуют о том, что английское правительство и Адмиралтейство весной 1798 года располагали весьма авторитетными данными об истинных намерениях французской Директории и ее генерала Бонапарта. Располагали, но практических выводов не сделали. Известно, что в тот момент, когда Нельсон присоединился к эскадре Сент-Винцента у Кадиса, английский консул в Ливорно доносил: французское правительство собрало до 400 судов в пор-



тах Прованса и Италии; этот транспортный флот готовится сопровождать военная эскадра; вскоре поспешно снаряжаемые суда смогут доставить сорокатысячную армию в Сицилию, на Мальту или в Египет. «Что касается моего личного мнения, — писал консул, — то я не исключаю, что флоту дадут это последнее назначение. И если французы имеют намерение, высадив войска в Египте, соединиться с Типу-Султаном<sup>2</sup>, чтобы ниспровергнуть английское владычество в Индии, то их не остановит опасение потерять половину армии при переходе через пустыню».

Это был не единственный, как оказалось впоследствии, верный сигнал. В начале июня военный министр Англии Г. Дандас дважды писал первому лорду Адмиралтейства Спенсеру по этому вопросу. В первом письме читаем: «Мой дорогой лорд! Говорится ли в инструкциях, посланных лорду Сент-Винценту, что Египет следует учитывать при оценке целей экспедиции Бонапарта? Может быть, это фантазия, но я не могу избавиться от размышлений на этот счет». И затем следующее письмо: «Мой дорогой лорд! Индия всю ночь занимала мои мысли...» Эта тревога военного министра была естественна, ибо оба министра еще в апреле получили информацию, что французский офицер был направлен в Египет и оттуда проследовал в Индию. Ведавший иностранными делами лорд Гренвиль еще в январе получил сведения, что Директория строит планы в отношении Египта и английской торговли в Леванте. Были даже сведения, поступившие от английского капитана Сиднея Смита, о том, что в состав экспедиции Бонапарта включены математики, историки, геологи, которым поручено собирать сведения о древностях и сообщить свои соображения относительно ресурсов Египта и Индии, после того как они будут завоеваны французами.

В общем, сигналов было много, но, как замечает де Гравьер, в инструкциях Адмиралтейства только об одном Египте не было ничего сказано. Думали о Неаполе, о Сицилии, о Море и Португалии и даже об Ирландии — не подумали только о Египте. Очевидно, что при таком различии предположений Нельсон мог полагаться только на свои собственные соображения...

8 мая Нельсон с тремя линейными кораблями, двумя фрегатами и корветом вышел из Гибралтара и двинулся к южным французским портам. Он не знал еще, что в это же время Бонапарт прибыл в Тулон. Через несколько дней англичане захватили французский корвет и от его команды у-

знали о прибытии Бонапарта, о том, что 15 французских линейных кораблей, находящихся в Тулоне, готовы к выходу в море, что командует ими адмирал Брюэ, держащий свой флаг на 120-пушечном «Ориенте», что большое количество войск готово к погрузке на транспорты. Это было ценно и важно, но не менее важно было Нельсону знать, когда и откуда направляется эта грозная армия. Экипаж корвета об этом ничего не мог сказать.

Не знал еще Нельсон и о том, что в Лондоне крайне обеспокоенные правительство и Адмиралтейство дали новые указания Сент-Винценту касательно Средиземного моря. Во-первых, адмиралу было предложено любыми средствами помешать подготавливаемой французами экспедиции достигнуть ее цели. Во-вторых, для этого адмирал должен был выделить в распоряжение «какого-либо осмотрового флаг-офицера» 12 линейных кораблей. Это означало, что англичане переходили от наблюдения и разведки силами флота к использованию этих сил для нанесения поражения французам в Средиземном море. Это открывало перед Нельсоном возможности, о которых он мог только мечтать.

Но будет ли Нельсон этим «осмотровым офицером»? Правда, Сент-Винцент послал его с небольшим отрядом к Тулону, но теперь туда пойдет мощная эскадра, и командование ею могло быть поручено другому офицеру. Тем более что в распоряжении Сент-Винцента было два более старших, чем Нельсон, адмирала. Когда же о назначении Нельсона было объявлено, они возмутились тем, что их обошли, и направили Сент-Винценту письменный протест. Но тот отличался решительным характером и не терпел, когда ему мешали. Он писал Нельсону: «Сэр Уильям Паркер и сэр Джон Орд написали энергичный протест против поручения вам, а не им, командования отдельной эскадрой!.. Как только их письма поступят, им обоим будет приказано отбыть в Англию». Адмирал Орд был так уязвлен, что даже вызвал Сент-Винцента на дуэль, которая была предотвращена только благодаря вмешательству правительства.

Поэтому весьма кстати подоспело личное и секретное письмо Спенсера, которое Сент-Винцент получил одновременно с новым приказом. «Если вы полны решимости послать эскадру в Средиземное море, — писал первый лорд Адмиралтейства, — я думаю, что нет нужды давать вам советы о целесообразности поручить командование ею сэру Горацио Нельсону, чье знание этой части мира, равно как и его активность и характер, кажется, делают его особенно подходящим для выполнения данной задачи». Письмо Спенсера укрепило Сент-Винцента в его решении.

Для операции в Средиземном море было

<sup>2</sup> Правитель южноиндийского княжества Майсур, ведущий вооруженную борьбу против английских колонизаторов.



дополнительно выделено 10 74-пушечных линейных кораблей, прекрасно снаряженных и имеющих хорошо обученные экипажи. Их повел к Нельсону и повез ему новые инструкции капитан Трубридж. Ни о чем этом контр-адмирал пока не знал и вел наблюдение за французскими портами.

19 мая у южного побережья Франции разразился сильный шторм. Северо-западный ветер отнес корабли Нельсона от берега, разбросал их, а на флагманском корабле «Вангард» сломал фок-мачту и две стены. Корабль, почти полностью лишенный рангоута, потерял управление, его несло к берегам Сардинии. Другой линейный корабль, «Александр», взял «Вангард» на буксир, чтобы его не разбило о скалы. Однако был момент, когда, казалось, уже ничто не спасет изувеченное судно. В последнюю минуту, к счастью, ветер изменился, и капитан «Александера» Болл смог дотянуть «Вангард» до укромной гавани.

Итак, вмешался неблагоприятный случай — а таких случаев на море ох как много! — и все планы Нельсона рухнули. Повреждения на корабле были так велики, что на его ремонт требовались два-три месяца, причем ремонт должен был производиться в доке. Любой другой командир после этого увел бы корабли в Гибралтар и там стал бы на ремонт. Но не таков был Нельсон. Он решил ремонтироватьсь на месте, своими силами.

На корабле у Болла служил плотник Джеймс Моррисон, отличный мастер, и под его руководством в течение четырех дней сохранившийся на «Вангарде» оснастка была использована для устройства временных аварийных мачт. Теперь корабль вновь смог выйти в море.

Но Нельсона ждала новая неприятность. Прибыв на условное место, где должна была состояться встреча с фрегатами (об этом договаривались заранее на случай шторма или других непредвиденных обстоятельств), адмирал их не обнаружил. Теперь он остался без легких судов, без средств разведки — фрегат в то время называли «глазами флота». Впоследствии выяснилось, что капитаны фрегат, видевшие, как пострадал «Вангард» от шторма, ни минуты не сомневались в том, что его доставят для ремонта в Гибралтар, и сами ушли туда.

Однако худшее еще было впереди. 31 мая Нельсон, находясь уже недалеко от Тулона, получил сведения, что за 12 дней до этого, именно тогда, когда английские корабли были отброшены штормом от берега, французский флот покинул Тулон и, избежав встречи с англичанами, ушел в неизвестном направлении. Куда двинулся генерал Бонапарт со своими 13 линейными кораблями и 400 транспор-тами, никто не знал. Подготовка этой экспедиции являет собой образец сохранения

военной тайны. Уже после того, как экспедиция отбыла из Тулона, начальник Тулонского порта писал морскому министру: «Я знаю о назначении эскадры не более, чем знал бы, если бы она не принадлежала республике».

Нельсон вернулся на условленное место встречи на случай, если появятся фрегаты или посыльное судно, и там к нему 7 июня присоединился Трубридж с кораблями, посланными адмиралом Сент-Винцентом. Теперь под командованием Нельсона была эскадра из 13 лучших 74-пушечных линейных кораблей, одного 50-пушечного и одного брига. Это было солидное боевое соединение, но с существенным недостатком — отсутствовали фрегаты, крайне необходимые для разведывательных операций. Использовать для этого линейные корабли было нельзя, и потому Нельсон, вынужденный искать французскую армаду в море, не имея точных данных о ее цели, оказался в довольно трудном положении.

Трубридж доставил и новые инструкции. Нельсону приказывали «найти, захватить, потопить, сжечь или иным путем уничтожить вражеский флот». Англичанам надлежало «преследовать французов в любых портах Средиземного и Адриатического морей, Греческого архипелага и даже Черного моря». Кроме этого, Нельсон должен был решить весьма важную политико-дипломатическую задачу. Ему следовало добиться у великого герцога Тосканского и короля Неаполитанского (Королевства обеих Сицилий) — двух правителей оставшихся не захваченными французами государств на Апеннинском полуострове — согласия на снабжение эскадры водой, продовольствием, снаряжением. Это было сложное поручение, ибо и герцог и король опасались вторжения в их владения французских войск и не желали поэтому нарушать свой вынужденный нейтралитет. Контр-адмиралу разрешалось получать снабжение и в Турции, и на Мальте, и в Алжире, и в Тунисе, и в Триполи. Нельсон должен был «поддерживать переписку с посланниками Англии при всех итальянских дворах, а также в Вене и Константинополе, а также с консулами по берегам морей», в которых ему предстояло действовать. Как в те времена часто случалось, командующий эскадрой становился политиком и дипломатом.

Внушительная эскадра Нельсона двинулась на юг в поисках неприятеля. Поскольку последнее предположение Сент-Винцента сводилось к тому, что французы собираются захватить Неаполь или Сицилию, англичане двинулись к Неаполю. Так начались два трудных месяца в жизни Нельсона, два месяца нарастающего напряжения, разочарования, а иногда и отчаяния в связи с тем, что отыскать следы экспедиции Бонапарта никак не удавалось. Контр-адмирал имел



в своем распоряжении прекрасную эскадру, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу, но... не мог найти противника. Нельсон понимал, чего именно от него ждут. «Многие репутации были приколоты гвоздями к верхушке мачты корабля Нельсона, — пишет Дж. Расселл. — Репутации Питта, Спенсера и военного кабинета, а также Сент-Винсента... собственная репутация Нельсона, репутация военно-морского флота, крайне подорванная недавними восстаниями на кораблях в Спитхед и Норе, развеивались по ветру. И сверх всего, речь шла о репутации Англии».

Англичане добрались до Неаполя, но сам контр-адмирал на берег не сошел и отправил туда капитана Трубриджа, которому надлежало явиться к английскому посланнику при дворе неаполитанского короля сэру Уильяму Гамильтону. Нельсон уже бывал ранее в Неаполе. В сентябре 1793 года, когда он командовал кораблем «Агамемнон», его послали к неаполитанцам с известием о захвате Тулона англичанами и с требованием направить им на помощь неаполитанские войска. Нельсон и его пасынок Джошуа Нисбет пять дней прожили в резиденции английского посланника. После первой встречи с Нельсоном сэр Уильям Гамильтон, описывая его своей жене Эмме, говорил, что это «человек небольшого роста, который не может похвалиться интересной внешностью». Гамильтоны приняли Нельсона весьма предупредительно, и он остался очень доволен. Официальную миссию капитан тоже выполнил успешно. Неаполитанцы срочно послали свои отряды в Тулон. Однако это не помешало войскам революционной Франции вскоре вышибить из Тулона и англичан, и их союзников.

На этот раз Трубридж, действовавший по приказу Нельсона, должен был получить у Гамильтона и неаполитанцев сведения по трем вопросам: где находится экспедиция Бонапарта, предоставит ли неаполитанский король свои фрегаты в распоряжение англичан и открыты ли порты Неаполя и Сицилии для снабжения там английских кораблей? Боявшиеся французов неаполитанцы не дали ни фрегатов, ни официального согласия на заход английских кораблей, но неофициально обещали снабдить эскадру всем необходимым в портах Сицилии. Что касается местонахождения Бонапарта, то Трубриджу сообщили, что флот французов ушел к Мальте.

Нельсон наконец получил хоть какие-то данные о противнике и немедленно, 17 июня, направился к Мальте. Островом в то время управлял Орден мальтийских рыцарей — потомков крестоносцев, ходивших несколько веков тому назад воевать Святую Землю. Нельсон писал великому магистру Ордена, что тому следует собрать все военные суда, лодки и направить их

навстречу английской эскадре, ибо, «не теряя ни минуты, необходимо уничтожить французский флот». Но к тому моменту Мальта уже сдалась французам практически без сопротивления. Об этом Нельсон узнал 22 июня от экипажа генуэзского брига, остановленного им у южного побережья Сицилии. Генуэзцы рассказали, что Бонапарт уже покинул Мальту. Куда же он двинулся? Этого они не знали.

Итак, Неаполь отпал, Сицилия отпала, теперь отпала и Мальта. Нельсон решил, что остается Египет, как наиболее вероятная цель французов, хотя нельзя было исключить и Турцию. Контр-адмирал немедленно собрал наиболее опытных своих капитанов — Самареца, Трубриджа, Болла и Дарби. Все они высказали предположение, что французы пошли к Египту. Туда же направилась и английская эскадра.

Напряжение и нервозность Нельсона нарастали, он плохо владел собой. Контр-адмирал днем и ночью жил только предстоящим сражением с французами. Он вынашивал планы битвы на все возможные случаи, вызывал капитанов и обсуждал с ними свои замыслы. Через некоторое время капитаны уже прекрасно знали, как их командующий поступит в любой ситуации, знали и свои задачи. Это превратило эскадру в единый организм, способный четко действовать и мгновенно реагировать на все маневры противника. В свою очередь, капитаны в походе вели непрерывные учения по стрельбе, неустанно тренируя офицеров и матросов.

Бонапарт уже знал, что эскадра Нельсона ищет его, и пошел на хитрость. Он отправился к Александрии непривычным, более южным путем. Нельсон же спешил на всех парусах по кратчайшему пути. В ту же ночь его эскадра, повернув к Александрии, прошла в непосредственной близости от французской. Был туман, и англичане не заметили тех, за кем гнались.

Историки гадают, как развивались бы события, если бы у Нельсона были фрегаты и экспедицию Бонапарта удалось бы тогда обнаружить и уничтожить на море. История подбрасывает много таких вопросов. И попытки ответить на них — дело непродуктивное. В реальной жизни все произошло следующим образом. Английская эскадра обогнала медленно двигавшуюся флотилию французов и достигла наконец Александрии, но противника здесь не было. Нельсону задержаться бы здесь на два-три дня, но в его разгоряченную голову не пришла простая мысль, что французы отстали, поскольку у английских линейных кораблей более быстрый ход, чем у торговых кораблей и транспортов, составлявших основную массу судов экспедиции Бонапарта. Контр-адмирал решил, что французы находятся в Сицилии. Английская эскадра тут же по-





Английская и французская эскадры перед началом сражения в Абукирском заливе.

вернула обратно. И здесь Нельсону опять не повезло. Дул встречный ветер, приходилось маневрировать и медленно продвигаться вперед. Лишь 19 июля, разминувшись второй раз на близком расстоянии с французами, английская эскадра прибыла в Сиракузы на Сицилии. Нельсон чувствовал, что в чем-то ошибся, и написал подробное донесение Сент-Винценту и Адмиралтейству с обоснованием своих действий. Оно звучало как оправдание. Капитан Болл, ознакомившись с донесением, сказал, что это образец краткости и ясности, но отправлять его не рекомендовал. «Я бы по-дружески посоветовал, — сказал Болл, — никогда не оправдываться заранее, до того момента, пока тебя не обвинили в ошибках».

Действия Нельсона в течение двух месяцев, предшествовавших сражению у Абукира, показывают, что даже выдающиеся военачальники не могут избежать ошибок. «Цепь ошибок Нельсона свидетельствует о том, что он не смог верно оценить обстановку и разгадать замысел противника», — констатируют советские авторы «Истории военно-морского искусства», имея в виду этот период в его жизни.

В Сиракузах эскадра запаслась водой, живыми быками (для питания) и топливом. Когда Нельсон прибыл в Сиракузы, он, по его собственному признанию, «так же ничего не знал о местонахождении врага, как и 27 дней тому назад», в течение которых он гонялся за противником и не мог его настигнуть. Адмирал решил, что, вероятно, французы все же в Египте, и срочно пошел опять к Александрии.

В Неаполе тем временем королевский

двор и английский посланник пребывали в панике, опасаясь, что Бонапарт вот-вот высадится со своей армией на территории Королевства обеих Сицилий. Жена посланника Эмма Гамильтон писала Нельсону: «Я боюсь, что здесь все потеряно... Я надеюсь, что вы не уйдете из Средиземного моря, не захватив нас».

Ветер был благоприятный, и переход от Сиракуз до Александрии занял всего четыре дня. Англичане подошли к порту и опять не нашли там французских кораблей. Был дан сигнал повернуть на восток и идти вдоль берега. В час тридцать дня, как обычно, команды принялись за обед. И в это время вахтенные увидели, что линейный флот французов стоит на якоре в Абукирском заливе. Нельсон, приказав поднять сигнал «приготовиться к сражению», сразу же успокоился и распорядился подать обед, пригласив на него офицеров. Теперь все стало ясно. Каждый заранее знал, что ему делать, поэтому планы сражения не обсуждались. Поднимаясь из-за стола, контр-адмирал в присутствии ему высокопарным стилем заявил на прощание офицерам: «Завтра к этому времени я заслужу или лордство, или Вестминстерское аббатство»<sup>3</sup>.

Ровно за месяц до этого экспедиция Бонапарта прибыла в Александрию и спешно, но вполне благополучно высадилась. Началось завоевание Египта. До возвращения Нельсона Бонапарт уже успел разбить мамелюков в сражении при Пирамидах.

<sup>3</sup> В Вестминстерском аббатстве в Лондоне хоронят королей и самых выдающихся деятелей Англии.



Адмирал Брюэ между тем отвел французскую военную эскадру в Абукирский залив (в 15 милях от Александрии). Французский адмирал нарушил приказ Наполеона о том, чтобы флот укрылся в порту Александрии или на острове Корфу, где он мог находиться под защитой прибрежных батарей. Произошло это потому, что Брюэ не ожидал возвращения английской эскадры. Вот и в тот день 1 августа, когда на французских кораблях неожиданно взвилось два сигнала — «Неприятель в виду» и затем «Неприятель приближается и держит к заливу», шлюпки были уже посланы на берег за водой, при них находилась часть экипажей кораблей, а из четырех фрегатов, несших сторожевую службу, ни один не крейсировал вне залива.

Брюэ собрал военный совет. Решили ожидать подхода англичан на месте, ибо не хватало людей, чтобы одновременно вести бой и управлять парусами. Шлюпки с командами отозвали с берега, но большая их часть почему-то была не в состоянии вовремя прибыть на корабли. Притомление к бою велось нерешительно. Французы надеялись, что 13 кораблей, из них один 120-пушечный и три 80-пушечных, построенные в боевую линию в глубине залива, защищенные отмелями и разместившейся на берегу батарей, смутят англичан, к тому же время близилось к вечеру, и Брюэ думал, что на ночь глядя, не зная рейда и подходов к нему, Нельсон не начнет сражение. Эта расхлябанность французов была на руку англичанам.

Нельсон, ни минуты не колеблясь, принял решение немедленно атаковать. Дело к вечеру — значит, бой будет ночным. Тактика Нельсона при Абукире состояла в том, чтобы атаковать превосходящими силами часть кораблей неприятеля, уничтожить их, а затем всеми наличными силами обрушиться на остальные и тоже уничтожить или захватить их. «Я всегда верил, — высокомерно заявлял Нельсон, — что один англичанин равняется трем французам». Но когда приходилось вести крупное морское сражение, он старался разместить свои корабли так, чтобы три из них имели против себя один французский. Это напоминало тактику Наполеона на суше.

Французская эскадра стояла растянутой кильватерной колонной в заливе у берега по линии направления ветра. Французы и мысли не допускали, что противник рискнет вклиниться между ними и берегом. Ведь это означало почти наверняка посадить корабли на мель. Однако головной корабль английской эскадры прошел в узком пространстве между берегом и ведущим французским кораблем, за ним последовали еще четыре корабля и бросили якоря против находящихся впереди судов эскадры Брюэ. Одновременно свои остальные суда Нельсон поставил так, что они раз-

местились вдоль противоположных бортов вражеских кораблей. Таким образом, французский авангард и центр оказались под огнем с двух сторон, а арьергард, которым командовал адмирал Вильнев, из-за неблагоприятного направления ветра не смог подтянуться и поддержать корабли Брюэ. В результате семь французских кораблей вынуждены были противостоять тринадцати английским. Французы тут же обнаружили еще одну свою оплошность. Батареи левых бортов их кораблей, обращенные к берегу, оказались загроможденными множеством хозяйственных предметов и не могли в полной мере вести огонь.

Первыми залпами противники обменялись в тот момент, когда солнце уходило за горизонт.

Нельсон был адмиралом синего флага<sup>4</sup>, и его корабли должны были сражаться под этим флагом, но ночью он был плохо различим, и английские корабли начали бой под белым флагом. Затем, как было условлено, когда темнота сгустилась, они подняли еще по четыре фонаря, закрепленные в горизонтальном положении, чтобы можно было отличить своих от французов.

Из всех английских кораблей только один «Куллоден» капитана Трубриджа сел на мель и не смог до двух часов ночи принять участие в сражении. Все остальные суда, включая два из них, подошедшие в темноте, благополучно заняли свои места против кораблей противника.

Современный читатель, имеющий хотя бы внешнее представление о военных судах XX века, должен учитывать, что парусные линейные корабли конца XVIII — начала XIX века были изготовлены из дерева и по современным понятиям очень невелики (так, длина «Куллодена» — 60 метров, а водоизмещение — 1683 тонны. Знаменитый «Виктори», 100-пушечный, был водоизмещением в 2162 тонны). На такой малой площади было сосредоточено большое количество пушек и многочисленная — например, на «Виктори» в 840 человек — команда. Обслуживание орудий и управление парусами требовали многих рук. Расстояние между двумя палубами было, как правило, настолько мало, что человек высокий не мог встать во весь рост. Подобная скученность влекла за собой большое число жертв во время сражения. Дальноточность артиллерии в те дни была невелика, и часто во время сражений корабли сходились настолько близко, что огонь, вылетавший из орудий одного корабля, лизал борта другого, по которому шла пальба. На кораблях адмирала Нель-

<sup>4</sup> В те годы в английском флоте применялось три флага одинакового рисунка на полях красного, белого и синего цветов. Адмиралы первого класса поднимали красный флаг, второго — белый и третьего — синий флаг.



сона было 1012 орудий и 8 тысяч матросов. У адмирала Брюэ — 1183 орудия и 10 тысяч человек. Через полчаса два передовых французских судна были выведены из строя.

В восемь часов Нельсон был ранен. Осколком железа ему сорвало кожу на лбу, и она повисла широким лоскутом над глазами. Хлынула кровь, и контр-адмирал утратил возможность видеть. Он упал с восклицанием: «Я убит, позабываетесь о жене!» Его подхватил флаг-капитан Берри. Раненого снесли вниз. Вопреки уверенности Нельсона, что ранение смертельно, врач констатировал — непосредственной опасности для жизни оно не представляет. Рану перевязали, и врач просил больного лежать спокойно. Но Нельсон не внял его советам, тут же позвал секретаря и попытался диктовать донесения Адмиралтейству. Ожесточенное сражение и ранение контр-адмирала настолько подействовали на секретаря, что он не в состоянии был писать, так у него дрожали руки.

Тогда Нельсон сам взялся за перо левой рукой и приступил к составлению донесения. Вскоре Берри спустился вниз и сообщил, что французский флагманский корабль «Ориент», на котором командир эскадры Брюэ держал свой флаг, горит. Нельсон поспешил наверх. Корабль полихал и около десяти часов взорвался со страшным грохотом. Пораженные невиданным взрывом, команды кораблей обеих эскадр прекратили на несколько минут стрельбу. Постепенно люди пришли в себя, и канонада возобновилась.

Французский адмирал был руководителем нерешительным, неорганизованным, но обладал незаурядной личной храбростью. Дважды тяжело раненный, Брюэ не разрешал, чтобы его снесли вниз, и оставался на мостике до тех пор, пока новое ядро не избавило его от трагического зрелища — гибели своего корабля. Взорвавшийся «Ориент» увлек в глубины Абукирского залива не только бездыханное тело Брюэ, но также 600 тысяч фунтов стерлингов в золотых слитках и бриллиантах, которые французы изъяли у Швейцарии и римского папы для финансирования восточной экспедиции Бонапарта. На дно ушли и сокровища, реквизированные французами у мальтийских рыцарей.

Битва продолжалась до утра, замирая временами, когда смертельно усталые матросы падали у пушек и засыпали на несколько минут. Рассвет увенчал полную победу английской эскадры. Французы потеряли свыше 6 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Потери англичан равнялись примерно тысяче человек.

Победу удалось одержать потому, что весь личный состав английской эскадры — матросы и офицеры — знал замысел своего командующего и инициативно и самоотвер-

женно реализовывал его каждый на своем месте. Заслуга Нельсона, безусловно, велика. Он составил и отработал план сражения и взял на себя всю полноту ответственности за его осуществление. То было время, когда связь в современном понимании отсутствовала. Контр-адмирал сам все решал и за все отвечал. Согласовать план сражения и утвердить его в Адмиралтействе возможности не было.

В 1966 году один английский адмирал заметил, что быстрые средства связи имеют и хорошую и плохую сторону. «Нельсон, — сказал он, — никогда не одержал бы ни одной победы, если бы в те времена был телекс».

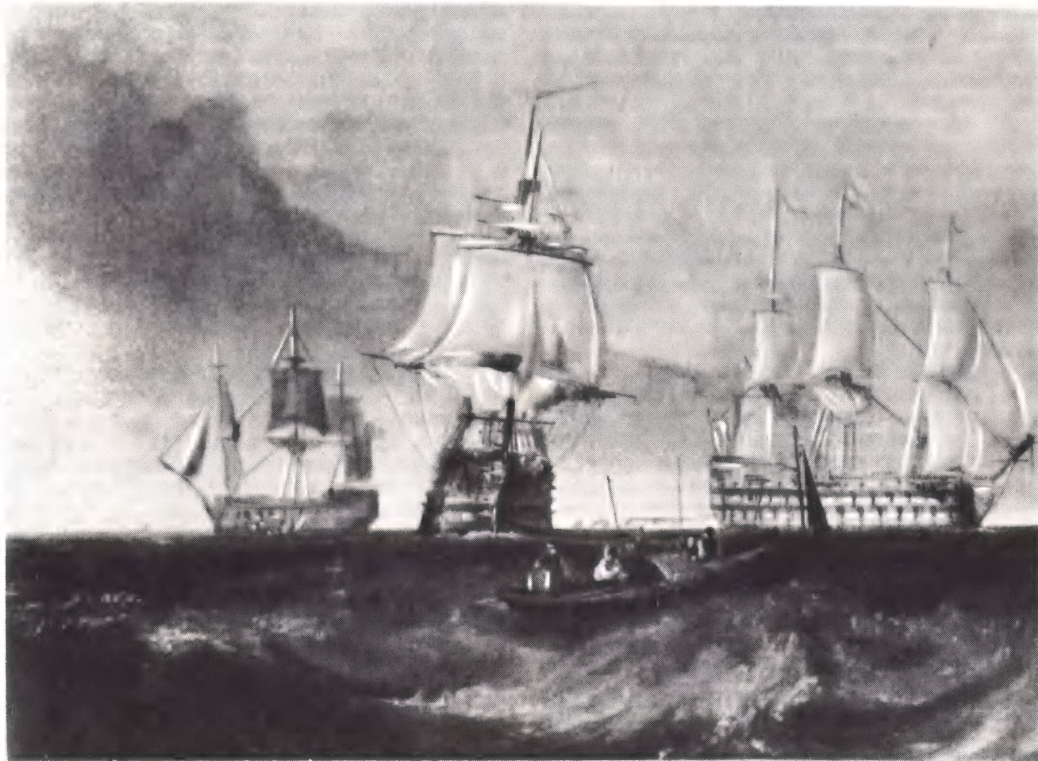
Первый приказ Нельсона, отданный утром 2 августа 1798 года по поводу победы у Абукира, гласил: «Бог всемогущий благословил оружие его величества и даровал ему победу. Вследствие этого адмирал имеет намерение отслужить сегодня же, в два часа, общий благодарственный молебен и рекомендует на всех кораблях эскадры сделать то же, как только представится возможность. Он от всего сердца поздравляет капитанов, офицеров, матросов и морских солдат эскадры, над которой имеет честь начальствовать, с результатом нынешнего сражения и просит их принять его искренние и чувствительные благодарения за их доблестное поведение в этот славный день. Вероятно, каждый английский матрос понял теперь, каково превосходство команд, содержимых в порядке и дисциплине...»

Этот документ весьма многозначителен. Во-первых, он лишний раз свидетельствует о религиозности Нельсона. Контр-адмирал был убежден, что всевышний послал ему предварительно ряд испытаний, чтобы унять его гордыню и сделать достойным милости божьей, которая будет оказана в виде победы. Теми же чувствами проникнуты письма Нельсона к жене, написанные сразу после шторма, который отбросил английскую эскадру от Тулона и изувечил его корабль. К этой категории явлений Нельсон относил и то обстоятельство, что два месяца он тщетно гонялся за французами.

Во-вторых, приказ свидетельствует о понимании Нельсоном дисциплины, обучения команд военных кораблей для обеспечения их превосходства в бою. Мы уже знаем, какими средствами в английском флоте поддерживали порядок. Бунтовавших моряков вешали, а затем многие из скопрометированных судов посылались в разное время в эскадру Сент-Винцента, и он вздергивал на рею тех, кто вновь проявлял непокорность. Весной 1798 года Сент-Винцент жаловался Нельсону: «Что они там (Адмиралтейство. — В. Т.) думают, постоянно посылая мне мятежные суда? Неужели они полагают, что я буду вешателем для всего военно-морского флота?»

В течение двух месяцев, предшествую-





Линейный корабль «Виктори».

вавших Абукиру, Нельсон держал команды в предельном напряжении как повседневными упражнениями в стрельбе, так и работой с парусами. Однако контр-адмирал прекрасно понимал, что здоровый и сытый матрос — это ценный боевой материал, и заботился об этих сторонах матросской жизни.

На следующий день после сражения Нельсон занялся подготовкой обстоятельных донесений в Лондон и Сент-Винценту о происшедшем. Письма были вручены капитану Берри, который получил приказ доставить их к Кадису и в Англию. На случай, если бы с Берри что-либо произошло и он не смог бы выполнить свою миссию, с дубликатами донесений два моряка были направлены в Неаполь к Гамилтону. Осторожность оказалась не напрасной. В море корабль Берри «Линдер» наткнулся на улизнувший из Абукирского залива французский корабль. Завязался бой, в результате которого «Линдер» был захвачен, а Берри взят в плен. Донесения же, отправленные в Неаполь, оттуда были доставлены через Европу в Лондон.

Одновременно Нельсон направил письмо английскому губернатору в Бомбее.

Английские власти в Индии были крайне обеспокоены действиями экспедиции Бонапарта на Ближнем Востоке. Они опасались, что его целью является Индия. Нельсон поспешил их успокоить. Курьер — флотский лейтенант — через Алеппо, Багдад, Персидский залив в 60 дней добрался до Бомбея. Нельсон писал губернатору: «В нескольких словах скажу вам, что сорокатысячная французская армия, посаженная на 300 транспортов, в сопровождении 13 линейных кораблей и 11 фрегатов, бомбардирских судов и пр., высажены 1 июля в Александрии. 7-го она направилась к Каиру, куда и вошла 22-го числа... Я имел счастье не выпустить из Генуи еще другой 12-тысячный корпус, а также взять 11 линейных кораблей и 2 фрегата. Словом, только 2 корабля... успели избежать плена. Славная битва эта происходила на якоре в устье Нила; она началась на закате солнца 1 августа, а кончилась на другой день... Дело было жаркое».

Действительно, победа англичан при Абукире сняла угрозу французского похода в сторону Индии. Более того, она обрекла на поражение армию Бонапарта. Нельсон организовал блокаду французской ар-



мии, поручив командование выделенными для этого судами капитану Сиднею Смиту. Сопротивление населения Египта и Сирии в сочетании с блокадой убедили Бонапарта, что дальнейшее пребывание на Ближнем Востоке может закончиться только его гибелью. И в августе 1799 года Бонапарт тайно покидает Египет, оставив армию на генерала Клебера. 47 дней пробираются всего два французских фрегата по Средиземному морю (а ведь англичане теперь контролировали средиземноморские пути), и в конце концов Бонапарт благополучно высаживается на французском берегу<sup>5</sup>.

Абукир помог английским политикам создать в 1798 году вторую коалицию против Франции. Установление французского контроля в Голландии и Швейцарии, захват Бонапартом Мальты и его поход в Египет встревожили ряд держав и подтолкнули их к объединению. Разгром французского флота и упрочение английских позиций в Средиземном море содействовали достижению договоренности между Англией, Россией, Австрией, Испанией, Неаполем и Турцией, образовавшими вторую коалицию. В рамках этой коалиции возник союз России с Турцией и русская эскадра адмирала Ушакова получила возможность пройти через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море.

Победа над французским флотом у Абукира была очень полезна для английского правительства и во внутриполитическом плане. Авторитет правительства Питта возрос, вероятность вторжения французов значительно уменьшилась. Именно это обстоятельство создало Нельсону огромную популярность в Англии. Отсюда берет начало его всенародная слава национального героя, которая достигнет своего апогея через семь лет.

На Нельсона обрушилась лавина наград. Те, кто считал для себя выгодным поражение французов, отметили адмирала и его капитанов. Первая награда пришла от турецкого султана — бриллиантовый плюмаж, который полагалось носить на шляпе, и также ряд других ценных подарков.

Монархи ряда европейских стран прислали украшенные бриллиантами ларцы. На крышке ларца императора Павла I имелся также его миниатюрный портрет. Вест-Индская компания преподнесла победителям 10 тысяч фунтов стерлингов. Представители лондонского Сити, получив от Нельсона шпагу французского адмирала, захваченную в бою, вручили контр-адмиралу и его капитанам дорогие шпаги. Король наградил капитанов эскадры золотыми медалями. Александр Дэвисон, занимавшийся реализацией призов — трофеев,

взятых в Абукирском сражении, преподнес капитанам золотые, офицерам серебряные и матросам — бронзовые медали.

Наиболее оригинальным был подарок близкого друга Нельсона — капитана корабля «Свифтмор» Бена Галлоуэлла. Даритель писал: «Мой лорд! При сем посылаю вам гроб, изготовленный из куска главной мачты «Ориента». Когда вы устанете от жизни, вас смогут похоронить в одном из ваших трофеев». Адмиралу подарок очень понравился. Его потом видели в каюте стоящим вертикально с закрытой крышкой сзади кресла Нельсона, на котором он сидел за обеденным столом.

В английском флоте существовала определенная традиция получения наград в зависимости от характера заслуг. Обычно можно было заранее представить себе награду, которая может последовать. Адмиралы всегда получали высокие титулы. Так, напомним, что Джервис за битву у мыса Сент-Винцент получил титул графа. Учитывая, что победа у Абукира была намного более значительной по числу захваченных и уничтоженных кораблей противника и по политико-стратегическим последствиям, Нельсон надеялся по крайней мере стать виконтом, то есть самую низшую степень графского титула. К великому разочарованию адмирала и неудовольствию его друзей и соратников, он получил лишь титул барона, то есть самую низшую степень английского пэрства. На недоуменные вопросы правительство отвечало: Нельсон был лишь командиром эскадры, но не главнокомандующим в средиземноморском районе (то есть находился в подчинении у адмирала Сент-Винцента). Это, конечно, была формальная отговорка. Причина заключалась в том, что руководители Адмиралтейства и все те, кого Нельсон обошел своим продвижением по службе, не любили его и влияли на решение правительства. В жизни такие вещи случаются нередко.

До середины августа эскадра Нельсона стояла на месте сражения. Приводили в порядок корабли. Повреждения были огромные. Задача состояла в том, чтобы приспособить суда хотя бы для одного перехода до Неаполя и Гибралтара, где их можно было поставить в доки. Требовалось снять с мелей захваченные французские корабли, с тем чтобы доставить их в Гибралтар. За эти призы команды — от адмирала до рядового матроса — получали денежные премии — «призовые деньги». В некоторых случаях адмиралам и капитанам удавалось таким образом сколотить крупные состояния. Поэтому за призами упорно охотились. В английском флоте было немало таких кораблей-призов, в разное время захваченных у испанцев или французов и затем поставленных под английский флаг.

15 августа наконец прибыли к Нельсону фрегаты, посланные Сент-Винцентом.

<sup>5</sup> Французские войска в Египте продержались до 1802 года.



С ними был доставлен приказ: срочно идти на северо-запад. Нельсон приказал сжечь три французских корабля, которые еще не были подготовлены к переходу. Часть его эскадры осталась блокировать армию Бонапарта, часть пошла в Гибралтар с призами, а сам он с тремя английскими кораблями направился к Неаполю.

## НЕАПОЛЬ

Нельсон покинул Абукир 19 августа 1798 года. В плавание отправились три самых пострадавших корабля. Опасались, что до Гибралтара они могут не дойти, а до Неаполя, который значительно ближе, возможно, дойдут. Ветер был слабый или противный, корабли не в порядке — поэтому шли медленно. В общем это было даже кстати. Нельсон отдыхал. После огромного более чем двухмесячного напряжения контр-адмирал слег. Сам Нельсон и его спутники понимали, что он серьезно болен. Врачи настаивали на том, чтобы он получил отпуск, поехал в Англию и там привел свое здоровье в порядок. «Моя голова, — писал Нельсон с дороги Сент-Винценту, — раскалывается, раскалывается, раскалывается...» Писать ему было трудно, и он трижды пытался начертать последнее слово. Адмирал собирался пробыть в Неаполе только четыре-пять дней.

До Неаполя добирались более месяца. Накануне прибытия неожиданный шквал сломал мачты на «Вангарде», и адмиральский корабль подходил к Неаполю, буксируемый фрегатом «Талия». В порт вошли 22 сентября.

Встреча была бурной и превзошла все ожидания Нельсона. По зеркальной глади Неаполитанского залива навстречу английским кораблям скользило более 500 судов под разноцветными парусами. На многих играли оркестры, и все суда без исключения до предела были забиты шумными и ликующими неаполитанцами. Не переставая звучала мелодия знаменитой песни «Правь, Британия!» и британского гимна «Боже, храни короля».

Первой к «Вангарду» приблизилась барка английского посланника Гамильтона. Его встретили салютом из 13 орудий. О дальнейшем Нельсон писал жене так: «Сцена в лодке была эффектная. Вверх взлетела жена посланника и с возгласом «О боже, неужели это возможно?» упала в мои объятия. Я надеюсь когда-нибудь представить тебя леди Гамильтон. Она одна из лучших в мире женщин». Через час на «Вангарде» был произведен новый салют из 21 орудия. Это властитель Королевства обеих Сицилий король Фердинанд IV лично пожаловал на борт английского корабля, чтобы поздравить контр-адмирала с победой.

Неаполь веселился на протяжении мно-

гих дней. Всюду музыка, иллюминация, фейерверки, приемы, обеды в честь победы англичан. Центром этих празднеств было посольство Британии — резиденция Гамильтонов, палаццо Сесса. Нельсон собирался остановиться в гостинице, но Гамильтоны и слушать не хотели об этом. Его поселили в лучших апартаментах дворца, предназначенных для самых почетных гостей. Кульминацией торжества стал прием по случаю дня рождения Нельсона 29 сентября. Ему исполнилось 40 лет. Во дворец Сесса было приглашено 1800 гостей. В большом зале возвели роstralную колонну с выгравированными на ней словами «Veni, vidi, vici» и именами всех английских капитанов, сражавшихся при Абукире.

Нельсон любил поклонение и от души наслаждался ластивыми хвалами.

Эмма, леди Гамильтон, взяла на себя заботу о здоровье контр-адмирала. Нельсон лежал в комнате на втором этаже, из широких окон которой открывался величественный и прекрасный вид. Залив был как на ладони, но английских кораблей — ветеранов Нила — видно не было; они чинились в доке. Вдали возвышался Везувий. Эмма кормила больного бульонами, поила ослиным молоком, читала ему вслух, меняла повязки. Впервые в жизни Нельсон ощущал по отношению к себе такую нежную, трогательную заботу.

Ему нужно было выздоравливать, и поскорее. Адмиралтейство, получив донесение о победе над французским флотом, возложило на английскую эскадру Средиземного моря новые обязанности, а именно — «защиту побережья Сицилии, Неаполя и Адриатики и, если военные действия в Италии возобновятся, активное сотрудничество с австрийской и неаполитанской армиями». Согласно директивам Адмиралтейства Нельсон нес ответственность за блокаду Египта и Мальты, ему также поручалось скоординировать свои усилия с действиями русской и турецкой эскадр, появление которых ожидалось в восточной части Средиземного моря. Таковы были основные задачи, поставленные перед Нельсоном и подчиненными ему кораблями, которые он пытался решать на протяжении ближайших двух лет.

Неаполь, или, точнее, Королевство обеих Сицилий, был главной ареной деятельности Нельсона в эти годы. Ему приходилось иметь дело прежде всего с двумя парами — королем Фердинандом IV и его супругой Каролиной-Антуанеттой и английским посланником сэром Уильямом Гамильтоном и его супругой Эммой. Причем обе женщины играли самостоятельную политическую роль, и значительно более важную, чем их мужья.

Фердинанд, по происхождению принадлежавший к испанской ветви Бурбонов, был





Эмма Гамильтон. Любимый портрет Нельсона, висевший в его каюте.

человеком тупым, ограниченным. Любил охотиться, а еще больше — свежевать туши убитых животных. Отличительной чертой этого монарха была трусость. Как-то английский представитель, желая успокоить его, заметил: «Чего же вы боитесь, ваше величество? Ведь ваши неаполитанцы — трусы». На это Фердинанд ответил: «Но ведь я тоже неаполитанец и тоже трус».

Править ему приходилось в бурное время. Французская революция и походы Нельсона не раз заставляли Фердинанда спасаться бегством из Неаполя. Как все трусы, он был злобен и крайне мстителен, когда чувствовал себя в безопасности.

Жена короля, Каролина, дочь австрий-

ской императрицы Марии-Терезии, обремененная обширными материнскими обязанностями (она произвела на свет 18 детей, из них 8 остались в живых), успевала, впрочем, заниматься и государственными делами — и за себя и за мужа. Постепенно она совершенно подавила волю Фердинанда и стала единолично править страной. Проводимая ею политика имела ярко выраженный проавстрийский характер. Революционные события в Европе напугали все феодальные дворы, а неаполитанский в особенности. Уже очень близко от Франции находилось Королевство обеих Сицилий. Неаполитанскому двору пришлось принять дипломатического представителя револю-



Сэр Уильям Гамильтон.

ционной Франции. То ли с умыслом, то ли случайно, но в качестве такового прибыл в Неаполь и вручал верительные грамоты человек, в свое время оглашавший приговоры, по которым были казнены во Франции Людовик XVI и его жена — родная сестра Каролины Мария-Антуанетта.

Очень часто в эти бурные годы приходилось неаполитанской королеве вспоминать о том, что ее может постигнуть судьба ее сестры. Поэтому Каролина с последовательной жестокостью стремилась истреблять всякие либеральные ростки, которые пробивались в неаполитанском обществе.

Географическое положение Королевства

обеих Сицилий делало это государство весьма желанным союзником для Англии в ее неустанной борьбе против Франции. Англия для Неаполя также была естественным союзником, ибо она располагала флотом, который мог бы защитить в случае нужды длинную береговую линию Королевства от нападения французов.

В 1798 году представителю Англии при короле Фердинанде сэру Уильяму Гамильтону было уже 68 лет. Из них примерно половину он провел на посту посланника в Неаполе. До последнего времени эта должность не была обременительной для сэра Уильяма. Его не увлекали хитросплетения неаполитанской политики, в которых,



впрочем, он легко ориентировался. Интересы Гамильтона лежали в несколько иной плоскости. Он любил Италию, ее природу, яркое голубое море, ему нравился Везувий, горы. Он был человеком образованным, занимался историей и еще больше искусством Древнего Рима и Греции. Сэру Уильяму принадлежала уникальная коллекция этрусских и греческих ваз (из раскопок). Посланник собирал и картины, у него была хорошая коллекция произведений великих мастеров итальянского Возрождения. Все свое время Гамильтон отдавал изучению своих сокровищ или просто их созерцанию. Правда, досаждали любящему покою и размышления посланнику английские туристы. В те времена даже говорили, что в Неаполе нельзя и шагу ступить — обязательно наткнешься на англичанина. И все это была знать, зачастую высокопоставленная, включая и членов королевской семьи. Эти люди претендовали на особое внимание посланника. Они-то и оставили массу воспоминаний и писем о сэре Уильяме, о его супруге Эмме и о пребывании в 1798—1799 годах в Неаполе Нельсона. Красивой, умной, толпой огня леди Гамильтон было в то время 33 года, и она гораздо больше значила в политической жизни королевства, чем ее супруг. Реальной правительнице страны Каролине легче и проще было обсуждать дела с Эммой, а не с ее пожилым и усталым мужем. Многие беседы велись неофициально, что давало известную гибкость в принятии решений. Сэр Уильям вступал в дело на последнем этапе и официально санкционировал результаты, которые были достигнуты в переговорах леди Гамильтон и королевы. Две энергичные женщины сконцентрировали в своих руках основные нити политики, которые король Фердинанд не мог ржать из-за того, что природа весьма экономно наделила его интеллектом, а сэру Уильяму — из-за преклонного возраста и отсутствия интереса к политическим интригам.

Сэр Уильям — представитель древнего аристократического рода герцогов Гамильтонов, был не первым сыном в семье и потому не стал обладателем фамильного состояния. Его мать, происходившая из семьи баронов Аберкорн, была кормилицей будущего короля Георга III. В детстве юный Гамильтон играл с наследным принцем. Все это упрочило положение Уильяма в высшем свете и привело впоследствии к тому, что он занял пост посланника в Неаполе, получив рыцарский крест ордена Бая, которым его наградили «за то, что он был там, где был», то есть тихо и спокойно сидел на берегу Неаполитанского залива. В молодости Уильям служил в гвардии, женился на своей родственнице Екатерине Гамильтон, получившей в наследство

крупное поместье в Уэльсе, которое приносило 5 тысяч фунтов стерлингов в год — очень солидную по тем временам сумму. На эти деньги и приобретались бесценные вазы и картины. Холлы и залы палатцы Сесса были украшены работами Леонардо да Винчи, Рубенса, Рембрандта, Гальса и других крупнейших художников. У первой жены сэра Уильяма было плохое здоровье, и она скончалась в 1782 году.

Эмма, прежде чем стать леди Гамильтон и поверенной королевы Каролины, прошла трудный, необычный и почти невероятный путь. Она родилась 26 апреля 1765 года в бедной семье деревенского кузнеца в графстве Чешир. Семья была большая, и мать пристроила смышленную и красивую Эмму — почти девочку — в прислугу. Эмму постигла судьба многих молоденьких девушек, оказавшихся в услужении в аристократических домах Англии. Еще до того как ей исполнилось 15 лет, ее полной беззащитностью воспользовались некие мерзавцы, в чьих жилах текла голубая кровь.

Весной 1782 года Эмма оказалась в доме 33-летнего аристократа-холостяка Чарльза Гревилля, где она прожила четыре года. Девушка жадно и быстро училась. Именно в это время она стала настолько красивой, что с нее писали многочисленные портреты крупнейшие английские художники — Рейнольдс, Лоуренс, Хоппер и Ромни. «И вскоре она уже выглядела бы вполне респектабельно в любом обществе», — замечает адмирал Джеймс.

Для Гревилля Эмма была всего лишь удобной хозяйкой его холостяцкого дома. Для Эммы же Гревиль был тогда всем, она его любила, и это признают не только ее друзья, но — что более важно для установления истины — и ее враги.

В 1784 году Уильям Гамильтон приехал в Англию в отпуск. Он был дружен со своим племянником Гревилем и часто гостил у него в доме. Эмма ему сразу понравилась.

Девушка мечтала о том, что Гревиль на ней женится. Но у Гревилля были другие планы. Состояния он не имел, сколотить его трудом не хотел, да и не мог — люди этой породы привыкли все получать без усилий, — поэтому оставался один, проторенный многими путем: жениться на богатой наследнице. Тут как раз подвернулся подходящий объект — невеста из довольно знатной семьи с приданым в 20 тысяч фунтов стерлингов. Для реализации этого плана требовалось лишь одно — Эмма должна была покинуть дом Гревилля.

Просто выгнать ее на улицу было нельзя. Друзья Гревилля знали всю историю их отношений, и это вызвало бы скандал. Поэтому племянник решил передать свою возлюбленную сэру Уильяму, благо тот был вдовец и жил далеко от берегов Анг-



лии. Гревиль написал в Неаполь, что, поскольку дядя собирается жениться, то «хотел бы, чтобы женщина, сервирующая чай в доме на Эджвэа-роуд (то есть в доме Гревилья. — В. Т.), была вашей». Сэр Уильям по разным причинам колебался. Племянник его убеждает. Ряд аргументов «за» и некоторые возражения не могут быть изложены здесь ввиду их непристойности, хотя эта переписка и опубликована в Англии. Опасения Гамильтона относительно того, «что скажут в свете», Гревиль отводил так: «Вы знаете, что свет не требует нас к ответу, если мы не нарушаем приличий».

В конце концов Гамильтон принял предложение племянника.

Некто Джек Рассел, который написал в 1969 году большую книгу, преисполненную ненависти по отношению к Эмме, констатирует: «То, что такая сделка могла быть заключена двумя цивилизованными джентльменами, обладающими изысканными манерами, которые торговали женщиной, как лошадью, свидетельствует лишь об уровне морали тех дней». И далее продолжает: «То, что любовница перешла от племянника к дяде, считали несколько эксцентричным, чуточку смешным, но никто не поднял шума, никто никого не порицал, хотя все было хорошо известно, когда Эмма утвердилась в Неаполе. Гревиль позднее стал членом королевского двора... А сэр Уильям занимал свой пост еще на протяжении пятнадцати лет».

Однако события развивались не так, как хотелось бы Гревилью. Он знал, как к нему относится Эмма, и сказать ей прямо о своих намерениях не мог. Поэтому племянник и дядя условились обмануть молодую женщину. Ей сказали, что Гамильтон приглашает ее и Гревилья погостить в Неаполь, но что вначале поедет туда Эмма в сопровождении своей матери, а затем через некоторое время к ней присоединится Гревиль.

Эмма приехала в Неаполь, сэр Уильям был воплощенной добротой и вниманием, но его гостя душой оставалась в Лондоне и все время писала Гревилью нежные письма. В конце концов тот в ответном письме посоветовал ей не рассчитывать на него и ориентироваться на сэра Уильяма. Эмма пришла в бешенство. Ее письма тех дней не оставляют сомнений в искренности ее чувства к Гревилью.

Шло время. Эмма все больше и больше осознавала трудность и сложность своего положения. Со свойственной ей прямоотой и резкостью она писала Гревилью: «Я никогда не буду любовницей Гамильтона. Раз уж вы наносите мне такую горькую обиду и оскорбление, я заставляю его жениться на мне». Правда, ни Эмма, ни Гамильтон не торопили события. Наконец 6 сентября 1791 года, когда сэр Уильям

опять был в отпуске, они обвенчались в Мэрплстонской церкви в Лондоне. К этому времени Гамильтону исполнился 61 год, а Эмме — 26.

Семь лет прошли спокойно. Эмма быстро освоила итальянский язык и изъяснялась на нем лучше сэра Уильяма. Она успешно училась пению, драматическому искусству. Вскоре леди Гамильтон стала душой местного общества, безупречной, умной и эффектной хозяйкой в резиденции английского посла. Эмма была принята при неаполитанском дворе, хотя там и знали ее историю. И не только потому, что этот двор был славен распущенностью нравов. «Причину, по которой Каролина нежно улыбалась Эмме Гамильтон, нужно искать в области политики, — замечает Рассел. — Неаполь был уязвим с моря, а первой по мощи морской державой являлась Англия. Именно поэтому Каролина опекала леди Гамильтон, а через нее и престарелого шефалье, английского посла. По мере того как увеличивалась угроза со стороны Франции, росла и дружба Каролины к Эмме». К моменту появления адмирала Нельсона эти отношения уже были устойчивыми и отлаженными.

В связи с ролью, которую сыграла Эмма Гамильтон в судьбе Нельсона, она еще при жизни приобрела широкую известность не только в Англии, но и в других странах Европы. После описываемых событий прошло более 170 лет, но до сих пор не иссякает поток книг, кинофильмов и телепостановок, посвященных леди Гамильтон. Одни говорят о ней с неудержимой злобой и ненавистью, другие — сочувственно и доброжелательно.

Нельсон восхищался ею с первого же дня своего пребывания в Неаполе. «Во всех отношениях, — писал он Эмме, — от выполнения вами роли супруги посла до исполнения обязанностей по домашнему хозяйству, я никогда не встречал женщины, равной вам. Эта элегантность, это совершенство, и прежде всего доброта сердца — ни с чем не сравнимы». Гете, путешествовавший в 1787 году по Италии, встречался с Эммой. Он отметил, что «леди очень хороша собой».

Описание внешности Эммы, данное рафинированной дамой из лондонского общества — леди Сент-Джордж, несомненно смотревшей на Эмму ревнивыми и завистливыми глазами, звучит так: «...За исключением ног, которые ужасны, она хорошо сложена. У нее широкая кость, и она очень полна. Очертания ее лица прекрасны, то же можно сказать о ее голове и особенно ушах. Ее зубы несколько неровны, но достаточно белы. У нее светло-голубые глаза с коричневым пятнышком на одном из них, что хотя и является дефектом, но не умаляет ее красоты и не портит выражение ее лица. Брови и волосы... черные, внешний



вид грубый. Очертание лица четко выраженное, лицо меняющееся и интересное. Ее движения в повседневной жизни изящны, голос громкий, но не неприятный».

Суждения о внешности, манерах, поведении, уме женщины всегда субъективны. И все же из различных высказываний современников об Эмме — благожелательных, нейтральных или отрицательных — можно отобрать то, в чем все согласны. Это, вероятно, и будет наибольшим приближением к действительности. Все (даже вышеупомянутая леди Сент-Джордж) сходятся на том, что Эмма была очень красивой женщиной. Речь идет о той необычайной, яркой, привлекательной красоте, которой не вредили ни довольно высокий рост (Эмма была значительно выше Нельсона), ни полнота. Никто не берет под сомнение сильный и живой ум Эммы. Все согласны с тем, что она была честным человеком в отношениях со своими близкими и друзьями. Она жила с Гревилем и любила его. Будучи женой Гамильтона, она безупречно выполняла свои обязанности, и сэр Уильям не только не имел к ней претензий, но, несомненно, гордился хозяйкой своего дома. Никто не оспаривает ее жажду знаний и способности их усваивать. Единодушно мнение о том, что она была талантливой певицей и природенной актрисой. Эмма обладала огромной энергией, упорством, которые позволили ей совершить невозможное — восстановить свою репутацию в глазах света. Такова была Эмма Гамильтон к осени 1798 года.

К тому моменту французские войска находились в непосредственной близости от Неаполитанского королевства — в Риме, где они в свое время свергли власть папы и создали Римскую республику. А войска членов второй антифранцузской коалиции — Австрии и России — должны были начать военные действия на суше, и в случае успеха союзники, вероятно, смогли бы вытеснить французов из Италии.

Каролина и Фердинанд горели желанием сыграть видную роль в войне, но явно трусили. Абукир и присутствие Нельсона они восприняли как гарантию будущей победы в сухопутной войне против французов в Италии.

Едва появившись в Неаполе, Нельсон сразу же начал организовывать выступление неаполитанских войск. У него была директива Адмиралтейства защищать Королевство обеих Сицилий, и поэтому его поступки в принципе соответствовали поставленным перед ним задачам.

Между Неаполем и Веной шла оживленная переписка. Обсуждались совместные действия против французских войск. Однако австрийский кабинет действовал осторожно. Из Вены в Неаполь был прислан генерал Мак, чтобы возглавить неаполитанскую армию. Это был тот Мак, который

впоследствии прославился позорной капитуляцией перед Наполеоном в Ульме. Австрийский генерал произвел смотр 30-тысячной армии неаполитанцев и заявил, что это лучшая армия Европы. Нельсон также инспектировал войска и доносил Адмиралтейству: «Насколько я разбираюсь в этих вопросах, я согласен, что лучшей армии нельзя себе представить».

В этот момент из Вены была получена депеша (к величайшему огорчению и раздражению Каролины, Фердинанда и Нельсона), в которой австрийцы советовали не торопиться; они полагали, что нужно дать возможность французам напасть первыми. И только в том случае, если французы предпримут наступление, австрийцы окажут помощь Неаполю.

Как ни странно, но это не остановило Нельсона. На состоявшемся военном совете контр-адмирал высказался за немедленное выступление неаполитанской армии. Здесь он произнес, обращаясь к Фердинанду, слова, которые так любят биографы Нельсона: «Вам остается либо идти вперед, доверившись богу и божьему благословению правого дела, и умереть со шпагой в руке, либо быть вышвырнутым из своих владений».

22 ноября неаполитанское правительство предъявило французам требование об эвакуации войск из Папской области и с Мальты. Под командованием генерала Мака и короля Фердинанда неаполитанская армия с развевающимися знаменами, под марши оркестров двинулась на Рим. Одновременно Нельсон на своих кораблях перевез и высадил в Ливорно 4 тысячи пехотинцев и 600 кавалеристов, что должно было облегчить общее наступление. 15 тысяч французов отступили перед 30 тысячами неаполитанцев, и Фердинанд с помпой въехал в Рим.

Вскоре французы перешли в контрнаступление, и «лучшая армия Европы» практически не оказала им никакого сопротивления. Неаполитанские солдаты бросали оружие, переодевались при первой возможности в штатскую одежду и бежали к Неаполю. Это повальное и стихийное бегство возглавлял Фердинанд. А в Неаполе под воздействием поражения стали бурно распространяться республиканско-либеральные настроения.

Нельсон понял, что это катастрофа. Спасение он видел только в немедленном выступлении австрийцев. «Я надеюсь, — писал контр-адмирал в Вену, — что император выступит в поддержку Неаполя. Неаполитанские офицеры, непривычные к войне, приходили в состояние тревоги при виде заряженного ружья или вынута из ножен шпаги. Многие из них — герои мирного времени, — как утверждают, убежали, оказавшись вблизи противника». Нельсон настойчиво убеждает английского послан-





Сражение в Абукирском заливе.

ника в Вене оказать давление на императора, с тем чтобы тот спас Неаполитанское королевство. «Затяжка с началом войны, — писал Нельсон посланнику, — приведет к уничтожению монархии в Неаполе и, конечно, к ликвидации недавно приобретенных владений императора в Италии... Через шесть месяцев будет организована Неаполитанская республика... и тогда, я даю голову на отсечение, император не только потерпит поражение в Италии, но зашатается и его трон в Вене. Везде будет республика, если император не выступит срочно и решительно». Император не выступил. И Нельсону пришлось спасать королевскую семью.

Английский контр-адмирал был повинен в катастрофе, которой закончился авантюристический поход неаполитанцев. Он не обладал ни знаниями, ни опытом ведения сухопутных операций и в то же время с апломбом требовал выступления неаполитанской армии. Если бы не его подстрекательские речи, Фердинанд не рискнул бы на это наступление. Конечно, виноват и генерал Мак, но, как свидетельствует история, от этого полководца никогда не следовало ожидать чего-либо путного. Между

прочим, Нельсон не смог верно оценить Мака — после нескольких встреч с генералом он писал: «Мак активен, у него интеллигентный взгляд на вещи, и я не сомневаюсь, что у него все пойдет хорошо».

Контр-адмирал частенько бывал удивительно непоследователен. То он считал неаполитанскую армию лучшей в Европе, то высказывался о неаполитанцах крайне скептически. В конце сентября Нельсон писал первому лорду Адмиралтейства: «Жалкое поведение этого двора не может успокоить мой раздражительный характер. Это страна уличных скрипачей, поэтов, шлюх и негодяев».

На всякий случай Нельсон еще в начале октября предупреждал Эмму Гамильтон, что английская колония в Неаполе должна быть готова к выезду в любой момент. Сэр Уильям воспользовался любезностью контр-адмирала, предоставившего ему возможность на корабле «Какосус» отправить в Англию свои наиболее ценные вазы и картины. Когда 14 декабря Фердинанд бесславно возвратился в Неаполь, оказалось, что такая предусмотрительность была не напрасной. Теперь главной заботой Нельсона и Гамильтонов стала эвакуация королев-





На палубе «Виктори» во время Трафальгарского сражения (в центре адмирал Нельсон).

ского семейства. Это нужно было сделать тайно — неаполитанцы могли расправиться с монархом, поняв, что он бросает их на произвол судьбы.

Начиная с 15 декабря под покровом ночи Каролина переправляла в палаццо Сесса Эмме Гамильтон бочонки, ящики, корзины. Это были королевские сокровища — золото в монетах и изделиях, бриллианты и другие драгоценности. Все это оценивалось примерно в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Моряки и морские пехотинцы перевозили это имущество — на упаковке была надпись «Припасы для Нельсона» — на флагманский корабль.

Королевскую семью на «Вангард» доставил сам Нельсон, который проник во дворец через подземный ход и этим же путем ночью вывел беглецов на пристань, где их ожидали лодки с вооруженными матросами. На корабле сразу же стало очень тесно — ведь, кроме короля и королевы, прибыли их приближенные. Обстановка была мрачная, начинался шторм, судно раскачивалось под порывами ветра, удерживаемое одним якорем.

23 декабря вечером «Вангард» в сопровождении нескольких судов вышел из

порта и взял курс на Сицилию. Переход был трудным. Нельсон говорил, что он не припомнит такого тяжелого плавания. Испуганные пассажиры с трепетом ожидали неизбежной гибели в бушующих волнах. Лишь Эмма держалась твердо, заботясь о королевской чете и о больном младшем принце, который, несмотря на все хлопоты, скончался у нее на руках. Вскоре «Вангард» прибыл в Палермо, ставший резиденцией короля.

Через месяц французские войска заняли Неаполь и в январе 1799 года провозгласили там Парthenопейскую республику.

Нельсон жил в Палермо вместе с Гамильтонами в течение четырех с половиной месяцев. Это было плохое время для контр-адмирала. Дворцовая клика, очутившись в относительной безопасности, пустилась во все тяжкие. Ночами шла крупная азартная игра, золото на столах переходило из рук в руки. Нельсон оказался вовлеченным в это занятие. К тому же стали распространяться сплетни о его отношениях с Эммой Гамильтон.

Друзья адмирала встревожились. Наиболее близкий к Нельсону и любимый им капитан Трубридж решил написать ему



письмо с призывом изменить образ жизни. «Простите меня, мой лорд, но только мое глубокое уважение к вам заставляет меня заговорить об этом. Я знаю, что вы не можете испытывать удовольствие, просиживая всю ночь за картами. Зачем же в таком случае приносить ваше здоровье, комфорт, деньги, свободу — в общем все — в жертву обычаям страны, где ваше пребывание не может быть длительным? Я не согласился бы, мой лорд, остаться в этой стране, даже если бы мне отдали всю Сицилию. Я верю, что война скоро закончится, мы покинем это гнездо всяческого позора и будем испытывать удовольствие от улыбок наших соотечественниц... Если бы вы знали, как переживают ваши друзья за вас, я уверен, что вы перестали бы участвовать в этих ночных бдениях. Об азартных играх в Палермо открыто говорят повсюду. Я умоляю ваше лордство оставить их... Верю, что ваше лордство извинит меня. Лишь глубокое уважение, которое я питаю к вам, заставляет меня пойти на риск возбудить ваше неудовольствие». Этот призыв не был услышан.

Неправильно думать, что контр-адмирал в это время только развлекался. Он много работал. Ему приходилось решать все вопросы, связанные с действиями 16 линейных кораблей и перемещениями многочисленных английских торговых судов, вести интенсивную переписку с Петербургом, Константинополем, с консулом в Смирне, с русским и турецким адмиралами, с английскими представителями в Триесте, Вене, Тоскане, на Майорке, с адмиралами Сент-Винцентом и Спенсером. Для Нельсона, владевшего только левой рукой, это была тяжелая нагрузка даже с технической точки зрения. Главное, однако, состояло в том, что по всем проблемам, затрагивавшимся в этой переписке, нужно было формулировать соображения, принимать решения и нести за них ответственность.

По мере развертывания весной 1799 года военных действий русских и австрийцев против Франции увеличилась дипломатическая и военная активность в районе Средиземного моря.

Мальта восстала против господства Франции. Англичане поддержали восстание, снабдив мальтийцев оружием. Французский гарнизон был блокирован в крепости Ла-Валлетта, а военные корабли оказались запечатными в гавани. Английские корабли и сухопутные силы атаковали и заняли испанский остров Менорку — один из двух основных Баlearских островов, принадлежавших союзнице Франции — Испании. Менорка расположена в центре западной части Средиземного моря и является важным стратегическим пунктом, откуда теперь англичане угрожали средиземноморским портам Испании и Франции. В Египте была прочно заблокирована ар-

мия Бонапарта, спасти которую, то есть вернуть ее во Францию, вряд ли бы смог даже объединенный флот Франции и Испании.

Английское правительство понимало, что, несмотря на сокрушительное поражение, которое потерпели французы при Абукире, борьба между Францией и Англией за господство на морях продолжается. Предстояли новые схватки, и в Англии готовились к ним со всей возможной энергией. Пострадавшие в бою корабли были отремонтированы и приведены в боевую готовность. Кроме того, строились новые суда. В начале 1799 года Англия имела 105 линейных кораблей и 469 судов меньших размеров. Флот располагался вокруг европейского побережья таким образом, чтобы блокировать флоты Франции и Испании и чтобы в случае необходимости одна эскадра могла оказать помощь другой. Адмирал Дункан вместе с русским адмиралом Макаровым действовал на Балтике и в Северном море. Лорд Бриджпорт караулил французский флот в Бресте. Английские корабли стояли и против Кадиса, сковывая испанский флот.

Французы решили попытаться использовать свой и испанский флоты, чтобы изменить положение на Средиземном море в свою пользу. В мае 1799 года французская эскадра под командованием адмирала Брюи покинула Брест. Английские корабли упустили ее. Это было лишним свидетельством ненадежности английской блокады. Брюи, миновав Гибралтар, с эскадрой из 25 кораблей вошел в Средиземное море. Английским командирам нужно было принимать срочные меры в связи с изменившейся ситуацией, но какие? Опять предстояло ответить на вопрос мучительный и трудный — куда ринется французская эскадра? Английский адмирал Кейт, блокировавший Кадис, пустился вслед за нею, и испанский флот — 17 кораблей — беспрепятственно вошел в Средиземное море.

Находившийся в Гибралтаре усталый и больной Сент-Винцент сконцентрировал в Порт-Магоне на Менорке корабли Кейта и Дакворта под своим командованием. Вскоре прибыли подкрепления из Англии. Было дано знать Нельсону, пребывавшему на Сицилии, что испанский и французский флоты появились в Средиземном море.

Нельсон собрал свои корабли. В его распоряжении оказалось 16 линейных кораблей, из них 3 португальских, о боевых качествах которых контр-адмирал отзывался весьма скептически. Английские адмиралы решили, что франко-испанский флот пойдет в Египет, и поэтому Нельсон вывел свои суда на параллель маленького острова Маритимо, находящегося западнее Сицилии. Тем самым узкий проход из западной части Средиземного моря в восточную был перекрыт.



Противник, однако, не пошел к Египту. Испанцев серьезно потрепал шторм, и они укрылись в Картахене. Брюи же двинулся из Картахены к Генуе и доставил оборонявшемуся там корпусу Моро караван торговых судов с хлебом. А в это время Нельсон напрасно поджидал Брюи у Маритимо. Адмирал Кейт, достигший Тулона, там противника не обнаружил. Французский адмирал теперь был озабочен лишь тем, чтобы вывести из Картахены испанские корабли и благополучно прибыть в Брест, где испанские суда явились бы как бы залогом не очень прочного франко-испанского союза. Пока английские адмиралы в поисках противника бросались наугад из стороны в сторону, Брюи вывел объединенный флот из Картахены в Атлантический океан. Кейт погнался за ним, но безуспешно. 13 июля 1799 года соединенный испано-французский флот укрылся в Бресте. Обстановка на Средиземном море разрядилась в пользу англичан, и Нельсон вернулся в Палермо.

Нельзя сказать, что он не замечал того, что происходило при королевском дворе. Нельсон писал в то время: «Что касается политики, то она вызывает у меня отвращение. Эти министры короля и князья — величайшие негодяи, каких когда-либо видел свет». И тем не менее все помыслы Нельсона были направлены на то, чтобы восстановить власть этой клики в неаполитанской части Королевства обеих Сицилий.

Большим ударом для него было полученное в июне известие о том, что адмирал Сент-Винцент по состоянию здоровья покидает пост главнокомандующего эскадрами Средиземного моря. Нельсон пишет старому адмиралу пламенные письма, убеждая его остаться. Вместе с тем он надеется, что все-таки преемником Сент-Винцента сделают его, Нельсона, боевого контр-адмирала, героя Абукира, слава которого гремит по всей Европе. Но... 23 июня Сент-Винцент отбыл в Англию, а главнокомандующим был назначен Кейт. Самолюбие Нельсона было уязвлено, и он проникся тяжелой ненавистью к новому главнокомандующему.

Злоба и ненависть — плохие советчики. Опыт Нельсона лишний раз подтверждает эту старую истину. Контр-адмирал Нельсон, так ценивший дисциплину и порядок в военно-морском деле, сам выказал в ряде случаев прямое неповиновение приказам своего непосредственного начальника.

В первый раз это произошло в июне, когда еще продолжалась игра в кошки-мышки с французским флотом. Кейт, не зная, где находятся французы (а они в это время были в безопасности в Картахене), решил собрать английский флот у Менорки. Поэтому Нельсон получил предписание послать

часть своих кораблей к Менорке в распоряжение главнокомандующего. В это время силы Нельсона были связаны операциями против французов и неаполитанских республиканцев на Апеннинском полуострове, и под этим предлогом он не выполнил указания Кейта.

Нельсон понимал, что его поступок совершенно недопустим. Поэтому, чтобы застраховаться, он пишет первому лорду Адмиралтейства: «Более чем когда-либо я убежден, что в данный момент не могу расстаться ни с одним кораблем. Я не могу этого сделать хотя бы потому, что по 120 человек с каждого корабля взяты для осады... Я полностью осознаю совершенный мною поступок и, будучи убежден в своих лояльных намерениях, готов принять любую участь, которая меня ждет в связи с моим неповиновением». Герцогу Кларенскому, с которым он был знаком по совместной службе в молодости в Карибском море, Нельсон писал, что, «хотя военный трибунал может признать меня преступником, весь мир одобрит мое поведение». Позиция для военного человека более чем странная.

Это непослушание осталось без последствий. Битвы с французским флотом не произошло, и главнокомандующий обошелся без кораблей Нельсона. Но если бы Кейту пришлось встретиться с объединенным франко-испанским флотом, то действия Нельсона оказались бы на руку противнику.

9 июля Кейт, уже зная о том, что корабли французов и испанцев ушли из Картахены на запад, отдал новое распоряжение Нельсону. Главнокомандующий полагал, что, возможно, они идут к Испании и поэтому их придется преследовать. В этих условиях большая часть кораблей Нельсона должна была прийти от Сицилии к Менорке для защиты этого острова. Нельсону самому или его старшему офицеру надлежало привести туда корабли. Официальный приказ Кейт сопроводил личным письмом, в котором разъяснял, что Менорку нельзя оставлять без охраны, ибо, пока он будет преследовать объединенный флот противника, испанцы могут высадиться на острове и захватить его. Приказ был четким и определенным. Личное письмо должно было польстить самолюбию Нельсона. Кейт держался тактично по отношению к контр-адмиралу, особенно если учесть недавний случай неповиновения со стороны последнего.

Но Нельсон закусил удила. Он решительно отказался выполнить приказ главнокомандующего. Опять под прежним предлогом: в связи с тем, что часть моряков и морских пехотинцев занята в сухопутных операциях. «Нельсон вел себя возмутительно», — пишет адмирал Джеймс. Этот весьма симпатизирующий Нельсону автор

справедливо замечает: не Нельсон должен был решать, что важнее на данном этапе, так как это прерогатива главнокомандующего.

Самонадеянный контр-адмирал, сгибавшийся под бременем абукирской славы, играл с огнем. Если бы Менорка подверглась нападению испанцев, ему не миновать бы военного трибунала. Кроме того, Кейт мог — для этого у него было вполне достаточно власти — просто отдать приказ Нельсону спустить свой флаг и отправиться в распоряжение Адмиралтейства. В обоих этих случаях карьера Нельсона почти наверняка была бы закончена.

Осознавая все это, Нельсон вновь обращается с объяснениями в Адмиралтейство. Но там трезво оценивали общую обстановку на Средиземном море. Лорды Адмиралтейства ответили письмом, в котором указали, что Нельсон поступил неправильно, удерживая всю эскадру для оказания помощи сторонникам короля на материке. Его резко осуждали за то, что он, не выполнив приказа Кейта, оставил Менорку не защищенной от возможного нападения. «Но, — пишет Джеймс, — уверенность Нельсона в себе не была поколеблена, он не смог найти никакого изъяна в своих решениях».

Нельсон должен был контролировать действия на Средиземном море русских — союзников Англии. В основе этого союза лежали объективные реальные интересы обеих стран, как они понимались тогда их правящими кругами. Революция дала возможность победившей французской буржуазии развить экспансию, распространявшуюся на Западную и Центральную Европу, на Италию. Но главный удар французы намеревались нанести по восточным странам Средиземного моря и в районе Ближнего Востока. Под угрозой оказались Турция, Балканы. В Петербурге опасались — и для этого были известные основания — за Крым и причерноморские области России. Во всех этих сферах французской экспансии затрагивались российские интересы, и поэтому правительство Павла I не удалось вернуться к проводившейся в 60—80-х годах XVIII века политике нейтралитета. Необходимость противодействия общему врагу и побудила Россию и Англию вступить в антифранцузский блок. Официально же союз между Россией и Англией был заключен в январе 1799 года. Одновременно установились и союзные отношения России с Турцией, что было весьма удивительно и неожиданно, учитывая долговременное военное соперничество между двумя этими странами. Турки настолько остро чувствовали французскую опасность — для них она была еще более реальной, чем для русских, — что не только пошли на союз с Россией, но и видели

тогда в ней своего главного покровителя и охранителя.

Чуть раньше был подписан договор России с Неаполем, по которому российское правительство обязалось предоставить Королевству обеих Сицилий вспомогательные войска против Франции. Тогда же союзные договоры с Неаполем заключили Англия и Турция. Вся эта дипломатическая активность вокруг Неаполя объяснялась тем, что Королевство обеих Сицилий было в то время объектом острейшей борьбы между Францией и антифранцузской коалицией.

Военное сотрудничество между Россией и Турцией началось еще до заключения официального союза. 4 сентября 1798 года русская эскадра адмирала Ф. Ф. Ушакова прошла через проливы в Средиземном море. Под командованием Ушакова находилась и турецкая эскадра, которая численно была больше русской, но значительно уступала ей в боевом отношении.

Испокон веков Англия являлась трудным союзником для тех, кто объединялся с ней в совместной борьбе против общего противника. Она неизменно старалась переложить на своих союзников всю тяжесть борьбы, максимально сберегая собственные силы. Англия всегда стремилась верховодить в подобных союзах, обеспечивая прежде всего свои интересы и игнорируя интересы союзников. При всем этом англичане старались воздействовать на стратегию союзников таким образом, чтобы лишить их самостоятельности и поставить во вспомогательное положение по отношению к собственным целям и замыслам.

Е. В. Тарле в интересной работе об адмирале Ф. Ф. Ушакове пишет: когда Россия стала участницей второй коалиции, «оказалось, что два других главнейших партнера в затеваемой тяжелой борьбе — Австрия и Англия — не только относятся неискренне, но уже наперед держат против нее камень за пазухой... Английский кабинет во главе с Уильямом Питтом-младшим, конечно, жаждал, чтобы на помощь англичанам как можно скорее пришли русские эскадры в Средиземное и Северное моря. Но австрийцы и англичане боялись русских, не доверяли им, завидовали их успехам, хотя, по существу, эти успехи шли на пользу общему делу. А главное — эти союзники мечтали уже наперед не только о победе над французами при помощи русских, но и о том, чтобы сами-то русские не очень задерживались на тех местах, где эти победы произойдут. Это почувствовал на севере Италии и в Швейцарии Суворов. Сразу это понял и действовавший на Ионических островах и на юге Италии Федор Федорович Ушаков, и он вовремя сумел приготовить к скрытым ударам и парировать их».

В этом плане взаимоотношения Нельсо-



на и Ушакова являются убедительной иллюстрацией английских союзнических традиций. Нельсону хотелось переложить на русскую эскадру большую часть забот по блокаде французской армии в Египте. Кроме того, Нельсон желал получить от Ушакова помощь в освобождении Южной Италии от французов и республиканцев. Этим, собственно, и должны были ограничиться обязанности русских военно-морских сил в Средиземном море. По их исполнению русским следовало незамедлительно возвратиться в Черное море.

Этот стратегический план преследовал три цели: во-первых, он предусматривал в конечном счете продолжение закупорки русского флота в Черном море, устранение его из Средиземного моря, которое надлежало предварительно завоевать соединенными силами. Во-вторых, предполагалось удерживать русский флот от самостоятельных действий и низвести его на роль вспомогательного отряда при осуществлении английских планов. И в-третьих, Нельсон должен был не допустить решения русским флотом задач, в которых был непосредственно заинтересован Петербург, а именно — освобождения Ионических островов, что впоследствии помешало бы французам продвигаться в сторону Балкан и Южной России. Кроме того, императора Павла I волновал вопрос о статусе Мальты. Павел I был гротмейстером ордена Мальтийских рыцарей. Захват Мальты Бонапартом в 1798 году сильно задел российского императора, и освобождение Мальты эскадрой Ушакова повлекло бы за собой водружение российского флага над островом. Реализация этих планов была крайне невыгодна Англии, ибо в результате их осуществления Россия заняла бы прочные позиции на выходе в открытые моря.

Хотя с точки зрения непосредственных российских интересов кораблям Ушакова у Египта делать было нечего, но союз есть союз, и дело чести — добросовестная помощь партнеру. Поэтому русский адмирал в письме к Нельсону изъявил готовность участвовать в блокаде Египта. Правда, Ушаков намеревался выделить для этой цели из своей эскадры фрегаты и канонерки, одновременно предполагая использовать линейные корабли для занятия Ионических островов. Конечно, такое ослабление эскадры должно было отрицательно сказаться в боях за острова, но тут уж ничего не поделаешь.

Однако Нельсона это совсем не устраивало. Он желал, чтобы все русские корабли действовали у Египта, который Англия мечтала прибрать к своим рукам. Ионические же острова он собирался занять сам, как только для этого у него высвободятся силы. В декабре 1798 года Нельсон упрекает Ушакова: «Только что пришел из Александрии английский фрегат, и я с истинным сожалением узнал, что... прибыли

всего лишь один или два фрегата и десять канонерок (имеются в виду русские корабли. — В. Т.), тогда как, конечно, должно было послать не меньше чем три линейных корабля и четыре фрегата с канонерками и мортирными судами. Египет — первая цель, Корфу — второстепенная». В последней фразе — суть концепции Нельсона: русские силы нужно стянуть к Египту, а не в район Ионических островов.

Ионические острова расположены цепочкой вблизи западного побережья Греции (тогда владения Турции). Самым крупным и значительным в военном отношении был остров Корфу, поэтому французы приложили максимум усилий для его укрепления.

Жители острова совершенно справедливо относились к французам как к иноземным захватчикам, что облегчало задачу русских моряков. Осенью 1798 года моряки Ушакова выбрали оккупантов со всех основных островов, за исключением Корфу. Русские блокировали остров и в результате трехдневного ожесточенного штурма 1—3 марта 1799 года овладели им. Это была невиданная операция, когда только одни военно-морские силы захватили мощную и хорошо защищаемую крепость.

Русский адмирал прекрасно понимал, чего добивается Нельсон, какими категориями он мыслит. Об этом свидетельствует письмо Ушакова от 5 марта 1799 года русскому посланнику в Константинополе В. С. Томаре после взятия русской эскадрой Корфу. «Требования английских начальников морскими силами, — писал Ушаков, — в напрасные развлечения нашей эскадры я почитаю за не иное, что они малую дружбу к нам показывают, желая нас от всех настоящих дел отстранить и, просто сказать, заставить ловить мух, а чтобы они вместо того вступили на те места, от которых нас отделить стараются. Корфу всегда им была приятна: себя они к ней причли, а нас разными и напрасными видами без нужд хотели отделить... Однако... Корфу нами взята». Далее русский адмирал замечает, что англичане к нему «требования делают напрасные и сами по себе намерение их противу нас обличают. После взятия Корфу зависть их к нам еще умножится...».

Простить этого Ушакову Нельсон не мог.

Английский контр-адмирал занялся межусоюзническими провокациями. Когда в Неаполь прибыл с наградами от султана уполномоченный великого визиря Келим-эффенди, Нельсон в беседах с гостем пытался возбудить недоверие турок к русским. По мере того как определялось намерение Ушакова не во всем следовать пожеланиям Нельсона, последний отбрасывал всякую сдержанность в выражениях даже в официальной переписке. В январе 1799 года он писал капитану Боллу, руководившему блокадой



Мальты: «Нам тут донесли, что русский корабль нанес вам визит, привезя прокламации, обращенные к жителям острова. Я ненавижу русских, и если этот корабль пришел от их адмирала с о. Корфу, то адмирал — негодяй». Интересно, что почти все биографы Нельсона считают нужным упомянуть о его отрицательном отношении к русским и к Ушакову.

Трудно сказать, объясняется ли неприязнь Нельсона к Ушакову также и пониманием того, что русский адмирал опередил его в области флотоводческого искусства. Но факт остается фактом: то, что совершил Нельсон в битве при Абукире, было впервые осуществлено Ушаковым в 1791 году в сражении с турецким флотом в Черном море у мыса Калиакрия. Турецкие корабли, которых было значительно больше, чем русских, стояли у берега под прикрытием сухопутных батарей. Чтобы использовать благоприятное направление ветра, Ушаков повел свои корабли в узкое пространство между берегом и турецкими кораблями и неожиданно для противника навязал ему ожесточенный бой, одержав полную и решительную победу. Следовательно, новая тактика, связываемая с именем Нельсона, была применена на семь лет раньше. Разумеется, английское Адмиралтейство было прекрасно осведомлено о сражении у Калиакрии. Не мог не знать о нем и Нельсон. Хотя бы потому, что в России служили некоторые англичане, возвратившиеся затем в отечественный флот.

Действия кораблей Нельсона и Ушакова были составной частью усилий второй коалиции, которая в 1799 году развернула наступление на французские позиции во многих местах. Участники коалиции намеревались нанести удар в Италии, Швейцарии и Голландии. В Италии и Швейцарии действовали под командованием прославленного Суворова русские и австрийские войска. Старый русский полководец предполагал начать военные операции в Ломбардии и Пьемонте, изгнать французов из Северной Италии и затем мощным вторжением во Францию победоносно закончить войну.

В апреле—мае 1799 года войска Суворова одержали над французами ряд крупных побед в Северной Италии. Однако развить успех не удалось, ибо австрийцы не поддерживали смелые планы Суворова. Французы зацепились за генуэзскую Ривьеру. Суворов стремился атаковать в этом направлении, но австрийцы занялись еще не взятыми крепостями в Северной Италии, распылили союзные силы и помешали успешной реализации замысла Суворова.

Активные военные действия коалиции и успех Суворова в Северной Италии заставили французские войска в Неаполе под командованием генерала Макдональда уйти на север, на соединение с действовавшей

там французской армией. Это ослабило позиции республиканцев в Неаполе.

Летом 1799 года корабли эскадры Ушакова подошли к побережью Южной Италии и высадкой десанта на территории Неаполитанского королевства поддержали действия Суворова и союзников в Италии.

В это время на юге Италии активно действовали отряды под руководством кардинала Руффо, уполномоченного неаполитанского короля. Моряки эскадры Нельсона сотрудничали с антифранцузскими силами и вели операции на суше, но без ощутимых результатов. Успех пришел к неаполитанцам — сторонникам короля — и англичанам после того, как на севере Италии перешли в наступление войска Суворова, а на юге — отряды с кораблей Ушакова. Ими командовали капитаны 2-го ранга А. А. Сорокин и Г. Г. Белли. 24 июня неаполитанский министр Мишеру, прикомандированный к отряду Белли, сообщил Ушакову: «Я написал вашему превосходительству несколько писем, чтобы уведомить вас о наших успехах. Они были чудесными и быстрыми до такой степени, что в промежуток 20 дней небольшой русский отряд возвратил моему государю две трети королевства».

В июне русский отряд и отряды Руффо подошли к Неаполю. По предложению русского командира кардинала Руффо было заключено перемирие с французами и республиканцами, укрепившимися в крепости Каstellамар и двух замках — Каstell д'Ово и Каstell Нуово. Условия перемирия были разумными: они предотвращали ненужное кровопролитие и обеспечивали цели союзников — восстановление власти короля Фердинанда в Неаполе. Дело, конечно, было не в гуманности Руффо (эта черта вовсе не была ему присуща), а в том, что требовалось побыстрее взять крепости; опасались появления у Неаполя французского флота, а это могло иметь весьма неблагоприятные последствия для монархистов и их союзников.

Согласно договоренности защитникам замков предоставлялась возможность выйти из укреплений и затем сесть на суда, которые отвезли бы их во Францию. Гарантировалась неприкосновенность личности и имущества республиканцев, остающихся в Неаполе. На них самих и членов их семей распространялась амнистия.

Республиканцы не доверяли кардиналу Руффо, известному расправами над теми, кто выступал против королевской власти. Они потребовали, чтобы условия капитуляции скрепил своей подписью английский капитан Фут, представлявший здесь адмирала Нельсона. Фут выполнил это пожелание.

Перемирие вступило в силу, военные действия прекратились, был произведен обмен пленниками. На замках и на англий-



ском фрегате «Сихорс», где находился капитан Фут, развеивались флаги перемирия.

Нельсон в это время рвался из Палермо в Неаполь. К его несчастью, французский флот вышел в море, и адмирал Кейт настаивал на том, чтобы Нельсон исходил прежде всего из необходимости вести борьбу против флота; а неаполитанские дела, как вполне резонно заключал английский главнокомандующий, можно будет решить и неделей позже. Королева Каролина и Эмма Гамильтон всячески старались заставить Нельсона вернуться вместе с ними в Неаполь. Правящая династия смертельно боялась своих подданных. «Любезный лорд! — писала Эмма Гамильтон Нельсону 12 июня. — Я провела вечер у королевы. Она очень несчастна! Она говорит, что народ неаполитанский вполне предан королю, однако только одна эскадра Нельсона может восстановить в Неаполе спокойствие и покорность законной власти. Вследствие того королева просит, умоляет, закликает Вас, любезный лорд, если только возможно, отправиться в Неаполь. Ради бога, подумайте об этом и сделайте то, что просит королева. Если Вы позволите, мы отправимся вместе с Вами. Сэр Уильям нездоров, я также чувствую себя дурно: это путешествие будет нам полезно. Да благословит Вас бог!»

Нельсон мечется. На следующий день он сажает на свои корабли королевские войска, чтобы идти в Неаполь. В этот момент ему вручают письмо от адмирала Кейта. Главнокомандующий сообщает, что, по его данным, французский флот сейчас, вероятно, находится у берегов Италии. Нельсону пришлось возвратиться в Палермо, высадить неаполитанские войска и спешить в сектор острова Маритимо. Но уже 21 июня, решив, что Кейт без него справится с французским флотом, Нельсон вновь появился в Палермо, взял на борт своего судна «Фоудройант» чету Гамильтон и с 18 кораблями направился к Неаполитанскому заливу.

И здесь Нельсон узнал о перемирии, подписанном в Неаполе представителями неаполитанского короля, Англии, России и Турции с французами и неаполитанскими республиканцами. Он пришел в неопределимое бешенство. Как, с этими «гнусными безбожниками» французами, «порочными чудовищами», «подлыми тварями», «негодаями» заключено почетное перемирие?! Он этого не потерпит и немедленно ликвидирует соглашение. Нельсон мог по своему усмотрению наказать капитана Фута, но аннулировать перемирие не имел права. Однако у него была сила — флот, и он использовал ее со злобной мстительностью, которая вот уже почти два столетия с негодованием осуждается.

Нельсон объявил, что не приемлет подписанной капитуляции. Даже каратель

Руффо возмущился таким вероломством и пытался отговорить английского контр-адмирала от необдуманного шага. Ничего не подозревавшие французы и республиканцы между тем вышли из замков, сложили оружие на набережной, и кое-кто из них успел даже сесть на суда, отходившие в Тулон. В этот момент все они были арестованы по приказу Нельсона, и неаполитанские монархисты начали расправу над беззащитными людьми. Последовала чудовищная кровавая оргия. Захваченных пленников рвали на части, сжигали на площадях, вешали, расстреливали. Людей истребляли без суда и следствия. Вскоре капитан Трубридж писал Нельсону, что до сорока тысяч семейств оплакивают кого-либо из родственников, заключенных в темницу. Имущество убитых за бесценок скупалось королевскими агентами. Это было дополнительным стимулом для многочисленных расправ. Сам Нельсон под впечатлением происходящего задумывался: «Нельзя же, однако, отрубить головы всем в королевстве, будь оно даже полностью составлено из мошенников». Но он ничего не сделал, чтобы унять кровопролитие.

Пожалуй, наиболее позорным эпизодом в событиях тех дней было дело адмирала князя Караччиоло. Этот неаполитанский аристократ несколько десятилетий служил на флоте, командовал кораблем под руководством английского адмирала Готама, сопровождал Фердинанда на неаполитанском судне во время бегства двора на Сицилию. Будучи по-своему патриотом, он в период Партенопейской республики согласился командовать ее мизерными символическими морскими силами<sup>6</sup>. Когда король вернулся в Неаполь и начался террор, 70-летний старик Караччиоло скрывался в горах. За его голову была объявлена награда, и в числе слуг нашелся один, который его выдал. 29 июня вечером Караччиоло был доставлен на английский линейный корабль «Фоудройант», где находились Нельсон и Гамильтоны.

Нельсон распорядился немедленно судить пленника. Члены военно-полевого суда — монархисты-неаполитанцы — были срочно собраны. Приговор гласил — смертная казнь через повешение. Нельсон приказал повесить старика на рее стоявшего рядом неаполитанского фрегата. Караччиоло умолял Нельсона рассмотреть дело еще раз, основательно, без спешки. Контр-адмирал отказал, Караччиоло после этого как милости просил, чтобы его расстреляли, но не казнили позорной смертью. Нельсон опять отказал. И Караччиоло повесили в тот же день на рее фрегата «Минерва»,

<sup>6</sup> Нельсон в момент бегства на Сицилию приказал сжечь неаполитанский флот. Это было исполнено.



замершего под наведенными на него пушками «Фуудройанта».

Дневниковая запись Нельсона за этот день, как обычно, спокойна и немногословна: «Суббота, 29 июня. Ветер тихий. Облачно. На рейд пришли португальский корабль «Рунья» и бриг «Баллон». Созван военный суд на неаполитанском фрегате «Минерва». Судим, осужден и повешен Франческо Караччиоло».

Нельсон писал герцогу Кларенскому: «Все мои предложения принимаются с усердием, и немедленно отдаются приказания, чтобы с ними соображались... Недавно его величество приказал отдать под суд двух генералов, обвиненных в измене и трусости. Он предписал их расстрелять или повесить, как только признают, что они виновны. Если эти приказания выполнят, то я буду надеяться, что принес здесь некоторую пользу, потому что я не перестаю убеждать их в том, что единственное основание всякого благоустроенного правительства есть искусство вовремя награждать и наказывать». Вот «философское» обоснование действий Нельсона, данное им самим.

Возмущение зверствами, чинимыми английской эскадрой в Неаполе, прокатилось по всей Европе и достигло Англии. Там лидер оппозиции Фокс «первый указал парламенту на эти злоупотребления властью», — отмечает де Гравьер. Нельсон попытался оправдаться. И вот что он написал в свое оправдание: «Я предложил кардиналу Руффо передать французам и мятежникам от моего и своего имени, что перемирие прервано уже одним тем, что перед Неаполем находится английский флот, что французам не будут считать даже военнопленными <...>, что касается мятежников и изменников, то никакая власть не вправе посредничать между ними и их милостивым монархом и они должны совершенно положиться на его милосердие, ибо никаких других условий им даровать нельзя. Кардинал отказался скрепить эту декларацию своим именем, и я, подписав ее один, отослал к мятежникам. Только после этого они вышли из своих фортов, как надлежало мятежникам и как надлежит, надеюсь, всем тем, которые изменяют своему королю и своему отечеству — чтобы быть повешенными или иначе наказанными по усмотрению их государя».

Наилучшим подтверждением того, что действия Нельсона в Неаполе летом 1799 года были, так сказать, нормой для любого английского командующего в подобной ситуации, является оценка его поведения, данная лордами Адмиралтейства. Первый лорд писал Нельсону: «Намерения и мотивы, из которых исходили все Ваши меры, были чистыми и добрыми, а их успех был полным».

Начальник русского отряда в Неаполе

Г. Г. Белли пытался противодействовать вероломству Нельсона. Поведение русских в Италии радикально отличалось от поведения англичан. Кстати, сохранилось письмо Мишеру, который так отзывался о действиях русских матросов и солдат: «Конечно, не было другого примера подобного события: одни лишь русские войска могли совершить такое чудо. Какая храбрость! Какая дисциплина! Какие кроткие, любезные нравы! Здесь боготворят их, и память о русских останется в нашем отечестве на вечные времена».

В январе 1800 года корабли Ушакова ушли вначале на Корфу, а затем через некоторое время вернулись в Черное море, в российские порты.

1 августа 1799 года начались торжества и фейерверки по поводу восстановления королевской власти и освобождения Неаполя, по выражению Нельсона, «от воров и убийц». Король Фердинанд в знак благодарности наградил Нельсона титулом герцога Бронте. Титулу было придано огромное поместье на Сицилии, приносящее Нельсону 3 тысячи фунтов стерлингов в год. С этого момента адмирал подписывался Нельсон и Бронте.

Английское правительство дало согласие на принятие этой награды, что бывало не всегда. Известно, например, что английская королева Елизавета I, увидев на одном из своих дипломатов иностранный орден, воскликнула: «Мои псы должны носить только мои ошейники и никаких других!»

Во второй половине 1799 года и в начале 1800-го Нельсон разрывался между Палермо и Мальтой. Французский гарнизон, засевший в крепости, упорно не желал капитулировать, несмотря на английскую блокаду. Адмирал Кейт требовал от Нельсона, чтобы он руководил блокадой острова на месте. Нельсон же то появлялся у острова, то возвращался обратно в Палермо. Однажды, надеясь показать Гамильтонам великолепное зрелище — капитуляцию Мальты, — Нельсон взял их с собой на корабль, направлявшийся туда. Однако представление не состоялось: французы все же не сдались.

Кейт был недоволен Нельсоном, недовольны были и в Адмиралтействе. Слухи об отношениях Нельсона и Эммы Гамильтон докатились до Лондона и до его жены. Леди Нельсон занюхала было, что хочет приехать к мужу в Италию, но Нельсон коротко ответил, что ей надлежит оставаться там, где она находится.

Положение Нельсона одним казалось смешным, другим двусмысленным. В действительности оно было глубоко трагичным. Нельсон и Эмма любили друг друга, любили так сильно, что не могли скрывать свои чувства от других. Оба они страдали. Адмирал понимал, что ставит под сомне-



ние свою репутацию и в значительной степени карьеру. Для Эммы любовь к Нельсону была чревата еще большими неприятностями. Невероятными усилиями она добилась высокого положения в обществе, став достойной супругой посланника-аристократа. Ее любовь к Нельсону должна была навсегда лишить ее всего, не дав в этом отношении ничего взамен. Развод в те времена в Англии мог быть осуществлен лишь актом парламента, то есть практически был невозможен. Сэр Уильям старательно делал вид, что ничего не замечает. А жена Нельсона? Она по-прежнему оставалась в Англии, жила в кругу родственников контр-адмирала.

Еще более были недовольны в Адмиралтействе неоднократными проявлениями недисциплинированности Нельсона. Там надоели его частые письма с жалобами на здоровье (когда у Нельсона были неприятности, он тут же заболел). Лорды считали, что контр-адмирал слишком много внимания уделяет интересам Неаполитанского королевства в ущерб другим своим обязанностям. Однажды Нельсон получил от лорда Спенсера следующее строгое письмо: «Я хотел бы, милорд, чтобы Ваше здоровье позволило Вам остаться в Средиземном море. Но я думаю, согласуясь с мнением всех Ваших друзей, что Вы скорее поправитесь в Англии, чем оставаясь в бездействии при иностранном дворе, как бы ни были Вам приятны уважение и благодарность, внушенные там Вашими заслугами».

10 июня 1800 года Нельсон и супруги Гамильтон (Уильяма отзывали в Англию), а также королева Каролина на корабле «Фуудройант» вышли из Палермо в Ливорно. Из Ливорно до Анконы они проследовали по суше. Далее русский фрегат доставил дутешественников до Триеста, затем в экипажах они прибыли в Вену. Здесь Каролина осталась, а ее спутники поехали дальше, до Гамбурга, откуда морем добрались 6 ноября до Ярмута. Горацио Нельсон вернулся на родину.

## ТРАФАЛЬГАР

Пятилетие, прошедшее после возвращения Нельсона и Гамильтонов в Англию, было бурным.

Как известно, Нельсон не сумел предотвратить возвращения генерала Бонапарта из Египта во Францию. Вероятно, в Лондоне и тогда уже думали, что прибытие Бонапарта во Францию было более опасным для Англии, чем возвращение с Ближнего Востока всей французской армии, но без этого генерала. А впоследствии английские политики и подавно в этом уверились. Энергичный генерал осуществил 9 ноября — восемнадцатого брюмера — 1799 года государственный пере-

ворот и стал первым консулом Франции, то есть ее безраздельным правителем. Ничего хорошего Англии это не сулило.

Контр-адмирал вернулся на родину, не решив и второй важной задачи: Мальту при нем так и не взяли. Лишь в сентябре 1800 года англичане заставили капитулировать исчерпавший продовольственные ресурсы французский гарнизон крепости Ла-Валлетта. Для английского флота и для самого Нельсона это был весьма неприятный эпизод. Англичане более двух лет возились с осадой Мальты, тогда как русский адмирал Ф. Ф. Ушаков при менее благоприятных условиях быстро захватил укрепления Корфу.

Как-то так получилось, что в западной историографии подвиг русских моряков во главе с Ушаковым, по существу, предан забвению. Замалчиваются и промахи англичан, связанные с проходом двух легких французских судов с Бонапартом на борту через блокированное английскими кораблями Средиземное море и с бесславной осадой Мальты. Во всяком случае, Нельсон выглядит в описаниях его биографов так, будто бы все это к нему не имело ни малейшего отношения. Это лишний раз подтверждает то, что муза Клио — дама весьма капризная, к тому же не всегда справедливая и беспристрастная.

Генерал Бонапарт, сконцентрировав в своих руках власть во Франции, несколько удивил ее противников, предложив им заключить мир. Первому консулу передышка была необходима как для юридического оформления произведенных французами захватов, так и для подготовки к дальнейшему ведению войны. Кроме того, эта дипломатическая атака Бонапарта могла бы привести к расколу антифранцузской коалиции, раздираемой внутренними противоречиями. Ни сам Бонапарт, ни его главный враг, английский премьер-министр Уильям Питт не заблуждались относительно того, что речь идет в действительности не о мире, а о перемирии. Питт заявил в парламенте: «Почему я снова отрицаю мир? Потому что он ненадежен и опасен, потому что он не может быть заключен». Австрия тоже пыталась «отрицать мир», но разгром ее войск французами в июне 1800 года в Италии вынудил Вену подписать 9 февраля 1801 года мир с Францией на очень выгодных для последней условиях.

Упрочение французских позиций в Европе, бесцеремонные территориальные захваты не могли, конечно, импонировать российскому правительству. Казалось бы, это обстоятельство должно было стимулировать сближение между Санкт-Петербургом и Лондоном. Однако недолгое отношение английского правительства к союзникам, стремление вытеснить из Сре-



земного моря не только своего врага — Францию, но заодно и своего партнера — Россию, а также попытки подчинить русскую торговлю английскому контролю привели к тому, что правительство Павла I пошло на разрыв с Лондоном. Россия попыталась противопоставить британскому господству на морях Лигу вооруженного нейтралитета с участием Дании, Швеции и Пруссии. Для английских торговых судов все порты от Невы до Эльбы оказались закрытыми.

В это время произошли изменения в английском правительстве. Уильяма Питта на посту премьер-министра сменил в 1801 году Аддингтон, настроенный в пользу мира с Францией. Эти перемены затронули и Адмиралтейство. Лорд Спенсер уступил руководство военно-морским флотом графу Сент-Винценту.

Новое правительство решило провести в жизнь старый, предложенный Питтом план — послать в Балтийское море эскадру, которая должна была разгромить флоты стран — участниц Лиги вооруженного нейтралитета и силой превратить их в послушных союзников Англии. Операцию следовало осуществить не позже весны 1801 года — точнее, до того, как Балтика очистится ото льда и три эскадры (русская, шведская и датская) смогут соединиться.

Командовать балтийской экспедицией было поручено адмиралу Паркеру. Это был осторожный служака, действовавший с оглядкой и неспособный на серьезный риск. Именно такой командующий и требовался, ибо пока в решительных акциях не было нужды. Одновременно с эскадрой Паркера в Данию направлялся дипломат Ванситарт, которому надлежало попытаться под угрозой применения силы склонить датское правительство выйти из Лиги вооруженного нейтралитета и встать на сторону Англии. Вторым командующим был назначен вице-адмирал синего флага Нельсон. Это звание он получил 1 января 1801 года. Нельсон был придан Паркеру на тот случай, если вдруг понадобится прибегнуть к смелым, активным военным действиям.

15 марта 1801 года правительство Аддингтона утвердило директивы Паркеру, согласно которым в случае успеха дипломатической миссии Ванситарта английская эскадра должна была немедленно войти в Балтийское море и атаковать русскую эскадру — 12 линейных кораблей, стоявшую на рейде в Ревеле. После расправы с ней надлежало сразу же взять курс на Кронштадт, эту главную военно-морскую базу России на Балтийском море. Шведов надеялись запугать так же, как и датчан. И Паркеру и Нельсону было ясно, что основным противником в этой операции является Россия.

Эскадра вышла из Ярмута (английский порт на побережье Северного моря) 12 марта и через десять дней была уже у входа в пролив Зунд, отделяющий Данию от Швеции и ведущий в Балтийское море. Здесь от возвращавшегося из Дании Ванситарта Паркер узнал, что датчане не поддаются на шантаж и старательно укрепляют Копенгаген со стороны моря, готовясь решительно оборонять свою столицу.

Нельсон предложил нерешительному Паркеру атаковать Копенгаген, поскольку дипломатические переговоры не привели к успеху. На первый план, естественно, выдвинулся Нельсон, хотя он и был заместителем Паркера. Предстояло решить весьма трудную задачу, так как Копенгаген защищали не только корабли, форты и батареи, но и узкий пролив, изобилующий отмелями. По этой причине вся английская эскадра не могла участвовать в битве. Нельсон заявил, что берется атаковать Копенгаген лишь с 12 линейными кораблями, 5 фрегатами и флотилией канонерских лодок, бомбардирских судов и брандеров. Паркер утвердил этот план.

Риск был велик. Конечно, ни один настоящий военачальник не может избегать риска, но Нельсон часто шел по этой зыбкой стезе очень далеко. Он как бы следовал девизу молодого Гёте: «Прочь! Вперед! Прежде чем мы сломим себе шею, нам нужно покрыть себя славой».

2 апреля вице-адмирал ввел свой отряд в проход, ведущий к укреплениям Копенгагена. Он не боялся мелей и узких проходов, ибо еще в юности на Темзе приобрел большой опыт плавания в таких условиях. Но все же три корабля сели на мель. Остальные суда атаковали датские укрепления и неожиданно встретили ожесточенный отпор. Бой продолжался три часа. Отряд Нельсона сильно поредел.

Адмирал Паркер, находясь в отдалении и не имея возможности принять участие в сражении, решил, что поражение неминуемо, и приказал поднять сигнал о прекращении боя.

Капитан Фоли, командир корабля «Элефант», на котором был водружен флаг Нельсона, заметив сигнал, указал на него вице-адмиралу. Но не таков был Нельсон, чтобы отступить в разгар сражения! Опять прямое неподчинение боевому приказу. Последствия могли быть тягчайшими, но Нельсон, не раздумывая (для этого не было времени), заявил капитану Фоли: «Вы знаете, что у меня только один глаз, и потому я имею полное право быть иногда слепым. Клянусь честью, — добавил он, поднося зрительную трубу к слепому глазу, — я не вижу сигнала адмирала Паркера. Оставьте висеть мой сигнал «усилить огонь» и прибейте его, если нужно,



к брам-стенгге. Вот как я отвечаю на подобные приказания».

Постепенно ситуация начала изменяться в пользу англичан. Но это был далеко не решительный успех. Эскадра датских кораблей, не участвовавшая в бою, уничтожить которую так стремился Нельсон, оставалась неуязвимой. Обе стороны несли тяжкие потери. У англичан было 1200 убитых и раненых — на 200 человек больше, чем при Абукире. Видя, что противник может уничтожить весь отряд, Нельсон «по мотивам гуманности» предложил датчанам начать переговоры, и после ряда оттяжек 9 апреля командование английской эскадры подписало перемирие с Данией.

Так закончилось это нападение английского флота на Копенгаген, предпринятое без объявления войны. К тому моменту датчане уже знали, что 23 марта в Петербурге произошел дворцовый переворот и Павел I был убит. Какую теперь политику будет проводить Россия — станет ли она по-прежнему поддерживать Данию или захочет восстановить отношения с Англией, — предугадать было трудно.

По условиям перемирия английская эскадра получила теперь возможность беспрепятственно проходить в Балтийское море. Нельсон рвался к Ревелю. 9 апреля он писал Сент-Винценту: «Если бы от меня зависело, то я уже пятнадцать дней тому назад находился бы у Ревеля, и ручаюсь, что русский флот вышел бы из этого порта не иначе, как с разрешения нашего Адмиралтейства». Вскоре Паркер был отозван в Англию. Нельсон стал главнокомандующим и сразу же повел эскадру на восток. 12 мая корабли англичан бросили якоря на рейде Ревеля. Русской эскадры здесь не оказалось. За девять дней до этого, пробив проходы во льдах, она ушла в Кронштадт, где была недосгаема для английских судов.

Тогда Нельсон попытался придать своему вторжению в прибрежные воды России видимость визита вежливости. Начальнику прибалтийских губерний графу Палену он писал: «Я счастлив, что имею возможность уверить ваше сиятельство в совершенно миролюбивом и дружественном содержании инструкций, полученных мною относительно России. Прошу вас заверить его императорское величество, что в этом случае собственные чувства мои вполне соответствуют полученным мною приказаниям. Я не могу этого лучше выказать, как явившись лично с эскадрою в Ревельский залив или в Кронштадт, смотря по желанию его величества».

Разумеется, это лицемерное заявление никого не могло обмануть. Ответ Палена гласил: «Его величество приказал мне объявить вам, милорд, что единственно доказательством искренности ваших намерений будет немедленное удаление от

Ревеля флота, которым вы командуете, и что никакие переговоры не могут иметь места, пока военная эскадра будет находиться в виду крепостей его императорского величества».

Столетие спустя офицер русского флота А. Бутаков писал по поводу похода Нельсона в Ревель: «Мы, русские, можем со своей стороны торжествовать, что злые козни зазнавшегося английского адмирала получили в России должный отпор, и урок, преподанный Нельсону в Ревеле, был едва ли не самым чувствительным политическим афронтом для героя, испытанным им за всю его блестящую карьеру».

Вскоре в Балтийском море произошла встреча Нельсона с новым послом Лондона в России, который на английском фрегате направлялся в Санкт-Петербург. Посол по-советовал вице-адмиралу держаться вежливо и ни в коем случае не мешать намечавшемуся улаживанию отношений между Англией и Россией. Нельсону пришлось внять этому совету.

И, как всегда после неудачи, на него напала хандра, он стал донимать Адмиралтейство жалобами на плохое здоровье. Просьба об отпуске была уважена. В июне 1801 года командование балтийской эскадрой принял на себя вице-адмирал Поль, а Нельсон 1 июля вернулся в Ярмут. За Копенгаген он получил наконец долгожданный титул виконта. Других наград, однако, не последовало. Вице-адмирал возмущался такой, по его мнению, несправедливостью, публично протестовал и требовал регалий для своих капитанов, но безрезультатно.

В верхах Нельсона не любили, но дальновидные политики ценили его. Популярность же его среди простых людей, особенно после Абукира и Копенгагена, была огромна. Вице-адмирал выгодно выделялся на фоне своих бесцветных коллег. В народе считали, что Нельсон смел, удачлив, что он сможет наверняка нанести поражение врагу там, где другие это сделать ни за что не сумеют. В условиях грозной военной борьбы, когда способные военные лидеры нужны для выживания нации, люди склонны делать из них кумиров. Впрочем, вице-адмирал и не сомневался в собственной исключительности. Но он был совершенно лишен холодной, спесивой надменности, столь свойственной английским аристократам. Экспансивный, легко возбудимый Нельсон страшно любил поклонение и лесть (этим путем шла к его сердцу Эмма Гамильтон), но в то же время он был очень общителен и прост в отношениях с офицерами и матросами, неизменно заботился о здоровье и хорошем питании своих экипажей.

Однажды произошел такой случай. Со стоянки его эскадры в Англию должен был уйти фрегат, на котором отправлялась



почта. На следующий день ожидалось сражение, и все, кто мог, писали письма. Почта была запечатана в мешки и передана на фрегат, тронувшийся в путь под полными парусами. В этот момент обнаружилось, что молодой моряк, собиравший и отправлявший почту, в спешке забыл опустить в мешок собственное письмо. С растерянным видом он держал его в руке, стоя перед дежурным офицером. Офицер резко отчитал его. Случайно Нельсон находился невдалеке и видел эту сцену. «В чем дело?» — спросил он офицера. «Пустяк, не достойный вашего внимания, адмирал», — ответил тот, но Нельсон потребовал объяснений и, узнав о происшествии, отдал приказ поднять сигнал и вернуть фрегат. Письмо гардемарина было отправлено. Случай беспримерный! Он произошел на глазах сотен матросов, и на завтра его обсуждала вся эскадра. Способность вице-адмирала совершать такие поступки делала его очень популярным среди личного состава флота. В этом Нельсон был похож на Наполеона, но тот разыгрывал такие эпизоды умышленно, с целью произвести впечатление на своих солдат и офицеров. Нельсон же в гораздо большей степени руководствовался искренними порывами души.

По возвращении в Англию вице-адмирал обнаружил, что всех опять волнует тревожный вопрос о возможном вторжении французов через пролив на Британские острова. Достоверно было известно, что в Булони и других портах французского побережья сколачивается флотилия мелких судов для доставки десанта в Англию. Поэтому 24 июля 1801 года Нельсона назначили начальником английской оборонительной эскадры, состоящей из фрегатов и других судов поменьше. Он предпринял два нападения на Булонский порт. Смелые атаки были отбиты с ощутимыми потерями для нападавших, что явилось третьей — после Тенерифа и Мальты — серьезной неудачей Нельсона. Однако дело шло к миру с Францией, и промахи вице-адмирала в проливе Па-де-Кале не сказались на его военной репутации.

В октябре 1801 года Александр I подписал мирный договор с Бонапартом. Примеру своего союзника последовала Турция. А в марте 1802 года в Амьене мир с Францией заключила и Англия. Мир для нее был невыгодным, поэтому он не мог стать долговечным. Но все же была обеспечена краткая передышка. Потребность в боевых адмиралах на время уменьшилась, и Нельсон целиком погрузился в личную жизнь.

Элементарный такт требует, чтобы при рассказе о деятельности людей, сыгравших видную роль в политической или общественной жизни, в науке или культуре, о них судили в связи с результатами, кото-

рых они достигли в своей области. Нередки, однако, отступления от этой доброй традиции. Подчас биографы и мемуаристы упиваются житейскими неурядицами того или иного исторического деятеля. Обычно это делается по двум причинам. Одни с увлечением рассуждают о семейных передрагах своих героев, чтобы под предлогом «скрупулезной объективности» бросить тень на их дела, косвенно дискредитировать их заслуги. Другие же, идя таким путем, пытаются (может быть, даже иногда и бессознательно) приподнять, украсить свою собственную мелкую и незначительную персону. Максим Горький о подобных литераторах писал так: «Странные это существа. Они суетливо кружатся у подножия самых высоких колоколов мира, кружатся, как маленькие собачки, визжат, лают, сливая свои завистливые голоса со звоном великих колоколов земли; иногда от кого-нибудь из них мы узнаем, что кто-то из предков Льва Толстого служил в некоем департаменте, Гоголь обладал весьма несимпатичными особенностями характера, узнаем массу ценных подробностей в таком же духе, и хотя, может быть, все это правда, но такая маленькая, пошлая, ненужная...»

Отношения Нельсона с Эммой Гамильтон, однако, не относятся к этой категории вещей. Даже самые умные и тактические исследователи — советский историк Е. В. Тарле или американец А. Т. Мэхэн — не смогли говорить о Нельсоне, не касаясь его личной жизни. И это вполне оправдано. Слишком большую роль сыграла Эмма Гамильтон в судьбе Нельсона. Она была его соратником по политике и дипломатии, его доверенным лицом. Их переписка свидетельствует о том, что у Нельсона не было никаких служебных тайн от Эммы. К этому нужно добавить, что их связывала огромная, всепоглощающая любовь, о которой написаны сотни томов.

Если в военно-морской стратегии Нельсон был поистине выдающейся личностью, сочетая боевой опыт с полководческим талантом и прозорливостью, то в личной жизни его отличала поразительная наивность и непрактичность. Возвратившись в 1800 году из Италии в Лондон, он искренне надеялся, что его семейные дела как-то образуются, что жена его Фанни все поймет и примирится с существованием Эммы Гамильтон. Естественно, из этого ничего не получилось, произошел полный и окончательный разрыв. Нельсон написал жене прощальное письмо, в котором говорил, что она никогда не давала ему повода упрекнуть ее в чем-либо. Фанни должна была жить отдельно, все отношения, даже переписка, были прерваны. Нельсон позаботился о том, чтобы его жена ни в чем не нуждалась, он обеспечил ей пенсию в 1200 фунтов стерлингов в год. Этого было



вполне достаточно, чтобы вести образ жизни, соответствующий ее положению, — она ведь оставалась юридически супругой вице-адмирала, виконтессы Нельсон.

С октября 1801 года по май 1803 года Нельсон был свободен от служебных обязанностей и жил в Англии вместе с Гамильтонами. В 1801 году у Эммы родилась дочь, ее назвали Горацией. Фантастично, но факт — сэр Уильям как бы не знал ни о беременности своей жены, ни о рождении ребенка. Некоторые биографы утверждают, что он действительно ничего не подозревал. Эмма была женщиной изобретательной и маскировала беременность и роды тяжелым недомоганием. Девочка сразу же была отдана на сторону, кормилице. Появление ребенка на свет и его местонахождение хранились в глубокой тайне. Думается, однако, что 70-летний Гамильтон многое замечал, а об остальном догадывался, но, будучи привязан и к Эмме, и к своему прославленному другу, предпочел делать вид, что считает их отношения платоническими.

У Нельсона никогда не было своего дома, и он страстно желал приобрести его. Теперь, имея правительственную пенсию и доходы от герцогского имения в Сицилии, можно было реализовать эту мечту. Предприимчивая Эмма подыскала километрах в десяти от Лондона приличный дом с довольно обширным земельным участком. Это был Мертон. В сентябре 1801 года Нельсон стал владельцем имения. Всю сумму за Мертон — 9 тысяч фунтов стерлингов — пришлось выложить ему одному, хотя жить там предполагали и Нельсон и Гамильтоны.

Эмма с присущим ей азартом занялась перестройкой дома, перепланировкой участка. Нельсону все здесь было по душе. Он любил беседовать с часто навещавшими его капитанами, прогуливаясь по площадке, которая называлась «корма». Другая площадка именовалась «палубой». По земельному владению протекал большой ручей — приток речки Уэндл, впадавшей в Темзу. Эмма назвала его Малым Нилом. Сэр Уильям пристрастился к рыбной ловле и подолгу просиживал с удочкой на тихом берегу Малого Нила. Часто бывал он и в Лондоне, целые дни проводя в Британском музее, где находилась значительная часть его художественной коллекции. Сэру Уильяму хотелось тишины, покоя. Как все старики, он любил, уютно устроившись в кресле или на берегу речушки, поразмышлять о смысле жизни. В общем ему нужен был «спокойный дом», но Мертон не являлся таковым.

Двухэтажное здание вмещало более пятнадцати отдельных спален, а также большое число общих комнат, холлов, гостиных. И все эти помещения были заполнены многочисленными гостями — главным об-

разом родственниками Нельсона всех степеней и возрастов. За стол садилось ежедневно не менее 15—20 человек. Соседи Нельсона гордились знакомством со знаменитым адмиралом и считали за честь посетить его дом, приезжали и друзья из Лондона, среди них герцог Кларенский, лорд Минто и еще кое-кто из знати. Однако двор и свет в целом игнорировали Мертон и с демонстративным осуждением относились к «тройственному союзу» Нельсона с Гамильтонами. Эмма платила горячей ненавистью аристократическим снобам за их высокомерие. Не заботясь о мнении света, она появлялась в общественных местах вместе с Нельсоном. Эмме очень хотелось иметь открытый, большой радужный дом. Деньги считать она не умела, и Нельсон постоянно испытывал нужду в наличных средствах.

Биографы Нельсона довольно единодушно отмечают, что вице-адмирал был беден, или, точнее, небогат. «Жизнь в Мерто-не», — пишет, например, А. Бутаков, — велась широкая в угоду леди Гамильтон и очень отражалась на кармане Нельсона, всегда щедрого и всегда нуждавшегося в деньгах, между тем как его денежное содержание совсем не соответствовало его заслугам отечеству». Несомненно, однако, что Нельсон располагал достаточными средствами, чтобы жить так, как многие люди его ранга. Допустим на минуту, что его доходы составляли бы, скажем, в два раза большую сумму. Можно ли сомневаться, что и они были бы также проглочены Мертоном или еще более великолепным имением.

История знает множество случаев, когда величайшие таланты гибли, задыхаясь в нужде. Но бывает и так: говоря о том или ином деятеле, сетуют, что он страдал от бедности, от непомерных долгов, и забывают при этом сообщить, сколько, скажем, проигрывал в карты оный страдалец...

Бесспорно тем не менее, что двор, правительство и Адмиралтейство награждали Нельсона меньше, чем других адмиралов. Причин было несколько: его строптивость и самостоятельность, зависть к его выдающимся способностям, происки недоброжелателей и т.п.

Говоря об этих причинах, биографы Нельсона склонны преуменьшать значение зависти посредственностей к таланту. Недоброжелательство к нему в высших сферах и в Адмиралтействе они объясняют тем, что личная жизнь вице-адмирала была пятном на его репутации и вызывала отрицательное отношение к нему со стороны аристократии и чиновной верхушки.

В данном случае мы имеем дело с классическим английским лицемерием. Английские словари толкуют лицемерие как «лживую претензию того или иного лица вы-



глядеть добродетельным и безупречным).

Оценивать эту сторону жизни Нельсона можно и нужно только с учетом фактических, а не ханжески рекламируемых в классовых интересах моральных норм, которых придерживались круги, осуждавшие Нельсона, а иногда и подвергавшие его остракизму.

Здесь уместно вспомнить моральные принципы Гревия и Гамильтона, о которых говорилось выше. Это было не исключение, а правило.

Свидетельств тому бездна. Возьмем лишь одно из самых свежих. В июле 1973 года американский, отнюдь не прогрессивный журнал «Ньюсуик» посвятил этой проблеме специальное историческое исследование. «Нравы англичан, — отмечалось там, — всегда интриговали и сбивали с толку иностранцев. В течение веков европейцы, посещавшие эту холодную и сдержанную страну, с изумлением и часто с завистью узнавали, что разнообразие, утонченность и изобилие сексуальных развлечений в лондонском полусвете оставляют позади столицы континента». И далее автор статьи продолжал: «Англия никогда не была такой, какой ее пытались представить викторианская мораль. Если сегодня Лондон напоминает Вавилон-на-Темзе, то это не более чем роскошное издание жестокого чувственного города XVIII века... В начале XVIII века архиепископ Йоркский держал в своем доме целый гарем... Мисс Чадли была уже любовницей трех пэров, когда на костюмированном балу ее заметил Георг II. Ее георгианская эра продолжалась между двумя супружествами (причем в одном случае у нее было одновременно два мужа)».

Среди авантюристок высокого полета одна из наиболее удачливых — красавица конца XVIII века Гарриэт Вильсон. Список ее гостей читался бы как «Книга пэров» Берка. Начав публикацию своих мемуаров, она сумела собрать двойные дивиденды со своих прежних покровителей. Заключается эта статья знаменитой аксиомой актрисы Пат Кэмпбелл, относящейся к старому Лондону: «Здесь вы можете делать все, что угодно, до тех пор, пока вы не делаете этого на улице и не пугаете лошадей».

Таковы были нравы в английских верхах в конце XVIII — начале XIX века. В свете этих объективно существовавших условий и надлежит рассматривать отношение лондонской знати к Нельсону.

6 апреля 1803 года «союз трех» пришел к концу. Уильям Гамильтон скончался. Похороны состоялись в Пемброкшире. Нельсон на них не присутствовал: он не любил похорон и по возможности старался избегать подобных печальных церемоний. Эмма скорбела о кончине человека, который так много сделал для нее и всегда был

добр к ней. Правда, завещание сэра Уильяма свидетельствовало о том, что в последнее время его отношение к жене изменилось: он ничего не оставил ей, назначив своим единственным наследником Чарльза Гревия. Но Эмму это мало заботило. Все ее помыслы были сосредоточены на другом. Уход из жизни сэра Уильяма делал несколько более реальной ее «голубую мечту» — официально стать супругой своего возлюбленного. Однако на пути к алтарю все еще стояла законная леди Нельсон.

После смерти Гамильтона Эмма и Нельсон смогли наконец взять к себе нежно любимую ими обоими Горацию. Но мертоновской идиллии не суждено было долго длиться. Период неустойчивого мира заканчивался. 8 марта король обратился к парламенту с призывом готовиться к возобновлению военных действий. 16 мая Нельсон был назначен главнокомандующим Средиземноморской эскадры, а через два дня официально началась война между Англией и Францией. Британский флот возобновил блокаду французских портов. Англичане захватили много торговых судов противника. В свою очередь, французы заняли Ганновер, принадлежавший королю Георгу III, и энергично готовились к вторжению в Англию.

Переход от мира к войне ознаменовался уходом Аддингтона и возвращением на пост премьер-министра Уильяма Питта, сторонника энергичной военной борьбы против Франции. В это же время генерал Бонапарт короновал сам себя и стал императором. Его агрессивные планы, отражавшие захватнические устремления крупной французской буржуазии, создавали угрозу многим европейским державам и стимулировали создание третьей коалиции против Франции.

Нелегко налаживался этот союз. Многие разделяло союзников. Наглые претензии Англии на право контроля в открытом море торговых судов всех государств вызывали возмущение в Петербурге. Англо-русские противоречия были сильны и на Ближнем Востоке. Однако перед угрозой со стороны общего врага взаимные претензии отступили на второй план, и 11 апреля 1805 года в Петербурге был подписан англо-русский договор о союзе. В коалицию вошли Австрия, Турция и ряд других стран.

Вице-адмирал Нельсон поднял свой флаг на корабле «Виктори». Это было уже изрядно изношенное судно, спущенное на воду еще в мае 1765 года. Водонесущее — около 2 тысяч тонн, то есть обычное для трехпалубных линейных кораблей тех времен. В конце XVIII века в дни бурных мятежей на флоте «Виктори» служила плавучей тюрьмой. Теперь корабль был отремонтирован и стал флагманом эскадры Нельсона.



Опять, как и несколько лет тому назад, Нельсон караулил французский флот, базировавшийся в Тулоне. В январе французский адмирал Вильнев, воспользовавшись штормовой погодой, обманул бдительность англичан и вышел в море. Опять Нельсон терзался сомнениями относительно намерений противника. Повторилось то, что происходило в 1798 году. Нельсон решил, что Вильнев повел свои корабли на Ближний Восток, и направился к Александрии. О французском флоте там и не слышали. В это время французские суда, сильно потрепанные штормом, вернулись в Тулон.

Снова началась скучная и изнуряющая блокада. Но опять эскадра Вильнева вышла из Тулона (опять англичане ее проморгали) и, благодаря шаллоному попутному ветру, проскочив Гибралтар, двинулась на запад, через весь Атлантический океан в Вест-Индию. Там ей предстояло 35 дней ждать прихода другой французской эскадры — из Бреста. Соединившись, они вместе с союзной испанской эскадрой должны были направиться в Ла-Манш и прикрыть переправу через пролив французских сил вторжения в Англию.

Нельсон пытался, опять искать французские корабли в Средиземном море. Затем, получив из Гибралтара сведения о том, что они ушли в океан, предположил — Вильнев взял курс на Вест-Индию. Зачем туда пошли французы, он, конечно, не знал, считая, что цель — захват вестиндских английских колоний и прежде всего острова Ямайки. И тогда Нельсон принял очень ответственное решение — идти вслед за французами, нагнать их в Вест-Индии и сорвать их планы.

Завидев английскую эскадру, Вильнев, никак не ожидавший ее появления, испугался, что в распоряжении противника имеется значительно больше кораблей, чем у него, и, не выждав положенного срока, отправился обратно в Европу. На его счастье, брестская эскадра так и не вышла к нему навстречу. Нельсон послал быстророходный бриг в Англию и предупредил, что французская эскадра возвращается. Это означало, что ее следовало встретить, навязать бой и уж, по крайней мере, не дать ей возможности соединиться с испанским флотом.

Сигнал Нельсона был вовремя получен. Английский адмирал Кальдер, располагая 15 кораблями, имел стычку с 20 судами французов и испанцев, что привело, впрочем, к ничтожным результатам. Англичане взяли только два испанских корабля. Французы сумели уйти и укрылись в портах Виго и Ферроль. В Англии прокатилась буря возмущения, ибо усилилась опасность вражеского вторжения на Британские острова. Кальдера отдали под суд. Многие говорили о том, что Нельсон этого

не допустил бы. Его авторитет, на фоне трусости и нерасторопности Кальдера, вырос еще больше.

18 августа 1805 года Нельсон прибыл в Англию. «Виктори» бросил якоря на рейде Спитхеда. Адмирал крайне нуждался в отдыхе. Он отправился в Мертон, но на душе у него было неспокойно. Нельсон понимал, что предстоят решающие сражения, и, может быть, очень скоро.

Наполеон полагал, что, высадив свои войска в Англии, он не только решит исход войны в свою пользу, но и станет хозяином Европы и всего мира. Вторжение, таким образом, было самым крупным козырем новоявленного императора.

На французском побережье Ла-Манша было сконцентрировано более 120 тысяч отборных солдат. Ими командовали лучшие наполеоновские генералы. Для перевозки этих сил было собрано и построено две с половиной тысячи судов.

В Англии об этих приготовлениях знали не только правительственные сферы, но и весь народ. Тревога и страх овладели страной. Молниеносные и сокрушительные победы генерала Бонапарта в Италии произвели огромное впечатление. И всех волновал один и тот же вопрос: что может противопоставить Англия французскому вторжению?

Как моряк Нельсон считал, что Англия будет спасена только в том случае, если корабли английского флота истребят собранную французами армаду до того, как она двинется через пролив. Адмирал полагался на те средства, с которыми ему приходилось иметь дело. Преувеличенные надежды на флот лелеяли многие в Англии. И неудивительно — ведь морские традиции в стране имели многовековую давность.

Уильям Питт мыслил значительно шире, чем Нельсон. Как истинный англичанин премьер-министр любил и ценил флот, может быть, и преувеличивал его роль в войне, но он понимал, что с помощью одного флота нельзя не только выиграть войну, но даже снять угрозу французского вторжения в Англию. Это можно было сделать лишь наступлением сухопутных армий на Францию с востока и севера-востока. Именно поэтому Питт, не покладая рук и не жалея золота, трудился над созданием третьей коалиции против наполеоновской Франции. И в наиболее опасный для Англии момент — в августе 1805 года — русские войска под командованием М. И. Кутузова вступили в Западную Европу.

Навстречу Кутузову Наполеон двинул булонскую экспедиционную армию. Английские политики, допустившие столько ошибок в своих планах борьбы против Бонапарта, не имели серьезной уверенности в том, что русским удастся избежать поражения. А успех французов означал бы, что угроза вторжения могла быть только отсро-



чена. Лишь значительно позднее выяснилось, что самоотверженные действия русских армий избавили Англию от вторжения наполеоновских войск.

Нельсон надеялся отдохнуть в Англии месяц-полтора. Случилось, однако, так, что ему удалось пробыть дома всего 25 дней. И эти дни не были днями отдыха и покоя. Адмирал часто ездил из Мертон в Лондон. Там страшно тревожились по поводу того, как бы французы и испанцы не собрали свои флоты в один мощный кулак, и желали знать мнение Нельсона о степени опасности и возможных мерах для ее предотвращения. С ним много раз беседовал Уильям Питт, встречались министры, принц Уэльский — наследник престола, и, конечно, прежде всего Бархэм, новый глава Адмиралтейства.

Бархэму было уже 80 лет, но он хорошо разбирался в обстановке. Нельсона он близко не знал, но быстро усвоил суть его соображений и проникся доверием к ним. В руководящих кругах сложилось единодушное мнение, что в предстоящем решающем сражении между английским флотом и объединенным франко-испанским флотом командование должно быть поручено Нельсону. Срочно, неотложно нужна была решительная победа на море, и только Нельсон мог привести английский флот к ней. Кальдеры в такой ситуации совершенно не годились.

В конце августа Питт сказал Нельсону, что его услуги, вероятно, понадобятся очень скоро. При очередной их встрече были обсуждены все возможные варианты будущей битвы с вражескими флотами. Питт поставил прямой вопрос: «Кто должен командовать предстоящей операцией?» Нельсон ответил: «Вы не найдете лучшего человека, чем нынешний командующий — Коллингвуд». Адмирал Коллингвуд был другом Нельсона и в тот момент руководил средиземноморской эскадрой. Была ли эта рекомендация искренней? Едва ли. Уж слишком любил Нельсон морские баталии, чтобы упустить случай командовать английским флотом в таком большом и важном сражении. Питт без колебаний отверг предложение Нельсона, заявив: «Нет. Это не подойдет. Вы должны взять на себя командование». Нельсон заявил, что готов отплыть немедленно.

В предстоящем сражении англичане надеялись не просто добыть победу, а решительно сокрушить военно-морскую мощь врага (во всяком случае, такова была задача). Нельсон не мог не понимать, что такое сражение потребует больших жертв. В те дни адмиралы и капитаны в разгар боя находились на верхней палубе и подвергались той же опасности, что и рядовые матросы. Нельсон в битвах потерял глаз, затем руку, и никто не мог дать гарантий относительно того, что на этот раз шальное ядро не лишит его жизни.

Когда все формальности с назначением вице-адмирала были завершены, он написал своему верному другу, банкиру Дэвисону: «Я могу очень многое потерять и очень мало приобрести». И в самом деле, его честолюбие к этому моменту было в значительной степени удовлетворено — он прославился на всю Европу, занимал достаточно высокий пост, любил и был любим. И все это он мог потерять в один миг!

Но, несмотря ни на что, Нельсон был рад своему назначению. В том же письме к Дэвисону он поясняет: «Я иду потому, что это правильно и необходимо, и я сослужу верную службу моей стране». Для Нельсона сознание долга — это тот внутренний голос души, который диктовал ему образ действий.

Отъезд Нельсона из Англии ускорился из-за того, что адмирал Вильнев сумел ускользнуть со своими кораблями из Виго и Ферроля и уйти в открытое море. Куда он направился, в Лондоне не могли установить почти две недели. «Страна, — пишет Мэхэн, — переживала в течение двух недель слишком большой страх, чтобы пойти на риск и снова ощутить это чувство».

2 сентября один из друзей Нельсона, капитан Блэквуд, неожиданно появился в Мертоне в пять часов утра. Адмирал уже встал, был одет и даже позавтракал. Увидев Блэквуда, он понял: произошло что-то из ряда вон выходящее. Тот был послан со срочным донесением в Адмиралтейство от Коллингвуда, но предварительно заехал к Нельсону. Новость была архиважная — Вильнев наконец найден. Он вошел со своей эскадрой в Кадис и соединился там с основными силами союзного испанского флота. Для какой цели там собралось столько линейных кораблей врага — неизвестно.

13 сентября 1805 года Нельсон уехал из Мертон в Портсмут. Ехал ночью, в экипаже и утром на следующий день прибыл в порт, где его ожидал «Виктори». За полчаса до полудня его личный флаг — он стал уже адмиралом белого флага — взвился над кораблем, и в четырнадцать часов Нельсон вступил на его палубу. В этот момент, как и вообще в последние дни пребывания на английской земле, он был в радостно-приподнятом настроении — в отличие от своих соотечественников, обуреваемых мрачными, тревожными предчувствиями и страхом перед возможным французским вторжением.

Нельсону было поручено или накрепко заблокировать флот противника в Кадисе, или разбить его в решительном сражении. Он предупредил Питта: «Имейте в виду, только достаточное число кораблей есть залогом победы над неприятельским флотом». Питт и Бархэм обещали сделать все возможное. Но нужное, по мнению адмирала, количество кораблей он так и не получил. И, как это неоднократно бывало раньше,



ему прежде всего не хватало небольших крейсерских судов. Нельсон рассчитал, что встреча с противником должна скоро произойти, поскольку из-за концентрации огромного количества судов в Кадисе с многочисленными экипажами там быстро истощатся запасы продовольствия.

Пока же адмирал всячески старался выманить противника из порта. Он убрал подальше эскадру Коллингвуда, крейсировавшую вблизи Кадиса с целью обеспечить прочную блокаду франко-испанского флота. Теперь с вражеских кораблей ее нельзя было увидеть, лишь цепочка мелких судов англичан оставалась для наблюдения.

Нельсон прекрасно знал, что французские и испанские корабли превосходят во многих отношениях английские. Но боевая выучка команд — от рядовых до офицеров и капитанов — в английском флоте была значительно выше, чем у французов и тем более у испанцев, которым приходилось подолгу простаивать в портах под блокадой. Это лишало их возможности приобрести необходимый опыт и закалку. А английские корабли в это время непрерывно бороздили воды Средиземного моря и Атлантики.

Французский инженер Форре в 1802 году писал о причине превосходства англичан: «У них на кораблях все хорошо организовано... и артиллерия их хорошо действует... У нас же совершенно противное». Английские канониры стреляли более метко и быстро. Они делали по выстрелу в минуту, тогда как лучшим французским канонирам требовалось три минуты на один выстрел.

Французские адмиралы все это понимали. Особенно скептически оценивали они состояние союзного испанского флота. Адмирал Декре говорил Наполеону: «Я верю в действительную силу кораблей вашего величества и в той же степени уверен в тех кораблях Гравины, которые были уже в море. Но что касается прочих испанских кораблей, которые в первый раз выйдут из порта... под командой неопытных капитанов, то, признаюсь, я не знаю, что можно осмелиться предпринять на другой день после выступления...»

Первый вариант плана сражения Нельсон составил еще тогда, когда английская эскадра гонялась за французами в Вест-Индии. Окончательный вариант плана был сформулирован на борту «Виктори» 9 октября, вблизи Кадиса. Нельсон решил разделить свою эскадру на два отряда. Большим отрядом кораблей должен был командовать второй флагман — Коллингвуд. Ему надлежало врезаться во вражескую линию, разорвав ее на части. Затем в дело должен был вступить отряд Нельсона, которому предстояло победоносно завершить сражение. В боевом приказе учитывались многие детали, прежде всего такая немаловажная, как ветер. Кроме того, англичане осозна-

вали, что многое зависит от случая, непредвиденных обстоятельств. Поэтому Коллингвуду и капитанам кораблей предоставлялась возможность проявить инициативу. «Второй командующий будет направлять движение своей линии судов, держа ее в максимально компактном порядке, насколько позволяют условия. Капитаны должны следить за тем, чтобы занимать свое определенное место в линии. Но в случае, если сигналы (командующего. — В. Т.) будут неразличимы и непонятны, капитаны не совершат большой ошибки, поставив свой корабль против корабля противника».

Обе линии английской эскадры должны были подойти на расстояние орудийного выстрела к центру вражеской линии, с тем чтобы как можно быстрее атаковать ее и разрезать у 12-го корабля, считая от арьергарда.

Свой отряд Нельсон планировал направить на вражеский центр. Приказ требовал «приложить все усилия», чтобы захватить главнокомандующего франко-испанской эскадры адмирала Вильнева и второго командующего — испанского адмирала Гравины.

Нельсон предполагал применить ту же тактику, которой он придерживался при Абукире и у Копенгагена. Разница заключалась лишь в том, что там корабли противника были неподвижны, а у Кадиса сражение могло произойти с маневрирующей вражеской эскадрой.

Сотни книг и тысячи статей восхваляют Нельсона за произведенную им революцию в тактике военно-морского боя. Это, как и многое другое, приписывается Нельсону, требует к себе спокойного, трезвого подхода. В действительности заслуга Нельсона состояла в том, что он, по выражению английского автора У. Х. Фитчера, «приложил здравый смысл к ремеслу войны».

Задолго до Нельсона, за многие десятилетия до описываемых событий, английский флот принял далеко не рациональную тактику, ставшую затем непреложным законом. Боевые инструкции Адмиралтейства требовали от адмиралов ставить свои суда во время боя параллельно линии судов неприятеля. Получалась дуэль двух кораблей, общее сражение распадалось на изолированные схватки отдельных судов.

Первым сломал нелепую традицию, как это уже отмечалось выше, русский адмирал Ф. Ф. Ушаков. Были и в Англии до Нельсона адмиралы, которые понимали абсурдность линейной тактики. В 1756 году, например, адмирал Бинг попробовал изменить ее, но в сражении его постигла неудача, и он был казнен за своеволие. Нельсон же полностью отринул эту тактику и, поскольку ему сопутствовал успех, достиг громкой славы.

Готовясь к сражению с Вильневым, Нельсон больше всего боялся, что союзный



флот не выйдет из Кадиса или, даже если нужна и заставит его покинуть порт, уклонится от сражения с английской эскадрой. Опасения были напрасными. Нельсон не знал, что Вильнев уже не мог не принять боя, так как Наполеон был возмущен нерешительностью своих адмиралов и требовал от них эффективных действий.

Однако военно-морское дело Наполеон знал плохо и не понимал, из чего состоит победа в морском сражении.

Двинув булонскую армию на восток, против Кутузова, император решил, что и французскому флоту следует не торчать вблизи пролива между Францией и Англией, а проводить операции у берегов Испании и в Гибралтарском проливе. Вильневу был дан приказ взять на полгода продовольствия, направиться из Кадиса через Гибралтар в Средиземное море, в Картахену, и соединиться с находившимися там восемью линейными кораблями.

Одновременно с новой оперативной директивой Вильнев получил от адмирала Декре из Парижа следующее письмо: «Главное намерение императора состоит в том, чтобы отыскать в рядах, в каких бы то ни было званиях офицеров, наиболее способных к высшему начальствованию. Но чего ищет он прежде всего — так это благородной любви к славе, соревнования за почесть, решительного характера и безграничного мужества. Его величество хочет уничтожить эту боязливую осторожность, эту оборонительную систему, которые мертвят нашу смелость и удваивают предприимчивость неприятеля. Эту смелость император желает видеть во всех своих адмиралах, капитанах, офицерах и матросах, и, каковы бы ни были ее последствия, он обещает свое внимание и милости всем тем, кто доведет ее до высшей степени».

Прошло всего несколько дней, и Наполеон отдал Вильневу новый приказ, предписывавший после прибытия в Картахену проследовать к Неаполю. «Я желаю, — требовал император, — чтобы везде, где встретите неприятеля, слабейшего в силах, вы бы немедленно нападали на него и имели с ним решительное дело... Вы должны помнить, что успех предприятия зависит более всего от успешности вашего выхода из Кадиса. Мы надеемся, что вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы поскорее это исполнить, и рекомендуем вам в этой важной экспедиции смелость и наивозможно большую деятельность».

Это были не просто приказы. Наполеон сурово осуждал Вильнева. «У англичан, — говорил император, — очень поубавится спеси, когда во Франции найдутся два или три адмирала, которые желают умереть».

Не надеясь, что Вильнев по приказу обретет отвагу и мужество, Наполеон срочно направил ему замену в лице вице-адмирала Розали. Из Парижа в Мадрид, а оттуда в

Кадис путь был в те времена долгим. К тому же карета Розали сломалась в дороге, и это вызвало дополнительную задержку. Вильнев узнал о приезде своего преемника в Испанию, когда тот еще не успел добраться до Кадиса. Мог ли в этих условиях французский главнокомандующий не выйти в море? Обстоятельства работали на Нельсона, хотя он об этом так никогда и не узнал.

У союзников в Кадисе было 33 линейных корабля — 18 французских и 15 испанских. В их распоряжении было 3 французских фрегата и 2 брига. Нельсон располагал 27 кораблями. По количеству орудий англичане также были слабее союзников.

Вывод франко-испанских кораблей из порта затянулся почти на два дня. Англичане тщательно наблюдали за выдвижением противника и старались, во-первых, занять более выгодную позицию в смысле ветра и, во-вторых, стать так, чтобы Вильнев не смог укрыть после сражения свой флот в Кадисе. В результате сложного маневрирования боевая встреча двух эскадр произошла у мыса Трафальгар, что южнее Кадиса и несколько севернее Гибралтара.

21 октября 1805 года ветер был слабый и неустойчивый, шла зыбь — предвестник скорого шторма, что препятствовало выстраиванию судов в боевые линии. Поэтому французские корабли образовали нечто вроде полумесяца, на центральную часть которого двигался двумя линиями флот Нельсона. Английский адмирал очень спешил, но ветер — как много от него зависело в те годы в военно-морских баталиях! — обеспечивал движение судов со скоростью примерно пять километров в час. 100-пушечный корабль «Ройал Соверен» возглавлял линию Коллингвуда. «Виктори» под флагом Нельсона, шедший во главе второй колонны, двигался медленнее.

Уже в самом начале произошло отступление от принятого ранее плана, согласно которому Коллингвуд должен был атаковать первым. Англичане теперь шли на врага одновременно двумя колоннами, перпендикулярно к линии объединенной союзной эскадры, держа курс на ее центр, где, по их предположениям, находился корабль Вильнева.

Нельсон по привычке вышел на палубу очень рано, как всегда, в адмиральском мундире со всеми орденами, но на этот раз без шпаги. На «Виктори» был вызван капитан Блэквуд, командовавший всеми фрегатами. Нельсон распорядился, чтобы они занялись добыванием сильно поврежденных вражеских кораблей и сохранением тех судов-призов, которые будут захвачены. Блэквуд посоветовал адмиралу в целях безопасности перейти на фрегат, судно более быстрое и маневренное. Нельсон не согласился. Капитаны советовали переодеться — ведь блестящий мундир и сверкающие





Колонна, которую венчает фигура Нельсона,  
на Трафальгарской площади в Лондоне.



звезды обязательно привлекут к себе внимание врага. А если корабли «свалятся», то есть станут борт о борт и сцепятся парусами и мачтами, то расстояние, отделяющее французских стрелков от палубы «Виктории», станет совсем небольшим. Но Нельсон не обратил внимания и на это замечание.

На корабле шли последние приготовления к бою. В помещениях адмирала снимались переборки, убиралось все, что там находилось, к бортам комендоры подкатывали орудия и подносили заряды. Нельсон спустился в свою, уже преобразившуюся каюту и оформил завещание. Капитаны Харди и Блэквуд на спине нагнувшегося комендора скрепили этот документ своими подписями, с тем чтобы он имел юридическую силу. «Я уверяю, — писал Нельсон в завещании, — Эмму леди Гамильтон заботам моего короля и страны. Надеюсь, что они обеспечат ее так, чтобы она могла жить в соответствии с ее рангом. Я также завещаю милосердию моей страны мою приемную дочь Горацию Нельсон Томпсон и желаю, чтобы она именовалась в будущем только Нельсон».

Сколь поразительны наивность и простосердечие этого умудренного в походах и сражениях человека! Он был убежден, что его великая любовь к Эмме — вполне достаточное основание для того, чтобы правительство щедро ее обеспечило. Он не мог не знать — леди Гамильтон тысячу раз говорила ему об этом, — что в высшем обществе ее ненавидят, осуждают и презирают. Нельсон чувствовал это и сам. И тем не менее за несколько минут до смертельного сражения он поручает два самых дорогих для него существа заботе короля! Говорили, что, когда через несколько недель Эмме стало известно содержание этого завещания, она воскликнула: «Каким же ребенком был мой Нельсон!» Король и правительство так никогда и не исполнили последнюю волю национального героя Англии. Остаток своей жизни Эмме Гамильтон суждено было провести в тяжелой нужде и лишениях.

Примерно в 11 часов Нельсон обошел батареи, поблагодарил офицеров и комендоров за хорошую подготовку к бою. Затем дал Коллингвуду сигнал, уточняющий, в каком месте предстоит разрезать строй противника. Корабли французоз и испанцев были уже совсем близко.

Вдохновение... Оно осеняло Нельсона перед решающими сражениями. Вот и теперь, в последние минуты перед боем, он приказал поднять для всей английской эскадры сигнал: «Нельсон верит, что каждый...» Сигнальщик сказал, что в коде нет таких слов. Тогда Нельсон продиктовал короткий текст, ставший с тех пор боевым девизом его соотечественников: «Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг». Сигнал вызвал взрыв энтузиазма.

Первым вламывается в строй противника корабль «Ройал Соверен», встреченный ураганным орудийным огнем. Вслед за ним «Виктори» держит курс на огромный 130-пушечный корабль «Сантиссима Тринидад» и на «Буцентавр», где находится Вильнев. Но ветер ослабевает, и «Виктори» движется совсем медленно, а французы, видя флаг Нельсона, бьют по кораблю с особым усердием. Нельзя прорезать линию противника, не «свалившись» с одним из его судов, и «Виктори» «сваливается» с «Редутаблем». Французские артиллеристы и стрелки в течение нескольких минут выводят из строя почти всех находящихся на верхней палубе «Виктории». Из 110 человек продолжают сражаться лишь 20. Адмирал Нельсон и капитан «Виктори», могучий, широкоплечий Харди, остаются на палубе среди груды убитых и раненых. Собственно, руководить боем уже нечего. Каждый делает свое дело, зная заранее замысел адмирала. Капитан слышит слова Нельсона: «Дело слишком горячее, Харди, чтобы ему слишком долго продолжаться».

Английские корабли бьют двойными рядами в упор по амбразурам вражеских судов. Там потери и разрушения еще больше, чем у англичан. После первого же залпа «Виктори» на «Буцентавре» уничтожено 20 орудий и убито 400 человек.

Но французы ведут бой с прежним пылом. Мачты «Редутабля» усеяны стрелками, и они метко шлют свои пули на палубу «Виктори». И вдруг Харди с ужасом видит: только что стоявший рядом с ним Нельсон падает на левый бок. Наклонившись над раненым адмиралом, сквозь оглушительный шум боя он слышит: «Наконец они меня доконали».

Пуля, пущенная стрелком с мачты французского корабля, попала в эпюлет, прошла через левое плечо, легкое, позвоночник и застряла в мускулах спины. Адмирала снесли вниз, где уже была масса раненых. Он понимал, что это конец; врач стремился лишь облегчить его предсмертные муки. Но, несмотря на страдания, Нельсон продолжал тревожиться об исходе сражения. То и дело он требовал к себе капитана Харди.

А бой продолжался, и лишь через час после ранения адмирала французы дрогнули. В 14 часов с минутами французский главнокомандующий спустил свой флаг. «Буцентавр» сдался, и Вильнев попал в плен. Теперь Харди мог сойти вниз и дожить Нельсону, что взято 12 или 14 французских судов.

В 16 часов Харди поздравил адмирала с победой. «Взяты 15 кораблей», — сообщил он (как потом оказалось, в действительности к этому времени было уничтожено или захвачено 18 судов противника). «Это хорошо, — ответил Нельсон, — но я

рассчитывал на двадцать». И тут же приказал Харди стать на якорь. Адмирал предвидел, что скоро начнется шторм, и если побитые корабли не станут на якорь, то затонут или будут выброшены на прибрежные скалы.

Харди, который послал к Коллингвуду шлюпку с сообщением о ране Нельсона, заметил: «Я думаю, милорд, что теперь адмирал Коллингвуд возьмет на себя ведение дел». — «Надеюсь не сейчас, пока я еще жив», — ответил Нельсон. Так до последней минуты он не пожелал сдать командование эскадрой. В вахтенном журнале «Виктори» было записано: «Частный огонь продолжался до 4½ часов, когда по докладе лорду виконту Нельсону о победе, он скончался от своей раны».

Перед смертью адмирал все время вспоминал об Эмме и Горации, просил передать им его вещи и локоны волос. Хотел избежать традиционных похорон, когда могилей моряка становится море, и пожелал, чтобы его тело было доставлено на родину. И Харди обещал это сделать.

Нельсон умер, зная, что в последнем бою он одержал победу. Он самоотверженно исполнил свой долг, но умирал не с традиционным возгласом «Да здравствует король!», а со словами любви, обращенными к Эмме и Горации.

В те минуты, когда остановилось сердце Нельсона, сдался англичанам 18-й корабль противника. Сражение прекратилось в 17 часов 30 минут. Франко-испанский флот потерпел сокрушительное поражение. Лишь 11 вражеских кораблей ушли в Ка-

дис, а 4 спасшихся в открытом море вскоре были захвачены англичанами.

Трафальгарское сражение было самым крупным по результатам и значению из всех баталей, происшедших на море за 22 года коалиционных войн против Франции.

Харди исполнил последнюю волю своего начальника и друга. Тело Нельсона было помещено в бочку с коньяком и доставлено в Лондон. Произошло это не сразу. «Виктори» настолько пострадал в бою, что его пришлось наскоро отремонтировать в Гибралтаре, чтобы он смог дойти до Англии. Лишь 5 декабря корабль прибыл в Портсмут. Похороны адмирала Нельсона состоялись 9 января 1806 года. Но его мечта покониться в Вестминстерском аббатстве не сбылась, он был погребен в соборе святого Павла.

После событий, о которых шла речь выше, прошло 170 лет. Тот, кто впервые попадает в Лондон, в тот же день обычно направляется на Трафальгарскую площадь, ибо это одна из главных достопримечательностей сегодняшнего Лондона. В окружении фонтанов и бронзовых львов возвышается огромная колонна. Ее венчает фигура Нельсона со шпагой в руке, как бы прислонившегося к бухте толстого корабельного каната. Снизу фигура адмирала кажется маленькой, в действительности же она в три человеческих роста. На нее ушло 16 тонн меди из расплавленных французских пушек, взятых в качестве трофея при Трафальгаре. Колонна высока, и с ее вершины медному адмиралу видно море...





Командующий охранными войсками и начальник тылового района группы армий «Центр» генерал пехоты Макс фон Шенкендорф очень устал в этот день. Разнообразные и сложные должностные обязанности начальника тылового района и вообще всегда обременительны, а здесь, в России... Генерал вновь склонился над бумагами. Теперь он читал документ, в левом верхнем углу которого готическая вязь букв сплетается в титул: «Фюрер и верховный главнокомандующий вооруженными силами...» Справа дата: 14.10.42. Это оперативный приказ ставки вермахта о переходе к стратегической обороне:

«Летняя и осенняя кампании этого года, за исключением отдельных еще продолжающихся операций и намечаемых наступательных действий местного характера, завершены... Подготовка к зимней кампании идет полным ходом. Эту вторую русскую зиму мы встретим более тщательно и своевременно подготовленными. Сами русские в ходе последних боев были серьезно ослаблены и не смогут зимой 1942/43 г. располагать такими же большими силами, какие имелись у них в прошлую зиму...»

Дойдя до этого места, генерал поморщился. Год назад, в октябре 1941 года, многие считали, что с русской армией покончено раз и навсегда, а что произошло потом? Отступление от Москвы, кризис, подобного которому вермахт не знал еще в ходе войны. Справиться с этим кризисом удалось лишь отчасти.

По своему служебному положению генерал располагал достаточной информацией, чтобы вполне реально оценивать ситуацию на фронте и особенно в тылу вермахта. Тут одни партизаны чего стоят! Кстати, о партизанах — генерал нажимает кнопку звонка и обращается к возникшему в дверях адъютанту:

— Сводка происшествий на сегодня готова?

— Да, господин генерал.

— Дайте мне ее, пожалуйста!

Через минуту он читал сводку. Нападения на транспортные колонны и гарнизоны, взрывы эшелонов, другие диверсии. Одно и то же изо дня в день, но только во всевозрастающем темпе!

— Карту, пожалуйста!

Карта с нанесенными на нее данными о месте и времени нападений еще более очевидно свидетельствует: акции партизан («бандитов» — так именовались они в гитлеровских документах) не только не сократились в преддверии зимы, но определенно

## В. И. Кардашов

(Ленинград)

### «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА»

имели тенденцию к распространению. Генералу вспомнилась фраза из только что прочитанного приказа Гитлера: «Всем штабам и войсковым командирам вменяю в обязанность как можно быстрее и тщательнее закончить все приготовления к зиме, с тем чтобы не только облегчить войскам выполнение возложенных на них задач, но и создать им возможно лучшие условия для жизни и боя на весь зимний период...»

— Легко сказать «возможно лучшие условия», — рассуждал вслух генерал, продолжая разглядывать карту. — В этой проклятой стране приходится думать о минимальном, самом необходимом. — Тут внимание генерала привлекло то, что на карте, близко, очень близко от расположения штаба группы армий «Центр», и к северу от Смоленска, и к западу, и к югу, часто попадалась одна и та же фамилия: Grischin.

— Что это значит? — Генерал ткнул несколько раз пальцем в карту.

— Так зовут главаря крупной банды, господин генерал.

— Я вижу, она очень активна.

— Так точно, господин генерал, и... — адъютант чуть замаялся, — и неуловима. Во время последней операции «Шпетлезе» в сентябре банда, казалось бы, попала в западню, но все же ухитрилась выскользнуть... И это уже не первый раз!

— Кто он такой, этот Гришин? — Генерал с трудом прочел вслух фамилию.

— Мы не имеем достаточно точных сведений, господин генерал. Эта банда еще носит странное название: «Полк 13».

— Чертова дюжина?

Генерал недоуменно пожал плечами, некоторое время еще разглядывал карту, потом решительно сказал:

— Поскольку эта банда исключительно активна, прошу ежедневно — заметьте, ежедневно! — давать мне сведения о местонахождении банды. И узнайте, кто же этот Гришин. Следует по возможности быстрее,

Парад партизан в Смоленске. Июль 1944 года. Обложка одного из рукописных журналов, выпускавшихся в батальонах партизанского соединения. Журнал «Красный партизан» оформлял Анатолий Савилов.



в ближайшее время, организовать ее разгром.

Однако «организовать разгром» ни «в ближайшее время», ни в последующие 20 месяцев гитлеровцам не удалось. 29 ноября 1942 года уполномоченный шефа СД при командовании группы армий «Центр» докладывал об итогах операции против полка Гришина: «Партизаны скрылись в направлении русского фронта». Всю зиму и весну 1943 года попытки гитлеровцев расправиться с партизанами Гришина не давали успеха. В июле 1943 года в руки партизанских разведчиков попала карта командующего тыловым районом группы армий «Центр» с нанесенными на ней данными о действиях партизан. Оказалось, что на огромном пространстве, от Дорогобужа на востоке до Минска на западе и от Торопца на севере до Гомеля на юге, на карте попадались пометки: «Grischin, Grischin...». Конечно, у страха глаза велики; конечно, далеко не все значительные гитлеровцами на счет полка Гришина нападения и диверсии были действительно проведены им (их совершали другие отряды, полки, бригады советских партизан, которых было очень много в тылу группы армий «Центр»), но сам по себе факт этот очень показателен.

Декабром 1943 года датирован и другой фашистский документ о полке «13»:

«Секретно!

Известия о борьбе с бандами.

(Распространение вплоть до дивизий и равных им инстанций)

## № 7

История полка «Гришина»

(декабрь 1941 — октябрь 1943)»

Весь номер специальных «известий», издававшихся отделом «иностранных войск на Востоке», отведен истории «этой особенно активной банды» и оценкам методов борьбы с ней.

Окончилась вторая мировая война. Пришла пора подводить итоги, и вот уже на страницах буржуазных «исследований», посвященных истории советского партизанского движения, мелькает та же фамилия — Гришин.

1949 год, США, «Инфентри Джорнл», июль — август, статья «Русская скрытая армия» Брукса Макклера: «На протяжении 1943 года мощный, закаленный в борьбе отряд становится все смелее, совершая дерзкие рейды из лесистой и болотистой местности между Днепром и Сожем...»

1956 год, ФРГ, журнал «Веркунде», статья «Охота на Гришина» Хельмута Крайделя: «Борьба с отрядом Гришина, — сообщает автор, — проводилась с переменным успехом всеми охраняемыми дивизиями тылового района группы армий «Центр». Далее Крайдель, подполковник в отставке и участник антипартизанских операций гитлеровцев, сообщает: «Этот отряд стал од-

ной из опаснейших и активнейших банд в тыловом районе... Преследование этого сильного отряда шло через всю полосу группы армий с севера на юг, а затем снова на север...»

1964 год, США, огромная книга «Советские партизаны во второй мировой войне» под редакцией Джона Армстронга; здесь полк Гришина характеризуется как «являющий собой превосходное олицетворение хорошо организованного партизанского отряда, который продолжал оперировать на протяжении нескольких лет, несмотря на повторяющиеся попытки немцев уничтожить его...»

1968 год, ФРГ, книга «Советско-русская партизанская война с 1941 по 1944 год в свете немецких боевых распоряжений и приказов» Эриха Хессе: «Одним из наиболее активных крупных партизанских соединений проявил себя здесь партизанский полк под командованием Гришина... Много раз полк пересек тыловой район группы армий «Центр» с юга на север и с севера на юг...»

Немало написано о полке Гришина и в СССР<sup>1</sup>. Но все же широкому читателю он известен гораздо меньше, чем, к примеру, соединения С. А. Ковпака, А. Н. Сабурова, А. Ф. Федорова. История же полка под командованием Гришина чрезвычайно интересна и поучительна и для нас, и для наших потомков. Так кто же он, этот Гришин?

...Тяжелые и трагические дни осени 1941 года. Гитлеровские войска рвутся к Москве. Сам фашистский диктатор кричит с трибуны «Спортпаласа» в Берлине: «Этот противник разгромлен и больше никогда не поднимется!»

На пути к Москве непреодолимой для врагов стеной встали советские солдаты, а за линией фронта, в тылу врага, на земле, которая казалась фашистам навсегда завоеванной и на которой они без всякого стеснения принялись устанавливать «новый порядок», развернулось советское партизанское движение.

Темной октябрьской ночью 1941 года в родную деревню Фомино, что в Дорогобужском районе Смоленской области, возвратился младший лейтенант Сергей Владимирович Гришин...

Начинать войну ему пришлось в Белостоке. Танковый взвод, которым он командовал, прикрывал отступление советских войск, но под Минском танк Гришина был подбит, и он с группой бойцов оказался в окружении. С той поры, с июля 1941 года, лесами и болотами Белоруссии

<sup>1</sup> См.: М. Киряев, В. Звездаева, Гришинцы. Смоленск, 1958; Партизанская борьба с немецко-фашистскими оккупантами на территории Смоленщины. Смоленск, 1962; Н. Москвин, Партизанскими тропами. М., 1967; переработанное и дополненное изд. — М., 1971.



и Смоленщины пробирался на восток Гришин с товарищами. Несколько раз они устраивали засады на дорогах — удалось подбить три вражеские автомашины и уничтожить полтора десятка гитлеровцев. Так Гришин стал партизаном.

Тем временем фронт отодвигается все дальше на восток. Гришин в конце концов добрался до родной деревни. Пусть читатель представит ситуацию, теперь уже от даленную от нас третью столетия: фронт где-то далеко на востоке, где — точно неизвестно. Зато хорошо известно, что враг, сильный, злобный, наглый, — здесь, в самом центре России. Он расположился, как дома, он хозяйничает, как на собственном подворье, его администрация, его радио и газеты без стеснения объявляют Советскую власть и Красную Армию уничтоженными, они требуют признать «новый порядок», а в противном случае — смерть, смерть, смерть... И это не пустые угрозы — за месяцы своих скитаний Гришин удостоверился в том, на что способны фашисты. Но он и не думает отказываться от борьбы. Ведь не в обычаях нашего народа покоряться иноземным захватчикам, и именно здесь, на Смоленской дороге, отступающие полчища другого «завоевателя мира» — Наполеона — в полной мере познали размах и беспощадность народной войны.

Несмотря на молодость Гришина — ему только 23 года, — односельчане его уважают. Закончив педагогическое училище, а потом заочно Смоленский пединститут, он заведовал начальной школой, учил деревенских ребятишек, руководил комсомольцами села, в 1939-м был призван в армию... Земляки приходят к нему за советом: что делать? И Сергей Гришин отвечает: «Надо бороться, бороться здесь, в тылу врага». Так они начинают бороться.

Оккупационная администрация приказывает выбрать старосту. Что ж, старосту избирают, но это свой человек, патриот, и он будет выполнять поручения подпольщиков. Оккупанты нагло лгут о положении на фронте, но отец Гришина спрятал радиоприемник, и подпольщики слушают передачи из Москвы. Постепенно формируется и партизанский отряд.

Ход событий в деревне Фомино не был чем-то необыкновенным. Повсюду на оккупированной территории возникают партизанские отряды. Процесс этот отнюдь не стихает, руководят им коммунисты, специально оставленные для этого на захваченной врагом территории или оказавшиеся здесь случайно.

В Дорогобужском районе действуют и другие отряды. Например, члена бюро райкома ВКП(б), начальника районного отдела милиции Деменкова. В. И. Воронченко, до войны — инженер московского проектного института, сражавшийся в рядах московско-



Командир партизанского соединения «Тринадцать» С. В. Гришин.

го ополчения и оказавшийся в окружении, организует отряд «Дедушка».

В середине ноября Гришин собирает всю свою группу. В частности, обсуждался вопрос о том, как назвать отряд. Кто-то вспомнил о кинофильме «Тринадцать», в котором рассказывалось о столкновении тринадцати красноармейцев с бандой басмачей. И в честь этих бойцов Гришин и его товарищи решили дать отряду то же название, что было и у фильма — «Тринадцать».

Командиром отряда стал Гришин, комиссаром — Н. И. Вельмесов. «С самого начала, — писал после войны один из соратников Гришина, П. И. Звездаев, присутствовавший на собрании, — как только Гришина назначили командиром отряда, партизаны убедились, что он решителен и настойчив, что, если нужно, он сам ляжет за пулемет и первым поднимется в атаку. А личный героизм — это немаловажное качество для партизанского командира, да еще если он моложе многих своих подчиненных».

Вскоре выяснилось, что Гришин к тому же и отличный организатор, что он обладает качествами истинного партизанского вожака. Люди верили в него как в коман-





Начальник штаба Сергей Скворцов.

Комиссар партизанского соединения И. А. Стрелков.

Командир 3-го батальона Петр Звездаев.

дира, и отряд быстро рос — в декабре в нем насчитывалось уже 180 человек.

В этом месяце собрались командиры партизанских отрядов Дорогобужского района, на совещании были распределены зоны действий. Отряд «13» должен был оборонять целый «куст» деревень — Фомино, Выползово, Ректы, Павлово, Лебедево, Выгорь.

В декабре гришинцы устраивают засаду у деревни Быково, затем проводят успешную операцию в деревне Выползово... Бойцы отряда и их командир обретают боевой опыт. 14 февраля 1942 года они вместе с партизанами соединения «Дедушка» участвовали в штурме и захвате районного центра — Дорогобужа. Это был немалый успех. Но не миновали отряд и неудачи.

20 февраля Гришин с 70 партизанами получил приказ захватить деревню Петрово, чтобы оттуда совместно с другими отрядами нанести удар по станции Сафоново и прервать движение на основной магистрали Смоленск — Москва. Гришин выбил немцев из Петрова, но остальные отряды не подошли на помощь, и с утра следующего дня отряду «13» пришлось отражать атаки врага. Несколько дней он с успехом отбивал попытки гитлеровцев овладеть деревней и ушел оттуда только по приказу командования. Около половины бойцов отряда погибло, из уцелевших партизан многие были ранены. Это было суровым испытанием, и впредь Гришин по возможности избегал пассивной обороны. Армейская тактика, и это стало ясно Гришину, далеко не всегда применима в партизанской войне, здесь гораздо важнее подвижность, маневренность. В этом Гришин окончательно убедился, ког-

да его отряд покинул Дорогобужский район.

8 марта 1942 года отряд из 33 бойцов во главе с Гришиным тронулся в путь в северо-западные районы Смоленщины, где партизанское движение тогда еще не достигло такого размаха, как вокруг Дорогобужа. И отряд, затем полк, затем соединение «13» начал свой рейд по тылам врага. Продолжался этот рейд 28 месяцев и завершился 30 июня 1944 года далеко на западе.

Сразу же надо отметить, что действовал отряд «13» почти все время в прифронтовой зоне, где имелись многочисленные, часто крупные, гарнизоны врага, где гитлеровцы тщательно следили за транспортными магистралями и где они, кроме обычных охранных войск, могли привлекать и часто привлекали к операциям против партизан фронтовые части и соединения, вплоть до дивизий. Так как партизаны буквально не давали передохнуть фашистам, они были вынуждены принять особые, дотоле невиданные в других оккупированных странах меры предосторожности: все города и крупные населенные пункты были обнесены укреплениями — колючей проволокой, траншеями с дзотами. На дорогах оккупанты вырубали на сотни метров лес и кустарники. То, что в таких условиях отряд Гришина действовал столь долго и столь успешно, — свидетельство не только смелости, выдержки, боевого опыта его бойцов, но и особых, специфически партизанских качеств их командира.

Переход в северо-западные районы области оказался длительным — около полутора месяцев. Вот выдержка из отчета



Командир роты Н. Мельник.



Н. Москвин.



Командир роты Алексей Алексеев.

комиссара соединения «13» И. А. Стрелкова: «Отряд прошел через Дорогобужский, Ярцевский, Пречистенский, Слободской районы Смоленской области и к весне 1942 года пришел в Касплянский район. По пути своего движения отряд держал успешные открытые бои с карательными отрядами немцев, устраивал засады. Пополнившись за счет окруженцев и военнопленных, к приходу в Касплянский район вырос до 50 человек...»

Первый рейд был не только долгим, но и тяжелым. В деревню Мотыки Касплянского района из 33 отправившихся в путь бойцов дошло только 17. Вот фамилии уцелевших, будет нелишним упомянуть их, так как далеко не все и они дожили до радостных дней победы: Гришин, Вельмесов, начальник штаба Узлов, командиры взводов Шерстнев и Звездаев, командиры отделений Кустов и Иванов, политрук Шамов, разведчики Кутузов и Дулькин, пулеметчик Скворцов, бойцы Самсонов, Киваев, Архипов, Курносов, Юдин, Анохин. Эти люди и стали основой, костяком отряда.

Положение в северо-западных районах Смоленской области было весьма своеобразным. Фронт, не имевший сплошной линии, находился очень близко. Поэтому партизаны довольно свободно могли поддерживать связь с советским тылом через так называемые «Слободские ворота».

«Придя в Касплянский район, Особый партизанский отряд «13» развернул широкую работу по сбору оружия и вовлечению в ряды партизан осевших в деревнях окруженцев и военнопленных, — продолжает И. А. Стрелков. — Попутно отряд занимался разгромом волостей и полицейских то-

чек, организацией засад, держал успешные открытые бои с карательными экспедициями, преследовавшими партизан...»

В мае в отряде 200 человек, в июне — 700. Уже упомянутые «Известия по борьбе с бандами» с раздражением отмечали, что «приток людей в отряд огромен. Приходят люди из различных слоев населения, правда, в большинстве своем невооруженные». Все послевоенные зарубежные авторы, писавшие о Гришине, часто с деланным недоумением отмечают «огромный приток людей» в отряд Гришина, то, что ему ввиду нехватки оружия несколько раз приходилось переправлять группы в 200—300 человек через линию фронта в Красную Армию.

20 июня 1942 года партизанское командование отдало приказ о переформировании отряда в Особый партизанский полк «13». Именно с лета 1942 года оккупационные власти стали отличать полк Гришина от других партизанских отрядов и полков, именно с этого времени все чаще и чаще в сообщениях Совинформбюро стали появляться упоминания о полке «13».

Он почти постоянно в движении и потому неуловим для врага. В сентябре 1942 года командование полка сообщало в ежемесячном отчете: «Личный состав полка вооружен главным образом за счет трофейного оружия и оставленного частями Красной Армии при выходе из окружения в лесах, реках, колодцах. Боеприпасами обеспечиваемся... в большей степени за счет отбитых у противника и собранных в лесу, которые были закопаны отступающими частями Красной Армии.

Командный состав полка на 80 процен-



тов укомплектован кадровыми командирами. Рядовым и младшим комсоставом в большинстве своем полк укомплектован из людей, оставшихся в окружении и проживавших в деревнях Смоленской области...

Политико-моральное состояние личного состава полка хорошее. Питание организовано хорошее, по установленным нормам. Запас продовольствия полк имеет на месяц, транспортом для переброски обеспечен.

Проводится подготовка к зиме. Пошивка зимней одежды идет в портняжной мастерской из овчин и другого материала, захваченного у противника. Но полностью без вашей помощи одеть личный состав в теплую одежду не сможем. Плоше обстоит дело с обувью, последняя сносится...»

Таким был полк в августе 1942 года. Чтобы судить о его боевых делах, приведем несколько выдержек из того же месячного отчета всего за несколько дней — за начало августа: «В ночь на 3 августа группой партизан в 35 человек из 1-го батальона под командованием командира роты Шамова был произведен налет на противника, укрепившегося в блиндажах и окопах на высоте северо-западнее 100 — 150 метров от деревни Шекуны...

Группа партизан первого батальона 1.08.42 года из засады на большаке Рудня — Демидов обстреляла немецкую разведку...

В ночь на 2.08.42 года 2-м батальоном (командир — лейтенант Иванов) был произведен артиллерийский и минометный обстрел группировки противника в деревне Язвище...

Группа партизан из отряда Никиты Камня при старшем группы Шибалине на большаке Рудня — Демидов в районе дер. Титовщина — Лещики 3.08.42 года устроила засаду и обстреляла три машины противника с людьми...

Диверсионно-подрывная группа 1-го батальона при старшем Мельнике 3.08.42 года разбила группировку полицейских в м. Любавичи...»

Но это была лишь, если так можно выразиться, будничная, повседневная партизанская «работа», потому что с лета 1942 года партизанский полк «13» почти непрерывно вел бои с карательными экспедициями гитлеровцев, отбивая их атаки, маневрируя и нанося ответные удары. Выше уже сообщалось о том, что полк благополучно уходил от врага во время карательных экспедиций сентября — ноября 1942 года.

Вот что пишет об этом периоде в истории полка Э. Хессе: «Вплоть до конца 1942 года активность этого соединения была направлена главным образом против немецких опорных пунктов в деревнях в райо-

не Витебска. Железнодорожные линии Полоцк — Витебск и Витебск — Смоленск многократно подвергались взрыву. Начальник тылового района группы армии «Центр» фон Шенкендорф побуждал в особенности 286-ю охранную дивизию к непрестанному принятию мер против этого партизанского соединения. Хотя мероприятия охранной дивизии по подавлению партизан были поддержаны войсками корпуса, имевшимися под рукой резервами и местными соединениями (то есть полицейскими. — В. К.), операции терпели провал прежде всего благодаря искусному и в высшей степени подвижному руководству полком».

Столь же неутишительен в своих выводах и Х. Крайдель: «Руководство бандой было с самого начала целеустремленным и четким... Благодаря ловкости и энергии командира... долгое время попытки нейтрализовать силы Гришина оставались безуспешными... Благодаря частым успехам отряда, пополнение в него поступало в большом количестве».

Шенкендорф рвал и метал, его подчиненные выбивались из сил, но ничто не помогало — Гришин оставался неуловимым. В январе и феврале 1943 года полк громит вражеские гарнизоны в Руднянском, Понизовском, Велижском районах Смоленской области и соседних северо-восточных районах Витебской. Это заставляет гитлеровцев принять исключительные меры. «Еще в январе 1943 года, — пишет Э. Хессе, — командир 221-й охранной дивизии в Гомеле решил организовать погоню за Гришиным, используя особо хорошо подготовленные для зимней борьбы войска. Целью было вытеснение соединения Гришина из области тылового района группы армий». Обратите внимание, читатель, не разгромить, не уничтожить, а всего лишь «вытеснить» подальше на запад, в области, подведомственные гражданской оккупационной администрации, пусть она попробует справиться с этой проклятой «Чертовой дюжиной»!

Фашистское командование организует за полком «13» настоящую погоню. Отборные, маневренные, крупные части фашистов неотступно преследуют его. Используется все: артиллерия, танки, авиация; фашисты стремятся не дать партизанам ни дня передышки, они устраивают им ловушки, пытаются загнать в такое место, где их можно было бы надежнее окружить и затем уничтожить. Это были чрезвычайно тяжелые недели для Гришина и его товарищей. «Каждое утро, — вспоминал командир батальона Н. Москвин, — полк вступал в бой с передвижными подвижными отрядами врага. Днем подходили его главные силы, иногда с ходу бросались в атаку. Ночами, обходя расставленные врагом заслоны или сокрушая их, полк отрывался от противника, чтобы завтра снова начать бой. Такая обстановка требовала от людей нечеловеческого напря-



жения физических и духовных сил. Ночные марши совершались чаще всего по целине, на пути были разлившиеся реки, овраги, канавы, наполненные водой, затопленные лощины и непролазная грязь на полях. Полураздетые, в порванной обуви и одежде, с ногами, превращенными в сплошные язвы, люди несли на себе винтовки, пулеметы, противотанковые ружья и минометы, боеприпасы и неприкосновенный запас продовольствия, а иногда и раненых товарищей...»

Полк «13» с честью вышел из этого испытания. Со 2 марта по 25 апреля он выдержал 25 только крупных боев и уничтожил в них около 700 врагов. Много раз гитлеровцам казалось, что полк окружен, что прорваться невозможно. Но каждый раз партизаны Гришина ускользали. Вне всякого сомнения, неуловимость полка «13» была определена высокими физическими и моральными качествами его бойцов, умелой и всесторонней разведывательной деятельностью, опытом, решительностью, смелостью командиров, в первую очередь С. В. Гришина. К тому же нельзя забывать и еще одно обстоятельство. Но сначала несколько примеров.

Сентябрь 1942 года. Прикрывая во время операции «Шпетлезе» отход других отрядов, полк Гришина поневоле очутился в западне. Только с одной стороны не было карателей — со стороны покрытого лесом непроходимого, топкого болота. Однако находится местный житель, лесник, который берется вывести полк через болото по единственной, только ему одному известной, узенькой, крайне опасной тропке. И вот бойцы, гуськом, неся на плечах оружие и боеприпасы, раненых и продовольствие, ведя в поводу то и дело проваливающихся в трясины лошадей, идут через болото. Оно, это болото, простирается лишь на пять километров, но шесть часов длится изнурительный и опасный марш. К утру болото позади, и шатающиеся от усталости люди снова атакуют гитлеровцев.

Весна 1943 года. Село Дмыничи. Вечер. Полк окружен. За день партизаны отбили несколько яростных атак гитлеровцев. Враги прекратили боевые действия, они намерены дожидаться утра и расправиться с партизанами — ведь деваться им некуда. Но так только кажется. К Гришину приходит пожилой колхозник: он знает путь через болото. Спустя час в ледяной воде движутся люди и повозки. Немцы рядом, в нескольких сотнях метров, они жгут костры, греются, готовят ужин...

Во всех этих эпизодах (и их можно было бы привести гораздо больше) есть одно общее — в критический, безвыходный, казалось бы, момент на выручку приходят местные жители, патриоты — и выход находится. В неразрывном единстве партизан и населения оккупированных вра-

гом территорий и была главная сила советских партизан, в том и заключалась причина неуловимости и непобедимости полка «13».

Руководители советского партизанского движения весьма высоко оценивали «работу» полка в тылу гитлеровцев. 7 марта 1943 года, в один день с К. С. Заслоновым, Верховный Совет СССР присвоил С. В. Гришину звание Героя Советского Союза.

С мая 1943 года полк обосновался юго-восточнее Могилева, в районе Чаусы — Пропойск (ныне Славгород) — Чериков — Кричев. Один за другим было разгромлено несколько вражеских гарнизонов, на магистралях ежедневно устраивались засады. В августе же гришинцы внесли весомую лепту в знаменитую «рельсовую войну».

«В ночь с 6 на 7 августа 1943 года, — сообщает в «Истории Особого партизанского полка «13», — на железной дороге Чаусы — Могилев по специальному заданию правительства был произведен первый массовый подрыв железной дороги. 4, 1, 2, 3-й батальоны полка под покровом ночи, развернувшись цепью, неслышно пробрались к железной дороге. Незаметно для железнодорожной охраны подложили под рельсы заряды тола. Ровно в 1 час 0 мин. по общему сигналу ночную темноту разрезал залп 650 взрывов. В воздух полетели со свистом осколки рельсов...

Вторая «рельсовая война» была организована в ночь на 18 сентября 1943 года на железной дороге Могилев — Кричев, Орша — Кричев. Красная Армия на этом участке фронта готовилась к общему наступлению... И вот в ночь на 18 сентября в воздух снова полетели клочья разорванных рельсов... Железная дорога Могилев — Кричев была разрушена, и немцы не успели ее восстановить...»

Столь активные действия полка, разумеется, побуждали гитлеровское командование уделять ему особое внимание. «По данным осведомителей, вновь очень сильно и хорошо вооруженное соединение, — пишет Э. Хессе, — находилось в болотистом районе к северо-востоку от Бобруйска. Операция по подавлению, организованная 286-й охранной дивизией в Орше и 203-й охранной дивизией в Бобруйске по приказу генерала горных войск фон Кюблера, который теперь, после смерти генерала фон Шенкендорфа, стал новым начальником тылового района, должна была окончательно уничтожить соединение. В операции, проведенной частями обеих охранных дивизий и частями, имевшимися в распоряжении начальника полиции, общей численностью от 12 до 15 тысяч человек, удалось лишь окружить, но не разбить партизанский полк».



Обратим внимание на численность карателей: от 12 до 15 тысяч! В полку же Гришина на сентябрь 1943 года числилось 2224 бойца. Следует помнить, что сентябрь 1943 года — это месяц, когда советские войска наступали на огромном пространстве, когда они с ходу во многих местах форсировали Днепр, когда гитлеровское командование, пытаясь хоть как-то замедлить победоносную поступь освободителей, залатать бесчисленные бреши, возникавшие на фронте, бросало туда все, что имело в своем распоряжении. И вот в такой момент один-единственный партизанский полк «13» оттягивал на себя целую (по численности) фашистскую дивизию! Слава и хвала как рядовым героям-партизанам, так и их руководителям — они достойно исполняли свой долг перед Родиной, тем более что гитлеровцам удалось их «лишь окружить, но не разбить». Здесь мы подходим к одной из самых героических и самой трагической странице в истории полка. Речь идет о Бовкинской блокаде<sup>2</sup>.

На левом берегу Днепра, в 50 километрах к юго-востоку от Могилева, раскинулся лес — Городецкое урочище. Он не был надежным укрытием — всего 12 километров в длину, 4 — в ширину. Но обстоятельства сложились так, что именно на этом лесистом островке бойцам и командирам полка «13» пришлось пережить несколько исключительно напряженных недель.

Красная Армия наступала. 25 сентября Западный штаб партизанского движения приказал полку «13» переправиться на правый берег Днепра, чтобы там, в тылу врага, продолжать борьбу. Гришин приступил к выполнению этого приказа: отправив 4-й батальон сопровождать партизанский госпиталь за линию фронта, он с остальными батальонами двинулся на запад. Однако была получена радиограмма — идти на соединение с частями Красной Армии. Предстояло форсировать реку Проню, и полк Гришина легко сделал бы это: на Проне еще не было укреплений гитлеровцев. Но 2 октября Гришину стало известно, что госпиталь не смог перейти через линию фронта и находится в Городецком урочище. Оставлять раненых нельзя — таков партизанский закон, и полк возвращается за ними. Но на это уходит драгоценное время — два дня, гитлеровцы успевают занять оборону на реке Проне, нашим войскам не удается с ходу прорвать ее, и полк Гришина вместе с некоторыми другими отрядами оказывается зажатым между все время усиливающимися укреплениями гитлеровцев по реке Проне и Днепром.

Полк занял круговую оборону в Городецком урочище. Несколько дней партизаны ожидали скорой встречи с войсками Красной Армии, но этой надежде в тот момент не суждено было сбыться. Вскоре партизанам пришлось отбивать атаки карателей. Началась Бовкинская блокада. С 6 октября гитлеровцы стали обстреливать лес из артиллерии, а 10 октября предприняли наступление со всех сторон. Но, несмотря на огромный перевес сил, все попытки фашистов в этот и последующие семь дней разбить полк «13» не увенчались успехом.

Положение Гришина и его товарищей было необычайно трудным. Патроны и гранаты считали на сотни и десятки, их приходилось добывать у противника во время контратак.

Надо упомянуть, что партизаны в блокаде оказались не одни. Отступая, гитлеровцы ревностно исполняли приказ своего командования о превращении оставляемой советской территории в «зону пустыни». В Городецком урочище укрывалось около 20 тысяч женщин, стариков, детей...

В довершение всего почти с первого дня Бовкинской блокады партизаны голодали: продовольствия почти не было. Так прошла неделя. Отбивая атаки карателей, партизаны со дня на день ждали прихода освободителей — Красной Армии. Они несли большие потери. Гибли и женщины, и дети — ведь немцы обстреливали лес из орудий.

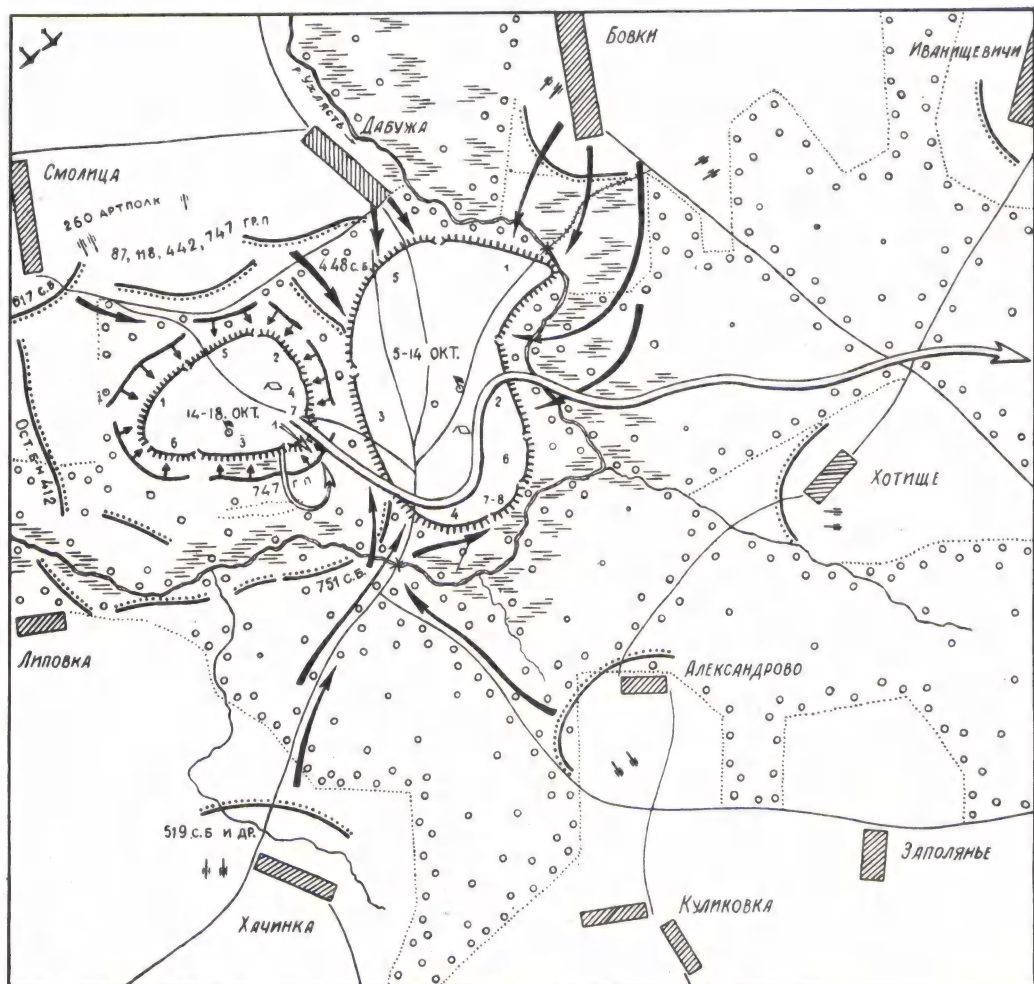
17 октября полк отразил очередной штурм. Но кольцо врага сжалось до предела. На пределе и силы истомленных, голодных, почти безоружных — боеприпасы иссякли — партизан. Вечером этого дня на совещании с комбатами Гришин решает: идти на прорыв. Рота 3-го батальона Петра Звездаева проберется через болото и ударит врагу в тыл. Начать атаку должен 1-й батальон Николая Москвина; если он не сможет пробиться из-за потерь, на прорыв идет 5-й батальон Ивана Матяша... Комбаты поднимаются, и тогда Гришин говорит:

— Я не прощаюсь с вами, друзья: надеюсь увидеть вас всех живыми!..

В 2 часа ночи батальон Москвина поднимается в атаку. Впереди, стараясь не шуметь, двигается ударная группа, 26 пулеметчиков, лучшие из лучших, храбрейшие из храбрых, с ручными пулеметами на изготовку. На правом фланге комбат, на левом — комроты Алексеев. В момент, когда гитлеровцы обнаружат партизан, пулеметчики должны своим огнем (и ценой своей жизни) хоть на несколько секунд подавить огонь противника. До окопов фашистов остается 100 метров, 80, 60...

Небо освещает взлетевшая ракета, и через несколько мгновений крошечный ад обрушивается на батальон Москвина.

<sup>2</sup> Так она именуется в документах и воспоминаниях партизан по названию деревни Бовки.



Окружение  
партизанского  
полка «13»  
противником в октябре  
1943 года (Бовкинская  
блокада).

Но его бойцы знают: спасение — и свое собственное, и товарищей — только в том, чтобы идти вперед. И они бегут вперед, гибнут десятки бойцов, но все же оставшиеся в живых врываются во вражеские окопы. Начинается рукопашная схватка, а вслед 1-му батальону идет в атаку 5-й... И полк «13» прорывает блокаду!

Командир полка и в этот раз выбрал правильное, по всей вероятности, единственно возможное направление удара. По-

слушаем Э. Хессе: «Все же ему (С. В. Гришину. — В. К.) с частью своего соединения удалось совершить прорыв в месте, на котором были сконцентрированы сильнейшие немецкие огневые средства. Находившееся здесь отделение легкой зенитной артиллерии было совершенно не искушено в партизанской войне и позволило в пред-рассветном тумане захватить себя врас-плох».

Прорыв, стоивший полку немалых



жертв, был удачен, но положение оставалось крайне напряженным. Гришин намерен был идти на восток, на соединение с Красной Армией. В этом решении его укрепляла и принятая радиограмма, в которой сообщалось, что наши войска форсировали Проню и захватили несколько деревень на ее западном берегу. Полк двинулся было на восток, но 19 октября Гришин получил новое сообщение: на западном берегу Прони наших войск нет. Предыдущая телеграмма была либо ошибочной, либо провокационной: гитлеровцы, вероятно, разгадали шифр радиограмм и рассчитывали, что в прифронтовой полосе полк можно будет легко уничтожить.

Тем временем полк вновь окружили гитлеровцы. Вечером 19 октября Гришин принимает решение, весьма характерное вообще для партизанского соединения, оказавшегося в тяжелом положении: разделившись побатальонно, уходить в разных направлениях, чтобы переправиться на правый берег Днепра и к 10 ноября соединиться в районе деревни Дулебы Березинского района. В ночь на 20 октября батальоны полка успешно осуществляют этот маневр.

Тут настала пора сказать несколько слов о том, как описываются эти события в буржуазной литературе. Выше уже не раз приводились высказывания буржуазных историков, но цитировались они выборочно, цитировались только те места, где признаются успехи полка «13» и достоинства его командиров. У читателя может сложиться представление об объективности буржуазных историков, но на самом деле все упомянутые западные авторы — злые, ярые, непримиримые враги, враги нашего строя, нашей страны.

С садистским удовлетворением они смакуют цифры из нацистских документов о потерях партизан во время карательных экспедиций, делая вид, будто не знают, что гитлеровцы в ходе своих многочисленных операций расстреливали десятки тысяч мирных жителей — женщин, детей, стариков, а затем зачисляли свои жертвы в рубрику «потери партизан». Влекомые ненавистью к нашему народу и государству, буржуазные историки не стесняются открыто исказить истину. Все упомянутые авторы без колебаний утверждают — из окружения вырвался Гришин с небольшой группой.

Правда, однако, заключается как раз в обратном: из окружения врага с успехом вышли все батальоны полка, а командир вместе со штабом, кавалерийской группой и отрядом «Победа» остался в блокированном лесу, остался, чтобы хоть на несколько часов, если удастся — на день, отвлечь внимание карателей.

Весь день 20 октября эта группа партизан вела бой с прочесывавшими лес нем-

цами, а в ночь на 21 октября попыталась прорваться из окружения. Трижды ходили в атаку Гришин и его товарищи, прежде чем сумели пробиться. Прорыв этот дорого им стоил. Был ранен в обе ноги и отполз в кусты, чтобы не стеснять товарищей, секретарь партийной организации полка Афанасий Кардаш. До последнего патрона отстреливался он от обнаруживших его на следующий день карателей, а последнюю пулю пустил в себя. При выходе из окружения был убит начальник штаба Ларион Узлов, и в кустах рядом с ним гитлеровцы нашли чемодан со штабными документами.

Сначала гитлеровцы приняли Кардаша за командира полка, и это, вместе с захваченными штабными документами, давало им повод утверждать, что полк «13» окончательно уничтожен. Они настолько обрадовались, что уже заготовили листовки, в которых говорилось о разгроме «Чертовой дюжины». Но в Кардаше, тело которого фашисты стали демонстрировать в деревнях, никто из жителей не опознал Гришина. Тем не менее фашистские «Известия» без долгих колебаний объявили полк уничтоженным, а вслед за нацистскими палачами повторили эту версию Б. Макклур, Х. Крайдель, Дж. Армстронг, Э. Хессе, повторили потому, что она их устраивает.

На самом деле полк «13» не только не был уничтожен, а в середине ноября 1942 года в составе всех батальонов находился там, где приказал командир, — на правом берегу Днепра. И после короткого отдыха возобновил борьбу. Всего в 1943 году гришинцы прошли, да не просто — с боями, 1,5 тысячи километров по территории 19 районов Смоленской, Могилевской, Витебской областей.

Напрасно хоронили полк «13» гитлеровские каратели, напрасно делают это современные буржуазные историки — еще долгие восемь месяцев после Бовкинского блокады громили врага партизаны Гришина. вплоть до июня 1944 года. Вот только одна из последних записей в дневнике боевых действий 5-го батальона полка: «В 20 час. 30 мин. 28. VI. 44 года со стороны Стехово на деревню Мокровищи двигался противник на 4 мотоциклах, легкой машине, одной бронемашине, одном самоходном орудии, с численностью немцев 25 человек. Подпустив идущую колонну на расстояние 50 метров, 9-й отряд открыл ружейно-пулеметный огонь по противнику. Бронемашина, идущая впереди колонны, двумя выстрелами из ПТР была подбита стрелком Тютюниковым. Противник, застигнутый врасплох и не ожидавший такого удара, растерялся в своих действиях. Воспользовавшись замешательством противника, 9-й партизанский отряд с криками «ура!» бросился в атаку. Противник, чувст-

вую свое безвыходное положение, бросил мотоциклы, а расчет самоходного орудия обратился в бегство. Бойцы 9-го отряда и конники настигали прячущихся во ржи немцев и расстреливали их в упор из автоматов, винтовок и пулеметов.

Находившийся в бронемашине полный генерал Файфер<sup>3</sup>, брошенный своими солдатами, пытался вылезти из бронемашины, но, увидя в 15—20 метрах приближающихся бойцов, опустил в машину и подорвался вместе с ней комплектом взрывчатого вещества, находившегося в машине... Вместе с генералом сгорели майор немецкой армии и обер-лейтенант...»

Таковы были завершающие аккорды в истории полка «13». Послужной список его бойцов очень и очень внушителен: они уничтожили 333 железнодорожных эшелона, взорвали и разрушили 97 мостов, толь-

ко крупных немецких гарнизонов разгромили — 25...

...По освобожденной советской земле движется на восток походная колонна партизанского соединения «13». Партизанам предоставлено право с почетом вернуться в Смоленск, где был устроен торжественный парад. После него — новые, боевые и трудовые, подвиги. Все они признают это, об этом говорит им и командир — Сергей Владимирович Гришин — в открытом письме, помещенном в одном из последних номеров партизанской газеты:

«Я верю, что суровая школа жизни, пройденная нами, пригодится каждому из вас в дальнейшем, что каждый партизан будет работать или воевать с тем же ожесточением, с которым он сражался в тылу с ненавистными захватчиками...

Я верю, что если одним из вас предстоит добыть пятьсот центнеров свеклы с гектара — они их добудут, и если другим прикажут достичь стен Берлина — они их достигнут.

Так вперед, товарищи!»

---

<sup>3</sup> Авторы документа ошиблись: это был командующий 4-м армейским корпусом генерал-лейтенант Фелькерс.





Автор предлагаемой работы о Петербурге Достоевского — инженер, специализирующийся в области технической физики. Два десятилетия назад он окончил Ленинградский политехнический институт (ныне он старший научный сотрудник Ленинградского университета) и с тех пор плодотворно занимался своим, так сказать основным, делом. Но уже много лет А. С. Бурмистров с огромным увлечением и не жалея труда погружается в особенный предмет изучения, который сам он определяет словом среда. Речь идет о той материальной, бытовой и духовной почве, на которой вырастает тот или иной великий деятель культуры и его творчество. Работа А. С. Бурмистрова примыкает к краеведению, но в то же время имеет свой специфический прицел и колорит.

На мой взгляд, его исследование о Петербурге Достоевского представляет несомненный интерес. На эту тему написано много, но становится ясно, что лишь теперь начинается глубокая вспашка темы. Исследователь сумел как бы вернуться на столетие с лишним назад и увидеть многие черты реального Петербурга 1860—1870-х годов, в котором рождались великие творения Достоевского. По всей вероятности, А. С. Бурмистрову много дала его основная профессия, приучившая его к сугубой точности наблюдений и строгой обоснованности выводов.

**В. КОЖИНОВ,**  
кандидат филологических наук

Наиболее яркое «городское» произведение Ф. М. Достоевского, роман «Преступление и наказание», может служить отличным примером многостороннего изображения Петербурга. Места, связанные с именами героев романа, можно отыскать в нашем сегодняшнем Ленинграде. За сто с небольшим лет многое изменилось в городе. Изменился облик улиц, домов, жилищ, изменились люди, изменилось их мироощущение. Прыжок назад на сто лет для многих наших современников — трудная психологическая задача. Задача, для решения которой надо знать обстановку Петербурга тех лет, окружение писателя той поры, духовную жизнь города того времени. Попробуем вместе с героем романа Родионом Раскольниковым пройтись по одному из его маршрутов, подробно описанных в романе, и мысленно реконструировать облик старого города, пользуясь ориентирами города современного.

## А. Бурмистров

(Ленинград)

### ПЕТЕРБУРГ В РОМАНЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Июльским вечером 186... года Раскольников вышел из дому и побрел наугад. «Он не знал, да и не думал о том, куда идти...» Но наугад ли он шел? Чуть ниже в романе написано, что «по старой привычке, обыкновенным путем своих прежних прогулок, он прямо направился на Сенную».

«Раскольников преимущественно любил эти места, — сообщает писатель, — равно как и все близлежащие переулки...» Известно, что Достоевский тоже любил бродить по этим же самым местам. В пору работы над романом писатель жил в доме Алонкина, находившемся на углу Столярного переулка и Малой Мещанской улицы (ныне дом № 14/7 на углу улицы Пржевальского и Казначейской улицы). Совсем рядом, почти напротив дома Алонкина, Достоевский поселил своего героя — бывшего студента столичного университета Родиона Романовича Раскольникова. Мы знаем, что «дом Раскольникова» — дом, вобравший в себя реалии нескольких домов<sup>1</sup>. Условно будем считать, что исходным пунктом маршрута Раскольникова является дом Шили, черты которого просматриваются в «доме Раскольникова». Дом Шили сохранился в несколько измененном виде, и его сегодняшний адрес — дом № 9 по улице Пржевальского.

Итак, путь Раскольникова начался от дома Шили. «Не доходя Сенной, — продолжает писатель, — на мостовой, перед мелочной лавкой, стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре девушке, лет пятнадцати...» Если идти от дома Шили в сторону Сенной площади по Столярному переулку, то, не доходя до Кокушкина моста, на этом участке маршрута героя романа действительно были в то время мелочные лавки. Одна из них принадлежала Рулеву и находилась в до-





«Дом Раскольникова».

ме Алонкина, другая, принадлежащая столу Черногорову, находилась в доме графа А. Г. Кушелева-Безбородко (дом № 13 по улице Пржевальского). Последняя — против окон квартиры писателя. Без сомнений, обе лавки были хорошо знакомы Достоевскому, и введенная им в роман топографическая точность в описании маршрута Раскольникова придает большую убедительность описываемым событиям.

Упоминание о том, что шарманщик с девушкой «поплелись дальше, к следующей лавочке», лишний раз подтверждает реалистическую манеру писателя, опиравшегося на точность в воспроизведении топографии района. «Следующая лавочка» была, как это явствует из адресных книг тех лет, мелочной лавкой Кислова и помещалась в доме Семенова у Кокушкина моста (современный адрес — дом № 62 по каналу Грибоедова).

Шарманщики встречаются на страницах романа «Преступление и наказание» неоднократно. Грустному повествованию об обездоленных людях Петербурга как бы вторит «музыка бедных». Так, детский надтреснутый голосок, напевающий «Хуторок» под шарманку, является фоном мучительной

исповеди Мармеладова. Звуки шарманки и куплеты певицы «накладываются» на разговор Раскольникова и Свидригайлова в трактире. С шарманкой по улице хочет пойти обезумевшая от горя и нищеты Катерина Ивановна. Частое повторение образа шарманщика в романе делает эту фигуру типической.

Селились шарманщики большей частью в Подъяческих улицах, неподалеку от местожительства Раскольникова. Знаменитые грущобы столицы находились именно здесь. Известная клоака «Вяземской лавры», притоны Таирова переулка и Сенной площади, бесчисленные трактиры, кабаки, «заведения» в Мещанских и Подъяческих улицах... Повсюду можно было встретить нищих, бродяг. Человек, попавший в эти места, невольно становился свидетелем тяжелых сцен, а нередко и их участником. Казалось, что дома играли роль жалких декораций, а на огромной сцене улиц, площадей города разыгрывались трагедии. Жизнь в этих местах была как бы вывернута из домов, углов, жилищ наружу, на улицу.

Постоянно столичные газеты извещали читателей о периодических облавах в домах «Вяземской лавры». Меры, предпринимае-



мые правительством и частными благотворительными обществами (улучшение жилищных условий малоимущего населения, бесплатные обеды, бесплатное лечение в Максимилиановской больнице, созданной по инициативе князя В. Ф. Одоевского), конечно, не могли существенно разрешить проблему нищеты и бродяжничества, которая стала темой многих статей, книг. О ней писали современники, знакомые Ф. М. Достоевского — М. А. Воронов, Н. А. Благоевещенский, М. В. Родевич, В. В. Крестовский, И. Г. Прыжов, С. В. Максимов...

«У самого К-ного переулка, — пишет Достоевский, — на углу, мецанин и баба, жена его, торговали с двух столов товаром: нитками, тесемками, платками ситцевыми и т. п.». Чем был этот угол примечателен для Достоевского? Оказывается, что близ Конного переулка (а это был именно Конный переулок, переименованный в наше время в переулок Гривцова) в 1860-х годах жил А. С. Гиероглифов — беллетрист, редактор газеты «Русский мир», в которой печатались отдельные главы романа «Записки из мертвого дома». Так впервые в жизни писателя возникла мрачная тень Ф. Т. Стелловского — владельца этой еженедельной «политической, общественной и литературной газеты с музыкальным приложением». В прогулках с Николаем Николаевичем Страховым Достоевский мог узнать, что когда-то и Страхов жил в Конном переулке (сейчас дом № 24 по переулку Гривцова)<sup>2</sup>.

Надо заметить, что в комментариях к роману до сих пор встречаются неточности. Так, например, литературовед В. Е. Холшевников в своих примечаниях к роману определяет «К-ный переулок», как Кокушкин переулок<sup>3</sup>. Достоевский был точен даже тогда, когда вводил в художественную ткань романа зашифрованные наименования улиц города. Другим примером топографической точности писателя можно считать упоминание о «столах», с которых торговали мецанин с женой. Столы размещались в деревянных бараках (балаганах), расположенных несколькими рядами вдоль Сенной площади в северной ее части, у Конного переулка, ближе к гауптвахте. Помните тот момент, описанный в романе, когда Соня шла за Раскольниковым, прячась от него за «одним из деревянных барачков, стоявших на площади».

Здесь-то, у Конного переулка, и встретил Раскольников парня в красной рубашке, «зевавшего у входа в мучной лабаз». На Сенной площади в домах действительно имелись мучные лабазы. Раскольников обратился к парню с вопросом: «Это харчевня, наверху-то?» — «Это трактир, и бильярд имеется; и принцессы найдутся...» Такой действительно на Сенной площади дом был рядом с Конным переуком. Это знаменитый «Малинник» (сейчас дом № 3



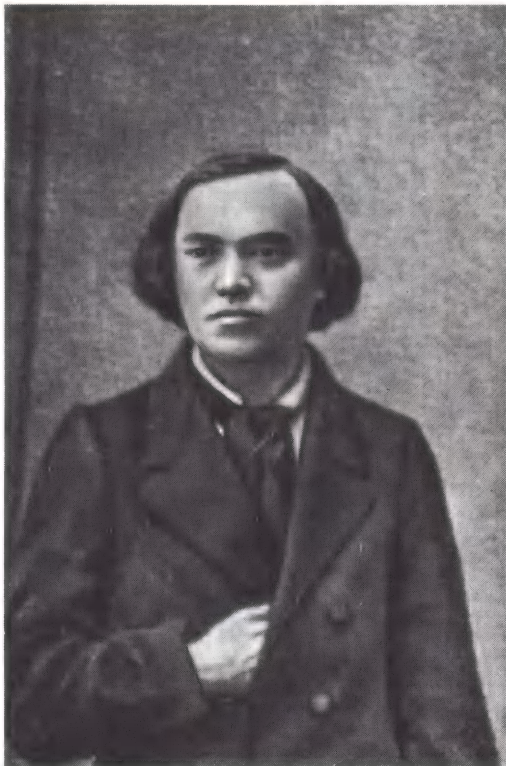
Шарманщик.

на площади Мира), в котором в те годы размещались мучной лабаз купца Гусарского, питьевое заведение Константинова, трактир Петровой, «заведения» с «принцессами». Дом, описанный в романе В. В. Крестовского «Петербургские трущобы». Дом, превосходно известный полиции, особенно начальнику столичного сыска — Ивану Дмитриевичу Путилину. В его книгах, посвященных описанию обитателей трущоб Петербурга, читатель узнает многое об этих местах, о «Малиннике», в частности. «Малинник» олицетворял одну из многих язв тогдашнего города, и писатель в данном случае стремился к воспроизведению как точности топографической, бытовой, так и точности социальной.

Сегодня невозможно представить себе облик прежней Сенной площади, на которой доминировала старейшая церковь Успения Пресвятыя Богородицы. Сейчас церкви нет, на ее месте выстроен наземный вестибюль станции метрополитена. Сюда, в угол Сенной площади, где когда-то стояла церковь, и подошел Раскольников: он «перешел через площадь», идя от «Малинника».

К церкви «Спаса на Сенной» (ее проstonародное название) примыкала знаме-





Н. Н. Страхов

нитая в Петербурге «Вяземская лавра». Ее границами служили Обуховский проспект, набережная Фонтанки, Полторацкий переулок (ныне улица Ефимова) и Сенная площадь. «Вяземская лавра» была «отодвинута» от площади каменным строением Котомина (ранее принадлежащего Полторацкому), за которым и начинался земельный участок отставного штабс-ротмистра князя А. Е. Вяземского. Сегодня лишь из архивных документов можно до какой-то степени представить размеры этой трущобы города<sup>4</sup>. В немалом лабиринте домов, барачков, сооружений иной пришелец не отважился явиться не только в вечерние часы, но и днем. В «лавре» были бани, рынок подержанных вещей, трактир, где Достоевский «устроил» встречу Раскольников со Свидригайловым. Достоевский пишет, что Раскольников «находился на -ском проспекте, шагах в тридцати или в сорока от Сенной, которую прошел. Весь второй этаж дома налево был занят трактиром. Все окна были отворены настежь; трактир, судя по двигавшимся фигурам в окнах, был набит битком. В зале разливались песенники, звенели кларнет, скрипка и гремел турецкий барабан. Слышны были жен-

ские взвизги. Он было хотел пойти назад, недоумевая, зачем он повернул на -ский проспект, как вдруг, в одном из крайних отворенных окон трактира, увидел сидевшего у самого окна, за чайным столом, с трубкою в зубах, Свидригайлова».

Трактир располагался во втором этаже четырехэтажного «Обуховского дома», окна которого выходили на Обуховский проспект. Раскольников смотрел в окна трактира, стоя на Обуховском проспекте. Таким образом и расшифровывается сокращение «-ский проспект», приводимое в романе. Дом был вторым от угла, от Сенной площади и стоял на левой стороне проспекта (сейчас на этом месте высится многоэтажный дом № 4 по Московскому проспекту).

И этот адрес был объектом внимания писателя Крестовского. В те годы между Достоевским и молодым Крестовским устанавливаются дружеские отношения. Оба любили побродить по затаенным и мрачным углам Петербурга. Тогда же, в 1864 году, в журнале «Эпоха» был напечатан отрывок из «Петербургских трущоб». На страницы романа Крестовского попал этот (по словам Достоевского) «грязный, дрянной и даже не средней руки» трактир. Отлично зная «злачные места» города, Крестовский играл роль своеобразного Вергилия, сопровождая Достоевского в его скорбных прогулках по кругам «петербургского ада».

Обычно при упоминании слов «Вяземская лавра» приходит на память слово «преступление». Журналисты и литераторы черпали немало сюжетов из этого столетнего омуты.

Раскольников идет дальше, «направо, тротуаром, по направлению к В-му. Миновав площадь, он попал в переулок...». Значит, от церкви Раскольников повернул «направо», прошел мимо «Вяземской лавры», «миновал площадь» и «попал в переулок». Раскольников и «прежде проходил часто этим коротеньким переулком, делающим колесо и ведущим с площади в Садовую». Шел, как мы видим, «по направлению к В-му», то есть к Вознесенскому проспекту. Запомним пока эту подробность.

Итак, переулок. Переулок Бринько, поворачивающий под прямым углом от площади Мира к Садовой улице. В ту пору он назывался Таировым. Почему Раскольников попал в Таиров переулок? Отчасти ответ дан в романе: «В последнее время его даже тянуло шнырять по всем этим местам, когда тошно становилось, чтоб еще тошней было». Но это ответ для Расколькова. А не был ли знаком Таиров переулок самому писателю?

Может быть, Крестовский приводил сюда Достоевского? В «Петербургских трущобах» встречается описание Таирова переулка, его обитателей, его домов, его «заведений», его





Сенная площадь.  
Литография XIX века.

притонов. Притонов с «принцессами», которых особенно много было в тупиковом доме де-Роберти (ныне дом № 4 по переулку Бринько). А может быть, Достоевскому вспомнились рассказы очевидцев, наблюдавших в холерный 1831 год, как остервенелый люд бросился на офицера, охранявшего больницу в одном из домов Таирова переулка, как выкидывали из окон больничную утварь и избивали докторов? Только благодаря личному вмешательству Николая I был приостановлен этот бунт.

Вспоминается и другое. Юность писателя, его первый литературный дебют. Тонко передал это трепетное, незабываемое чувство Порфирий Петрович в разговоре с Раскольниковым: «ужасно люблю... эту первую, юную, горячую пробу пера». В 1843 году в Петербург приехал Бальзак — автор, почитаемый Достоевским, а в № 6 и 7 журнала «Репертуар и Пантеон всех русских и европейских театров» за 1844 год появился перевод романа «Евгения Гранде», сделанный Достоевским. Печатался журнал в типографии К. И. Жернакова в трехэтажном доме де-Роберти<sup>5</sup>.

Любопытны следующие детали. Статья Раскольникова была подписана «буквой», то есть, по существу, была анонимной (как и перевод «Евгения Гранде»). Далее, Порфирий Петрович упоминает о факте слияния газеты «Еженедельная речь» с газетой «Периодическая речь», что может напоминать о происшедшем в 1842 году (незадолго до публикации перевода «Евгения Гранде») объединении двух журналов, принадлежащих издателям И. П. Песоцкому и Ф. А. Кони, результатом которого и явилось появление журнала «Репертуар и Пантеон всех русских и европейских театров». Не могло ли воспоминание Достоевского о первом литературном выступлении в 23-летнем возрасте (столько же лет было самому Раскольникову!) привести его в глухой угол Таирова переулка? Вероятно, это помогло Достоевскому описать переживания Раскольникова, связанные с публикацией статьи.

Следует добавить, что в доме де-Роберти в 1863 году помещался Комитет иностранной цензуры, в котором служили близкие друзья писателя — А. Н. Майков и Я. П. Полонский, а председателем был Ф. И. Тютчев.



Как мы видим, этот угол Таирова переулка был хорошо известен писателю.

Район, включающий Таиров переулоч, Офицерскую улицу, Вознесенский проспект, часть Екатерининского канала, Подъяческие, Мещанские улицы еще со времен Екатерины II был определен для местожительства протитутков, для размещения публичных домов. Последних в столице в 1860-х годах насчитывалось 164.

Социальная проблема, связанная с уни- зительным положением женщины, и, в част- ности, проблема проституции, привлекала пристальное внимание писателя. В романе эта тема раскрывается с помощью таких персонажей, как Соня, ради куска хлеба живущая по желтому билету (свидетельству, выдаваемому полицией), как обесеченная девочка с Конногвардейского бульвара, как Лавиза Ивановна — хозяйка «заведения», с ее неистребимым немецким акцентом. И в этой детали писатель был точен: по официальным сведениям больше половины хозяек «заведений» были немками.

Вот описание «заведений», приведенное автором статьи «Петербургская проститу- ция»: «Около Сенной, в Таировом переул- ке, помещается три дома терпимости в под-

вальном этаже, дома с дверьми прямо на улицу. У этих дверей, начиная с 10 часов, всякую ночь стоят **дежурные** проститутки и громко с нескромными жестами зазывают в свой приют»<sup>6</sup>. Сравните это описание, опубликованное в официальном справочном издании, с описанием этих же самых мест в романе: «В двух-трех местах они (про- ститутки. — А. Б.) толпились на тротуаре группами, преимущественно у сходов в нижний этаж, куда, по двум ступенькам, можно было спускаться в разные весьма увеселительные заведения. В одном из них в эту минуту, шел стук и гам на всю улицу, тренькала гитара, пели песни, и было очень весело. Большая группа женщин толпилась у входа; иные сидели на ступеньках, другие на тротуаре, третьи стояли и разговарива- ли... они разговаривали сильными голосами; все были в ситцевых платьях, в козловых башмаках и простоволосые. Иным было лет за сорок, но были и лет по семнадца- ти, почти все с глазами подбитыми».

Но жизнь кипела и здесь. Для нас важ- но то настроение, которым был проникнут Раскольников. Важны его мысли о смерти, о жизни «на аршине пространства» среди «вечного мрака», «вечного уединения»,

Лотошники на рынке.





«вечной бури». «Как бы ни жить, — раздумывает герой, — только жить!»

Мы помним, что Раскольников с Сенной площади через Тайров переулочек шел к Вознесенскому проспекту. Путь был один — по Большой Садовой улице, мимо Юсупова сада. Мимо сада проходил он недавно, идя на «пробу». Необычные мысли обуревали тогда Раскольникова. «Проходя мимо Юсупова сада, — читаем мы, — он даже очень было занялся мыслями об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить со дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь». Сколько иронии вложено писателем в эту фразу!

Да, теоретики утопического социализма мечтали о будущем человечества. Об огромных, цветущих садах писали Фурье, Сен-Симон... Писали и наши отечественные публицисты.

Юсупов сад был едва ли не единственным зеленым оазисом в этом районе города. В саду имелся пруд с островом, на котором стоял «отличный фонтан». Сад был разбит на части территории некогда огромной усадьбы князя Юсупова, дворец которого, перестроенный в конце XVIII века Д. Кваренги, стоит и поныне.

Напротив Юсупова сада по Большой Садовой улице, как и в то время, сейчас стоят дома. Дом № 49 по сегодняшней нумерации, а в те, 1860-е годы — дом Шеффера (№ 47) был хорошо знаком Достоевскому. В квартире № 26 жил Аполлон Николаевич Майков, — задушевный друг и единомышленник писателя. Здесь же, в этом доме, в квартире № 24 жили родители поэта — живописец Н. А. Майков с супругой.

И еще несколько слов о доме Шеффера. В романе Достоевский поселяет мать и сестру Раскольникова в «нумера купца Юшина», в доме на Вознесенском проспекте. В доме Шеффера была в 1860-х годах суровская лавка купца 2-й гильдии Юшина.

Известен интерес писателя к проблемам раскола, к исследованиям по вопросам раскола. В те же годы в доме Шеффера жил автор нескольких сборников по истории раскола — Федор Васильевич Ливанов.

Аполлон Майков также интересовался раскольниками. Он был знаком с чиновником Министерства внутренних дел П. И. Мельниковым (Андреем Печерским), составившим ряд официальных отчетов и написавшим работы по расколу. Сослуживец Мельникова по министерству Н. В. Вардинов — историк раскола, был известен Ф. М. Достоевскому как член Главного управления по делам печати. С С. В. Максимовым, также писавшим о расколе, До-

стоевский жил некоторое время в одном доме на Малой Мещанской (сейчас дом № 1/61 на углу Казначейской улицы и канала Грибоедова). Писали о расколе и в журналах «Время», «Эпоха» А. П. Шапов, Н. Я. Аристов — люди, которых хорошо знал Достоевский. Сама фамилия героя романа Раскольников символизирует, по замыслу автора, нечто тревожное, противостоящее сытому, эгоистическому, мещанскому укладу. Следует заметить, что среди жителей Петербурга тех лет людей с такой фамилией не значилось.

Соседний дом Куканова (№ 49) также был хорошо знаком писателю. До переезда в дом Шеффера, начиная с 1850-х годов, А. Н. Майков жил в этом доме, принадлежавшем тогда Адаму, затем Полосухину, а с 1860-х годов — Куканову. Здесь же, в этом доме, А. Ф. Писемский создавал роман «Взбаламученное море».

В квартире № 36 дома Куканова жил купец 2-й гильдии Ф. Т. Стелловский<sup>7</sup>. Он успешно стриг купоны с культурной нивы и приобрел известность как крупный музыкальный издатель, в крепких сетях которого «барахтались» многие музыканты того времени. С именем купца Стелловского связано скандальное дело о постановке на императорской сцене оперы А. Н. Верстовского «Аскольдова могила», запутанное дело о музыкальном наследии М. И. Глинки и судебное преследование А. С. Даргомыжского.

Стелловский издавал газету «Русский мир» с музыкальными приложениями, позже — журнал «Якорь» с юмористическим листом «Оса».

На Стелловского работала целая колония музыкальных «экспертов», среди которых были люди известные: например, композиторы А. Н. Серов, К. П. Вильбоа, Ю. К. Арнольди, критики — В. В. Стасов, Г. А. Ларош, Ф. М. Толстой (Ростислав)... Либретто зарубежных опер переводили А. А. Григорьев, П. И. Калашников, Н. И. Куликов, А. Н. Николаев и др.

В доме Куканова размещалась и типография Стелловского, выпускавшая произведения В. В. Крестовского, А. Ф. Писемского, Ф. М. Достоевского и других писателей<sup>8</sup>. Впрочем, о взаимоотношениях Стелловского и Достоевского следует рассказать чуть подробнее. В 1860—1861 годах в газете «Русский мир» печаталось начало романа «Записки из мертвого дома». В 1865 году — году, особенно тяжелом для Достоевского, когда кредиторы нагло теснили писателя, — судьба снова свела его со Стелловским.

Угроза описи имущества за долги и перспектива неизбежного в таких случаях попадания в «дом Тарасова» вынудила Достоевского принять тяжелые условия Стелловского. Контракт был оформлен у частного маклера Александра Барулина





В. В. Крестовский.

2 июля 1865 года<sup>9</sup>. В Петербурге процветала корпорация ростовщиков, представителем которой и был Стелловский. Его «соратники», дававшие «ссуды под проценты», соседствовали с Достоевским: в доме Шиля, в доме Шеффера, в доме Куканова.

Общение с ними помогало Достоевскому «перенести» их наиболее характерные черты на страницы романов. Стелловский бесспорно обладал качествами, необходимыми ростовщику. Это изворотливость (система подставных лиц), беспринципность и жульничество (факт прямого надувательства в договорах), цепкость (создание юридически выверенной системы гарантий и различных условий), размах, а главное — холодный, жесткий расчет, помогавший ему видеть везде прежде всего рубль и проценты с него. Если в «Бедных людях» лишь упоминается визит Макара Девушкина к Маркову где-то на Выборгской стороне, то в романе «Преступление и наказание» перед читателем выведен целый сонм алчных и жестоких существ, потерявших человеческий облик. Это Лужин, Чебаров, Кох, купец Душкин и, конечно же, коллежская регистраторша Алена Ивановна.

А издательская деятельность Стеллов-

ского, выпустившего в 1865—1866 годах дважды произведения Достоевского, разве это не образец «литературного» грабежа? И в этом Стелловскому помогали «консультанты» от литературы — такие, например, как коллежский асессор А. С. Гиероглифов, надворный советник И. П. Бочаров.

Заканчивая рассказ о доме Куканова, хотелось бы упомянуть о том, что здесь некоторое время размещался адресный стол Петербурга, в который обязан был обращаться каждый житель города при перемещении местожительства или отъезде из столицы. Ф. М. Достоевскому, часто менявшему квартиры и выезжавшему за границу, приходилось посещать адресный стол.

Мы помним, что Раскольников направился к Вознесенскому проспекту. «Он вышел, — читаем мы в романе, — в другую улицу: «Ба! «Хрустальный дворец»!» Это произошло на углу Вознесенского проспекта и Большой Садовой улицы. До сих пор все комментаторы повторяют указание А. Г. Достоевской, неверно определившей местонахождение этого заведения. Между тем в газете «Санкт-Петербургские ведомости» за 1862 год было трижды дано (по правилам того времени) объявление: «Вновь открыта гостиница **Пале-де-Кристалль**, по Садовой улице и Вознесенскому проспекту, в доме госпожи Вонлярской, где можно получать номера для приезжающих, обеды и закуски из лучших блюд; вино по сходным ценам. **А. Миллер**». Чуть позже объявление было повторено несколько подробнее: «**Пале-де-Кристалль**, вновь открытая гостиница на углу Б. Садовой и Вознесенского проспекта, в доме г-жи Вонлярской. Устроены удобные номера для приезжающих. Можно получать обеды в 1 руб. из 5 блюд и в 60 коп. из 4-х с чашкою кофе за ту же цену; ужины, закуски и пр. по порциям и по карте, и вина лучших сортов, по сходной цене. Отпускают обеды и по домам. Приготавливают заказные обеды и тут же отдают хорошо обставленные зал и комнаты для вечеров и свадеб. **А. Миллер**».

В черновых набросках к роману Достоевский пишет: «На углу Садовой и Вознесенского я набрел на одну гостиницу, и так как я знал, что в ней есть газеты, то и зашел туда, чтобы прочесть в газете, под рубрикой ежедневных событий, о том, что там написано об убийстве старухи»<sup>10</sup>. Таким образом, «Хрустальный дворец» — это и есть гостиница «Пале-де-Кристалль».

Итак, трактир «Хрустальный дворец» писатель помещает в угловой дом Вонлярской, выходивший на Большую Садовую улицу и Вознесенский проспект. В дом, где была гостиница Миллера «Пале-де-Кристалль». Сейчас это дом № 45/56 на углу проспекта Майорова и Садовой улицы. Во втором этаже этого дома со стороны Садовой можно и сегодня увидеть ряд боль-



ших окон, когда-то принадлежавших «зале» и «комнатам» гостиницы<sup>11</sup>.

Здесь уместно сказать о том, что Достоевский был знаком с И. Г. Прижовым — автором книги «История кабаков в России». Если рассмотреть своеобразный «табель о рангах» питейных заведений столицы того времени, то бросается в глаза число этих «рангов». Откровенные названия питейных заведений, таких, как «трактир», «ресторация», «питейный дом», «ведерная лавка», «штофная лавка», «винный погреб», перемежывались с замаскированными названиями «кофе-ресторан», «кухмистерская», «харчевня», в которых торговали винами, пивом, водкой на вынос и «на стол». В пьяную вахханалию как бы вовлечен весь Петербург, что достаточно четко прослежено в «Преступлении и наказании». Это и Мармеладов, и захмелевшие мужики в трактире, и пьяные в телеге и т. д. Это и бесчисленные трактиры, кабаки Петербурга. Трактир, где Раскольников слушал исповедь Мармеладова, трактир, где Раскольников был невольным свидетелем разговора студента с офицером, трактир «Вяземской лавры», трактир на Островах, трактир «Гамбринус», распивочная крестьянина Душкина и венчающий все пьяное, хмельное трактир «Хрустальный дворец».

По официальной статистике столицы на 1867 год было зарегистрировано 316 трактиров, 243 погреба, 40 кофе-ресторанов и еще много других питейных заведений, значительная часть которых находилась вблизи Сенной площади<sup>12</sup>. В Столярном переулке также было несколько подобных заведений.

Интересно происхождение слова «Пале-де-Кристалль», или «Хрустальный дворец». В 1851 году в Гайд-парке, пригороде Лондона, садовод Джозеф Пэкстон выстроил здание для Всемирной выставки. Гигантский павильон из стекла и железа, похожий на оранжерею, получил с легкой руки журналиста Жеррольда название «Хрустальный дворец». Под огромным куполом, равного которому не было в мире, разместились экспонаты из многих стран. В самом облике этого сооружения господствовал технический рационализм. Это был памятник могущественной промышленной индустрии, ее необыкновенному подъему. В восторженных описаниях поклонников технократии «Хрустальный дворец» символизировал будущее планеты<sup>13</sup>.

Летом 1862 года Достоевский посетил Лондон, он видел «Кристалльный дворец». Вот его впечатление: «Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполненскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победы торжество. Вы даже как будто начинаете бояться че-

го-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы; — не конец ли тут? не это ли уж, и в самом деле, «едино стадо». Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, людей, пришедших с одной мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся»<sup>14</sup>.

Совсем рядом, через дом от реального петербургского «Пале-де-Кристалль», на Вознесенском проспекте, ближе к Измайловскому мосту, в доме Соболевской жил Аполлон Александрович Григорьев<sup>15</sup>. Человек удивительно сложной и тяжелой судьбы, человек, богато одаренный, сотрудник журналов «Время» и «Эпоха», друг Ф. М. Достоевского.

К несчастью, Григорьев был пленником «зеленого змия», окруженный к тому же храминами Бахуса. Рядом с домом Соболевской буквально в каждом здании функционировало подобное заведение. В доме № 43 по Вознесенскому проспекту находился трактир купца Васильева, в соседнем доме № 45, как мы знаем, продавали вино при гостинице «Пале-де-Кристалль», в следующем доме № 47 торговала винами трактирщица Крундышева, да и в самом доме Соболевской был трактир Константинова. Для полноты картины достаточно напомнить, что напротив этих домов, на четной стороне проспекта, стояла Питейная контора. И судьбы друзей Григорьева, поэта Л. А. Мея, писателей Н. В. Успенского, А. И. Левитова, И. Г. Долгомостьева напоминают трагическую судьбу выдающегося критика.

В доме Соболевской Григорьев прожил свои последние нелегкие годы. С 1859 года он попал в сети Стелловского: в «Русском мире» печатались его статьи об Островском, Варлаамове. Он становится редактором «Драматического сборника», финансируемого предприимчивым Стелловским. Жадные руки купца не выпускали Григорьева. С 1863 года Стелловский начал издавать политический и литературный журнал «Якорь» с музыкальными приложениями и сатирическим листом «Оса», во главе которых был поставлен Григорьев. Здесь же, в доме Соболевской, размещалась в 1863—1864 годах редакция журнала.

За долг в 200 рублей некоему Лаздовскому в конце июня 1864 года<sup>16</sup> Григорьев





*Аполлонъ Николаевичъ  
Майковъ.*

А. Н. Майков.

попадает в «дом Тарасова», который официально назывался: «Дом содержания неисправимых должников»<sup>17</sup>. Выйдя оттуда (выкупила генеральша А. И. Бибикова), Григорьев умер через несколько дней после неприятного разговора с издателем<sup>18</sup>.

Хоронили критика друзья в складчину, провожали немногие — Н. Н. Страхов,

А. Н. Серов, Ф. М. Достоевский, В. В. Крестовский, Д. В. Аверкиев, К. И. Бибиков, А. И. Бибикова, его союзники — Лев Камбек и художник Е. Е. Бернадский. «От театра» присутствовал актер П. В. Васильев. Скромными поминками в какой-то кухмистерской отметили они это скорбное событие...

Но если вспомнить роман «Преступление и наказание», то в нем присутствуют факты трагической биографии Григорьева. Например, пребывание Свидригайлова в «доме Тарасова» или эпизоды, связанные с похоронами Мармеладова на Митрофаньевском кладбище, где был похоронен А. А. Григорьев.

В посмертной статье, посвященной Григорьеву, Ф. М. Достоевский отметил цельность его натуры. «Человек он был, — писал Достоевский, — непосредственно, и во многом даже себе — неведомо — почвенный, кряжевой. Может быть из всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура (не говорю как идеал; это разумеется)»<sup>19</sup>.

...Из трактира «Хрустальный дворец» Раскольников «прошел прямо на —ский мост...». Мостов, к которым он мог направиться от трактира «Хрустальный дворец», было три. Измайловский — через Фонтанку, Новый Никольский и Вознесенский — через Екатерининский канал. К какому же мосту пошел Раскольников? Используя принцип «близости», мы должны остановиться на Вознесенском мосте. Позже мы докажем, почему этот мост имел в виду писатель.

Раскольников «стал на середине, у перил, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдоль». Здесь важна каждая деталь, любой штрих. Не будем упускать их из виду. Если реконструировать этот участок маршрута героя, то он пролегал по той стороне проспекта, на которой расположены дома с нечетными номерами, кстати, на этой же стороне находилась гостиница «Пале-де-Кристалль». Раскольников повернулся по направлению к Подъяческим улицам. В вечерний час (а было уже больше 9 часов) лучи заходящего солнца освещали окна домов, стоящих на левой стороне канала.

На мосту произошел трагический случай с Афросиньей, пытавшейся покончить с собой. Она подошла к Раскольникову, все еще стоявшему на мосту, с другой стороны и стала «подле него, справа, рядом». «Вдруг, — читаем мы, — она облокотилась правой рукой о перила, подняла правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую, и бросилась в канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла, и ее тихо понесло вниз по течению...» Мы снова убеждаемся в точности писателя. Раскольников смотрел на канал в сторону Подъяческих улиц и поэтому мог наблюдать всю процедуру по извлечению Афросиньи из воды. И удививший до наших дней гранитный спуск со ступенями, с которого было удобнее всего оказывать помощь несчастной женщине на правой набережной канала, воспроизведен Достоевским точно.

На Ново-Никольском мосту такого



Питейный дом.

спуска со ступенями нет, нет и жилых домов на левой стороне канала, если смотреть от моста вниз по течению. От Измайловского моста очень далеко до полицейской конторы, куда хотел направиться Раскольников. Остается все тот же Вознесенский мост. Но почему Вознесенский мост выбрал писатель? Не потому ли, что он находится совсем неподалеку от квартиры Достоевского? Или, может быть, писатель, посещая церковь Вознесения Господня, расположенную у Вознесенского моста, часто проходил через него?

Поступок Афросиньи вызвал у снедаемого бесом гордыни Раскольникова только чувство отвращения; ему претило именно таким образом «покончить дело». Ему казалось, что нужно явиться с повинной в полицейскую контору. Он знал определенно: несмотря на поздний час, контора еще открыта. Раскольников «направился в ту сторону, где была контора». Тихо, не спеша шел он «по набережной канавы» к ней. «Аршин пространства будет», — рассуждал он дорогой. В романе подробно описан маршрут, которым должен был идти герой от Вознесенского моста к конторе. «В контору, — пишет Достоевский, — надо было





А. Григорьев.

идти все прямо и при втором повороте взять влево: она была тут в двух шагах». Если сегодня пойти путем Раскольниковов от моста по набережной канала Грибоедова по ее нечетной стороне, то мы действительно должны будем сделать два поворота: один — у Казначейской улицы, а другой — у Кокушкина моста, где набережная канала круто поворачивает влево и где находится дом № 67, в котором в те годы располагалась полицейская контора 3-го квартала Казанской части.

Почему мы говорим о Казанской части? Определить адрес конторы нам помогают некоторые детали, учитывая которые мы должны, помня о том, что у Достоевского «лишних» слов не бывает. Достаточно вспомнить оброненную фразу Заметова в разговоре с Раскольниковым в трактире «Пале-де-Кристалль» о том, что «в нашей-то части, старуху-то убили». Это помогает нам ограничиться тем районом города, в котором жил Раскольников. В 1860-х годах в Петербурге имелось 13 частей, в числе которых была и Казанская (бывшая 2-я Адмиралтейская) часть. Казанская часть охватывала территорию города, ограниченную набережными Крюкова канала, Мойки и

Екатерининского канала. Эта территория дробилась для удобства на несколько кварталов. Столярный переулоч, в котором жил наш герой, относился как раз к Казанской части. В каждом квартале была своя полицейская контора; ближайшая из них находилась совсем неподалеку от Столярного переулоча, в доме № 67 по набережной Екатерининского канала. Эта контора будет объектом нашего внимания. Ее адрес приведен в официальных справочных изданиях того времени<sup>20</sup>.

Сюда, в полицейскую контору 3-го квартала Казанской части, был вызван Раскольников по повестке за неуплату денег квартирной хозяйке Зарницыной. «Серая, сложенная вдвое бумажка, запечатанная бутылочным сургучом», была похожа на ту повестку, которую получил сам Достоевский 5 июня 1865 года. Он должен был явиться в контору квартального надзирателя 3-го квартала Казанской части по поводу «неплатежа крестьянину Семену Матвееву Пушкину и присяжному стряпчему Павлу Лыжину по векселям» денег.

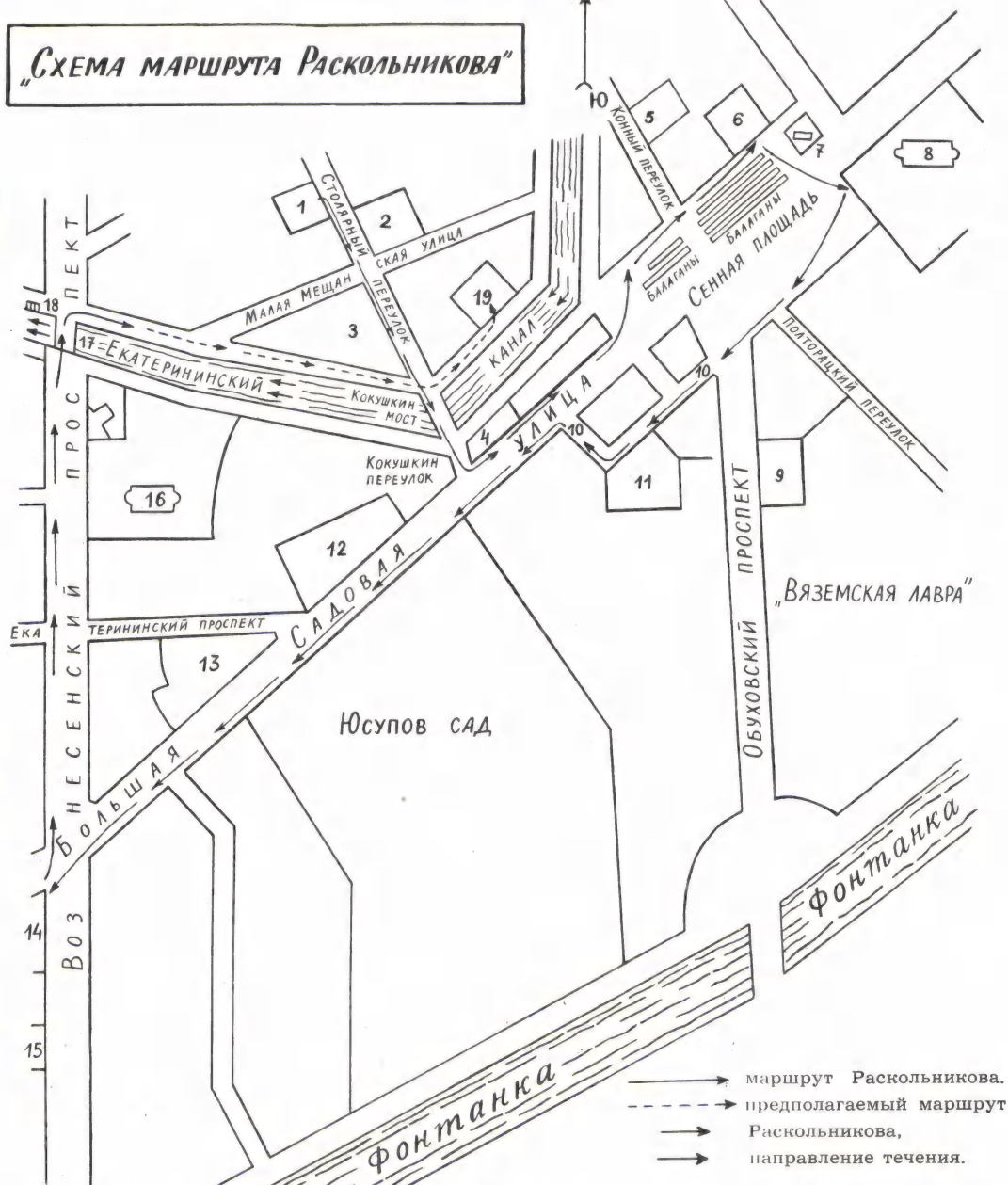
«Контора, — читаем мы, — была от него (Раскольниковов. — А. Б.) с четверть версты». Если сегодня пройти от дома № 9 по улице Пржевальского (бывший дом Шила, в котором жил Раскольников), до дома № 67 по набережной канала Грибоедова (где находилась полицейская контора) самым удобным маршрутом — по улице Пржевальского к Кокушкину мосту и затем повернуть налево по набережной канала Грибоедова, не переходя канал, — то расстояние будет равно той же «четверть версты».

Вот как описывает Достоевский контору в романе: «Она только что переехала на новую квартиру, в новый дом, в четвертый этаж. На прежней квартире он был когда-то мелком, но очень давно. Войдя под ворота, он увидел направо лестницу... Лестница была узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни всех квартир во всех четырех этажах отворялись на эту лестницу...» Рассматривая планы дома № 67, сохранившиеся в архивах, мы убеждаемся в правильности воспроизведенных писателем деталей дома<sup>21</sup>. В небольшой прямоугольный двор пройти можно было через подворотню. Значит, были ворота. Справа от ворот, сохранившихся до нашего времени, существует и ныне вход на лестницу, довольно-таки невзрачную.

Достоевский отмечает, что дом был заселен. Проверить этот факт нам помогает адресная книга Петербурга тех лет. В доме жили мелкие чиновники, лекарь, ветеринар, музыкант, прачка, повар...

В состав полицейских чинов конторы в те годы входили надзиратель, старший помощник надзирателя и младший помощник надзирателя. В романе, как мы знаем, также фигурирует надзиратель — капитан Ни-

# "СХЕМА МАРШРУТА РАСКОЛЬНИКОВА"



Исторические адреса объектов (в скобках — современные адреса):

1. Дом Шиля (дом № 9 по улице Пржевальского).
2. Дом Алонкина (дом № 14 по улице Пржевальского).
3. Дом графа А. Г. Куселева-Безбородко (дом № 13 по улице Пржевальского).
4. Дом Семенова (дом № 62 по набережной канала Грибоедова).
5. Дом № 24 по Конному переулку (дом № 24 по переулку Гривцова).
6. «Малинник» (дом № 3 на площади Мира).
7. Гауптвахта (дом № 37 по Садовой улице).
8. Церковь Успения (снесена).
9. «Обуховский дом» (дом № 4 по Московскому проспекту).
10. Тайров переулок (переулок Бринько).

11. Дом де-Роберти (дом № 4 по переулку Бринько).
12. Дом Шеффера (дом № 49 по Садовой улице).
13. Дом Куканова (дом № 51 по Садовой улице).
14. Гостиница «Пале-де-Кристалль» (дом № 56 по Садовой улице).
15. Дом Соболевской (дом № 49 по проспекту Майорова).
16. Церковь Вознесения Господня (снесена).
17. Вознесенский мост.
18. Спуск на набережной Екатерининского канала (спуск на набережной канала Грибоедова).
19. Дом № 67 на набережной Екатерининского канала (дом № 67 на набережной канала Грибоедова).



кодим Фомич, его помощник поручик какого-то полка Илья Петрович Порох и писмоводитель Александр Григорьевич Заметов. В 1865 году, когда Достоевского вызывали в контору по делу о векселях, должность надзирателя занимал поручик Иван Николаевич Пикар, а младшего помощника — подпоручик Алексей Алексеевич Макаров. Должность же старшего помощника надзирателя была вакантной. Повестку по вызову Достоевского подписал Макаров. Писатель, вспоминая об этом, писал: «...помощник квартального приходил ко мне для исполнения. Но я с помощником квартального тогда подружился и он мне много тогда способствовал разными сведениями, которые потом пригодились для Преступления и Наказания»<sup>22</sup>. Неправдоподобной представляется, на наш взгляд, версия исследовательницы романа Г. Коган о том, что квартальный надзиратель Макаров был прототипом Никодима Фомича<sup>23</sup>. Младший помощник квартального надзирателя А. А. Макаров мог быть прототипом только писмоводителя Заметова. В романе поручик Порох печалится по поводу ухода Заметова. И действительно, после реформ полиции в 1866 году Макаров занимает уже новую должность — «экзекутора журнальной части при полицейском управлении». Необходимо добавить, что упоминание о службе Пороха в каком-то (в черновых набросках к роману уточнено — в гусарском) полку соответствовало действительности. В полицейской конторе (с 1866 года полицейском участке) служили прикомандированные от различных полков офицеры.

В этот раз Раскольников до конторы не дошел. Он свернул в первый «переулок», и здесь теряется его след...

Итак, на примере рассмотренной нами прогулки Раскольникова видно, что случайность выбора маршрута исключается. Он пролегает между «опорными точками», ко-

торые хорошо знакомы писателю. Назовем их — Сенная площадь («Малинник», «Вяземская лавра»), Таиров переулок (типография Жернакова), Юсупов сад (квартира А. Н. Майкова, квартира и типография Стелловского), гостиница «Пале-де-Кристалль» (квартира А. А. Григорьева), Вознесенский мост (церковь Вознесения Господня), полицейская контора (А. А. Макаров). «Вел» своего героя Достоевский путем, хорошо ему знакомым. Это маршруты в дома, в которых жили его друзья — А. Н. Майков и А. А. Григорьев. Дома, сохранившие в себе колорит эпохи.

По воле писателя внимание Раскольникова главным образом привлекают те дома, которые интересны самому Достоевскому своей причастностью к каким-то социальным проблемам. К примеру, дом в Таировом переулке — это и холерный бунт 1831 года, и «первая проба» пера Достоевского, и Комитет цензуры иностранной, и «заведения»... С помощью прогулки Раскольникова Достоевский как бы выявляет наблевшие проблемы не только большого города, но и страны в целом. Нищета, преступность, проституция, пьянство... Выбор проблем сделан писателем с учетом настроения героя. Поэтому становится понятным замысел писателя относительно психологической нагрузки маршрута Раскольникова. Раскольников шел, не замечая помпезных сооружений. Он не обращает внимания на грандиозную панораму Сенной площади, не видит церкви «Спаса на Сенной», не замечает Юсупова сада, не слышит гремющей по Большой Садовой улице конно-железнодорожной дороги, проходит мимо Вознесенской церкви... Мысль Раскольникова до странности прилеплялась только к мелочам, деталям, которые придают его прогулке минорный тон. По городским улицам Раскольников бродит, как лишний человек, как изгой...

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> А. С. Бурмистров. Тринадцать ступеней вверх. См.: «Вечерний Ленинград», № 182 от 6 августа 1973 года.

<sup>2</sup> В. М. Матвеев. 60 000 адресов С.-Петербурга. СПб., 1853, с. 198.

<sup>3</sup> В. Е. Холщевников. Примечания. См.: Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Л., 1970, с. 560.

<sup>4</sup> Государственный Исторический архив Ленинградской области (ГИАЛО), ф. 513, оп. 102, № 9753, 9752.

<sup>5</sup> Н. Г. Цылов. Городской указатель, или Адресная книга врачей, художников, ремесленников, торговых мест, ремесленных заведений и т. п. на 1849 год. СПб., 1849, с. 463.

<sup>6</sup> К.-ц. Петербургская проституция. См.: «Петербург» — календарь на 1870 год. СПб., 1870, с. 103 (приложение).

<sup>7</sup> Стелловский Федор Тимофеевич, 2-й гильдии купец — Большая Садовая, дом № 49, кв. 36. См.: «Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга с Васильевским островом, Петербургской и Выборгской сторонами и Охтою». СПб., 1867—1868, раздел III, с. 453.

<sup>8</sup> А. П. Червяков. Путеводитель по Санкт-Петербургу. СПб., 1865, с. 176.

<sup>9</sup> Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М. — Л., «Academia», 1935, с. 150.

<sup>10</sup> Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Рукописные редакции. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 7. Л., «Наука», 1973, с. 74, 76.

<sup>11</sup> ГИАЛО, ф. 513, оп. 102, № 9665.

<sup>12</sup> «Всеобщая адресная книга С.-Петербурга...», раздел IV, с. 77—79; 132—134; 213—216.

<sup>13</sup> M. J. Bard. Une semaine à Londres. Paris. 1851, p. VII—XIV.

<sup>14</sup> Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 5. Л., «Наука», 1973, с. 69—70.

<sup>15</sup> ГИАЛО, ф. 513, оп. 102, № 9667.

<sup>16</sup> Дату заключения А. Григорьева в «дом Тарасова» мы находим в письме Н. Н. Страхова к брату Павлу Николаевичу от 25 июня 1864 года. См.: Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки АН УССР, III — архив Н. Н. Страхова № 19 095.

<sup>17</sup> Адрес «Дома содержания несправимых должников» («дома Тарасова») — 1-я рота Измайловского полка, дом № 5 (ныне дом

№ 9 по 1-й Красноармейской улице). См.: ГИАЛО, ф. 513, оп. 102, № 5760, 2592.

<sup>18</sup> А. А. Григорьев «пал жертвою болезненной раздражительности. 25 сентября 1864 года во время неприятного объяснения у себя на дому с одним издателем, он разгорячился и скончался от удара» совершенно одинокий, в пустой квартире. См.: Л. М. Шах-Паронианц. Критик-самобытник Аполлон Александрович Григорьев. СПб., 1899, с. 126-127. «Издателем», с которым Григорьев имел дело, мог быть только Ф. Т. Стелловский.

<sup>19</sup> Ф. М. Достоевский. Примечание к воспоминаниям Н. Н. Страхова об А. А. Григорьеве. См.: «Эпоха», 1864, № 9, с. 54.

<sup>20</sup> А. П. Червяков. Указ. соч., с. 50.

<sup>21</sup> ГИАЛО, ф. 513, оп. 102, № 3270; ф. 515, оп. 4, № 881.

<sup>22</sup> Ф. М. Достоевский. Письма. Т. II. М.—Л., 1930, с. 225—226.

<sup>23</sup> В повестке, полученной Достоевским 5 июня 1865 г. из полицейской конторы, Макаров лишь подписался «за надзирателя», будучи младшим помощником надзирателя. У Достоевского же прямо написано, что он подружился с «помощником квартального». Да и прийти на квартиру писателя мог только помощник, ведавший второстепенными делами конторы. См.: Л. П. Гроссман. Указ. соч., с. 149; Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Рукописные редакции. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 7, с. 370.



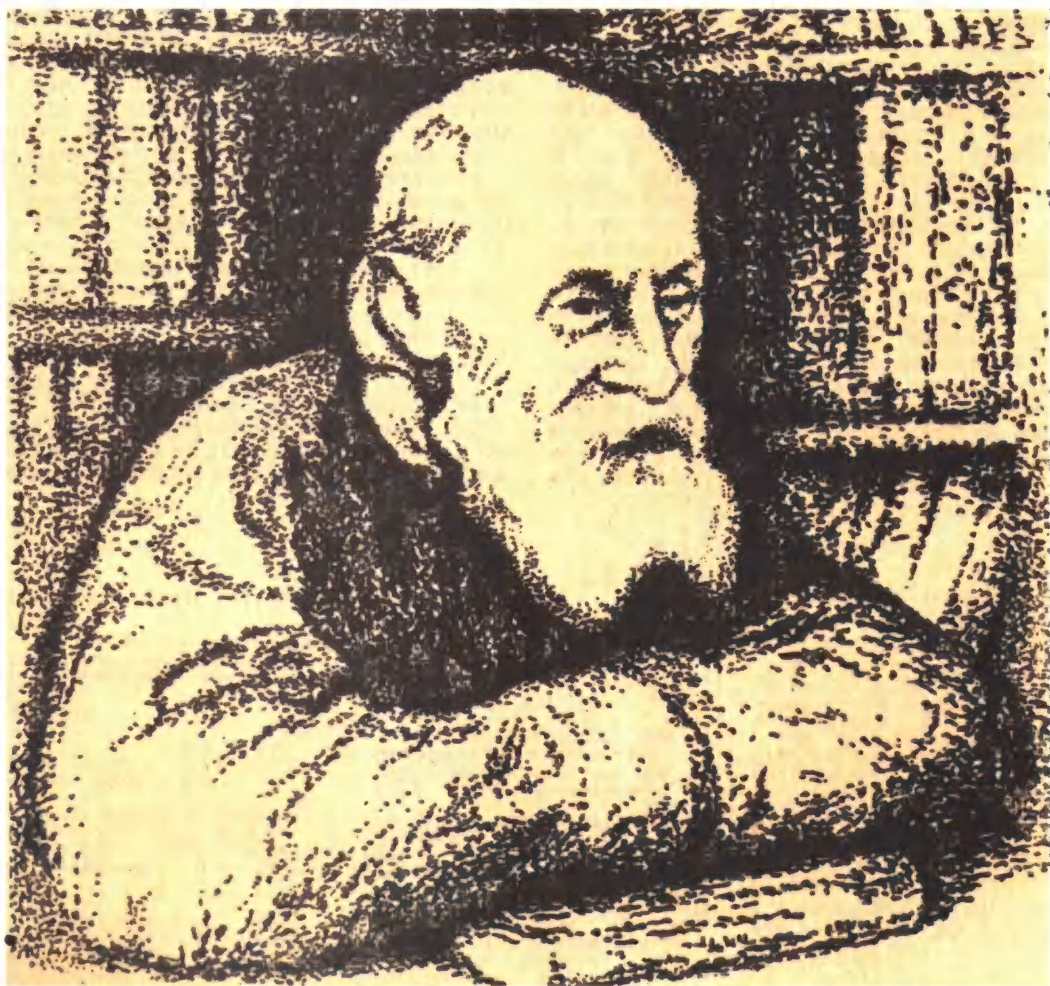
*отъ Н. А. Ку*  
**ФИЛОСОФІЯ ОБЩАГО ДѢЛА.**

Статьи, мысли и письма

**Николая Ѳедоровича Ѳедорова,**

изданный подъ редакціей

**В. А. Кеженикова и Н. П. Петерсона.**





Николай Федорович Федоров не принадлежит к числу широко известных деятелей русской культуры. Чаще всего о нем вспоминают как о необыкновенном библиотекаре, настоящем подвижнике книжного дела, когда речь заходит о прошлом Всесоюзной Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (Румянцевского музея)<sup>1</sup>.

Но вместе с тем оказывается, что библиотекарь Румянцевского музея разработал оригинальное философское учение, поражавшее самые значительные умы его времени. Так мысли Федорова Ф. М. Достоевский «прочел как бы за свои», Л. Н. Толстой гордится, что живет «в одно время с подобным человеком». Большое внимание к личности Федорова и его идеям, изложенным в посмертно изданной двухтомной «Философии общего дела», проявляли В. Я. Брюсов и А. М. Горький. Последний называл его «замечательным, своеобразным мыслителем»<sup>2</sup>. Прямой интерес Горького к учению Федорова отчетливо выражен в его переписке конца 20-х годов с О. Д. Форш и М. М. Пришвиным<sup>3</sup>. В последние годы стали вспоминать о Федорове, как о первом представителе идей философского космизма, непосредственным предшественнике К. Э. Циолковского<sup>4</sup>.

Однако до настоящего времени Федоров во многом так и остается тем «таинственным мыслителем», «странным философом», «загадочным стариком», каким он постоянно именовался в немногих непосредственно ему посвященных работах<sup>5</sup>.

### ДОМОСКОВСКИЙ ПЕРИОД

Немногие сведения о его личности, которые можно почерпнуть из воспоминаний людей, знавших Федорова по работе в библиотеке Румянцевского музея, почитателей и прежде всего двух учеников и издателей трудов философа — В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона, — складываются в удивительно цельный образ труженика, подвижника и аскета. Некоторая легендарность в отражении его жизненно-духовного облика, «показательный», повторяющийся набор эпизодов его биографии в известной степени оправдывают высказывание о том, что Федоров — один из немногих — философ не с жизнью, а с житием.

Измучающие черты личности этого человека, само учение, распространявшееся по преимуществу устно лишь в самом узком кругу его друзей, — все это неудержимо влекло тех, кто писал о нем, к сюжетным схемам житийного повествования, причем сам Федоров представлял как «святой», «старец», «учитель», «москов-

С. Г. Семенова

## НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ФЕДОРОВ

(Жизнь и учение)

ский Сократ». Поэтому наиболее тщательно разрабатывались эпизоды, связанные с периодом «подвижничества» и духовных подвигов Федорова. Для него это прежде всего последние 35 лет жизни в Москве, когда скромная «каталожная» Румянцевского музея, в которой он работал, превратилась, по словам его биографа А. Остромирова, в «учебный клуб, умственный центр Москвы». Предшествующие этому 40 лет жизни «в миру» крайне бедны фактами.

В рукописном отделе Ленинской библиотеки хранится послужной список Федорова, в котором он сам определяет приблизительную дату своего рождения между январем и апрелем 1828 года. Николай Федорович всегда упорно избегал всяких разговоров о своем прошлом, и только после его смерти близко стоявшие к нему люди раскрыли тайну его рождения. Его отцом был князь Павел Иванович Гагарин, родившийся в 1798 году и умерший в возрасте 34 лет. Имя его матери, по одним сведениям крепостной крестьянки, по другим — пленной черкешенки, вообще не известно, так же как и ее судьба. Фамилию и отчество будущий философ получил от своего крестного отца, как это часто происходило в случае с «незаконнорожденными» детьми.

Род князей Гагариных — один из древнейших на Руси — через Рюриковичей восходил к Всеволоду Большое Гнездо. Павел Иванович получил обычное для его сословия образование: окончил Пажеский корпус и Московский университет. Начав с 24 лет службу в Коллегии иностранных дел, он через несколько месяцев по собственному желанию уехал в Америку и жил там четыре года при миссии в Филадельфии. Вернувшись в Россию по болезни в 1826 году и полностью оставив службу, он поселяется в родовом имении на юге Рос-



сии и живет здесь безвыездно до самой смерти. На это время и приходится его связь с матерью Николая Федоровича. Причем она была прочной и длилась все эти годы: у Николая Федоровича были еще брат и одна или две сестры.

Но если Павел Иванович Гагарин ничем, кроме необычной для русского барина добровольной поездки в Новый Свет, не выделялся, то его отец, Иван Алексеевич Гагарин<sup>6</sup>, дед Федорова, один из известных масонов екатерининского времени, являлся фигурой весьма колоритной. Горячий поклонник театра, он был женат вторым браком на известной актрисе — бывшей крепостной — Нимфидоре Семеновой. Полагают, что именно она была причастна к тому, что сразу же после смерти П. И. Гагарина и последовавшей за ней через несколько месяцев кончины самого И. А. Гагарина, из княжеского дома была удалена мать Федорова вместе с ним самим, тогда четырехлетний ребенок.

О периоде отрочества и юности Федорова ничего не известно, кроме того, что в 1849 году он окончил тамбовскую гимназию и затем до марта 1852 года учился на Камеральном отделении Ришельевского лицея в Одессе. Это было привилегированное учебное заведение, так что, по-видимому, его мать получала некоторые средства на воспитание сына. Однако уже на одном из выпускных экзаменов Федоров резко поспорил с преподавателем и на остальные экзамены уже не ходил. По словам Н. Н. Черногоубова, хранителя Третьяковской галереи, близкого друга Николая Федоровича, последний был уволен из лицея «за бунтарство». Во всяком случае Федоров должен был переживать свое двусмысленное положение «незаконнорожденного» среди высокородных лицестов, притом что его крайне демократические убеждения, по свидетельству друзей, сложились с самого детства.

Однако, несмотря на изгнание из лицея, Николай Федорович был многосторонне образованным человеком. В воспоминаниях о Федорове все отмечают его поразительные, поистине энциклопедические познания из самых разных областей жизни, науки, искусства. Как вспоминает профессор И. А. Линниченко, образованность Николая Федоровича удивляла всех, к тому же он в совершенстве знал не только основные европейские языки, но и хорошо разбирался в ряде восточных письменностей, одно время сильно увлекаясь китайской. К примеру, Федоров мог любую иностранную книгу тут же вслух удивительно быстро и правильно читать в переводе на русский язык.

Уехав из родного Новороссийского края, Федоров в продолжение 14 лет, с 1854 по 1868 год, учительствует в уездных училищах среднерусской полосы. Он препо-

давал историю и географию. Причем на одном месте не задерживался из-за своего бескомпромиссного характера: за это время он меняет семь городов — Липецк, Богородск, Углич, Ооево, Богородицкое, Ворск, Подольск.

К середине 60-х годов относится знакомство Николая Федоровича с Н. П. Петерсоном, перешедшее затем в дружбу и прямое сотрудничество. Бывший учитель яснополянских школ Л. Н. Толстого, Петерсон после их закрытия решил переехать в Богородск с целью, как он сам пишет, революционной пропаганды. Кстати, по свидетельству старшего сына Л. Н. Толстого, Сергея Львовича, личность Н. П. Петерсона послужила в известной степени прототипом ссыльного революционера Симонсона, обрисованного с большим уважением и теплотой в «Воскресении»<sup>7</sup>.

«Один из сочленов кружка сообщил мне, что в Богородске учителем уездного училища некто — Николай Федорович Федоров, человек самоотверженный, напоминающий своей жизнью Рахметова, человек необыкновенного ума и честности; а мы тогда думали, что умный и честный человек не может быть не с нами. И вот приехав в Богородск 15 марта 1864 года, я тотчас же отправился к Николаю Федоровичу, который оказался человеком лет сорока... он был холост и жил аскетом, у него не было не только постели, но даже и подушки, питался он тем, что подавали ему хозяева», — вспоминает Петерсон. В тот же вечер состоялась его беседа с Федоровым, результатом которой явилось «обращение» самого Петерсона, покоренного идеями скромного уездного учителя: «Так беседуя, Николай Федорович развил постепенно целое миросозерцание, совершенно для меня новое, по которому требуется объединение всех людей в труде всеобщего воскрешения, и я был сразу же покорен и уже навсегда. Николай Федорович недолго пробыл при мне в Богородске, всего месяца три; но эти три месяца обогатили меня больше, чем вся предшествовавшая жизнь, и дали мне прочную основу для всей последующей жизни. Эти три месяца совместной жизни с Николаем Федоровичем сделали то, что я не терял уже с ним связи никогда, и мы почти ежегодно, почти до его смерти проводили вместе наше вакационное время; когда были вместе, то не беседовали только, но и писали, то есть я писал под диктовку Николая Федоровича. Мне хотелось сделать известным покорившее меня учение Николая Федоровича, я думал напечатать изложение этого учения, но Николай Федорович всегда противился этому, находя это несвоевременным и самое учение недостаточно развитым, не вполне и ясно выраженным»<sup>8</sup>.

Благодаря Петерсону стал известен образ жизни Николая Федоровича в пору его



преподавательской деятельности, суровое самоограничение во всем материально необходимом, совершенно исключительная принципиальность, горячая защита интересов учеников, помощь самым бедным из них. От Петерсона же пошла кочевать и первые житийно окрашенные истории, входящие в федоровскую легенду.

Так писавшие о Федорове любят приводить один особенно характерный эпизод. Однажды тяжело заболевает отец одного из учеников Николая Федоровича. Средств на лечение нет, и Федоров отдает для этой цели все, что у него есть. Больной все же умирает, и нужны деньги для того, чтобы его похоронить. Тогда Николай Федорович продает свой единственный вицмундир и отдает выручку семье покойного. На урок он является в ветхой, почти нищенской одежде. Как нарочно, в училище в этот день приезжает крупный чиновник из столицы. Крайне шокированный внешним видом одного из преподавателей, он тщетно пытается добиться от него объяснения и, негодуя, требует его немедленного увольнения. Только горячее заступничество инспектора училища ограждает на этот раз странного «оригинала».

По свидетельству того же Петерсона, учение Федорова в основных чертах сложилось гораздо ранее их встречи, еще в начале 50-х годов, то есть когда Николаю Федоровичу было 22—27 лет.

Среди рукописей Федорова после его смерти нашли листок, на котором рукой Николая Федоровича были написаны следующие строки: «От детских лет сохранился у меня три воспоминания: видел я черный, пречерный хлеб, которым (говорили при мне) питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал я с детства объяснение войны (на мой вопрос о ней), которое привело меня в страшное недоумение: на войне люди стреляют друг в друга, наконец, узнал я о том, что есть и не родные, чужие, и о том, что сами родные — не родные, а чужие».

Этот листок недаром исповедально озаглавлен как «необходимое дополнение». Это действительно ценное автобиографическое дополнение для понимания глубоких, личных истоков самого учения Федорова.

## ОСНОВНОЕ ЗЛО ЧЕЛОВЕКА

Почти одновременная кончина отца и деда, которая так резко переломила судьбу Федорова, заставила его рано задуматься над смертью. Движимый чувством неприятия невозвратимой утраты, он вырабатывает собственное отношение к смерти. В учении Федорова основным злом для каждого сознательного существа является смерть. Все же конкретные формы зла, от которых страдает человек, для него входят в кортеж главного врага — смерти. Федоров

отличается от всех философов — и западных, и отечественных — прежде всего тем, что подходит к факту смерти человека совершенно революционным образом. Для него смерть не неизбежный фатум, она для него «следствие зависимости от слепой силы природы, извне и внутри нас действующей и нами неуправляемой»<sup>9</sup>, она «есть просто результат или выражение несовершенности, несамостоятельности, несамобытности жизни, неспособности к взаимному восстановлению или поддержанию жизни» (I, 91).

Молодой Федоров глубоко задумывается над тем фактом, что все, что мы видим и наблюдаем вокруг — от себе подобных до жучка и былинки, — включено в единый природный ряд, рожденный и подчиняющийся закону смерти, то есть началу и неизбежному падению, концу. Природа — это гигантское целое, которое существует благодаря непрекращающемуся воспроизведению, возобновлению бесчисленных своих частей, вызвала в нем не пантеистическое стремление слиться с ней, а резкое неприятие и протест.

Ведь смерть — атрибут природного существования, где каждое рождение оплачивается смертью других, то есть фундамент всякой индивидуальной жизни — это как бы «кости других», уже живших и живущих. Федоров безжалостно указывает на то, что жизнь человеческая не составляет исключения, она есть также развитие за счет убийства растений, животных и себе подобных. Идет нескончаемая скрытая антропофагия: дети растут, пожирая силы родителей, и в борьбе и разобщенности люди медленно подтачивают друг друга и словом и делом. Сама пища живущих не что иное, как прах предков, дающий плодородие почве и возросши на ней растениям и животным.

Существующее положение вещей в мире характеризуется Федоровым, как «отживающая форма вселенной, в коей всякое последующее поглощает предыдущее, чтобы быть поглощенным в свою очередь, и где жизнь, вследствие изолированности миров, не может проявляться иначе, как сменой поколений» (I, 274).

Вся эта «природы вековая давящая» (Н. Заболоцкий) тем не менее может рассматриваться как вполне цельный и «нравственный» организм, пока бесчисленные части участвуют в ее коловращении бессознательно, пока они, повинувшись непреодолимому инстинкту, исполняют весь опущенный им ритуал существования, чтобы уступить место новому, но с той же жизненной программой частям. Но все резко меняется, когда в связи с появлением человека возникает сознание, острое ощущение неповторимости любой личности, глубокое страдание от утрат. Возникновение сознания ставит под



сомнение прежнюю налаженность, смысл и гармонию природы, или, вернее, поскольку через человека сама природа, как любит повторять Федоров, приходит к сознанию, то растущее в человеке бунтарски-критическое самосознание есть в конечном итоге последняя инстанция истины самой природы, достигнутой ею к настоящему моменту. Современное состояние мира — первая ступень перехода природы от слепоты. Следующая будет достигнута, когда «человечество в полном обладании природой, как своей силой, сможет осуществлять не по нужде, а по избытку душевной мощи, бессмертную мысль в неограниченных средствах материи» (1, 116).

Почему сущее существует? Великий вопрос, в способности задумываться над которым — уникальность человека, поднимающегося над непосредственной жизненно-животной выгодой к чистому, бытийственному интересу. Но именно в такой постановке основного вопроса философского раздумья над миром есть великолепно стоическое отстранение от всякой конкретной плоти в ее страданиях. А если попытаться мыслить по-федоровски — вернее, мобилизовать все свои чувства, все свое сострадание, имея в виду следующее: почему живущее умирает, а умирающее не оживает? В федоровский первопроблем, безусловно, войдет и традиционный, на который также необходимо ответить для того, чтобы расшифровать формулу русского мыслителя, трепещущую болью каждого сознательного существа, в ней сохранен основной трагический парадокс человека, одновременно царя мира и жертвы «любого микроба».

Федоров — предшественник таких ученых XX века, как, например, советский академик В. И. Вернадский, которые выдвинули необходимость сознательного управления эволюционным процессом. В основе федоровского плана регуляции природы лежит убеждение, что человечество начинает новый этап развития мира. Человек у Федорова не только является венцом достигнутого природой развития, но к тому же он сам должен стать орудием обратного воздействия на породившую его природу для ее преобразования и одухотворения.

Регуляция, «правлящий разум природы» — широко и многосторонне разработанная Федоровым идея. Тут и овладение природой в противоположность эксплуатации и утилизации, ведущей к ее разрушению, и переустройство самого организма человека, и выход в космос, управление космическими процессами и как пик регуляции, в котором фокусируются все ее усилия, — воскрешение предков.

Вот эту последнюю идею и отмечает прежде всего Петерсон, говоря о большом впечатлении, которое произвело на него

мировоззрение уездного учителя из Богородска. Это была действительно совершенно ошеломляющая мысль. Воскрешение, по Федорову, должно быть осуществлено самим объединенным человечеством во всеоружии исчерпывающего научного знания.

Возвращение «золотого века», достижение совершенного состояния мира, бессмертие — давняя мечта человечества. Постановка вопроса о бессмертии, даже воскрешении, несмотря на их утопизм, не может считаться темно-окультистской или реакционной. В свое время Вал. Брюсов, знавший и ценивший идеи Федорова, писал: «Смерть и воскрешение суть естественные феномены, которые она (наука. — С. С.) обязана исследовать и которые она в силах выяснить. Воскрешение есть возможная задача прикладной науки, которую она вправе себе поставить»<sup>10</sup>.

Тема научного воскрешения самих людей в будущем возникает и в советской поэзии, у И. Сельвинского и В. Маяковского. Последний, несомненно, знал о федоровском учении через В. Н. Чекрыгина, талантливого графика, вдохновлявшегося им в своих графических листах «Переселение людей в космос», «Начало космической эры», «Воскрешение». Кстати, Чекрыгин был и первым иллюстратором Маяковского<sup>11</sup>. В финале поэмы «Про это» поэт мечтает о мастерской «человечих воскрешений» и многократно призывает к будущему: «Воскреси!»

Что касается конкретных путей воскрешения, то при внимательном изучении проектов Федорова обнаруживается в них два подхода к проблеме воскрешения. Первый связан с собиранием рассеянных частиц вещества праха умерших и сложения их в тела на основе «познания и управления всеми молекулами и атомами внешнего мира» (I, 288). Тут Федоров часто мыслит, как вульгарный материалист («... организм — машина, и сознание относится к нему, как желчь к печени; собери машину, и сознание возвратится к ней» — I, 288); для него как будто не существует сложнейших проблем специфичности сознания, личности.

Но дело в том, что федоровские проекты не исчерпываются только подобными «бюхнеровскими» идеями. В глубине его «воскресительных» умозрений брезжут интуиции совсем другого рода. Начнем с того, что Федоров саму возможность воскрешения связывает с предельным, исчерпывающим знанием психофизиологической природы человека, раскрывающейся лишь в бесконечной веренице его предков. Воскрешение у Федорова всегда мыслится в родственном, тесно наследственно связанном ряду — вернее, буквально сын воскрешает отца, отец — своего отца и т. д., вплоть до первотца и первочеловека.



Для русекого мыслителя возможности действительно научного воскрешения упираются в раскрытие тайн наследственности. Об этом говорит и постоянно возникающий образ воскресителя — воскрешаемого, как сына — отца и неустанный подчеркивание значения наследственности и необходимости тщательного изучения себя и своих предков.

На этом строится весь «идеально-доличный» уклад проектируемого Федоровым общества, объединенного «общим делом» воскрешения. «Наука в истинном, а не сословном смысле должна состоять в психофизиологическом познании человечеством самого себя через всех без исключения своих членов». Федоров подробно разрабатывает основные линии психофизиологического исследования, в котором главная задача — высветить, изучить весь наследственный ряд данного индивида. Можно условно сказать о федоровском требовании своеобразной всеобщей рентгенограммы генетического кода человечества. «Для того, чтобы раскрыться, показать и вместе понять себя, человечество должно воспроизвести себя из простейших элементов, и не в подобном только, или сокращенном порядке, но в действительном, чрез все индивидуальности, чрез кои проходили эти элементы (исследование сынами самих себя в отцах, отцами — в сынах, узнавание братьями себя в близких и дальних своих братьях), иначе не будет полного взаимознания, как без палеонтологии не может быть и полной зоологической классификации, то есть без внесения в классификацию посредствующих исчезнувших видов» (1, 303).

У Федорова есть такие слова: «...не только не рождаться, но и сделаться нерожденным, т. е. **восстановляя из себя тех**, от коих рожден сам, и себя воссоздать в виде существа, в коем все сознается и управляется волею» (I, 315) (подчеркнуто нами. — С. С.). «Всеобщее воскрешение не художественное только творение из камня, на полотне и т. п.; не бессознательное рождение, а **воспроизведение из нас**, как огонь из огня, при посредстве всего, что есть на небе и на земле, всех прошедших поколений» (I, 85) (подчеркнуто нами. — С. С.). Непроясненно, каким-то пророческим намеком здесь обнаруживается другой путь воскрешения, пролегающий через открытие законов наследственности и управление ею.

Нам, современникам становления и утверждения генетики, уже легче пофантазировать в этом направлении. Впрочем, достаточно сказать, что нет принципиальной научной невозможности восстановить предка, который «записал» себя по частям в целом ряде своих потомков, восстановить его через самих этих потомков. Иными словами, при наличии «собранного» генети-

ческого кода самого предка, всего объема и содержания его собственной наследственной информации, можно говорить о теоретической возможности его воспроизведения. Через потомка восстановить предка (через следствие — причину), сначала ближайшую (сын, дочь — отца, мать), а через них и их отца и мать и т. д. и так вытянуть всю цепь конкретных природных причин (воскрешенные предки).

При таком «генетическом» подходе к проблеме воскрешения дело уже не в конкретных материальных кирпичиках, составляющих тело предка, как в первом, рассмотренном выше случае, а в особенной форме строения, структуре, «формуле» его организма.

Рождение и смерть сцеплены нераздельно, и претензия на бессмертную жизнь требует своей последовательной логики. При сохранении природного порядка существования достижение абсолютного бессмертия невозможно; можно лишь увеличить на более-менее длительный срок жизнь человека, как об этом уже вполне серьезно говорят ученые-биологи. Природа — по своему внутреннему принципу на рождении и смерти стоящая — должна быть поколеблена в самих основах и превзойдена человеческим дерзанием. Природный способ существования (последовательность, осуществляемая через вытеснение и гибель старого для кратковременного торжества нового и последующего его вытеснения) необходимо заменить одновременно, сосуществованием всех когда-либо живших поколений в преобразованном трудом и творчеством бессмертном виде.

Воскрешение для Федорова — высшая гарантия бессмертной жизни. Уничтожить окончательно смерть можно лишь тогда, когда человек научится воссоздавать себя из самых простых элементов. Но для этого надо реально познать, то есть восстановить всю цепь своих непосредственных телесно-природных причин, то есть предков.

Идея всеобщего воскрешения рождается у Федорова прежде всего из непреодолимого сердечного-нравственного требования, диктуется глубоким чувством долга. Нужно, чтобы «все рожденные поняли и почувствовали, что рождение есть принятие, взятие жизни от отцов, т. е. лишение отцов жизни — откуда и возникает долг воскрешения, который и сынам дает бессмертие» (1, 401). Люди должны, по Федорову, выполнить свой высший долг — «возвратить к жизни тех, кто их рождением вытесняется, умерщвляется, — отцов».

Для Федорова все человечество — большая семья, связанная тесными узами общих предков и единой судьбы, но семья в действительности распавшаяся, забывшая о своем родстве.

Обратить сердца живущих к утраченному, сердца сынов к отцам — вот та тон-





Московский публичный Румянцевский музей.

кая задача, направленная на область чувства, без разрешения которой одним умом на «общее дело» не сдвинешься. А чувство должно быть столь большим, по Федорову, чтобы переориентировать всю свою жизнь назад, к предкам. Пробудить чувство всеобщей родственности Федоров стремится указанием на культ предков, как единственно истинную религию. Но, «если религия есть культ мертвых, то это не значит почитание смерти, напротив, это значит объединение живущих в труде познания слепой силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, в труде обращения ее в живородящую» (I, 48). Вспомним о том детском чувстве недоумения и боли от открытия того, что не все родные, которое отметил Николай Федорович в своей автобиографической заметке. Отношение ребенка к узнаваемому им миру ближних, как ко все расширяющемуся кругу родных, должно стать нормой для всех. В нем не осознанно, не рефлексивно, а всем трепещущим детским существом творится живой обряд «культа предков». «В детском чувстве всеобщего братства заключалось, что каждый человек есть сын, внук, правнук, праправнук, потомок отца, дедов, прадедов,

предков, общего, наконец, праотца» (I, 59).

«Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира, и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим» — так называлась работа, в которой Федоров попытался впервые изложить свои взгляды. Вызвала ее появление, по его словам, «ненавистная раздельность мира и все истекающие из нее бедствия» (I, 7), глобальные антагонизмы, разрывающие жизнь человечества: теория и практика, мысль и дело, ученые и неученые, город и деревня, богатство и бедность. То состояние, в котором пребывает мир, характеризуется русским мыслителем как глубоко небратское, неродственное, отмеченное взаимной враждой. «Под небратским состоянием мы разумеем все юридико-экономические отношения, сословную и международную рознь» (I, 9). Казалось бы, Федоров повторяет старые упования всех социальных утопистов на осуществление братства и любви, как пути к совершенному состоянию человечества. Но это не совсем так. Неродственность у Федорова не только отрицательное опреде-



ление мира межличностных или социальных отношений (гоббсово «человек человеку — волк»), но и этико-космическая категория. «Неродственность в ее причинах обнимает и всю природу, как слепую силу, неуправляемую разумом» (I, 12). Неродственность — внутреннее качество самого природного порядка существования, основанного на принципе взаимной непроницаемости и раздельности, который и нас делает орудием «вытеснения старшего поколения младшим, взаимного стеснения, которое ведет к тому же вытеснению» (I, 11).

Представим, что на Земле трудом нескончаемых поколений создано идеальное общество, устроенное на началах справедливости, братства и любви, вырастившее совершенных, гармоничных людей. Но они по-прежнему остаются естественной жертвой непроясненной природы. Чем великопнее человек, чем он сложнее, прекраснее и одухотвореннее, тем мучительнее для него становится зависимость от болезни и смерти. Да и само общество, со всеми его достижениями, может нелепо сгнить от какой-нибудь земной или космической катастрофы. Федоров призывает направить этическое действие человечества на «небратство», «неродственность» материи и ее сил.

Единый метафизический корень «неродственности» разветвляется во все стороны жизни, и русский мыслитель прежде всего призывает ко всеобщему, объединяющему всех исследованию причин неродственности и затем к ее устранению.

## МОСКВА. РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ

В конце апреля 1868 года Федоров переезжает в Москву и сразу же поступает на службу — сначала он работает вместе с И. И. Бартеневым в Чертковской библиотеке, затем с 1874 года в продолжение 25 лет — в Румянцевском музее и, наконец, в последние годы жизни — в читальном зале Московского архива Министерства иностранных дел. О московском периоде деятельности Николая Федоровича — особенно о том времени, когда он заведовал «каталожной» в читальном зале Московской публичной библиотеки при Румянцевском музее, как уже говорилось выше, — сохранилось довольно много воспоминаний читателей и коллег. Все они единодушно отмечают, что за его «служением» не было видно ни личной жизни, ни службы в обычном смысле<sup>12</sup>. «Так как он был своеобразен во всем, так ничем не напоминал обыкновенных людей, что при встрече и знакомстве с ним поневоле становились в тупик люди, особенно выдающиеся и особенно оригинальные. Николай Федорович поражал в этом отношении и всех простых смертных, и даже таких, на-

пример, оригиналов, как граф Л. Н. Толстой или В. С. Соловьев. Все в нем было свое, и ни в чем он не походил на рядового смертного, начиная с внешности, продолжая привычками и приемами жизни и оканчивая мировоззрением»<sup>13</sup>, — писал о нем П. Я. Покровский.

Николай Федорович приходил в библиотеку на полтора-два часа раньше ее открытия и уходил последним, работая и по воскресеньям, чтобы дать возможность заниматься людям, несвободным в другие дни недели. Так сам Федоров показывал пример того добровольного труда, к которому он всегда горячо призывал. Из своего скудного заработка он помогал не только «стипендиатам», регулярно являвшимся к нему каждое 20-е число — день зарплаты — в библиотеку, но и приплачивал служащим музея, чтобы поощрить их к лучшей работе. Кстати, дирекция не раз выступала с предложением увеличить его жалованье. Но Николай Федорович всегда отказывался, находя свое положение совершенно удовлетворительным, и просил, чтобы помощь была оказана другим, малообеспеченным сотрудникам библиотеки. К тому же, по свидетельству Н. П. Петерсона, большая зарплата обязывала бы Николая Федоровича выполнять обязанности присяжного заседателя, а роль судящего и осуждающего была для него принципиально неприемлема.

Все посетители, серьезно занимавшиеся в библиотеке, пользовались особым покровительством Николая Федоровича, который нередко давал им ценнейшие советы и рекомендации, а также находил нужные книги сверх тех, которые читатели сами заказывали. «Скорее вы сами отложите в сторону и забудете о вашей работе, чем он забудет о том, что для него надо; он раньше не успокоится, пока не исчерпает всего материала»<sup>14</sup> — так характеризует поразительную заинтересованность Федорова в достижении другими людьми той цели, которую они перед собой поставили, Екатерина Некрасова, довольно известная тогда писательница. «Удивительны и совсем редки библиоманы, знающие по корешкам и названиям все книги обширных библиотек. Но едва ли какая-нибудь библиотека, кроме Румянцевского музея, могла похвалиться исключительной честью иметь библиотекарем человека, знающего содержание всех своих книг. А Николай Федорович знал содержание книг Румянцевского музея, и это было прямо невероятным явлением»<sup>15</sup>. Ходили почти легенды о совершенно удивительных познаниях Федорова. Многие русские ученые (причем диапазон тех наук, которыми они занимались, необыкновенно широк: от востоковедения до военно-морского дела) с благодарностью вспоминали о той помощи, которую им оказал Николай Федорович. «Это была прямо живая эн-



циклопедия в самом лучшем значении этого слова, и кажется, не было предела его памяти»<sup>16</sup>, — пишет в своих воспоминаниях П. Я. Покровский.

А. А. Гинкен, автор статьи «Идеальный библиотечный работник — Николай Федорович Федоров», называет его «героем и подвижником в области книговедения»<sup>17</sup>. Он стал инициатором новых форм ведения книжного дела: выдвинул идею не только межбиблиотечного, но и международного книгообмена, использования в читальных залах книг из частных коллекций и т. д. Он первым составил систематический библиографический каталог книг, хранившихся в Румянцевском музее. Особое значение Федоров придавал книжной карточке-аннотации, которую, по его мнению, должен был составлять сам автор произведения. Эта карточка призвана стать «зерновкою, из которой развивается целое растение, программу, по коей, в случае гибели сочинения, оно могло бы до известной степени быть восстановлено»<sup>18</sup>.

Для философа «общего дела» книга как соединяющее и нетленное звено между бывшим и настоящим приобретала особенное, «воскрешающее» значение. Все печатные памятники эпохи, вплоть до самых ничтожных — календарей, проектов, уставов, объявлений, афиш и т. д., должны быть сохранены. В неопубликованной статье «Уважал или презирал книгу XIX век» Федоров пишет следующее: «Книга как выражение слова, мысли и знания занимает высшее место среди памятников прошедшего; должна она занимать его и в будущем, которое призвано стать делом возращения прошедших поколений к жизни, и лишь тогда книга с этого первого места снизойдет на последнее, когда то, что было лишь в книге, то есть только в мысли и слове, станет живым делом человечества»<sup>19</sup>.

Пафос сохранения реалий прошлого ярко выразился в федоровском проекте музея. Сам факт музея в истории свидетельствует, по Федорову, о неистребимом желании человечества запечатлеть бывшее. Вообще существование музеев доказывает, что «сыны еще есть, что сыновнее чувство еще не исчезло, что остается еще надежда спасения на земле» (II, 419).

Человек уходит, оставляя после себя произведенные им вещи, свидетельствующие о личности их создателя. Федоров полагал, что глубокий смысл собирания мертвых вещей заключается в том, чтобы за ними видеть, по ним воссоздавать их авторов. «Музей и с предметной стороны есть (совокупность лиц), само человечество в его книжном и вообще вещественном выражении, то есть музей есть собор живущих сынов с учеными во главе, собирающий произведения умерших людей, отцов. Задача музея поэтому естественно — восстановление последних по первым» (II, 410).

Хранение экспонатов, указывал Николай Федорович, должно быть дополнено исследованием, переходящим в деятельность. Свой особый вклад в «общее дело» музей осуществляет через исследование причин неродственности мира. «Всенародный», «всеученый» музей становится сборным пунктом этого повсеместного исследования, завершающим этапом образования всех в духе братства, по отношению к которому все учебные заведения становятся подготовительными факультетами.

Несмотря на свое скромное положение в библиотеке, Федоров вскоре становится своеобразным нравственным средоточием всей библиотечной деятельности музея, воплощая «интеллектуальную и духовную власть»<sup>20</sup>. По воскресеньям его «каталожная» превращалась в настоящий дискуссионный клуб, где звучало «среди разлада мыслей и тумана сомнений умиротворяющее слово «учителя», способное вместить разнообразие направлений и объединить кажущиеся противоречия своею совершенно исключительною синтетическою способностью»<sup>21</sup>.

Во всех воспоминаниях о Федорове образ жизни этого необыкновенного библиотечника вне его службы складывается в единую картину. В пятом часу он возвращался из Румянцевского музея в свою каморку, обедал чаще всего хлебом с чаем без сахара, спал часа полтора на голом, жестком сундуке без подушки, которую заменяли книги, затем читал и писал до 3—4 часов ночи и, доспав еще часа 2—3 и опять напившись чаю, часов в 7—8 опять шел в библиотеку. И так из года в год, вплоть до самой смерти. Всегда ходил пешком и ни копейки не тратил на развлечения. Зимой и летом он был одет в одну и ту же старенькую кацавейку. «В музее он получал 33 рубля ежемесячного жалованья, и из них 8 рублей в месяц тратил на себя: 5 рублей за угол и 3 рубля на харчи, то есть на чай с баранками»<sup>22</sup>. Поэтому неудивительно, что Николай Федорович мог почти все свое мизерное жалованье раздавать нуждающимся и покупать книги, но не для себя, а для других. Е. Некрасова вспоминает, что он из своих скудных средств ухитрялся даже приобретать недостающие, но нужные для библиотеки книги.

Что касается внешности Николая Федоровича, то знавшие его пишут, что он был среднего роста, худощав, несколько согбен, почти лыс. Многих поражали совершенно правильные черты его бледного, когда-то красивого лица. Все особо отмечают «его удивительно лучистые глаза», «юношеские огненные глаза», «горящий пронизательный взор», который несет на себе «печать ума, энергии и огромной силы воли». «От всей фигуры его веяло сознательным, тяглым подвижничеством, добровольно



подъятым не ради оригинальности и известности, но ради самовоспитания во имя высших задач и стремлений»<sup>23</sup>, — подводит итог П. Я. Покровский.

«У него было такое выражение лица, которое не забывается. При большой подвижности умных и проницательных глаз он весь светился внутренней добротой, доходящей до детской наивности.

Если бывают святые, то они должны быть именно такие»<sup>24</sup>, — вспоминает о Федорове один из сыновей Л. Н. Толстого.

Вместе с тем профессор И. А. Линиченко, говоря о юношеской горячности, бодрости и воспламененности чувств Николая Федоровича, подчеркивает, что этим он резко отличался от хрестоматийного облика святого старца: «Он жил жизнью подвижника, но не отшельника... людей и общество Николай Федорович очень любил»<sup>25</sup>. Сам Федоров не только не признавал себя аскетом, но и искренно сердился, когда ему об этом говорили. Ю. Бартеңеву очень точно удалось выразить смысл как аскетизма Федорова, так и необыкновенно высокого подъема сил, который он сохранил до глубокой старости: «Мать, у которой опасно болен ребенок, забывает о еде, о всем, что не касается любимого существа, и проявляет непостижимую силу: в таком состоянии прожил и Николай Федорович всю свою жизнь. Для своего дела он забывал все, что привлекает нас»<sup>26</sup> (подчеркнуто Бартеңевым).

Во всех посвященных учению Федорова работах обязательно говорится о глубокой значительности и оригинальности его идей. Единственным исключением, насколько нам известно, является статья русского богослова Г. Флоровского<sup>27</sup>, довольно резко выступившего против федоровских проектов и усматривавшего в них опасное сходство с идеалами большевистского переустройства мира. «Одинокaя греза об общем деле» — так оценивает Флоровский призыв Федорова к объединению всего человечества.

В этих словах, несмотря на явную предвзятость статьи в целом, казалось бы, есть некоторая доля истины. Облик Федорова так и просится в установившуюся схему — анахорет-прожектор дерзает изменить весь ход земной истории. Но это скорее «истина», порожденная стереотипным мышлением. И если в своей жизни Федоров не смог воплотить всех положений своего учения (что было и невозможно), то она, безусловно, «теоретически» соответствовала тому пафосу, из которого это учение родилось: активное неприятие смерти и такого существования, при котором человек пытается о ней забыть. Скромный библиотекарь, аскет, не замечающий того, во что он одет, и того, что он ест, с презрением отвергающий материальные блага, сконцентрировавший все свои духовные

силы для решения одной задачи: собрать всех на одно общее, главное дело — убить смерть, возвратить утраченное, — таков четкий жизненный профиль Федорова. Это чеканно суровый профиль идеи и чувства, ставших жизнью.

## РЕГУЛЯЦИЯ ПРИРОДЫ. ВЫХОД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В КОСМОС

Среди читателей, которых взял под свое духовное покровительство Николай Федорович, был и молодой Константин Эдуардович Циолковский, занимавшийся самообразованием в Москве с 1873 по 1876 год. В своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти, среди знаменательных событий своей жизни Циолковский отмечает встречу с Федоровым. «В Чертковской библиотеке я однажды познакомился с одним из служащих. Он давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров, друг Толстого, изумительный философ и скромник. Федоров раздавал все свое крохотное жалованье беднякам. Теперь я понимаю, что и меня он хотел сделать своим пенсионером»<sup>28</sup>.

К. Алтайский, положивший в основу своей книги о Циолковском беседы с ним, приводит его слова:

«Федорова я считаю человеком необыкновенным, а встречу с ним — счастьем», он «заменял университетских профессоров, с которыми я не общался...

Я тогда по-юношески мечтал о покорении межпланетных пространств, мучительно искал пути к звездам, но не встречал ни одного единомышленника. В лице же Федорова судьба послала мне человека, считавшего, как и я, что люди непременно завоеуют космос. Но, по иронии той же судьбы, я совершенно не знал о взглядах Федорова. Мы много разговаривали на разные темы, но космос почему-то обходили. Вероятно, сказалась разница в возрасте. Такие разговоры о космосе со мной он находил, видимо, преждевременными»<sup>29</sup>. Только через десять лет после смерти Федорова Константин Эдуардович узнал об его учении, прочитав «Философию общего дела», которую он очень высоко оценил.

Федорова недаром называют предшественником космических идей Циолковского. Еще задолго до знаменитых работ Константина Эдуардовича Федоров полагал, что люди не ограничатся пределами Земли, неизбежно заселят космос и станут активными его преобразователями.

Выход человека в космос связан в учении Федорова с его проектом регуляции природы, которая определяет себя как принципиально новая ступень развития. Если эволюция — прогресс невольный, то регуляция должна стать сознательно-волевым преобразовательным действием, совершаемым «существами разумными и нравствен-



ными, трудящимися в совокупности для общего дела».

В годы, когда Федоров писал свою записку к «ученым», низовая, народная Россия была истощена следующими один за другим неурожайными годами. Туча, не пролившая дождя над засохшей землей, оборачивалась смертью сотен тысяч.

В Америке были произведены удачные опыты вызывания дождя с помощью взрывчатых веществ, буквально совпавшие со страшным голодом (1891 года) в России. Для Федорова это «явилось как благая весть, что средства, избранные для взаимного истребления, становятся средством спасения от голода» (I, 3).

Известный общественный деятель Н. П. Карзинин еще в начале XIX века выступил с конкретными проектами управления погодой, «приложения электрической силы верхних слоев атмосферы к потребностям человека» (II, 276) (в частности, он предлагал поднимать громоотвод, привязанный к аэростату, для добывания атмосферного электричества). Для Федорова Карзинин не просто метеоролог, а первый метеороург, дерзнувший перейти от пассивного предсказывания явления к разумному управлению им.

Проекты «Философии общего дела» значительны тем, что они обосновывают только в самом общем виде необходимость регуляции природы и намечают пути ее преобразования, поражающие своим точным научным предвидением. Речь идет о том, что «ветры и дожди обратятся в вентиляцию и ирригацию земного шара, как общего хозяйства» (I, 281); об управлении движением самого земного шара («человечество должно быть не праздным пассажиrom, а прислугою, экипажем нашего земного, — неизвестно еще, какою силою приводимого в движение, — корабля» — I, 284); о поисках новых источников энергии, овладении энергией Солнца («солнечная система должна быть обращена в хозяйственную силу» — I, 332, «хозяйственная задача человека состоит именно в устройстве такого регулирующего аппарата, без коего солнечная система остается слепой, несвободной, смертоносной силой» — I, 331).

Об одном интересном эпизоде рассказывает Вал. Брюсов в своих воспоминаниях о пребывании в 1909 году у Э. Верхарна: «Мы говорили об аэропланах. Я рассказываю о состязаниях в Жювизи, на которых присутствовал. — Я рад, — говорил Верхарн, — что дожид до завоевания воздуха. Человек должен властвовать над стихиями, над водой, огнем, воздухом. Даже должен научиться управлять самим земным шаром. К удивлению Верхарна, я сообщаю ему, что эту мысль у него предвосхитил русский мыслитель, старец Федоров»<sup>30</sup>. Брюсов мог бы добавить, что еще в

1906 году в стихотворении «Хвала человеку» он сам выразил эту же «Федоровскую» мысль:

Верю, дерзкий! ты поставишь  
Над землей ряды ветрил.  
Ты своей рукой направишь  
Бег планеты меж светил.

Разрабатывая свой проект регуляции, Федоров с самого начала подчеркивал неотделимость Земли от космоса, тонкую взаимосвязь происходящего на нашей планете с процессами во вселенной. «Единство метеорического... и космического процессов дает основание для расширения регуляции на солнечную и другие звездные системы для их воссоздания и управления разумом» (II, 252). Известно, что в XX веке исследование этой связи стало уже целым направлением в науке, ярким представителем которого является выдающийся советский ученый А. Л. Чижевский<sup>31</sup>.

Федоров остро ощущал распахнутость Земли в космические дали. «Труд человеческий не должен ограничиваться пределами земли, тем более что таких пределов, границ не существует; земля, можно сказать, открыта со всех сторон, средства же перемещения и способы жизни в различных средах не только могут, но и должны изменяться» (I, 277).

Неизбежность выхода человечества в космос рассматривается в «Философии общего дела» основательно, с самых различных сторон. Аргументы «за» разнообразны: невозможность достичь полной регуляции лишь в пределах Земли, зависящей от всего космоса, который также изнашивается, сгорает, «падает»; вместе с тем в бесконечных просторах вселенной разместятся мириады воскрешенных поколений, так что «отыскание новых землиц» становится приговлом «небесных обитателей» отцам. «Порожденный крошечною землею, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделать их обитателем и правителем» (II, 253).

Федоров уже в конце XIX века видел единственный выход для человечества, упускаемого в неотвратимый земной финал — истощение земных ресурсов при все большем умножении численности населения, космическая катастрофа, потухание Солнца и т. д., — в завоевании новых сред обитания, в преобразовании сначала солнечной системы, а затем и всего космоса.

«Во все периоды истории очевидно стремление, которое доказывает, что человечество не может удовлетвориться тесными пределами земли, только земным» (I, 285). Эта реальная, естественная потребность «горного» извращалась, преобразуясь в мистические экстазы, «хождения, восхождения на небеса... всякого рода видения, ревивали, спиритические фокусы и т. д.»



(I, 285). Только такая безбрежная область деятельности, как овладение космосом, «этот великий подвиг» (I, 283) привлечет к себе и всю духовную энергию, все силы человечества, которые сейчас расходуются на взаимную рознь или растрачиваются по пустякам.

О том, насколько подобные идеи в конце прошлого столетия казались бредовыми, свидетельствует следующий эпизод, который передает Ф. И. Буслаев в своих воспоминаниях. Л. Н. Толстой в начале 80-х годов пересказывал увлекавшие его тогда проекты Федорова членам Московского психологического общества во главе с профессором М. М. Троицким. На недоуменный вопрос «а как же уместятся на маленькой земле все бесчисленные воскресенные поколения» Толстой ответил: «это предусмотрено: царство знания и управления не ограничено землей». Это заявление было встречено, по словам Буслаева, «неудержимым смехом присутствующих»<sup>32</sup>.

В «Философии общего дела» Федоров нацупывает и самые общие направления будущей трансформации физического состава человека. Русский мыслитель безусловно понимает значение нового, введенного человеком фактора — искусственного, — который увеличивает наши возможности: к примеру, микроскоп и телескоп невероятно изощряют зрение, а аэронavigические средства, при помощи которых человек будет перемещаться в космическом пространстве, как предсказывал Федоров, «сделаются тогда телесными крыльями» (I, 318).

Вместе с тем Федоров говорит о прямой зависимости перестройки человеческого организма от его связей с окружающей средой.

Всегда радостна созвучность смелых мыслей людей, идущих к ним с разных сторон и в разное время. Академик В. И. Вернадский утверждал, что дальнейшее развитие человечества состоит «наряду с разрешением социальных проблем, которые поставлены социализмом, в изменении формы питания и источников энергии, доступных человеку»<sup>33</sup>. Выдающийся биофизик имеет в виду овладение энергией Солнца, а также «непосредственный синтез пищи, без посредничества организованных существ»<sup>34</sup>, умение поддерживать и воссоздавать свой организм примерно так же, как это происходит с растениями (они и некоторые почвенные бактерии являются автотрофными<sup>35</sup>, то есть сами строят свой организм на основе таких веществ окружающей среды, как газы, водные растворы, соли, и т. д.).

«Последствия такого явления в механизме биосферы были бы огромны. Это означало бы, что единое целое — жизнь — вновь разделилось бы, появилось бы третье, независимое ее ответвление. Человече-

ский разум этим путем не только создал бы новое, большое социальное достижение, но ввел бы в механизм биосферы новое, большое геологическое явление...

В конце концов будущее человека всегда большей частью создается им же самим. Создание нового, автотрофного существа даст ему доселе отсутствующие возможности использования его вековых духовных стремлений...»<sup>36</sup>.

Послушаем теперь Федорова: «Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры только тогда, когда он будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что тогда только он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы» (I, 421). Вот в чем состоит «сущность того организма, который мы должны себе выработать: «Этот организм есть единство знания и действия; питание этого организма есть сознательно-творческий процесс обращения человеком элементарных, космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани. Органами этого организма будут те орудия, посредством коих человек будет действовать на условия, от которых зависит жизнь растительная и животная» (I, 318).

Как мы видим, эта обобщенная схема будущего человеческого организма, который осуществляет непрерывное творческое самосозидание, основанное на всеобъемлющем знании «метаморфозы вещества», широко включает в себя также «искусственное», элементы, сконструированные самим человеком.

А вот как прогнозирует будущее человека известный советский астрофизик И. С. Шкловский: «Поразительные успехи молекулярной биологии и кибернетики постепенно приведут к коренному изменению биологических характеристик разумных существ путем целесообразного синтеза «естественных» и «искусственных» организмов и их частей. Подобно тому как мы сейчас широко пользуемся искусственными протезами (например, зубами), не отделяя их от своего «я», разумные существа будущего в значительной, если не в большей, части могут состоять из искусственных элементов»<sup>37</sup>.

Одновременно, считал Федоров, будет изменяться и внутренний мир человека. Основная переориентация эмоциональной сферы человека связана у Федорова прежде всего с обращением всей души живущего к умершим предкам, с установлением всеобщей родственности и братства. Только полное и совершенное знание и взаимознание приведут к тому идеалу устройства общества, который получил у Федорова название психократии, власти психей, внутренней силы чувства, а не внешнего юридического закона.



Основная надежда в деле регуляции природы возлагается в «Философии общего дела» на науку. Федоров призывает к объединению всех наук вокруг астрономии — одним словом, выступает с той идеей, которая в наше время определяется как космизация науки. «Соединить все науки в астрономии значит обратить их в небесные механику, физику, химию...» (II, 248).

К концу XIX века стала обсуждаться такая проблема, как разоружение. Однако русский философ предлагал не разоружаться, а «переоформиться», не распускать армии, а превратить их в мощную исследовательскую и преобразующую силу. Народам и государствам просто психологически (не говоря уже о конкретных исторических и социально-экономических причинах) трудно, если не невозможно, пойти на полное уничтожение созданного ими: ведь вооруженные силы аккумулируют в себе усилия столетий, опыт научного и технического развития, самоотверженность и сплоченность широких масс. «Нужно не бросить меч, а перековать его на орало, не бросить оружие, ибо его могут поднять и обратить против нас же» (I, 676). «...Дать истинно братский исход накопившимся громадным силам и всякого рода горючим материалам вместо того, к чему все это готовилось, т. е. вместо войны» (I, 663).

Враждебно противостоящие друг другу армии следует обратить к «естественному разумному действию на слепые, неразумные силы природы, поражающие нас засухами, наводнениями, землетрясениями и другими всякого рода бедствиями» (I, 662).

Как первый этап в реализации своего проекта Федоров предлагает начать в армии работу по метеорологической регуляции, привлекая все новейшие средства, используемые в военном деле: ведь вооруженные силы всегда были одним из первых испытательных полигонов последних достижений науки и техники. «Но самое важное при этом будет заключаться в обращении военного дела в исследование, в изучение природы» (I, 661), которое становится постепенно всеобщим делом. Всеобщая воинская повинность, соединенная со всеобщим образованием, превращается во всеобщую естественную повинность: все народы составляют единую армию, производящую исследования и опыты на всем пространстве земли, в самой природе.

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА РОССИИ

Знавшие Николая Федоровича вспоминают, что он, обычно доброжелательный к людям, терпимый человек, буквально взрылся, приходил в крайнее негодование,

когда кто-либо оскорблял его горячее патристическое чувство. Однажды он просто-напросто выгнал из читального зала одного известного и весьма уважаемого ученого мужа за его презрительный отзыв о России.

Николай Федорович был одушевлен страстной верой в великое призвание России. Федоров, как и Ф. М. Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи, видит «идею» России в разрешении общечеловеческой задачи. Для Федорова она приобретает четкие очертания «общего дела» регуляции и воскрешения: «славянскому племени принадлежит раскрытие мысли о всеобщем соединении и принятии ее как руководства, как плана, проекта деятельности, жизни» (I, 260).

У Федорова есть поразительный для его времени, ясный ответ на смутно-профетические чаяния великого русского писателя: «Русь, Русь, что пророчит сей необъятный простор?»: «Наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига» (I, 282).

Автор «Философии общего дела» видит в государстве — преимущественно в русском — воплощение глубокой провиденциальной идеи. Русское государство на протяжении столетий осуществляло непрерывный, тяжелый труд умиротворения кочевых Востока, собирания земель и народов, их объединения в единое целое и защиты от распада. Оно носит служилый, сторожевой характер. «Что такое Россия? — или, — что то же, — для чего нужно собирание?.. Для чего, зачем, не щадя себя, лишив себя свободы (т. е. обратившись в служилые сословия, обложив всякую душу — живую и даже умершую — тяжкою податью) — народ русский присоединил тысячеверстные рвы и валы... (I, 365).

На этот патетический вопрос о цели собирания земли Русской Федоров отвечает целиком в духе своего учения: «собираение во имя предков и ради предков, соединение всех живущих для воскрешения всех умерших» (I, 364). Ввиду великой цели регуляции и воскрешения, требующей предельного сосредоточения сил народа, Федоров утверждает необходимость и долг всех стать на обязательную службу к государству, которое призвано стать выразителем этих целей. «Обязательная повинность службы» постепенно по мере освобождения от юридико-экономических законов принуждения будет переходить к «добровольному исполнению своего долга» (I, 377).

Русское государство на пути своего тысячелетнего утверждения собирает огромную мощь, концентрирует в себе такие великие качества, как единство, сплоченность, сила, которые можно и нужно обернуть на «общее дело» борьбы против слепых сил природы.





Н. Ф. Федоров, Л. Н. Толстой и В. С. Соловьев.  
Художник Л. Пастернак.

### Н. Ф. ФЕДОРОВ И ЕГО ЗНАМЕНИТЫЕ СОВРЕМЕННОКИ

При жизни Николая Федоровича его учение было известно очень немногим, однако среди них были такие выдающиеся люди, как Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. В 1904 году уже после смерти Федорова Н. П. Петерсон направляет «Письмо к издателю Русского архива по поводу отзыва Ф. М. Достоевского». Из этого письма явствует, что еще с конца 60-х годов Петерсон стал записывать — правда, с большими перерывами, преимущественно во время летних каникул — размышления вслух своего друга и учителя. Постепенно

у Петерсона сложилось достаточно полное представление об учении Федорова, и в 1877 году он посылает, скрыв это от самого Федорова, ряд своих записей Ф. М. Достоевскому. В ответе последнего от 24 марта 1878 года есть такие строки:

«Первым делом вопрос: кто этот мыслитель, мысли которого вы передали? Если можете, то сообщите его настоящее имя. Он слишком заинтересовал меня. По крайней мере сообщите хоть что-нибудь о нем подробнее, как о лице: все это, если можно.

Затем скажу, что, в сущности, совершенно согласен с этими мыслями. Их я прочел как бы за свои. Сегодня я прочел их (анонимно) В. С. С. (В. С. Соловье-



ву. — С. С.). Я нарочно ждал его, чтобы ему прочесть ваше изложение мыслителя, так как нашел в его воззрении много сходного. Это нам дало прекрасных два часа. Он глубоко сочувствует мыслителю...

Сообщите же, если можете и хотите, многоуважаемый Н. П., как думает об этом ваш мыслитель, и, если можете, сообщите подробнее»<sup>38</sup>.

Составление ответа Достоевскому растянулось на два года (вернее, два лета). Когда он был уже почти готов, Достоевский умер в январе 1881 года. Эта работа, в которой излагалось учение Федорова, позднее вошла в I том «Философии общего дела».

Летом 1878 года по пути в Ашхабад, где в то время Петерсон служил членом окружного суда, он случайно встретился в поезде с Л. Н. Толстым и прочитал ему вслух часть ответа Достоевскому. Лев Николаевич, хотя и заявил, что «это ему не симпатично», выказал большой интерес к личности и учению московского библиотекаря и через несколько лет, находясь в Москве, зашел к нему в Румянцевский музей. Вот запись в дневнике Толстого от 5 октября 1881 года: «Николай Федорович — святой! Каморка. Исполнять! — Это само собой разумеется. — Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели»<sup>39</sup>. С этого времени начинаются их многолетние отношения, нелегкие и неравноправные, как это ни странно, для самого Льва Николаевича. О несколько заискивающим отношении Толстого к Федорову, об их частых ссорах и стычках существует много рассказов, иногда легендарного оттенка<sup>40</sup>. Илья Львович Толстой вспоминает: «Отец, всегда пылкий и несдержанный в разговорах, выслушивал Николая Федоровича с особенным вниманием и никогда с ним не горячился»<sup>41</sup>. О большом уважении и даже преклонении Толстого перед личностью Федорова, как подвижника идеи, человека «святой жизни» и даже невольного выразителя его собственных теорий опрощения и любви к ближнему, писали многие<sup>42</sup>. Более того, согласно Н. П. Петерсону: «Толстой не мог, только по присущей ему гордости, самого себя поставить ниже Николая Федоровича и говорил ему самому, что был бы последователем его учения, если бы не имел собственного»<sup>43</sup>. Знаменателен следующий отрывок из письма, направленного Федорову в 1887 году известным русским поэтом А. А. Фетом: «Я никогда не забуду слов Льва Николаевича, относящихся к Вам в те еще времена, когда мы так дружелюбно сходились с Вами и беседовали у него на квартире. Он говорил: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком. Много надо иметь духовного капитала, чтобы заслужить такие отзывы, ибо я не знаю человека, знающего Вас, который не выра-

жался бы о Вас в подобном же роде. Если бы я не считал этого неловким, то смело включил бы себя в число таких людей»<sup>44</sup>.

Нравственно-религиозное учение Л. Н. Толстого вызывало резкое неприятие у Федорова, и в 1892 году произошел окончательный разрыв между ними<sup>45</sup>. Несмотря на это, Лев Николаевич неоднократно впоследствии, а также после смерти Федорова высказывался о нем очень тепло и душевно. Так, в 1895 году в ответ на приглашение подписать адрес Федорову, составленный его сослуживцами и читателями библиотеки, Толстой писал: «Я с радостью подпишу всякий адрес, который вы напишете Николаю Федоровичу. И как бы высоко вы в этом адресе ни оценили и личность и труды Николая Федоровича, вы не выразите того глубокого уважения, которое я питаю к его личности, и признания мною того добра, которое он делал и делает людям своей самоотверженной деятельностью. Благодарю вас за то, что вы обратились ко мне»<sup>46</sup>.

Знавшие Н. Ф. Федорова отмечают одно его, изумлявшее всех, качество: абсолютное нежелание утвердить себя как мыслителя, автора определенного философского учения. Немногие свои статьи, появившиеся при его жизни, причем только в малозаметных или провинциальных печатных изданиях, он даже никогда не подписывал своей фамилией.

Не осталось бы даже изображения этого необыкновенного человека, если бы не хитрость его друзей, побудивших Л. О. Пастернака, близко знавшего Федорова, спрятаться за книгами в читальном зале Румянцевого музея и нарисовать его украдкой. Впоследствии, в 1919 году, художник, воспользовавшись этим наброском, написал большой портрет для библиотеки. Вся иконография Н. Ф. Федорова, помимо этого портрета и рисунка того же Пастернака, изображающего Н. Ф. Федорова, Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева за беседой (хранится в Музее Л. Н. Толстого в Москве), включает в себя исполненный художником М. Шестеркиным эскиз — силуэт фигуры философа, стоящего на балконе библиотеки, а также набросок Л. О. Пастернака с посмертной маски Федорова и фотографический снимок — Николай Федорович на смертном одре.

Но за этой личной и авторской скромностью Николая Федоровича стояли глубокие принципиальные причины. Автор философии «общего дела» был глубоко проникнут чувством общности духовного достоинства всего человечества, пониманием того, насколько каждый автор обязан в своем творчестве эпохе, окружению, предшественникам и в конечном итоге всем когда-либо жившим людям на земле. Свое резкое отрицание собственности Федоров распространял и на творения интеллекта и



духа, где она, по его мнению, особенно кощунственно-оскорбительна. Как писал о Федорове, «демократе по убеждениям, народнике в неискаженном, наилучшем смысле этого слова», его самый близкий ученик В. А. Кожевников: «Эта последняя (аристократия родовая и денежная. — С. С.) сделала предметом привилегии немногих вещь, совершенно презренную в глазах нашего мудреца, — богатство материальное; аристократия же ученая превращает в привилегию немногих избранных одно из высших благ, богатство духовное, достоинство всеобщее»<sup>47</sup>.

Призывам друзей самому выступить с учением, выражающим, по его убеждению, глубинные потребности всех людей, Федоров всячески противился и был готов кому угодно уступить это право (недаром в статьях, вошедших в посмертное издание «Философии общего дела», он говорит не от своего имени, а от лица «неученных», массы простого народа). Особые надежды Федоров возлагал в этом отношении на Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева.

Если Толстой, несмотря на весь свой интерес к учению Федорова и даже ряда попыток его распространения, был далек от его приятя<sup>48</sup>, то Соловьев, безусловно, испытал сильное влияние идей регуляции и воскрешения. Довольно широко известно письмо В. С. Соловьева середины 80-х годов, направленное им Федорову после прочтения одной из его рукописей:

«Глубокоуважаемый Николай Федорович! Прочел я Вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому чтению всю ночь и часть утра, а в следующие два дня, субботу и воскресенье, много думал о прочитанном.

«Проект» Ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров. Поговорить же нужно не о самом проекте, а об некоторых теоретических шагах к его осуществлению. В среду я завезу Вам рукопись в музей, а в конце недели нужно нам сойтись как-нибудь вечером. Я очень много имею Вам сказать.

Будьте здоровы, дорогой учитель и учитель. Сердечно Вам преданный Владимир Соловьев»<sup>49</sup>.

Целый ряд философско-эстетических работ последнего, периода его наибольшего сближения с Федоровым, таких, как «Красота в природе» (1889), «Общий смысл искусства» (1890), «Смысл любви» (1892—1894) и др., в определенном смысле представляют особую, «метафизическую» транскрипцию некоторых идей Федорова. Более того, на шумевшее выступление Соловьева на заседании Психологического общества 19 декабря 1891 года с рефератом «Об упадке средневекового миросозерцания» должно было стать, по договоренности с Федоровым, первым общественным обнаружением его учения,

призывом к объединению всех «в труде познания смертоносной силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, в видах обращения слепой смертоносной силы в животворную, или точнее — оживотворяющую» (I, 481)<sup>50</sup>.

Однако и этот реферат, неуслаженно затемнивший по «причинам публичного свойства» (как оправдывался сам выступавший) суть федоровских проектов, и прочие работы этого знаменитого философа глубоко разочаровали Николая Федоровича: «Соловьев вливал «новое вино» философии «общего дела» в старые мехи собственного изготовления, где оно тут же превращалось в отвлеченно-идеалистический «уксус». С начала 90-х годов происходит резкое и бесповоротное размежевание этих мыслителей.

Надо сказать, что сам Федоров многократно, по существу все последние 30 лет жизни, берется за изложение своих идей. Все написанное им было собрано впоследствии в двух томах «Философии общего дела». Прежде всего при чтении этой книги обнаруживается, как все изложение четко расслаивается на два основных пласта: первый, реалистически-адекватный проектам Федорова, развивает их применительно к естественнонаучному знанию и мировоззрению, второй символически транспонирует то же учение в форму универсального мифа, в котором переосмысливается ряд христианских образов. Это два языка, два кода, две обработки одной идеи. На этом основании Федорова иногда определяют как религиозно-христианского мыслителя, не понимая той совершенно особой роли, которую играют эти образы в его учении. При частом упоминании «Бога отцов» и «Царства Божия» в книге нет даже намека на сотрудничество божественных потенций в том общем деле, к которому Федоров призывает. Все упования возлагаются лишь на человека, на титаническое напряжение его способностей.

Но почему все же христианство, образ Христа притягивают русского мыслителя, проповедника идей регуляции всего космоса и воскрешения предков? Из всех мировых религий только в христианстве — и это его безусловная метафизическая оригинальность — утверждается идея личного воскресения, восстановления буквального, в форме тела, каждой уникальной человеческой личности. Сама эта идея в радикально ином виде — без труб и фанфар страшного суда, нелепой операции отделения чистых от нечистых, без всякого вмешательства божьей воли и любых сверхъестественных сил, — именно идея воскресения, высказанная в христианстве в форме мифа, привлекает Федорова.

Учение Федорова, безусловно, базируется на предпосылке уникального значения земли и человека. Ведь от эллинизма



(платонизма) и буддизма, этих двух вершин духовно-метафизического опыта человечества, христианство принципиально отличается тем, что оно признает землю центром вселенной, а человека — центром всего земного. Христианская геоцентрическая концепция у Федорова — убежденного коперниканца — получает антропоцентрический поворот. Все небесные тела лишь многочисленные земли. В этом смысле не может быть речи о единственно центральном положении земли. Но постольку, поскольку на земле возникла жизнь и сознание, возник и действует человек, а человек у Федорова — единственное мыслящее космическое существо, которому принадлежит роль хозяина и преобразователя всего мироздания, то тем самым и малюсенькая песчинка вселенной — земля — становится фокусом этой вселенной.

С такой точки зрения само воскрешение получает характер необходимости. Для заселения и управления космосом все — в мирадах прошедших поколений — пригодятся. Бесчисленность восстановленных тел пугает несоразмерной с землей отталкивающей жутью, но гармонично соотносится с безмерностью пустого космоса. Земля — питомник, оглашающий шумом и радостью живого бессмертия холодные пространства вселенной<sup>51</sup>.

В своей трактовке христианства Федоров оказывается удивительно внутренне близок Л. Фейербаху. Для Фейербаха бог есть не что иное, как идеализированная человеческая сущность, воплощающая мечту человечества о своем безграничном могуществе. Для автора «Сущности христианства» «вера в будущую жизнь есть вера в освобождение субъективности от ограничений природы, следовательно, вера в вечность и бесконечность личности, и притом не в смысле ее рода, постоянно развивающегося в новые индивиды, а в смысле уже существующих индивидов, следовательно, вера человека в самого себя... бог есть чистая, абсолютная, свободная от граней природы личность». Федоров не только считает вслед за Фейербахом, что «бог... есть уже то, чем человеческие индивиды должны быть и некогда будут — поэтому вера в бога есть вера человека в бесконечность и истинность своего собственного существа»<sup>52</sup>, но и пытается использовать это знание для целей собственного учения.

На «поэтику» мышления Федорова значительное влияние оказали православная русская иконопись и зодчество, житийно-учительная литература, бывшие на протяжении веков единственной формой выражения народного мирозерцания. Глубоко «вживаясь» в голос «крестьянского» русского народа, от имени которого Федоров выступает со своими проектами, он часто

пытается говорить на языке символов, понятных этому народу. Причем характерно, что первый план изложения учения Федорова — безрелигиозный, научно-философский — всегда развивается сам по себе. Зато второй, христианско-религиозный, всегда просвечивается на положительном фоне первого, что каждый раз отчетливо выявляет смысл этого второго плана как образного шифра федоровских идей, чистой художественной метафоры его мысли.

Настоящим же принципом объединения, «религиозной» связи между людьми у Федорова становится вера в «общее дело». «Живая религия есть лишь религиозизация, т. е. возведение в религию вопроса о жизни и смерти, или вопроса о всеобщем возвращении жизни, о всеобщем воскресении». Для Федорова «религия» «общего дела» дает веру человеку в свои фантастически беспредельные возможности, вносит высший смысл в жизнь и историю.

## КОНЕЦ ПУТИ

Этой вере сам Федоров был горячо, почти фанатически предан до конца своей жизни, можно сказать, до ее последних минут. О них рассказал его ближайший ученик, философ В. А. Кожевников, неотлучно находившийся при нем в Марининской больнице, где Николай Федорович скончался 15 декабря (по старому стилю) 1903 года. Федоров умер в 75 лет, но и в старости он сохранял необычайную бодрость и энергию. Его организм, закаленный суровым, аскетическим образом жизни, не знал болезней. Смерть наступила, по существу, случайно. Однажды в трескучие декабрьские морозы под сильнейшим нажимом друзей Николай Федорович изменил своим десятилетним привычкам. Его почти насильно одели в шубу и посадили на извозчика, чего он никогда себе не позволял. В результате — простуда, воспаление легких, смерть.

В. А. Кожевников так пишет о последних часах жизни своего учителя:

«Агония была тяжкая и длительная. Но до этого он много говорил, хотя и с трудом уже, с посещавшими его друзьями, несмотря на запрещение врачей разговаривать... Забывали и мы запрет. Жалость к страдальцу сменялась благоговейным вниманием к наставлениям...

Мы чувствовали, то были последние советы, последние заповеди, последние благословения. Ни слова о себе лично, ни о болезни, ни о близком уже конце... все мысли и речи о «деле». С ним он не расставался до последней минуты сознания. Видимо, хотелось говорить много, но кашель и укороченное дыхание мешали: приходилось ограничиваться краткими указаниями... Тут были великие, проникновен-

ные мысли... На этих указаниях, на этих и среди этих страданий, не покидавших его стремлениях, смолкла в агонии его речь, но уста еще долгие часы шевелились невянятно и бессильно, и горели во взоре недосказанные думы. Жалостливо-величава была и эта беззвучная беседа. Он скончался без сознания, часов в 6 утра<sup>53</sup>.

Сразу после смерти Н. Ф. Федорова Н. П. Петерсон и В. А. Кожевников непосредственно приступают к подготовке издания всего написанного их учителем. Разобрать рукописи Федорова оказалось делом сложным и кропотливым. Писал он почерком мелким, неясным, почти всегда карандашом, чаще всего ночью, при тусклом свете копилки, на отдельных листах или обрывках бумаги. Издателям пришлось проделывать колоссальную работу по разборке и систематизации философского наследия учителя.

Наконец в 1906 году на далекой окраине царской России, в городе Верном (ныне Алма-Ата) вышел первый том «Философии общего дела» всего в количестве 480 экземпляров. Следуя заветам покойного, ученики выпустили книгу «не для продажи». Часть тиража была разослана по библиотекам, из другой части любой желающий мог себе бесплатно заказать экземпляр у издателей. Второй том был издан через семь лет, в 1913 году, в Москве. Был подготовлен к печати и третий том, содержавший ряд статей Федорова и прежде всего его переписку, но наступившие бурные события первой мировой войны и революции помешали его выходу в свет.

Н. Ф. Федоров в «цеховой» классификации философов неизменно занимает место утописта. Его любят сближать с мечтателями типа Фурье, предлагающими свои идеальные схемы общественного жизнеустройства. Правда, русский мыслитель создал не социальную, а космическую «утопию». В своем учении он посягает не на тот или иной общественный строй, а на весь природно-мировой порядок. Если в основе многочисленных утопий лежала извечная человеческая мечта о справедливом и счастливом устройстве на земле, то в основе федоровских проектов лежит дерз-

новеннейшая мечта о полном овладении тайнами жизни, о победе над смертью, о достижении человеком богоподобной власти в преображенном мироздании.

В «Философии общего дела» просматривается много черт утопического коммунистического идеала. В процессе объединения всех «общего дела» регуляции рушатся расовые, национальные, территориальные, классовые перегородки.

Однако слабые стороны учения Федорова достаточно очевидны. Утопизм построений русского мыслителя связан с превознесением регуляции как спасения от всех социально-экономических бедствий человечества. Федоров не оценил возможностей социальных, социалистических преобразований. Он был одержим нетерпением открывателя будущих путей, перескакивал через целые исторически необходимые этапы развития человечества, определял задачи более дальние, те, которые насущно, как прямые, практические задачи станут перед тем временем, когда будут решены жгучие, социальные проблемы, когда «вопрос государственный, культурный превратится в физический или астрофизический, в небесно-земной» (I, 10).

Все, что человек создал в себе и вокруг себя за всю свою тысячелетнюю историю, все невиданное и небывалое, внесенное в природу через творчество и труд, вначале явилось человеку как мечта, все более уточнявшая себя через реальное сопротивление действительности. В любой утопии различаются две стороны: сама идея, образ чаемого и пути ее реализации. Обычно наиболее уязвимой является вторая сторона. Тут с неизбежным драматизмом сталкиваются индивидуальная вера, универсальная схема, кажущиеся неотразимой истиной их носителю, и объективные законы общественно-исторического развития. Само же зерно идеи, уходящее в мечту, часто дает реальные всходы в почве будущего. Многие мечты, которые «гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно»<sup>54</sup>, в наше время уже окончательно практически сняли с себя подозрение в том, что «они не могут иметь места» в действительности. Эпитет «утопический» нередко смывается волной времени.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: И. Романовский. Книга и жизнь. Очерки о Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. М., «Московский рабочий», 1950, с. 60—67.

<sup>2</sup> М. Горький. Еще о механических гражданах.

Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1953, с. 454.

<sup>3</sup> См.: «Литературное наследство», т. 70, 1963.

<sup>4</sup> См. в частности: Л. В. Голованов. К вопросу об идеях влияющих на К. Э. Циолковского. — Труды 3-х чтений К. Э. Циолковского. Секция исследования творчества К. Э. Циол-

ковского. М., 1966, с. 3—16.

<sup>5</sup> Недаром определение «загадочный старик» послужило названием повести-хроники известного популяризатора науки Вл. Львова, впервые познакомившего советского читателя с биографией необыкновенного московского библиотечника. В повести подчеркиваются материалистические основы



его мировоззрения, глубоко демократический и гуманистический характер его идей, выдвигается настоятельная необходимость их пристального изучения. См.: Вл. Львов. Загадочный старик. Федоров вчера и сегодня. Несколько слов в заключение. — «Нева», 1974, № 5, с. 65—122.

<sup>6</sup> Любопытно, что сестра Ивана Алексеевича Гагарина, Прасковья Алексеевна Гагарина, вышедшая замуж за князя Кропоткина, стала бабкою П. А. Кропоткина, приходящегося, следовательно, троюродным братом Н. В. Федорову. В своих знаменитых «Записках революционера» П. А. Кропоткин считает особой чертой семейства Гагариных вкус к театру, литературе и философическому размышлению.

<sup>7</sup> См.: С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1968, с. 135. Более того в черновых вариантах к «Воскресению» философские убеждения Симонсона (сначала Вильгельмсона) включают в себя элементы учения Н. Ф. Федорова: необходимость материального воскрешения всех умерших силами знания и труда самих людей. См. шестую редакцию «Воскресения» — Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. М., 1933, т. 33.

<sup>8</sup> Н. П. Петерсон. «Философия общего дела» в противоположность учению Л. Н. Толстого о «непротивлении» и другим идеям нашего времени. Верный, 1912, с. 88—89.

<sup>9</sup> «Философия общего дела». Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федорова, изданные под редакцией В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона, т. 1. Верный, 1906, с. 276. Второй том вышел в Москве в 1913 году. Далее в тексте очерка ссылки на оба тома даются в скобках после цитаты. Указывается том и страница.

<sup>10</sup> Вал. Брюсов. О смерти, воскрешении и воскрешении (письмо в ответ на вопрос). «Вселенское дело», вып. 1-й. Одесса, 1914, с. 49.

<sup>11</sup> См.: А. Салтыков. Первый иллюстратор Маяковского. «Творчество», № 12, 1965.

<sup>12</sup> П. Я. Покровский. Из воспоминаний о Николае Федоровиче. (К 40-му дню

кончины.) — «Московские ведомости», № 23, 1904, с. 4.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Екат. Некрасова. Памяти Н. Ф. Федорова. «Русские ведомости», № 353, 1903, с. 4.

<sup>15</sup> П. Я. Покровский. Из воспоминаний о Николае Федоровиче, с. 5.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> А. А. Гинкен. Идеальный библиотечник — Николай Федорович Федоров. «Библиотечка», вып. 1-й, 1911, с. 1.

<sup>18</sup> В. А. Кожевников. Николай Федорович Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам. М., 1908, с. 8.

<sup>19</sup> Там же, с. 7—8.

<sup>20</sup> Из письма от 20 апреля 1896 года С. Шурова, сотрудника Румянцевского музея, Н. Ф. Федорову. — Архив Н. П. Петерсона. Рукописный отдел Всесоюзной Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

<sup>21</sup> В. А. Кожевников. Николай Федорович Федоров, с. 5.

<sup>22</sup> П. Я. Покровский. Из воспоминаний о Николае Федоровиче, с. 4.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., «Художественная литература», 1969, с. 189—190.

<sup>25</sup> А. Остромиров. Николай Федорович Федоров. Биография. Харбин, 1928, с. 15.

<sup>26</sup> Ю. Бартенев. Памяти Н. Ф. Федорова. «Русский архив», 1904, № 1, с. 192.

<sup>27</sup> См.: Г. Флоровский. Проект мнимого дела (о Н. Ф. Федорове и его продолжателях). — Современные записки. Париж, 1935, № 59, с. 399.

<sup>28</sup> К. Э. Циолковский. Черты из моей жизни. В кн.: К. Э. Циолковский. М., 1939, с. 27.

<sup>29</sup> К. Алтайский. Московская юность Циолковского. — «Москва», 1966, № 9, с. 181.

<sup>30</sup> В. Брюсов. Новые книги Эмиля Верхарна. — «Русская мысль», 1910, № 8, с. 6.

<sup>31</sup> См. в частности: А. Л. Чижевский. Солнце и мы. М., 1963; статьи в сб. «Земля во вселенной». М., 1964.

<sup>32</sup> См.: А. Остромиров. Николай Федорович Федоров и современность. Вып. 3-й. Харбин, 1932, с. 4.

<sup>33</sup> В. И. Вернадский. Автотрофность человека. Биогеохимические очерки. М., 1940, с. 55.

<sup>34</sup> Там же.

<sup>35</sup> Эта классификация была введена немецким физиологом И. Пфеффером. Она включает в себя существа гетеротрофные, то есть прямо зависящие от других живых существ или продуктов их жизнедеятельности (к ним принадлежит и человек). Между гетеротрофными и автотрофными есть место также немногочисленным промежуточным существам — миксотрофным (омела).

<sup>36</sup> Там же, с. 56—57.

<sup>37</sup> И. С. Шкловский. Вселенная. Жизнь. Разум. М., «Наука», 1973, с. 323. Тут же ученый добавляет: «Мы приходим, таким образом, к весьма важному для нас выводу: появление искусственных разумных существ должно ознаменовывать новый, качественно отличный от предыдущих, этап развития материи», с. 323.

<sup>38</sup> Письмо Ф. М. Достоевского к Н. П. Петерсону. — «Русский архив», 1904, № 3, с. 402, 403. Впервые это письмо Ф. М. Достоевского было напечатано (в сокращенном виде) в № 80 за 1897 год воронежской газеты «Дон».

<sup>39</sup> Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. М., ГИХЛ, 1952, т. 49, с. 58.

<sup>40</sup> См., в частности, ряд эпизодов в повести-хронике Вл. Львова «Загадочный старик».

<sup>41</sup> И. Л. Толстой. Мои воспоминания, с. 190.

<sup>42</sup> См., в частности, воспоминания известного этнографа А. С. Пругавина «О парадоксах Л. Н. Толстого». В кн.: «Сборник вос-

поминаний о Л. Н. Толстом». М., 1911.

<sup>43</sup> Н. П. Петерсон. «Философия общего дела» в противоположность учению Л. Н. Толстого о «непротивлении» и другим идеям нашего времени, с. 74.

<sup>44</sup> Письмо А. А. Шеншина (Фета) к Н. Ф. Федорову. В кн.: В. А. Кожевников. Николай Федорович Федоров, с. 320.

<sup>45</sup> Конкретные детали разрыва представлены в книге: Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., «Наука», 1970.

<sup>46</sup> Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. М., ГИХЛ, 1954, т. 68, с. 246—247.

<sup>47</sup> В. А. Кожевников. Николай Федорович Федоров, с. 12.

<sup>48</sup> Согласно воспоминаниям старшего сына

Л. Н. Толстого: «При каждой встрече с моим отцом он (Н. Ф. Федоров. — С. С.) требовал, чтобы отец распространял эти идеи. Он не просил, а именно настойчиво требовал, а когда отец в самой мягкой форме отказывался, он огорчался, и обижался, и не мог ему этого простить» (С. Л. Толстой. Очерки былого, с. 135). Н. Н. Гусев пишет: «В 1904 году на мой вопрос, почему Федоров относился к нему неприязненно, Толстой ответил: «Потому что я не разделял его взглядов», и прибавил: «Он меня прямо ненавидел». Н. Н. Гусев, Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год, с. 78.

<sup>49</sup> Письма Владимира Сергеевича Соловьева, т. II, под редакцией Э. Л. Радлова. 1909, с. 345.

<sup>50</sup> Тут же, на этой странице своей книги, Федоров пишет: «19-е октября 1891 г.

могло бы сделаться величайшим днем».

<sup>51</sup> Вл. Львов в книге «Молодая вселенная», склоняясь к гипотезе единственности разума на Земле, сделал приблизительный подсчет, сколько понадобится человеческих существ для освоения «территории вселенной»: «Их нужно будет, по крайней мере, во столько раз больше нынешнего числа людей, во сколько раз весь обозримый космос превосходит земной шар... От  $10^{16}$  до  $10^{83}$  человеческих душ», с. 373.

<sup>52</sup> Л. Фейербах. Сущность христианства. Сочинения, т. 2. М., 1926, с. 195—196.

<sup>53</sup> Из письма В. А. Кожевникова к А. Остромирову. Цит. по кн.: А. Остромиров. Николай Федорович Федоров, с. 19.

<sup>54</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. т. 18, с. 499.





Главный герой «Тихого Дона» Григорий Пантелеевич Мелехов родился в 1892 году в хуторе Татарском Вешенской станицы Области Войска Донского. Хутор большой — в 1912 году в нем было триста дворов, располагался на правом берегу Дона, против станицы Вешенская. Родители Григория: отставной урядник лейб-гвардии Атаманского полка Пантелей Прокофьевич и его жена Василиса Ильинична.

Разумеется, никаких подобного рода анкетных сведений в романе нет. Более того, о возрасте Григория, равно и как его родителей, брата Петра, Аксиньи и почти всех других центральных персонажей, никаких прямых указаний в тексте не имеется. Дата рождения Григория устанавливается следующим образом. Как известно, в России начала XX века на действительную службу в мирное время призывались в порядке воинской повинности мужчины, достигшие полных 21 года от роду. Григорий призван на службу, как можно точно определить по обстоятельствам действия, в начале января 1914 года; ему, следовательно, в минувшем году исполнился положенный для призыва возраст. Итак, родился он в 1892 году, не раньше и не позже.

В романе неоднократно подчеркивается, что Григорий разительно похож на отца, а Петр — и лицом и характером на мать. Это не только черты внешнего облика, это образ: согласно распространенной народной примете ребенок будет счастлив в жизни, если сын похож на мать, а дочь на отца. Открытый, прямой и резкий нрав Григория сулит ему нелегкую, суровую судьбу, и это изначально отмечено в его родовой характеристике. Напротив, брат Петр — антипод Григория во всем: он покладист, жизнелюб, весел, уступчив, не слишком умен, да хитер, он легкий в жизни человек.

В облике Григория, как и его отца, заметны восточные черты, недаром уличное прозвище Мелеховых — «турки». Прокофий, отец Пантелея, по окончании «предпоследней турецкой войны» (имеется в виду война с Турцией и ее союзниками в 1853—1856 годах) привез жену, которую хуторяне называли «турчанкой». Скорее всего речь должна идти не о турецкой женщине в точном этническом смысле слова. Во время упомянутой войны боевые действия русских войск на территории собственно Турции велись в глухих, малолюдных местностях Закавказья, к тому же населенных в ту пору преимущественно армянами и курдами. В те же годы шла ожесточен-

## С. Н. Семанов

### ГРИГОРИЙ МЕЛЕХОВ

(Опыт биографии героя романа  
М. Шолохова «Тихий Дон»)

ная война на Северном Кавказе против государства Шамиля, выступавшего в союзе с Турцией. Казаки и солдаты нередко в те времена женились на женщинах из числа северокавказских народностей, этот факт подробно описан в мемуарной литературе. Следовательно, бабка Григория скорее всего оттуда.

Косвенное подтверждение тому есть в романе. После ссоры с братом Петр в сердцах кричит Григорию: «Весь в батину породу выродился, истованный черкесюка!» Вполне вероятно, что бабка Петра и Григория именно черкешенка, красота и стройность которых издавна славилась на Кавказе и в России. Прокофий мог и даже должен был рассказать своему единственному сыну Пантелею, кто и откуда была его трагически погибшая мать, семейное это предание не могло быть не известно внукам; вот почему Петр говорит не о турецкой, а именно о черкесской породе в своем младшем брате.

Более того. Старый генерал Листницкий тоже в весьма примечательном смысле запомнил Пантелея Прокофьевича по службе в Атаманском полку. Он вспоминает: «Хромой такой, из черкесов?» Образованный, многоопытный офицер, хорошо знавший казачество, он, надо верить, дал здесь точный этнический оттенок.

Григорий родился казаком, в ту пору это являлось социальным признаком: как все лица казацкого сословия мужского пола он освобождался от налогов и имел право на земельный надел. По положению от 1869 года, которое существенно не менялось вплоть до революции, надел («пай») определялся в 30 десятин (практически от 10 до 50 десятин), то есть значительно выше, чем в среднем у крестьянства по России в целом.

За это казак должен был отбывать воинскую службу (преимущественно в кавалерии), причем все снаряжение, кроме огнестрельного оружия, приобреталось им за



свой счет. С 1909 года казак служил 18 лет: один год в «приготовительном разряде», четыре года действительной службы, восемь лет на «льготе», то есть с периодическим вызовом на военные сборы, вторая и третья очереди по четыре года и, наконец, пять лет запаса. В случае войны все казаки подлежали немедленному призыву в армию.

Действие «Тихого Дона» начинается в мае 1912 года: казаки второй очереди призыва (в частности, Петр Мелехов и Степан Астахов) уходят в лагеря на летние военные сборы. Григорию в ту пору около двадцати лет. Их роман с Аксиньей начинается во время сенокоса, в июне, значит. Аксинье тоже около двадцати, она с семнадцати лет замужем за Степаном Астаховым.

Далее хронология событий развивается следующим образом. В середине лета возвращается из лагерей Степан, узнавший уже об измене жены. Происходит драка между ним и братьями Мелеховыми. Вскоре Пантелей Прокофьевич сосватал за Григория Наталью Коршунову. В романе есть точная хронологическая примета: «сводить жениха с невестой порешили на первый спас», то есть, по православному календарю, 1 августа. «Свадьбу назначили на первый мясоед», говорится далее. «Первый мясоед» длился с 15 августа по 14 ноября, но в романе есть уточнение. На успехе, то есть 15 августа, Григорий приехал проводить невесту. Наталья про себя подсчитывает: «Одиннадцать дней осталось». Итак, свадьба их состоялась 26 августа 1912 года. Наталье в ту пору было восемнадцать лет (мать ее говорит Мелеховым

в день сватовства: «Осьмнадцатая весна только перешла»), она, значит, 1894 года рождения.

Жизнь Григория с Натальей плохо сложилась сразу же. Они поехали косить озимое «за три дня до покров», то есть 28 сентября (праздник покрова богородицы — 1 октября). Тогда же, ночью, произошло их первое тягостное объяснение: «Не люблю тебя, Наталья, ты не гневайся. Не хотел гутарить про это, да нет, видимо, так не прожить...»

Григорий и Аксинья тянутся друг к другу, молча страдают от невозможности соединиться. Но вскоре случай сводит их наедине. После снегопада, когда установился санный путь, хуторяне выезжают в лес на порубку хвороста. Они встретились на пустынной дороге: «Ну, Гриша, как хочешь, жить без тебя моченьки нету...» Он воровски повел низко опущенными зрачками опьяневших глаз и рывком притянул к себе Аксинью». Это случилось через некоторое время после покрова, очевидно — в октябре.

Семейная жизнь Григория разваливается совсем, Наталья мучается, плачет. В доме Мелеховых происходит бурная сцена между Григорием и отцом. Пантелей Прокофьевич прогоняет его из дому. Событие это следует на другой день после того, как «в декабрьское воскресенье» Григорий принимал в Вешенской присягу. Переночевав у Мишки Кошевого, он приходит в Ягодное, имение генерала Листницкого, что в 12 верстах от Татарского. Через несколько дней к нему бежит из дому Аксинья. Итак, в самом конце 1912 года Григорий и Аксинья начинают работать в

В разведке.





Бой.

Ягодном: он — помощником конюха, она — стряпкой.

Летом Григорий должен был идти на летние военные сборы (перед призывом на службу), но Листницкий-младший поговорил с атаманом и добился для него освобождения. Все лето Григорий работал в поле. Аксиныя пришла в Ягодное беременной, но скрыла это от него, ибо не знала, «от кого из двух зачала», от Степана или Григория. Открылась она лишь «на шестом месяце, когда скрывать беременность было уже нельзя». Она уверяет Григория, что ребенок его: «Подсчитай сам... С порубки зто...»

Аксиныя родила во время жатвы ячменя, значит, в июле. Девочку называли Таней. Григорий очень привязался к ней, полюбил ее, хотя так и не был уверен, что ребенок его. Год спустя девочка стала очень походить на него характерными мелеховскими чертами лица, что признал даже строптивый Пантелей Прокофьевич. Но Григорий не дождался того увидеть: он уже служил в армии, потом началась война... А Танечка вдруг умерла, это произошло в сентябре 1914 года (дата устанавливается в связи с письмом о ранении Листницкого), ей исполнилось чуть больше годика, болела она, как можно предположить, скарлатиной.

Время призыва Григория в армию приведено в романе точно: второй день рождения 1913 года, то есть 26 декабря. На осмотре в медицинской комиссии замеряют вес Григория — 82,6 килограмма (пять пудов, шесть с половиной фунтов), мощное его сложение приводит бывалых офицеров в изумление: «Что за черт, не особенно высокий...» Хуторские товарищи, зная силу и

ловкость Григория, ожидали, что его возьмут в гвардию (когда он выходит с комиссии, его тут же спрашивают: «В Атаманский небось?»). Однако Григория не берут в гвардию. Тут же за столом комиссии происходит такой вот унижающий его человеческое достоинство разговор:

« — В гвардию?..

— Рожа бандитская... Очень дик...

— Нель-зя-а-а. Вообразите, увидит государь такую рожу, что тогда? У него одни глаза...

— Переродок! С Востока, наверное.

— Потом тело нечисто, чирьи...»

С первых же шагов солдатской жизни Григорию постоянно дают понять его «низкую» социальную природу. Вот военный пристав на досмотре казачьего снаряжения считает ухналы (гвозди для подков) и одного не досчитывает: «Григорий суетливо отогнул заломившийся угол, прикрывавший двадцать четвертый ухналь, пальцы его, шероховатые и черные, слегка прикоснулись к белым сахарным пальцам пристава. Тот дернул руку, словно накололся, потерял ее о боковину серой шинели; брезгливо морщась, надел перчатку».

Итак, благодаря «бандитской роже» Григория не берут в гвардию. Скупое и как бы мимоходом в романе отмечено, какое сильное впечатление производит на него это вот унижающее барство так называемых «образованных людей». То первое столкновение Григория с чуждым народу русским барством; с тех пор, подкрепляясь новыми впечатлениями, чувство враждебности к ним крепнет и обостряется. Уже на последних страницах романа Григорий пеняет разложенному духовно неврастени-



ку-интеллигенту Капарину: «От вас, ученых людей, всего ждать можно».

«Ученые люди» в лексиконе Григория — это и есть баре, чужеродное для народа сословие. «Спутали нас ученые люди... Господа спутали!» — в ярости думает Григорий пять лет спустя, во время гражданской войны, смутно чувствуя ложность своего пути среди белогвардейщины. В этих его словах прямо отождествляются господа, баре с «учеными людьми». Со своей точки зрения Григорий прав, ибо в старой России образование было, к сожалению, привилегией господствующих классов.

Их книжная «ученость» мертва для него, и он прав в своем чувстве, ибо природной мудростью улавливает там словесную игру, терминологическую схоластику, самоупоенное пустозвонство. В этом смысле характерен диалог Григория с офицером из бывших учителей Копыловым (в 1919 году во время Вешенского восстания). Григорий раздражен появлением на донской земле англичан, он видит в этом — и справедливо — иностранное вторжение. Копылов возражает, ссылаясь на китайцев, которые, мол, тоже служат в Красной Армии. Григо-

рий не находит, что ответить, хотя чувствует неправоту своего оппонента: «Вот вы, ученые люди, всегда так... Скидок надеждаете, как зайцы на снегу! Я, брат, чую, что ты тут неправильно гутаришь, а вот припереть тебя не умею...»

Но Григорий лучше «ученого» Копылова понимает суть вещей: китайские рабочие шли в Красную Армию из чувства интернационального долга, с верой в высшую справедливость русской революции и ее освободительного значения для всего мира, а английские офицеры — равнодушные наемники, пытающиеся поработить чужой народ. Это Григорий позже и формулирует про себя: «Китайцы идут к красным с голыми руками, поступают к ним за одно хреновое солдатское жалование, каждый день рискуют жизнью. Да и при чем тут жалование? Какого черта на него можно купить? Разве что в карты проиграть... Стало быть, тут корысти нету, а что-то другое...»

Уже много спустя после своего призыва в армию, имея за плечами опыт войны и великой революции, Григорий вполне сознательно понимает пропасть между собой, сыном казака-крестьянина, и ими, «учены-

Погибший в сражении.



ми людьми» из бар: «Я вот имею офицерский чин с германской войны. Кровью его заслужил! А как попаду в офицерское общество — так вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштанниках. Таким от них холодом на меня поперет, что аж всей спиной его чую!.. Да потому, что я для них белая ворона. Я им чужой с головы до пяток. Вот все это почему!»

Первое в жизни общение Григория с «образованным сословием» еще в 1914 году в лице медицинской комиссии существенно важно для развития образа: пропасть, отделявшая трудовой народ от барской или барствующей интеллигенции, была непроходимой. Только великая народная революция могла уничтожить этот раскол.

12-й Донской казачий полк, куда зачислили Григория, уже с весны 1914 года дислоцировался близ русско-австрийской границы, судя по некоторым приметам — на Воляни. Настроение Григория сумеречное. В глубине души он не удовлетворен жизнью с Аксиньей, его тянет домой. Раздвоенность, зыбкость такого существования противоречат его цельной, глубоко положительной натуре. Он очень тоскует о дочери, даже во сне она ему снится, но Аксинье пишет редко, «письма дышали холодком, будто писал он их по приказу».

Еще весной 1914 года («перед пасхой») Пантелей Прокофьевич в письме прямо спросил Григория, будет ли он «по возвращении со службы жить с женой или по-прежнему с Аксиньей». В романе есть примечательная подробность: «Григорий ответ задержал». А потом написал, что, мол, «отрезанную краюху не прилепишь», и дальше, уходя от решительного ответа, ссылаясь на ожидаемую войну: «Может, я живой не буду, загода нечего решать». Неуверенность ответа тут очевидна. Ведь год назад, в Ягодном, получив от Натальи записку с вопросом, как ей жить дальше, коротко и резко ответил: «Живи одна».

После начала войны, в августе, Григорий встретился с братом. Петр многозначительно сообщает: «А Наталья все ждет тебя. Она думку держит, что ты к ней возвратишься». Григорий отвечает очень сдержанно: «Что ж она... разорванное хочет связать?» Как видно, он говорит скорее в вопросительной форме, нежели в утвердительной. Потом спрашивает об Аксинье. Ответ Петра недружелюбен: «Она гладкая из себя, веселая. Видать, легко живет на панских харчах». Григорий и тут промолчал, не вспылил, не оборвал Петра, что в ином случае было бы естественно для его неистового характера. Позже, уже в октябре, в одном из редких своих писем домой он послал «нижайший поклон Наталье Мироновне». Очевидно, в душе Григория уже созревает решение вернуться в семью, он не может жить неприкаянной, неустроенной жизнью, его тяготит двусмысленность поло-

жения. Смерть дочери, а потом открывшаяся измена Аксиньи подталкивают его на решительный шаг, на разрыв с ней, но внутренне он был готов к этому уже давно.

С началом мировой войны 12-й полк, где служил Григорий, в составе 11-й кавалерийской дивизии принял участие в Галицийской битве. В романе подробно и точно указаны тут приметы места и времени. В одной из стычек с венгерскими гусарами Григорий получил удар палашом в голову, упал с коня, потерял сознание. Это случилось, как можно установить из текста, 15 сентября 1914 года под городом Каменка-Струмиловом, когда шло стратегическое наступление русских на Львов (подчеркнем: исторические источники точно свидетельствуют об участии 11-й кавдивизии в этих боях). Ослабевший, страдая от раны, Григорий, однако, шесть верст нес на себе раненого офицера. За этот подвиг он получил свою награду: солдатский Георгиевский крест (орден имел четыре степени; в русской армии строго соблюдалась последовательность награждения от низшей степени к высшей, следовательно, Григорий был награжден серебряным «георгием» 4-й степени; впоследствии он заслужил все четыре, как тогда говорили — «полный бант»). О подвиге Григория, как сказано, писали в газетах.

Недолго пробыл он в тылу. На другой день, то есть 16 сентября, он попал в перевалочный пункт, а еще через день, 18-го, «тайком ушел с перевалочного пункта». Сколько-то времени искал свою часть, вернулся не позже 20-го, ибо именно тогда Петр написал письмо домой, что с Григорием все благополучно. Однако несчастье уже стерегло Григория снова: в тот же день он получает второе, гораздо более серьезное ранение — контузию, отчего частично теряет зрение.

Григорий лечился в Москве, в глазной лечебнице доктора Снегирева (по данным сборника «Вся Москва» за 1914 год, больница доктора К. В. Снегирева была на Колпачной, дом 1). Там произошло его знакомство с большевиком Гаранжей. Влияние этого рабочего-революционера на Григория оказалось сильным (что подробно рассмотрено авторами исследований о «Тихом Доне»). Гаранжа более не появляется в романе, но это отнюдь не проходной персонаж, напротив, его сильно описанный характер позволяет лучше понять фигуру центрального героя романа.

Григорий впервые услышал от Гаранжи слова о социальной несправедливости, уловил его непреклонную веру, что такой порядок не вечен и есть путь к иной, правильно устроенной жизни. Гаранжа говорит — и это важно подчеркнуть, — как «свой», а не как чуждые Григорию «ученые люди». И он легко и охотно воспринимает поучающие слова солдата из рабочих, хотя не по-



терпел какой бы то ни было дидактики со стороны тех самых «ученых людей».

В этой связи полна глубокого смысла сцена в госпитале, когда Григорий грубо дерзит кому-то из членов императорской фамилии; чувствуя фальшь и унижительную барскую снисходительность происходящего, он протестует, не желая скрыть своего протеста и не умея сделать его осмысленным. И то не есть проявление анархизма или хулиганства — Григорий, напротив, дисциплинирован и социально устойчив, — это, природная неприязнь его к антинародному барству, почитающему труженика за «быдло», рабочий скот. Самолюбивый и вспыльчивый, Григорий органически не может выносить подобного отношения, он всегда обостренно реагирует на всякую попытку унижить его человеческое достоинство.

В госпитале он провел весь октябрь 1914 года. Он вылезился, и успешно: зрение его не пострадало, крепкое здоровье не нарушилось. Из Москвы, получив отпуск после ранения, Григорий едет в Ягодное. Он появляется там, как точно сказано в тексте, в ночь на 5 ноября. Измена Аксиньи открывается ему сразу же. Григорий подавлен случившимся; сначала он странно сдержан, и только наутро следует яростная вспышка: он избивает молодого Листницкого, оскорбляет Аксинью. Не колеблясь, словно в душе его давно созрело такое решение, он пошел в Татарский, к семье. Здесь он прожил положенные ему две недели отпуска.

Весь 1915 и почти весь 1916 годы Григорий непрерывно на фронте. Тогдашняя его военная судьба очерчена в романе очень скупо, описано лишь несколько боевых эпизодов, да рассказывается, как вспоминает об этом сам герой.

В мае 1915 года в контратаке против 13-го германского Железного полка Григорий взял в плен трех солдат. Затем 12-й полк, где он продолжает служить, совместно с 28-м, где служит Степан Астахов, участвует в боях в Восточной Пруссии. Здесь и происходит известная сцена между Григорием и Степаном, их разговор об Аксинье, после того как Степан «до трех раз» неудачно стрелял в Григория, а Григорий вынес его, раненного и оставшегося без коня, с поля боя. Обстановка была предельно острая: полки отступали, а немцы, как хорошо знали и Григорий и Степан, в ту пору казаков живыми в плен не брали. Приканчивали на месте, Степану грозила неминуемая смерть — в таких обстоятельствах поступок Григория выглядит особенно выразительно.

В мае 1916 года Григорий участвует в знаменитом Брусиловском прорыве (по имени известного генерала А. А. Брусилова, командовавшего Юго-Западным фронтом). Григорий переплыл Буг и захватил

«языка». Тогда же самочинно поднял всю сотню в атаку и отбил «австрийскую гаубичную батарею вместе с прислугой». Кратко описанный эпизод этот многозначителен. Во-первых, Григорий только унтер-офицер, следовательно, он должен пользоваться у казаков необычайным авторитетом, чтобы по его слову они поднялись в бой без приказа свыше. Во-вторых, гаубичная батарея той поры состояла из орудий большого калибра, то была так называемая «тяжелая артиллерия»; с учетом этого успех Григория выглядит еще эффектнее.

Здесь же упомянуть и о фактической основе названного эпизода. Брусиловское наступление 1916 года длилось долго, более двух месяцев, с 22 мая по 13 августа. В тексте, однако, точно указано время, когда действует Григорий, — май. И не случайно: по данным Военно-исторического архива, 12-й Донской полк участвовал в этих боях сравнительно короткое время — с 25 мая по 12 июня. Как видно, хронологическая примета здесь исключительно точна.

«В первых числах ноября», говорится в романе, полк Григория перебросен на румынский фронт. 7 ноября — эта дата прямо названа в тексте — казаки в пешем строю пошли в атаку на высоту, и Григорий был ранен в руку. После лечения получил отпуск, приехал домой (об этом рассказывает Аксинье кучер Емельян). Так закончился 1916 год в жизни Григория. К тому времени уже «четыре Георгиевских креста и четыре медали выслужил», он один из уважаемых ветеранов полка, в дни торжественных церемоний стоит у полкового знамени.

С Аксиньей Григорий по-прежнему в разрыве, хотя он нередко вспоминает о ней. В его семье появились дети: Наталья родила двойняшек — Полюшку и Мишу. Дата их рождения устанавливается довольно точно: «в начале осени», то есть в сентябре 1915 года. И еще: «Наталья кормила детей до года. В сентябре отняла их...»

1917 год в жизни Григория почти не описан. В разных местах есть лишь несколько скупых фраз почти информационного характера. Так, в январе (очевидно, по возвращении в строй после ранения) он «был произведен за боевые отличия в хорунжий» (хорунжий — казачий офицерский чин, соответствующий современному лейтенанту). Тогда же Григорий покидает 12-й полк и назначается во 2-й запасной полк «взводным офицером» (то есть командиром взвода, в сотне их четыре). Видимо, Григорий больше не попадает на фронт: запасные полки занимались подготовкой новобранцев для пополнения действующей армии. Далее известно, что он перенес воспаление легких, очевидно, в тяжелой форме, так как в сентябре получил отпуск на



Тип донского казака.

полтора месяца (очень длительный срок в условиях войны) и уехал домой. По возвращении врачебная комиссия вновь признала Григория годным к строевой службе, и он вернулся в тот же 2-й полк. «После Октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни», это случилось, следовательно, в начале ноября по старому стилю или в середине ноября по новому.

Скупость в описании жизни Григория в бурном 1917 году, надо полагать, не случайна. По-видимому, вплоть до конца года Григорий оставался в стороне от политической борьбы, захлестнувшей страну. И это понятно. Поведение Григория в тот специфический период истории определялось социально-психологическими свойствами его личности. В нем сильны были сословные казачьи чувства и представления, даже предрассудки своей среды. Высшее достоинство казака согласно этой морали есть храбрость и отвага, честная воинская служба, а все прочее — не наше казацкое дело, наше дело — владеть шашкой да пахать тучную донскую землю. Награды, повышения в званиях, почтительное уважение односельчан и товарищей, весь этот, как замеча-

тельно сказано у М. Шолохова, «тонкий яд лести» постепенно стухивал в сознании Григория ту горькую социальную правду, о которой говорил ему еще осенью 1914 года большевик Гаранжа.

С другой стороны, Григорий органически не приемлет буржуазно-дворянской контрреволюции, ибо она справедливо связана в его сознании с тем высокомерным барством, которое ему так ненавистно. Не случайно лагерь этот персонифицируется для него в Листницком — том, у кого Григорий побывал в конюхах, чье холодное пренебрежение хорошо чувствовал, кто соблазнил его возлюбленную. Вот почему закономерно, что казачий офицер Григорий Мелехов не принимал никакого участия в контрреволюционных делах тогдашнего донского атамана А. М. Каледина и его окружения, хотя, надо полагать, во всем этом действовали некоторые из его сослуживцев и земляков. Итак, зыбкое политическое сознание и локальность социального опыта в значительной мере предопределили гражданскую пассивность Григория в 1917 году.

Но была к тому и другая причина — уже чисто психологическая. Григорий по



природе своей необычайно скромнен, чужд стремлению выдвинуться, командовать, его честолюбие проявляется только в оберегании своей репутации удалого казака и храброго солдата. Характерно, что, став во время Вешенского восстания 1919 года командиром дивизии, то есть достигнув вроде бы головокружительных высот для простого казака, он тяготится этим своим званием, он мечтает лишь об одном — отбросить постылое оружие, вернуться в родной курень и пахать землю. Он жаждет трудиться и воспитывать детей, его не соблазняют чины, почести, честолюбивая суетня, слава.

Трудно, просто невозможно представить себе Григория в роли митингового оратора или активного члена какого-либо политического комитета. Такие, как он, люди не любят вылезать на авансцену, хотя, как доказал сам Григорий, сильный характер делает их, при необходимости, крепкими вожаками. Ясно, что в митинговый и мятежный 1917 год Григорий должен был оставаться в стороне от политической деятельности. К тому же судьба забросила его в провинциальный запасной полк, ему не удалось стать свидетелем крупнейших событий революционного времени. Не случайно, что изображение подобных событий дано через восприятие Бунчука или Листницкого — людей, вполне определившихся и политически активных, или в прямом авторском изображении конкретных исторических персонажей.

Однако с самого конца 1917 года Григорий вновь входит в фокус повествования. Оно понятно: логика революционного развития вовлекала в борьбу все более широкие массы, а личная судьба поставила Григория в один из эпицентров этой борьбы на Дону, в край «русской Ванден», где более трех лет не утихала жестокая и кровопролитная гражданская война.

Итак, конец 1917 года застает Григория сотенным командиром в запасном полку, полк располагался в большой станице Каменской, что на западе Донской области, близ рабочего Донбасса. Политическая жизнь кипела ключом. На некоторое время Григорий оказался под влиянием своего сослуживца сотника Изварина — он, как установлено по архивным материалам, реальное историческое лицо, позже член Войскового круга (нечто вроде местного парламента), будущий активный идеолог антисоветского донского «правительства». Энергичный и образованный, Изварин на какое-то время склонил Григория на сторону так называемой «казацкой автономии», он рисовал маниловские картины создания независимой «Донской республики», которая, дескать, будет на равных вести отношения «с Москвой...».

Слов нет, для сегодняшнего читателя подобные «идеи» кажутся смешотворными, но в описываемое время разного рода эфе-

мерных, однодневных «республик» возникало множество, а проектов их — и того больше. То было следствием политической неопытности широких народных масс бывшей Российской империи, впервые приступивших к широкой гражданской деятельности; поветрие это длилось, естественно, очень недолго. Неудивительно, что политически наивный Григорий, будучи к тому же патриотом своего края и стопроцентным казаком, на какое-то время увлекся разглагольствованиями Изварина. Но с донскими автономистами он шел очень недолго.

Уже в ноябре Григорий познакомился с выдающимся казаком-революционером Федором Подтелковым. Сильный и властный, непреклонно уверенный в правоте большевистского дела, он легко опрокинул зыбкие изваринские построения в душе Григория. К тому же, подчеркнем, в социальном смысле простой казак Подтелков неизмеримо ближе Григорию, нежели интеллигент Изварин.

Дело тут, разумеется, не только в личном впечатлении: Григорий уже тогда, в ноябре 1917-го, после Октябрьского переворота, не мог не видеть собравшиеся на Дону силы старого мира, не мог не догадываться, не почувствовать хотя бы, что за прекраснородными изваринскими стоят все те же генералы и офицеры, не любимые им бары, помещики листницкие и прочие. (Кстати, так оно и случилось исторически: автономист и интеллигентный красной генерал П. Н. Краснов со своей «Донской республикой» вскоре стал откровенным орудием буржуазно-помещичьей реставрации.)

Изварин первым почувствовал изменения настроения своего полчанина: «Боюсь, что встретимся мы, Григорий, врагами», — «На бранном поле друзей не угадывают, Ефим Иванович, — улыбнулся Григорий».

10 января 1918 года в станице Каменской открылся съезд фронтового казачества. Это было исключительным событием в истории края той поры: большевистская партия собирала под свои знамена трудовой народ Дона, стремясь вырвать его из-под влияния генералов и реакционного офицерства; одновременно те образовали в Новочеркасске «правительство» с генералом А. М. Калединым во главе. На Дону уже полыхала гражданская война. Уже в шахтерском Донбассе происходили жестокие схватки между Красной гвардией и белогвардейскими добровольцами есаула Чернецова. А с севера, от Харькова, уже шли к Ростову части молодой Красной Армии. Непримируемая классовая война началась, отныне ей предстояло разгораться все сильнее и шире...

В романе нет точных данных, был ли Григорий участником съезда фронтовиков в Каменской, но он встретился там с Иваном Алексеевичем Котляровым и Христоней —

они были делегатами от хутора Татарского, — настроен был пробольшевистски. К Каменской двигался с юга отряд Чернецова, одного из первых «героев» белой гвардии. Красное казачество поспешно формирует свои вооруженные силы для отпора. 21 января происходит решительный бой; красными казаками руководит бывший войсковой старшина (по-современному — подполковник) Голубов. Григорий в его отряде командует дивизионом из трех сотен, он совершает обходный маневр, который в конечном счете и привел к гибели чернецовского отряда. В самом разгаре боя, «в третьем часу пополудни», Григорий получил пулевое ранение в ногу.

В тот же день к вечеру на станции Глубокая Григорий становится свидетелем того, как пленного Чернецова зарубил Подтелков, а потом по его приказу были перебиты и другие взятые в плен офицеры. Жестокая та сцена производит сильнейшее впечатление на Григория, в гневе он даже пытается броситься на Подтелкова с нагапом, но его удерживают.

Эпизод этот исключительно важен в дальнейшей политической судьбе Григория. Он не может и не хочет принять суровой неизбежности гражданской войны, когда противники непримиримы и победа одного означает гибель другого. По природе своей натуры Григорий великодушен и добр, ему претят жестокие законы войны. Здесь уместно вспомнить, как в первые военные дни 1914 года он едва не застрелил своего однополчанина, казака Чубатого (Урюпина), когда тот зарубил пленного австрийского гусара. Человек иного социального склада, Иван Алексеевич, и тот не сразу примет суровую неизбежность неумолимой классовой схватки, но для него, пролетария, воспитанника коммуниста Штокмана, имеется ясный политический идеал и ясная цель. Этого всего нет у Григория, вот почему его реакция на события в Глубокой столь остра.

Здесь необходимо также подчеркнуть, что отдельные эксцессы гражданской войны вовсе не вызывались социальной необходимостью и были следствием накопившегося в массах острого недовольства к старому миру и его защитникам. Сам Федор Подтелков — типичный пример такого рода импульсивного, подверженного эмоциям народного революционера, который не имел, да и не мог иметь необходимой политической осмотрительности и государственного кругозора.

Как бы то ни было, но Григорий потрясен. К тому же судьба отрывает его от красноармейской среды — он ранен, его увозят лечиться в глухой хутор Татарский, далеко от шумной Каменской, запруженной красными казаками... Через неделю за ним в Миллерово приезжает Пантелей Прокофьевич, и «наутро», то есть 29 января,

Григория повезли на саних домой. Путь был неблизкий — сто сорок верст. Настроение Григория в дороге смутно: «...не могли простить, ни забыть Григорий гибель Чернецова и безрассудный расстрел пленных офицеров». «Приеду домой, поотдохну трошки, залечу ранку, а там... — думал он и мысленно махал рукой, — там видно будет. Само дело покажет...» Одного он жаждет всей душой — мирного труда, покоя. С такими мыслями приехал Григорий в Татарский 31 января 1918 года.

Конец зимы и начало весны Григорий провел в родном хуторе. На Верхнем Дону в ту пору гражданская война еще не началась. Зыбкий тот мир обрисован в романе так: «Вернувшиеся с фронта казаки отдыхали возле жен, отъедались, не чуяли, что у порогов куреней караулят их горшие беды, чем те, которые приходилось переносить на пережитой войне».

Верно: то было затишье перед бурей. К весне 1918 года Советская власть в основном победила по всей России. Свергнутые классы сопротивлялись, лилась кровь, но схватки эти были еще небольшого размаха, шли в основном вокруг городов, на дорогах и узловых станциях. Фронтов и массовых армий еще не существовало. Была выбита из Ростова малочисленная Добровольческая армия генерала Корнилова и блуждала, окруженная, по Кубани. Глава донской контрреволюции генерал Каледин застрелился в Новочеркаске, после чего наиболее активные враги Советской власти ушли с Дона в глухие Сальские степи. Над Ростовом и Новочеркасском — красные знамена.

Тем временем началась иностранная интервенция. 18 февраля (нового стиля) активизировались кайзеровские и австро-венгерские войска. 8 мая они подошли к Ростову и взяли его. В марте—апреле на северных и восточных берегах Советской России высаживаются армии стран Антанты: японцы, американцы, англичане, французы. Оживилась повсюду внутренняя контрреволюция, она укреплялась организационно и материально.

На Дону, где по понятным причинам было достаточно кадров для белогвардейских армий, контрреволюция перешла в наступление с весны 1918 года. По поручению правительства Донской советской республики в апреле Ф. Подтелков с небольшим отрядом красных казаков двинулся в верхнедонские округа с целью пополнить там свои силы. Однако до цели они не дошли. 27 апреля (10 мая нового стиля) весь отряд был окружен белоказаками и пленен вместе со своим командиром.

В апреле гражданская война впервые ворвалась в хутор Татарский, 17 апреля под хутором Сетраковым, что юго-западнее Вешенской, казаки уничтожили Тираспольский отряд 2-й социалистической армии;





Генералы.

эта часть, потерявшая дисциплину и управление, отступала под ударами интервентов с Украины. Случаи мародерства и насилий со стороны разложившихся красноармейцев дали контрреволюционным подстрекателям удачный повод для выступления. По всему Верхнему Дону скидывали органы Советской власти, избирали атаманов, формировали вооруженные отряды.

18 апреля состоялся казачий круг в Татарском. Накануне этого, утром, ожидая неизбежной мобилизации, Христоня, Кошевой, Григорий и Валет собрались в доме Ивана Алексеевича и решали, что делать: пробиваться ли к красным или оставаться и выжидать события? Валет и Кошевой уверенно предлагают бежать, и немедленно. Остальные колеблются. В душе Григория происходит мучительная борьба: он не знает, на что решиться. Свое раздражение он срыгает на Валете, оскорбляя его. Тот уходит, за ним Кошевой. Григорий и другие принимают половинчатое решение — выжидать.

А на площади уже созывают круг: объявлена мобилизация. Создают хуторскую сотню. Григория выдвигают было командиром, но некоторые наиболее консерватив-

ные старики возражают, ссылаясь на его службу у красных; командиром избирают вместо него брата Петра. Григорий нервничает, демонстративно покидает круг.

...28 апреля татарская сотня, среди прочих казачьих отрядов соседних хуторов и станиц, прибыла к хутору Пономареву, где окружили экспедицию Подтелкова. Сотню татарцев ведет Петр Мелехов. Григорий, видимо, среди рядовых. Они опоздали: красных казаков пленили накануне, вечером состоялся скорый «суд», наутро — казнь.

Развернутая сцена казни подтелковцев — одна из самых запоминающихся в романе. С необычайной глубиной здесь выражено многое. Осатанелое зверство старого мира, готового на все ради своего спасения, даже на истребление собственного народа. Мужество и непреклонная вера в грядущее Подтелкова, Бунчука и многих их товарищей, что производит сильное впечатление даже на заматерелых врагов новой России.

На казнь собралась большая толпа казачек и казаков, они настроены враждебно к казням, ведь им объяснили, что это враги, пришедшие грабить и насиловать. И что же? Отвратительная картина избияния — кого?! своих же, простых казаков! — быстро разгоняет толпу; люди бегут, стыдясь своей — пусть даже невольной — причастности к злодейству. «Остались лишь фронтовики, вдоволь видевшие смерть, да старики из наиболее остервенелых», — говорится в романе, то есть лютое зрелище могли выдержать только души зачерствелые или воспаленные злобой. Характерная деталь: офицеры, которые вешают Подтелкова и Кривошлыкова, в масках. Даже они, сознательные, видимо, враги Советов, стыдятся своей роли и прибегают к интеллигентско-декадентскому маскараду.

На Григория эта сцена должна была произвести не меньшее впечатление, чем расправа с пленными чернецами три месяца спустя. С поразительной психологической точностью М. Шолохов показывает, как в первые минуты неожиданной встречи с Подтелковым Григорий испытывает даже нечто похожее на злорадство. Он нервно бросает в лицо обреченному Подтелкову жестокие слова: «Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли... По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отыгрываться! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить! Отходил ты, председатель Донского Совнаркома! Ты, поганка, казаков жидам продал! Понятно? Ишо сказать?»

Но потом... Он тоже в упор видел жуткое избияние безоружных. Своих же — казаков, простых хлеборобов, фронтовиков, однополчан, своих! Там, в Глубокой, Подтелков велел рубить тоже безоружных, и смерть их тоже ужасна, но они... чужие,



они из тех, кто веками презирал и унижал таких, как он, Григорий. И таких же, как и те, что стоят сейчас у края страшной ямы в ожидании залпа...

Григорий нравственно надломлен. Автор «Тихого Дона» с редким художественным тактом нигде не говорит об этом в лоб, прямой оценкой. Но жизнь героя романа в течение всего 1918 года словно проходит под впечатлением душевной травмы, полученной в день избития подтелковцев. Судьба Григория в эту пору описывается каким-то прерывистым, неясным пунктиром. И здесь глубоко и точно выражена смутность и гнетущая раздвоенность его душевного состояния.

Белоказачья армия германского пришепника генерала Краснова с лета 1918 года начала активные военные действия против Советского государства. Григорий мобилизован на фронт. В качестве командира сотни в 26-м Вешенском полку он находится в красновской армии на ее так называемом Северном фронте, в направлении Воронежа. То был периферийный участок для белых, основные бои между ними и Красной Армией развернулись летом и осенью в районе Царицына.

Григорий воюет вяло, равнодушно и нехотя. Характерно, что в описании сравнительно долгой той войны ничего не говорится в романе о его боевых делах, о проявлении храбрости или командирской смекалки. А ведь он все время в боях, он не укрывается в тылу. Вот сжатый, словно суммарный итог его жизненной судьбы в ту пору: «Три коня были убиты под Григорием за осень, в пяти местах продырявлена шинель... Однажды пуля насквозь пробила медную головку шашки, темляк упал к ногам коня, будто перекушенный.

— Кто-то крепко за тебя богу молится, Григорий, — сказал ему Митька Коршунов и удивился невеселой Григорьевой улыбке».

Да, Григорий воюет «невесело». Цели войны, как трещала о том глуповатая красновская пропаганда, — «защита Донской республики от большевиков» — ему глубоко чужды. Он видит мародерство, разложение, усталое равнодушие казаков, полную бесперспективность знамени, под которое он призван волею обстоятельств. Он борется с грабежами среди казаков своей сотни, пресекает расправы с пленными, то есть поступает обратно тому, что поощряло красновское командование. Характерна в этой связи резкая, даже дерзкая для послушного сына, каким всегда был Григорий, его брань в адрес отца, когда тот, поддавшись общему настроению, беззащитно грабит семью, хозяин которой ушел с красными. Кстати, это первый раз, когда он так сурово осуждает отца.

Ясно, что служебная карьера Григория идет в красновской армии из рук вон худо.



Ф. Г. Подтелков.

Его вызывают в штаб дивизии. Какое-то не названное в романе начальство начинает распекать его: «Ты что мне, хорунжий, сотню портишь? Ты что либеральничаете?» Видимо, Григорий что-то надерзил, ибо распекающий продолжает: «Как это на тебя не кричать?..» И как итог: «Приказываю сегодня же сдать сотню».

Григорий понижен в должности, становится командиром взвода. Даты в тексте нет, но ее можно восстановить, и это важно. Далее в романе следует хронологическая примета: «В конце месяца полк... занял хутор Гремячий Лог». Какого месяца, не сказано, но описывается разгар уборки, жара, в пейзаже нет примет наступающей осени. Наконец, Григорий накануне узнает от отца, что вернулся из германского плена Степан Астахов, а в соответствующем месте романа точно сказано, что тот пришел «в первых числах августа». Итак, Григорий понижен примерно в середине августа 1918 года.

Здесь же отмечен такой важный для судьбы героя факт: он узнает, что Аксинья вернулась к Степану. Ни в авторской речи, ни в описании чувств и мыслей Григория никакого отношения его к этому событию



не выражено. Но безусловно, что угнетенное состояние его должно было усугубиться: щемящая память об Аксинье никогда не оставляла его сердце.

...В конце 1918 года красновское войско разлагается окончательно, белоказачий фронт трещит по всем швам. Окрепшая, набравшая сил и опыта Красная Армия переходит в победное наступление. 16 декабря (здесь и далее по старому стилю) 26-й полк, где продолжал тянуть службу Григорий, был сбит с позиций отрядом красных матросов. Началось безостановочное отступление, длившееся еще один день. А затем, ночью, Григорий самовольно оставляет полк, бежит из красновской армии, направляясь прямо к дому: «На другой день к вечеру он уже вводил на отцовский баз сделавшего двухсотверстный пробег, шатавшегося от усталости коня». Это произошло, стало быть, 19 декабря 1918 года.

В романе отмечено, что Григорий совершает побег с «радостной решимостью». Слово «радостно» тут характерно: то единственная положительная эмоция, которую испытал Григорий за восемь долгих месяцев службы в красновской армии. Испытал, когда покинул ее ряды.

Красные пришли в Татарский в январе 1919 года. Григорий, подобно многим другим, ждет их с напряженной тревогой: как-то поведут себя недавние враги в казачьих станицах? Не будут ли мстить, творить насилие?.. Нет, ничего подобного не происходит. Красная Армия дисциплинирована и строга. Никаких грабежей и утеснений. Отношения между красноармейцами и казачьим населением самые что ни на есть дружеские. Они даже собираются вместе, поют, пляшут, гуляют: ни дать, ни взять две соседние деревни, недавно враждовавшие, помирились и вот празднуют примирение.

Но... Григорию судьба готовит иное. Большинство казаков-хуторян — «свои» для пришедших красноармейцев, ведь и те в большинстве своем недавние хлеборобы с похожим бытом и мировоззрением. Вроде бы Григорий тоже «свой». Но он офицер, а это слово в ту пору считалось антонимом слову «Совет». И какой офицер — казачий, белоказачий! Порода, которая уже достаточно проявила себя в кровопролитиях гражданской войны. Ясно, что одно это должно вызывать у красноармейцев повышенную нервную реакцию в отношении Григория. Так и происходит, и сразу же.

На постой к Мелеховым в первый же день прихода красных попадает группа красноармейцев, в числе их Александр из Луганска, у которого белые офицеры расстреляли семью, — человек он, естественно, озлобленный, даже неврастеничный. Он сразу же начинает задирать Григория, в его словах, жестах, взгляде жгу-

чая, неистовая ненависть — ведь именно подобные казачьи офицеры замучили его семью, залили кровью рабочих Донбасс. Александра сдерживает только суровая дисциплина Красной Армии: вмешательство комиссара устраняет надвигающееся столкновение между ним и Григорием.

Что может бывший белоказачий офицер Григорий Мелехов объяснить Александру и множеству таких, как он? Что он попал в красновскую армию поневоле? Что он «либеральничал», как обвинили его в штабе дивизии? Что он самовольно бросил фронт и никогда более не хочет брать в руки постылое оружие? Так и пытается Григорий рассказать Александру: «Мы ить сами фронт бросили, пустили вас, а ты как в завоеванную страну пришел...», на что получает неумолимый ответ: «Ты мне не указывай! Знаем мы вас! «Фронт бросили!» Если б не набили вам, так и не бросили бы. И разговаривать я с тобой могу по-всякому».

Так начинается новый акт драмы в судьбе Григория. Через два дня друзья затаскивали его на вечеринку к Аникушке. Солдаты и хуторяне гуляют, выпивают. Григорий сидит трезвый, настороженный. И вот какая-то «молоденькая бабенка» шепчет ему вдруг во время танца: «Тебя убить сговариваются... Кто-то доказал, что ты офицер... Беги...» Григорий выходит на улицу, его уже караулят. Он вырывается, убегает в ночной мрак, как преступник.

Много лет ходил Григорий под пулями, ускользал из-под удара шашки, смотрел смерти в лицо, и не раз ему еще предстоит такое в будущем. Но из всех смертных опасностей запоминает он именно эту, ибо напали на него — он убежден — без вины. Позже, много пережив, испытав боль новых ран и утрат, Григорий в своем роковом разговоре с Михаилом Кошевым вспомнит именно этот вот эпизод на вечеринке, вспомнит в скупых, по своему обыкновению, словах, и станет ясно, сколь тяжело подействовало на него нелепое то событие:

«...Ежели б тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.

— Не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал.

— Ежели б меня не брали на службу, не был бы я офицером... Ну, это длинная песня!»

Этот личный момент никак нельзя не учитывать для понимания дальнейшей судьбы Григория. Он нервно напряжен, постоянно ждет удара, он не может воспринимать создающуюся новую власть объективно, слишком уж зыбким кажется ему его положение. Раздражение, необъективность Григория отчетливо проявляются в ночном разговоре с Иваном Алексеевичем в ревюме в конце января.

Части Первой Конной армии в походе.  
1920 г.

Иван Алексеевич только что вернулся в хутор от председателя окружного ревкома, он радостно возбужден, рассказывает, как уважительно и просто разговаривали с ним: «А раньше-то как было? Генерал-майор! Перед ним как стоять надо было? Вот она, наша Советская власть-любушка! Все ровные!» Григорий отпускает скептическую реплику. «Человека во мне увидали, как же мне не радоваться?» — недоумевает Иван Алексеевич. «Генералы тоже в рубашках из мешков стали последнее время ходить», — продолжает брюзжать Григорий. «Генералы от нужды, а эти от натуры. Разница?» — темпераментно возражает Иван Алексеевич. «Нету разницы!» — рубит словами Григорий. Разговор сбивается на перебранку, заканчивается холодно, со скрытыми угрозами.

Ясно, что Григорий не прав тут. Ему ли, столь остро переживавшему унижительность своего социального положения в старой России, ему ли не понять простодушной радости Ивана Алексеевича? И не хуже своего оппонента понимает он, что генералы опрощались «от нужды», до времени. Аргументы Григория против новой власти, приводимые им в споре, просто

несерьезны: мол, красноармеец в обмотках, взводный в хромовых сапогах, а комиссар «весь в кожу залез». Григорию ли, профессиональному военному, не знать, что в армии нет и не может быть уравниловки, что разная ответственность порождает и разное положение; он сам же будет потом распекать своего ординарца и друга Прохора Зыкова за фамильярность. В словах Григория слишком явно звучит раздражение, невысказанная тревога за собственную судьбу, которой по его мнению, угрожает незаслуженная опасность.

Но ни Иван Алексеевич, ни Мишка Кошевой в горячке закипающей борьбы не могут уже увидеть в словах Григория лишь нервность несправедливо обиженного человека. Весь этот нервный ночной разговор может их убедить лишь в одном: офицерам доверять нельзя, даже бывшим друзьям...

Еще более отчужденным от новой власти выходит из ревкома Григорий. Он уже не пойдет вновь поговорить с прежними товарищами, он копит в себе раздражение и тревогу.

Зима шла к концу («с ветвей срывались капли» и проч.), когда Григория посылают отвезти снаряды в Боковскую. Это



было в феврале, но до приезда Штокмана в Татарский — следовательно, около середины февраля. Григорий загодя предупреждает домашних: «Только в хутор я не приеду. Перегожу время на Сингинном, у тетки». (Тут, безусловно, имеется в виду тетка по матери, так как Пантелей Прокофьевич не имел ни братьев, ни сестер.)

Путь ему выдался неблизкий, после Бюковской пришлось ехать на Чернышевскую (станция на железной дороге Доноасс — Царицын), всего от Вешенской это составит более 175 километров. У тетки Григорий почему-то не остался, вернулся домой вечером через полторы недели. Здесь он узнал об аресте отца и что его самого ищут. Уже 19 февраля приехавший Штокман объявил на сходе список арестованных казаков (их, как выяснилось, расстреляли к тому времени в Вешках), среди них значился и Григорий Мелехов. В графе «За что арестован» говорилось: «Подбесаул, настроенный против. Опасный». (Кстати, Григорий был хорунжий, то есть лейтенант, а подбесаул — капитан.) Далее уточнялось, что он будет арестован «с приездом».

Отдохнув полчаса, Григорий ускакал на коне к дальнему родственнику на хутор Рыбный, Петр же обещал сказать, что брат поехал к тетке на Сингин. На другой день Штокман и Кошевой с четырьмя конными поехали туда за Григорием, обыскали дом, но не нашли его...

Двое суток пролежал Григорий в сарае, укрывшись за киззяками и выползая из укрытия только по ночам. Из этого добровольного заточения его вызволило неожиданно вспыхнувшее восстание казаков, которое принято называть Вешенским или (что точнее) Верхнедонским. В тексте романа точно сказано, что началось восстание в Еланской станице, приведена дата — 24 февраля. Дана дата по старому стилю, документы Архива Советской Армии называют началом мятежа 10—11 марта 1919 года. Но М. Шолохов приводит здесь старый стиль намеренно: население Верхнего Дона слишком короткий период жило при Советской власти и не могло привыкнуть к новому календарю (во всех областях под белогвардейским управлением сохранялся или восстанавливался старый стиль); так как действие третьей книги романа происходит исключительно в пределах Верхнедонского округа, то для героев характерен именно такой календарь.

Григорий прискакал в Татарский, когда там уже были сформированы конная и пешая сотни, командовал ими Петр Мелехов. Григорий делается начальником полусотни (то есть двух взводов). Он все время впереди, в авангарде, в передовых заставах. 6 марта Петр был взят в плен красными и застрелен Михайлом Кошевым. Уже на следующий день Григорий назначается командиром Вешенского полка и ведет свои сот-

ни против красных. Взятых в первом же бою в плен двадцать семь красноармейцев он приказывает порубить. Он ослеплен ненавистью, взвинчивает ее в себе, отмахиваясь от сомнений, которые шевелятся на дне его помутненного сознания: мелькает у него мысль: «богатые с бедными, а не казаки с Русью...» Гибель брата на какое-то время еще больше озлобила его.

Восстание на Верхнем Дону разгоралось стремительно. Помимо общих социальных причин, вызвавших казачью контрреволюцию на многих окраинах России, здесь примешался и субъективный фактор: троцкистская политика пресловутого «расказачивания», которая вызвала необоснованные репрессии трудового населения в этом районе. Объективно такие действия были провокационными и в существенной степени помогли кулачеству поднять мятеж против Советской власти. Это обстоятельство подробно описано в литературе о «Тихом Доне». Антисоветский мятеж принял широкий размах: уже через месяц число восставших достигло 30 тысяч бойцов — то была огромная сила по масштабам гражданской войны, причем в основном повстанцы состояли из опытных и умелых в военном деле людей. Для ликвидации мятежа из частей Южного фронта Красной Армии были образованы специальные Экспедиционные войска (по данным Архива Советской Армии — в составе двух дивизий). Вскоре по всему Верхнему Дону начались ожесточенные сражения.

Вешенский полк быстро развертывается в 1-ю повстанческую дивизию — Григорий ее командует. Очень скоро пелена ненависти, которая застила его сознание в первые дни мятежа, спадает. С еще большей, чем ранее, силой его гложут сомнения: «А главное — против кого веду? Против народа... Кто же прав? — думает Григорий, скрипя зубами». Уже 18 марта он открыто высказывает свои сомнения на совещании повстанческого руководства: «А мне думается, что заблудились мы, когда на восстание пошли...»

Рядовые казаки знают об этих его настроениях. Один из повстанческих командиров предлагает устроить в Вешках переворот: «Давай биться и с красными и с кадетами». Григорий возражает, замаскировавшись для вида кривой усмешкой: «Давай Советской власти в ноги поклонимся: виноватые мы...» Он пресекает расправы с пленными. Он самочинно отворяет тюрьму в Вешках, выпуская арестованных на волю. Руководитель восстания Кудинов не очень доверяет Григорию — на важные совещания его обходят приглашением.

Дальше — больше. Григорий уже уверен, что пошли казаки «не туда», что надо бы помириться с красными и вместе воевать против «кадетов» (белогвардейцев).



Не видя впереди никакого выхода, он действует механически, по инерции. Он пьет и впадает в разгул, чего с ним никогда не случалось. Им движет только одно: спасти семью, близких да казаков, за жизнь которых он отвечает как командир.

В середине апреля Григорий приезжает домой на пахоту. Там он встречается с Аксиньей, и опять между ними возобновляются отношения, прерванные пять с половиной лет назад.

28 апреля, вернувшись в дивизию, он получает от Кудинова письмо, что в плен к повстанцам попали коммунисты с Татарского: Котляров и Кошевой (тут ошибка, Кошевой плена избежал). Григорий стремительно скачет к месту их пленения, хочет спасти их от неминуемой смерти: «Кровь легла между нами, но ить не чужие ж мы?!» — думал он на скаку. Он опоздал: пленных уже перебили...

Красная Армия в середине мая 1919 года (дата здесь, естественно, по старому стилю) начала решительные действия против верхнедонских повстанцев: началось наступление деникинских войск в Донбассе, поэтому опаснейший враждебный очаг в тылу советского Южного фронта следовало как можно скорее уничтожить. Главный удар наносился с юга. Повстанцы не выдержали и отступили на левый берег Дона. Дивизия Григория прикрывала отступление, сам он переправился с арьергардом. Хутор Татарский заняли красные.

В Вешках, под обстрелом красных батарей, в ожидании возможной гибели всего восстания Григория не оставляет то же мертвенное равнодушие. «Он не болен душой за исход восстания», — говорится в романе. Он старательно гнал от себя мысли о будущем: «Черт с ним! Как кончится, так и ладно будет!»

И вот здесь, находясь в безысходном состоянии души и разума, Григорий вызывает из Татарского Аксинью. Перед самым началом общего отступления, то есть около 20 мая, он посылает за ней Прохора Зыкова. Григорий уже знает, что родной хутор будет занят красными, и велит Прохору предупредить родных, чтобы отогнали скотину и прочее, но... и только.

И вот Аксинья в Вешках. Бросив дивизию, он двое суток проводит с нею. «Единственное, что осталось ему в жизни (так, по крайней мере, ему казалось) это — с новой и неумейной силой вспыхнувшая страсть к Аксинье», сказано в романе. Примечательно здесь это слово «страсть»: именно не любовь, а страсть. Еще более глубокий смысл имеет замечание в скобках: «ему казалось...» Нервная, ущербная страсть его есть нечто вроде бегства от потрясенного мира, в котором Григорий не находит себе места и дела, а занимается делом чужим...

Летом 1919 года южнорусская контрреволюция переживала свой наибольший



А. Я. Пархоменко.

успех. Добровольческая армия, укомплектованная сильным в боевом отношении и социально однородным составом, получив военное снаряжение от Англии и Франции, начала широкое наступление с решительной целью: разгромить Красную Армию, взять Москву и ликвидировать Советскую власть. Некоторое время успех сопутствовал белогвардейцам: они заняли весь Донбасс и 12 июня (старого стиля) взяли Харьков. Белое командование крайне нуждалось в пополнении своей не слишком многочисленной армии, вот почему оно ставило важной для себя целью овладение всей территорией Донской области, чтобы использовать население казачьих станиц в качестве людских резервов. С этой целью готовился прорыв советского Южного фронта в направлении района Верхнедонского восстания. 10 июня конная группа генерала А. С. Секретова осуществила прорыв, и через три дня достигла рубежей повстанцев. Отныне все они в порядке военного приказа вливались в белогвардейскую Донскую армию генерала В. И. Сидорина.

Григорий ничего хорошего не ожидал от встречи с «кадетами» — ни для себя, ни для земляков. Так оно и получилось.





С. М. Буденный.

На Дон вернулся чуть подновленный старый порядок, те же знакомые баре в погонах, с презрительными взглядами. Григорий, как повстанческий командир, присутствует на банкете, устроенном в честь Секретова, с отвращением слушая пьяную генеральскую болтовню, оскорбительную для присутствующих казаков. Тогда же в Вешках появляется Степан Астахов. Аксинья остается с ним. Последняя соломинка, за которую цеплялся Григорий в неустроенной своей жизни, казалось, исчезла.

Он получает короткий отпуск, приезжает домой. Вся семья в сборе, все уцелели. Григорий ласкает детей, сдержанно приветлив с Натальей, почтителен с родителями.

Уезжая в часть, прощаясь с родными, он плачет. «Никогда Григорий не покидал родного хутора с таким тяжелым сердцем», — отмечено в романе. Смутно он чувствует приближающиеся великие события... И они действительно ждут его.

В горячке непрерывных боев с Красной Армией белогвардейское командование не сразу смогло расформировать полупартизанские, нестройно организованные части повстанцев. Григорий еще некоторое время продолжает командовать своей дивизией. Но он уже не самостоятелен, те же генералы вновь стоят над ним. Его вызывает к себе генерал Фицхелауров, командир регулярной, так сказать, дивизии белой ар-



К. Е. Ворошилов.

мии — тот самый Фицхелауров, который был на высших командных постах еще в 1918 году в красновской армии, бесславно наступавшей на Царицын. И вот снова Григорий видит то же барство, слышит те же грубые, пренебрежительные слова, какие — только по иному, куда менее важному случаю — довелось ему услышать много лет назад при призыве в царскую армию. Григорий взрывается, грозит престарелому генералу шашкой. Эта дерзость более чем опасна. Фицхелауров имеет много оснований пригрозить ему напоследок военно-полевым судом. Но под суд его отдать, видимо, не решились.

Григорию все безразлично. Он жаждет одного — уйти от войны, от необходимости принимать решения, от политической борьбы, в которой никак не может найти прочную основу и цель. Белое командование расформирует повстанческие части, в том числе и дивизию Григория. Бывших повстанцев, которым не очень-то доверяют, растасовывают по разным подразделениям деникинской армии. Григорий не верит в «белую идею», хотя кругом шумит пьяный праздник, еще бы — победа!..

Объявив казакам о расформировании дивизии, Григорий, не скрывая своего настроения, открыто говорит им:

«— Не поминайте лихом, станишники! Послужили вместе, неволя заставила, а с нынешнего дня будем трепать кручину поврозь. Самое главное — головы берегите, чтобы красные вам их не продырявили. У вас они, головы, хотя и дурные, но зря их подставлять под пули не надо. Ишо придется думать, крепко думать, как дальше быть...»

Деникинский «поход на Москву» — это, по убеждению Григория, «их», барское дело, а не его, не рядовых казаков. В штабе Секретова он просится перевести его в тыловые части («Я за две войны четырнадцать раз ранен и контужен», — говорит он), нет, его оставляют в действующей армии и переводят командиром сотни в 19-й полк, предоставив никчемное ему «поощрение» — он повышается в чине, сделавшись сотником (старшим лейтенантом).

И вот его поджидает новый страшный удар. Наталья узнала, что Григорий вновь встречается с Аксиньей. Потрясенная, она решается на аборт, какая-то темная бабка делает ей «операцию». На другой день в



полдень она умирает. Смерть Натальи, как можно установить по тексту, случилась около 10 июля 1919 года. Ей было тогда двадцать пять лет, а детям не минуло еще и четырех...

Григорий получил телеграмму о смерти жены, его отпустили домой; он прискакал, когда Наталью уже схоронили. Сразу по приезде он не нашел в себе сил пойти на могилу. «Мертвые не обижаются...» — сказал он матери.

Григорий ввиду кончины жены получил из полка отпуск на месяц. Он убирал созревший уже хлеб, трудился по хозяйству, нянчился с детишками. Особенно привязался он к сыну Мишатке. Мальчик оказался, немного повзрослев, чисто «мелеховской» породы — и внешне и нравом похожий на отца и деда.

И вот Григорий снова уезжает на войну — уезжает, даже не отгуляв отпуск, в самом конце июля. О том, где он воевал во второй половине 1919 года, что с ним происходило, в романе не говорится ровным счетом ничего, домой он не писал, и «только в конце октября Пантелей Прокофьевич узнал, что Григорий пребывает в полном здравии и вместе со своим полком находится где-то в Воронежской губернии». Можно на основании этих более чем кратких сведений установить лишь немногое. Он не мог участвовать в известном рейде белоказачьей конницы под командованием генерала К. К. Мамонтова по тылам советских войск (Тамбов — Козлов — Елец — Воронеж), ибо рейд этот, отмеченный свирепыми грабежами и насилиями, начался 10 августа по новому стилю, — следовательно, 28 июля по старому, то есть в то самое время, когда Григорий находился еще в отпуске. В октябре Григорий, по слухам, оказался на фронте под Воронежем, где после тяжелых боев остановилась, обескровленная и деморализованная, белогвардейская Донская армия.

В это время он заболел сыпным тифом, страшная эпидемия которого в течение всей осени и зимы 1919 года косила ряды обеих воюющих армий. Его привозят домой. Было это в конце октября, ибо далее следует точная хронологическая пометка: «Через месяц Григорий выздоровел. Впервые поднялся он с постели в двадцатых числах ноября...»

К тому времени белогвардейские армии уже потерпели сокрушительное поражение. В грандиозном кавалерийском сражении 19—24 октября 1919 года под Воронежем и Касторной были разгромлены белоказачьи корпуса Мамонтова и Шкуро. Деникинцы еще попытались удержаться на рубеже Орел — Елец, но с 9 ноября (здесь и выше даты по новому календарю) началось безостановочное отступление белых армий. Вскоре оно уже стало не отступлением, а бегством.



Боец Первой Конной армии.

В этих решающих боях Григорий уже не участвовал, так как его больного увезли на подводе, и дома он оказался в самом начале ноября по новому стилю, однако такой переезд по раскисшим осенним путям должен был занять не менее десяти дней (по дорогам от Воронежа до Вешенской более 300 километров); кроме того, Григорий мог какое-то время пролежать в прифронтовом госпитале — по крайней мере для установления диагноза.

В декабре 1919 года Красная Армия победно вступила на территорию Донской области, казачьи полки и дивизии отступали почти без сопротивления, разваливаясь и распадаясь все более. Неповиновение и дезертирство приняли массовый характер. «Правительством» Дона был отдан приказ о сплошной эвакуации на юг всего мужского населения, уклонявшихся ловили и называли карательные отряды.

12 декабря (старого стиля), как точно указано в романе, отправился «в отступ» вместе с хуторскими Пантелей Прокофьевич. Григорий тем временем поехал в Вешенскую, чтобы узнать, где находится его отступающая часть, но ничего не узнал, кроме одного: красные приближаются к До-

ну. Он вернулся в хутор вскоре после отъезда отца. На другой день вместе с Аксиньей и Прохором Зыковым по санной дороге выехали они на юг, держа путь на Миллерово (там, сказали Григорию, могла пройти его часть), было это около 15 декабря.

Ехали медленно, по забитой беженцами и в беспорядке отступавшими казаками дороге. Аксинья заболела сыпным тифом, как можно установить по тексту, на третий день пути. Она потеряла сознание. С трудом ее удалось устроить на попечение у случайного человека в поселке Ново-Михайловском. «Оставив Аксинью, Григорий сразу утратил интерес к окружающему», говорится далее в романе. Итак, они расстались около 20 декабря.

Белая армия разваливалась. Григорий пассивно отступал вместе с массой себе подобных, не делая ни малейшей попытки хоть как-то активно вмешаться в события, избегая влиться в какую-либо часть и оставаясь в положении беженца. В январе он уже не верит ни в какую возможность сопротивления, ибо узнает об оставлении белогвардейцами Ростова (он был взят Красной Армией 9 января 1920 года по новому стилю). Вместе с верным Прохором они подаются на Кубань, Григорий принимает обычное свое решение в минуты душевного упадка: «...там видно будет».

Отступление, бесцельное и пассивное, продолжалось. «В конце января», как уточнено в романе, Григорий и Прохор приехали в Белую Глинку — станицу в Северной Кубани на железной дороге Царицын — Екатеринодар. Прохор было неуверенно предложил примкнуть к «зеленым» — так назывались партизаны на Кубани, руководимые в какой-то мере эсерами, они ставили перед собой утопическую и политически нелепую цель бороться «с красными и с белыми», состояли преимущественно из дезертиров и деклассированного сброда. Григорий решительно отказался. И здесь, в Белой Глинке, он узнает о смерти отца. Пантелей Прокофьевич скончался от тифа в чужой хате, одинокий, бездомный, измученный тяжелой болезнью. Григорий увидел уже остывший труп его...

На другой день после похорон отца Григорий выезжает в Новопокровскую, затем оказывается в Кореновской — это большие кубанские станицы по дороге на Екатеринодар. Тут Григорий заболел. С трудом отысканный полупьяный врач определил: возвратный тиф, ехать нельзя — смерть. Тем не менее Григорий и Прохор выезжают. Медленно тянется пароконная повозка, Григорий неподвижно лежит, закутанный в тулуп, часто теряет сознание. Кругом «торопливая южная весна» — очевидно, вторая половина февраля или начало марта. Как раз в это время происходило последнее крупное сражение с деникинца-

ми, так называемая Егорлыкская операция, в ходе которой потерпели поражение последние боеспособные их части. Уже 22 февраля Красная Армия вошла в Белую Глинку. Белогвардейские войска на юге России теперь были разбиты окончательно, они сдавались или бежали к морю.

Повозка с больным Григорием медленно тянулась на юг. Однажды Прохор предложил ему остаться в станице, но услышав в ответ сказанное из последних сил: «Вези... пока помру...» Прохор кормил его «с рук», вливал насильно в рот молоко, однажды Григорий чуть не захлебнулся. В Екатеринодаре его случайно отыскивали казаки-однополчане, помогли, поселили у знакомого врача. За неделю Григорий поправился, а у Абинской — станица в 84 километрах за Екатеринодаром — смог уже сесть на коня.

В Новороссийске Григорий с товарищами оказался 25 марта: примечательно, что дата приведена тут по новому стилю. Подчеркнем: далее в романе отсчет времени и даты даются уже по новому календарю. И понятно — Григорий и другие герои «Тихого Дона» с начала 1920 года живут уже в условиях Советского государства.

Итак, Красная Армия в двух шагах от города, в порту идет беспорядочная эвакуация, царит неразбериха и паника. Генерал А. И. Деникин пытался вывести свои разбитые войска в Крым, но эвакуация была организована безобразно, множество солдат и белых офицеров не смогло уехать. Григорий и несколько его друзей пытаются попасть на пароход, но тщетно. Впрочем, Григорий не очень настойчив. Он решительно объявляет товарищам, что остается и попросится служить у красных. Он никого не уговаривает, но авторитет Григория велик, все его друзья, колебавшиеся, следуют его примеру. До прихода красных не весело пили.

Утром 27 марта в Новороссийск вошли части 8-й и 9-й советских армий. В городе было пленено 22 тысячи бывших солдат и офицеров деникинской армии. Никаких «массовых расстрелов», как пророчила белогвардейская пропаганда, не производилось. Напротив, многие пленные, в том числе и офицеры, не запятнавшие себя участием в репрессиях, принимались в части Красной Армии.

Много спустя из рассказа Прохора Зыкова становится известно, что там же, в Новороссийске, Григорий вступил в Первую Конную армию, стал командиром эскадрона в 14-й кавалерийской дивизии. Предварительно он прошел через специальную комиссию, которая решала вопрос о зачислении в Красную Армию бывших военнослужащих из числа разного рода белогвардейских формирований; очевидно, комиссия не нашла каких-либоотячающих обстоятельств в прошлом Григория Мелехова.



«Пошли походным народным под Киев», — продолжает Прохор. Это, как всегда, исторически точно. Действительно, 14-я кавдивизия была сформирована лишь в апреле 1920 года и в значительной степени из числа казаков, перешедших, подобно герою «Тихого Дона», на советскую сторону. Небезынтересно отметить, что командиром дивизии был знаменитый А. Пархоменко. В апреле Первая Конная перебрасывается на Украину в связи с начавшейся интервенцией панской Польши. Из-за расстройств железнодорожного транспорта пришлось совершить тысячеверстный марш на конях. К началу июня армия сосредоточилась для наступления южнее Киева, который тогда был еще занят белопольками.

Даже простоватый Прохор и тот заметил разительное изменение настроения Григория в ту пору: «Переменился он, как в Красную Армию заступил, веселый стал из себя, гладкий, как мерин». И еще: «Говорит, буду служить до тех пор, пока прошлые грехи не замолю». Служба у Григория началась хорошо. По словам того же Прохора, его благодарил за отвагу в бою сам прославленный командарм Буденный. При встрече Григорий расскажет Прохору, что он стал позже помощником командира полка. Он провел в действующей армии всю кампанию против белопольков. Любопытно, что ему пришлось воевать в тех же местах, что и в 1914 году во время Галицийской битвы и в 1916 году во время Брусиловского прорыва — на Западной Украине, на территории нынешних Львовской и Волынской областей.

Однако в судьбе Григория и сейчас, в лучшую вроде бы для него пору, по-прежнему не все безоблачно. Иначе и быть не могло в изломанной судьбе его, он сам понимает это: «Я ить не слепой, увидел, как на меня комиссар и коммунисты в эскадроне поглядывали...» Слов нет, эскадронные коммунисты не только имели моральное право — они обязаны были пристально наблюдать за Мелеховым; шла тяжелая война, а случаи перебежек бывших офицеров происходили нередко. Сам же Григорий говорил Михаилу Кошевому, что у них целая часть перешла к полякам... Коммунисты правы, в душу человека не заглянешь, а биография Григория не могла не возбуждать подозрений. Однако у него, перешедшего на сторону Советов с чистыми помыслами, это не могло не вызвать чувства горечи и обиды, к тому же надо помнить о его впечатлительной натуре и пылком, прямодушном характере.

Григорий совсем не показан на службе в Красной Армии, хотя она продолжалась немало — с апреля по октябрь 1920 года. Об этом времени мы узнаем только по косвенным сведениям, да и то их в романе немного. Осенью Дунишка получила от Григория письмо, где говорилось, что он

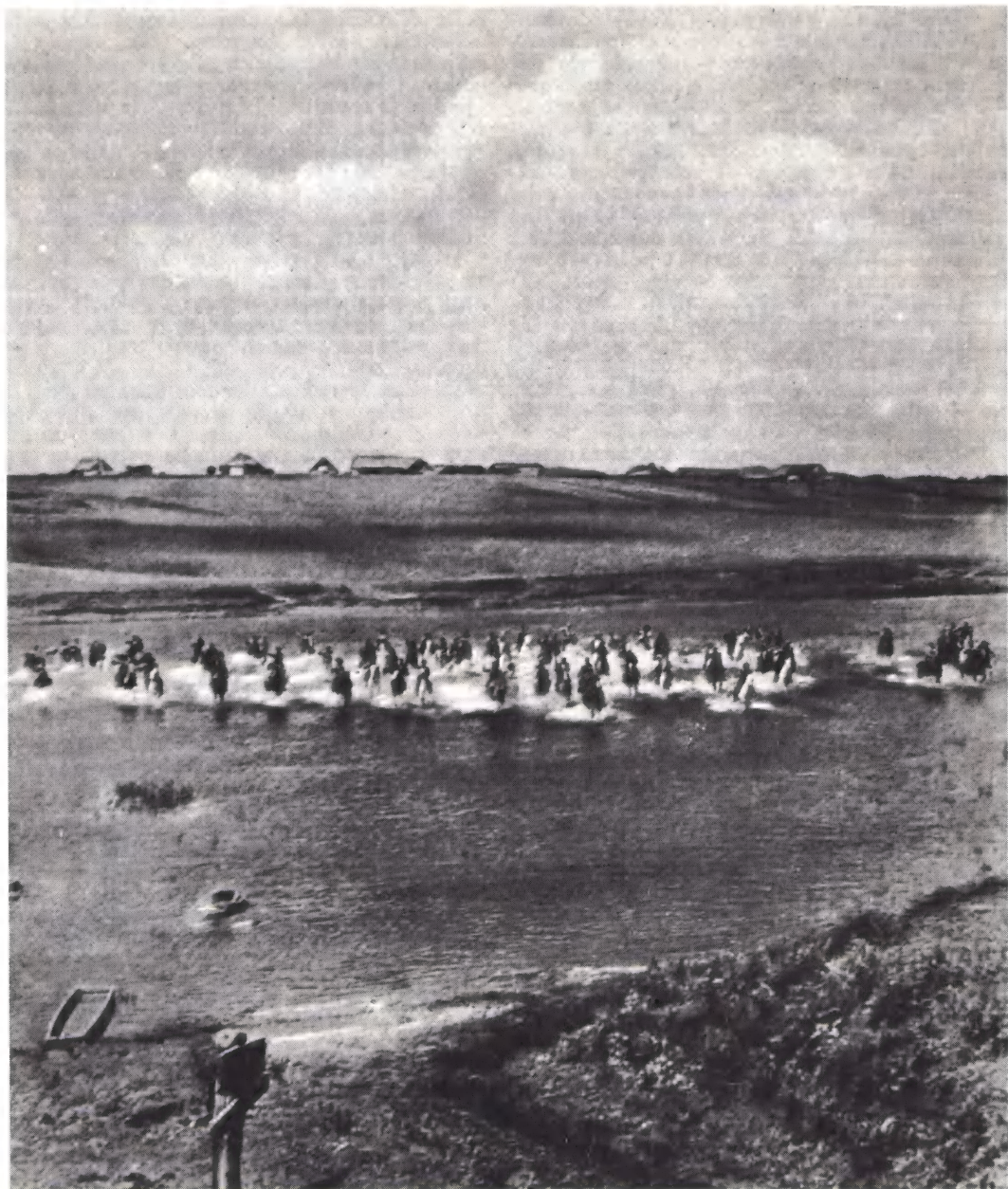
«был ранен на врангелевском фронте и что после выздоровления будет, по всей вероятности, демобилизован». Позднее он расскажет, как ему приходилось участвовать в боях, «когда подступили к Крыму». Известно, что Первая Конная начала боевые действия против Врангеля 28 октября с Каховского плацдарма. Следовательно, Григорий мог быть ранен только позже. Рана, очевидно, оказалась нетяжелой, ибо на его здоровье никак не отразилась. Потом его, как он и предполагал, демобилизовали. Можно предположить, что подозрения в отношении лиц, подобных Григорию, усилились с переходом на врангелевский фронт: в Крыму засело за Перекопом много белоказаков-донцов, с ними сражалась Первая Конная — это могло повлиять на решение командования демобилизовать бывшего казачьего офицера Мелехова.

Григорий приехал в Миллерово, как сказано, «поздней осенью». Одна лишь мысль владеет им безраздельно: «Григорий мечтал о том, как снимет дома шинель и сапоги, обуется в просторные чирюхи... и, накинув на теплую куртку домотканый zipун, поедет в поле». Еще несколько дней добирался он до Татарского на подводах и пешком, а когда ночью подходил к дому, начал падать снег. На другой день земля уже была покрыта «первым голубым снежком». Очевидно, только дома он узнал о смерти матери — не дождавшись его, Василисы Ильинична скончалась в августе. Незадолго перед этим сестра Дуня вышла замуж за Михаила Кошевого.

В первый же день по приезде, к ночи, у Григория произошел тяжелый разговор с бывшим другом и однополчанином Кошевым, ставшим председателем хуторского ревкома. Григорий говорил, что хочет только трудиться по хозяйству и воспитывать детей, что он смертельно устал и не хочет ничего, кроме покоя. Михаил не верит ему, он знает, что в округе неспокойно, что казаки обижаются на тяготы продразверстки. Григорий же — популярный и влиятельный в этой среде человек. «Случись какая-нибудь заварушка — и ты переметнешься на другую сторону», — говорит ему Михаил, и он, со своей точки зрения, имеет полное право так судить. Разговор кончается резко: Михаил приказывает ему завтра же с утра идти в Вешенскую, зарегистрироваться в ЧК как бывшему офицеру.

На другой день Григорий в Вешках, говорит с уполномоченными Политбюро Дончека. Ему предложили заполнить анкету, подробно расспросили об участии в восстании 1919 года, в заключение велели явиться для отметки через неделю. Обстановка в округе осложнялась к тому времени тем, что на северной его границе, в Воронежской губернии, поднялся антисоветский мятеж. Он узнает от бывшего сослуживца, а теперь командира эскадрона в





Атака.

Вешенской, Фомина, что на Верхнем Дону идут аресты бывших офицеров. Григорий понимает — его может ожидать та же участь; это тревожит его необычайно; привыкший рисковать жизнью в открытом бою, не боящийся боли и смерти, он отчаянно страшится неволи. «Сроду не сидел и боюсь

тюрьмы хуже смерти», — говорит он и при этом ничуть не рисуетя и не шутит. Для него, вольнолюбивого, с обостренным чувством собственного достоинства человека, привыкшего самому решать свою судьбу, для него тюрьма действительно должна казаться страшнее смерти.



Дату вызова Григория в Дончека можно установить довольно точно. Это случилось в субботу (ибо ему следовало вновь явиться через неделю, а в романе сказано: «в Вешенскую нужно было идти в субботу»). По советскому календарю 1920 года первая суббота декабря приходилась на четвертое число. Скорее всего именно об этой субботе должна идти речь, так как Григорий вряд ли успел бы прийти в Татарский на неделю раньше, и сомнительно, чтобы он добирался до дому от Миллерова (где он застал «позднюю осень») чуть ли не до середины декабря. Итак, Григорий возвратился в родной хутор 3 декабря, а первый раз был в Дончека на следующий день.

Он поселился у Аксины вместе с детьми. Примечательно, однако, что на вопрос сестры, собираются ли он на ней жениться, «С этим успеется, — неопределенно ответил Григорий». На душе у него тяжело, жизнь свою он планировать не может и не хочет.

«Несколько дней он провел в угнетающем безделье, — говорится далее. — Попробовал было кое-что смастерить в Аксином хозяйстве и тотчас почувствовал, что ничего не может делать». Неопределенность положения гнетет его, пугает возможность ареста. Но в душе он уже принял решение: в Вешенскую больше не пойдет, скроется, хотя сам еще не знает куда.

Обстоятельства ускорили предполагаемый ход событий. «В четверг ночью» (то есть в ночь на 10 декабря) Григорию сказала прибежавшая к нему бледная Дуняшка, что Михаил Кошевой и «четверо конных из станицы» собираются арестовать его. Григорий собрался мгновенно, «он действовал, как в бою, — поспешно, но уверенно», поцеловал сестру, спящих детей, плачущую Аксиныю и шагнул за порог в холодную темень.

Три недели он прятался у знакомого однополчанина в хуторе Верхне-Кривском, потом тайно перебрался на хутор Горбатовский, к дальнему родственнику Аксины, у которого прожил еще «месяц с лишним». Никаких планов на будущее у него нет, целыми днями валялся он в горнице. Иногда его охватывало страстное желание вернуться к детям, к Аксиныне, но он подавлял его. Наконец хозяин прямо сказал, что держать его больше у себя не может, посоветовал идти в хутор Ягодный, чтобы спрятаться у его свата. «Поздней ночью» Григорий выходит из хутора — и тут же его ловит на дороге конный патруль. Оказалось, что он попал в руки банды Фомина, восставшего против Советской власти совсем недавно.

Здесь необходимо уточнить хронологию. Итак, Григорий ушел из дома Аксины в ночь на 10 декабря и потом около двух месяцев провел, скрываясь. Следовательно,

встреча с фоминовцами должна была произойти около 10 февраля. Но здесь во «внутренней хронологии» романа явная описка. Именно описка, а не ошибка. Ибо Григорий попадает к Фомину около 10 марта, то есть М. Шолохов просто-напросто «упустил» один месяц.

Восстание эскадрона под командованием Фомина (это реальные исторические события, отраженные в документах Северо-Кавказского военного округа) началось в станице Вешенской в первых числах марта 1921 года. Мелкий антисоветский мятеж этот был одним из многих явлений такого же рода, происходивших в ту пору в разных районах страны: крестьянство, недовольное продразверсткой, кое-где шло на поводу казачества. Вскоре продразверстка была отменена (X съезд партии, середина марта), что привело к быстрой ликвидации политического бандитизма. Потерпев неудачу в попытке захватить Вешенскую, Фомин и его банда стали колесить по окрестным станицам, тщетно подбивая казаков на восстание. К моменту встречи с Григорием они скитались уже несколько дней. Отметим и то, что Фомин упоминает об известном Кронштадтском мятеже: значит, разговор происходит до 20 марта, ибо уже в ночь на 18 марта мятеж был подавлен.

Так Григорий оказывается у Фомина, скитаться по хуторам он более не может, негде и опасно, идти с повинной в Вешенскую боится. Он грустно шутит о своем положении: «У меня выбор, как в сказке про богатырей... Три дороги, и ни одной нету путевой...» Разумеется, крикливой и просто глупой демагогии Фомина про «освобождение казаков от ига комиссаров» он не верит, даже не принимает в расчет. Он так и говорит: «Вступаю в твою банду», чем ужасно обижает мелочного и самодовольного Фомина. План у Григория простой: как-то перебиться до лета, а потом, раздобыв коней, уехать с Аксиныей куда-либо подальше и как-то изменить постылую свою жизнь.

Вместе с фоминовцами Григорий скитается по станицам Верхнедонского округа. Никакого «восстания», понятно, не происходит. Напротив, рядовые бандиты тайком дезертируют и сдаются — благо ВЦИК объявил амнистию тем участникам банд, которые добровольно сдадутся властям, им даже сохраняли земельный надел. В разномыслии фоминовском отряде процветают пьянство и мародерство. Григорий решительно требует у Фомина прекратить обижать население; на какое-то время его послушались, но асоциальная природа банды от этого, естественно, не меняется.

Как опытный военный, Григорий прекрасно понимал, что при столкновении с регулярной кавалерийской частью Красной Армии банду разобьют наголо. Так и произошло. 18 апреля (эта дата приведена в

романе) у хутора Ожогина фоминовцы неожиданно были атакованы. Почти все погибли, только Григорию, Фомину и еще троим удалось ускакать. Укрылись они на острове, дней десять жили затаясь, как звери, не разжигая костров. Здесь происходит примечательный разговор Григория с офицером из интеллигентов Канариным. Григорий говорит: «С пятнадцатого года как нагляделся на войну, так и надумал, что бога нету. Никакого! Ежели бы был — не имел бы права допускать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, отменили бога, оставили его одним старикам да бабам. Пущай они потешаются. И перста никакого нет, и монархии быть не может. Народ ее кончил раз навсегда».

«В конце апреля», как сказано в тексте, переправились через Дон. Опять начались бесцельные скитания по станицам, бегство от советских частей, ожидание неминуемой гибели.

Три дня они колесили по правобережью, пытаясь найти банду Маслека, чтобы соединиться с ним, но тщетно. Постепенно Фомин снова оброс людьми. К нему стекался теперь всякого рода деклассированный сброд, кому уже нечего было терять и все равно кому служить.

Наконец благоприятный момент настал, и однажды ночью Григорий отстает от банды и с двумя хорошими конями спешит к родному хутору. Произошло это в самом конце мая — начале июня 1921 года. (Ранее в тексте упоминалось о тяжелом бое, который банда вела «в середине мая», затем: «за две недели Фомин сделал обширный круг по всем станицам Верхнего Дона».) Григорий имел документы, взятые у убитого милиционера, он намеревался уехать с Аксиньей на Кубань, оставив до поры до времени детей у сестры.

В ту же ночь он в родном хуторе. Аксинья быстро собралась в дорогу, сбежала за Дуняшкой. Оставшись на минуту один, «он поспешно подошел к кровати и долго целовал детей, а потом вспомнил Наталью и еще много вспомнил из своей нелегкой жизни и заплакал». Дети так и не проснулись и не увидели отца. А Григорий смотрел на Полюшку в последний раз...

К утру они были в восьми верстах от хутора, затаились в лесу. Григорий, измученный бесконечными переходами, уснул. Аксинья, счастливая и полная надежд, нарвала цветов и, «вспомнив молодость», сплела красивый венок и положила его у изголовья Григория. «Найдем и мы свою долю!» — думала она в это утро.

Григорий намеревался двинуться к Морозовской (большая станица на железной дороге Донбасс — Царицын). Ночью выехали. Сразу же наткнулись на патруль. Ружейная пуля попала Аксинье в левую лопатку и пробила грудь. Она не издала ни стоны, ни слова и к утру умерла на руках у обезумевшего от горя Григория. Он схоронил ее тут же в овраге, вырыл могилку шашкой. Тогда-то и увидел он над собой черное небо и черное солнце... Аксинье было около двадцати девяти лет. Она погибла в самом начале июня 1921 года.

Потеряв свою Аксинью, Григорий был уверен, «что расстанутся они ненадолго». Силы и воля оставили его, он живет как бы в полусне. Три дня он бесцельно скитался по степи. Затем переплыл Дон и пошел в Слащевскую Дубраву, где, он знал, «оседло» жили дезертиры, укрывшиеся там еще со времени мобилизации осенью 1920 года. Несколько дней бродил по огромному лесу, пока нашел их. Следовательно, с середины июня поселился у них. Всю вторую половину года и начало следующего Григорий прожил в лесу, днем вырезал из дерева ложки и игрушки, ночами тосковал и плакал.

«На провесне», как сказано в романе, то есть в марте, в лесу появился один из фоминовцев, от него Григорий узнает, что банда разгромлена, а атаман ее убит. После этого Григорий прожил в лесу «еще с неделю», затем вдруг неожиданно для всех собрался и пошел домой. Ему советуют подождать до 1 мая, до ожидаемой амнистии, но он даже не слышит. У него одна лишь мысль, одна цель: «Подходить бы ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать».

И вот он перешел Дон «по синему, изъеденному ростепелью мартовскому льду» и двинулся к дому. Он встречает сына, который, узнав его, опускает глаза. Он слышит последнее в своей жизни горестное известие: дочь Полюшка умерла от скарлатины осенью прошлого года (девочке едва минуло шесть лет). Это седьмая смерть близких, что довелось пережить Григорию: дочь Таня, брат Петр, жена, отец, мать, Аксинья, дочь Поля...

Так, в мартовское утро 1922 года заканчивается жизнеописание Григория Пантелеевича Мелехова, казака станицы Вешенской, тридцати лет от роду, русского, по социальному положению — среднего крестьянина.





«Захаров из чеченцев» — так подписывал свои произведения академик живописи Петр Захарович Захаров, жизнь и творчество которого долгое время были мало кому известны.

Петр Захарович Захаров (1816—1846) создал прекрасные портреты своих современников — профессора Московского университета Т. Н. Грановского, хирурга И. П. Постникова, поэта М. Ю. Лермонтова, героя Бородинского сражения генерала А. П. Ермолова и многих, многих других.

Пет пятнадцать назад, разыскивая в Москве, в Центральном государственном архиве древних актов, документы по истории XIX века, я обратил внимание на письма Петра Николаевича Ермолова.

Петр Николаевич писал своей матери: «Странный мальчик Петруша! Я о моем чеченце. Кроме обучения грамоте, он рисует все, что попадает под руку. Видимо, будет художник, и не плохой...»<sup>1</sup>

В другом письме — к своему другу Шиановскому — П. Н. Ермолов писал: «...Я, признаюсь, весьма хотел бы, чтобы Петруша был принят в Академию... хотя бы из редкости, чтобы из чеченца сделать Апеллеса, а жаль мальчика, который имеет большие способности...»<sup>2</sup>

Читая эти строки, я вспомнил историю, слышанную мною когда-то в одном из горных аулов Чечено-Ингушетии.

Мне рассказывали, что в первой половине XIX века из среды чеченцев действительно вышел замечательный художник-портретист. Живописцем ему удалось стать потому, что ребенком он был увезен в Россию. Не случись этого, его талант был бы погублен: закон ислама запрещал рисовать и лепить человеческие фигуры.

Постепенно я начал втягиваться в изучение материалов, связанных с жизнью и творчеством Петра Захаровича Захарова. Трудностей было много. И все же отступать не хотелось, настолько необычной и значительной представлялась мне судьба этого талантливого художника.

В истории русского искусства имя его упоминалось. В Большой Советской Энциклопедии мы находим следующие строки: «...Захаров, Петр Захарович (1816—1852), — живописец, чеченец (редкий в то время случай образования художника из нац. меньшинств)...»<sup>3</sup>. Но более подробных сведений о нем почти не было.

Я стал посылать запросы всевозможным картинным галереям, музеям, архивам, частным собирателям. Письма я направлял и в Москву, и в Усть-Ордынский, и в Ленинград, и в Ямало-Ненецкий национальный округ, и в Лейпциг, и в Лондон...

## Н. Шабаньянц

(г. Грозный)

### АКАДЕМИК П. З. ЗАХАРОВ, ХУДОЖНИК «ИЗ ЧЕЧЕНЦЕВ»

Мало-помалу из пожелтевших архивных документов, писем, мемуаров, фольклорных материалов начал вырисовываться необычайный облик Петра Захаровича Захарова.

...1819 год. В чеченский аул Дады-Юрт пришла война. Горели сакли. Вдруг один из солдат увидел смертельно раненную женщину. Она ползла по земле, прижимая к груди ребенка, тоже раненного. Солдат взял его из холодеющих рук матери и принес в ставку главнокомандующего. Дрогнуло сердце Алексея Петровича Ермолова. Вызвал он верного казака — Захара Недоусова.

— Спаси во что бы то ни стало! Окрести именем русским. Придет время — спрошу о нем...

Так решилась судьба мальчика-чеченца. Назвали его Петром, фамилию дали — Захаров.

Четыре года спустя его отдали на воспитание в семью двоюродного брата Алексея Петровича Ермолова — генерал-майора Петра Николаевича. Здесь о Петруше заботились, как о родном.

Он хорошо учился, любил рисовать. Влечение к искусству, большая наблюдательность проявились в нем так ярко, что Петр Николаевич обратился к президенту Петербургской академии художеств Оленину с просьбой ознакомиться с работами 10-летнего мальчика и, если возможно, определить его на обучение в академию... Но... безродному чеченцу было отказано.

Мысль об одаренности Петруши не покидала П. Н. Ермолова. Через несколько лет он все же отправил своего воспитанника в Петербург. Там Петр Захаров исполнил ряд живописных работ, показывал их на выставках, а в 1833 году блестяще сдал экзамен и был принят в академию. Правда, в

П. З. Захаров.  
Автопортрет.  
1843 г.

<sup>1</sup> Центральный государственный архив древних актов СССР (ЦГАДА), ф. Ермоловых, дело 746—75, л. 37.

<sup>2</sup> Там же, дело 687, оп. 1, л. 14.

<sup>3</sup> Большая Советская Энциклопедия, т. 26. М., 1933, стлб. 402.



связи с тем, что устав не разрешал принимать в академию «иностранцев» и крепостных, Петра Захарова зачислили «посторонним» учеником. В это же время его приняло на содержание Общество поощрения художников.

Документы Центрального государственного архива Ленинграда помогли установить, что за картину «Старуха, гадающая в карты» Петр Захаров был удостоен серебряной медали. Он выполнял и частные заказы, давал уроки рисования, а также написал «Юношеский автопортрет». Случайность помогла мне разыскать этот портрет.

...Это было в Москве зимой 1958 года. Разговаривая в Доме ученых с одним из московских собирателей, я узнал, что совсем недавно он видел небольшого размера портрет «какого-то молодого человека», работы чеченского Захарова. Я попросил подробнее рассказать мне обо всем.

Молодой человек на портрете был, кажется, в европейском костюме, лицо усталое, в руках он что-то держал.

— Что мне бросилось в глаза, — сказал мой собеседник, — это какая-то странная стрижка, необычная. Но дело в том, что портрет этот я не приобрел, так как я «лермонтовед», а не «захаровед»...

И вот начались поиски, длившиеся почти три года.

Поездка в Ленинград (куда, по-видимому, направлялся неизвестный мне владелец портрета), долгие беседы с сотрудниками Эрмитажа и Русского музея. Потерпев на первых порах неудачу, я вернулся в Грозный и снова стал писать неизвестным людям десятки писем, надеясь наконец найти таинственного любителя искусства. И нашел его, но оказалось, что портрет он успел продать человеку, чьим адресом не поинтересовался.

Поиски возобновились.

Это было в один из теплых солнечных дней 1961 года. Я разбирал груды писем; мое внимание привлек конверт с надписью: «Тамбов, Краеведческий музей». «Странно, — подумал я, — ведь я этот музей не запрашивал...» Тем не менее Тамбовский музей сообщал, что у них в экспозиции находится портрет неизвестного молодого человека работы Захарова-чеченца.

Некоторое время спустя из Тамбова прислали фотографию.

Оказалось, что это автопортрет молодого Захарова, — тот самый автопортрет, о котором упоминала в своем письме в 1907 году одна из дочерей А. П. Ермолова..

...Юношеское лицо. Его выражение естественно и просто. Во взгляде — чувство достоинства, спокойствие, мечтательность и едва заметная печаль. Характерная стрижка горца. Одет Петр Захаров во фрак. В левой руке — трость. Краски не утратили своей свежести, тона насыщены и глубоки...

С 1836 года, после окончания Академии художеств, П. З. Захаров жил в Петербурге, на Васильевском острове. За четыре года он написал портреты М. Ю. Лермонтова, купца Жадимеровского, историка Семенова и многих других. Во всех этих работах чувствуется склонность к психологическому анализу, стремление раскрыть индивидуальные черты характера.

На протяжении всей жизни Петра Захаровича преследовала болезнь легких, которая усугублялась нездоровым климатом Петербурга. В связи с этим период с 1840 по 1842 год долгое время был для меня пробелом в творческой биографии художника. Но оказалось, что в эти годы — из-за болезни и материальной нужды — П. З. Захаров был вынужден работать в Военном министерстве.

И вот однажды пришло письмо из Центрального государственного архива древних актов СССР: «...Среди документальных материалов о П. З. Захарове значится свидетельство 1823 года, а также 17 его писем (в подлинниках)...»

Центральный государственный архив древних актов СССР. Уникальные материалы... Наконец-то! Читаю первый документ: «Свидетельство № 3610 от 25 августа 1823 года о передаче А. П. Ермоловым в Тифлисе взятого в плен мальчика, из чеченцев, Петра Захарова, на воспитание господину генерал-майору П. Н. Ермолову...»<sup>4</sup>. Читаю второй документ — письмо Захарова, датированное апрелем 1841 года. Он пишет своему воспитателю П. Н. Ермолову: «...Я уже не свободный художник, а служащий в департаменте военных поселений Военного министерства. Потеряв здоровье и притом надежду быть отправленным за границу, я, покорный судьбе, решил избрать хоть немного, но верный кусок хлеба...»<sup>5</sup>.

Новая поездка в Ленинград, связанная с поисками архива Военного министерства. В конце концов выяснилось, что интересовавшие меня документы были переданы Центральному государственному военно-историческому архиву СССР. Пришлось немедленно вернуться в Москву и начать работу в этом архиве.

...Репорт старшего адъютанта департамента военных поселений Военного министерства гвардии капитана Висковатого:

«В конце июня текущего года, с увольнением от службы художников Пецоляда и Гинценберга по части составления рисунков одежды и вооружения российских войск, открылись две вакансии, одна из вакансий в нынешнем месяце заменена художником Клюквинным; для замещения же остальной имею честь всепокорнейше просить ваше сиятельство об определении художника За-

<sup>4</sup> ЦГАДА, ф. Ермоловых, дело 182, л. 6.

<sup>5</sup> Там же, дело 627, л. 19.



Портрет А. П. Ермолова.  
Художник П. З. Захаров. 1843 г.

харова с жалованьем по тысяче пятьсот рублей ассигнациями в год...»<sup>6</sup>.

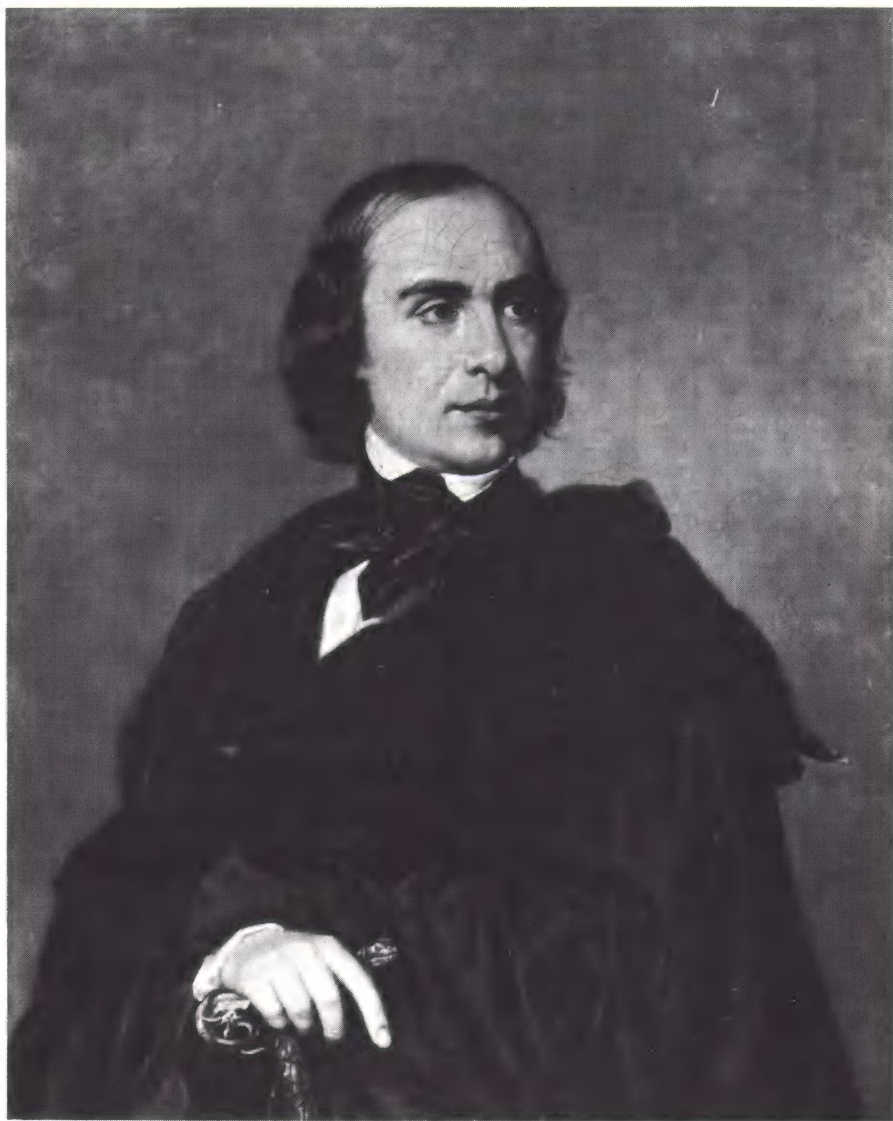
На втором, изданном в типографии листке был приказ от «Декабря 20 дня

1840 года, № 189» по департаменту военных поселений Военного министерства:

«С высочайшего разрешения, свободный неклассный художник Петр Захаров определяется в департамент военных поселений для усиления занятий по составлению рисунков обмундирования и вооружения российских войск, с жалованьем по 428 р.

<sup>6</sup> Центральный государственный военно-исторический архив СССР (ЦГВИА), ф. 405, оп. 32/1043. ед. хр. 242, л. 1.





Портрет Т. Н. Грановского.  
Художник П. З. Захаров.  
1845 г.

57  $\frac{3}{7}$  коп. серебром в год, из остатка сметных сумм военного поселения, которые и производить ему с 16 минувшего ноября, то есть времени занятия его уже по сей части»<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Там же, л. 3.

Подписал этот приказ генерал-адъютант, граф Клейнмихель.

Третий листок личного дела — докладная капитана Висковатого от 9 января 1842 года:

«Числящийся при департаменте военных



Портрет А. В. Алябьевой.  
Художник П. З. Захаров.  
1845 г.

поселений и занимающийся составлением рисунков одежды и вооружения российских войск, художник Захаров, по частым и продолжительным, с начала нынешнего года, болезням не может продолжать занятий и потому, согласно с объявленным им жела-

нием, имею честь всепокорнейше просить ваше сиятельство об увольнении его вовсе от службы»<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Там же, ф. 405, оп. 37/1048, ед. хр. 102, л. 2.



Удалось установить, что за полтора года Захаров выполнил для Военного министерства около 60 работ, за что дважды получал денежное вознаграждение. Но где эти работы? Как их найти?

В фундаментальном труде Висковатого (он служил в Военном министерстве в бытность там П. З. Захарова) — «Историческое описание одежды и вооружения российских войск 1841—1842 гг.» было воспроизведено 37 цветных рисунков, исполненных Захаровым. Так был заполнен один из самых больших пробелов в биографии замечательного художника.

...В 1842 году, перед уходом из Военного министерства, П. З. Захаров обратился в совет Академии художеств с просьбой дать ему программу на звание академика и представил при этом ряд своих работ. Рассмотрев их, совет определил его назначенным в академики и задал написать поясной портрет героя Бородина, генерала Алексея Петровича Ермолова.

С большим подъемом взялся Петр Захарович Захаров за эту работу. Портрет получился удачным, и художнику в 1843 году было присвоено звание академика.

Прославленный полководец изображен на фоне грозного неба и снеговых горных вершин Кавказа. Глядя на этот портрет, вспоминаешь строки Лермонтова:

...И испытанный трудами  
Бури боевой,  
Их ведет, грозя очами,  
Генерал седой.

Ермолов представлен на портрете Захарова человеком величавой осанки, большой энергии. Он одет в зеленый мундир с орденами и опирается на эфес шпаги.

Во всем облике Ермолова, в его крепкой фигуре, волевом лице виден сильный характер, чувствуется мужество, ум, но и жестокость.

Петр Захарович Захаров достиг вершин мастерства в возрасте 27 лет, создав замечательный портрет старого полководца, заслуженно вошедший в сокровищницу русской культуры.

Характерно, что все свои полотна художник подписывал: «Захаров из чеченцев». Он всегда помнил свой родной Кавказ. Получив звание академика, Захаров написал автопортрет. Перед нами портрет чеченца, написанный самим чеченцем. Одежда на нем не парадная. На голове — обычная папаха, на плечах — бурка. Будничная одежда горца.

Взгляд художника устремлен прямо на нас. Лицо передает сдержанную боль и горе. Тем не менее в этом лице чувствуется много внутренней силы. Захаров раскрыл в автопортрете свою душевную драму и как бы подвел итог прожитой жизни.

Художник никогда не забывал, что он сирота, сочувственно относился к людям такой же судьбы, всегда был очень скромным. Однажды в его пользу присудили некоторую сумму денег. Несмотря на болезнь и острую материальную нужду, Захаров распорядился: «...штраф я предоставляю отправить в пользу петербургских и московских приютов...»<sup>9</sup>. Благородство художника проявилось в этом его поступке.

Долгое время считалось, что академик Захаров умер 36 лет от роду в 1852 году. Эта дата первоначально и у меня не вызвала сомнения. Позже, располагая новыми сведениями о художнике, я обратил внимание на то, что ни одной работы Захарова, ни одного упоминания о нем не встречается после 1846 года.

В 1963 году я отправился в очередную поездку в Москву и Ленинград для работы в архивах. В купе вагона шла беседа на самые различные темы. Говорили и об искусстве. Конечно, я не мог не выдать своего увлечения живописью Захарова.

Мы уже подъезжали к Москве, когда я услышал, что кто-то из любителей искусства — москвичка по фамилии Холодная, Холодовская или еще как-то в этом роде интересовалась моими исследованиями и адресом. По-видимому, она могла что-то сообщить мне о Захарове.

Новый ребус! Попробуй найди человека с неточно названной фамилией, да еще где — в Москве!

Выход был один. Пришлось обратиться в Центральное адресное бюро.

Моя просьба включала целую серию фамилий, связанных со словом «холод», и мне далеко не сразу удалось найти Марию Зосимовну Холодовскую, бывшую сотрудницу Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Когда я наконец встретился с ней в ее доме, взгляд мой остановился на портрете молодой девушки.

— Не об этом ли портрете вы хотели мне рассказать? — спросил я хозяйку.

— Да! Его писал Захаров. Это Глаша, моя бабушка. Вот ее фото. А вот документ...

И Мария Зосимовна показала письмо А. Д. Галахова, известного педагога. 9 апреля 1851 года он писал Ларисе Львовне Волковой (Глаше):

«...Случается мне зайти к батюшке и матушке. Глаза мои падают на знакомый тебе портрет девушки с опущенными глазами и с кольцом в руке — я не могу отвести глаз от этого образа ангельской кротости и миловидности и очень ясно понимаю, что Захаров был не только живописец, но и

<sup>9</sup> Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде (ЦГИА), ф. 789, оп. 1, ед. хр. 2888, л. 10.

поэт, не только поэт, но и влюбленный в Глашу...»

Заметим, что в этом письме сказано о Захарове: был. Значит, в апреле 1851 года художника уже не было в живых. Видимо, Петр Захарович, полюбивший молодую, красивую Глашу, сделал ей предложение, подарил кольцо. Но родители почему-то (может быть, из-за болезни художника) были против этого брака и отправили Глашу к сестре, на Кавказ, где ее выдали замуж за военного — А. А. Бертье-де-ля-Гарда, сына французского эмигранта.

Мария Зосимовна посоветовала мне встретиться с искусствоведом Ниной Михайловной Молевой.

На следующий день я был любезно принят Ниной Михайловной. Выслушав мои доводы и сомнения в точности даты кончины художника, она посоветовала мне изучить ленинградский архив Н. П. Собко и особенно внимательно просмотреть папку с газетными вырезками.

Библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Папка Н. П. Собко с газетными вырезками. Почти весь день я перебирал огромное количество различных по характеру и содержанию вырезок из «Северной пчелы», «Русской старины», «Утра России» и других дореволюционных газет.

Помню, это были два последних номера «Ведомостей С.-П. городской полиции» за 1846 год. Я еще подумал: «Полиция... При чем же тут искусство?» И вдруг, просмотрев газету, я заметил: «Захаров».

«...Отчет Императорской Академии художеств. Конференц-секретарь академии В. И. Григорович на общем собрании академии 29 сентября 1846 года сообщил: «...в истекшем году скончались: ректор Академии Демут Малиновский и академики Михаил Шамшин, Захаров и Кухаревский».

Далее: «...Захаров, чеченец по происхождению, известен как отличившийся и необыкновенно обещавший в сем же роде живописи...»

Значит, Петр Захарович Захаров умер в 1846 году! Неизлечимая болезнь свела в могилу художника, когда ему было всего лишь 30 лет.

Вернувшись в Москву, я разыскал в одной из метрических книг, хранящихся в архиве, запись о бракосочетании и о кончине академика П. З. Захарова. Здесь был указан тот же 1846 год.

Окидывая взглядом то, что сумел и успел сделать П. З. Захаров за три последних года жизни, поражаешься интенсивности и напряженности его работы. Он написал портреты Т. Н. Грановского, А. И. Ладженского, Ф. И. Иноземцева, Н. А. Смирнова, И. П. Постникова и Н. А. Постнико-

вой, Н. А. Некрасова, А. В. Алябьевой, красоту которой воспевали Пушкин и Лермонтов, групповой портрет — семью П. Н. Ермолова, а также большое число других, не менее значительных полотен.

Исполнению того или иного портрета почти всегда предшествовал заказ. Так, например, портрет Т. Н. Грановского писался после его блестящей публичной лекции, когда присутствующие стоя долго аплодировали профессору. Инициатором заказа был ближайший друг ученого — А. И. Герцен. Он просил своих друзей найти лучшего художника, и выбор пал на Петра Захаровича Захарова.

Портрет Грановского покоряет своей глубиной. Живописец изобразил философа, борца, общественного деятеля, представителя славной плеяды людей 40-х годов.

Портрет А. В. Алябьевой раскрывает прежде всего красоту человеческих чувств.

Жизненная энергия, заключенная в портрете Алябьевой, еще раз подтверждает зрелость мастерства молодого художника.

Упорные и кропотливые поиски привели к тому, что сейчас мы можем назвать около 100 подписных произведений П. З. Захарова, тогда как двадцать лет назад их насчитывалось едва ли 30.

В 1966 году на родине П. З. Захарова, в Чечено-Ингушской АССР, торжественно отметили 150-летие со дня рождения талантливого художника-портретиста. В 1975 году в Чечено-Ингушской АССР была организована первая научная конференция, посвященная изучению и популяризации творчества художника из чеченцев. И радостно думать, что жизнь внесла поправку в строки, посвященные Захарову полвека назад историком Ф. М. Уманцем.

«...Несомненно, — писал историк, — что в лице П. З. Захарова русская школа имела большую художественную силу, и можно только удивляться, почему он остался малоизвестен большой публике, а его биография, так тесно связанная с выдающимися людьми и событиями того времени и касающаяся нашего, остается неизвестной даже в общих чертах: «Чеченец» — и ничего более»<sup>10</sup>.

Сейчас мы в общих чертах уже знаем жизнь и творчество академика П. З. Захарова, художника «из чеченцев». Можно надеяться, что со временем его замечательные труды, его необыкновенная судьба получат достойное отражение в истории отечественного искусства.

<sup>10</sup> Ф. М. Уманец. Прокурор Кавказа. СПб., 1912, с. 116.





## ДВА ОЛИМПА

Среди неисчислимых кочевых путей, которыми вдоль и поперек покрылись за долгие века земли Европы и Азии, сколько было прихотливых ответвлений, непредвиденных перекрестков, сколько в пыли обочин затерялось диких обломков!

Русские летописи сообщают: когда князь Владимир Святославович возвратился в Киев из победного корсунского похода, был с ним великий обоз воинских трофеев, в числе которых оказались и курьезно-непривычные для славянского глаза «два болвана медвяны», «жены, образом мраморны». Ныне обидные слова «болван» или «истукан» в те времена просто-напросто значили — изваяние, статую.

Но ведь Корсунь X века — бывший греческий Херсонес Таврический — метрополия христианской Византии! Откуда же там оказались кумиры давно поверженной языческой религии?

Вопрос не такой уж и неожиданный. Он находится в прямой зависимости от широко распространенного мнения — своего рода исторической аксиомы, — которая состоит в том, что крушение одной религиозной величины (в данном случае античного язычества) и приход на ее место другой религиозной величины (в данном случае христианства) обязательно сопровождается (сопровождался) разгромом, уничтожением, стиранием с лица земли внешних материальных ценностей, символов, атрибутов официально отрицаемой религии. В пору первоначального утверждения христианства в средиземноморском ареале эта аксиома, как известно, получила множество подтверждений своей истинности; и когда мы сегодня проходим по античным залам крупнейших музеев мира, нелишне, пожалуй, помнить, что подавляющее большинство скульптур и скульптурных обломков действительно попали сюда из-под земли, из-под тех бранных пластов, которые называют теперь культурным слоем.

В средневековой Италии материальная культура античности в силу разного рода обстоятельств подверглась гораздо более жестокому уничтожению, чем на православном Востоке, в пределах Византийской империи.

Что до последней, то хотя и по ее пределам не раз прокатывались сокрушительные волны антипаганизма, тем не менее Византия за многие столетия своей бурной истории выработала к античному искусству отношение, в общем-то, вполне снисходительное. Ведь эти каменные и бронзовые изваяния служили осязаемым и поучитель-

## Ю. Лощиц

# О СИВИЛЛАХ, ФИЛОСОФАХ И ДРЕВНЕРУССКИХ КНИЖНИКАХ

ным напоминанием о том, что вульгарное многобожие безвозвратно отошло в область прошлого.

А если так, то отдельные образцы искусства древних даже полезно сохранять и выставлять на обзор в качестве своего рода музейных реликвий, подчеркивая тем самым не только свое снисхождение к наивным понятиям плотоугодных «стариков», но и почитание их неотменяемых художественных удач. Ведь в музее, как известно, важен не только дух достоверности, но и дух терпимости.

Стихийная музеефикация дедовской архаики не прерывалась на протяжении почти всей истории Византии.

В «Слове о полку Игореве» есть загадочные строки о «Тмутараканском болване», — строки, вызывавшие самые неожиданные предположения исследователей. Одно из наиболее обоснованных и убедительных предположений сводится к тому, что автор «Слова» имел в виду некое древнее сооружение, еще стоявшее в бытность его ближайших предков у входа в Керченский пролив. Таким сооружением скорее всего был старинный греческий маяк — каменный столп, увенчанный изваянием Посейдона, либо кого иного из священных олимпийцев.

И уж конечно, в богатом Херсонесе X века славянская рать не могла не обратить внимания на великолепно исполненных в мраморе и металле «болванов». Увозя истуканов к себе домой, Владимир вряд ли, конечно, догадывался об их истинном художественном весе и достоинстве. В первую очередь это были для него воинские трофеи.

Похоже, что трофеи подобного рода впервые появились тогда в Киеве. Ведь и Олег, и Игорь ходили ратями на Византию, и Ольга ездила в Константинополь с мирной миссией, но никто из летописцев не упоминает, чтобы они привозили на Русь что-либо подобное.

Вергилий.

Фрагмент росписи Благовещенского собора в Московском Кремле.



Итак, однажды на киевских холмах произошло совершенно уникальная в истории духовных миграций встреча. Встретились лицом к лицу представители двух языческих Олимпов — греческого и славянского.

Деревянное даждбожье племя — Перун, Стрибог, Велес и иные с ними — вскоре было выкорчевано со своих утопанных капищ, расколото в щепки, наметано в костры или спущено вниз, в волны Борисфена. А корсунские кумиры нашли последнее пристанище на задворках шумной строительной площадки: увлеченный архитектурными заботами, Владимир быстро забыл об изваяниях, привезенных с Черного моря. Строили Десятинную — первый официально-государственный храм по образцам религиозной наставницы Византии. Простого плана корабль с четырьмя подкупольными парусами — так в русскую почву бросила якорь новая вера.

Есть свидетельства, что трофеи Владимира простояли в Киеве вплоть до монгольского нашествия. Куда же они делись потом? Может быть, вновь стали трофеями, и суждено им было откочевать еще дальше от родины — на Восток, в ставку завоевателей?

Если же и остались на месте, то теперь и подавно обителям разрушенного Киева было не до них. Обработанному резцом мрамору нужно много света, много тепла. Тогда плоть его как бы оживет, задышит всеми порами, даст ответное тепло. А тут климат был явно неподходящим, и средиземноморский камень поблек, угас. Не печальная ли судьба? Не символизирует ли она особенность отношения Древней Руси ко всей античной культуре?

## «ДЕРЕВНЯ»

Для того чтобы ответить на этот частный вопрос, необходимо выяснить, когда и почему сложилось и приобрело широкую огласку мнение о необразованной, малограмотной, некультурной, сторонящейся всякого знания Руси — стране «невелгасов». Истоки этого мнения уходят во времена отдаленные, можно сказать, изначальные. Но идеологическое оформление мифа о земле неучей происходит лишь где-то на рубеже XV—XVI веков. Оформляется он как один из аргументов католической пропаганды в пользу «истинной веры», противостоящей якобы испорченной, «худой» вере восточных схизматиков.

Параллельно с этой, чисто клерикальной, линией тогда же в западноевропейской письменности намечается линия светской публицистики, посвященной обсуждению всяческих русских «неустройств», начиная с отсутствия книгопечатников, толмачей, искусных лекарей и кончая кривизной городских улиц, пьянством попов, поголовным пристрастием к квасу и ношению бород.

Видимо, мнения эти и отзывы, попадая на Русь, кое-кого и тогда вводили в смущение. Сравнительно малоизвестный факт: родитель Ивана Грозного, Василий Иванович, будучи уже в мужественном возрасте, однажды удивил своих сограждан, сбив бороду, — явно, конечно, по наущению кого-то из придворных «немцев».

Факт курьезный, не более. Но он свидетельство того, что бытовые упреки и насмешки со стороны все же задевали, ранили. Удивительно, что вроде бы безответными оставались упреки более существенные, например, в сравнительной культурной отсталости. Между тем на глубине духовной жизни страны происходили события (подробнее об этом еще скажем), содержавшие в себе реакцию на мнения недоброжелателей. Но — подчеркнем — лишь на глубине: публицистически эта тема пока никак не оформляется.

Таинственное нежелание наших стародавних писателей защищаться, оправдываться, а тем более щеголять перед кем бы то ни было своей начитанностью, филологической осведомленностью, — тема особая и не так-то просто объяснимая. Может быть, это нежелание восходит к наименее поддающимся словесному определению свойствам национального гения. Однако едва ли не беззащитность и безгласность критикуемой стороны в первую очередь способствовали тому, что ко временам, когда Русь стала уже Древней Русью, историей, мнение о ее культурной отсталости процвело в полную силу.

В одной из самых жестких редакций это мнение изложил отечественный историк Евг. Голубинский, ученый, исходивший в своих приговорах из скептического принципа: «Лучше недооценить, чем переоценить». Вот его слова:

«До нашествия Монголов мы были древней подгородной...» «После нашествия Монголов, — пишет он тут же, — у нас порвались и мы сами порвали всякие связи со всеми другими людьми, так что мы остались совершенно одни и замкнулись исключительно в самих себя, став как бы глухою деревнею».

Самоуничижительный жест почтенного историка в наши дни выглядит не менее курьезно, чем, допустим, сбривание Василием Третьим собственной бороды. В те годы, когда Голубинский обнародовал свое «деревенское» сравнение, материк древнерусской культуры усиленно исследовался, хотя истинные его размеры еще не были окончательно ясны. Осознание громадности и самобытности этого материка тогда только зарождалось; еще предстояли десятилетия накопительской работы — археографической, археологической, искусствоведческой, этнографической, реставрационной.

Тем не менее миф о «бескультурной Руси» и в XX веке нередко заявляет о

себе, причём иногда в достаточно агрессивной форме.

Так Густав Шпет в своём шумевшем «Очерке развития русской филологии» (1917) пришёл к ошеломляющему выводу по поводу возникновения славянской письменности. «Солунские братья, — заявляет он, имея в виду Кирилла и Мефодия, — сыграли для России фатальную роль». Они-де навязали Руси язык полуварварского народа, «лишённого культурных традиций, литературы, истории» (трудно поверить, что это говорится о Болгарии, которая уже при учениках просветителей вступила в живейшие и плодотворнейшие культурные отношения с Киевской Русью!) и тем самым якобы отлучили нас от греческого языка и греческой образованности. (Трудно поверить также, чтобы учёный, затрагивающий вопросы лингвистики, ничего не знал о глубинной — через синтаксис, словообразование, лексику — связи старославянского языка с греческим; или о том, что именно через Болгарию шёл на Киевскую Русь основной поток переводной литературы с греческого, церковной и светской.)

Хотя в раздражённо-памфлетном стиле Шпета писать на такие ответственные темы ныне как будто не принято, старый миф не спешит умирать. Обильные упреки в отсутствии «филологической культуры» и, шире, в культурной ограниченности старой Руси содержатся, например, в работе зарубежного историка-иезуита И. Кологривова. Иногда его претензии в адрес русского «византизма» выглядят лишь деликатным подновлением хлестких аргументов, которыми пользовались в своих публицистических трактатах писатели-униаты XVI—XVIII веков.

Словом, «деревенские» ассоциации оказываются достаточно живучими, чтобы упустить их из виду.

### «ГЛУБИННЫЕ КНИГИ»

Возвращаясь теперь к частной проблеме «Русь и античный мир», нужно сразу сказать, что в истории отечественной культуры допетровского времени эта проблема далеко не первостепенная. Молодой Руси, только что принявшей христианство, было, естественно, не до судеб античной культуры. Для нее, вчерашней язычницы, язычество греческого и римского миров представлялось чем-то давно и бесславно завершившимся, преодоленным — полузабытой историей, которая могла носить разве лишь назидательный смысл.

И все же, несмотря на свою второстепенность, проблема отношения Руси к наследию античности обозначалась уже тогда, в самые первоначальные времена. Книжники наши вдруг оказались в том благоприятном положении, в какое попали работники из евангельской притчи, нанятые хозяином

позже всех, но получившие равную мзду с теми, кто начал работать задолго до них.

Они прилежно читали «Шестоднев» Василия Великого и проповеди Иоанна Златоуста, но Василий и Иоанн были блестящими знатоками античной литературы и философии — от Гомера до Вергилия, от Гераклита до Марка Аврелия.

Они знакомились с умозрительными сочинениями Иоанна Дамаскина, но тот был превосходно знаком с трудами Аристотеля.

Они осваивали поучения Григория Богослова, вчитывались в назидательные слова Макария Великого, но те тоже изучили античную письменность вдоль и поперек, хотя последний родился всего-навсего в доме пастуха и сам в юности пас овец.

Они, наконец, читали о просветителе славян Кирилле, что он «научи ся Омиру (то есть Гомеру) и геометрии» и «светя ся всем учением философским».

Рано или поздно не мог не пробудиться интерес к именам, которые то и дело мелькали на страницах византийской письменности, освещённые как бы двойным светом: с одной стороны, учителя церкви жестоко бранят языческих писателей, но с другой — внимательно их изучают, нередко цитируют в подтверждение собственных мыслей.

Есть мнение, что именно знаменитый Григорий Пресвитер Мних, духовник княгини Ольги, представитель плеяды писателей болгарского «золотого века», учившийся в молодости в Константинополе, был переводчиком на старославянский язык первого греческого сочинения, из которого русские читатели могли почерпнуть наиболее значимые сведения об античном мире. Это была Хроника, или Временник, Георгия Амартола, византийского автора IX века. Амартол не только сообщал сведения о знаменитых грехах древности, но и давал беспристрастную оценку их воззрениям. Так, он излагает учение Платона о душе и о судьбе — роке. Языческие понятия о роке, якобы неумолимо довлеющем над жизнью человека, конечно, были враждебны представлениям автора-христианина, исповедующего учение о свободе воли.

Вскоре русские читатели познакомились с еще одной переводной Хроникой, более пространной, автором которой был сириец Иоанн Малала. Хронист довольно подробно излагал миф об Эдипе, со ссылкой на «премудрого Европида», рассказывал о Прометее, якобы изобретшем «грамматическую философию», об Орфее, «цвинических гуслей сказителе», о мудрецах Фалесе и Солоне, о поэтессе Сапфо, о сивилле Дельфийской.

Одна из книг Хроники целиком посвящалась Троянской войне, другая, в которой Малала пересказывает «Историю» Геродота, — древним персам.

Портретные характеристики в Хронике предельно скупы. Так, Платону посвящено



всего несколько строк, но зато из них древнерусский читатель узнавал, что этот премудрый «философ и казатель» писал «к Тимею о бозе» (диалог «Тимей», как известно, — центральный труд в наследии мыслителя, здесь изложены в систематическом виде главные космогонические идеи Платона). Попутно узнавал наш читатель и о том, что именно эта работа греческого философа привлекла особое внимание христианских мыслителей, считавших, что в ней он исповедовал Троицу задолго до того, как сложилось это догматическое понятие о божестве.

В первой книге Хроники подробно описано генеалогическое древо олимпийских богов.

С пантеоном «поганских» богов знакомил и «Изборник» Святослава (1073) — старейшая из сохранившихся русских книг для светского чтения.

Полутора веками позже в книжный обиход Киевской Руси вошла «Пчела» — сборник византийского происхождения, содержащий целую антологию античной мудрости: избранные изречения греческих поэтов, ученых, философов.

Но вряд ли любознательность наших предков насыщалась лишь этими и им подобными переводными сборниками и хрониками. Надо полагать, многие имели возможность читать сочинения византийских и античных авторов в оригинале. Пятью языками, в том числе греческим и латынью, владел родитель Владимира Мономаха князь Всеволод Ярославич, и он вовсе не был белой вороной среди своих соотечественников.

Знакомство с греческим языком было для русских книжников делом более насущным, чем с латынью. Подобное знакомство облегчалось тем, что в Киеве постоянно существовала сравнительно небольшая, но чрезвычайно активная в просветительских начинаниях колония греков. Достаточно сказать, что в течение всего домонгольского периода на киевской кафедре было лишь два русских митрополита. Остальные 22 — греки. Немало было их и на епископских кафедрах в других городах. Так, известно, что в Ростове XIV века церковная служба иногда справлялась на греческом языке.

В свою очередь, постоянная колония русских людей существовала в Константинополе на протяжении нескольких веков, вплоть до крушения Византийской империи. В колонии жили лица духовного звания, переводчики и переписчики книг, изографы, купцы, ремесленники.

С Русью греческий мир был связан гораздо теснее и взаимоплодотворней, чем, допустим, с Францией или Англией. Иногда она становилась даже кровной, эта связь: в результате августейших браков в жилах многих из князей-риюриковичей славянская и варяжская кровь сливались с юж-

ной, греческой. Тут уж возникал прямой повод, чтобы считать себя наследниками не только византийской, но и античной истории. Не случайно в летописях или житиях русские князья часто сравниваются с Ахиллесом или Александром Македонским (повесть о последнем бытовала у нас, кстати, уже в начальные времена славянской письменности).

Если о светской образованности своих князей русские летописцы сообщают с видимым удовольствием, то гораздо сдержаннее они же говорят о второй категории книжных людей — лицах духовного звания.

...В 1145 году в результате какого-то конфликта из Киева в Царьград вынужден был уехать митрополит-грек Михаил II. На освободившееся место киевский князь Изяслав предложил поставить схимонаха Климента — выходца из Смоленской земли. Климент Смолятич считался одним из образованнейших русских инок, и, возможно, образование он получил в Византии.

Схимник не очень-то рвался занять митрополию кафедру; видимо, находя затею князя достаточно авантюрной. Ведь до Климента лишь однажды митрополитом в Киеве был русский — Илларион, автор знаменитого «Слова о законе и благодати».

И все же русская церковь решилась вторично пойти наперекор каноническим предписаниям: Климент возглавил кафедру без благословения константинопольского патриарха.

Об его административной деятельности сведений не сохранилось, из литературных трудов известно всего три кратких сочинения. Но одно из них в своем роде замечательное. Это «Послание к Фоме-пресвитеру», ответное письмо, в котором Климент отводит упреки своего корреспондента в тщеславии, в кичении ученостью, в том, что будто бы он, Климент, «философ ся творя». Да, он действительно писал «от Омира и от Аристоля и от Платона», но писал не братии, а князю Изяславу.

Эта последняя деталь очень красноречива. Климент, несмотря на свою гуманитарную осведомленность (позднее о нем напишут: «книжник и философ так, якоже в Руской земли не башет»), считает, однако, что для беседы — письменной или устной — о языческих премудростях больше подходят княжеские палаты, нежели монашеская келья. В том же «Послании» есть довольно любопытная нотка: Климент как бы слегка оправдывается в том, что он, монах, обсуждал, пусть даже с князем, столь светские темы.

Пройдет несколько десятилетий, и конфликт повторится с земляком Климента — не менее известным монахом-книжником Авраамием Смоленским. Но повторится в гораздо более жестком варианте.



Когда умерли родители юноши Аврамий, он раздал свое имение нищим и сделался юродивым. Но, видимо, часть средств все же оставил при себе, потому что после пострижения завел в монастыре собственную библиотеку, где для него работали многие писцы (труд переписчиков оценивался, как известно, очень высоко). Впрочем, Аврамий и сам был на редкость работоспособным писцом, так что «светлость лица его блед имуща от великаго труда и воздержания и бдения, от мног глагол».

Популярность Аврамия среди жителей Смоленска, его из ряда вон выходящая увлеченность книжным предпринятием, видимо, у многих вызывали ревнивое чувство. Постепенно вокруг него создается настроение нетерпимости, разделяемое не только обскурантистски настроенными клерикалами.

Одно из основных обвинений было — в еретичестве: Аврамий-де «глубинныя книги почитает». Видимо, под «глубинными» (глубинными) книгами подразумевались греческие апокрифы или какие-то сочинения на космологические темы.

В конце концов Аврамий был оправдан, и событие, едва не стоившее ему жизни, послужило к вящей славе смоленского отшельника, прижизненной и посмертной.

Но факт есть факт: гуманитарная осведомленность, которая, безусловно, причастует князю, дружиннику, придворному летописцу, как только она распространяется на лицо духовного звания, тут же становится чем-то двусмысленным, сомнительным, вызывающим раздражение.

Эта ситуация, впрочем, не собственно русского происхождения. Она перешла к нам по наследству от той же наставницы — Византии, где полюса обозначались еще резче. В Царьграде находился университет, гуманитарные школы, которым даже патриархи покровительствовали. В Царьграде школяры отсиживали урок за чтением и разбором «Илиады», а после переменки изучали Библию, и никто из преподавателей не видел в таком соседстве ничего предосудительного. Но чем дальше за пределы столицы, к суровым отшельническим стенам, тем строже становился книжный отбор, тем жестче делалось отношение к «внешней» мудрости древних. Со всеми ее «глубинными книгами».

## СИВИЛЛЫ

«Сакалам» — что бы значило это необычное имя? Ни в ветхозаветной, ни в новозаветной литературе, ни в русской истории нет лица с таким именем — «Сакалам». Лица нет, но надпись тем не менее существует. Она недвусмысленно четкая. И ее нужно как-то объяснить.

Благовещенский собор Московского Кремля, под сводами которого реставрато-

ры обнаружили человеческое изображение с непонятной надписью, был домовым храмом великих князей московских. В нынешнем виде существует с конца XV века. Именно тогда, при Иване III, над старым белокаменным подклеем возвели более обширные, тоже белого камня, своды. Оставили здание каменники и штукатуры — на смену им сразу же пришли художники. А дальше — обычная судьба древних росписей. Их по мере потемнения и ветшания «подновляли», записывали новыми слоями изображений. Записывали по-разному: иногда бережно относясь к работе предшественников, так, чтобы свежие контуры ложились строго по прежним и сохранялись цвета одежд, но чаще... Чем ближе к нам по времени, тем больше появлялось вольностей: многие сюжеты сдвинулись на стенах со своих первоначальных мест. Фигуры стали короче, кургузей, лики — сентиментально-умильней, «фряжистей». В XIX веке темперная техника была уже в полном загоне, и после очередного подновления своды Благовещенья заслонились маслом, плотным и светонепроницаемым.

В конце века собор реставрировали снаружи и внутри. Особенно сложной и хлопотливой работа оказалась для тех, кто открывал древнюю роспись стен. Между масляным слоем и изначальными изображениями в разных местах оказалось от четырех до шести промежуточных записей. Расчистка двигалась малыми квадратами, пядь за пядью. Когда сняли масляную надпись «Сакалам» и все промежуточные слои, обнаружили буквы древнего уставного письма — «Сивилла».

Имя тоже весьма неожиданное. Оно не из Ветхого и не из Нового Завета и не из русской истории. Но в нем есть все-таки вполне реальный смысл. Для исследователей тут открылась прямо-таки бездна смысла, волнующего, удивляющего и... обставленного целым лесом новых вопросов.

Сивиллы-прорицательницы древнему миру стали известны очень давно — еще на заре греческой цивилизации. Считается, что первые бродячие вещуньи объявились во времена античной архаики среди греческих племен Малой Азии — задолго до Троянской войны. Одна из сивилл, по преданиям, как раз и предсказала кровавые рати у стен Трои. Существует мнение, что эта прорицательница — прообраз вещей Кассандры, дочери троянского царя Приама.

Интересно, что в самых первых письменных упоминаниях Сивилла — имя собственное. Так, об одной-единственной сивилле пишут Гераклит Эфесский, Платон, Аристофан и Аристотель. Скорее всего, это сивилла Эритрейская. Затем появляются документальные свидетельства о других пророчицах. Из них наиболее могуществен-





Микеланджело.  
Сивилла Дельфийская.  
Фрагмент росписи Сикстинской капеллы.

ной почиталась Кумская, или Кумейская, сивилла, прожившая якобы тысячу лет.

Есть у Вергилия, в его «Энеиде» странное повествование о том, как Эней вместе с товарищами отправляется к уединенному храму, возле которого в пустующем пещерном городе обитает Кумская сивилла. Эней просит у вещуньи дать разгадку своей судьбы. Лицо сивиллы вдруг обезображивает судорога, волны вдохновенного неистовства прокатываются по ее телу. Таков канун экстатического озарения, во время которого дева начинает выкрикивать слова прорицания. Путники в оцепенении слушают, как из недр скалы через сто пещерных отверстий вырываются стократно усиленные вопли — ответы сивиллы.

Вергилию, конечно, было известно предание, согласно которому именно у Кумской сивиллы римляне приобрели три книги пророчеств, написанных греческими гекзаметрами на пальмовых листьях. Книги хранились в Капитолийском храме, но погибли во время пожара. Утрату было решено восполнить разысканием новых сивилиных записей, для чего были снаряжены специальные экспедиции в места, где традиции прорицаний оставались наиболее живучи.

Ко временам императора Августа сивиллы почитались римлянами наравне с богами языческого пантеона, если не более их. Хранение и толкование пророчеств было поручено особой жреческой коллегии. К книгам обращались за советом лишь в случае крайней государственной необходимости, по указанию сената. Под влиянием пророчеств осуществлялось большинство религиозных нововведений в Риме: утверждение обрядов и культов, введение новых божеств, заимствуемых у греков.

Все эти достаточно детективные — по нынешним понятиям — обстоятельства способствовали созданию вокруг сивилл ореола таинственной недоговоренности.

Но где все же истоки легендарного творчества, возбужденного странным обаянием дев-пророчиц? В средневековых источниках упоминается уже от 10 до 12 сивилл, которые жили в разные времена и в различных землях.

Похоже, что архетипическое обоснование феномену сивилл нужно искать все же не на Востоке, где духовность всегда ассоциировалась преимущественно с мужским, мужественным началом, а в древнейших, дописьменных мифологемах греческого языка. Именно здесь складывались представления об особой, сакральной значимости женского начала, нашедшие затем подтверждение в культе богинь-женщин, богинь-дев, муз, весталок. В целом общежитие богов-олимпийцев и явно и тайно тяготеет к матриархату: дом и домашнее любовное согласие, домашний очаг и очаг космический, любомудрие и охота, сельскохозяйственные заботы и занятия искусствами — все это находится под исключительным или же преимущественным покровительством женских божеств. Эта картина распространяется и на исторический быт греков. Женщины — жрицы в храмах (кстати, одна из наиболее популярных сивилл носила имя Дельфики, а в Дельфийском храме, как известно, культовая жизнь целиком регулировалась женщинами — пифиями); женщина — самая надежная и бескорыстная наставница юношей, ищущих мудрости (вспомним хотя бы образ вдохновенной и всеведущей Диотимы — воспитательницы юного Сократа).

Видимо, этот же самый тип женщины-наставницы отзовется затем в чеканном лике римской матроны — целомудренной и строгой блюстительницы семейного и общегосударственного благоприличия.

Но — не забудем — в облике сивиллы, несмотря на общий прототип, мудрость смыкается с безумием, пророческой иступленностью. Сивилла то и дело выходит из рамок благоприличия. Она, как говорили люди Древней Руси о своих юродивых, «ругается миру». Она — грозная обличительница пороков, предвестница небесных кар.





Сивилла.  
Фрагмент росписи Благовещенского собора в  
Московском Кремле.

Неудержимое критическое начало, характерное для сивиллиных оракулов, послужило поводом к тому, что еще со II века до новой эры возникла обильная письменность «псевдосивилл». В связи с этим при Августе и Тиверии производились чистки сивиллиных книг и подложные стихи

истреблялись. И все же очень большому их числу суждено было остаться, дожить до наших времен, в то время как истинные «libri sibyllini» были преданы огню в V веке.

Литература «псевдосивилл» тяготеет к двум традициям: более древней — иудей-



ской и позднейшей — христианской. Общие темы этих книг — критика идолопочитания и вообще язычества, апология единого бога, — творца, стоящего над миром вещей: «Бог отнюдь не может иметь своего начала от бедер мужа и жены».

Но есть и различия, причем достаточно характерные. Касаясь фрагментов иудейского происхождения, исследователь замечает: «Кажется, сивиллисты не оставили без угроз ни одного сколько-нибудь известного им народа». Здесь то и дело слышны проклятия Риму, Египту, ассирийцам, грекам, а ожидание Мессии «выражено в грубо-чувственной форме», как будто речь идет о политическом вожде, который утверждает земное всемогущество «избранного» народа.

В книгах христианского происхождения преобладает иной тон. Видимо, не зря к этим книгам с особым почтением относились ученые-богословы первых веков новой эры — Августин, Тертуллиан. Последний даже приравнивал их к священному писанию.

От средних веков сбереглись первые изображения сивилл. Микеланджело поместил ростовые фигуры дев-пророчиц на сводах Сикстинской капеллы. Фресковые изображения сивилл известны также по храмам Сербии, Молдавии, расписанным в XVI веке.

Но это все было преимущественно на Западе, либо в пограничных областях православного Востока, а каким образом фигура сивиллы вдруг оказалась в притворе одного из московских храмов, да еще и придворного? Не исторический ли это курьез наподобие того, что случился когда-то в Киеве с корсунскими трофеями? За первые шесть веков своего существования христианская Русь ничего не знает о сивиллах, если не брать в счет двух-трех эпизодических упоминаний в переводных книгах.

Присмотримся, однако, повнимательней к росписям Благовещенского собора: сивилла здесь вовсе не случайный персонаж и, более того, вовсе не единственный пришлец из античного мира. Сегодняшний посетитель кремлевского здания-памятника (так же как и москвич XVI столетия) может увидеть внутри храма не только сивиллу со свитком в руке, но и, например, изображение поэта, того самого, что воспел некогда Кумскую пророчицу, — Публия Вергилия Марона. Автор Энеиды написан на западной стене притвора, изображение ростовое, на голове — островерхая шляпа, напоминающая соломенный головной убор пилигрима. Поэт изображен хотя и без нимба вокруг головы, но в руке у него тоже свиток — атрибут ветхозаветных пророков и пророков, а на свитке — текст: «Не созданны естества божественна рождения не имеет конца», то есть естество божественное не создано и не имеет начала и конца.

По соседству с сивиллой, над северными вратами Благовещенского храма, — мужская фигура с подписью «Омирос» (греческая транскрипция имени Гомер). На стенах соборной паперти — изображения еще нескольких великих греков: философы Зенон, Диоген, Платон, историк и автор «Моралий» Плутарх...

На медной двери западных соборных врат различимы полустершиеся фигурки и надписи твореного золота. Здесь уже знакомые нам сивиллы. На соседних темномедных квадратах — Омирос, Платон, Диоген, Плутарх.

От Благовещенского собора нужно пройти наискось, через площадь, к белокаменному массиву Успенского собора. Если входить в него через южные врата, на черных дверных створах различим изображения того же типа, но несколько в ином подборе: Менандр, Анаксагор, Платон, Вергилий.

Южные врата Успенского собора (так же как и Благовещенского) выполнены в XVI веке.

Историк прошлого века Иван Снегирев, неутомимый разыскатель архивных и архитектурных древностей старой Москвы, сообщает, что языческие мудрецы были изображены на стенах церкви Флора и Лавра, что на Зацепе (XVII век). Он же сохранил для потомства описание соборной паперти Новоспасского монастыря: «На правой стороне: Орфей, Омир, Солон, Платон и Птоломей; а на левой: Аристотель, Анахарсис, Плутарх, Иродиан и Ермий».

Ныне эти фрески остались лишь во фрагментах, которые хранятся в Государственном Историческом музее. Один из них, с изображением Аристотеля, выставлен для обозрения.

А вот храма Флора и Лавра теперь нет, да и многое другое не восстановимо за давностью лет и обилием потерь. Большинство маршрутов, по которым языческие «гости» из двух главных храмов столицы разбрелись по семи холмам «Третьего Рима», видимо, навсегда стерлось. Но и сохранившегося достаточно, чтобы уяснить: перед нами не кратковременное увлечение нескольких живописцев, не поветрие художественной моды, а скорее традиция.

## МАКСИМ ГРЕК

Среди старых настенных сюжетов Новоспасского собора Иван Снегирев отметил и описал изображение еще одного эллина. Но о нем следует сказать особо. В Москву он попал иначе, чем его знаменитые единоплеменники, хотя тоже в XVI веке.

Он пришел сюда не как предание, не как загадочный образ иной цивилизации. Пришел живой к живым. И его многотрудная судьба многое нам прояснит во все еще

неотчетливой истории сивилл и языческих мудрецов из московских соборов.

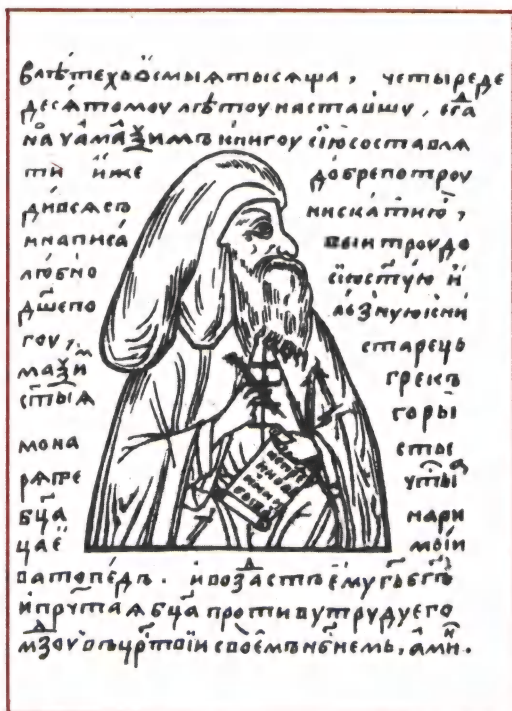
...Михаил Триволис видел своими глазами бурлящую Италию конца XV века. То был не просто конец века — катастрофический финал всего западного средневековья. Италия подводила под средневековым окончательную черту, а точнее — вычеркивала его напрочь из своей памяти.

То, что мы теперь кратко именуем Возрождением, перед юношей из греческого захолустья развернулось панорамой идеологического столкновения двух эпох. С обезлюдивших руин повергнутой мусульманами Византии стремительно перекочевывали в Италию бесценные книжные сокровища — списки платоновских диалогов, гомеровы поэмы, пьесы афинских трагиков, трактаты по истории и геометрии, по военному искусству и коневодству. Пленительная античность была у всех на устах. У нее заново учились жить, мыслить, наслаждаться солнечным светом, любить женщин.

Университеты спешно обзаводились классическими библиотеками. Переводчикам с греческого и забытой итальянцами латыни выплачивали громадные гонорары. Учреждались академии по образцу Платоновой. В честь величайшего философа Афин были установлены даже особые празднества. Признаком хорошего тона стало называть рай Олимпом, ад — Эребом, монахинь — весталками, кардиналов — римскими сенаторами. В великоветских кругах не скрывали своих языческих симпатий и откровенно подшучивали над догматами официального вероисповедания, которые в силу своей элементарности годны, пожалуй, лишь для старых женщин и неучей. Один из кардиналов, обращаясь в поэтических строках к юношам, рекомендовал им вместо весьма проблематичного общества небесных праведников вполне осязаемую компанию прелестных девиц. В живописи алтарей появились изображения, недвусмысленно напоминающие известных городских блудниц.

Михаил Триволис, юный гуманитарий из греческого захолустья, увлеченный всеобщим интересом к античной мудрости, ошарашенный пестротой нового быта, путешествует из города в город, из Падуи едет в Феррару, знаменитую своим университетом, оттуда попадает во Флоренцию.

Средневековье не сдавалось без борьбы. В одном из флорентийских храмов Триволис увидел однажды необыкновенного проповедника. Подобно ветхозаветному пророку, этот человек громовым голосом клеймил пороки сограждан, соблазненных языческой отравой. Его слушали со слезами раскаяния на глазах, невольно поддаваясь обаянию могучего темперамента. Проповедник посреди речи падал на колени, смежал в забытых веки, по впалым щекам его струились сле-



Максим Грек  
Миниатюра из рукописной книги.  
XVII век

зы. Уйдя в себя, он шептал молитвы, но через минуту снова возвышался над толпой, и негодующий голос его рокотал под сводами.

То был Иероним Савонарола — яростный обличитель разлагающегося Рима — нового Содома и Гоморры, враг «внешних» мудрецов и поэтов древности, пламенный защитник патриархальных норм жизни.

Сделавшись, по изгнании Медичей, теократическим диктатором, главою Флорентийской республики, Савонарола управлял ею в течение трех лет, пользуясь неограниченной властью. Были закрыты театры, но зато широко распахнуты для новых воинов Христовых врата монастырей. За годы проповедничества Иероним приобрел тысячи последователей и почитателей. Кто из них решился бы произнести хоть слово несогласия, когда по велению вдохновенного игумена на городской площади публично сжигали груды языческих рукописей?

А вскоре после этого вспыхнул еще один костер — на нем сожгли самого Иеронима — слишком уж ревностным защитником старого уклада он оказался.

Казнь фанатичного консерватора вызвала ликование в покоях Александра VI,



папы-развратника. Недаром он говорил о Савонароле: «Он должен умереть, хотя бы он был даже Иоанном Крестителем». (Не этот ли конфликт и не эти ли слова оживут потом в «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевского?)

Надолго потрясенный всем увиденным, Михаил Триволис покидает Италию, чтобы наедине осмыслить пестрые впечатления гуманитарного переворота. Он принимает постриг в Ватопедском монастыре на православном Афоне и меняет свое мирское имя на новое — Максим.

А в Москве, куда ученый инок прибыл через некоторое время, к его монашескому имени добавилось прозвище — Гречанин, Грек, с которым он и вошел навсегда в историю древнерусской культуры.

Не существует ли связи между прибытием на Русь ученого афонца-переводчика и античными сюжетами в росписи и убранстве московских храмов?

Нет, Максим Грек вовсе не сделался в кругу просвещенных москвитов пропагандистом идей Возрождения. Для этого он был слишком ошеломлен всем, что пришлось увидеть и узнать в Италии. Кроме того, строгая атмосфера афонской монашеской республики вовсе не потворствовала «паганистским» настроениям, если бы даже они у Максима еще отчасти оставались.

Старожилы Афона могли поведать ему о тех бурях мысленных, которые охватили православный Восток уже при первом явлении на свет божий «гуманистов» с хитрым Варлаамом во главе. И о том, как в длительной полемике одолел варлаамитов блаженной памяти Григорий Палама, истинно учивший, что бог познается не напряжением и разжением ума, не с помощью изощренных доказательств, но чрез чудесное снисхождение к человеку божественных энергий, непреступного света фаворского.

Прибыв в Москву, Максим мог убедиться в том, что Григорий Палама почитаем и тут; у него много последователей, причем не в одной лишь столице, а и в северных монастырях и скитах. С одним из наиболее значительных людей этого круга он вскоре познакомился. То был князь-инок Вассиан Патрикеев, влиятельное духовное лицо при Василии Ивановиче, ученик и друг покойного уже Нила Сорского.

Вассиана с Нилом Сорским связывала крепкая дружба еще с тех пор, когда князь оказался в опале и был сослан Иваном III в Кириллову обитель. Нил подвизался в окрестностях Кирилло-Белозерского монастыря, на малой лесной речке Соре. Ныне же Вассиан пригрет молодым правителем Московии, возвращен в столицу. Как раз по совету Патрикеева и составили запрос на Афон, откуда надеялись получить искусных переводчиков.

Московские люди на святогорца глазели да ахали: ну и бородачи у монашества —

густоты, широты и черноты неописуемой! Что копна в глухую ночь... А Вассиан на гостя любовался. Переводит-то каково! Сперва с греческого на латынь, а помощники тут же с латыни на русский. А ума-то, а памяти, а сведомости всякой — неудобноохватно! Говорили они не об одних афонцах, говорили о фрягах нынешних, о мудрецах минувших — Аристотеле и прочих. Вассиан тоже знал, тоже интересовался.

Да что фряги! Их и в Москве теперь немало — зодчие, художники. У них и свой Аристотель имеется, Фирвантий, — тот, что Успенский собор в Кремле ставил. А при дворе содержат иноземных лекарей, ремесленников, аптекарь Николай Немчин астрологией многих смущает, по звездам судьбу высчитывает.

Максим вскоре и сам убедился, что Москва — не та гиперборейская глушь, какую он опасался ее увидеть. Быстро овладев русской речью, устной и письменной, он получил возможность для свободного общения с десятками новых людей. Тут были не одни монахи, не одни мастера книжного дела. Приятелями афонца стали боярин Берсень Беклемишев, известный дипломат Федор Карпов, агиограф Василий Тучков, князья Иван Токмак и Андрей Холмский.

Особо острым умом и широкой образованностью выделялся из всех Федор Карпов. Но он-то, похоже, Максиму и хлопот доставил своей любознательностью более, чем кто иной. Началось с того, что Карпов обнаружил себя рьяным защитником пресловутого лекаря Николая Немчина, злостного звездотолкователя. Тогда Максим затеял с Федором об астрологии целую переписку. Карпов защищался, Грек нападал во всеоружии своей опытности: напоминал учение о свободе воли, ссылался не только на отцов церкви, но и на мнения древних философов, которые еще до Христа хулили звездодадание и всякое иное суемыслие. Всего же к Федору Карпову написал Максим 14 полемических писем.

В каких бы обстоятельствах ни оказывался Максим, всюду ярко заявлял он о себе как полемист и наставник. А полемизировать тогда в Москве ему было с кем и о чем. Каких только тем не обсуждали кремлевские, китайгородские и белгородские книжники!

Велик был интерес к идеологическим событиям западного и восточного мира. Горячо спорили о лютеранах, о католиках, об иудаизме, о магометанской вере и армянской ереси. Поговаривали об экзотических религиях персов и индусов.

Для домашних библиотек переписывали не только труды византийских мыслителей — «Диалектику» Дамаскина или «Небесную иерархию» Дионисия Ареопажита, но и подборки афоризмов «Менандра

мудрого», «Мелиссы», — сборники, в которых обильно представлены изречения древних философов.

Русские библиотеки, жестоко пострадавшие за времена татаро-монгольского ига, теперь, в XV—XVI столетиях, вновь наполняются книгами. Возникают многочисленные мастерские, в которых трудятся целые дружины переписчиков разных профилей: шрифтовики, миниатюристы, мастера по вязям, заставкам и заглавным буквицам. Резко возрастает книжный приток из соседних славянских земель — Сербии, Болгарии. Вновь вспыхивает интерес к сюжетам из античной истории.

Если в домонгольские времена русского читателя вполне удовлетворяла краткая «Александрия», то теперь он получает возможность ознакомиться с более пространным вариантом жизнеописания великого полководца древности. Это так называемая сербская «Александрия».

Книжникам Киевской Руси в свое время вполне хватало кратких сведений о Троянской войне, почерпнутых у Амартола или Малалы. Теперь же на книжный рынок поступает солидный переводной роман о Трое, принадлежащий итальянцу Гвидо де Колумна.

В середине XVI века этот роман включен в первый том Летописного свода, причем расположен он здесь сразу за библейскими книгами. Создание Летописного свода было для своего времени грандиозным книжным предприятием. В нем принимала участие и многочисленная артель художников-миниатюристов (в сохранившихся томах насчитывается около 16 тысяч иллюстраций!). Впечатляют своей непосредственностью и в то же время изысканностью миниатюры, посвященные событиям Троянской войны. На одной из них — вид Трои. Город напоминает соты улья, в каждой ячейке которых размещены изображения именитых троянцев. За лентой реки, в верхнем левом углу миниатюры, — сценки из быта городских ремесленников: один красит лодку, другой рубит дерево; тут же — кузнец, мастера колокольного литья, портной, каменщик, учитель с учениками, живописец, мужчины, месящие ногами глиняный замес.

То были времена еще, пожалуй, необычного на Руси книгопочитания. «Глухая деревня» (вспомним метафору Голубинского) жила в шелесте и шорохе книжных страниц.

Даже если предположить, что мы никогда уже не узнаем ничего нового о судьбе легендарной «царской библиотеки», обо всех этих фантастических фолиантах трудов Цицерона, Тацита, Светония и других историков, якобы завезенных в Москву Софией Палеолог, будущей супругой Ивана III; даже если предположить, что была лишь легенда о библиотеке, а не сама

она, — уже бытование такой легенды факт достаточно красноречивый. Из века в век предки наши чаяли книжного научения, и в чаяниях этих вставало перед ними заветное книгохранилище — подобие сказочного дворца или райской обители. И книга сама виделась им сокровищем — не только в образном, но и в буквальном смысле слова, — обшитая дорогой тисненой кожей или сияющая серебряной броней оклада, украшенная финифтяными медальонами, усыпанная драгоценным камнем. И книжное слово, к месту вправленное в устную речь, звучало в ней и сияло, как самоцвет. И дружеское послание приобретало в весе, если автор искусно инкрустировал его каким-нибудь «граном Омировым» — строкой из «Илиады» или «Одиссеи», либо оснащал иной античной реминисценцией.

Иван Грозный, тот даже в брачном влоплощадных по тону письмах к Курбскому, не упускал случая щегольнуть начитанностью: так, беглого князя сравнивает он с «предателем троянским» Энеем.

Естественно, уровень начитанности у разных авторов весьма колебался. Так, в примере с Иваном IV речь скорее может идти о случайно услышанных, на ходу вычитанных сведениях, чем о широкой «античной эрудиции».

Более того, раз от разу звучат в русской письменности XVI века укоризны в адрес тех, кто слишком злоупотребляет своей эрудицией, слишком пристрастился к языческой старине.

Конечно, и Максим Грек вовсе не однозначен в оценке античных писателей. В отношении к ним нужен вкус, нужен выбор, нужна мера. Нельзя все отвергать у древних. Они ведь сочиняли не только басни о беспутных богах и богинях; им принадлежит множество речений, поистине внушенных тем самым духом правды, в котором и пророки глаголали.

И потому наш Максим — критик «внешнего мудрствования», обличитель «эллинской прелести» — в то же время и популяризатор сведений о писателях языческого мира, о древней истории вообще.

Плутарха он называет «премудрым» эпископского поэта Гесиода превозносит как «велеумного мудреца», Одиссея именует «многомудренным». Широкой известностью в Древней Руси пользуются переводные статьи Максима — «О Платоне философе», «Сказание Менандра философа». В «Послании об античных мифах» он пересказывает легенды о Зевсе и Дионисе, об Афине-Палладе и Орфее. Наконец, из-под пера его выходит «Сказание о сивиллах, колико их есть было», в котором названы по именам десять самых знаменитых прорицательниц.

Максимово «Сказание» не являлось, впрочем, единственным источником, из которого русские читатели XVI века получили



сведения о сивиллах. В списках ходило еще одно «Сказание о сивиллах», анонимное, восходящее к западноевропейским источникам. С Запада же (через Польшу) пришло к нам тогда и «Сказание об еллинских мудрецах».

Не были ли эти статьи откликом на появление в московских храмах необычных изображений? Не служили ли они своего рода письменным комментарием к художественной новации? Или они появились из соображений защиты и прозвучали словом одобрения, аргументом в пользу допустимости сюжетов такого рода?

У нас нет никаких документов, с помощью которых можно было бы на этот вопрос ответить положительно. Кроме одного, пожалуй. Это уже упоминавшееся свидетельство И. Снегирева о росписях соборной новоспасской паперти. По соседству с языческими мудрецами стоял там христианский писатель Максим, то есть тематическое новшество в росписи паперти как бы санкционировалось его авторитетным присутствием.

С тех пор сивиллы и мудрецы «разошлись» не только по обителям столицы, но и далеко за ее пределы. В XVII и XVIII веках изображения сивилл стали известны в храмовом искусстве воронежской, калужской, вологодской и других русских земель.

Ширилась и слава Максима Грека. Хотя никогда он не был официально канонизирован русской церковью, уже в XVII веке появились иконы с портретом знаменитого старца, много поработавшего для просвещения на Руси, для славы этой земли, ставшей второй его родиной.

## ПО ПРАВУ НАСЛЕДНИЦЫ

Вспомним: в Благовещенском соборе сивиллы и мудрецы помещены в притворе и на вратах, в Успенском — на вратах, в церкви Флора и Лавра и в Новоспасском монастыре — тоже в храмовых преддвериях. Везде они у входа, почти снаружи, почти вовне. Это в полном смысле слова «внешние мудрецы», как называл их Максим Грек, как их вообще постоянно именуют наши старые книжники. По мнению древнерусского человека, они стоят лишь в преддверии истины, указывая на ее сокровенное обиталище, как бы приглашая и призывая к ее постижению. Но сами по себе они еще не истина, они не озарены еще полным ее светом.

«Таким изображением, — читаем у того же Снегирева, — отцы наши хотели выразить, что никогда языческая мудрость не восходила выше низших ступеней христианского храма».

Впрочем, так ли уж и не восходила? Есть ведь свидетельство еще одного исследователя старины. Современник Снегирева,

знаток новгородских древностей Макарий Миролюбов приводит факты прямо-таки неожиданные: в некоторых новгородских храмах в XVI и XVII веках языческих мудрецов и сивилл помещали не только в росписях притворов, но и в иконостасе. То есть не в преддверии, на вратах к истине, а там, где, по понятиям древнерусского человека, она имеет дом свой, воплощаясь в художественном и смысловом целом иконостаса.

Для новых персонажей, включаемых в это композиционное целое, отводился особый ярус, нижний, идущий под рядом «местных» икон. Сверх сведений, сообщаемых Миролюбовым, известно, что такие «нижние» ярусы существовали не только в новгородских храмах, но и, например, в псковском Троицком соборе, в некоторых южнорусских храмах — в частности, в Чернигове. Несколько лет назад сенсационную находку привезли из научной экспедиции сотрудники Музея древнерусской живописи имени Андрея Рублева. В селе Карельское Сельцо на Мсте ими была обнаружена доска с портретом мужчины, выполненным в иконной технике, характерной для XVII века. Бородатый человек в светлом античном хитоне был изображен без нимба, но с развернутым свитком в руке. Четко сохранилась русская надпись: «Вергилиуш». Да, это был Вергилий, уникальный в своем роде «образ» древнего поэта, исполненный новгородским живописцем для маленькой сельской церкви.

Мы догадываемся, что старыми иконописцами не своеволие руководило, когда они изображали на досках язычников со свитками в руках, что включение сивилл и философов в систему иконостаса не было выходкой всезнаек, решивших подшутить над старой традицией.

Но каков все-таки идеологический смысл подобного нововведения? Самое, пожалуй, доступное объяснение сводимо к следующему: композиции с сивиллами и философами «включаются» в храмовое искусство Московской Руси, начиная с XVI века как одна из художественных составных государственной концепции «Москва — Третий Рим». По праву наследницы Москва принимала под свое духовное покровительство не только несметное наследие Византии, но и непреходящие культурные ценности греко-римского мира.

А если эту государственно-идеологическую тенденцию перевести в личный, индивидуальный план, то, может быть, дело так обстояло: разве старые философы — размышлял человек Древней Руси — не поработали для истины? Разве и они не претерпевали за истину от неблагодарных современников? Разве Диоген не ходил в рубище и не клеймил сограждан на городских стогнах? Разве по своей воле Сократ принял смертную чашу? Разве Платон не

мечтал о государстве, которым управляют мудрые аскеты?...

Артели русских изографов, работая над тем или иным сюжетом, издавна пользовались «подлинниками». Что такое «подлинник»? Своего рода справочное пособие для художников. Он содержал в себе иконописные прориси, контуры с которых переносились на доску или стену, и еще письменные пояснения к прорисам, где давались подробные портретные характеристики изображаемых лиц.

В старых этих «подлинниках» мудрецам и прорицательницам отводился целый раздел. Вот, например, как рекомендовалось рисовать Платона: «Рус, кудряв, в венце; риза голуба, испод — киноварь, рукою указывает на свиток: «...и аз верую, и по четырех стах лет по божественном его рождении мою кость осяет солнце».

Конечно, исторический Платон, философствовавший в Греции IV века до новой эры, весьма, должно быть, удивился бы, если бы ему вдруг каким-то сверхреальным образом показали свиток с подобным прорицанием и сказали, что оно принадлежит именно ему, Платону.

Но мы можем понять и старинного изографа, старательно рисующего русоволосого и кудрявого философа в голубой ризе, потому что не менее Платона он удивился бы и даже обиделся, если бы ему вдруг сказали, что он занимается исторической подделкой. Нет, вовсе не в том состоял смысл его работы, чтобы мистифицировать современников, ввести их в заблуждение. Ему крайне важно было, наоборот, сделать хотя бы еще один шагок к истине. Ведь истина, если к ней протиснуться через чащу страхов и предсудудков, вдруг оказывается такой неожиданно ясной и вседоступной. И она иногда открывалась ему под молчаливыми сводами мастерской, где трудился рядом его товарищи: перед истинною все равны — и те, что живут сегодня, и те, что жили тысячу и две тысячи лет назад. Нет для нее больших и меньших, достойных и недостойных, избранных и отринутых, всех зовет она в дом свой, к столу своему, для всех хватит у нее духовного хлеба. Есть соблазн решить окончательно, что ты ближе к ней, чем те, что жили в тысячелетнем отдалении, и, значит, она вознаградит тебя за эту близость щедрее. Но чем упорнее будешь оставаться в таком высокомерии, тем дальше удалишься от истины. Она ведь, как солнце, равно светит всем и никого не оставит без своей милости.

Вот как, похоже, рассуждал новгородский мастер, вычерчивая на левкасной загрунтовке контуры русокудрого Платона. Вот как, верится, мог думать и его вели-

кий предшественник, когда нежной кистью прикасался в последний раз к немислимым красотам своей «Троицы». Сидят три молчаливых и прекрасных путника за столом и весь мир созывают к своей духовной трапезе...

Ведь как часто мы слышим о нем, об Андрее Рублеве, о его работах: законченность античных пропорций, пластическое совершенство и гармоничность форм, свойственные античным мастерам... И это не просто красивые эпитеты, не просто искусствоведческие общие слова. Оно и в самом деле так. Рублев никогда, должно быть, не писал сивилл или Омира с Платоном, но вот ведь в работах его за васильковым краем русского среднелеся волнующе дышат и какие-то иные художественные дали, подернутые целомудренной дымкой. Спокойная и сдержанная сила, ровное, глубокое дыхание, «неслыханная простота» выражения, а тут же, рядом, великолепная игра ритма в складках и изгибах плащей, риз, скульптурная лепка кудрей и шеи, медленный, созерцательный ток линий — и всюду столь отточенное мастерство, что в нем, кажется, никто из великих и придирчивых мастеров классической Греции не нашел бы изъяна.

Можно по-разному относиться к наследию чужих культур. Можно с увлечением и энтузиазмом набрасываться на них, как веселый гурман набрасывается на иноземные яства, мгновенно забыв о хлебе, которым вскормлен сызмала. И так переходить от стола к столу до бесконечности, громогласно восхващаясь.

Существует, в вековом опыте отразился и иной путь: неторопливо, бессуетно вглядеться в то, что было и есть у других народов, найти черты роднящие, образцы поучающие, привить их своей мысли, своему мастерству и чувству. И сделать все это тихо, незаметно как-то, не бахвалясь, не кичась приобретенным.

Этот путь требует от вступающего на него скромности и чувства собственного достоинства. Того же самого требует он и от нас. И тогда, вглядываясь в него, мы вряд ли столкнемся с ошеломительными неожиданностями, но сможем прочесть страницы молчаливо-загадочные. Есть ведь и у нас загадки и сокровения, есть до сих пор. Одни приоткрылись немного, иные не спешат пока. Это и Василий Блаженный — диковинное, не по-русски пестрое соцветие шатров и куполов, целый град в городе. Это и легендарная «царская библиотека» Ивана Грозного — град Китеж отечественной книжности. Это бесконечные горизонты живописи Рублева. И многое, многое иное...





«Жизнь Карла Великого» Эйнгарда принадлежит к числу тех немногих произведений мировой литературы, которым суждено было стать классическими еще при жизни их создателей. Едва появившись, «Жизнь Карла Великого» сделалась образцом для подражания. Позднее книга Эйнгарда превратилась в канон, которому с разной степенью успеха следовали многие писатели средневековья. А в новое время эта столь небольшая по объему работа вызвала к жизни обширнейшую источниковедческую и историографическую литературу, отнюдь не иссякшую и в наши дни.

Чем объясняется это?

«Ни один из героев средних веков не превзошел Карла Великого, ни один из историков не достиг славы Эйнгарда...» В этих словах издателя «Monumenta Germaniae Historica» Г. Пертца не просто констатация факта, но и косвенный ответ на вопрос о причине необыкновенной судьбы «Жизни Карла Великого».

Действительно, уже сам объект повествования вызывал интерес всякого, кому попадалось на глаза творение Эйнгарда.

Франкский король, а затем и император, Карл Великий (768—814) был одним из выдающихся государственных деятелей. Прежде всего он прославился как полководец. Его огромная империя, на развалинах которой позднее возникнут Франция, Германия и Италия, сложилась в результате бесконечных войн, ежегодных походов и вторжений, которые франкский король проводил с поражающими неутомимостью и упорством. В целом под властью Карла сосредоточились колоссальные владения, немногим лишь уступавшие по размерам бывшей Западной Римской империи. Именно это и заставило полководца принять императорский титул (800), что должно было повысить его международный престиж и укрепить авторитет среди покоренных народов.

Но Карл Великий прославился не только как завоеватель. С его именем, в частности, тесно связано такое явление, как «Каролингский Ренессанс». Испытывая постоянную нужду в грамотных чиновниках, Карл содействовал насаждению школ, покровительствовал ученым и литераторам, привлекал ко двору выдающихся грамматиков и поэтов, которые должны были стать украшением его «Новых Афин». Первым помощником императора на этой стезе был англо-сакс Алкуин, знаток древних авторов и философ, выдающийся педагог и фактический основатель «Придворной ака-

# Эйнгард

## ЖИЗНЬ

## КАРЛА ВЕЛИКОГО

демии», в которой наряду с членами семьи Карла можно было встретить известных людей эпохи.

Педагогический метод Алкуина был построен на той основе, которую затем развили средневековые схоласты. Вот типичный образец составленных им «Диалогов между учителем и учеником»:

«...Что такое письмо? — Хранитель истории. — Что такое слово? — Предатель мысли. — Кто рождает слово? — Язык. — Что такое язык? — Бич воздуха. — Что такое воздух? — Хранитель жизни. — Что такое жизнь? — Радость счастливых, печаль несчастных, ожидание смерти — для всех. — Что такое человек? — Раб смерти, гость места, проходящий путник...»

Развлекаясь подобными диалогами, Карл никогда не забывал о главном: его «Новые Афины» должны были стать в первую очередь «Христовыми Афинами», мудрости которых надлежало служить на благо религии и церкви — постоянной опоры императорской власти.

«Придворная академия» открылась в 782 году. Именно в ее стенах франкский властитель и сблизился со своим будущим биографом.

Нам мало что известно о месте и времени рождения Эйнгарда, о его детских и отроческих годах, о среде, из которой он вышел. Сохранились лишь сведения, утверждавшие, что происходил он из Франконии, что «...более отличался удивительными способностями, нежели знатностью рода...», и что, наконец, учился в фульдской церковной школе, откуда «...аббат Баугольф отправил его ко двору Карла, который разыскивал талантливых людей во всех концах своего государства...»<sup>1</sup>.

Карл Великий.  
Бронзовая статуэтка Каролингской эпохи.

<sup>1</sup> Все эти данные были сообщены Валафридом, аббатом Рейхенау, написавшим предисловие к «Жизни Карла Великого» вскоре после смерти Эйнгарда.



Эйнгард прибыл ко двору, по-видимому, в начале 90-х годов VIII века, 20 лет от роду. Он, несомненно, пользовался и благорасположением и доверием как короля, так и его ближайшего окружения. Об этом говорит сам Эйнгард на страницах своего труда, это же повторяют и его современники. «...Человечек, малый ростом, но великий умом», «трудолюбивый муравей», «Нардулюс» (от уменьшительно-ласкательного Einhardulus), «Веселеил» (намек на его художественное чутье) — таковы прозвища и эпитеты, которыми награждали своего коллегу по «академии» придворные поэты, грамотеи и государственные деятели.

Политическая карьера Эйнгарда относится к более позднему времени, к периоду правления сына императора Карла, Людовика Благочестивого (814—840). Эйнгард становится личным секретарем императора, а с 817 года — воспитателем и наставником его старшего сына Лотаря. Затем пошли смутные годы, годы постепенного упразднения порядков, установленных при Карле Великом, столь дорогих сердцу Эйнгарда. В междоусобицах 20-х годов он попытался было стать посредником между императором и его детьми. Роль эта оказалась ученому явно не по плечу, и с 830 года, окончательно расставшись со двором, он удалился на покой в Зелигенштадт, один из многочисленных монастырей, подаренных ему Людовиком Благочестивым. Здесь, располагая более чем достаточным досугом, Эйнгард всецело отдался литературной деятельности.

Умер он в 844 году, на три года пережив императора Людовика и всего лишь на год — знаменитый Верденский договор, положивший начало новым государствам Западной Европы.

Литературное наследие Эйнгарда невелико: кроме «Жизни Карла Великого», до нас дошло имеющее узкоспециальный интерес «Перенесение мощей Марцеллина и Петра», а также его 63 письма. Укоренившаяся некогда в историографии версия о том, что Эйнгард являлся автором части официальной летописи — «Анналов франкского королевства», — в настоящее время полностью отброшена.

По своим литературным достоинствам «Жизнь Карла Великого» занимает особое положение как среди сочинений Эйнгарда, так и среди прочих источников каролингского периода. Прежде всего — явление в то время исключительное — она носит чисто светский характер. Она очень компактна, прекрасно продумана с точки зрения общего плана и соотношения частей. Она написана превосходным языком; и если Цезаря и Ливия считают творцами «золотого века» латыни в эпоху античности, то Эйнгарду по праву нужно отвести такое же место в средние века.

Исследователи уже давно заметили, что Эйнгард хорошо знал античных писателей. Произведения некоторых из них, в особенности Светония, оказали сильное влияние на автора «Жизни Карла Великого». В историографии утвердилось мнение, будто Эйнгард писал «по схеме» Светония, рабски следуя плану «Жизнеописания Августа». С этим, однако, согласиться нельзя. У Эйнгарда была своя «схема», которую определил как иной материал, так и другие задачи. У Светония же он заимствовал лишь некоторые литературные обороты и категории фактов, что, между прочим, освободило его труд и от налета церковности, столь характерного для других творений средневековых писателей.

Что касается авторских задач Эйнгарда, то все они подчинялись одной, самой главной: восхвалению избранного героя. «Жизнь Карла» — это панегирик. Эйнгард писал свой труд в 30-е годы IX века, с печалью взирая на то, как рушилась империя, свидетелем лучших дней которой он был некогда. Прославляя основателя этой империи, Карла Великого, его биограф стремился дать образец для подражания государям-современникам и урок в назидание потомству. Разумеется, это не могло не ослабить значения труда Эйнгарда как исторического источника. Ниже будут указаны главные неточности и искажения, явившиеся следствием авторской концепции биографа. Однако когда он от общих сентенций и поучений переходит к описанию того, что видел своими глазами, конкретный материал оказывается зачастую сильнее надуманных построений и преодолевает их; вот эти-то страницы «Жизни Карла» и будут самыми интересными для читателя и самыми интересными для историка.

Композиционно «Жизнь Карла» распадается на ряд вполне различных смысловых кусков. После обращения к читателю следует вводный раздел (главы 1—4) и две основные части произведения, одна из которых посвящена войнам Карла и его внешней политике (главы 5—16), в другой раскрывается его личная жизнь (главы 17—29). Затем автор рассказывает о последних днях императора, его кончине, погребении и обстоятельствах, сопутствовавших его смерти (главы 30—32). Труд заключается подробным изложением завещания Карла Великого.

Бесспорно, наиболее важной и интересной является вторая часть книги Эйнгарда, в особенности те ее главы, в которых речь идет о внешнем облике Карла, привычках, занятиях, отношении к окружающим (главы 18—25). Это рассказ очевидца, человека, прекрасно знающего предмет повествования, тонкого наблюдателя, умеющего подметить главное и характерное. Об этой части много говорить не при-



ходится: здесь читатель сам сделает свои выводы.

Гораздо сложнее обстоит дело с первой частью биографии. Здесь уже Эйнгард отнюдь не был очевидцем того, о чем говорил: весь материал черпался им из вторых рук, преимущественно из официальной летописи — «Анналов франкского королевства». Широко используя «Анналы», биограф Карла приспособлял заимствованный текст к своим целям, искажая его в угоду своей концепции, что приводило в лучшем случае к умолчанию, а в худшем — к своеобразному фактотворчеству.

Стремясь увеличить масштабность «деяний» Карла, Эйнгард любое столкновение франков с соседями обращает в войну. Он говорит, например, об «Аквитанской войне» (глава 5), «Баварской войне» (глава 11), «Богемской войне» (глава 13), «Линонской войне» (там же). Между тем во время двух первых из этих «войн» не было сражений, а две последние свелись к локальным и не вполне удачным для франков стычкам со славянскими племенами — чехами и глинянами.

Не отрицая захватнического характера походов и вторжений Карла Великого, Эйнгард, однако, вопреки логике и истине утверждает, что его король никогда не нападал первым: он лишь «карал за вероломство» своих незадачливых врагов (главы 8, 11, 13). При этом «кары» следовали молниеносно и тут же приводили к соответствующим результатам: достаточно одного-двух походов, проведенных лично Карлом или его военачальниками, чтобы разбить и полностью подчинить любого противника (главы 6, 8, 10, 12, 13)! Нечего и говорить, что в действительности все обстояло совершенно иначе. Многолетние войны требовали большого количества походов, за победами следовали поражения, и успехи сменялись неудачами.

Ошибок Карла его биограф вообще не признает. Герой Эйнгарда — удачливый во всех своих предприятиях, абсолютно непобедимый воинствитель. Повествуя о саксонской войне, автор считает возможным указать лишь на две битвы — два блестящих триумфа франкского оружия (глава 8) — и полностью обходит молчанием катастрофы, имевшие место в 775 или в 782 годах. Даже роковой для франков, оплаканный позднее в «Песне о Роланде» поход в Испанию 778 года под пером Эйнгарда (глава 9) превращается чуть ли не в увеселительную прогулку, в ходе которой Карл покоряет все города, лежащие на его пути, а затем «благополучно и без потерь» уходит восвояси.

Отрицает Эйнгард и жестокость Карла, подчеркивая всюду его «великодушные», «терпение», его снисходительность по отношению к врагам: поэтому читателя не

должно удивлять, что в «Жизни Карла Великого» оставлены без внимания такие события, как, например, «верденская резня» — казнь по приказанию франкского короля четырех с половиной тысяч саксонских заложников в 782 году — акт беспримерной жестокости, поразивший позднейших исследователей.

Раздувая военные успехи своего героя, Эйнгард преувеличивает и общий объем его завоеваний. Не случайно автор трижды сравнивает заслуги Карла и его отца Пипина Короткого в области расширения государства (главы 5, 6 и 15); на фоне преуменьшенного значения деятельности Пипина контрастно возрастает роль Карла в создании могущественной франкской державы. Особенно дико звучит утверждение Эйнгарда, будто император подчинил «все варварские народы» вплоть до Вислы (глава 15). Утверждение это не подтверждается ни в одном источнике.

Столь же тенденциозно трактует Эйнгард отношения Карла с мусульманским Востоком. Его заявление, будто Харун-ар-Рашид «предпочитал любовь Карла приязни всех королей и князей земли», в силу чего не только подарил ему своего единственного слона, но и уступил под власть франков «святую землю» (глава 16), буквально повисает в воздухе.

Мы не будем останавливаться здесь на менее серьезных погрешностях Эйнгарда: они мало что могут прибавить к сказанному. Важно лишь указать, что в целом Эйнгард нарисовал весьма внушительную картину внешнеполитической деятельности своего героя, правда, картину несколько преувеличенную и, несомненно, послужившую основой для будущей каролингской легенды<sup>2</sup>.

«Жизнь Карла Великого» выдержала огромное количество изданий и была переведена на главные европейские языки. После первого критического издания в «Monumenta Germaniae Historica» (1863) ее выпускали часто *in usum scholarum* — отдельными книжками удобного формата<sup>3</sup>. Последнее по времени издание «Жизни Карла» было сделано в Германской Демократической Республике в серии «Источники каролингского государства» с параллельным немецким переводом.

«Жизнь Карла Великого» переведена почти без сокращений<sup>4</sup> — опущены лишь

<sup>2</sup> Ярким образцом ее является упомянутая выше «Песнь о Роланде».

<sup>3</sup> Одно из таких изданий под редакцией G. Waitz'a (1880 г.) послужило основой для настоящего перевода.

<sup>4</sup> Впервые источник был переведен М. Стасюлевичем («История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых», т. I, 1902 г., т. 2, 1906 г.). Перевод полон грубейших ошибок и сделан к тому же не с латинского оригинала, а с французского перевода Теле (1840 г.).





Рука Карла Великого  
(ковчежец, XV век).

некоторые повторяющиеся фразы, а также два-три абзаца, не представляющие интереса для современного читателя<sup>5</sup>. Работая над переводом, мы стремились прежде всего сохранить стиль Эйнгарда. В тех случаях, когда биограф затемнял смысл описываемого или повторялся, переводчик пытался заменить синтаксические конструкции Эйнгарда более ясными оборотами. Для географических названий в основном сохранена их латинская форма<sup>6</sup>, в этих случаях современная транскрипция дана в примечаниях. Желая облегчить чтение, переводчик сопровождал главные события датами, которые всюду заключены в квадратные скобки.

**Вступительная статья, примечания и перевод с латинского А. П. Левандовского.**

Приступая к описанию жизни, характера и подвигов государя и покровителя моего, превосходнейшего и заслуженно прославленного короля Карла, я стремился быть разумно кратким: не опуская ничего из дошедших до меня сведений, вместе с тем не хотел обременять излишними подробностями тех, кто не любит читать современные сочинения. И хотя не сомневаюсь, что кроме меня найдутся люди досужие и образованные, которые не считают современность до того ничтожной, чтобы совсем умолчать о ней, уверен, никто из них не мог бы описать с такою достоверностью все то, что мною познано и увидено собственными глазами; впрочем, я предпочел бы писать вместе с другими об одном и том же, лишь бы не погибли во мраке забвения славная жизнь и неповторимые деяния величайшего из государей своего времени.

Но была и другая не менее важная причина, которая и одна могла бы принудить меня взяться за труд: это заботы Карла обо мне и его постоянное дружеское расположение, которое я чувствовал, находясь при дворе. Он так привязал меня к себе и сделал таким должником при жизни и посмертно, что я справедливо был бы обвинен в неблагодарности, если бы обошел молчанием блестящие и знаменитые подвиги моего благодетеля, будто жизнь его не заслуживает ни литературного воспоминания, ни похвального слова.

Итак, преподношу тебе, читатель, свой труд, написанный ради сохранения памяти о славном и великом муже. Ты будешь удивляться подвигам Карла, да еще, быть может, тому, что я, варвар, весьма мало знакомый с латинским языком, подумал, будто могу порядочно и толково на нем написать, и дошел до такого бесстыдства, что, по видимому, пренебрег словами Цицерона, сказавшего в «Книге тускуланских бесед»: «Взять на себя облечение в литературную форму своих размышлений и не уметь ни расположить их, ни отделать, ни заинтересовать ими читателя может лишь человек невоздержанный на досуг и писательство». Такое изречение великого оратора могло бы остановить меня, если бы я не решил с твердостью скорее подвергнуться осуждению и пожертвовать своею литературною репутацией, нежели, щадя самого себя, не сохранить памяти о столь великом муже.

1. Считают, что род Меровингов<sup>1</sup>, из которого франки избирали своих королей, пресекся на Хильдерике, низложенном и заточенном в монастырь по приказу римского первосвященника Стефана [751].

В действительности же род этот давно был бесилен.

Богатства и власть находились в руках придворных сановников, называемых майордомами. А королю оставалось довольство-

<sup>5</sup> Все они оговорены в примечаниях.

<sup>6</sup> Исключения сделаны для Рима и Ахена.

ваться своим титулом и являть видимость власти, когда, восседая на троне, длинно-волосый и длинноротый, выслушивал он иноземных послов и давал им, как бы от себя, ответы, в действительности предписанные, продиктованные и заученные.

Кроме пустого титула и скудного содержания, которое определял ему майордом, имел он всего лишь одно, да и то крошечное, поместье, служившее ему жилищем и поставившее немногочисленную прислугу. Куда бы король ни отправлялся, он ехал в повозке, запряженной, по деревенскому обычаю, парой волов, которыми правил пастух. Так ездил он во дворец, на народные собрания, проводимые ежегодно для пользы государства, и так же возвращался домой.

Об управлении же королевством и обо всех внутренних и внешних делах заботился майордом<sup>2</sup>.

2. Ко времени, когда был низложен Хильдерик, должность майордома занимал Пипин<sup>3</sup>, отец короля Карла, причем занимал как бы по праву наследства.

Ибо и отец его, Карл<sup>4</sup>, который подавал магнатов, присвоивших было власть над всей Францией, а также, в двух больших сражениях — в Аквитании, у города Пиктавия<sup>5</sup> и близ Карбонны, на реке Бирре, — настолько разбил сарацинов, пытавшихся овладеть Галлией, что заставил бежать их обратно в Испанию, имел ту же должность, перешедшую к нему от отца его, Пипина.

В звании же майордома народ утверждал лишь тех, кто выделялся и знатностью рода, и богатством.

После того как Пипин, отец короля Карла, унаследовал эту должность от отца и деда [741], в течение нескольких лет исполнял обязанности совместно и в полном согласии с братом своим Карломаном, последний по неизвестной причине, но вероятнее всего из любви к созерцательной жизни, покинув мирские дела, уехал в Рим [747]. Там, приняв монашеский сан, построил он на горе Соракте у церкви блаженного Сильвестра монастырь, в котором несколько лет пользовался желанным покоем.

Но затем ему пришлось сменить убежище, ибо уединение его стало непрерывно нарушаться знатными паломниками из Франции, которые, прибывая во множестве в Рим ради исполнения своих обетов, считали долгом посетить своего прежнего повелителя. Видя, что эти частые визиты мешают его цели, Карломан, покинув гору, удалился в провинцию Самний, в монастырь святого Бенедикта, расположенный близ селения Кассино, и там провел остаток дней своих, ведя благочестивый образ жизни.

3. Что же касается Пипина, то он, решением римского первосвященника возведенный из майордомов в короли, единолич-

но правил франками около пятнадцати лет и закончил войну, которую девять лет [760—768] вел против герцога Вайфария аквитанского.

Пипин умер в Паризии<sup>6</sup> от водянки [768], оставив двух сыновей — Карла и Карломана, милостью божьей унаследовавших королевство.

Франки, торжественно собрав общий сход, утвердили королями обоих братьев, причем поставили условием, чтобы Карл удержал за собою ту часть государства, которую некогда имел отец его Пипин, а Карломану осталась та часть, которой прежде управлял его дядя Карломан<sup>7</sup>. Условие было принято, и каждый из королей получил свою долю.

Согласие между ними сохранялось с величайшим трудом, ибо многие из окружения Карломана старались рассорить братьев и даже довести дело до войны. Последующий ход событий устранил опасность и вскрыл истину: после смерти Карломана [771] вдова его с сыновьями и наиболее знатными из придворных пренебрегла без видимой причины радушием деверя и бежала в Италию искать покровительства у Дезидерия, короля лангобардов.

Карл же по смерти брата с всеобщего согласия был провозглашен единым королем франков<sup>8</sup>.

4. Не считая удобным из-за отсутствия достоверных сведений останавливаться на рождении, детстве и отрочестве Карла<sup>9</sup>, я прямо перейду к описанию его дальнейшей жизни, причем сначала расскажу о совершенных им подвигах, затем о его нраве, занятиях, об управлении государством и, наконец, о его смерти, не опускаю ничего, что заслуживает внимания и достойно быть упомянутым.

5. Из всех войн, которые вел Карл, первой была аквитанская [769], начатая, но не завершенная его отцом.

Карл развязал ее еще при жизни Карломана, рассчитывая с помощью брата быстро закончить. И хотя брат не оказал ему обещанной помощи, Карл, решительно продолжая задуманный поход, окончил его не раньше, чем своими упорством и твердостью добился всего, чего желал.

Он принудил Гунольда, который после смерти Вайфария захватил Аквитанию и попытался возобновить почти оконченную войну, бежать в Васконию<sup>10</sup>. Не оставляя его и там в покое, Карл перешел реку Гаронну и потребовал через послов у герцога Лупа васконского выдачи беглеца; в случае промедления Карл грозил войной. Однако Луп, следуя здравым советам, не только выдал Гунольда, но и сам вместе со своею страной признал власть Карла<sup>11</sup>.

6. По окончании этой войны и устройства дел в Аквитании, когда брат его уже умер, Карл, уступая настоятельным просьбам римского епископа Адриана, предпри-





Воины времен Карла Великого.  
Миниатюра IX века.

нял войну против лангобардов [773—774].

Подобную же войну вел ранее отец Карла по призыву папы Стефана, встретив при этом немалые затруднения, ибо некоторые представители франкской знати, с которыми он имел обыкновение совещаться, настолько воспротивились его воле, что открыто угрожали покинуть короля и возвратиться домой. Тем не менее тогда война против короля Айстульфа была все же начата и быстро завершена.

Но хотя могло показаться, что причины войны и у Пипина и у Карла были схожи, а пожалуй, даже и одинаковы, далеко не одинаковыми оказались трудности, которые пришлось встретить в походах, равно как и последствия обеих войн.

Пипин заставил короля Айстульфа пос-

ле нескольких дней осады Тицина<sup>12</sup> дать заложников и возвратить отнятые у римлян города и замки, скрепив это клятвой не покушаться на новые захваты.

Карл же, начав войну, не прежде ее окончил, чем добился капитуляции утомленного долгой осадой короля Дезидерия [774], прогнал не только из королевства, но и из Италии сына его Адальгиза<sup>13</sup>, на которого все возлагали надежды, возвратил все захваченное у римлян, расправился с Гродгаузом, герцогом фриульским, поднявшим мятеж [776], и над всей Италией, подчиненной его власти, поставил королем сына своего Пипина [781].

Я с охотой рассказал бы здесь, сколь труден был переход франков через Альпы при вступлении их в Италию, какое упорство приходилось проявлять для достижения неприступных горных вершин, утесов, высившихся до облаков, и обрывистых скал, если бы не поставил главной целью сего труда описание образа жизни Карла, а не войн, которые он вел<sup>14</sup>.

7. После окончания дел итальянских вновь возобновилась, как бы прерванная, саксонская война [772—804].

Она была самой продолжительной и жестокой и стоила франкскому народу наибольших потерь; ибо саксы, подобно почти всем народам, населяющим Германию, свирепые от природы, преданные культу демонов, нашей же религии противники, не считали бесчестным нарушить и осквернить как божеские, так и человеческие законы.

Были и иные причины, которые ежедневно подрывали мир: за исключением немногих районов, где наша граница с саксами четко определялась лесами или хребтами гор, она почти повсюду проходила по голой равнине и, будучи вследствие этого неопределенной, являлась местом постоянных убийств, грабежей и пожаров.

Всем этим франки были настолько раздражены, что, наконец, сочли нужным не просто платить саксам злом за зло, но начать против них войну. Итак, была начата война, которая велась на протяжении тридцати трех лет с обоюдным ожесточением, к большому, однако, урону для саксов, нежели для франков.

Она бы могла окончиться скорее, если бы не вероломство саксов.

Не сосчитать, сколько раз они, победенные, моля о пощаде, покорялись королю, обещали исполнить предписанное, без промедления давали заложников, принимали отправляемых к ним послов; сколько раз они были до такой степени укрощены и смягчены, что даже обещали больше не поклоняться демонам и принять христианскую веру. Но сколько часто на это они соглашались, столь же часто и нарушали свое слово; со времени объявления войны не проходило и года без того, чтобы саксы не обнаружили своего непостоянства.

Однако величие души короля и его непреклонность, равные и в несчастье и в удаче, не могли быть ни побеждены, ни ослаблены этим вероломством саксов. Не допуская, чтобы какая-либо из их проделок оставалась безнаказанной, Карл, предводительствуя лично или посылая войско под начальством своих графов, мстил за измену и налагал достойное наказание, пока, наконец, сокрушив и подчинив своей власти всех, кто сопротивлялся, не переселил десять тысяч человек, живших по обе стороны Альбины<sup>15</sup>, вместе с их женами и детьми в разные области Галлии и Германии [804].

После этого война, тянувшаяся столько лет, была, как известно, закончена, а саксы, отказавшись от культа злых духов и бросив обряды отцов, приняли христианскую веру с ее таинствами и, соединившись с франками, составили вместе с ними единый народ.

8. Хотя война эта тянулась весьма долгое время, сам Карл сразился с неприятелем не более, чем дважды, и первый раз возле горы, называемой Оснеги, в месте по имени Теотмелли, второй — у реки Газы, причем оба сражения произошли в одном месяце, в промежуток всего лишь в несколько дней [783].

Этими победами враги были настолько потрясены, что не рисковали более ни вызывать короля на бой, ни сопротивляться его нападению, если местоположение не было удобным для защиты<sup>16</sup>.

Тем не менее война эта унесла много знатных и должностных лиц с обеих сторон.

Причем, пока она продолжалась, франкам было объявлено столько войн в различных частях земли, и все они оказались так удачно оконченными благодаря Карлу, что не знаешь, чему более удивляться: терпению ли, с которым переносил он невзгоды, или его счастью. И правда, превосходя умом и характером всех современных ему властителей, он никогда не отступал перед трудностями, но умел выжидать, не падал духом в несчастье, а среди удач не возносился ложным самообольщением.

9. В то время, как почти непрерывно велась борьба с саксами, Карл, расположив в удобных местах по границе с ними гарнизоны, сам отправился с огромными военными силами в Испанию [778].

Перейдя горный хребет Пиренеев и приняв капитуляцию всех городов и крепостей, которые лежали на его пути, он возвратился благополучно и без потерь. Только в самих Пиренеях, на обратной дороге пришлось ему несколько испытать вероломство басков.

Когда войско двигалось растянутым строем, как к тому вынуждали горные теснины, баски, устроив засаду на вершинах скал, — место же это вследствие густоты покрывавших его лесов весьма благоприят-



ствовало их замыслу — напали сверху на отряд, прикрывавший обоз, отеснили его в долину и, завязав бой, перебили всех до единого, после чего, разграбив обоз, под покровом наступившей ночи быстро рассеялись в разные стороны. В этом деле баскам помогли и легкость их вооружения, и местность, в которой происходил бой.

В сражении наряду со многими другими погибли королевский стольник Эйнгард, пфальцграф Ансельм и Хруотланд<sup>17</sup>, префект бретонского рубежа.

10. Покорил Карл и бриттов<sup>18</sup>, живших на западе, в отдаленнейшей части Галлии на берегу океана и не желавших ему повиноваться; войско, отправленное королем, принудило бриттов дать заложников и выполнить все, что было приказано [786].



Сам же Карл после этого снова вторгся с войском в Италию и, держа путь через Рим, подошел к Капуе, городу Кампании, откуда, расположившись лагерем, стал угрожать войной беневентцам [787]. Но герцог народа этого, Арахиз, предотвратил войну: послав навстречу королю своих сыновей Румольда и Гримольда с большими дарами и прося взять их обоих заложниками, он обещал вместе со всем своим народом исполнить любые повеления, лишь бы Карл не потребовал его личной явки.

Король, думая больше о пользе народа, нежели об упрямстве одного лица, взял предложенных заложников и за большую сумму денег уступил просьбе Арахиза. Из сыновей он удержал, однако, лишь младшего, а старшего отправил к отцу вместе с уполномоченными для принятия присяги у беневентцев. Сам же повернул на Рим и, проведя там несколько дней у святых мест, вернулся в Галлию<sup>19</sup>.

11. Внезапно начавшаяся затем баварская война имела скорый конец [787—788].

Причиной войны было высокомерие и безрассудство герцога Тассилона. По подстрекательству жены своей, дочери короля Дезидерия, желавшей с помощью мужа отмстить за изгнание отца, Тассилон попытался, заключив союз с гуннами, восточными соседями баваров, не только оказать неповиновение, но спровоцировать короля на войну.

Возмущенный король, не желая переносить подобной дерзости, собрав отовсюду войско, направил его к Баварии, сам же с большой армией подошел к Леху, — реке, отделявшей баваров от аламаннов. Расположившись лагерем на ее берегу, Карл решил, прежде чем вторгаться в страну, узнать через своих послов о намерениях герцога. Но тот, не считая полезным ни для себя, ни для своего народа дальнейшее сопротивление, смиренно изъявил покорность и дал требуемых заложников, в числе их и сына своего, Теодона, клятвенно обещая, что никакие уговоры не заставят его, герцога, восстать против Карла.

Тассилон, однако, вскоре вновь призванный к королю, был им удержан; провинция же герцога была вручена для управления графам<sup>20</sup>.

12. Едва лишь покончили с этими беспокойствами, как началась война со славянами, которые по-нашему называются вильцы, а на своем языке — велатабы [789].

В походе наряду с прочими народами в качестве вспомогательных войск участвовали и саксы, хотя покорность их была притворной и малонадежной.

Причина войны заключалась в том, что вильцы беспрестанно тревожили набегами абодритов, давних союзников франков, и не могли быть удержаны одними приказами.

От западного океана к востоку протянулся некий залив, длина которого неизвестна, ширина же нигде не превышает ста тысяч шагов, хотя во многих местах является меньшей. По берегам его живет множество народов; даны и свеоны<sup>21</sup>, которых мы называем норманнами, заселяют северное побережье и все близлежащие острова. Восточный берег занят славянами, эстами и различными другими народами, среди которых главным является тот, с которым король теперь вступил в войну, — велатабы.

Одним лишь походом, в котором предводительствовал Карл, он их укротил и смирил настолько, что в дальнейшем они не считали возможным более уклоняться от повиновения<sup>22</sup>.

13. Самой значительной из всех проведенных Карлом войн, если не считать саксонской, была та, которая последовала за походом в страну вильцев, а именно война против аваров, или гуннов [791—799].

Она была особенно ожесточенной и потребовала очень больших издержек.

Сам король возглавил, правда, всего лишь одну экспедицию в Паннонию — так

Карл Великий.  
Миниатюра IX века.





называлась земля, которую населял тогда этот народ, руководство же остальными доверил сыну своему Пипину, правителям областей, а также графам и особым уполномоченным. И хотя война эта проводилась ими весьма деятельно, окончилась она только на восьмом году от начала.

Сколько здесь было дано сражений, сколько пролито крови, можно судить по тому, что в Паннонии не осталось в живых ни одного ее обитателя, а место, в котором находилась резиденция кагана, не сохранило и следов человеческой деятельности. Вся знать гуннов в этой войне была перебита, вся их слава — предана забвению. Все деньги их и накопленные за долгое время сокровища были захвачены.

Нельзя указать другой войны, объявленной франкам, во время которой они смогли бы столько приобрести и так обогатиться.

Ведь до сих пор франки считались почти бедными, а теперь они захватили в аварской столице столько золота и серебра и в битвах овладели такой драгоценной добычей, что поистине можно считать — франки законно исторгли у гуннов то, что прежде гунны незаконно исторгали у других народов.

В этой войне из знатных франков погибли всего двое: Эрик, герцог Фриульский, захваченный в засаде жителями Тарсатики<sup>23</sup>, приморского города Либурии, и префект Баварии Герольд, убитый неизвестно кем, с двоими сопровождавшими его в Паннонии, когда, готовясь к бою с гуннами, он строил войско и, объезжая ряды, подбадривал каждого поодиночке.

В остальном же война эта, хотя и тянувшаяся дольше обычного, не стоила франкам больших потерь и имела счастливый исход.

После нее закончилась и саксонская война, принесла результаты соответственные своей продолжительности.

Войны богемская и линонская, вспыхнувшие вслед за тем, не могли затянуться надолго: каждая из них была быстро завершена под руководством Карла Юного.

14. Последняя из войн была предпринята против норманнов, которых называют данами [808], сначала занимавшихся пиратством, а потом заведших большой флот и приступивших к опустошению берегов Галлии и Германии.

Король их, Годфрид, до того был раздут пустой славой, что подумывал о подчинении себе всей Германии, а Фризию и Саксонию называл не иначе, как своими провинциями. Уже покорил он и сделал своими данниками соседних абодритов. Уже похвалялся, что вскоре придет с большими силами в столицу франкского государства Ахен.

И словам Годфрида, хотя и пустейшим, почти уже верили и даже думали, что он

может предпринять что-либо в этом роде, когда вдруг намерения его предупредила внезапная смерть.

Так, убитый своим же телохранителем, нашел он конец и собственной жизни, и предпринятой войне.

15. Таковы были войны, которые с великими мудростью и удачей вел могущественнейший король в разных концах земли в течение сорока семи лет — именно столько лет он царствовал.

Этими войнами королевство франков, полученное от отца своего, Пипина, уже великим и сильным, Карл расширил и увеличил чуть ли не вдвое.

Прежде к владениям франкского королевства относилось не более чем часть Галлии, что лежит между Реном<sup>24</sup> и Лигером<sup>25</sup>, океаном и Балеарским морем, и часть Германии, населенная восточными франками, расположенная между Саксонией и Данубием<sup>26</sup>, Реном и Салой<sup>27</sup> — рекой, отделяющей тюрингов от саравов<sup>28</sup>; кроме того, в состав королевства входили тогда земли аламанных и баваров.

Карл же благодаря упомянутым войнам сначала присоединил Аквитанию, Саксонию и все от хребта Пиренейских гор до реки Ибера<sup>29</sup>, которая начинается у наварров и, пробегая плодороднейшие поля Испании, впадает в Балеарское море у стен города Дертозы<sup>30</sup>; потом — всю Италию, которая простирается свыше чем на тысячу миль от Августы Претории<sup>31</sup> до южной Калабрии, где, как известно, сходятся пределы греков и беневентцев; затем — Саксонию, составляющую немалую долю Германии и превосходящую по ширине ту ее часть, которая населена франками, как полагают, в два раза, хотя по длине она, быть может, и вполне ей равна; после этого — обе Паннонии и расположенную на том берегу Дуная Дакию, и Истрию, и Либурию, и Далмацию, исключая приморские города, которые по дружбе и в силу заключенного договора Карл уступил константинопольскому императору; наконец, все варварские и дикие народы, населяющие Германию и живущие между Реном и Вистулой<sup>32</sup>, океаном и Данубием, весьма различные по нравам и образу жизни, но близкие между собой по языку. Народы эти Карл ослабил настолько, что сделал своими данниками; между ними главнейшие — велатабы, сарабы, абодриты, богемане<sup>33</sup> — с ними именно король и состязался войной; остальные же, число которых гораздо больше, просто капитулировали<sup>34</sup>.

16. Карл увеличил славу своего царствования приобретением дружбы некоторых королей и народов.

Так он вступил в столь тесные отношения с королем Галисии и Астурии, Гадефонсом<sup>35</sup>, что тот, отправляя к Карлу письма или послов, приказывал называть



себя не иначе, как «принадлежащим ему всецело».

Даже королей скоттов<sup>36</sup> сумел он своею щедростью настолько себе подчинить, что они величали Карла не иначе, как «господином», себя же — его «подданными и рабами». Существуют и письма от них, в которых выражена подобная преданность.

Аарон, король персов<sup>37</sup>, который владел, за исключением Индии, почти всем Востоком, был столь дружески расположен к Карлу, что его любовь предпочитал признанию всех королей и князей земли и его одного считал достойным уважения и щедрости. Поэтому, когда послы Карла, отправленные с дарами на место погребения и воскресения светлейшего господина нашего и спасителя, пришли к Аарону и изложили ему волю своего государя, он не только разрешил то, о чем его просили, но даже уступил под власть Карла самую святыню эту. И, присоединив к возвращавшимся послам своих, вручил им для передачи нашему королю громадные дары из богатств Востока, в числе которых находились различные одежды и благовония, не говоря уже о том, что ранее отослал слона, о котором Карл его просил, хотя сам Аарон имел в то время только одного.

Очень часто также отправляли к Карлу послов и императоры константинопольские, Никифор, Михаил и Лев, добровольно искавшие с ним дружбы. Когда же принятие Карлом императорского титула возбудило в них сильное подозрение, будто бы наш государь хочет отнять у них империю, Карл, дабы ликвидировать всякий повод к скандалу, вступил с ними в теснейший союз<sup>38</sup>.

Вообще же римляне и греки всегда недоверчиво относились к могуществу франков. Отсюда и произошла греческая поговорка: «имей франка другом, но не имей соседом».

17. Постоянно занятый расширением пределов королевства и подчинением соседних народов, Карл вместе с тем не упускал из внимания ничего, что относилось к пользе и украшению государства; он многое начал, а кое-что успел и закончить.

На первое место среди подобных предприятий должны быть поставлены удивительной работы собор Богоматери в Ахене, мрамор для колонн которого специально вывозился из Рима и Равенны, а также мост через Рейн у Могонтинака<sup>39</sup> в пятьсот шагов длины — такова ширина реки в этом месте. Мост, однако, сгорел за год до кончины Карла и потому не был восстановлен, а между тем император имел намерение построить каменный на месте деревянного.

Начал он возводить и дворцы отличной архитектуры, один — неподалеку от Могонтинака, у поместья Ингилгенгейм<sup>40</sup>, другой — в Новиомаре<sup>41</sup> на реке Ваале, которая с



Папа Лев III.

Копия с мозаики IX века церкви св. Сюзанны в Риме.

южной стороны омывает остров батавов.

Но особенно заботился Карл о восстановлении церквей, пришедших в упадок: он посылал соответствующие приказы епископам и священникам, а для надзора за исполнением отправлял своих посланцев.

В период норманнской войны он занялся строительством флота, сооружая для этого корабли на реках, которые, протекая по Галлии и Северной Германии, впадают в океан. А так как норманны постоянно опустошали берега Галлии и Германии, то во всех портах и в устьях судоходных рек были по его приказу устроены стоянки для судов и выставлены сторожевые корабли, дабы предупредить вторжение неприятеля.

То же самое было сделано и на юге, вдоль берегов Нарбонской провинции и Септимании, а также по всему побережью Италии, вплоть до Рима: меры эти были приняты против мавров, незадолго до этого также начавших заниматься пиратством.

Вследствие всего этого в годы правления Карла ни Италия, ни Галлия, ни Германия не понесли чувствительных потерь,



Карл Великий.  
Копия с мозаики IX века церкви св. Сюзанны  
в Риме.

если не считать двух случаев, когда Центумцелла<sup>42</sup>, город Этрурии, был взят изменою и опустошен маврами и во Фризии несколько островов у германского берега были ограблены норманнами.

18. Такова была, как можно видеть, деятельность Карла, направленная к расширению, охране и украшению государства.

Теперь я перейду к рассказу об обстоятельствах его личной и домашней жизни.

После кончины отца, разделив государство с братом, Карл, всем на удивление, крайне терпеливо сносил его коварство и злобу. Уступив материнским уговорам, он женился на дочери Дезидерия, короля лангобардов, но через год по неизвестной причине оставил ее и взял в жены Гильдегарду, знатную девушку из племени швабов. От нее он имел трех сыновей — Карла, Пипина и Людовика и столько же дочерей — Хруотруду, Верту и Гизелу. Были у него и еще три дочери — Теодерада, Хильтруда и Хруотгайда, две — от коро-

левы Фастрады, происходившей из восточных франков, третья — от наложницы, имени которой сейчас не припомню.

По смерти Фастрады король женился на аламанке Лиутгарде, которая не оставила потомства. Затем он имел троих наложниц: саксонку Герсвинду, родившую дочь Адальтруду, Регину, которая родила Дрогона и Гуго, и Адалинду, родившую Теодориха.

К матери своей Бертраде Карл относился с величайшим уважением. Причиной единственной ссоры, случившейся между ними, был развод Карла с лангобардской принцессой. Королева-мать умерла после Гильдегарды, увидав своих шестерых внуков и внучек. Карл похоронил ее с великими почестями в храме святого Дионисия, где ранее был погребен его отец.

Единственная сестра Карла, Гизела, отданная с детских лет в монастырь, почиталась им наравне с матерью. Она умерла за несколько лет до его кончины и была похоронена в том же монастыре, где и жила.

19. Детей своих Карл прежде всего посвящал в науки, которыми занимался сам. Затем, по обычаю франков, сыновей он обучал верховой езде, обращению с оружием и охоте, а дочерям предписывал пряхть лен и трудиться по дому, дабы они не коснели в праздности.

При жизни короля умерли трое из его детей: наследник престола Карл, король Италии Пипин, а также Хруотруда, старшая из дочерей, сосватанная за византийского императора Константина. Пипин итальянский оставил сына Бернарда и пять дочерей. Король оказал им великую милость, уступив внуку наследство отца и взяв внуков на воспитание вместе со своими дочерьми.

Вообще, великодушный и мягкосердечный, он всегда тяжело переносил смерть своих детей, да и не только их: при известии, например, о смерти римского первосвященника Адриана [796], бывшего одним из главных его друзей, Карл оплакивал его так, будто потерял любимого сына или брата.

Открытый дружбе, Карл оставался в ней постоянным и всегда сохранял уважение к тому, кого хоть однажды приблизил к себе.

О сыновьях же и дочерях своих Карл заботился настолько, что, будучи дома, никогда не обедал без них, а отправляясь в путь, всегда брал их с собою; сыновья ехали подле него верхом, дочери следовали позади, сопровождаемые особым отрядом телохранителей.

Дочери были весьма красивы и так обожаемы королем, что — трудно поверить — ни одну из них он не пожелал выдать ни за своего, ни за чужестранца, но держал всех при себе, утверждая, будто не



может без них жить. И потому, будучи во всем счастливым, Карл с этой стороны испытал удары превратной судьбы. Однако он умел делать вид, будто не существовало ни малейшего подозрения или слуха насчет которой-нибудь из его дочерей<sup>43</sup>.

20. Был у него и еще один сын, по имени Пипин, рожденный от наложницы, о которой я до сих пор не упоминал<sup>44</sup>, красивый лицом, но обезображенный горбом.

В то время как отец, начав войну против аваров, зимовал в Баварии, горбун, притворившись больным, вступил в сговор с несколькими знатными франками, увлекшими его пустым обещанием возвести на престол [792]. Раскрыв заговор и наказав изменников, Карл разрешил Пипину постричься в монахи и поселиться в Прумской обители<sup>45</sup>.

Обнаружился и еще один большой заговор, ранее составленный против Карла в Германии [785—786].

Виновные были частью ослеплены, частью отправлены в изгнание, за исключением трех, которых умертвили, ибо их нельзя было усмирить иначе, так как они сопротивлялись, обжав мечи и даже убив нескольких человек.

Надо думать, что причина этих заговоров коренилась в жестокосердии королевы Фастрады; в обоих случаях все произошло оттого, кто Карл, уступая жене, слишком отклонился от свойственных ему доброты и кротости.

Впрочем, всю жизнь он обращался с подданными и с иностранцами с такой любовью и снисхождением, что никто никогда не упрекнул его в малейшей несправедливой суровости<sup>46</sup>.

21. Карл любил чужеземцев и весьма заботился о том, чтобы хорошо их встретить, в силу чего многочисленность их воистину казалась обременительной не только для двора, но и для государства.

Но он благодаря широте своей натуры не принимал в расчет подобных соображений, полагая, что и величайшие затраты в этом случае будут вознаграждены славой щедрости и ценою доброго имени.

22. Карл обладал крепким телосложением и довольно высоким ростом, но не был выше семикратной длины своей ступни.

Голова его была круглой, глаза — большими и выразительными, нос — довольно крупным. Благородная седина очень украшала лицо, всегда живое, веселое. Все это весьма способствовало его обаянию. И хотя шея его была слишком коротка и толста, а живот выпирал, пропорциональность остальных частей тела скрадывала эти недостатки.

Походка Карла была твердой, весь его облик — мужественным, но голос, хотя и звучный, не вполне соответствовал мощному телосложению.

Он отличался превосходным здоровьем и лишь в последние четыре года страдал лихорадкой, а также временами прихрамывал на одну ногу. Но и тогда пренебрегал он советами врачей, которых ненавидел за то, что они убеждали его отказаться от любимой жареной пищи.

Карл усердно занимался верховой ездой и охотой, влечение к коим было у него врожденным: едва ли найдется на земле народ, который мог бы сравниться в этом искусстве с франками.

Любил он также купаться в горячих источниках и достиг большого совершенства в плавании. Именно из любви к горячим ваннам построил он в Ахене дворец и проводил там все последние годы жизни. На купанья, к источникам он приглашал не только сыновей, но и знать, друзей, а иногда телохранителей и всю свиту; случалось, что сто и более человек купались вместе.

23. Карл носил народную франкскую одежду.

На тело он надевал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунуку и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и

Апокрифическое изображение Карла Великого. XIV век.



плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего набрасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями.

Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл пренебрегал.

Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, а в другой раз, его преемника Льва, он возложил на себя длинную тунику и хламиду и обулся по-римски.

Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканые золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ застегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону.

В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина.

24. Умеренный в еде и питье, Карл, как укажу дальше, особенно мало пил и ненавидел пьянство во всяком, не говоря уже о себе и своих близких.

Но в пище он не мог быть равно воздержан и часто жаловался, что пост вредит его здоровью.

Званные обеды давал он только по большим праздникам и в этих случаях созывал множество гостей. Обычный же обед был очень прост: он состоял лишь из четырех блюд, не считая жаркого, которое сами охотники подавали прямо на вертелах и которое Карл предпочитал всякому другому яству.

Во время еды он слушал музыку или чтение. Его занимали подвиги древних, а также сочинения святого Августина, в особенности то, которое называлось «О граде божьем».

Воздержанность его в вине доходила до того, что за обедом он выпивал не более трех кубков. После обеда в летнее время он съедал несколько яблок и выпивал еще один кубок; потом, раздевшись донага, отдыхал два или три часа.

Ночью же спал он беспокойно: четыре-пять раз просыпался и даже вставал с постели.

Во время утреннего одеванья Карл принимал друзей, а также, если было срочное дело, которое без него затрудились решить, выслушивал тяжущиеся стороны и выносил приговор, как будто бы сидел в судейском кресле. В это же время он отдавал распоряжения своим слугам и министрам на весь день.

25. Был он красноречив и с такой легкостью выражал свои мысли, что мог бы сойти за ритора.

Не ограничиваясь отечественной речью, Карл много трудился над иностранным и, между прочим, овладел латынью настолько, что мог изъясняться на ней, как на родном языке; но по-гречески более понимал, нежели говорил.

Прилежно занимаясь различными науками, он высоко ценил ученых, выказывая им большое уважение.

Граматику он слушал у Петра Пизанского — дьякона, человека преклонных лет; в прочих же предметах имел наставником Альбина (прозванного Алкуином), тоже дьякона, сакса, родом из Британии, мужа, умудренного во многих науках. У него Карл обучался риторике, диалектике и в особенности астрономии, благодаря чему мог искусно вычислять церковные праздники и наблюдать за движением звезд.

Пытался он также писать и с этой целью постоянно держал под подушкой дощечки для письма, дабы в свободное время приучать руку выводить буквы; но труд его, слишком поздно начатый, имел мало успеха.

26. Проникшись с детства христианскою верой, Карл следовал ей свято и неуклонно.

Он посещал церковь в различное время, даже ночью, если не был болен; причем следил, чтобы все выполнялось как должно и ни в чем не нарушались религиозные предписания. Им же был установлен строгий порядок церковной службы и песнопения. Весьма искусный в этом, Карл, однако, сам никогда на людях не читал молитвы, а пел только в хоре, да и то лишь вполголоса <sup>47</sup>.

27. Заботясь о помощи бедным, он посылал добротную милостыню многим нуждающимся христианам, будь то в пределах его королевства, будь то даже в странах заморских — Сирии, Египте, Африке, Иерусалиме, Александрии или Карфагене. Именно ради этого он и стремился к дружбе с иноземными государями.

Но более всего радел он о восстановлении былого величия Рима, отправляя бесчисленные дары папам и щедро украшая собор апостола Петра, который выделял среди всех церквей мира.

Сам, однако, за сорок семь лет царствования был на богомолье в Риме всего четыре раза <sup>48</sup>.

28. Но не одно лишь благочестие заставляло его предпринять свой последний поход в Вечный город [800].

Дело в том, что римляне нанесли тяжкие оскорбления первосвященнику Льву, лишили его зрения и вырвали язык. Вот почему, прибыв в Рим для восстановления попорченного порядка, король провел там целую зиму.

Тогда-то он и получил звание императора и августа [25 января 800].

Этим на первых порах Карл был столь недоволен, что утверждал даже, будто, знай он заранее о намерениях папы, он бы в тот день не пошел в церковь, невзирая на торжественность праздника.

Ненависть константинопольских импе-



раторов, тотчас возникшую, Карл перенес с великим терпением, а упорство их победил своим великодушием, в котором, несомненно, намного их превосходил. Он часто отправлял к ним посольства и в письмах называл своими братьями.

29. По принятии императорского титула Карл, видя большие недостатки в законодательстве своего народа, — ведь франки имеют два закона, весьма различные во многих пунктах, — задумал восполнить недостающее, примирить противоречивое и исправить несправедливое и устаревшее.

Однако он ничего этого не сделал, только добавил к законам несколько глав, да и то не вполне завершенных. Но зато приказал собрать и записать устные законы народов, находившихся под его властью.

Также повелел он отобрать и сохранить древние песни, в которых воспевались деяния и войны прежних королей.

Карл начал составлять грамматику родного языка и дал отечественные названия месяцам, которые раньше именовались частично по-франкски, частично по-латыни. И двенадцать ветров получили от него франкские имена, в то время как прежде их имели едва лишь четыре<sup>49</sup>.

30. В конце жизни, удрученный недугом и старостью, Карл призвал к себе Людовика, короля Аквитании, единственного оставшегося в живых сына Гильдегарды, и, созвав торжественное собрание знатных франков всего королевства, назначил его, с общего согласия, своим соправителем и наследником, а затем возложил ему на голову корону и приказал впредь именовать его императором и августом [813].

Этот акт всеми был встречен с большим удовлетворением, ибо казался внушенным Карлу свыше и должен был умножить славу франкского государства и утешить чужеземные народы.

Отпустив затем сына в Аквитанию, император, невзирая на старость, отправился, как обычно, охотиться неподалеку от столицы. Проведя в этом занятии остаток осени, Карл возвратился на зиму в Ахен. Здесь он, пораженный сильной лихорадкой, в январе слег. Как всегда в подобных случаях, он стал поститься, рассчитывая этим прогнать или, по крайней мере, ослабить недуг. Вскоре к лихорадке присоединилась болезнь в боку, которую греки называют плевритом, Карл же продолжал воздерживаться от пищи и лишь изредка пил. И вот на седьмой день, приняв причастие, он умер.

Это случилось на 72-м году его жизни и 47-м году царствования, в пятые календы февраля, около трех часов дня [28 января 814].

31. Тело его, омытое и облаченное в парадные одежды, при великом плаче народа, было доставлено в церковь и предано земле.

Сначала, правда, колебались, где его положить, ибо сам Карл не оставил каких-либо распоряжений на этот счет. Но затем единодушно решили, что нигде нельзя достойнее похоронить императора, нежели в соборе, который он сам построил, и в городе, который сам избрал в качестве столицы.

Там он и был погребен в день смерти, а над могилой воздвигли золоченую арку с надписью и его изображением, которая гласила: ПОД ЭТИМ КАМНЕМ ЛЕЖИТ ТЕЛО ВЕЛИКОГО И ПРАВОУВЕРНОГО ИМПЕРАТОРА КАРЛА. ОН ЗНАТНО РАСШИРИЛ ФРАНКСКОЕ КОРОЛЕВСТВО И СЧАСТЛИВО ЦАРСТВОВАЛ XLVII ЛЕТ. УМЕР СЕМИДЕСЯТИДУХ-ЛЕТНИМ В ГОД ГОСПОДЕНЬ DCCCLXIV, ИНДИКТА VII, V КАЛ. ФЕВР.

32. Незадолго до его кончины явились многие знамения, причем, не только окружающим, но и Карлу был ясен их смысл.

Три последних года наблюдались солнечные и лунные затмения, а на солнце целых семь дней подряд замечали темные пятна.

Портик, который с большим старанием был построен между собором и королевским жилищем, внезапно рухнул и развалился до основания. Также и мост на Рейне у Магонтиака, который Карл десять лет с великим трудом создавал и украшал, почему казалось, простоят он вечно, сгорел от несчастного случая за три часа — кроме части, находившейся под водою, от него не осталось ни щепки.

Однажды во время последнего похода в Саксонию против Годфрида, короля данов, Карл, выступив на рассвете из лагеря, увидел упавшее с неба пламя, которое перед этим пролетело с ярчайшим сверканием в направлении справа налево. Пока все изумлялись, под Карлом упала на передние ноги лошадь, и он полетел на землю с такой силой, что лопнула застегка у плаща и разорвалась перевязь. Подоспевшая прислуга должна была снять с короля все вооружение, и без ее помощи Карл не мог подняться. Копье же, которое он крепко держал в руке, выпало и улетело на расстояние не меньше, чем в двадцать футов.

Ахенский дворец часто сотрясался, а в домах, где бывал император, слышали треск балок. Собор же, где позднее Карл был погребен, испытал удар молнии, причем золотое яблоко, украшавшее вершину купола, раскололось и упало на крышу стоявшего рядом епископского дома.

В этом же соборе, на ободке, который опоясывал внутреннюю часть здания, была надпись алой краской, восхвалявшая строителя храма. Ее последний стих заканчивался словами: КАРЛ ПРИНЦЕПС. Было замечено, что в год смерти императора, за несколько месяцев буквы, составлявшие



Каролингские кавалеристы на марше.

слово ПРИНЦЕПС, настолько стерлись, что их едва можно было разобрать.

Но, наблюдая все это, Карл или делал вид, или на самом деле считал, будто ничто из описанного выше не имеет к нему ни малейшего отношения.

33. Карл готовил завещание, в котором хотел определить доли наследства своих до-

черей и внебрачных детей; но, начав это дело поздно, до конца его довести не успел.

Раздел же драгоценностей, денег, платья и другого имущества между своими друзьями и слугами он сделал еще за три года до смерти, взяв слово с наследников, что после его кончины раздел этот, одобренный ими, будет нерушимо сохранен.



Подробности же раздела, описанные в соответствующем документе, таковы<sup>50</sup>.

Все имущество и добро, находившееся в кладовых Карла, было разложено на три равные части. Две из них он подразделил на двадцать одну долю, по числу архиепископских городов государства, коим доли эти и были завещаны. Оставшуюся треть Карл сохранял для себя до конца жизни. После же смерти его или в случае добровольного ухода в монастырь часть эту надлежало разбить на четыре доли, и одну из них присоединить к ранее упомянутой двадцати одной, вторую — вручить сыновьям, дочерям, внукам и внучкам для справедливого раздела между ними, третью — раздать бедным и четвертую — распределить между дворцовыми слугами. К этой последней трети, состоявшей, как и две остальные, из золота и серебра, Карл присоединил чаши из меди, железа и других металлов, оружие, одежды, занавеси, покрывала, ковры, шкуры, попоны и все остальное, что найдут в кладовых и сундуках в день его смерти.

Капеллу вместе со всем, что в ней сам накопил и получил по наследству, Карл приказал сохранить в целостности и никакому разделу не подвергать, за исключением тех вещей, относительно которых будет точно доказано, что они не были подарены капелле и которые вследствие этого надлежало продать по справедливой цене.

Точно так же распорядился он и о книгах, которые в огромном количестве собрал в своей библиотеке: их мог купить всякий по настоящей цене, с тем чтобы вырученные деньги были розданы бедным.

Кроме других богатств, были у Карла три серебряных стола и один золотой, огромного веса и размера. О них король распорядился следующим образом. Один, четырехугольный, с изображением города Константинополя, следовало отправить вместе с прочими дарами в Рим, для храма апостола Петра. Другой, круглый, украшенный видом города Рима, надлежало отдать равеннскому епископу. Третий же, который превосходил остальные и тщательно работы и массивностью и состоял из трех досок с точным изображением всего мира, вместе с упомянутым выше золотым столом, по числу четвертым, был включен в ту часть имущества, которая должна была пойти наследникам Карла и на милостыню.

Это распоряжение Карл сделал и утвердил в присутствии многих епископов, аббатов и графов, которые скрепили документ своими подписями.

Сын Карла Людовик, его божьей милостью наследник, рассмотрев эту дарственную, с величайшим благоговением позаботился исполнить все, что было предписано покойным императором.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Меровинги — первая династия франкских королей (V век — середина VIII века), достигшая наибольшего могущества при Хлодвиге (481—511). В VII—VIII веках в результате междоусобий и роста влияния земельных магнатов Меровинги приходят в упадок. Власть сосредоточивается в руках майордомов — родоначальников династии Каролингов.

<sup>2</sup> Эта глава, по мнению Д. И. Егорова, была целиком списана Эйнгардом с анонимного памфлета начала VIII века. Здесь сильно преувеличена скудость жизни «ленивых королей» — последних Меровингов. Следует отметить также, что они не могли быть «длиннобородыми», ибо все умирали в юном возрасте.

<sup>3</sup> Пипин Короткий (741—768) — майордом, затем (с 751-го) король франков.

<sup>4</sup> Карл Мартелл (715—741) — майордом Франкского государства.

<sup>5</sup> Пуатье.

<sup>6</sup> Париж.

<sup>7</sup> Карл получил северные и западные области королевства. Карломан — центральные и юго-восточные (до границы с Италией и Баварией).

<sup>8</sup> В период 768—771 годов Карл находится под сильным влиянием королевы-матери Бертрады, которая тиснет пыталась примирить братьев и проводила пролангобардскую политику. Именно по настоянию матери Карл отверг Гимильтруду и женился на дочери лангобардского короля Деизидерия.

<sup>9</sup> Эти слова доказывают, что Эйнгард писал биографию Карла Великого в последние годы жизни, находясь вдали от двора и не располагая документальными данными или свидетельскими показаниями. Из других источников нам известно, что Карл родился в 742 году (вероятно, 2 апреля), и отец рано начал приобщать его к государственной деятельности. Одинадцатилетний Карл был

послан встречать папу Стефана II, мальчиком и юншей участвовал он в придворных совещаниях и генеральных сеймах, а в 761—762 годах сопровождал Пипина Короткого в его аквитанских походах.

<sup>10</sup> Гасконь.

<sup>11</sup> Это свидетельство Эйнгарда опровергается другими источниками. Гасконь в течение последующих десятилетий продолжала оставаться независимой от Франкского государства.

<sup>12</sup> Павия.

<sup>13</sup> Умышленная неточность Эйнгарда: Карл не прогнал Адальгиза из Италии, а упустил его. Адальгиз бежал в Константинополь и стал душой многих последующих интриг против Карла.

<sup>14</sup> Эта фраза — результат личных воспоминаний Эйнгарда. Он бывал в Италии, куда по приказанию Карла возил один государственный документ (в 806 г.).

<sup>15</sup> Эльба.

<sup>16</sup> Это неверно: Карл лич-

но руководил большинством походов против саксов и сражался с ними неоднократно. Здесь, извращая истину, Эйнгард пытается доказать прокламируемое им положение, что достаточно было Карлу самому выступить против врага, и враг оказался полностью разбитым.

<sup>17</sup> То есть Роланд. Это единственное упоминание о деятеле, который стал позднее героем «Песни о Роланде».

<sup>18</sup> Бретонцев.

<sup>19</sup> Война с Беневентом представлена Эйнгардом крайне упрощенно, причем он все пытается свести к страху Арахиза перед Карлом. В действительности война была затяжной; беневентцы непрерывно восставали, и франкам приходилось снова и снова совершать карательные походы в их страну.

<sup>20</sup> В действительности никакой «баварской войны» не было. Карл поставил целью подчинить Баварию и путем сложной дипломатической игры, в которую был втянут и папа и которая была подкреплена военным давлением, добился этого подчинения, низложив последнего баварского герцога.

<sup>21</sup> Датчане и шведы.

<sup>22</sup> Обычное для Эйнгарда искажение факта. В страну вильцев франки совершили несколько походов, причем покорить их Карлу так и не удалось.

<sup>23</sup> Терсатто.

<sup>24</sup> Рейн.

<sup>25</sup> Луара.

<sup>26</sup> Дунай.

<sup>27</sup> Заале.

<sup>28</sup> Лужицкие сербы.

<sup>29</sup> Эбро.

<sup>30</sup> Тортоса.

<sup>31</sup> Аоста.

<sup>32</sup> Висла.

<sup>33</sup> Чехи.

<sup>34</sup> Эта глава особенно характерна как пример превеличений Эйнгарда. Так, Аквитания была присоединена к Франкскому государству еще при Пипине Коротком; Южная Италия, Дакия, Либурия никогда не входили в состав владений Карла Великого. О западных славянах говорилось выше.

<sup>35</sup> Алонсо II (791—835).

<sup>36</sup> Шотландцев или ирландцев? Это известие Эйнгарда не находит подтверждения в других источниках.

<sup>37</sup> Харун-ар-Рашид — халиф багдадский (786—809).

<sup>38</sup> В действительности между Франкским государством и Византией почти до самой смерти Карла Великого шла непрерывная война, которая велась с переменным успехом.

<sup>39</sup> Майнц.

<sup>40</sup> Ингельгейм.

<sup>41</sup> Нимвеген.

<sup>42</sup> Чивитаверкья.

<sup>43</sup> При дворе Карла Великого согласно свидетельствам современников нравы не отличались особой строгостью. Пример подавал сам император. Его дочери, не состоя официально замужем, мало заботились о своем целомудрии. Во всяком случае, это точно известно о Хруотруде, жившей с аббатом Сен-Дени, и Берте, имевшей сына от придворного поэта Ангильберта.

<sup>44</sup> Пипин Горбатый был сыном первой сожительницы Карла, Гимильтруды, относительно которой историки не пришли к единому мнению: была ли она законной женой короля или только наложницей. Следует заметить, что утверждению Эйнгарда по этому вопросу противостоит письмо папы Стефана III от 770 года.

<sup>45</sup> Прюмский монастырь, возле Трира.

<sup>46</sup> Стремясь обелить своего героя, Эйнгард старается смягчить жестокость, проявленную при наказании заговорщиков, и с этой же целью вину за все сваливает на Фастраду.

<sup>47</sup> Глава несколько сокращена.

<sup>48</sup> Глава несколько сокращена.

<sup>49</sup> Глава сокращена за счет изъятия названий месяцев и ветров, интересных только для специалиста.

<sup>50</sup> Завещание приводится в сокращенном виде.





## ГЛАВА 1

Билл умер летней ночью. Такую ночь он описал когда-то в своем романе «Свет в августе», только случилось это не в августе, а в июле, в самом начале месяца. Билл скончался в клинике на рассвете шестого июля.

Несколько лет тому назад он упал с лошади, сильно разбился, и с тех пор раз в год непременно ложился в клинику на обследование. Вот и теперь ему уже сделали все анализы, не нашли никаких существенных нарушений и собирались выписать в ближайшие дни. И вдруг оказалось, что у него тромб, один из тех, которые никак нельзя обнаружить заранее.

В ту ласковую июльскую ночь в нашем доме раздался телефонный звонок. Телефон стоит в комнате, смежной со спальней. Звонок разбудил и меня, и жену. Она пошла к аппарату, а я сел на край кровати и закурил сигарету. Сперва она отвечала кому-то, потом наступила тишина. И тут я услышал: «Не знаю, как я скажу ему».

Жена вошла в спальню и остановилась возле постели.

— Звонил Джимми. Только что умер Билл...

В спальне было темно. Я поднялся с постели, повернул выключатель и начал одеваться.

— Хочешь, я сварю кофе, пока ты собираешься? — спросила жена, все еще стоя у кровати.

— Нет, я пойду сию минуту.

Когда я подошел к дому Билла, часы показывали половину третьего. Джимми, мой старший сын, был уже там. Он встретил меня у дверей. Эстель, жена Билла, позвонила ему сразу, как только ей сообщили о смерти мужа. Джимми тотчас же вызвал меня и Чуки, моего младшего сына, и позвонил в Мобил нашему третьему брату — Джеку. Чуки еще не пришел.

— Где Билл? — спросил я Джимми.

— Они перенесли его в морг.

— Я подымусь наверх к Эстель.

— С ней Честер, — сказал Джимми. — Я вызвал его сразу после того, как мне позвонила тетя.

Честер Мак-Ларти — наш домашний врач.

Я поднялся в комнату Эстель. Честер дал ей успокоительного, но оно еще не подействовало. Эстель ходила по комнате, скрестив руки на груди. Она подошла ко мне, я крепко ее обнял. Я молчал, пытаясь согреть ее теплом своих рук.

## Джон Фолкнер

## МОЙ БРАТ БИЛЛ

— Не могу поверить, не могу поверить, — твердила Эстель. — Он не умер, нет, он не умер!

Я поглядел через ее плечо на Честера. Он стоял рядом и пристально следил за Эстель. Вдруг она отстранилась от меня и снова принялась шагать по комнате.

Я спустился вниз к Джимми (дома мы зовем его Баб). Мы стояли молча. Баб ждал, чтобы я заговорил первым.

— Поеду в похоронное бюро. Я хочу быть там, когда они привезут его, — сказал я.

Баб кивнул, и я поехал. Сначала по аллее, обсаженной кедрами, где на столбе у въезда висит табличка, на которой рукой Билла написано: «Частное владение. Вход воспрещен», потом по шоссе в город.

Я приехал в похоронное бюро слишком рано, Билла еще не привезли. Я вышел и уселся на ступеньках.

Похоронное бюро стоит возле Центральной городской площади. С крыльца его эта площадь видна почти целиком. Прямо передо мной расстилалась площадка, где в дни осенней ярмарки «шарист» готовил свой шар. Я узнал и то место, где, бывало, стояли Билл, Джек и я, наблюдая за приготовлениями к воздушному полету, и по которому мы проходили каждый день по дороге в школу и обратно. Тогда еще через незаасфальтированную площадь тянулись цементированные канавки, из которых фермеры, приезжая по делам в город, поили своих мулов. Мы бывали тут по несколько раз в день, и другие ребята говорили про нас: «Не вздумай связаться с этими фолкнеровскими мальчишками: стоит тронуть одного, как тотчас примчатся остальные. Они вечно болтаются здесь».

Слева от себя я видел почту. Сколько раз, получив письма, мы с Биллом останавливались поболтать на ее ступеньках. Вот мы встретились, остановились, разговариваем...



И вдруг я понял, что все это существует уже только в моих мыслях, и вспомнил сразу, что именно случилось с Биллом и где он находится сейчас. Я подумал о двух других наших братьях: Дин погиб в авиационной катастрофе в 1935 году, Джек живет в Мобиле. Вот так, сидя на ступеньках крыльца в мягкую летнюю ночь, я осознал наконец, что Билл умер.

Наша мать, она умерла на два года раньше, чем Билл, очень определенно высказала свою волю. Она повторила каждому из нас: «Только своя семья, никаких цветов, похороны самые простые и дешевые». И Билл, в свой черед, выразил то же желание: «Так же, как маму». Он несколько раз говорил это и Эстель, и Бабу.

Рано утром на пороге похоронного бюро появился его владелец, мэр нашего города. Я все еще сидел на ступеньках. Я попросил мэра выставить полицейских у ворот Билла.

Великое множество людей пыталось теперь войти в дом Билла, но, согласно воле покойного, около него собрались только родные и самые близкие друзья.

Скромный гроб с телом Билла — в таком же гробу мы хоронили мать — привезли домой и поставили у камина, в гостиной, там, где когда-то мы прощались с нашей черной нянькой, Мамми, вырастившей всех нас. Здесь, в этой комнате, Билл прочел над ней отходную.

Билл приказал, чтобы гроб его не открывали, но мы нарушили волю покойного. Несколько негров — друзей Билла, одетые в самое лучшее свое платье, пришли на кухню и попросили разрешения поглядеть на него в последний раз. Баб спросил Эстель, она сказала: «Да, конечно». Их провели через гостиную, и распорядитель похорон приподнял крышку гроба. Они смотрели на покойника в молчании, кто-то беззвучно шевелил губами, кто-то тихо плакал. Потом гроб закрыли, уже навсегда.

Телеграммы и письма прибывали со всех концов Соединенных Штатов и из-за границы. Поступило личное послание президента, прислали соболезнования главы правительств многих государств, пришли письма от разных объединений литераторов и деятелей культуры.

Из Мобила приехал наш брат Джек. Он, я и оба моих сына дежурили подле Билла.

Все издательства и газеты прислали репортеров и фотографов. Но, выполняя последнюю волю покойного, их не впустили в дом, как они туда ни рвались. Ведь Билл всегда твердо говорил им: «Нет». Тогда журналисты отправили на переговоры друга Баба — Поля Флауерса из мемфисского «Коммершл эппил». Они просили позволить им сфотографировать Билла в гробу и рядом скорбящую Эстель, ведь именно за этим приехали они в наш город. Баб и

Джек объяснили, что мы лишь выполняем волю Билла, который пожелал принадлежать только своей семье до тех пор, пока катафалк не выедет за ворота его дома.

Билл не ходил обычно в церковь. Никто из нашей семьи не посещает регулярно церковь, за исключением моей жены, моих сыновей и Джилл, дочери Билла. Они прихожане епископальной церкви, и поэтому в тех случаях, когда нам надо обратиться за чем-нибудь к священнику, мы всегда идем туда. Вот и теперь мы пригласили приходского священника отслужить панихиду над телом Билла. Вся семья стояла в гостининой возле гроба, друзья собрались рядом в смежной столовой. Священник прочел короткий молебен, и Джек, Чуки, Баб и я подняли гроб с телом Билла и понесли его прочь от родного очага. Мы поставили гроб в машину, дверцы захлопнулись, и Билл отправился в свой последний путь. Не успели мы выйти за ворота, как на нас набросились фотографы.

Они выстроились стеной вдоль улицы, ведущей на кладбище.

В тот день в знак траура по Биллу в Оксфорде был приспущен флаг и закрыты все магазины. Фоторепортеры рассыпались по площади: одни шли за катафалком, другие снимали процессию с крыш и балконов.

Мы подъехали к кладбищу. Там нас уже поджидали самые близкие друзья Билла — Фил Стоун и, конечно, Мак Рид, и кое-кто из наших дальних родственников — они подняли гроб и понесли его к могиле. Рядом с могилой был натянут тент и стояли стулья для родственников. Поодаль отвели место для представителей прессы. Священник отслужил службу, она длилась недолго, и гроб опустили в землю в молчании. Билл вернулся к своим родным холмам, а мы разошлись.

Дома, в тишине, на меня снова нахлынули воспоминания — о Билле, о нашем детстве. День за днем оживал в памяти, пока прошлое не предстало передо мною в ярких, отчетливых картинах и сценах, ибо каждый из шестидесяти одного года моей жизни был связан с Биллом.

Первые воспоминания о Билле — это рассказ мамы о его коликах. На первом году жизни они мучили Билла почти каждую ночь. Тогда мы еще жили в Нью-Олбани — городке, расположенном милях в тридцати к северо-востоку от Оксфорда. Вернее, там жили отец, мама и Билл, потому что Джек и я родились позже в Риплее, а Дин — в Оксфорде.

В те времена отец наш служил на железной дороге старшим пассажирским агентом в Нью-Олбани. Дорога принадлежала нашему деду. Построил ее Старый полковник, мой прадед, первый У. С. Фолк-



нер. После его смерти дедушка и его сводные сестры получили ее в наследство. И дед стал президентом дороги и управлял ею до 1902 года, а потом продал, так как еще и работа в суде отнимала у него тьму времени, и ни на что другое сил уже не хватало. Единственным человеком, который действительно хотел заниматься дорогой, был мой отец, и, не случись досадное недоразумение, он купил бы ее в 1902 году.

По-настоящему отец любил только эту железную дорогу, лошадей, собак, да еще футбольную и бейсбольную команды «Ол Мисс», так назывался наш университет, секретарем которого он состоял в двадцатые годы. Но железная дорога была и осталась его первой и непроходящей любовью. Он так никогда не примирился с ее утратой.

Родителям отца не удалось заставить его кончить школу. Тогда — в девятых годах прошлого столетия — его отправили в «Ол Мисс», но очень скоро дома узнали, что он вернулся на железную дорогу. Два года родные пытались принудить отца учиться и, наконец, отступились. Он работал кочегаром, инженером, кондуктором и станционный мастером в Нью-Олбани. Там 25 сентября 1897 года родился Билл и страдал коликами целый год.

Мама рассказывала, что успокоить его удавалось одним-единственным способом — раскачивая на стуле с прямой спинкой, такие обычно стоят на кухне. Соседи же говорили, что эти Фолкнеры очень странные люди, ночи напролет рубят дрова у себя на кухне.

В ноябре 1899 года отец получил должность финансового контролера и казначея всей железнодорожной ветки Галф — Чикаго и перевез семью обратно в свой родной город Риплей. Там и родился Джек, а в 1901 году появился на свет я.

Старого полковника убил человек по фамилии Тюрмонд. Первая их ссора произошла в незапамятные времена, и с тех пор вражда между ними становилась с каждым днем все острее. Наконец, в 1892 году разразилась катастрофа. Старый полковник победил Тюрмонда на выборах в законодательное собрание штата. В тот день, когда счастливый соперник вернулся из Джексона, Тюрмонд выстрелил в него на улице, которая ведет от вокзала к Центральной площади. Три дня спустя наш прадед умер.

Город Риплей разделился на две партии. Силы их оказались примерно одинаковыми. Судебное разбирательство было пристрасным. Присяжные сплутовали, и Тюрмонда освободили. Публику заперли в зале суда, и обвиняемого вывели на улицу через камеру судьи. Тюрмонд покинул Риплей и уже больше туда не возвращался. Но бабушку пугала ненависть, раздиравшая город; она увезла семью отсюда.

Закрыв контору в Риплее, дедушка пе-

реехал в Оксфорд и начал работать у судьи Гарвея. Впоследствии тот стал членом Верховного суда в Вашингтоне. Мы же оставались в Риплее до 1902 года — до тех пор, пока дед не продал железную дорогу. Тогда отец перевез нас в Оксфорд. Это случилось 24 сентября 1902 года.

Переезжая из Риплея, отец взял с собой и своих лошадей. Вернее сказать, они привезли нас в Оксфорд. В те времена легче было проехать в карете шестьдесят миль, чем добраться кружным путем поездом с пересадками и возиться при этом с багажом.

Прямо к новому нашему дому примыкало пастбище для скотины. Весь участок размером тридцать метров на триста разделен был на две части: одну занимали пастбища и скотный двор, на другой стоял дом. Дом прятался в глубине двора, от улицы его отделяло метров сто пятьдесят, не меньше.

Весь наш участок был обнесен густым частоколом. Такой же частокол отделял дом от скотного двора. Я хорошо помню отца. Вот он стоит, облокотившись на загородку, и смотрит на лошадей в загоне. А мы, Билл, Джек и я, пытаемся вскарабкаться на изгородь, чтобы тоже полюбоваться лошадьми.

Сразу за нашим скотным двором начинался лес, тянувшийся на полмили, до самой железнодорожной ветки, соединявшей город Оксфорд с университетом.

...В те времена зародилась в нас любовь к лошадям и охоте. Именно этот лес и пруд, в котором мы плавали, запечатлел Билл в своем первом опубликованном романе — «Солдатской награде». Мы провели в лесах, окружавших Оксфорд, большую часть нашего детства и отрочества. Там научились мы жить на природе. Обо всем этом Билл рассказывал в своих книгах в мельчайших подробностях.

Кроме лошадей, отец держал еще и собак. В Риплее у него были гончие, однако к тому времени, как мы переехали в Оксфорд, лисиц там истребили почти полностью. Помню рассказы отца об охоте на лисиц в Риплее. Зверь ушел так далеко, что собак не стало слышно, и отец и его товарищи ждали их до глубокой ночи и, не дождавшись, возвратились домой. А на следующий день рано утром отец верхом поехал к тому месту, где охотники потеряли собак. Он сзывал их, трубя в рог, и прислушивался, не откликнутся ли. Было уже далеко за полдень, когда рыжая лисица перебежала дорогу возле того места, где стоял отец. За дорогой тянулась провололочная изгородь. Отец видел, как лисица, уставшая до того, что она еле двигалась, переползла, извиваясь, через изгородь и, обернув назад морду, поглядела сперва на него, потом окинула взглядом оставшееся



позади поле и затрусила с высунутым языком прямо к ближайшим зарослям кустарника. А спустя совсем немного времени появился и вожак собачьей стаи, еще более измотанный, чем лиса. Он не мог перебраться через изгородь. Отец перебросил пса через загородку, поглядел, как тот через силу идет, не останавливаясь, по лисьему следу, и вернулся в город. Пес прибежал домой поздней ночью.

Отец встал, накормил собаку и уложил ее на место, и она свалилась как подкошенная, мгновенно заснув.

Отец часто рассказывал нам разные охотничьи истории. А мы стояли возле него, прислонившись к его коленям, и слушали раскрыв рты. И Билл всегда запоминал эти рассказы гораздо лучше, чем я и Джек.

### ГЛАВА 3

...Наступило лето, и козел Джека съел три замечательные соломенные шляпы, которые тетушка Вилли прислала нам в подарок из Гаваны, а Томми Етса на выгоне мисс Лори Лоу Нельсон укусила змея. Мы запускали там воздушных змеев.

Тетушка Вилли — сводная сестра нашего деда. У него есть еще две сводные сестры: тетя Эффи и тетя Бамма, которые и сейчас живут в Мемфисе, а их брата Генри пристрелил приятель Старого полковника за то, что тот волочился за его женой. Когда родился наш младший брат, дедушка захотел, чтобы его назвали Генри, но мама сказала: «Только через мой труп». И младенца окрестили Дином в честь маминой матери.

Козла Вилли купили Джеку летом. Мама тщетно пыталась отговорить отца от этой затеи. Вместе с козлом он купил еще сбрую и маленькую двуколку с пружинным сиденьем, точь-в-точь как те, на которых ездят наши фермеры. Кузов двуколки был покрашен в зеленый и красный цвета, а колеса — только в зеленый.

В первый раз козла запрягали отец и все его негры. Потом Джек сел в двуколку, натянул поводья, и двое негров повели козла по двору. Через несколько минут они его отпустили. Сперва Билли никак не проявлял себя. Он совсем не двигался, просто стоял посреди двора, тряс бородой и глазел на все, что делалось вокруг.

Джек хлестнул его поводьями. Козел не шевельнулся. Джек вытянул его кнутом. Козел постоял еще с минуту, потом тронулся с места, медленно пересек двор и вышел на дощатый настил, проложенный от скотного двора к улице.

Билл и я шли вслед за Джеком и поддразнивали его: «А ну-ка заставь его шевелиться поживее». Забор облепили любительные негры. Джек опять хлестнул Билли, козел заблеял. Джек ударил еще раз —

козел совсем остановился. Тут вмешался Билл и приказал мне достать палку. Палки я нашел. Мы встали по бокам козла и под громкие крики: «Прекратите!» — оба разом ударили Билли палками. Козел рванулся, в одно мгновение оставив нас с Биллом далеко позади. Двуколка загромычала по деревянному настилу. Джек вцепился руками в сиденье. Билл и я вопили: «Отпусти лесу, Джек, ослабь лесу!» — как будто бы Джек запускал змея. Но Джек давно уже дал Билли полную волю. Он бросил поводья в тот самый миг, как Билли дернулся и поскакал. Козел трахнул повозку о столб, оборвав поводья, а Джек вылетел из двуколки и проехался по деревянному настилу на животе.

Конечно, Джек разревелся. Отец, мама и негры бегом бросились к нему. Мама подхватила Джека на руки, а негры без труда поймали козла. Избавившись от двуколки, козел сразу остановился и начал обглаживать планки забора. Когда негры подбежали к нему, он только коротко проблеял «бе-е» и, хотя они принялись стаскивать с него остатки упряжи, не обратил на них решительно никакого внимания. Негры вручную откатали двуколку к дому.

Билл и я, потрясенные, подошли к козлу и так и застыли, вытаращив глаза. А отец дал нам жару за то, что у нас только и хватает ума, чтобы лупить козла палками. Мама увела всхлиplyвающего Джека в дом.

Больше мы ни разу не запрягали Билли, сбруя его была изорвана в клочья, а двуколка разбита в щепки. И мы предоставили козлу полную свободу делать все, что ему хочется. Он бродил по участку, отдавая явное предпочтение двору и крыльцу, где мы играли. Там он и съел наши шляпы.

Шляп мы носить не стали. Зимой, правда, мы надевали шапки, чтобы не мерзнуть, но летом всегда ходили с непокрытой головой. Так что летние шляпы нам были совсем не нужны. Получив посылку, мы сразу вскрыли пакет, примерили подарки и отложили их в сторону.

Все это происходило в воскресенье утром, когда пришла воскресная газета с рассказом для детей в забавных рисунках. Мы, дети, окружили отца, который читал нам вслух подписи под картинками. Никто и внимания не обращал на козла, покамест мама не вошла во двор и не увидела, что делает Билли. Слишком поздно! Он уже успел отъесть понемногу от каждой шляпы. Мама вскрикнула, отец выронил газету, а мы трое погнали козла от крыльца.

Пока отец и мама ссорились и пререкались, Билл, Джек и я гонялись за козлом. Он успел обежать дом и остановился у крыльца, выжидая, когда же мы появимся из-за угла. Билли стоял неподвижно,

ничего дурного не делал, и мы выбрали общепонятную газету и снова уселись на ступеньках.

Папа с мамой, все еще споря, ушли в дом. Мама требовала, чтобы отец избавился от Билли. Отец отвечал, что каждый маленький мальчик должен иметь собственного козла. Отец вернулся на крыльцо и увидел, что мы сидим на ступеньках с рассказом в руках, а козел дожевывает остальную часть газеты. Отец подобрал последние жалкие клочки и приказал нам следить за козлом и не подпускать его к крыльцу.

Мы караулили козла до самого вечера. На другой день Билли исчез: видимо, отец продал его...

В те времена асфальт и автомобили еще не изуродовали наш Оксфорд. Улицы, изрядно грязные, какими и создал их Всевышний, были достаточно хороши для наших лошадей. А ежели летом они становились слишком пыльными, а Он забывал увлажнять землю сверху ливнем, горожане сами поливали их водой из городского водопровода.

Улицы на окраине служили пастбищем для коров, повозки там появлялись не часто. У некоторых обитателей Оксфорда участки были невелики, и места для коровьего выгона им не хватало. Коров держали тогда все семьи. Не имевшие пастбища при доме выгоняли свою скотину пастись на окраину города. Там мы познакомились и подружились с мальчиками, в обязанности которых входило присматривать за коровами. Среди них был Уайт Роуланд, впоследствии довольно известный педиатр, и мальчики Ливеллы — все семнадцать человек. Большинство из них стали баптистскими священниками.

## ГЛАВА 4

...Наступал август, и мы переставали бегать по улицам с воздушными змеями и вообще старались играть поближе к дверям своего дома. В августе в наших местах появлялись бешеные собаки, и в Оксфорде вспыхивала очередная паника. Мы играли у парадного крыльца и со страхом ждали — не пробежит ли по улице подозрительный пес?

Каждый год до нас доходили рассказы о том, как бешеная собака покусала человека или напала на него, и тогда все жители города начинали высматривать больных собак. Хороших охотничьих псов на это время запирали в сараи, и мужчины держали под рукой заряженные револьверы. Детям приказывали не уходить далеко со двора, и при виде любой собаки нам полагалось бежать домой и крепко закрывать за собой двери.

О тех, кто был покусан, рассказывали ужасные истории, и сколько раз мы слы-

шали, как человек, заболевший водобоязнью и привязанный к постели, откусил себе в припадке бешенства язык. Мы ходили испуганные и, прежде чем выйти за порог, долго оглядывали двор и улицу. Конечно, большинство этих рассказов придумывали негры, однако наш отец тоже не расставался с заряженным револьвером.

С замиранием сердца слушали мы удивительные истории, которые рассказывали негры о способах лечения бешенства. В те времена в наших местах еще не знали прививок Пастера. Бешенство называли водобоязнью. Единственным лекарством от него считался «камень». Негры объяснили нам, что камнем называют нарост, извлеченный определенным способом из желудка оленя. Только не у всякого оленя он есть. «Камень» действует как промокательная бумага — вытягивает яд из раны. Стоит приложить «камень» к укушенному месту, как он начинает действовать, и чем больше яда отсосет, тем зеленее делается, а наполнившись ядом до отказа, приобретает ярко-зеленую окраску и отваливается от раны. Свежий же «камень» сам присасывается к укушенному месту.

Отработанный «камень» надо опустить в детег. В детеге яд растворяется, и «камень» снова делается пригодным к употреблению. Никто из наших негров ни разу не видел «камня», но каждый из них знал человека, у которого есть приятель — владелец «камня». И почти всегда в данный момент «камень» находился далеко в Арканзасе, однако негры знали, как можно будет его раздобыть, если их искушает бешеная собака. Но приходила осень, и все наши летние тревобления отступали в прошлое.

Начался учебный год, и Билл пошел в школу. Это было в 1905 году. Через несколько дней после начала занятий ему исполнилось восемь лет. В нашей семье всех детей отдавали учиться с восьми лет.

Целое лето мы трое только и говорили о том, что осенью Билл поступит в школу. Джек и я спросили маму, почему она не разрешает и нам идти учиться. Мама ответила, что для школы мы еще недостаточно большие. Тогда мы спросили, а для чего же нужна эта школа Мемми (так звали Желла в детстве). Мама объяснила нам, что там его научат читать и писать, что вообще все люди ходят в школу, чтобы научиться читать и писать.

Что касается умения писать, то рассказ об этой стороне школьного образования не произвел на нас с Джеком большого впечатления. Зато чтение заинтересовало нас не на шутку.

В воскресенье, как раз накануне того дня, когда Билл должен был отправиться в школу, мы не позволили отцу читать нам рассказ с картинками из воскресной газе-



ты. Мы решили отложить это до завтра, до тех пор, когда Билл, которого научат читать, вернется из школы.

Наверное, мама, оказавшись она на месте отца, объяснила бы нам, что мы заблуждаемся. Однако отец и не подумал этого делать. Он аккуратно сложил пестрый листок, на котором изображены были приключения Мата и Джефа, детей Катценямеров, дедушки Лиса и Бастера Брауна с его собакой Тайги, и отодвинул его в сторону. Отец тоже решил послушать, как будет читать Билл.

Помню, как хохотал отец, когда мы вручили Биллу листок с картинками, а он, развернув его, не сумел прочесть ни строчки, хотя и провел целое утро в школе. Мама тоже не удержалась, хотя и смеялась не так громко, как отец. Конечно, мы с Джеком были разочарованы. Оказалось, что Билл спокойно мог остаться дома и играть с нами. Отец перестал хохотать, взял у Билла газету, усадил нас рядом и, как всегда, прочел очередной рассказ. Только на этот раз мы слушали отца не в воскресенье, а в понедельник.

Начальный класс нашей школы, тот самый, где Билла не выучили читать за одно утро, назывался нулевым, или приготовительным. Уроки там кончались в полдень. Мисс Энн Чэндлер вела занятия и в приготовительном, и в первом классах.

В приготовительном учили считать до ста и читать самые простые предложения: «Мама любит малыша», «Малыш любит маму». Дома мы с мамой успевали еще до школы пройти большую часть этой программы. Вот отчего все мы сидели в приготовительном классе только по несколько дней. Билл перешел в первый класс почти сразу, хоть он и не сумел прочесть рассказ из воскресной газеты.

Учительницу второго и третьего классов звали мисс Лаура Идс. Билл перескочил через второй класс, так же как потом Джек и я. В первые годы Билл и я регулярно получали похвальные грамоты. Иной раз их получал и Джек. Однако из-за того, что Билл так опозорился после первого посещения школы, Джек так и не смог пристыдиться к учению. Самые серьезные бедсы на тему о том, что дает человеку образование во взрослой жизни, не в силах были изгладить из его памяти день, когда Билл развернул страницу с картинками и... не прочел ни одного слова.

А с тех пор, как по улицам Оксфорда проехал первый автомобиль, вопросы из арифметики: сколько стоит дюжина яиц, если одно яйцо стоит пенни, сколько будет девятью шесть или семью восемь и какова цена полутора ярдов материи стоимостью в девять с половиной центов за ярд — совершенно перестали занимать Джека. Трудно сказать, чья здесь была вина, но с того дня, когда автомобиль впервые пересек

Оксфорд, Джек и школа редко тревожили друг друга. Итак, первый автомобиль, красный «винтон-6» — двухместная машина со съемным верхом — появился в Оксфорде в 1908 году. В те времена мы знали только машины такого типа, и до начала двадцатых годов не только не видели ни одной закрытой машины, но даже не слышали о них.

Как выглядит автомашина, мы знали по картинкам. Джек собрал целый альбом из журнальных вырезок с изображением автомобилей. Но, несмотря на то, что Джек только тем и занимался, что возился со своими картинками и читал все, что удавалось достать о моторах и машинах, Билл, а не он, по-настоящему понимал, отчего и как работают моторы, и даже построил паровой двигатель. И двигатель этот работал, во всяком случае, мы верили в то, что он работал. Однако, поскольку из-за парового двигателя сгорел наш домик для игр, в котором мы его оставили, полной уверенности в том, что он работал, у нас не было. Однако я до сих пор верю в то, что наш паровой двигатель работал.

О предстоящем прибытии «винтона» мы узнали задолго до великого события. Было известно, что автомобиль, направлявшийся в Мемфис через Оксфорд, проедет прямо по Саус-стрит, на которой мы жили. В тот день мы каждую минуту выглядывали на улицу из страха пропустить автомобиль, пока вся семья сидит в столовой, и большую часть дня провели, повиснув в ожидании «винтона» на заборе.

Наконец автомобиль появился и проехал по Саус-стрит, оставляя за собой облако пыли. Мы следили за машиной до тех пор, пока она не скрылась из виду. В тот раз автомобиль добрался до Мемфиса. Однако некоторое время спустя мы узнали, что владелец автомобиля, въезжая на мост, угодил в реку. А еще нам рассказывали, что, собирая деньги на машину, хозяйнее долго питался одними крекерами и ореховым маслом. После катастрофы он нанялся на работу в Мемфис и снова перешел на крекеры с ореховым маслом, чтобы купить другой автомобиль.

Вид движущейся машины навел Билла на размышления. Мама следила за нашим чтением и подбирала для каждого из нас книги и журналы соответственно его интересам. Для Билла она выписала журнал «Американский мальчик», для Джека — «Жизнь мальчиков», а мне журнал «Санта-Клаус».

Однажды в журнале Билла, в разделе «Изобретатели», опубликовали статью о паровых двигателях. Статья эта и натолкнула Билла на мысль самому сделать такой двигатель.

Сначала Билл сооружал свой двигатель в заднем углу холла, а мы с Джеком ему



помогали. В качестве основных узлов Билл использовал жестяную банку из-под муки и одну из никелированных табакерок нашей Мамми. Не помню, откуда он достал трубки и прочие мелкие детали. Зато помню, что он заказал паяльник и сам заплатил за него. Билл всегда умудрялся прикупить тайком деньги на свои нужды.

Отец только что перевез нас в новый дом на Мэйн Саус-стрит, как раз напротив дома дедушки, и сразу же построил там большую конюшню для своих мулов и лошадей. Думаю, что часть материала, необходимого для двигателя, Билл раздобыл на этой стройке. Мы все трое помогали тогда отцу и знали до мелочей, что и где у него лежит, так что с нашей помощью Билл прекрасно мог разжиться всем необходимым.

Когда отец начал заниматься прокатом лошадей, он построил в городе контору — маленький домик в одну комнату — и превратил ее в свою штаб-квартиру. Через некоторое время он купил конюшню на Депот-стрит, а контору разобрал и перевез к нам на задний двор. Домик этот отдали нам, детям. Пока там помещалась контора, отец ни разу не красил его. Теперь же он решил, что дети должны сами выкрасить свой домик. Для этой цели он купил нам большую банку красной краски и кисти. Увидав краску и кисти, мама только вскринула: «Нет, дружок! Нет!» Но отец заявил, что пора нам научиться беречь свою собственность.

Ни отца, ни матери не было дома, когда Билл, Джек и я приступили к малярным работам. Чтобы выкрасить домик трехметровой высоты, нам, естественно, понадобилась лестница. Мы притащили стремянку, которой пользовались еще при постройке конюшни. Она оказалась нужной длины, и Билл, как старший, взял банку, кисти и взобрался на самый верх. Вторым полез Джек, он расположился примерно на середине лестницы. Я же встал на самую нижнюю перекладину. Однако красить мне было неудобно, потому что лестница отстояла далеко от стены, и я не мог дотянуться до нее кистью. Так что я устроился прямо на земле под лестницей.

Краска понемногу стекала с наших кистей. На меня капало с кистей Билла и Джека, а Билл изредка капал на Джека. И вдруг один из маминых белых цыплят, которые бегали по двору, приняв, по-видимому, каплю краски за какое-то насекомое, подбежал и начал клевать ее. За ним заспешили другие, скоро все мамины цыплята собрались у стены и принялись клевать красные капли. Вот тогда мы и начали брызгать на них краской нарочно. Но тут возвратилась домой мама. Она вышла на задний двор и, увидев, что здесь происходит, заплакала в голос. На ее крик примчалась Мамми, держа на руках Дина.

Они стащили с лестницы Билла и Джека, оторвали от стены меня и отобрали у нас краску и кисти. Мама заставила нас раздеться прямо во дворе. Я был весь измазан краской. Джек — чуть поменьше, а Билл, который стоял на самом верху лестницы, почти совсем не испачкался.

Мамми отнесла Дина домой, и вместе с мамой они принялись оттирать с нас краску керосином. Билла они выскребли дочиستا довольно быстро. Потом мама попросила отца прислать несколько двадцатилитровых бидонов с керосином и, приказав неграм вылить керосин в ванну, выкупала в нем меня и Джека. Большая часть краски тотчас же сошла, следы ее остались лишь в складках кожи да под ногтями. Что касается наших волос, то тут мама мало что могла придумать. Она срезала слипшиеся от краски пряди с головы Джека, а меня остригла наголо.

Докрасить домик отец приказал неграм. А вскоре после истории с краской и цыплятами мы начали собирать паровой двигатель.

Так как теперь мы жили прямо напротив дедушки, отец часто заходил к нему вечерами после ужина. Обычно он брал с собой маму, а мы оставались дома. Предполагалось, что в эти часы мы готовим уроки на завтра. Конечно, Джек и я все равно ни за что не стали бы делать уроки, раз Билл занимается чем-то интересным, но обстоятельство сложилось так, что мы и не могли бы заниматься, даже если бы хотели, — Билл забирал нашу лампу.

В то время у нас не было электричества. В университет его уже провели, но в Оксфорде электростанция еще не работала; каждый вечер мы сидели за столом, раскрыв учебники, а лампа стояла посредине стола. Но как только мама и отец уходили к дедушке, Билл переносил лампу туда, где он мастерил свой двигатель, и, конечно же, я и Джек шли за ним.

Так продолжалось довольно долго, покамест мама и отец не вернулись домой прежде, чем мы спохватились, что время нашей свободы истекло. Мастерскую Билла немедленно прикрыли. Ею стал наш домик для игр. Кроме того, мне кажется, что с тех пор мама уже не ходила к дедушке так часто. После ужина она обычно оставалась с нами и следила за тем, чтобы мы действительно готовили уроки. Помню, мы кончили собирать двигатель в воскресенье, часа в два пополудни...

По воскресеньям родители всегда брали нас на прогулку. Мы только-только развели огонь под бойлером (коробкой для муки), как отец позвал нас кататься. Огонь мы разожгли в противне из-под бисквитов, служившем нам топкой. Уходя, Билл навалил в противень побольше угля, опасаясь, что иначе огонь погаснет до нашего возвращения.



Мы проехали несколько миль по проселочной дороге, останавливаясь изредка, чтобы срезать стебель сорго (мы любили сосать его сок), и вернулись как раз вовремя, потому что дым валил уже из каждой щели нашего домика. Отец бросил поводья маме, выпрыгнул из тележки и начал сзывать негров. Те выбежали из своих хижин и помчались вслед за отцом и Биллом, а мы с Джеком вывалились из повозки и со всех ног бросились за ними.

Открыв дверь домика, мы увидели, что на том месте, где стоял двигатель, в полу зияет огромная дыра с полыхающими краями. Двигатель лежал на боку и из него со свистом вырывался пар. Вокруг валялись раскаленные докрасна угли.

Огонь погасили, двери и окна распахнули настежь, чтобы вышел дым. Мы решили, что двигатель опрокинулся из-за вибрации, оттого и угли разлетелись по полу. Нашу уверенность в том, что двигатель Билла работал, подтверждал следующий факт: когда двигатель остыл достаточно, мы его подняли и обнаружили, что в бойлере осталось очень мало воды. Мы решили, что остальная часть воды превратилась в пар и что, если бы пар этот не расходовался и не двигал цилиндр, он разорвал бы двигатель. Нам не представилось возможности проверить собственную правоту, потому что отец наложил вето на постройку любого сооружения, приводимого в движение с помощью огня. Однако я и доньне верю, что двигатель Билла работал...

## ГЛАВА 5

...Мамми, няня Дина, появилась в нашем доме, как только он родился. Очень скоро она сделалась полноправным членом семьи и прожила у нас с небольшими перерывами до своей смерти. Билл сам прочел над ней отходную. Тело Мамми стояло в его гостиной, оттуда ее отвезли на кладбище. Мы все любили Мамми, она была нашей защитницей, хотя по временам превращалась в карающую десницу. Мамми много раз появляется на страницах книг Билла. Она принадлежала к той породе людей, чью верность близким не может поколебать ничто в мире.

Мама доверяла няньке беспредельно, и мы, дети, очень быстро научились слушаться ее так же беспрекословно, как нашу мать.

На могиле Мамми Билл поставил камень, надпись на котором сделана ее «бедными детьми».

Там, в негритянской части кладбища св. Петра, захоронена частица каждого из нас.

Няню нашу звали Калли Барр. Во времена рабства она была рабыней полковника Барра. В дни нашего детства он жил неподалеку от того места, где живу

сейчас я. Когда-то полковнику принадлежала вся земля между Оксфордом и Бурге-сом, и владения его простирались примерно миль на двадцать к западу от города.

После отмены рабства почти все негры взяли в качестве фамилий имена своих бывших хозяев. Вот почему фамилия нашей кормилицы Барр.

Мамми говорила, что в год освобождения ей было шестнадцать лет. Значит, умерла она чуть ли не ста лет от роду. Это похоже на правду. Я знаю, что она была очень стара. Мамми пять раз выходила замуж, и каждый раз неудачно. К нам она попала после четвертого своего брака. Уже живя у нас, она вышла замуж еще раз. Новый супруг увез ее в Арканзас и бросил там. Отец послал за Мамми мистера Беннета, и тот привез ее обратно.

Калли рассказывала нам множество историй из времен рабства. Джек не любил слушать ее рассказы, а мы с Биллом очень любили. Особенно Билл. Когда Дин подросток, кормилица часто водила нас в лес искать птичьи яйца. Все дети собирали тогда коллекции этих яиц. Мамми научила нас вынимать их из гнезда не рукой, а ложкой, иначе птица может бросить гнездо, если заметит, что люди его трогают.

Во время наших неспешных прогулок — Дин еще плохо ходил, и мы не могли идти быстро — Мамми все время рассказывала, и постепенно перед нами разворачивалась история ее жизни.

Помню рассказ Мамми о том, как в ее детстве изготовлялись свечи на плантации. Свечи делали в специальных деревянных формах с двенадцатью пазами. В каждый паз закладывали полый стебель тростника с фитилем внутри, а затем заливали форму расплавленным салом.

Дети сидели полукругом перед кухонным очагом, а посредине возвышалась «ол мисс» — белая владелица плантации. В руках она держала трубку с таким длинным чубуком, что при желании могла стукнуть им любого из работающих ребятишек. Стоило детям затеять возню, как она тотчас же была провинившегося по лбу трубкой. Мамми утверждает, что чаще всего ей доставалось за то, что какой-нибудь озорник успевал влить холодную воду в ее форму. От соприкосновения с холодной водой расплавленное сало начинало шипеть и пугаться, капли его летели вверх до самого потолка. Как водится в таких случаях, получал по лбу не истинный виновник происшествия, а его беспечная, ничего не подозревающая жертва.

И еще Мамми рассказывала нам историю о призраке из Шейло.

Когда войска, двигаясь к Виксбургу, проходили через Оксфорд, полковник Барр отослал всех своих негров за тридцать миль к западу от нашего города. Там и узнала Мамми об отмене рабства. После

войны, когда начал действовать ку-клукс-клан, негры, по словам Мамми, были запуганы до смерти. Все они слышали о бесшумных призраках в белых балахонах, некоторые даже видели их. Каждая негритянская семья перед наступлением темноты собиралась у себя дома и сидела там, плотно закрыв окна и двери. И вот однажды ночью кто-то постучал в дверь домика, где жила семья Мамми. Неграм было одинаково боязно и открыть дверь и не ответить на стук. Наконец отец Калли крикнул: «Кто там?» В ответ послышался стон. Отец отворил дверь. Раздался треск, и перед ним возник всадник в белом на лошади, покрытой белой попоной. Лицо всадника прикрывала маска с прорезями для глаз, а морда лошади была окутана полотном, из которого торчали только ее уши.

Увидев отца нашей Мамми, привидение застонало: «Воды, воды. Я убит при Шейло и с тех пор горю в адском огне. Воды, Воды». Отец Мамми сказал, что кадка с водой стоит на скамье у самой двери. Призрак ответил, что он слишком слаб, чтобы спешиться, у него не хватит сил снова взобраться на коня. Тогда отец Мамми вышел наружу и подал привидению ковш с водой. Всадник вылил воду в резиновый мешок, спрятанный у него под балахоном, и попросил еще воды. Негр принес второй ковш, но призрак потребовал дать ему всю кадкушку. Он перелил воду в свой мешок и уехал. Отец Мамми говорил, что конь шел неслышно, так как его копыта были обмотаны мешковиной. Призрак исчез вдаль. Отец вернулся в дом, запер дверь и забаррикадировал ее снова. Мамми вспоминает, как все они дрожали от ужаса до рассвета. Вскоре после встречи с призраком семья Калли вернулась в Оксфорд.

Правнуки Мамми и их дети до сих пор живут в Оксфорде и в его окрестностях. Несколько лет назад я встретил одну женщину из этой семьи, Молли, и мы вспоминали с ней нашу няню.

## ГЛАВА 7

На рождество мы всегда обедали у дедушки. После смерти бабушки он старался как можно теснее сплотить вокруг себя семью. И мы тянулись к деду. Он приглашал нас к себе в день благодарения, на пасху, а иногда и в будние дни просто потому, что ему хотелось видеть нас.

Хозяйством деда занималась его овдовевшая дочь, наша тетя. Ее дочь, маленькая Салли Мюррей, была ровесницей Джека, и мы четверо росли вместе. Тетушка любила Джека, Билла и меня, как родных детей. И баловала нас. Все мы, конечно, обожали тетку, а Билл, тот готов был голову сложить за нее. Мисс Джени, бабуш-

ка Миллард, все женщины, о которых он писал в «Непокоренных», — это всегда она.

Стоило нам высказать какое-нибудь желание, как тетушка немедленно его выполняла. Помню, как-то раз летом она взяла лошадей, коляску, повозки, всех дедушкиных негров и повезла нас на пикник к ручью Лафайета, а деду пришлось возвращаться домой из банка пешком под дождем. Жители нашего города говорили потом, что он ругался всю дорогу от банка до своей калитки и при этом ни разу не повторил одно и то же ругательство. А однажды, когда мы играли в магазин у дедушки во дворе, тетушка дала нам коробку его пятидесятицентовых сигар, и мы продавали их по два с половиной цента за штуку. Помню, что до тех пор, пока мы не продали последнюю сигару, народ валом валил в наш двор. Обычно тетушка покупала нам мятные леденцы — в те времена в Оксфорде летом других конфет не было, — она платила за них по два с половиной цента за штуку, а мы, играя, продавали их за одно пенни. В конце концов вмешался дедушка и прекратил раз и навсегда эту забаву.

Впрочем, дедушка тоже баловал нас. Он брал на прогулку Билла, Джека и меня и покупал нам то костюм, то ботинки, то пальто.

Каждую осень, когда наступали заморозки, дедушка возил нас на сбор финиковых слив. У него в доме из этих слив варили пиво. В детстве я очень любил этот напиток, особенно если к нему подавали горошек и кукурузные лепешки. Билл не отставал от меня, в те времена тоже обожавший покушать, но, влюбившись в Эстель, свою будущую жену, он немедленно лишился аппетита. В один прекрасный день мы узнали, что за завтраком Билл не в силах съест ничего, кроме двух-трех тостов и чашки черного кофе — именно так завтракает Эстель. Я помню, как бушевала мама. Биллу тогда было лет четырнадцать-пятнадцать.

Как только наступало время сбора финиковых слив, дедушка посылал за нами. Это всегда случилось в воскресенье. Мы мигом проглатывали завтрак, чтобы не задерживаться дома.

Собирать сливы отправлялась вся семья. Тетушка и Салли Мюррей приезжали в коляске с дедом. На козлах восседал один из его негров — старик Гэйт, Поль или Чесс. Мы с отцом ехали в телеге. Когда подрос Дин, Мамми тоже стала ездить с нами.

Финиковые сливы, схваченные легким морозцем, становились сладкими, мясистыми и падали с дерева, казалось, от одного взгляда на них. Мы швыряли палками в крону дерева, а иногда я взбирался по стволу и тряс ветви. Зрелые плоды сыпа-



лись вниз дождем, покрывая густым ковром землю. А дед усаживался неподалеку и смотрел, как мы подбираем сливы.

Пиво дедушка готовил сам. Я и сейчас вижу, как он и три негра — его помощники — отжимают плоды, сливают сок в чан и насыпают туда сахар. Для пива у деда на кухне стояла специальная дубовая бочка, литров на сорок.

Каждый год, как только пиво кончалось, негр, состоявший при кухне, убирал бочку в подвал. Однако в последних числах октября по приказанию деда ее снова вытаскивали и ставили в сени, чтобы бочка нагрелась до комнатной температуры, прежде чем ее опять наполнят пивом.

Если память мне не изменяет, приготовление пива занимало целую неделю, а может, и больше. И как только все было готово, дед приглашал нас на обед, за которым к пиву, понапившему солодом, подавались тертый зеленый горошек и кукурузные лепешки.

Впрочем, мы лакомились не только пивом из финиковых слив. Дед владел фермой в трех километрах от города и сдавал ее в аренду. Мы ездили с ним на эту ферму и увозили оттуда мешки яблок, картошки или земляных орехов, смотря по сезону. Я помню поездки за город ранней весной и длинные прогулки в сонные, ленивые летние дни. Но лучше всего бывало осенью.

Уезжали мы из дому в теплое полетнему утру. А когда дед кончал дела с арендатором и увозил нас домой, становилось уже холодно. Стояла пора первых заморозков. Мы ехали в коляске, и голубые холмы, подернутые дымкой, казалось, исчезали за передней скамейкой коляски, становилось темно. Вдыхая запах яблок, лежавших в экипаже, мы радовались, что едем домой в тепло, к свету.

Осень — время разговоров об охоте, когда идти с ружьем в лес еще слишком рано, зато пора готовить снаряжение и мечтать о будущей добыче.

Должно быть, именно об охоте и разговаривали на ферме Билл и кузнец негр. Стоило нам приехать, как Джек, Салли Мюррей и я устремлялись к фруктовому саду или на участок, где росли земляные орехи. Но Билл, едва заслышав за калиткой звонкие удары молотка о наковальню, моментально покидал нас и приходил последним на зов деда, чтобы ехать домой. Много лет спустя, читая «Медведя», я узнавал в нем дни нашего детства.

После смерти бабушки дед старался как можно чаще видеть нас, он очень тосковал после смерти жены. Огромная часть его души умерла вместе с ней, и множество дел, которыми он раньше занимался, перестало его интересовать. Чем меньше был заполнен день деда, тем больше предавался он скорби и воспоминаниям.

Очень часто он просто сидел на стуле возле главной городской площади. Так и вижу, как он сидит там и пишет в воздухе тростью имя — «Салли», не замечая никого и ничего вокруг. Дедушка умер вскоре после того, как мне исполнилось 20 лет. По-моему, он был самым одиноким человеком из всех, кого я встречал в жизни.

Зимой 1909/10 года отец решил, что пришла нам пора иметь собственные карманные деньги — по пятьдесят центов в месяц каждому. Мама пыталась отговорить отца от этой затеи. Мне было тогда восемь лет, Джеку — десять, Биллу — двенадцать, а Дину — два, ему, естественно, карманных денег давать не собирались. Она напомнила отцу о нашем возрасте и сказала, что если уж это действительно так необходимо — снабжать нас деньгами, то пусть Билл получает пятьдесят центов в месяц, Джек — двадцать пять, а я только десять. Но отец оставался непреклонным. «Нет!» — сказал он. Мы все трое его сыновья, и денег нам полагается поровну. Мама возразила, что и Дин тоже его сын; что же, отец и ему будет давать деньги каждый месяц? На это отец ответил, что Дин еще не мальчик, а дитя малое. И на этом дискуссия закончилась.

Хотя я и Джек никак не могли придумать, на что можно будет истратить целых полдоллара сразу, мы тотчас отправились в город — осмотреться на месте. Что касается денег, то в те дни мы не засоряли свои мозги мыслями о них и о том, что с ними делать: копить или тратить. Ведь прежде нам давали деньги только для того, чтобы мы могли купить подарки друг другу на рождество и ко дню рождения. В остальные дни мы в них не видели проку. И потому целых пятьдесят центов, неожиданно свалившиеся с неба, показались нам огромной суммой. Перед нами возникла сложная задача — как изבавиться от полдоллара в один присест? Для этого мы и отправились в город.

Билл поступил иначе: опустил полученные деньги в карман и, убедившись, что мы с Джеком собираемся уйти из дома, спокойно занялся своими делами.

В тот день мы с Джеком долго слонялись по улицам, заходя в разные лавчонки. Деньги тяготили нас. Правда, я весьма скоро сообразил, что их можно истратить на конфеты. Но мама предусмотрительно запретила это делать. Она боялась, что пятидесятицентовая порция конфет убьет меня на месте. В лавочке у аптекаря Джек, наконец, увидел нечто интересное — бейсбольную маску. Джек любил играть в бейсбол, и маска ему очень пригодилась бы, но, к сожалению, она стоила доллар с четвертью, а масок подешевле у аптекаря не нашлось. Мы вернулись домой, когда лавки закрылись, так и не истратив денег.

Дома нас поджидал Билл. Он и не подумал ходить в город. Так как еще прежде, чем отец дал нам деньги, Билл знал, что он сделает, если только раздобудет не полдоллара, а полтора. И он их раздобыл. Он быстро занял полдоллара у меня, полдоллара у Джека и добавил к ним свои пятьдесят центов. Дело в том, что еще несколько месяцев назад в одном из номеров журнала «Американский мальчик» Билл прочел объявление, привлечшее его внимание. Теперь у него скопилось достаточно денег, чтобы заказать вещь, о которой сообщалось в объявлении.

Когда заказ пришел, мы обнаружили, что Биллу прислали электрическую игру для тренировки памяти: картонную коробку с металлическими штырями, листы бумаги с отверстиями для этих штырей и батарейки от карманного фонарика, питающие электрическую схему, спрятанную в коробке. На листах, разделенных на две части, справа были отпечатаны вопросы, слева — ответы. На одном листе были вопросы по географии, на другом — по арифметике и т. д. Батареи подсоединялись к штырям коробки металлическими клеммами. Если, подключив одну клемму к штырю вопроса, вы прижимали другую к штырю правильного ответа, загоралась сигнальная лампочка.

Когда Билл впервые опробовал свою игру, он очень старался отвечать правильно. К тому времени он уже четыре года проучился в школе. Однако мы с Джеком придумали способ, который давал нам возможность в отличие от Билла отвечать правильно, ничего не зная. Мы обнаружили, что, прижав клемму к штырю вопроса, можно скользнуть второй клеммой по всем штырям ответов до тех пор, пока на правильном ответе не вспыхнет свет. Продолжая эксперимент, мы с удивлением увидели, что свет загорается и тогда, когда на картонной панели вовсе нет бумаги, и потеряли всякий интерес к электрической игре Билла.

Билл удивительно умел хранить свои вещи. Мама говорила, что он — настоящая белка. Электронигра прожила у него несколько лет, и я помню, как он доставал ее, когда хотел проверить свою память.

Каждому из нас отвели место, чтобы хранить там свои вещи и игрушки. Но мне и Джеку никогда не удавалось собрать ничего интересного. Мы все ломали и теряли. Зато Билл был аккуратен с самого детства и умел хранить свои вещи. Точно так же он до самой смерти хранил в своей памяти все курьезные случаи, о которых когда-либо слышал. В его кабинете стояла тьма каких-то предметов. Глядя на них, мы только удивлялись: какого черта он все это здесь держит?

Оказалось, что, занимая у нас деньги, Билл разработал целую систему. Он пред-

ложил мне, чтобы в следующий раз я и он одолжили свои полдоллара Джеку, тогда еще через месяц все выданные отцом деньги получу я.

Через месяц Джек забрал у меня с Биллом по полдоллара и купил маску, но маска его не прожила и недели. Би Вудворд с разбегу наступил на нее и расплющил. Мы выпрямили маску так, чтобы Джек мог всунуть в нее лицо, но отверстия для глаз чрезвычайно расширились и потеряли прежнюю форму. Как-то раз мистер Генри Фостер — владелец аптеки, тот, кто жил напротив, — играл с нами в бейсбол и залепил мячом прямо в лицо Джеку, мяч свободно прошел через отверстие для глаз, и тогда Джек выбросил свою маску. Правда, дело обошлось простым синяком.

Мой черед истратить полтора доллара приближался, но тут отец лишил нас карманных денег. Так что я не получил ничего. Впрочем, в те дни, как и говорила мама с самого начала, для наших развлечений денег не требовалось. Мы сами умели развлекать себя. Что касается Джека, он продолжал играть в бейсбол, но без маски, так же, как играл прежде. Билл тем временем забросил свой электрифицированный вопросник. А меня судьба избавила от искушения съесть на полдоллара конфет и от последствий такого поступка.

Жизнь в доме зависела не только от суммы заработка всех членов семьи. Не менее важным, пожалуй, был труд, который вкладывали все мы в хозяйство. У каждого из нас были определенные обязанности, и от них зависели наше благосостояние и комфорт. Уважительных причин, по которым можно было не выполнять порученное дело, не существовало. Каждый день под вечер, бросив любую игру, мы трое собирались во дворе и принимались за домашнюю работу.

Обязанности наши чередовались. Мне, например, полагалось носить дрова для растопки. Эту обязанность я унаследовал от Джека, который теперь таскал в дом корзины с углем вместо Билла. Биллу же, в свою очередь, приходилось задавать на ночь корм свиньям. Постепенно я дошел до доения коров.

В нашем городе жила семья Ливеллов. У них было восемнадцать детей — семнадцать мальчиков и одна девочка. Отец вечно ставил их нам в пример. Однажды, когда Билл доил корову и приставал с вопросами, когда же придет очередь доить Джеку, отец снова вспомнил о мальчиках Ливеллах. По его словам, все семнадцать делали по очереди любую работу так долго, как старшие скажут, и никогда ни на что не жаловались. Тогда Билл спросил, сколько коров эти мальчики уже задоили на смерть.

Дрова в наших местах продавали вязанками, объемом примерно в полкубометра.



Вязанку собирали из толстых распиленных поленьев длиной сантиметров в сорок.

Дедушка же в отличие от нас покупал на зиму длинные жерди для изгородей, метра в три — три с половиной, а мистер Рейнольдс, владелец механической пилы, распиливал их для него.

Круглая пила с полуметровым диском работала на газолиновом одноцилиндровом моторе. Жердь укладывали на приделанную сбоку каретку со специальной прорезью для пилы и двигали каретку вручную взад и вперед. Когда у деда пилили на зиму дрова, по всей округе было слышно, как кашляет однолегочный мотор и пила завывает сиреной.

Каждую осень в одно и то же время мы слышали, как надывается старый мотор и вопит истошно пила. Заслышав вой еще на площади, мы бегом мчались домой смотреть, как мистер Рейнольдс толкает каретку. Мы были твердо уверены, что рано или поздно ему отрежет руку. Помню, как Билл, Джек, Салли Мюррей и я часами простаивали за спиной у мистера Рейнольдса, чтобы не прозевать, когда же его все-таки прихватит. Тем временем наступали синие сумерки, опускался на город вечер, и в воздухе начинало тянуть холодком.

Когда настала очередь Билла таскать уголь, мама заметила, что каждый вечер вместе с Биллом у нас во дворе появляется его приятель Фриц Мак Элрой. Хотя мы вечно водили домой товарищей и сами ходили к другим ребятам, маму удивило, что с Биллом все время приходит один и тот же мальчик. Она решила узнать, в чем тут дело, и вскоре раскрыла секрет Билла. На растопку печи требовалось много угля, так что, даже если носить по две корзины, все равно нужно было ходить много раз из кухни во двор и обратно, чтобы натаскать достаточный запас.

Мама видела, что оба мальчика направились к навесу, под которым лежал уголь. Фриц нагрузил корзины и понес их в дом, а Билл пошел за ним следом. Фриц все таскал и таскал уголь, а Билл ходил за ним по пятам, не отставая ни на шаг, но так и не притронулся к корзине. Мама незаметно подкралась к приятелям поближе и услышала, что Билл говорит не переставая. Мама не стала задавать вопросов, она хотела самостоятельно выяснить, почему это Фриц приходит каждый вечер. В конце концов она дозналась, что по вечерам Билл рассказывает товарищу всякие увлекательные истории и каждый раз останавливается на самом интересном, чтобы Фриц из любопытства узнать, что же случилось дальше, непременно пришел и завтра.

Некоторые рассказы Билл вычитал из книжек, но большинство сочинил сам. Отцу мама ничего не сказала.

Фриц таскал уголь целую зиму. На следующий год Биллу пришлось доить корову. На это у Фрица времени не хватало, он и сам занимался тем же самым в родительском доме.

Хотя отец всегда нанимал нескольких негров в помощь по хозяйству, мы и подумывать не смели, что кто-нибудь станет работать за нас. Работа была нашей обязанностью, нашим вкладом в жизнь семьи. Правда, тогда эти мысли не приходили нам в голову, но думаю, что участие в жизни семьи помогало нам ощущать тепло родного очага, придавало чувство уверенности. Дом был не только пристанищем, не только кровом. Там было хорошо и уютно, и мы своими руками помогали создавать этот уют. И если нам хотелось подбросить в печь лишнюю порцию угля, мы ее подбрасывали. Ведь это мы принесли уголь со двора и принесем еще, если понадобится. Но вот, наконец, все дела закончены, звонит колокол, и мы собираемся за столом к ужину. Хорошее было время. Я помню отличную свежую колбасу и пышные бисквиты, которые пекла Нэнси Сноуболл (Нэнси Белоснежка), бисквиты, которые, прежде чем откусить кусочек, макали в домашнее варенье. А как любили мы домашнюю ветчину, приправленную специями! Кроме того, нам давали кофе, если только можно было назвать кофе напиток, который мама наливала в наши чашки. Чем моложе мы были, тем больше она добавляла сахара и сливок.

Вот так и росли мы с Биллом, пока не стали взрослыми. Это в нашем доме сформировался его характер, здесь он стал тем, кем был.

В те времена в любом маленьком городке — Оксфорд тогда насчитывал примерно тысячу двести человек — жили так же, как мы.

Держали нас дома в строгости. В других семьях порядки, пожалуй, были помягче. Исключение составлял дом пастора, жившего рядом с нами. Помню, что в школьные годы мы каждый вечер после ужина готовили уроки в холле за столом. Занятия наши не ограничивались определенным часом. Мы должны были сидеть за уроками, покада не сделаем их до конца, и сделаем хорошо. Если же нам случилось получить выговор в школе, то и дома попало весьма изрядно.

Когда Биллу было лет четырнадцать, мама надела на него лечебный корсет. Почему-то он вдруг начал сутулиться. Мама испугалась, что у него недладно с легкими, и повела его к врачу. Выяснив, что со здоровьем сына все в порядке, она заказала для него корсет, похожий на дамский. Сперва мама, затягивая Билла в корсет, завязывала тесму сади на талии. Однако Билл умудрялся распускать шнуровку. Тогда мама стала шнуровать его снизу



вверх и стягивать узел между лопатками. Я помню, как Билл каждое утро жаловался, что его затягивают слишком туго. Конечно, покамест мама возилась с ним, Джек и я торчали рядом, глазели и смеялись. Право, не знаю, туго его шинуровали или нет, но от сутулости он избавился.

Большинство невысоких мужчин ходят, откинувшись назад. Но, кроме дедушки, я не видел мужчины небольшого роста, который держался бы прямее Билла, и эту осанку он сохранил на всю жизнь. Мама знала, что делает.

Нельзя сказать, что мы были бедны. Мы просто не тратили зря денег. Расточительство считалось смертным грехом, и я до сих пор думаю, что оно таковым и является.

В те годы сорочек не носили. Во всяком случае, не носили их маленькие мальчики. Все мы ходили в блузах. Блуза похожа была на широкую и длинную рубаху, туго перепоясанную широким поясом. Верхняя часть такой одежды служила самым лучшим карманом на свете. Туда можно было засунуть даже учебник географии.

Конечно, мы запихивали в свои блузы не только школьные учебники. Мы прятали туда щенят, котят, зеленые яблоки, незрелые сливы и бог знает что еще.

После того как отец продал хлопкоочистительную мельницу и заводик по производству льда, новый владелец мельницы вывел сливную трубу холодильной установкой прямо в лес. Этот лес был любимым местом наших игр. Мы выкопали яму возле отверстия сливной трубы. Так что получился настоящий прудик размером примерно два метра на три. Вода в середине прудика доходила до шеи, больше нам и не нужно было. Летом мы проводили там большую часть дня, плавали и плескались.

Проглотив наспех обед, мы каждый день убегали в лес. В тот час, когда мы неслись вдоль пыльной Саус-стрит, жара достигала  $+35^{\circ}$  в тени. Обогнув усадьбу мисс Элен Бейли, мы, прежде чем пересечь Вторую Саус-стрит, останавливались на несколько минут, чтобы набить свои блузы зелеными яблоками и персиками из ее сада. А потом уже мчались к пруду.

Это было то самое место, мимо которого шла девушка, героиня «Солдатской награды», когда, попрощавшись на станции с солдатом, она возвращалась домой лесом. А брат ее разозлился на то, что она якобы подглядывала, как он и его приятели купаются голышом<sup>1</sup>. Билл и я в этом пруду выучились плавать. А Джек так и не научился. Не мог — и все тут!

Маму и отца мало заботило, что мы делаем целыми днями во время каникул.

Отец обучил нас тому, что знал сам как охотник. Мы умели рыбачить, охотиться и соблюдать осторожность в обращении с оружием. Единственно, что от нас требовалось, — не опаздывать к общей трапезе. Кроме того, полагалось предупреждать, что не вернешься домой вовремя, и говорить, куда идешь. Естественно, Билл, как старший, был нашим вожаком, Джек и я ему подчинялись. Впрочем, мы и сами умели делать все не хуже, чем он. Нужно сказать, что самые тяжелые травмы мы все трое получили не в лесу, а на спортивных полях и автострадах.

В лесу нам случалось напороться боковой ногой на колючий каштан, только и всего. Да еще Джек каждый год наедался до тошноты ядовитым плющом. А вот и Джек и я, мы сломали руки, заводя автомобиль. Билл сломал нос, когда играл в футбол (оттого-то у него нос с горбинкой), а мне перебили лодыжку во время бейсбольного матча.

Как только родители позволяли, мы сбрасывали обувь и ходили босиком. Отец верил старинной примете, что земля обязательно прогревается к пасхе. Поэтому, невзирая на погоду, на пасху мы снимали чулки и ботинки по дороге домой из воскресной школы. Наверное, старики были правы — никто из нас ни разу не простудился, хоть мы и разгуливали босиком.

Я думаю, что отцу эту примету сообщил дедушка. Сколько я помню, дед всегда менял зимнюю одежду на летнюю, а летнюю на зимнюю только в определенные числа. Он говорил, что предсказывать погоду он не способен, но смотреть в календарь умеет. Однако я помню, что иногда встречал дедушку в шапке с наушниками и в пальто поверх белого полотняного костюма. Так что в календарь-то он смотрел, но одевался не по календарю, а по погоде.

Нам казалось, что некоторым мальчикам разрешали снять башмаки раньше, чем нам. Они уже задолго до пасхи бегали босиком. Мы удивлялись и завидовали до тех пор, покамест Билл не выяснил, что им никто не разрешал разуться. Просто по дороге в школу они снимали чулки и ботинки, прятали их и обувались только по дороге домой.

Мы пробовали поступать так же, но я подвел братьев — влез в кровать, не вымыв ноги, как раз в ту минуту, когда мама вошла в нашу комнату. Она только глянула на мои пятки, и секрет наш был раскрыт. С тех пор мы не осмеливались снимать обувь раньше законного срока.

## ГЛАВА 9

Олдхэмы жили через два дома от нас. У них в семье было четверо детей: три девочки и мальчик, ровесник нашему Дину. Няньку его звали Миссии, она и наша Мамми быстро сделались закадычными по-

<sup>1</sup> Эпизод из романа пересказан не совсем точно.



другами. Пока мы, большие дети, играли в очередную игру, няньки гуляли с малышами. Дот было примерно столько же лет, сколько и мне, а Виктория, мы звали ее Точи, и Джек были сверстниками. Точи росла настоящим сорванцом. В любой игре я предпочитал иметь ее на своей стороне вместо любого мальчишки. Эстель, их старшая сестра, напоминала изящную куклу.

Маленькая, грациозная, хорошенькая, как фея, она никогда не принимала участия в наших забавах — ей совсем не нравилось ходить растерзанной и грязной. Все остальные — мальчишки и девочки — были просто товарищи, Эстель же отличалась от нас. Даже и я понимал, что она настоящая девочка. Уверен, что Биллу она понравилась с первого взгляда.

Билл из кожи лез, чтобы привлечь ее внимание. Он старался быть самым заметным, самым отважным. Но чем больше он старался, тем быстрее делался грязным, потным, лохматым и... неинтересным в глазах Эстель. Ей нравилось все красивое и изящное. А нас, когда мы играли в буйные свои игры, решительно нельзя было назвать милыми. Другие девочки в нашей компании высмеивали Эстель, они дразнили ее писклей и неженкой. Зато мальчишки старались пустить ей пыль в глаза и пыжились при ней изо всех сил.

Лишь однажды Эстель вошла в непосредственное соприкосновение с нашим миром. Не умея совсем ездить верхом, она вдруг отправилась в город на Леди, шотландском пони Точи. У всех ребят были свои пони, и верховая езда считалась у нас делом самым обыденным. Однако Эстель думала по-другому.

Мы играли во дворе у Олдхэмов и даже не заметили, что Эстель уехала. Но не прошло и пятнадцати минут, как девочка и пони вернулись. Леди прибежала обратно рысью, а Эстель, сидя в седле, захлебывалась от рыданий. Шляпа ее слетела с головы и держалась только на ленточке, завязанной под подбородком, кудри развевались. Леди вбежала во двор и остановилась за домом. Магнолия, кухарка Олдхэмов, выскочила на крыльцо, сняла Эстель с лошади и на руках внесла ее в дом.

Мы остолбенели. Никто из нас не мог взять в толк, что же так испугало Эстель? Нам в голову не пришло, что Леди вернулась домой по собственной воле. Мы решили, что Эстель увидела что-то страшное по дороге и поэтому повернула обратно. Только потом мы узнали, что Эстель перепугалась оттого, что Леди скачет так быстро.

Билл влюбился в Эстель еще мальчишкой. Когда ему минуло 20 лет, он потерял ее и только через десять лет обрел снова. Время, что они жили врозь, было несчаст-

ной, трагической интерлюдией в жизни обоих.

...Точи первой из нас купили велосипед, и все мы выучились кататься на нем во дворе у Олдхэмов. Майор Олдхэм занимал должность секретаря федерального суда в нашем городе и получал шесть тысяч долларов в год, жалованье невиданное в Оксфорде. Олдхэмы имели все, о чем только можно мечтать: детям покупали дорогие игрушки, а у самого майора был набор клюшек для гольфа.

Билл научился ездить на велосипеде раньше всех других ребят. Думаю, что именно врожденное чувство равновесия помогло Биллу уцелеть в первой мировой войне, когда он летал на самолетах «каamel». Более капризной машины, чем «каamel», вообще не было.

Наши немощные улицы годились не только для езды на велосипеде, мы играли на них в футбол и в бейсбол, а позднее отец познакомил нас здесь же с азами хоккея. Из-за этой игры Точи чуть не оторвала ухо Бадди Кингу и так рассекла голень Биллу, что у него остался шрам на всю жизнь. Точи сделала это не нарочно. Просто мы играли в хоккей, она была капитаном одной команды, а Билл — другой. Несколько дней мы играли самодельными клюшками, и тут Точи вспомнила про отцовские клюшки для гольфа и притащила одну из них.

Играли мы так. Поперек пыльной улицы прочерчивались линии ворот — две линии метрах в тридцати одна от другой. Посредине между ними кляли деревяшку — шайбу, и обе команды выстраивались позади своих ворот. Потом кто-нибудь считал: «Раз, два, три!» — и все игроки бросались к шайбе, размахивая клюшками. Однажды Точи и Билл столкнулись у заветной шайбы. Точи взмахнула рукой — раз! — и Билл с разбитой голенью посккал на одной ноге к боковой линии, она взмахнула клюшкой — два! — и Бадди припустился домой, прижимая рукой надорванное ухо. Нечего удивляться, что майор отобрал свои клюшки у дочери.

Осенью, по воскресеньям, если только погода была хорошей, отец брал нас в лес. Он любил лес и охоту и передал свою любовь нам. Во время прогулок отец вспоминал разные истории. Он был прекрасным рассказчиком. Мы хорошо запомнили его рассказы, а Билл лучше всех. Некоторые из историй отца целиком или частично вошли в романы и рассказы Билла о скитаниях и охоте. Каждый раз, перечитывая вещи Билла, я отчетливо вижу осенний лес, отца и трех маленьких мальчиков, которые с трудом поспевают за ним.

Охоту и природу Билл полюбил с самого детства. Он рос очень добрым мальчиком, никогда не убивал животных ради забавы, строго придерживался старинного

охотничьего правила — не оставлять в лесу подранков. Если ему случалось подбить птицу, скажем, повредить ей крыло, он прерывал охоту до тех пор, покуда мы не находили жертву и не избавляли ее от мучений. Однажды в сумерках мы так и не сумели найти подранка, и Билл вернулся в лес на следующее утро, чтобы разыскать несчастную птицу.

Дома у нас хранились охотничьи трофеи отца: коготь пантеры (эту большую кошку он застрелил в округе Типпах, откуда происходит наша семья) и перо орла — последнего в наших местах. Отец убил орла, потому что его попросил об этом приятель-фермер. Орел нападал на ягнят, овец и телят. Весной отец залег на склоне холма в засаде и застрелил орла в ту секунду, когда тот ринулся с неба на новорожденного ягненка. Перо из орлиного крыла отец сохранил как сувенир. А еще он рассказывал нам о последнем волке, которого видели в низовьях реки Талахатчи. В книгах Билла в его округе Йокнаптофа тоже течет река Талахатчи. Отец встретил волка в низовьях реки около охотничьей хижины Боба Кейна. Отец частенько охотился в тех местах. В тот раз он стрелял белок и подошел к узенькому болотцу, через которое было переброшено бревно; и как только отец ступил на бревно, на другом его конце появился волк. Балансируя на качающемся бревне, отец быстро поднял ружье, но, прежде чем он успел выстрелить, волк исчез. Большой серый зверь, последний волк, которого видели в нашей дельте.

В те годы дельта нашей реки была вся покрыта девственным лесом: высоченными камедными деревьями, дубами и кипарисами — точь-в-точь как в «Медведе». Правда, к тому времени, когда Билл вырос и начал охотиться на оленей, наши леса уже почти свели. Но все равно здесь, на берегах Талахатчи, приобщился Билл к настоящей охоте. И хотя материал для повести «Медведь» ему пришлось собирать во время поездок в дельту Миссисипи, замысел «Медведя» возник у него на берегах нашей Талахатчи.

Первые артели лесорубов появились в наших краях, заключив контракт с фирмами, которые поставляют виски. Небольшие артели лесорубов-славян странствовали по округе и рубили на доски и клепку для бочек специальные твердые породы деревьев. Отец наш состоял членом клуба, которому принадлежал охотничий домик в устье реки Типпах — там, где она впадает в Талахатчи. Сколько я себя помню, отец всегда брал нас туда на охоту. Во время этих поездок мы видели славян-лесорубов и их лагерь в устье реки, где они заготавливали доски для бочек, но рубили они лишь отдельные деревья, так что это было почти незаметно.



У. Фолкнер.

А вот когда появились лесопилки, в нашем округе распилили все, из чего можно сделать хоть подобие доски. И природа стала отступать все дальше от наших мест туда, где массивы нетронутого строевого леса все еще покрывают дельту Миссисипи.

Дельта эта расположена в тридцати километрах к западу от наших мест. Холмистое плато круто обрывается, образуя откос метров в пятнадцать высотой, за которым начинается плоская равнина, раскинувшаяся в устье реки на добрую сотню километров. Здесь, под Бейтесвиллом, в охотничьем домике генерала Стоуна, Билл в первый раз охотился на оленей и медведей и стрелял диких индейек.

В тех местах проходила узкоколейка. Это там молодой медведь, заслышав паровозный свисток, влез на дерево и сидел на ветке несколько суток, так как испугался паровозика, сновавшего взад и вперед по рельсам. И тогда паровоз остановили и не пускали его до тех пор, пока мишка не набрался храбрости и не слез с дерева. Случай на узкоколейке описан в «Медведе». Но и эти леса вырубали все глубже и глубже, пока на их месте не остался один треугольник. Про все это Билл рассказывал в романе «Осень в дельте».

Свою охотничью карьеру мы начинали с кроликов, которые шли в общий котел. Для охоты на кроликов отец подарил нам двух гончих, но Билл нечаянно застрелил одну из них. Он тотчас же швырнул ружье на землю, а собаку понес на руках. Дойдя до дому, он положил песика на порог, а сам ушел в свою комнату, заперся на ключ и плакал там. Биллу тогда было лет четыр-





В Европе.

надцать-пятнадцать. С того дня он не брал в руки ружья, и только когда стал взрослым, снова начал охотиться на оленей в окрестностях Бейтесвилла.

В те времена, когда Билл убил собаку, нашим доктором был мистер Линдер. Он переехал в Оксфорд из округа Панола, где владел крупным участком земли и большой фермой. Жена его умерла и оставила ему четверых ребятишек: девочку и трех мальчиков. Доктор купил дом в южной части города, мы там часто играли и познакомились с его детьми.

Мальчики были примерно нашего возраста, девочка постарше. Она заменяла мать троим братьям, да и к нам относилась по-матерински. Помню, как она опекала нас, когда мы играли возле их дома, — совсем как наша мама на нашем дворе.

Джек не особенно интересовался охотой. Зато я и Билл начали охотиться очень рано. Чаще всего мы охотились с мальчиками Линдерами у них на ферме. Билл очень подружился с Дьюи Линдером.

Свободны мы бывали только в пятницу вечером. Даже когда появилось кино, нас отпускали смотреть фильмы по пятницам. Все остальные вечера нам полагалось готовить уроки. Зато в пятницу Билл и Дьюи не расставались. Одну неделю Дьюи ночевал у нас, другую неделю Билл — у Линдеров. Кроме того, они виделись каждый день в школе. И конечно, как только отец подарил нам гончих, Билл и Дьюи решили пойти на охоту.

В тот день Билл, вернувшись из школы, оставил дома учебники, прихватил

ружье и собак и вместе с Дьюи, который поджидал его на улице, зашагал к дому Линдеров. Там Дьюи тоже взял свое ружье, и они направились в лес. Не успели мальчики пересечь дорогу, как собаки подняли кролика.

Билл и Дьюи бросились к канаве, по направлению к которой собаки гнали кролика.

Он выпрыгнул из рва возле Билла, но, заметив человека, нырнул обратно. Подбежал Дьюи. Гончие то выскакивали из канавы, то бросались в нее снова. Собаки гнали кролика по тинистому дну канавы, а Билл и Дьюи мчались следом по краю.

— Смотри не прозевай, когда он выпрыгнет! — крикнул Дьюи Биллу.

Как только кролик показался на противоположной стороне канавы, Билл, проскользив с разбегу несколько метров по земле, остановился, поднял ружье, прицелился, нажал на спусковой крючок и... застрелил пса. Гончая выскочила из канавы прямо под выстрел. Собака даже не взвизгнула: заряд попал ей в затылок.

Билл отшвырнул ружье, подхватил собаку на руки и побежал домой. Дьюи подобрал брошенное ружье и, не выпуская Билла из виду, побежал следом за ним. Однако он не зашел к нам в тот вечер. На другой день по дороге в школу он занес Биллу ружье.

Первое охотничье ружье Билла! Бескурковая двустволка со стволами из дамасской стали длиной в двадцать восемь дюймов. Отец подарил его Биллу в день, когда тому исполнилось двенадцать лет. В те годы такая двустволка считалась прекрасным ружьем. Но со дня той злополучной охоты, о которой идет речь, Билл не прикасался больше к своему ружью, и оно по наследству перешло ко мне.

Однако когда ружье попало в мои руки, стволы его были уже на два дюйма короче, потому что Джоби, негр дяди Джона, в один прекрасный день отстрелил кусочек ствола вместе с большим пальцем собственной ноги. А когда оружейник починил ружье, стволы его укоротились на два дюйма. В жизни не было у меня ружья лучше.

После того как Билл чуть не выбросил свое ружье, оно больше года провисело в чулане. Но однажды дядя Джон попросил его для своего негра Джоби. В какой-то момент своей жизни Джоби возмечтал о делах более значительных, чем стрижка газона, работа в саду и заготовка дров, и поступил работать на железную дорогу... Там довольно скоро он попал рукой в сцепление, и ее оторвало ему по локоть. Конечно, Джоби немедленно сообщил обо всем дяде Джону, и тот привез его домой.

Вдвоем они соорудили для негра нечто вроде протеза — рычаг, заменивший Джоби

потерянную руку, после чего тот вернулся к своим прежним обязанностям. С помощью своего протеза Джоби смог управляться с тачкой и уверенно орудовал мотыгой, лопатой и топором. А еще он сумел стать бутлегером в своей округе и так хорошо справлялся одной рукой с незаконной продажей виски, как другому не управиться и двумя. Кроме того, несчастье Джоби вызывало всеобщее сочувствие; и если он даже попался на продаже спиртного, его всегда отпускали. Но, видно, мало ему было этих дел, он еще вздумал поохотиться. И дядя Джон одолжил у нас двустволку Билла. Так как Джоби потерял левую руку, он вынужден был ружье носить правой. Кроме того, ему ни разу не доводилось иметь дело с бескурковым ружьем. Дядя Джон объяснил Джоби, что заряженное бескурковое ружье все время стоит на взводе, и показал, как пользоваться предохранителем. Предохранитель полагается отжимать большим пальцем, а указательный в это время лежит на спусковом крючке.

Дядя наказал Джоби не трогать спускового крючка попусту и не прикасаться к предохранителю до того момента, пока не возникнет необходимость произвести выстрел. Джоби сказал «У-гум» и немедленно несколько раз подряд отжал предохранитель. Дядя Джон прикрикнул на него.

Охотились они верхом, но, ожидая, пока гончие поднимут дичь, спешились. Джоби тотчас же упер конец двустволки в палец ноги и, положив руку на спусковой крючок, начал двигать предохранитель вверх и вниз.

— Джоби, кому говорят, оставь предохранитель в покое, сколько раз тебе говорить!

— У-гум.

— И сними ружье с ноги!

— У-гум.

Тут Джоби приподнял ружье и отстрелил себе палец.

Дядя Джон посадил его на свою лошадь, сам пересел на лошадь Джоби и повез негра в город. А забрались они в глубь леса миль на шесть. Время от времени дядя Джон спрашивал Джоби, как его нога. Негр отвечал, что нога онемела, но перед самым городом вдруг заявил, что с ногой все в порядке.

Оружейный мастер отпилил кончики стволов, и Джоби еще несколько раз охотился с этим ружьем. Ружье было легкое, и управляться с ним было просто. Конечно, с тех самых пор Джоби предохранитель зря не трогал.

Билл описал Джоби в нескольких рассказах. Он изобразил его бутлегером. И Джоби обиделся. Он считал, что Билл оскорбил его, написав, что он продает скверное виски. Джоби это очень не понравилось.



В рабочем кабинете.

## ГЛАВА 10

А следующей весной мы построили аэроплан.

Эту идею Билл тоже почерпнул из журнала «Американский мальчик», где были напечатаны рисунки аэроплана и инструкция, как его сделать. Мы построили аэроплан. И Билл пролетел в нем то расстояние, на которое Мэллорри и Дуллею удалось забросить его. Они швырнули аэроплан с Биллом с края песчаного карьера, расположенного рядом с нашим участком.

Не знаю, сумели бы мы осилить такое дело, как сооружение аэроплана, если бы не мамыны колышки для фасоли. Ведь сначала, когда Билл получил журнал с авиационной статьей, он спокойно отложил его в сторону. И лишь через несколько месяцев, наткнувшись случайно на эти палки, он снова вспомнил об аэроплане.

Четырехгранные колья для фасоли хранились в старом сарае. Все они были совершенно одинаковые. Мама очень берегла эти колышки и каждый год заставляла нас аккуратно их складывать и убирать на зиму.

А отец наш, в свою очередь, хранил дома полный набор инструментов для всяких поделок и починок. Так что мы быстро добыли молоток, пилу, гвозди и прочее. Билл разыскал номер «Американского мальчика» со статьей об аэроплане, и работа закипела. Когда мы переехали в наш дом, на участке стоял старый коровник. Отец вскоре построил новый, а старый превратил в сарай и складывал туда разные вещи. Сарай этот служил нам обычно



убежищем для игр во время дождя, и мы легко превратили его в мастерскую для постройки самолета. Аэроплан наш получился почти таких же размеров, как настоящий, чуть-чуть поменьше. Мы пилили, резали, сколачивали и сделали корпус точно так, как это было изображено на рисунках в журнале. Готовый корпус мы оклеили старыми газетами, промазанными мучным клейстером. Летом из таких газет мы делали воздушных змеев. Почему же не приспособить их и для аэроплана? Сначала муку разводят в воде, получают пасту и промазывают ею газеты. Паста быстро высыхает, и бумага становится твердой. Наши змеи, полетав на солнышке раз или два, подсыхали и летали прекрасно. И потому мы решили, что газета, промазанная мукой, — идеальный материал для крыльев.

Закончив постройку аэроплана, мы обнаружили, что не сможем вынести его из сарая, потому что он не проходит в дверь. Тогда мы разобрали готовую модель на части и заново собрали ее уже на открытом воздухе во дворе под навесом. Когда мы крепили к корпусу крылья, лонжероны и главные части фюзеляжа, один работал молотком и стамеской, двое других держали длинную деталь за концы, а Билл с журналом в руках стоял рядом и читал нам вслух соответствующий параграф инструкции.

Отцовские негры, поняв, что именно мы строим, необыкновенно заинтересовались нашей работой. Каждый вечер, пригнав из города лошадей и покормив их, они приходили к навесу и, облокотившись на изгородь, восхищались всем, что мы успели сделать за день. Я хорошо помню этих негров. Многие из них появились потом на страницах рассказов Билла: Минк и Джесси Хейс жили на нашем выгоне; Мэллорри — тот, что умер, выпив по ошибке древесный спирт; Дуллей, которого прозвали «Не пора ли выпить пива?» за то, что он все время повторял эту присказку.

Место для запуска аэроплана — край песчаного карьера трехметровой глубины, который начинался сразу за нашим участком, — Билл выбрал заранее, еще до того, как мы закончили свою работу. Он объяснил нам, что такой глубины должно хватить для того, чтобы пилот, находящийся внутри аэроплана, падая в карьер, успел набрать скорость, необходимую для управления самолетом в полете. Мы не стали возражать Биллу, полагая, что он лучше нас разбирается в законах самолетовождения, — ведь журнал с авиационной статьей принадлежал ему. Было решено, что аэроплан с Биллом запустят, подбросив вверх, наши негры. Он, как руководитель полета, заявил права на первый полет, и мы сочли его требование справедливым.

И наконец наступил вечер, когда Мэллорри и Дуллей, взяв аэроплан за концы

крыльев, перенесли его на задний двор. Минк шел позади и поддерживал хвост. Билл, Джек, Салли Мюррей и я бежали за ним, а негры следовали за нами. Так мы дошли до места. Билл, приказав опустить аэроплан на землю, еще раз объяснил нам, что именно он собирается делать, и показал траекторию предстоящего полета. Негры подбросят его машину, а он, опустив нос аэроплана к земле, наберет скорость и, повторяя очертания песчаной ямы, развернется, опишет круг и приземлится на том самом месте, откуда начал полет. Затем наступит очередь Джека — он второй по старшинству; третьей будет Салли Мюррей — она хоть и девочка, но все равно она старше меня. Потом уже полечу я.

Билл сел в аэроплан, привязал себя к сиденью и ухватился руками за распорки. И сказал, что он готов. Мэллорри и Дуллей осторожно подняли аэроплан за кончики крыльев и начали раскачивать его взад и вперед, приговаривая: «Раз-два-три, раз-два-три». Тут Дуллей добавил: «Не пора ли выпить пива?» — и негры подбросили аэроплан вверх над ямой — аэроплан минус кончики крыльев, которые так и остались у них в руках. Аэроплан поднялся вверх на несколько футов и описал начало петли. На фоне неба мы увидели Билла, перевернувшегося вниз головой. И тут аэроплан начал разваливаться на части: раздался треск, и Билл в вихре газетной бумаги и обломков дерева приземлился головой вниз на дно песчаной ямы.

Я и сейчас как живого вижу Джесси. Вот он свесился над краем ямы и смотрит на Билла: «Мемми, ты не ушибся?»

Нет, он не ушибся. Падение с трехметровой высоты в кучу песка не слишком опасно. Билл отряхнул с себя остатки аэроплана и, мрачный, выбрался наверх, к нам. Вся наша четверка постояла немного на месте, созерцая развалившийся аэроплан, затем мы дружно повернулись и побрели к дому — подходило время ужина. Вслед за нами разошлись и негры.

Билл никогда не был забиякой. Я помню лишь четыре драки с его участием. Дважды он дрался у нас на заднем дворе с Бадди Кингом. Не могу толком припомнить, что послужило тому причиной.

Один раз, кажется, Бадди набросился на меня, а так как я был тогда еще маленьким, Билл встал на мою защиту и победил. Помню, как Бадди — это было в сумерках — перелез через забор на свой выгон и ушел домой. А после второй драки первым ушел Билл: видно, в этот раз проиграл он. Столкновения эти никак не отразились на их дружбе. Кстати, Бадди и Билл играли в одной команде и в тот день, когда Точи высекала их обоих стеблями канны, а случилось это как раз вскоре

после тех двух драк и незадолго до того, как Кинги уехали, а в их доме поселился новый проповедник — мистер Аткинсон, его жена, миссис Аткинсон, скромная, тихая женщина, и их дети, двое мальчиков и девочка. Мальчиков звали Роберт и Кертис, а девочку Маргарет. Кормилица наша называла ее Маргарет Акши, а всю семью Аткинсонов — Акшны. Однако мы понимали, о ком идет речь.

Мистер Аткинсон был большой, добродушный и шумный. Он всегда одевался во все черное; и только когда, засучив рукава, возился по хозяйству, снимал воротничок и галстук. В тот вечер, когда мы с Биллом поставили у себя во дворе турник, новый проповедник как раз стоял и смотрел на нас, облокотившись на забор.

В нашей школе было два турника — большой и маленький. И, как все наши спортивные принадлежности, турники эти были сделаны кустарно. На уроках гимнастики мы уже научились делать соскок с салто вперед и назад и крутить «солнышко».

Билл очень любил гимнастику и был в ней одним из первых в школе. Я тоже любил упражнения на снарядах, и потому мы решили оборудовать турник у себя во дворе.

Однако у нас дома не нашлось куска трубы, из которой можно было бы сделать перекладину. Поэтому как-то вечером после школы Билл и я захватили топор и отправились в лес. Мы срубили молодое деревце, очистили его от коры и принесли домой. Около сарая под навесом лежали столбы для починки забора. Мы взяли такой столб и вкопали его в землю в полутора метрах от большого кедра, что рос неподалеку от задней веранды. Один конец деревянной перекладины мы уложили в развилку дерева, а второй Билл приколотил гвоздями к верхушке столба. Пока Билл орудовал молотком, я держал жердь, чтобы она не отходила. А рядом, без лиджака, сложив руки на груди, стоял мистер Аткинсон. Он облокотился на верхнюю планку забора и наблюдал за нами. Когда мы кончили работать и Билл решил испытать новый турник, уже начало смеркаться. Сперва он подтянулся несколько раз и повисел на перекладине, проверяя ее прочность. Убедившись, что все было в порядке, он перекинул через перекладину ноги и повис вниз головой.

Билл начал осторожно раскачиваться на согнутых ногах. Осмелев, он раскачивался все сильнее и, наконец, вышел почти в горизонтальное положение, ему оставалось качнуться еще один раз, сделать салто и прыгнуть на землю. Однако закончить упражнение Билл не смог, потому что именно в эту минуту столб, на котором была укреплена перекладина, рухнул. Билл упал плашмя, стукнувшись грудью о землю.

«А-ах!» — вскрикнул он страшным голосом и остался недвижим. Я окаменел от испуга. Мне показалось, что брат расшибся насмерть.

Сумерки сгустились. Мистер Аткинсон неуклюже метался за забором, стараясь припомнить, где же тут калитка. Наконец он выбрался на наш двор, подбежал к Биллу, схватил его на руки и понес в дом. А я, все еще не в силах произнести хоть слово от страха, потащился следом за ними.

На самом деле Билл не расшибся до смерти, у него только перехватило дыхание. И поэтому он не мог ни говорить, ни двигаться. Билл пришел в себя уже по дороге к дому. Однако до мамы, видно, уже что-то дошло. Она встретила нас у дверей и держала их открытыми, пока мистер Аткинсон входил в дом. Сосед положил Билла на кровать, но тот тотчас встал. К нему возвратилось дыхание.

Я думаю, что мистер Аткинсон испугался не меньше меня. Он стоял белый как полотно. Мама, разумеется, поблагодарила его. Она как раз пекла пирог. Усадив мистера Аткинсона в столовую, мама отрезала ему кусок пирога и принесла стакан молока. И конечно, мы с Биллом тоже получили по куску горячего пирога, прямо из печи.

Во время этого происшествия Джека не было дома. Все свободное время он проводил в оружейной мастерской мистера Джона Баффало и смотрел, как тот собирает автомобиль. Билл не очень интересовался автомобилями, но и он частенько окопывался в мастерской, потому что любил оружие. В одной из своих книг Билл описал мистера Баффало. Он сделал из него одержимого мечтателя, который сам построил автомобиль и по мере надобности изобретал и изготавливал для него новые части и детали.

Джон Баффало кончил собирать автомобиль, на который ходил смотреть Джек, и машина поехала, он покатал в ней и нас с Джеком. Но отец перепугался до смерти и высек нас, так как был уверен, что мистер Джон непременно угробит себя и всякого, кто сядет в его машину. Вот тогда-то наш дед и добился, чтобы муниципалитет Оксфорда провел закон, запрещающий ездить на этой и любой другой машине в пределах нашего города, якобы потому, что автомобиль мистера Джона пугает лошадей. Этот указ все еще числится в списках действующих постановлений нашего муниципалитета по той простой причине, что его так никогда и не отменяли.

Когда жители Оксфорда начали обзаводиться первыми автомобилями, дедушка в качестве владельца банка отказывал им в ссуде. Но в 1912 году он сам купил «бьюик» и нанял в шоферы Чеса Каррузера, и с этих пор взгляды его на роль автотранспорта заметно изменились.



## ГЛАВА 11

Осенью в нашем городе обычно открывалась окружная ярмарка. Ярмарку разбивали на главной городской площади, которая тогда была еще очень грязной, но нам и в голову не приходило, что ее можно заасфальтировать. К тому времени в Оксфорде появились лишь первые бетонированные дорожки. Бетон считался новинкой. Некоторые называли его формовочным камнем. А песок, цемент и щебень смешивали вручную.

Старый Каллен — он жил в южной части Оксфорда — первым понял, что такое бетон, и очень долго оставался единственным поставщиком дорожных покрытий в городе. Это он замостил наши тротуары в 1909 году. До сих пор под ногами еще можно кое-где разглядеть надпись: «А. Б. Каллен, 1909». Дело свое Каллен завещал сыновьям. Позже подпись изменилась: «А. Б. Каллен и сыновья».

Дженкс и Джон изучали дело с азов, сами работали вместе с неграми старого Каллена, сгребали песок и щебень, перемешивали их и выкладывали мокрую массу наравне с рабочими. Правильные, крепкие парни, сперва они научились работать с бетоном, а потом уже начали заключать контракты на его поставку.

В дни моего детства город наш был намного красивее, чем теперь. Во всяком случае, я так считаю.

Я имею в виду прежде всего главную площадь. Тогда ее окаймляли двухэтажные лавки с балконами. Балконы эти выдавались над пешеходной дорожкой, образуя как бы навес. Вдоль дорожки росли ели, кроны их давали густую тень, под которыми можно было укрыться от жары летом. Посреди восьмиугольной лужайки высилось здание муниципалитета, выстроенное в готическом стиле и обнесенное железной решеткой. Возле решетки стояли врытые в землю столбы с цепями, к которым привязывали лошадей.

Теперь к зданию муниципалитета пристроили флигеля, решетка исчезла. Давным-давно убрали и столбы с цепями, и площадь ныне заасфальтирована. На некоторых домах торчат узенькие алюминиевые балкончики, и почти все магазины сверкают стеклянными фасадами. Уже много лет назад срублены старые елки, не стало на площади и цементированных канавок с проточной водой. Очень сильно изменилась наша площадь. Я почему-то больше любил ее прежде.

Я уже говорил, что мистер Каллен провел на площади две сточные канавки. Это было сделано по распоряжению городского управления для удобства фермеров, приезжавших в своих фургонах в город на воскресные дни. Среди зерна, просыпанного во время кормежки лошадей, блаженствова-

ли голуби. Мальчишки ловили их. Расставив свои ловушки и зажав в руке конец бечевки, мы отходили подальше, ложились на землю и ждали. Когда голубь заходил в ловушку, мы тянули за конец бечевки и выдергивали палочку из-под ящичка. Ящик падал, а мы хватили голубя, мчались домой и сажали его в клетку.

Сосед обещал нам платить по два доллара за каждого птенца, родившегося на нашей голубятне, но нам так и не удалось вывести хотя бы одного. Взрослые говорили, что если продержат голубя в клетке две недели, то он непременно останется в новой голубятне. Однако пойманные голуби не оставались у нас никогда. Вылетев из голубятни, они сразу же устремлялись к прежнему своему дому. Но мы не отступали и не прекращали своих попыток их вернуть.

Во время ярмарки на площади выставляли ларьки. В них фермеры выставляли самые спелые початки кукурузы и самые большие клубни картофеля, а их жены демонстрировали пироги и банки с джемом и консервированными овощами.

Вдоль пешеходной дорожки выстраивались карнавальные балаганы. И каждый раз на ярмарке появлялась женщина — заклидательница змей и дикий человек с Борнео, которого английский путешественник поймал в сеть. Картина, на которой была изображена сцена его пленения, украшала фасад балагана. Мы глазели на картину, верили ей и отдавали наши десятицентовики, чтобы войти внутрь и поглядеть на пленника. Дикарь, прикованный за ногу цепью, сидел на стуле с тростниковым сиденьем и глотал кости, разбросанные вокруг.

И еще мы любили аттракционы. Там можно было выиграть разные вещи, набрасывая обручи на костыли или накрывая раскрашенный круг пятью цветными дисками. Мы с Джеком готовы были обойти все балаганы подряд и вязывались в любую игру. Совсем не так вел себя на ярмарке Билл. Послушает зазывалу, испробует один-другой аттракцион — и все. Отец давал нам деньги на развлечения. Однако Билл предпочитал припрятать ярмарочные деньги, чтобы можно было потом распорядиться ими по своему усмотрению. Не помню случая, чтобы в нужную минуту у него не нашлось какой-нибудь заначки.

А в среду на ярмарке устраивали детский день, в который школа закрывалась. Потом мы учились еще два дня, а там наступала суббота — ярмарка закрывалась, и в воскресенье мы снова были свободны. Суббота считалась самым главным днем ярмарки. На этот день назначался полет на воздушном шаре. Человека, который подымался на шаре, мы называли «шарист». Больше всего на свете мы боялись прозевать сцену его гибели. Авиаторов

в те времена считали сумасшедшими. Даже в детских журналах их рисовали не иначе, как рядом со смертью, которая держит косу в руке. Все мы были уверены, что рано или поздно каждый из них разобьется насмерть. Многие и вправду разбивались. Мы же считали, что только круглый дурак может согласиться оторваться от земли. Ну а если кто-то упорно желает быть дураком, мы не видели оснований не присутствовать при его гибели, — пусть получает то заслугам.

«Шарист» и его помощник негр появились на площади часов в восемь утра. В повозке у них лежал сверток грязного брезента — будущий шар. Ворча и проклиная все на свете, они сбрасывали брезент на землю и принимались сооружать деревянную раму, на которую натягивали пустой брезентовый мешок. Потом негр приносил двадцатилитровое ведро дегтя, черпак и металлическую жаровню, полную раскаленных углей, и вскоре внутри мешка загоралось тоненькое пламя, вспыхивал маленький костер. А после того, как «шарист» выплескивал деготь на тлеющие угли, пламя разгоралось сильнее.

Целый день горел огонь под решеткой, и постепенно мешок наполнялся горячим воздухом, превращаясь в шар. Много часов подряд простаивали мы на площади, наблюдая за заправкой воздушного шара, — и Билл всегда оказывался самым терпеливым из нас. Поглядеть на шар приходили почти все дети, а с ними прибегали и их любимые собаки. Все ребята то отходили от шара, то возвращались к нему, и только Билл стоял как вкопанный. На моей памяти он лишь раз отошел от шара — сбежал домой, быстренько пообедал и вернулся на свое место.

Шар надували почти целый день. Часам к десяти утра брезент над рамой начинал пузыриться, раскачиваться и принимал овальную форму. Наконец из-под рамы вылезал «шарист», грязный, закопченный, с глазами, покрасневшими от дыма. Он протягивал нам веревки, швартовые концы, привязанные к армированному верху мешка. Мы выстраивались вокруг шара, и каждый держал конец своей веревки. Так мы стояли долго-долго, а шар тем временем разбухал, становился гладким и показывался над нами.

Примерно к полудню брезентовый мешок раздувался настолько, что «шарист» мог стоять в нем во весь рост. Мы отчетливо видели его силуэт при вспышках дегтя, который он лил черпаком на жаровню, время от времени поднося к губам бутылку. Чем полнее становился шар, тем чаще «шарист» прикладывался к бутылке. Одной ему обычно не хватало. Тогда наш авиатор выныривал из-под брезента и посылал негра за второй бутылкой, а потом за третьей.

Часам к четырем мы с трудом удерживали шар, который уже рвался у нас из рук. Наступало время полета. «Шарист» выходил из-под мешка в последний раз. От угля и дыма он становился почти черным, глаза его наливались кровью и слезились, и весь он был покрыт слоем копоти. Но все равно в жизни своей я не встречал человека спокойнее и увереннее. Взглянув на нас, он говорил: «А ну-ка подойдите ближе», — и манил нас рукой.

Мы знали, что теперь нам надо медленно двигаться вперед, и что по мере нашего приближения шар будет подниматься все выше и выше, откуда палка, привязанная ко дну шара двумя веревками, наподобие гимнастической трапеции, не подымется до уровня колен «шариста». Тут он останавливал нас и говорил: «А теперь держите его». И мы, напрягая мускулы изо всех сил, держали шар, не сводя глаз с пилота, чтобы по первому его слову отпустить веревки.

Тем временем «шарист» надевал парашют, продавая ноги и руки в его стропы. Сам же парашют, упакованный в специальный чехол, он привязывал к палке, на которой сидел во время полета. Чехол был затянут специальным шнуром, дернув за который пилот сбрасывал его и освобождал парашют перед прыжком. Укрепив парашют, «шарист» аккуратно усаживался на перекладину, привязанную к шару, следя за тем, чтобы она висела ровно. Устроившись поудобнее, он дотягивался рукой до строп, соединявших его трапецию с шаром, и сжимал их пальцами намертво. Затем, упершись ногами в землю, он обводил нас взглядом лихорадочно блестящих глаз, красных, как у дьявола, и трагическим голосом подавал команду: «Поехал! Отпускайте, мальчики!» Мы разжимали ладони и отпрыгивали назад. А потом, запрокинув головы и вытягивая шеи, следили за полетом шара, стараясь заметить, в какую сторону понесет его ветер, когда шар поднимется над верхушками елей. Определив направление полета, мы мчались вдогонку за шаром, чтобы увидеть, как приземлится смельчак на своем парашюте или как он разобьется, если не раскроется парашют.

Команду, когда бежать, всегда подавал Билл. И хотя мы так же, как он видели, куда понесло воздушный шар, мы всегда честно ждали, чтобы Билл указал нам верное направление. Ведь он знал о воздушных полетах больше нашего, потому что читал о них в «Американском мальчике». Шар быстро набирал высоту, достаточную для того, чтобы парашютист, соскочив с перекладины, на которой он сидел, дернул за кольцо, раскрыл парашют и плавно спустился на землю. Мы же тем временем бежали вдогонку, не спуская глаз с шара, кричали, махали руками и тыкали пальца-



ми в сторону уплывающего шара. Вскоре от шара отделилась маленькая точка, и позади этой точки расцветал большой белый цветок. Нас собиралось мальчишек пятьдесят, если не сто, и все мы мчались вслед за исчезающим шаром.

Освободившись от тяжести человека, шар перевортывался вверх тормашками, и за ним в осеннем небе тянулся длинный черный хвост дыма. Обычно шар падал неподалеку от того места, где приземлялся парашютист.

Все это мы замечали на бегу, но по-настоящему мы следили только за человеком. Нам ни разу не удалось обогнать шар и добежать до нужного места вовремя. Прибегали мы обычно, когда наш «шарист» был еще в стропах и, ругаясь, потому что он был уже слишком пьян и не совсем понимал, что делает, старался высвободиться из парашютных лямок. Казалось, стоило пилоту коснуться земли, как алкоголь тотчас же ударял ему в голову.

Помню, как однажды Билл привел нас в чащу, где приземлился «шарист», и попытался помочь ему выпутаться из стропа. Но тот отбивался от него руками и ногами. Обычно вслед за нами к месту, где приземлялся парашютист, подъезжал кабриолет, в котором сидел кто-нибудь из белых и негр — помощник «шариста». Они набрасывались на пьяного, вынимали его из парашютных стропа, засовывали в кабриолет и во весь опор уносились прочь, прежде чем успел бы появиться представитель закона и арестовать парашютиста за нарушение общественного порядка. Негр-помощник оставался, чтобы подобрать парашют и скатать пустой мешок.

В один прекрасный день «шарист» приземлился на нашем дворе, а его шар упал на отцовский курятник. Шар опустился на загородку, за которой мы держали цыплят (они только что уселись на насест), и накрыл их, как крышей. Из-за этого наш отец застрелил свинью — всадил ей пулю прямо между глаз.

В тот день стояла безветренная погода, серое небо затянули низкие облака. Прошло несколько секунд, прежде чем мы поняли, куда поплыл воздушный шар, и ринулись вслед за ним. Его несло к Саустрит, прямо на наш дом. Как только человек отцепился от шара, шар перевернулся вверх дном и, точно свинцовое грузило, пошел на землю. Мы увидели, что парашютист спустился во двор, а шар упал неподалеку.

Когда мы прибежали в наш двор, уже стемнело. «Шарист» стоял, пошатываясь, на земле и сквернословил. Шар накрыл крышу курятника. Цыплята негодующе пищали и разбегались в разные стороны. Некоторых мы так и не нашли. Остальные дня через три оправились от перенесенного потрясения и вернулись домой.

Сам же авиатор угодил в загон для свиней. Свиньи сбились в кучу в самом дальнем углу и жалобно визжали.

Отец только-только вернулся с работы и вдруг услышал шум на заднем дворе. Он выскочил из дома через кухонную дверь и увидел, что штук сорок мальчишек штурмуют наш свиной загон. Некоторые уже висели на ограде, другие карабкались на нее. А в загоне барахтался человек, стараясь выпутаться из парашютных стропа. Пронзительно кудахтая, носились куры, верещали свиньи и сквернословил незнакомец. Отец прикрикнул на него и приказал замолчать, ведь мама могла услышать его брань из кухни. Однако парашютист не обратил на отца никакого внимания. Тогда отец повернулся и бросился в дом. Возвратился он с револьвером.

Это был его «кольт-41», однозарядный, с серебряной насечкой на рукоятке и очень длинным стволом, длиннее я никогда не видел. Хотя сумерки уже наступили, все равно было видно, как поблескивал кольт в отцовской руке, когда он, широко шагая, шел через задний двор к свиному загону. Тем временем с ярмарки уже прибежали двое. Один из них, белый, подошел к отцу, пытаясь успокоить его. Другой, негр, помощник «шариста», тянул к повозке своего хозяина, который уже освободился от легкой сбруи. А мы, мальчишки, стояли тихо-претихо и слушали, как человек с ярмарки разговаривает с нашим отцом, который держит в руках револьвер.

В повозке «шарист» мирно и тихо заснул. Отец тоже остыл немного. Да тут еще этот чужой белый пообещал возместить убытки, если только отец согласится оставить дело без последствий.

Негр топтался нерешительно возле калитки. Вид разгневанного отца был ему явно не по душе. Наконец негр тоже вошел в загон и начал возиться с шаром. Он пытался отцепить брезент от крыши курятника и скатать его. В конце концов отец кликнул наших негров, они свернули брезент и погрузили его на повозку.

Все мальчишки, которые вместе с нами примчались смотреть на шар, разбредлись по домам, и во дворе остались лишь Билл, Джек, я и отец. Отец стоял, опустив руки, — в правой он все еще держал заряженный кольт и оглядывал продавленную крышу курятника, белые птичьи перья, усыпавшие землю, и свиней, сбившихся в кучу в дальнем углу загона. Мы тоже притихли.

И в эту самую минуту свинья — та, что поменьше, подошла сзади к отцу, подняла кверху розовый пяточок и хрюкнула громко. Отец круто повернулся, поднял пистолет и выстрелил в нее, попав прямо между глаз. Выстрелил и замер, уставившись на мертвую свинью.

Никогда не забуду этой картины: три маленьких мальчика стоят в сумерках посреди опустевшего двора и, широко раскрыв глаза, глядят на отца, сжимающего в руке длинный блестящий кольт. Его довели до белого каления. Вот он и пристрелил свинью: видно, не мог больше вынести...

...В том году кончилось детство Билла. Еще зимой мама заметила, что он начал сутулиться, и надела на него лечебный корсет. И жизнь его круто переменялась, потому что он не мог принимать участие в наших буйных играх. Зато Билл обнаружил, что можно быть всегда чистым и аккуратным, а чтобы занять себя, вовсе не обязательно возиться в грязи. Он научился развлекаться по-другому. Оказалось, что Эстель он нравится гораздо больше, когда на нем чистый костюм, и слушает она его тоже с удовольствием. Билл неожиданно узнал, что он умеет увлекательно рассказывать. Он все больше и больше времени проводил в доме Эстель, сопровождал ее повсюду, разговаривал с ней и слушал ее игру на фортепьяно. Она уже тогда была хорошей музыкантшей.

## ГЛАВА 13

Наша бабушка с материнской стороны, несомненно, обладала большими способностями к живописи. Мама унаследовала ее дар и передала его нам — Биллу, Дину и мне, а Джек почему-то рисовать так и не научился.

Кстати, Билл вовсе не единственный литератор в семье Фолкнеров. Еще наш прадед, Старый полковник, был довольно известным писателем. Его роман «Белая роза Мемфиса» в свое время пользовался большим успехом и не забыт до наших дней. Кроме того, Старый полковник написал «Маленькую кирпичную церковь» и «Недолгие скитания по Европе», а его пьеса некоторое время шла на Бродвее. В 1851 году он опубликовал свою первую книгу стихов.

Мамина семья родом из Арканзаса. Наша бабушка, урожденная Лелия Дин Свифт, доводилась двоюродной сестрой основателю знаменитой «Свифт Пэкинг компани». В их семье все были баптистами, а отец бабки принадлежал к категории самых твердолобых, ибо непоколебимо верил, что образ, созданный с помощью красок и кисти, есть порождение дьявола. Поэтому, застав однажды дочь за мольбертом, он отобрал у нее краски и кисти и запретил ей притрагиваться к ним.

Однако бабушка и не думала уступать отцу. Она, как и все дети в семье, имела собственного негра. И вот, запасшись красками, холстом и всем необходимым, она заставляла этого негра отвозить ее на середину озера, благо дом их стоял у самой

воды, и там, сидя в лодке, так далеко от берега, что никто не мог видеть, чем она занимается, писала маслом по-прежнему.

В 1890 году ей дали стипендию для поездки в Италию, для занятий лепкой. Однако бабушка не поехала: ей казалось, что она должна остаться дома, чтобы заботиться о дочери — нашей маме. На самом деле мама заботилась о бабушке. Наша мама ушла из женского колледжа, где изучала искусство, и поступила на краткосрочные курсы стенографии, чтобы иметь заработок.

У нас хранятся не то одна, не то две бабушкины картины и статуэтка негрятенка, которую она вылепила из хозяйственного мыла. Они жили тогда в Тексаркане. Мама служила там секретаршей. Считалось, что хозяйство ведет бабушка. Как-то раз мама ушла на работу, оставив бабушку в кухне, где та собиралась вымыть после завтрака посуду. В полдень мама вернулась домой и застала бабушку возле раковины — она сидела и лепила из мыла статуэтку мальчика. Никакого обеда и в помине не было, а посуда так и осталась грязной. Бабушка честно собиралась помыть чашки и блюда. Она даже опустила в таз мыло. Намокнув, мыло сделалось мягким и податливым, тогда бабушка села и принялась лепить статуэтку и уже не могла оторваться от этого занятия.

В те времена, когда Билл носил корсет и очки, он привык тщательно заботиться о своей внешности, за что и получил прозвище, сохранившееся за ним на всю жизнь. Билл очень следил за своей одеждой. Исключение составляли его любимые пальто, которые он не выбрасывал даже после того, как они зарастали кожаными заплатками.

Помню, как в начале его щегольского периода Билл второй раз в жизни использовал свой дар рассказчика и заставил нас с Джеком выполнить за него трудную и грязную работу, а когда мы сообразили, что сам-то он и пальцем ни до чего не дотронулся, было уже поздно.

Тогда мы еще жили на Саус-стрит, где отец открыл магазин скобяных товаров, и, хотя к зданию магазина примыкало большое складское помещение, он почему-то решил сложить партию канализационных труб прямо у нас во дворе. На складе стояла тележка с мотором, мощностью в одну лошадиную силу, которой управлял Элам. Сначала Элам долго ездил из сарая во двор и обратно, пока не сложил все трубы у стены сарая. Тут отец решил, что трубы должны лежать в другом конце двора, и велел нам — Биллу, Джеку и мне — перетаскать их на новое место.

Мы провозились с трубами чуть ли не весь день. Покончив наконец с работой, мы вернулись в дом. И тут мама подозвала меня и велела нам полюбоваться



друг на друга. Право, можно подумать, сказала мама, что мы вытерли о свою одежду все трубы до одной. «А теперь поглядите на Билли». Мы поглядели на него. Он сиял как новенький серебряный доллар. Не было ни единого пятнышка. Секунду мы с Джеком, пораженные, стояли, вытаращив глаза. И тут нас осенило — ведь Билл даже не притронулся к трубам! Мы вдвоем сделали за него всю работу. Ну что ж, пришлось проглотить обиду; слишком поздно мы спохватились.

Примерно в это же время, в 1912 или в 1913 году, когда разорился и лопнул «Торгово-Земледельческий банк», дедушка основал свой собственный банк — «Первый национальный». Банк этот до сих пор существует в Оксфорде.

Билл учился тогда в старших классах. До десятого класса он учился хорошо, но потом ему надоело, и на этом формально его образование закончилось. Билл просто перестал ходить в школу.

В школе Билл считался хорошим спортсменом. Он играл в футбол и бейсбол. Позднее начал играть в теннис (у нас перед домом разбили корт) и стал хорошим теннисистом. Наконец Билл увлекся гольфом, и в гольф он играл замечательно.

...Маме и отцу не нравилось, что Билл бросил школу, однако они не принуждали его вернуться за парту. Родители понимали, что, уж если он решил больше не учиться, силком его не заставишь... Зато в течение двух лет после школы чтением Билла руководил Фил Стоун.

Фил окончил Йельский университет и был единственным выходцем с Запада в нашем кругу. Работал он адвокатом в фирме своего отца. Его другой брат, Джек, жил в Чарльстоне, и впоследствии Билл часто гостил у него. Фил нагружал книгами семейный семиместный «студебеккер» и приезжал к Биллу. Билл тотчас же отгонял машину на тихую проселочную дорогу, где почти не было движения, и целый день сидел в машине и читал. Кроме того, он еще самостоятельно занимался французским (понастоящему он изучил этот язык уже в университете). Влияние Фила было благотворно, он как бы завершил программу чтения, выработанную мамой для каждого из нас. Может быть, поэтому она и не стала особенно возражать, когда Билл бросил школу. Фил выбирал для Билла те самые книги, которые выбрала бы она. Билл читал Платона, Сократа, античных поэтов, римских классиков и Шекспира. Кроме того, он познакомился с хорошими английскими писателями и читал немецких и французских классиков.

В 1916 году Биллу исполнилось 19 лет, и дедушка по просьбе отца устроил его на работу в свой банк. В тот год Билл чувствовал себя счастливым. Он часто встречался с Этель, и, быть может, ему каза-

лось, что это и есть его будущее — работа, любимая девушка и свой дом.

Вот в это время наш Билл превратился в самого настоящего щеголя. У него появился регулярный доход, и большую часть своих денег он тратил на украшение собственной особы. Если модны были узкие брюки — он носил самые узкие; если в моду входили короткие пальто, то его пальто должно было быть самым коротким. Он начал посещать танцы в местном университете, потому что Этель регулярно бывала там.

Он даже купил себе фрак. Многие студенты довольствовались тем, что брали фрак напрокат в магазине Эда Бинлэнда. Только не Билл. Он завел собственный. За что и получил прозвище «Граф не в счет».

...Обычно Билл приносил свои новые костюмы маме. И она так подгоняла их ему по фигуре, что все думали, будто они сшиты на заказ. В эти годы Билл завел счет в магазине готового платья Ф. Э. Хейла в Мемфисе. Там он покупал одежду вплоть до самой смерти.

В тот же банковский период он купил в этом магазине пару туфель за двенадцать с половиной долларов. Цена по тем временам неслыханная. Большинство из нас носило обувь за три доллара и дешевле. Когда Билл ушел на войну, я получил его туфли в наследство и окончательно изорвал их.

Билл часто давал мне поносить свой фрак и другие костюмы. Тогда мы были одинакового роста. Потом я перерос брата и жалел об этом; у меня никогда не было таких хороших вещей, как у него.

Помню историю с одним из его костюмов. Билл попросил маму заузить ему брюки. Мама ушила их. Однако, как показало Биллу, недостаточно. Мама ушивала их еще два раза. Наконец брюки, по мнению Билла, стали достаточно узкими, — правда, он едва-едва мог переставлять в них ноги. Обшлага задирались, поскольку тогда носили туфли с высоким верхом, штанины так плотно обтягивали ногу, что складок не было видно.

Но тут на сцене появился Сэмми — один из наших негров, который считал, что все костюмы Билла являются последним криком моды и образцом элегантности. Любая вещь Билла, заносенная или надоевшая хозяину, в конце концов попадала к Сэмми. И поэтому, как только он увидал эти новые штаны, он начал обхаживать Билла.

В конце концов Билл продал Сэмми эти брюки. Но Сэмми тотчас же пожелал вернуть покупку и получить обратно деньги. Оказалось, что он не может продать ноги в штанины.

Однако Билл отказался расторгнуть сделку. Некоторое время спустя Сэмми со-

общил, что он продал брюки Эскимаю. Надеть брюки Эскимай сумел, но снять их уже не смог. Поэтому он носил штаны Билла не снимая, покуда они не истлели на нем.

В это время Билл увлекся рисованием. Он сделал целую серию черно-белых гравюр для ежегодного «Вестника» нашего университета — штук десять, если не больше.

И вдруг Эстель обручилась с другим. Мир, в котором жил Билл, разлетелся вдребезги. С тех пор он не брал кисти в руки. Правда, иногда у него возникало желание рисовать, и он покупал набор акварельных красок, но так ни разу ими и не воспользовался. Бывало, подержит их — и подарит маме.

Помолвка Эстель с Корнелом Франклином состоялась ранней весной 1918 года. Свадьба была назначена на начало июня. Медовый месяц молодые собирались провести в Маниле, где Корнелу предстояло войти в дело своего отца. Узнав об этом, Билл уехал из Оксфорда. Он не мог видеть, как другой поведет Эстель к венцу.

Фил устроил Билла на работу в книжный магазин в Нью-Хейвене. Должно быть, Билл очень страдал там, среди чужих. Он считал дни, оставшиеся до свадьбы Эстель, и, как только она вышла замуж, вступил добровольцем в Британские военно-воздушные силы.

Билл всегда любил самолеты. Мы все их любили. Сначала он пытался записаться в Американский корпус связи, наши летные части входили тогда в этот корпус. Однако его не взяли, так как он не прочулся двух лет в колледже.

Тогда Билл обратился к англичанам, которые очень нуждались в людях. Он хотел пройти обучение в отделении Королевских ВВС, но туда его тоже сперва не приняли из-за маленького роста. Тут Билл вышел из себя и заявил, что он все равно найдет место, где ему дадут летать, и что, если он не нужен здесь, может быть, немцы не откажутся от его услуг. «Как пройти в германское посольство?» — спросил Билл. И тогда представитель Королевских ВВС сказал: «Послушайте, подождите минутку». Билл остался, а офицер вышел из приемной и, вернувшись, сказал Биллу, что его берут.

Обучение Билл проходил в Торонто. Сначала он летал на «канаксах», похожих на наши учебные самолеты. Затем его посадили в «каamel», самый капризный из самолетов.

Война окончилась, прежде чем Билл окончил летную школу. Однако британское правительство дало возможность Биллу и его товарищам завершить курс обучения.

Биллу присвоили чин лейтенанта военно-воздушных сил корпуса его величества.

Приказ о производстве Билла, подписанный королем Георгом и окантованный в рамку, висел над камином в доме наших родителей.

## ГЛАВА 14

...Время от времени Билл писал мне из Канады. Он рассказывал разные забавные истории из жизни летной школы. Он описывал, как стирают курсанты свои шинели. Они надевают их на себя, потом лезут под душ и скребут друг друга щеткой с мылом. Билл писал, что шинель отмывается отлично, вот только сохнет она потом недели две, а то даже и три. Он прислал мне свою фотографию в курсантской форме. В те времена форма курсантов немногим отличалась от офицерской. На их фуражках были нашиты белые ленточки. Мне очень хотелось иметь такую ленточку, и Билл прислал мне одну. Я хранил ее до сих пор.

Рассказывал Билл и про своего сержанта, который отравлял им жизнь. Однажды ночью курсанты тихонько проскользнули в комнату, где спал сержант, завернули его в одеяло, и, прежде чем начальство успело продрать глаза, ребята бросили его в озеро.

Последнее письмо от Джека пришло в конце октября, и потом вплоть до апреля мы не имели о нем никаких сведений. Он находился в Сен-Мишеле со Вторым инженерным корпусом. В Кампании Джек отравился газом, а потом его отправили в Аргон. Первого ноября Джека тяжело ранило, и мы до апреля ничего о нем не знали.

Однако на рождество мама, как всегда, вывесила и для Джека чулок с подарками и много месяцев не позволяла никому убрать его.

Билл вернулся домой в декабре. Он должен был приехать двадцать третьим поездом, прибывавшим в Оксфорд в одиннадцать часов утра. Мама, отец, Дин, Мамми и я приехали на машине встречать его. Когда Билл вышел из вагона, мы заметили, что он слегка прихрамывает. Мы усадили брата в наш «Форд» и отправились домой. По дороге он рассказал нам, как несколько человек с его курса отмечали свое производство в офицеры. В честь этого события Билл врезался на своем самолете в крышу ангара. Хвост его «камела» остался торчать снаружи, а самого Билла товарищи, вскарабкавшись на стрелянку, вытащили из кабины.

Все наши бывшие солдаты отдавали честь Биллу, одетому в английскую форму: они думали, что он дрался на фронте за океаном. Ведь наши демобилизованные признавали только тех, кто воевал в Европе. Зато американских офицеров, просидевших всю войну в Штатах, они отказывались приветствовать.



Я любил гулять с Биллом по нашей площади, потому что все бывшие солдаты ему козыряли.

...Джек подал о себе весть в апреле. Все это время он находился во Франции, в госпитале. Домой он вернулся в мае и сам развязал свой рождественский чулок. Мама всегда верила, что Джек непременно вернется, и рождественский чулок с подарками постепенно превратился в символ его возвращения.

В ближайшие несколько лет я, Билл и Джек сблизились, как никогда. Даже не то чтобы сблизились — близки мы были всегда, но теперь, как бывало в детстве, мы очень много времени проводили вместе.

Зимой 1918/19 года были впервые опубликованы рассказы Билла. Он написал для оксфордской «Игл», нашей местной газеты, несколько рассказов о летней школе. Редакция поместила их на первой странице. Мне эти рассказы очень нравились. Я постоянно приставал к Биллу, когда же он напишет еще. Мне так хотелось прочесть его новые рассказы. Билл усмехался и отвечал: «Как-нибудь».

В те времена с Биллом еще можно было разговаривать о его прозе. Мы беседовали иногда у него в комнате наверху. Зная заранее, что новый рассказ мне понравится, Билл зазывал меня к себе и давал прочесть рукопись.

Не знаю, заплатила ли ему «Игл» хоть цент за те ранние вещи. Но все равно рассказы Билла публиковались на первой странице. Он печатался.

Все лето мы регулярно играли в гольф в университете. Если Билл и писал что-нибудь, то я этого не помню.

Первая мировая война окончилась, и правительство открыло по всей стране летние подготовительные курсы для ветеранов. Осенью 1919 года Джек и Билл, хотя они и не окончили школы, получили аттестаты и поступили в университет.

Джек выбрал юридический факультет, а Билл — искусствоведческий. Занимался Билл лишь теми дисциплинами, которые его интересовали. Он изучал в университете французский язык и, видимо, весьма успешно. Потому что год или два спустя, путешествуя по Европе, он прожил некоторое время в Париже и даже сотрудничал во французской газете.

Не помню, чем еще занимался Билл в университете. Курса он не окончил. По-моему, он проучился всего два или три семестра.

Незадолго до того, как Билл получил Нобелевскую премию, ученый совет собирался присудить ему степень почетного доктора нашего университета. Но предложение это провалилось. А когда Билл стал нобелевским лауреатом, те же люди, которые прокатали его в первый раз, сами предложили присудить ему степень. Но

тут возмутились их противники: «Позор! — кричали они. — Мы не можем присудить ему степень теперь. Слишком поздно».

Когда Билл занимался в «Ол Мисс», отец наш, который был управляющим делами и секретарем университета, несколько раз давал ему возможность подработать в летние каникулы. Сначала Билл помогал плотникам, затем отец устроил его в бригаду маляров. Они красили здание юридического факультета, над крышей которого высился шпиль. Все рабочие наотрез отказались его красить. Но Билл привязал себя к шпилью веревками и выкрасил его целиком снизу доверху. В этот день мама раз и навсегда запретила отцу устраивать Билла на какую бы то ни было работу без ее ведома.

По-моему, место почтмейстера Билл получил осенью 1920 года. При университете было открыто небольшое почтовое отделение специально для профессоров и студентов. В 1920 году в «Ол Мисс» обучалось не более шестисот студентов, а преподавателей там было всего сорок. Почти каждый студент и профессор имел собственный почтовый ящик в этом отделении. Только несколько человек получали корреспонденцию обычным путем.

Скажем прямо, работа почтмейстера в университете не требовала чрезмерного напряжения сил. И наш Билл не перетрутился, выполняя свои несложные обязанности. Если ему случалось увлечься интересной книгой, он не спешил подойти к окошку, у которого стояли посетители. Он говорил, что вовсе не собирается расхлебывать в лепешку ради всякого сукиного сына, которому удалось разжиться двумя центами на покупку почтовых марок. По вечерам Джордж Хили, впоследствии издатель нью-орлеанского «Таймс-Пинкпейон», Чарли Таунстед и я приходили на почту играть в карты. У меня была мандолина (на ее покупку Билл одолжил мне одиннадцать долларов), а у Бренема Хьюма, сына ректора университета, — гавайская гитара. Мы хранили музыкальные инструменты на почте и упражнялись там же. Кроме того, мы оба состояли в бейсбольной команде воскресной школы, и, если нам приходилось играть в будний день, Билл закрывал почту и шел «болеть» за нас.

В должности почтмейстера Билл продержался недолго. Один из пунктов жалобы, поданной на него неким университетским профессором, гласил, что адресованные ему письма он, профессор, должен выкапывать и извлекать из мусорного ящика, стоящего у заднего крыльца почты, ибо иного способа получить свою корреспонденцию придумать ему не удалось. Профессор утверждал, что мешок с почтой Билл, дабы не затруднять себя разбором корреспонденции, просто вытряхи-



вает на помойку. А какой-то студент писал, что Билл так редко раскладывает письма, что каждый раз, когда открываешь свой ящик, приходится сдвигать со дна его толстый слой пыли.

Билл никогда не был картежником и не интересовался азартными играми. Хотя хорошую компанию он очень любил и моим друзьям нравилось, как он управляет почтовым отделением.

Весной 1920 года университетские власти засекали тайное собрание запрещенной студенческой организации. Билл и Джек входили в эту организацию. Они и еще несколько человек дали поймать себя, чтобы спасти дипломы двух своих товарищей.

Когда Ли Рассел, будущий губернатор штата Миссисипи, приехал в наш город из Тулы — деревушки, находящейся милях в тридцати от Оксфорда, и поступил в университет, он, чтобы вносить плату за право учения и как-нибудь прокормиться, вынужден был пойти работать официантом. Из-за этого Ли не принимали ни в один студенческий союз, и это страшно злило его. Он утверждал, будто его не принимают только потому, что ему приходится самому пробивать себе дорогу в жизни. И еще он сказал, что придет день, когда он станет губернатором штата Миссисипи и тогда запретит студенческие союзы во всех университетах, по всему штату.

И вот, став губернатором, он выполнил свое обещание. Большинство студенческих союзов после того, как их объявили вне закона, были распущены. И только члены САЕ и КА продолжали собираться тайно. Все Фолкнеры испокон века были членами САЕ. И конечно же, Билл и Джек не замедлили вступить в этот союз. Собирались они в домах бывших членов этого братства, у дяди Джона, у дедушки, у майора Олдхэма, у Джима Стоуна — брата Фила. Ректор университета знал, что САЕ не свернула свою деятельность, и решил покончить с ней раз и навсегда. Он подослал одного студента шпионить за членами САЕ. Тот доложил ректору о последнем собрании у Джима Стоуна, назвав всех участников встречи и пересказав слово в слово все, что там говорилось. Ректор дал понять виновным, что у него есть свидетель, с помощью которого ему ничего не стоит исключить из университета всю группу. Однако ему хотелось бы иметь более веские доказательства деятельности САЕ, и он простит всех, кто подтвердит показания шпиона.

Тогда члены группы встретились вновь и выработали план действий. Двое из них — Спенсер Вуд и Чарли Таунстенд — учились уже на последнем курсе медицинского факультета. До выпуска оставалось всего две недели. В случае исключения им пришлось бы начинать учебу сначала. Остальные занимались на юридическом

или искусствоведческом факультетах и свободно могли перевестись в другие учебные заведения. Поэтому было решено, что Чарли и Спенсер донесут на всю группу. Так Джек и Билл оказались среди тех, кто ушел из университета, а Чарли и Спенсер остались на факультете и в июне получили дипломы.

В следующем году Билл основал компанию «Синяя птица» для страхования студентов от провала на экзаменах по любому предмету. Все началось с того, что сотрудники студенческой газеты «Миссисипиэн» обратились к Биллу с просьбой помочь им поднять интерес публики к этому изданию, и он придумал тогда свою страховую компанию.

Размер страховки устанавливался с учетом характера каждого профессора. Так, при сдаче экзамена очень строгому профессору английского языка страховой взнос равнялся девяноста центам за доллар и опускался до десяти центов за доллар на экзаменах у судьи Хэмингуэя для обычного студента и до пяти центов для спортсменов. Декан юридического факультета судья Хэмингуэй был покровителем спортсменов в «Ол Мисс». Он вообще был снисходителен к своим студентам, спортсменам же, чтобы сдать его предмет, достаточно было посещать лекции и не засыпать во время занятий. Все спортсмены сдавали экзамены только у декана Хэмингуэя.

«Синяя птица» просуществовала две недели, после чего университетская администрация наложила на нее запрет и заодно чуть было не закрыла и «Миссисипиэн», хотя все студенческие газеты просто жаждали перенять у нее опыт страховки от провала на экзаменах.

Наш отец и судья Хэмингуэй были добрыми друзьями в течение многих лет. Однако расценка, установленная Биллом на педагогический талант судьи, внесла некоторую натаянность в их отношения. Дружба на этом могла бы и кончиться, если бы не наша мама и миссис Хэмингуэй, старинные партнерши по бриджу. Они немало потрудились и кое-как загладили неприятный инцидент, чтобы и впредь играть по вторникам. После того, как Билл ушел с почты, и до того, как его пригласили в Голливуд, у него не было постоянной работы.

...В то время в Оксфорде распался отряд бойскаутов, и Билл взялся организовать его заново. Сам он в детстве был скаутом и знал, что нужно нашим мальчишкам, и очень быстро организовал отряд. Раз в неделю Билл собирал своих ребят и проводил с ними занятия по теории, а потом вел их в лес и учил там разным премудростям жизни на природе. Словом, проводил тьму времени с мальчишками.

У университетского преподавателя доктора Хедлстона была большая ферма милях



в трех от Оксфорда, в Колледж Хилл. Там был даже пруд. Доктор Хедлстон предложил Биллу разбить лагерь на его ферме.

Своих скаутов Билл вывозил в лагерь на собственном «бьюике», да и на чужих машинах тоже. Если же помощи ждать было неоткуда, Билл перевозил всех ребят сам, совершая множество рейсов между городом и фермой.

Бывшие скауты Билла (теперь они взрослые люди) говорили мне, что самые замечательные минуты в лагере наступали вечером, когда после ужина, при свете костра, Билл рассказывал им разные истории. Они вспоминали еще, как Билл подерживал дисциплину. Если ребята плохо слушались и баловались днем, он отправлял их спать сразу после ужина и ничего им не рассказывал. Это считалось очень суровым наказанием.

Билл даже купил специальную форму инструктора бойскаутов и по просьбе ребят нашел на нее военные эмблемы — летные крылышки.

И вдруг один из наших проповедников разразился с церковной кафедры тирадой против Билла, обвиняя его в пьянстве. Билл никогда не пил так сильно, как про него говорили. Правда, он и не пытался прикнудиться трезвенником, просто не обращал внимания на болтовню досужих людей. Сам Билл никогда не передавал сплетен. Однако на чужой роток не навесишь замок, сплетники всю работу языками и создавали легенды об алкоголике Билле.

Проповедник собрал все слухи, какие только мог, и пересказал их с церковной кафедры. Он заявил, что такой человек, как Билл, не может быть командиром скаутов, и потребовал, чтобы его сняли с работы.

И Билл ушел из отряда, и проповедник оставил его в покое, считая, что до конца выполнил свой долг. Однако заменить Билла было некем, и в нашем городе еще несколько лет не было отряда бойскаутов.

Писать всерьез Билл начал после того, как его уволили с почты. Первая его книга, сборник стихов, называлась «Мраморный фавн». Деньги на издание сборника достал Фил Стоун. Книга вышла тиражом в тысячу экземпляров. Не уверен, что Филу удалось продать хотя бы пятьдесят штук. Нераспечатанные пачки книг Фил хранил у себя дома на чердаке.

Позднее, когда Билл стал знаменит, читающая публика захотела поподробнее познакомиться с его творчеством. Узнав о «Мраморном фавне», читатели бросились разыскивать это издание. Сборник сделался библиографической редкостью, цена на него росла непрерывно и в конце концов достигла семидесяти долларов за книжку. И тут старый дом Стоунов сгорел, а вместе с ним сгорели и книги на чердаке. Правда, Филу удалось все-таки спасти не-

сколько экземпляров, штук десять-двадцать. Позднее на аукционе в Нью-Йорке одна такая книга была продана за шестьсот долларов.

Фил Стоун и мама первые поверили в Билла. После того как Билла уволили с почты, отец доставал ему от случая к случаю разную работу в университетском городке. Одно время Билл работал даже ночным кочегаром на электростанции. Он говорил, что там, на электростанции, он и написал свою лучшую книгу «Когда я лежала умирая». Билл объяснил мне, почему именно электростанция оказалась идеальным местом для работы. Там было тепло, тихо, никто его не тревожил. Жужжание большой старой турбины успокаивало нервы, и он писал, отрываясь лишь для того, чтобы подбросить лопатой очередную порцию угля в топку.

Вскоре Билл уехал в Нью-Орлеан, там он написал «Москиты».

Когда Билл находился в Нью-Орлеане, Рорк Бредфорд заведовал отделом газеты «Таймс-Пикейон». Газета выделяла Бредфорду десять долларов в неделю на оплату коротких рассказов. Каждую неделю Рорк переводил эти десять долларов Биллу, чтобы тому было на что жить, пока он пишет свой роман.

Для Рорка Билл написал несколько рассказов, в том числе одну из лучших своих вещей — историю негра, который, пытаясь вернуться в родную Африку, принял Миссисипи за Атлантический океан. Он переплыл реку в лодке, и тут негра пристрелил фермер за то, что он убил корову. А негр думал, что он находится уже в Африке, и принял корову за опасное дикое животное.

А затем Билл продал «Сарторисов» в издательство «Харкорт Брэйс». Сюжетом для этой вещи послужила в основном наша семейная хроника. Получив деньги, Билл тотчас уехал в Европу.

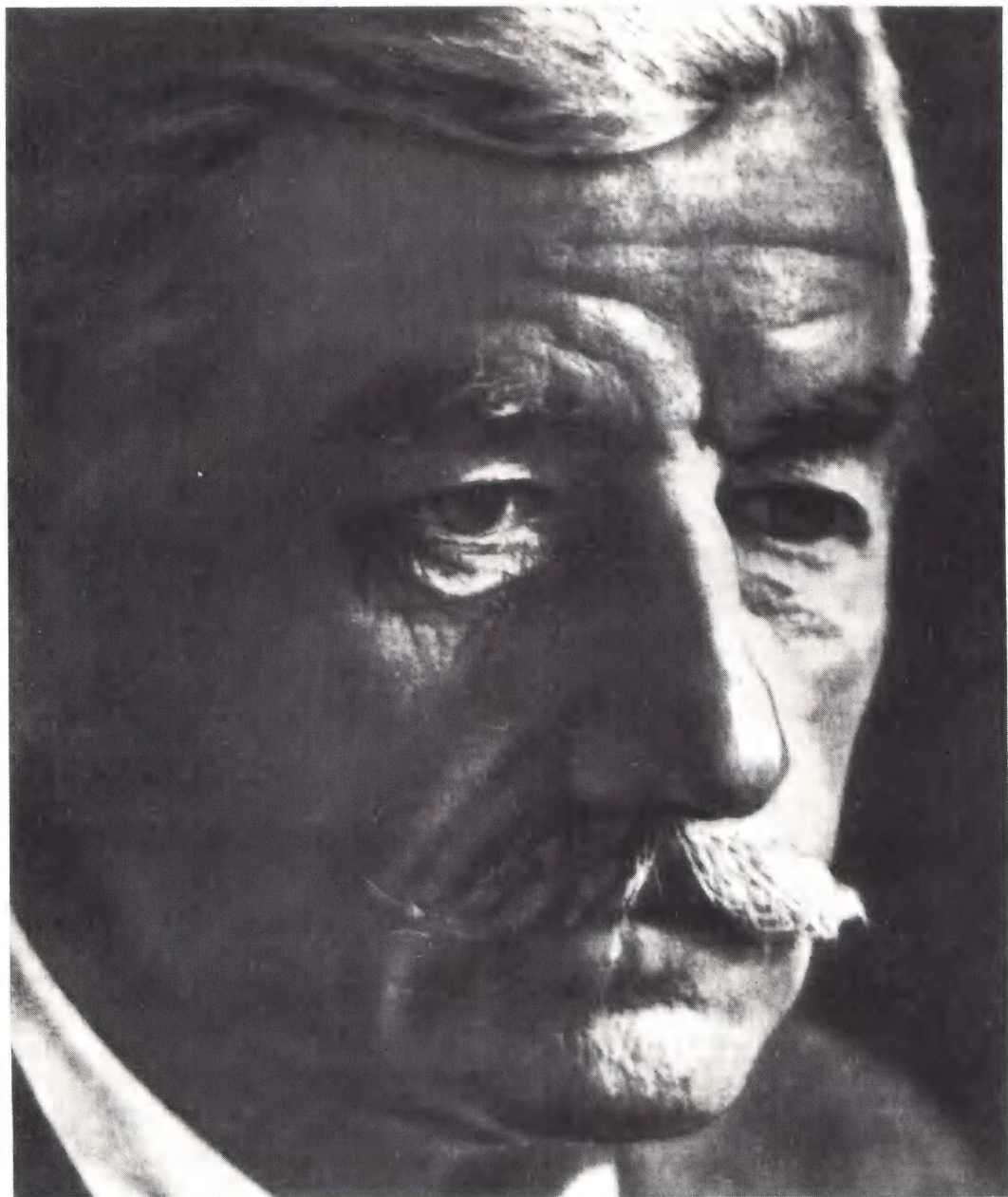
В Нью-Орлеане Билл поступил стюардом на пароход и так добрался до Италии, потом пешком совершил путешествие по Альпам. Затем отправился во Францию и поселился в Париже. Там он сотрудничал во французской газете.

Однако, получив известие, что издательство купило и вторую его книгу, Билл тотчас отправился домой. По пути он на несколько недель задержался в Лондоне.

Хотя Биллу уже не надо было работать стюардом, чтобы оплатить стоимость проезда через океан, ехал он на палубе, отрастил бороду и имел крайне неряшливый вид. «Ради бога, Билл, пойди прими ванну», — сказала мама, как только он вошел в комнату.

В то время семья наша жила в доме, который университет предоставил отцу. Я был уже женат, учился в университете и жил с женой и первым сыном у моих родителей. Обитали мы на втором этаже,





Одна из последних фотографий.

от комнаты Билла нас отделял холл. Джек от нас ушел. Он работал в Федеральном бюро расследований. Дин еще учился в школе.

В ближайшие несколько лет Билл написал большинство своих рассказов. Он

знал, что я люблю «Сарторисов» и его рассказы из жизни летчиков, и часто давал мне читать свои рукописи. Я помню, что два рассказа, которые нравились мне больше других, я читал у него в комнате. Билл сидел напротив, курил трубку и ждал,



что я скажу. Один рассказ был про шотландца по фамилии не то Мак Райглингс-бис, не то еще как-то — одно из тех имен, которые никто выговорить не может. Этот Мак самостоятельно, без инструктора выучился на летчика-истребителя, чтобы получить крылышки пилота и иметь постоянный заработок. А второй рассказ назывался «Поворот оверштаг».

Однажды Билл позвал меня к себе. Он стоял перед раскрытым шкафом и писал что-то на листе бумаги, приколотом к внутренней стороне дверцы. Заглянув через его плечо, я увидел, что он составляет список своих рассказов, посланных в разные журналы.

Листок, приколотый к дверце шкафа, был расчерчен продольными и поперечными линиями. В широкой колонке слева Билл проставлял название рассказа. Правую часть листа Билл разграфил двойными колонками, а сверху надписал названия журналов: «Пост», «Колиерс», «Атлантик мансли», «Скрибнерс» и т. п. Отправив, к примеру, рассказ в «Пост», Билл проставлял дату отправки в левой половине соответствующей двойной графы. Как только редакция возвращала рассказ, он проставлял в правой части колонки дату получения. Билл объяснил, что ведет этот список для того, чтобы не послать ненароком какой-нибудь рассказ в один и тот же журнал дважды.

Листок был исписан почти до конца. Билл отослал уже пятьдесят, а может быть, и шестьдесят рассказов. Когда вышло «Святылище», Билл получил письмо из «Поста». Редакция выражала сожаление, что отвергла его рассказы, и писала, что, если Билл пришлет их опять, журнал напечатает эти произведения на первых страницах и заплатит по тысяче долларов за каждый.

И Билл послал им шестьдесят рассказов.

Билл жил теперь дома, писал рассказы и снова пристрастился к охоте. Генерал Стоун пригласил его поохотиться на оленей и медведей в дельте Миссисипи. Там, в окрестностях Бейтсвилла, у генерала был охотничий домик.

Повесть «Медведь» и несколько отличных рассказов Билла посвящены охоте. Например, рассказ об индейке по имени Джон Баскет и о мальчике, на которого напала икота<sup>2</sup>. По правде говоря, это случилось с самим Биллом, и охотникам действительно пришлось увести его в Бейтсвилл, чтобы он перестал икать.

Билл оказался хорошим охотником. Он убил своего первого оленя и был залит его кровью, и медведя он застрелил тоже. Но он был писателем, и поэтому в городе многие считали его чудачком, а охотники

боялись не поладить с Биллом. Однако скоро они поняли, что были не правы.

Билл не требовал для себя никаких поблажек. Он просто хотел охотиться наравне со всеми. Как новичку, ему отвели самое отдаленное и неудобное место. Но Билл и не рассчитывал на другое. Он молча отправлялся на отведенный ему участок и стоял там с утра до вечера до тех пор, пока за ним не приходили. Позднее его признали своим, в течение целого сезона он был даже капитаном охотничьей команды.

Один из лучших рассказов Билла, «Пятнистые лошади», основан на истинном происшествии, случившемся в Питсборо, маленьком местечке в округе Колхаун. Дядя Джон выставил там свою кандидатуру на выборах в окружной суд, и во время избирательной кампании Билл возил его туда на «форде».

Однажды дядя Джон должен был выступать в Питсборо, и они с Биллом решили заночевать там. Гостиницы в Питсборо не было, они остановились в меблированных комнатах. Билл сидел на крыльце поздно вечером, когда какие-то люди пригнали целый табун лошадей пятнистой масти, прикрученных одна к другой колючей проволокой. Им отвели загон как раз напротив дома, где остановились наши. На другое утро лошадей продали с аукциона. И дальше все происходило, как в рассказе Билла. Барышники продали лошадей, забрали вырученные деньги, положили их в карман и исчезли. Тогда же новые владельцы лошадей вошли в загон, чтобы увести свою покупку, кто-то забыл закрыть дверь загона, и лошади эти разбежались по всей округе, как будто конфетти цветное рассыпалось.

Сидя на крыльце, Билл наблюдал эту картину. И вдруг одна из лошадей взбежала на крыльцо, да так резко, что Биллу пришлось срочно нырять спиной в коридор, чтобы не угодить ей под копыта. На следующий день дядя Джон и Билл вернулись домой и рассказали нам эту историю.

В те дни Билла часто приглашали на вечеринки в окрестные деревушки. Обычно эти вечеринки устраивали тогда, когда у кого-нибудь в деревне скапливался слишком большой запас самогона и владелец не мог ни выпить его, ни продать. Тогда он звал на помощь соседей. Виски напивали в лохань, лохань ставили на лавке у стены, а рядом выставляли жестяные кружки, и в честь такого случая, как правило, устраивали танцы.

Впоследствии я слышал рассказы очевидцев о том, что делал там Билл. Ничего он не делал. Просто сидел возле выпивки с кружкой в руках и приветливо улыбался. Никто не мог припомнить, чтобы Билл черпал из лохани слишком часто. Он никогда не вступал в драки, которые вспыхива-

<sup>2</sup> «Медвежья охота».



ли еще прежде, чем гости успевали выпить все виски.

Один парень рассказывал мне, что как-то раз, замахнувшись на соседа, он нечаянно ударил Билла, и тот свалился со стула. Парень говорил, что за всю свою жизнь он ни в чем так не раскаивался, как в этом поступке.

— Ребята, — вспоминал рассказчик, — тотчас же прекратили драку, подняли Билла с пола, усадили его в сторонку на другой стул, чтоб не задеть ненароком, и, не теряя времени даром, снова пустили в ход кулаки.

Несколько лет спустя Билл описал все, что он видел и слышал на этих вечеринках. И когда его книги вышли в свет, бывшие посетители вечеринок узнали друг друга, вернее, им казалось, что они узнали себя в персонажах рассказов и романов Билла.

Вот так все и шло до конца двадцатых годов. Постепенно книги Билла начали находить покупателей. К этому времени он уже был женат. В 1929 году Эстель развелась со своим первым мужем и вернулась домой. Здесь она снова встретилась с Биллом. Вскоре они отправились в Колледж Хилл, где доктор Хедлстон обвенчал их в старой церкви с балконом для рабов, именными скамьями и отдельным входом для знатных прихожан.

Первый брак Эстель оказался неудачным. Она вернулась с Востока с двумя детьми и нянькой-китайкой.

Эстель привезла с собой мальчика и девочку. Няня-китайка не могла выговорить имя Виктория и называла ее Чо-чо. Это напоминало Точи и нравилось нам. Мальчика звали Малькольм. После женитьбы Билл взял детей в свой дом и воспитал их как родных вместе с собственной дочерью Джилл.

Билл и Эстель сняли квартиру у мисс Элмер Мик — той самой старой леди, которая окрестила университет штата Миссисипи именем «Ол Мисс» — обычно рабы так называли владелицу плантации.

У мисс Элмер сохранились рукописные странички первых романов Билла. Одну из них он использовал как мишень, когда метал дротики со своим пасынком. Билл прибил листок к дереву, и они с Малькольмом искололи его дротиками. Недавно в Оксфордском музее я видел эту страничку, испсанную бисерным почерком Билла. Она находится в нашем местном музее. Мисс Элмер сохранила листок и преподнесла его в дар городу.

Молодые супруги прожили у мисс Элмер недолго. Получив аванс за очередную книгу, Билл приобрел собственный дом, старый дом Бейли — тот самый, куда мы в детстве лазили за яблоками и персиками. Дом стоит в самом южном конце Оксфорда, возле старой дороги на Тэйлор.

От того места, где я живу сейчас, до дома Билла недалеко, четверть мили примерно. Нас разделяют лишь мой выгон и выгон Росса Брауна. Когда опадет листва, будет видна и его крыша. Посещаая друг друга, мы выбивали тропинку на наших выгонах.

Это единственный дом в Оксфорде, которым владел и хотел владеть Билл. Сначала Билл приобрел участок в четырнадцать акров. Потом он прикупил земли, построил конюшню и всегда держал там двух верховых лошадей. Здесь он прожил до конца жизни, отсюда вынесли гроб с его телом...

Этот старый дом в колониальном стиле с колоннами по фасаду построили еще до войны Севера и Юга. Когда Билл стал владельцем дома, в нем не было ни электричества, ни водопровода, и он требовал большого ремонта. У Билла не было денег, чтобы нанять рабочих. Поэтому он взял только одного помощника, и вдвоем они отремонтировали дом. Потом, поскольку Билл не мог сам провести свет и воду, ему пришлось пригласить мастеров, и он помогал им. Кроме того, он вместе с рабочими настелил новую крышу и выполнил большую часть малярных работ.

Иногда Биллу помогал маляр Расти Петерсон. На работу он всегда приносил с собой собственное виски. Какое-то количество спиртного Расти успевал принять внутрь еще до работы, а остальное приносил с собой, из кармана у него вечно торчала початая бутылка. Работая, они с Биллом время от времени прикладывались к ней, а когда выпивали все до последней капли, Билл выносил из дома новую.

Покончив с делами малярными, Билл возвращался в дом и принимался за поточные балки. Расти, как мог, помогал ему. Закончив работу, они усаживались перед домом выпить. За те часы, которые они проводили в доме, укладывая балки, Расти с Билла денег не брал. Он уверял, что получает от этого времяпрепровождения такое большое удовольствие, что работой это называть нельзя. И он много раз повторял, что, как только Биллу понадобится помощь, пусть тот сразу же позовет его.

Позднее Билл пристроил к своему дому еще несколько комнат, вторую гостиную и еще одну ванную. Вечно он что-то делал по дому, ставил кормушки для птиц, клал кирпичную стенку в саду, но крупными работами он уже не занимался. Да это было и не нужно. У него появились деньги, и он мог платить рабочим.

Я часто навещал Билла еще до того, как он продал «Святынище» и получил, сотрудничая на киностудии, свой первый по-настоящему крупный гонорар. Тогда он был тихим, несколько меланхоличным, вероятно, его угнетала мысль о деньгах, я думаю. В доме у него топили камин, и чаще всего



он сам пилил для него дрова. Выходя из большого песчаного карьера за усадьбой, я обычно видел Билла посреди выгона. Он стоял и распиливал очередное дерево на поленья для камина. Я брался за пилу с другого конца, а когда мы кончали пилить, я помогал брату развинтить пилу и отнести дрова в дом. Билл всегда благодарил меня за помощь, но говорить нам было не о чем. Наверное, у него было слишком много своих забот.

А потом Билл написал «Святылище», книга имела шумный успех, и с тех пор он не знал уже настоящих денежных затруднений. Несколько раз он накапливал большую сумму, но тут же растрачивал ее, и тем не менее после его смерти осталось крупное состояние. Я никогда не видел человека, который был бы способен истратить больше, чем Билл. Думаю, он оставил так много денег потому, что наконец все-таки стал зарабатывать больше, чем был в силах израсходовать.

Билл покупал все, что попадалось ему на глаза, все, чего ему только хотелось: самолет (тот, в котором разбился Дин), яхту, скаковую лошадь по кличке Большой Джон.

Хозяин продал эту лошадь так дешево, потому что она была тугоуздой. Тронув жеребца с места, его нельзя было ни остановить, ни повернуть в сторону. Для того чтобы остановить его, требовалось такое же усилие, как для распилки бетонной сваи. Естественно, что владелец лошади и не заикнулся при продаже об этих ее свойствах. Он предоставил Биллу возможность выяснять все самому.

Решив купить Большого Джона, Билл заказал себе роскошный костюм для верховой езды и, кроме того, купил английское седло со стремянами.

Никогда не забуду, как Билл во всем этом великолепии впервые сел на Большого Джона. Оседлав и взнуздав жеребца, он вскочил в седло и тронул повод. Большой Джон стоял головой к дороге. Все попытки заставить его изменить направление оказались тщетными. Жеребец проскакал семнадцать миль, отделявшие нас от Тэйлора. Наконец он выбился из сил, и только тогда Биллу удалось повернуть его обратно.

## ГЛАВА 16

«Святылище» — первая книга Билла, принесшая ему значительный доход. Он говорил, что, раз он не может заставить публику читать его старые книги, он напишет новую, которую читатели проглотят с потрохами. Билл долго думал, и однажды его осенило. Он решил описать, как человек совершает насилие над девушкой с помощью кукурузного початка.

Книгу купил Голливуд, и Биллу предложили переделать ее в киносценарий.

Билл согласился и начал готовиться к отъезду. Сначала он подписал контракт на шесть недель, по шестьсот долларов за неделю. Потом его заработок повысили до восьмисот долларов в неделю. В первый раз он прожил в Калифорнии около года. А затем в течение десяти лет большую часть года Билл проводил там.

Вернувшись в Оксфорд в 1933 году, Билл купил самолет «кабин Вако». По тем временам это была мощная машина. Оксфордский аэродром оказался слишком мал для «Вако», и Билл перегнал свой самолет в Мемфис, на городской аэродром компании «Мид-Саус аэрвейз». Билл хорошо знал Вернона Омли, владельца и управляющего «Мид-Саус», и очень высоко его ценил. Вернон был первоклассным пилотом. Он начал летать во время первой мировой войны и больше не расставался с авиацией.

С тех пор как в 1918 году Билл получил летные нашивки, он не переставал интересоваться самолетами. В тридцатые годы пилотов было еще очень мало. Если мы не знали кого-нибудь в лицо, то уж наверняка слышали о нем от друзей. Когда в Оксфорде появлялся летчик, он обязательно останавливался у Билла. Большинство летчиков бедствовало, и Билл всегда приезжал за ними на аэродром и увозил их к себе. Летая на своем «Вако», Билл брал с собой Дина или Вернона Омли. После того как они оба погибли, а я перешел на службу в «Мид-Саус», Билл обычно летал в наших «Вако» (мы давали их напрокат), но всегда требовал, чтобы я летел с ним. Он никогда не летал в одиночку.

Лучше всего Билл чувствовал себя в аэропланах времен первой мировой войны. Машина, на которой он часто летал, мало чем отличалась от учебных самолетов, на которых его обучали в Канаде. Летал он обычно в паре с высоченным негром Джорджем Мак Эвином. Джордж страстно увлекался авиацией. Билл купил ему шлем пилота и перчатки с раструбами.

Джордж носил свою летную амуницию всегда, даже когда занимался работой по дому. Делал он это специально для того, чтобы Билл, глядя на него, не забывал, что они могли бы сейчас лететь в самолете, вместо того чтобы заниматься тем, чем Билл в данный момент занимается.

После смерти нашего брата Дина Билл летал в Мемфис и обратно на самолете марки «Коммандэйр», принадлежавшем одному из жителей Оксфорда. Однако управляющий мемфисского аэропорта запретил Биллу пользоваться городским аэродромом, ибо он летал на непозволительно старомодной машине и, мало того, с колес его самолета вечно свисают стебли травы или кукурузы, в зависимости от того, где случилось приземлиться по делу Биллу и

Джорджу. По словам мистера Холмса, старомодная колымага Билла просто позорит аэропорт города Мемфиса, построенный в самом современном стиле.

— О'кэй, — сказал Билл, и они с Джорджем перебазировались на Парк-филд — тренировочный аэродром времен первой мировой войны. Чарли Фаст, авиа-механик, открыл там ремонтную мастерскую. Весь аэродром состоял из одного ангара и травяного поля, так что вопросы внешней респектабельности Чарли волновали мало.

Несмотря на то, что «Святылище» принесло Биллу славу и деньги, отец наш очень огорчился. Он не признавал литературу такого сорта и даже пытался изъять книгу из продажи. Отец говорил, что уж если Билл хочет писать, то пусть сочиняет вестерны. Сам он читал только приключенческие романы.

Мама старалась успокоить отца. «Оставь Билла в покое, дружок, — говорила она. — Он пишет то, что должен писать».

Слава Билла достигла Оксфорда, только когда наши сограждане уяснили, как много денег он зарабатывает. Тогда всем захотелось познакомиться с его книгами.

Билл был очень добрым и очень ранимым человеком. Поэтому ему приходилось отгораживаться от мира, который не щадит тех, кто слывет чудачком.

Творчество — самое сокровенное, что есть у писателя. Билл не выносил, когда критиковали его книги. Он просто отказывался выслушивать замечания и только в самых редких случаях беседовал о своих творениях. Так он защищал себя. Когда я начал писать, Билл предупредил меня, чтобы я никогда не читал критических обзоров. Он не объяснил мне почему. Теперь я сам это знаю.

Однажды во время интервью Билл в шутку сказал, что он потомок негритянки и крокодила. Репортер процитировал эти слова в газете. С тех пор Билл перестал обращать внимание на то, что о нем пишут и говорят.

## ГЛАВА 17

Дин погиб в ноябре, а его учитель Вернон Омли разбился следующим летом, и поэтому я получил место на линиях компании «Мид-Саус ээрвейз», где оба они работали прежде. До этого я служил на станции опыления растений и летал на самолете марки «Кларксдейл». Билл пользовался большим влиянием в «Мид-Саус», и я оказался первым кандидатом на должность, которую занимал Вернон. Служащие компании обучали курсантов, летали по специальным заказам и делали всякую другую работу. Кроме того, компания содержала еще прокатное агентство самолетов типа «Вако».

Билл часто навещал наш аэродром. Он заезжал к нам каждый раз, когда ему случилось ездить по делам в Мемфис, а иногда появлялся и просто так.

В один из приездов он показал мне чек на двадцать пять тысяч долларов и рассказал, что продал «Непобедимых» в кино и теперь собирается купить ферму. Ему всегда хотелось иметь ферму, и он спросил меня, не соглашусь ли я работать у него управляющим.

Я ответил, что не имею ни малейшего понятия о сельском хозяйстве. Но Билл сказал, что вдвоем мы сумеем всему научиться. Он пожелал разводить мулов и кормить их зерном со своей же фермы. Я согласился. В стране началась депрессия, и работа летчика уже не могла меня прокормить. У американцев не стало денег, чтобы летать.

Я с семьей переехал в Оксфорд и начал присматривать ферму. Наконец я нашел подходящий участок, который Биллу тоже понравился. Он расположен возле местечка Бит Ту, «Свободный штат Бит Ту», как называли его в шутку местные жители.

Бит Ту находится в семнадцати милях от города. Часть нашей земли лежала в низине, часть — на холмах. Мне казалось, что место это годится для скотоводческой фермы. Билл поехал вместе со мной, осмотрел участок, решил, что он ему подходит, и купил ферму.

Но Билл приобрел в Бит Ту не только ферму. Он встретил там героев своих будущих книг, жителей холмов. Люди с холмов гнали самогон из собственного зерна и не могли взять в толк, как это чужаки смеют совать нос в их дела. На выборах они пускали в ход кулаки и собственными силами улаживали свои разногласия. Неподалеку от нас, за ручьем, убили человека. Поводом к убийству послужил пересмотр границ школьного округа.

Жена нашего брата Дина выросла в этих местах. Муж ее сестры переехал в Джексон после того, как впервые победил на выборах в законодательное собрание штата. Он рассказывал, что в день выборов ему пришлось драться без перерыва с рассвета и до девяти часов вечера, и он клялся, что в жизни своей больше не возьмется проводить избирательную кампанию в Бит Ту.

Итак, мы начали разводить мулов. Билл купил племенных кобыл, целую дюжину, и крупного чистокровного жеребца по кличке Джон. Жеребец был огромный, четырнадцать футов высоты в холке, и негры тотчас же переименовали его в Бит Шот — Важная шишка. Они боялись жеребца, хотя на самом деле Джон был ласковым, как щенок. Билл велел нам построить для него небольшой загон с высокими стенками, чтобы жеребец не видел того, что делается



на воле. Его ничто не должно было пугать или тревожить.

На нашей ферме оказалось очень много пойменных земель, и Билл купил трактор, чтобы возделывать эти земли. Использовать своих кобыл на тяжелых полевых работах Билл не позволял, он боялся, что от непосильной работы лошади может выкинуть. Мы купили подержанный «фордзон» и засеяли поле овсом, чтобы иметь корм для животных на зиму.

Как только Билл оформил покупку фермы, я переехал туда жить. Билл оставался в городе, но приезжал ко мне каждый день. Несколько раз он нанимал самолет и облетал свои владения, желая получить более полное представление о том, что мы уже сделали и что следует сделать еще. Вот когда он наслаждался жизнью!

Эстель очень редко приезжала к нам с Биллом, зато Джилл пользовалась каждой счастливой возможностью побывать на ферме. Билл обычно оставлял ее у моей жены Долли, а сам шел туда, где мы работали.

В середине июня в низине, где находились наши поля, жара стояла ужасающая. С одиннадцати и до трех пополудни там было слишком жарко, даже для лошадей. Да и негры в эти часы работали не очень усердно. Впрочем, хорошо работать в такой духотище не мог никто.

Мы стремились использовать для работы самые прохладные часы. Около половины третьего утра я выходил на порог и трубил в горн, который привез с собой мой младший сын. Звук горна будил негров, и они собирались возле амбара. Мы задавали корм животным и расходились по домам завтракать. Когда я возвращался в конюшню, лошади были уже накормлены, и можно было их запрягать. Мы выезжали в поле чуть свет. К одиннадцати мы кончали работать и отсиживались дома до трех. К этому часу жара начинала уже спадать, и мы снова возвращались в поле и работали до темноты.

Трудились мы на славу, поля наши выглядели прекрасно. Билл казался очень довольным. Я думаю, что больше всего ему нравилось хозяйничать не так, как хозяйничает кругом, и делать все по-своему...

Однажды мы возвратились домой раньше, чем обычно.

Завидя нас, Долли быстро поставила обед на стол. И как раз в эту минуту подъехал Билл со своей дочкой.

— Иди сюда, Билл, пообедай с нами, — позвала его Долли.

— Пообедай? — переспросил Билл. — Бог ты мой, я как раз только что позавтракал. Вы что тут, не знаете, который час, что ли?

— Нет, не знаем, — ответила Долли.

— Да ведь еще девяти нет, — сказал Билл.

Билл есть не стал, зато Джилл пообедала с нами. Мы сидели за столом, а Билл вышел на крыльцо. Наконец обед кончился, и Билл позвал Долли.

— Гляди-ка сюда, — сказал он.

Наш дом выходил окнами на солнечную сторону, и сейчас лучи солнца падали на самую середину пола зарешеченной веранды. Деревянные решетки были прибиты к прочным подпоркам, отстоявшим примерно на метр одна от другой. Билл провел линию вдоль тени, падающей от одной из подпорок, и написал на ней: «9 часов». Потом начертил на полу еще несколько линий, расходящихся радиусами от основания подпорки, и обозначил часы дня.

— Ну вот, — сказал он Долли, — вот тебе часы, теперь ты всегда будешь знать, который час.

Однако нам было мало проку от солнечных часов Билла. Пусть сейчас девять утра, но ведь с тех пор, как мы поели в первый раз, прошло уже почти шесть часов, и мы успели здорово проголодаться. Следующая трапеза ждала нас в два часа. Во время сева мы ели четыре раза в день, и нас не слишком тревожило, как следует называть нашу трапезу: завтраком или обедом.

Позднее Долли иногда проверяла, как работают часы Билла. Правда, она несколько стерла циферблат, подметая террасу, но все равно, даже когда мы уехали с фермы, отметины Билла еще виднелись. Мы показывали солнечные часы неграм, и они начинали причитать и восхищаться. Их поражало, как это Билл сумел провести линии, обозначающие время.

В нашем городе жил негр-кузнец по имени Гэйт Бун. Он говорил, что здорово разбирается в лошадях, и Билл ему верил. Поэтому, когда брат отправился покупать кобыл и жеребца, он взял с собой Буна. Кончилось это тем, что Билл поселил Гэйта на ферме и поручил ему присматривать за лошадьми.

Впрочем, негры без особого почтения отзывались о знаниях Гэйта, да и о нем самом тоже. В своей компании они частенько подсмеивались над Гэйтом, но никогда не позволяли себе делать это при Билле. Гэйт сумел одурачить Билла, однако наши негры вовсе не собирались открывать ему глаза. Они полагали, что придет время, и Билл сам разберется во всем, а их дело сторона.

Я тоже понимал, что Гэйт дурачит Билла, но, уж раз Билл ставил кузнеца так высоко, мне не пристало вмешиваться. Пусть Билл заводит себе хоть двух Гэйтов, коли ему хочется. И мы предоставили событиям идти своим чередом.

Сперва Гэйт подыскал Биллу кобылку по имени Фанни. Большая ласковая лошадь стального цвета. Фанни ожеребилась примерно через месяц после того, как ее

привезли на ферму, и у нас появился первый жеребенок.

Жеребенок родился с коротким хвостом, рос он плохо и на всю жизнь остался размером с шотландского пони. Тварь эта не стоила сена, которое она съедала, и годилась разве для игр ребятишек. Рой Батлер — парень, которого я привез с собою из города, как-то посоветовал назвать лошадку Джекрэбит (Конекролик), и прозвище это прижилось.

Вскоре Билл взял с собой Гэйта на ферму, расположенную на участке, который должен был стать дном будущего водохранилища. Там они купили целый табун лошадей — десять голов.

В эту десятку попала всего одна настоящему стоящая лошадь — верховая кобыла по кличке Шило. Но она была слишком стара, чтобы принести жеребенка, и я взял ее под седло. Что до остальных, то из них одна была чудо как хороша. Но хотя на лбу у нее сияла белая звездочка, характером лошадка оказалась сущий дьявол. Вдруг ни с того ни с сего она начинала лягать все, что попадалось ей на глаза.

Совладать с ней не мог никто. Негры прозвали ее Молния. Несколько раз я пытался сесть на эту лошадь, но однажды на Молнию что-то нашло в ту самую минуту, когда я ее взнуздывал. Она вырвалась у меня из рук, метнулась в сторону и помчалась к грузовику, на котором привезли кока-колу. Тут, как назло, шофер вышел из кабины, и Молния сбила его с ног. Шофер подал на Билла в суд. С тех пор мы перестали баловаться с этой лошадью.

Правда, Баб, мой старший сын, все-таки наладился ловить Молнию и кататься на ней без седла. Но Долли поймала его на месте преступления и заставила прекратить озорство.

После истории с грузовиком чувства Билла к кобылке переменились. Он приказал использовать ее на полевых работах. Билл вовсе не желал, чтоб какая-то там лошадь командовала на его ферме.

Мы вывели Молнию в поле и запрягли в плуг. Пахать на ней должен был Джеймс, который и вправду умел обращаться с лошадьми. Джеймс проработал на Молнии примерно полчас, и тут кобылка взбеленилась. Она встала как вкопанная и принялась лягать плуг, стараясь высвободиться из упряжи. Мы боялись, как бы она не перерезала себе плугом подколенные сухожилия.

Все это происходило на глазах у Билла. Он приказал мне отстегать как следует кобылу и усмирить ее, прежде чем она себя искалечит. Я отломил ивовый прут и, когда Молния поднялась на дыбы, стегнул ее по передним ногам. В ответ лошадь попыталась лягнуть меня. Чем больше ее стегали, тем отчаяннее она лягалась.

Мы ничего не могли с ней поделать.

Наконец Билл сказал: «Хватит! Не стоит заставлять ее работать. А то еще выкинет. Жеребенок у нее должен быть крепким, как сталь, и упругим, как кожаный ремень».

Пришлось нам всем вместе связывать кобылку веревками, чтобы не дать ей брыкаться. А потом мы отвели ее на пастбище и пустили на волю.

Да, так вот, Билл считал Гэйта Буна великим знатоком лошадей и решил сделать его своим главным советчиком по всем вопросам сельского хозяйства. Он спрашивал Гэйта, где, когда и что нам следует сеять, а Гэйт, выведав заранее, что именно хотелось услышать Биллу, указывал участок. Естественно, что Билл охотно принимал такие советы, и Гэйт все выше и выше поднимался в его глазах. В конце концов Билл решил использовать Гэйта на ферме в качестве моего главного консультанта.

Раз Билл пожелал, чтобы я советовался с Гэйтом, я и стал советовать.

Негры уверяли, что Гэйт стал кузнецом, потому что не мог прокормить семью на доходы со своей фермы. Сначала он работал в сарае, потом снял небольшую мастерскую у дороги, как раз возле поворота на Йокону. Там Билл, которому понадобилось подковать лошадь, и набрел на Гэйта Буна.

Билл приехал к кузнецу и целое утро, пока тот подковывал его лошадь, сидел и беседовал с Гэйтом. И так как Гэйт соглашался со всем, что говорил посетитель, Билл вообразил, что этот негр знает решительно все не только о лошадях, но и о фермерском хозяйстве вообще.

Правда, в отсутствие хозяина Гэйт точно так же соглашался со мной. Так все и шло, покамест кузнецу не показалось, что он окончательно забрал Билла в руки. И тогда он решил, что ему все дозволено.

Мы как раз кончили обрабатывать один участок и перебрались на другую сторону ручья — подальше от дома. Я приказал неграм прихватить плуги и двигаться потихоньку, а сам пошел вперед, поглядывая, что там нужно будет делать. Покуда я перебирался через ручей, появился Гэйт. Мы подошли к полю и остановились на краю, оглядывая пашню.

— Переходим сюда, — сказал Гэйт.

— Давай поглядим, что делается на других участках, — предложил я.

— Нет, сэр. Мы будем работать здесь.

Я нахмурился к Гэйту. Он глядел на меня, нахмурившись. Над бровями у него красовался шрам, похожий на пару крыльев. Этот шрам Гэйт заработал давно, еще когда Мак Фармер (он работал у нас) выстрелил в него из «кольта» сорок первого калибра. Пуля разорвалась — один осколок полетел направо, второй — налево, и



оба они прочертили на лбу Гэйта два симметричных шрама.

Я еще раз поглядел на шрам и пошел домой. Я был сыт Гэйтом по горло. По дороге я встретил остальных негров. Они перетаскивали плуги через ручей, направляясь к полю, где находился Гэйт. Он стоял, не двигаясь, на том же месте и только вертел головой, как попугай, рассматривая меня.

Увидев, что я спешу домой, один из негров спросил:

— Что нам теперь делать, мастер Джонни?

— Ничего, черт возьми, пока я не вернусь.

Они глядели мне вслед, и я слышал, как кто-то сказал: «Вот Гэйт и достукался».

— Где мой револьвер, Долли? — заорал я, еще не успев подойти к крыльцу.

— А на что он тебе?

— Чтобы пристрелить Гэйта Буна.

Долли исчезла, а я остался ждать на ступеньках. Возилась она довольно долго, и я уже начал выбираться на лестницу, чтобы взять револьвер, но тут она появилась с оружием в руках.

Возвращаясь в поле, я увидел, что Нат, жена Джеймса (она готовила для нас), бежит по дороге. Я быстро зашагал следом за ней.

Когда я подошел к полю, Гэйта там уже не было. Негры пахали, а Нат стояла в стороне, сложив руки под передником.

— Где Гэйт? — кричал я.

— Нет его, — ответили негры, — он ушел.

— Куда? — спросил я.

Негр поднял руку и помахал в направлении проселка, который ведет к шоссе на Оксфорд.

Все негры побросали работу.

— Он не вернется больше, масса Джонни, — сказал Сон Мартин.

— А что вы скажете хозяину? — спросил дядюшка Нед.

— О чем? — спросил я.

— Да о том, как вы прогнали револьвером Гэйта.

— А вы-то откуда знаете, что у меня револьвер? — спросил я. Револьвер я засунул в карман, и они не могли его видеть.

— Интересно, зачем это еще вы могли побежать домой? И что теперь скажет хозяин?

— Я бы хотел, чтобы ваш хозяин был сейчас здесь, — сказал я. — Я бы с удовольствием пристрелил и его заодно с Гэйтом Буном. А вы ступайте работать!

— Да, сэр! — И негры вернулись в поле пахать под палящим солнцем.

Я слышал, как Мак говорил:

— Коли он собирается прострелить Гэйту голову, так не стоило и пробовать. Я уже один раз пытался. Напрасно. Не мо-

жет пуля пробить его череп — и все тут!

Негры расхохотались, и я вместе с ними. Я уже остыл и перестал беситься.

Оглянувшись, я заметил, что Нат ушла. Когда я пришел домой обедать, она гремела на кухне посудой и пела, а Долли возилась по хозяйству. Я вынул из кармана револьвер.

— Я пришел в поле, а его уж и след простыл, — сказал я.

— Знаю, — ответила Долли. — Это я послала Нат предупредить Гэйта, чтобы он убрался, прежде чем ты вернешься.

— Хм... — только и сказал я.

Так в свое время наш отец отвечал маме.

С тех пор Гэйт уже не жил на нашей ферме. Правда, изредка он приезжал, но во время своих визитов всегда держался поближе к Биллу. Стоило Биллу уехать с фермы, как Гэйт исчезал тоже. Билл так и не сказал мне ни слова по поводу моего столкновения с Гэйтом, однако советовать с ним он перестал.

Приближалось четвертое июля<sup>3</sup>, наше первое четвертое июля в Бит Ту, и Билл решил устроить в этот день праздник. Мы вырыли яму глубиной в метр и несколько дней жгли в ней ореховое дерево, чтобы получить хороший древесный уголь. Накануне праздника мы зарезали корову и с помощью негров соорудили над ямой решетку, чтобы жарить на ней тушу.

Во время этих приготовлений Билл то появлялся, то исчезал. Он наблюдал, как жгут на уголь ореховое дерево, и руководил нами, пока мы сбивали решетку. Он был счастлив, вмешиваясь во все, что делали другие. Наконец Билл и сам приступил к делу.

Целый день он хлопотал возле ямы: готовил соус для жаркого и командовал неграми, когда приходило время поворачивать четвертушки разрубленной туши. Время от времени он поливал мясо соусом из ковша.

Мы пригласили на праздник и белых и негров. Пришли наши соседи — дядюшка Джим и Бадди Смит, из поселка явился дядюшка Оскар-Парам и старый Пэйн Билсон. Они говорили, что запах жареного мяса чувствуется за милою от костра.

Билл велел неграм принести картошку, и мы запекли ее в золе у края ямы. В общем, уже накануне еды у нас оказалось не меньше, чем в день праздника.

Билл со своими гостями просидел у костра всю ночь, поливая мясо соусом и прикладываясь время от времени к бутылке. На следующее утро он уступил роль повара дядюшке Неду. Примерно в восемь часов утра мы с нашими белыми гостями — теми, что приехали пораньше, собрались в кузнице и уселись вокруг кувшина

<sup>3</sup> Четвертое июля — День независимости.

с виски, который принес с собой один из приглашенных.

В кузнице под навесом скопилось много ящиков и бочек, из которых получились отличные стулья. Под навесом было довольно прохладно, стены защищали нас от солнца, — здесь было приятно посидеть за кувшином виски. Принес виски мистер Лонни Паркс.

Настроены мы были весьма «философски», и Лонни все старался высказать какие-то заумные мысли. Но дикция у него была ужасная. И понять его было решительно невозможно. Не дойдя и до середины фразы, он сдался и, повернувшись к Биллу, сказал: «Я не могу говорить ясно, потому что я без зубов».

Лонни обшарил свои карманы в поисках искусственной челюсти, но ее там не оказалось. Он забыл свои зубы дома. Билл несколько секунд смотрел, как гость роется в карманах: «На вашем месте я не стал бы трудиться понапрасну, мистер Лонни. Вот у меня рот полон зубов, и все равно я говорю ненамного лучше вашего», — сказал он.

И сказал правду.

Нам пришлось заставить его повторить несколько раз одно и то же, прежде чем мы поняли, наконец, что именно он говорит.

Уехал Билл домой уже поздно вечером. Белые гости тоже разошлись, но почти все негры остались. Они появились у костра перед самым закатом. На углях оставалось еще очень много горячего мяса, и я предоставил костер и решетку в полное их распоряжение на всю ночь.

Лавку я не закрыл, мне все равно нельзя было уйти домой, пока праздник не кончится. Наконец от коровы ничего не осталось, и негры потянулись вверх по склону холма, от костра к лавке. Я зажег фонарь, и свет в дверном проеме рисовался желтым квадратом в ночи.

В лавке хранился запас безалкогольных напитков — кока-кола, содовая и лед. Негры, наевшись острого мяса, очень хотели пить, и я начал откупоривать бутылки и передавать им. Негры по одному брали бутылку и выходили на крыльцо, освобождая место для следующего.

Кто-то вынул губную гармошку из кармана и постучал ею по тыльной стороне руки, чтобы вытряхнуть грязь и крошки. Затем он провел губами вдоль отверстий, как бы согревая инструмент, — негры замерли, прислушиваясь, и заиграл известную старую песню про охоту на лисиц. Окружающие подхватили мелодию, они исполнили партию собак — вот собаки идут по следу, вот они окружают лисицу...

Песня про собак и лисиц кончилась, и тогда другой негр взял в руки губную гармошку и сыграл песню про поезд. И казалось нам, будто мы слышим, как трогает-

ся поезд, как стучат колеса и свистит паровоз. А потом негр, живущий по ту сторону Кипарисового ручья, выхватил гармошку и заиграл старый блюз «Джек о даймондс». Негры притихли. Потом один за другим они начали ритмично притопывать, похлопывая себя по бедрам, отбивая такт.

На ферме стояли сани, которые мы прицепляли к трактору, когда приходилось перевозить с места на место что-нибудь очень тяжелое.

Музыкант все еще играл «Джек о даймондс», как вдруг один из слушателей вскочил на сани и начал отплясывать, выделывая всевозможные па и что-то приговаривая. Негр танцевал, то выбрасывая руки вперед, то отскакивая назад, и кружился, переходя от одного края саней к другому. При этом он фыркал и закидывал голову, словно мул, которого взнуздали и тянут за повод.

Изображая одновременно и человека и мула, танцор разыграл целую пантомиму. Он показал, как человек пытается взнудать мула и как увертывается от животного, когда мул хочет его укусить. Зрители хохотали и оглушительно хлопали в ладоши. Но тут другой негр вспрыгнул на импровизированную сцену, столкнул первого исполнителя и, как бы взяв в руки невидимую уздечку, поймал наконец воображаемого мула. Потом еще один негр вскочил на салазки и показал, как ведут мула из стойла, как вывели его в поле и запрягают в плуг. Но и его прогнал новый танцор. Волоча ноги по краю настила, он показал, как пашут поле. Так на настиле размером в полтора квадратных метра негры показали весь цикл полевых работ, начиная от сева и кончая уборкой урожая.

Неожиданно в толпе негров возникло волнение. Ко мне подошел один из зрителей и сказал, что какой-то белый пристает к цветной. Я пошел за ним и увидел, как пьяный белый оборванец пытается вытащить из толпы негритянку. Я приволок его к калитке и вытолкал вон, приказав убраться.

Пьяный убрался, но веселье закончилось. И вскоре негры разошлись, исчезая в темноте. Уходя, они тихо прощались и благодарили меня и Билла за угощение и праздник. Так закончился этот день.

Лето шло к концу, и все вздорожало. Оптовики повысили цены, и я тоже поднял цены в нашей лавке. Мы держали полный ассортимент товаров, необходимых на ферме, — продукты, табак, одежду, запасные части к инвентарю. Однако, как только Билл приехал на ферму, он тотчас велел мне снизить цены до прежнего уровня. «Негры не виноваты в том, что все подорожало, — сказал Билл, — они не должны страдать из-за этого». Я снизил цены...

Прошло года два с тех пор, как Билл приобрел ферму. Деньги у него кончились.



Я снова уехал в город и поступил на службу в ВПА (Управление промышленно-строительных работ общественного назначения). Кажется, после того, как я оставил ферму, Билл тоже стал меньше интересоваться ею. Он уже не ездил туда так часто, как бывало. Он перевез на ферму своих городских негров и разрешил им вести хозяйство, как им заблагорассудится. Кое-кто из этих негров и сейчас живет в Бит Ту.

Прошло некоторое время, и Билл снова отправился в Калифорнию. Вернулся он оттуда с деньгами и большую часть этих денег вложил в ферму. Но бывал он там по-прежнему редко. Старый трактор окончательно развалился, и Билл купил новый. На пойменных землях он прорыл дренажную канаву, чтобы регулировать весенние паводки, и выпрямил ручей Пасс Касс. Тогда же построили и новый мост через ручей.

## ГЛАВА 19

А теперь мне придется рассказать о своих собственных литературных делах, ибо именно из-за них я больше всего общался с Биллом в последние годы. Писать я стал на ферме. Началось все с того, что я сочинял и рассказывал разные истории моему младшему сыну Чуки. Позднее эти истории были опубликованы в книге, которая так и называется «Чуки».

Я довольно долго писал короткие рассказы, но мне не везло. В конце концов мама приперла Билла к стенке и заставила его обещать ей, что он мне поможет. Затем мама позвонила и сказала, чтобы я принес мои рассказы Биллу, он хочет посмотреть их.

Я выбрал, как мне казалось, два самых лучших и понес их брату.

Билл сидел во дворе и читал. Увидев Билла, я сразу понял, что его впутали в дело, которое ему явно не по нутру, и что, если бы не мама, он ни за что бы за это не взялся. Билл попросил меня оставить ему рукопись. Он сидел неподвижно, вперив взгляд куда-то в пространство.

Я положил рассказы на подлокотник его кресла, ушел и не приходил до тех пор, пока мама не послала за мной. Билл, как и прошлый раз, сидел во дворе в шезлонге. Я подошел и сел рядом на стул.

— «Сатердей ивнинг пост» купи эти два.

Я возликовал.

— Помолчи и дай мне сказать, — продолжал Билл. — Ты ведь за этим пришел сюда?

Я кивнул.

— Тогда не мешай мне говорить. Я могу поставить свою подпись рядом с твоей, и тогда рассказы, несомненно, купят, но тебе это мало поможет, их возьмут

на девяносто процентов из-за меня, и в следующий раз тебе придется начинать все сначала. Пошли сам. Их примут.

Он замолчал и снова стал смотреть в какую-то точку.

Я понял, что он считает наш разговор оконченным и что мне пора уходить. Я ушел.

«Пост» не принял рассказов. Я снова отправился к Биллу. В такой ярости я его еще никогда не видел. К тому времени он был уже известным писателем и не сомневался, что способен судить о качестве любого литературного произведения ничуть не хуже других. Однако «Сатердей ивнинг пост» придерживался, видимо, другого мнения, и это выводило Билла из себя.

Я передал все это маме, мама отправилась к Биллу, а Билл опять послал за мной.

— Рассказ либо продается, либо не продается, — сказал Билл. — Написал рассказ — посылай его. Примут — хорошо. Не примут, забудь о нем и пиши другой. Никогда ничего не переписывай. Переделывать рассказ — только попусту тратить талант и время. Истрать их лучше на новый. Помочь продать рассказ не может никто. Вот роман — дело другое. Напиши роман, а уж я прослежу, чтобы его опубликовали. Это я сделать могу.

И тогда я написал «Мужчины на работе» — и вылетел за это с работы.

Билл действительно помог мне продать мой роман, но зато воспользовался сюжетом двух моих рассказов. Впрочем, я вовсе не уверен, что Билл помнил, где он заимствовал материал для своих новых вещей.

Но мама прочитала в журнале «Колиерс» рассказы Билла, конечно, расстроилась и позвонила мне — я показывал ей свои вещи еще в рукописи.

Обычно я каждое утро заходил к ней выпить кофе, посидеть и поговорить, а потом отправлялся на почту. У нас тогда еще не разносили корреспонденцию по домам, а я люблю ходить пешком. Мама жила как раз на полпути от нас к центру города. Вот я и заходил по дороге. Иногда приходил и Билл. Тогда мы пили кофе и беседовали втроем.

В то утро мама еще на пороге протянула мне номер «Колиерса».

— Ты видел? — спросила она.

— У-ум...

— Но, Джонси...

— Послушай, мам! Билл не украл у меня рассказ. Писатель всегда уверен, что он придумал все сам. Он может сорок лет по кусочкам собирать материал и все еще не знать, что именно он напишет. Да он и не помнит, откуда что взялось. Писатель размышляет, смотрит, слушает, чувствует,

и вдруг в какое-то мгновение все складывается в рассказ или в книгу.

— Джонси, Билли давно говорил мне то же самое, только он называл это воровством. Он сказал, что все писатели крадут друг у друга.

Но когда Билл сказал «крадут», это было как бы самобичеванием. Это очень на него похоже, он всегда был строже к себе, чем к другим, и не прощал себе своих ошибок.

В конце концов мне все же удалось успокоить маму. Но она все-таки была расстроена. Она чувствовала себя ответственной за то, что случилось. Ведь это она заставила Билла прочесть мои рассказы.

Впоследствии Билл объяснил мне, почему он всегда отказывается читать чужие рукописи. Он боится запомнить что-нибудь из прочитанного и невольно использовать чужой материал в своих книгах. Потому что тогда его непременно обвинят в плагиате. Да и какой смысл писателю читать чужую рукопись? Вещи свои, говорил Билл, следует показывать человеку, который их может купить, а вовсе не наоборот по перу. И я последовал его совету.

Вскоре после этого разговора я окончил свою первую книгу и принес рукопись Биллу.

— Что это? — спросил он.

— Роман, который ты обещал мне помочь пристроить, если я его напишу.

— Хорошо, помогу, только читать его я не стану.

— О'кэй, Билл.

— Отошли роман моему издателю и напишу ему, что не читал рукописи.

— Конечно, Билл.

Примерно через месяц Билл пришел к маме и сказал, что хочет поговорить со мной. Мама всегда была нашей связной. Впрочем, иногда я случайно встречал брата на улице. Тогда мы останавливались, чтобы поговорить накоротке, или сразу же расходились в разные стороны.

После разговора с мамой я пошел к Биллу. Он принял меня в своем кабинете и показал мне письмо из издательства о моем романе. Издательство сообщало, что в моей рукописи нет того огня, который есть в вещах Билла, и поэтому оно возвращает ее. Билл был очень недоволен, ведь он просил издательство, если рукопись не подойдет, переслать ее литературному агенту Билла в Нью-Йорк. А теперь ему предстояло возиться с ней и самому отправить ее в Нью-Йорк.

Все-таки он это сделал и через месяц получил ответ от своего агента, который писал, что если я разовью одну линию сюжета, обрисую более ярко одно из действующих лиц, то, как ему кажется, он сумеет пристроить книгу. Билл попросил агента возвратить рукопись мне, я допи-

сал все, что требовалось, и отослал ее обратно.

Книгу приобрело издательство «Харкорт, Брайс». Мне выписали авансом пятьсот долларов. Но агент сообщил, что мой издатель всегда предпочитает лично встретиться с автором, особенно если это человек, в литературе новый. Агент советовал мне приехать в Нью-Йорк. Я пошел к Биллу, так как был в ужасе от предстоящей поездки. И до сих пор любой крупный город пугает меня. Все они слишком велики, и народу в них слишком много.

— Я обязательно должен ехать? — спросил я.

— Если твой агент говорит, что должен, то лучше поехать, — ответил Билл.

— А как считается, на какие деньги я должен ехать?

— Напиши своему агенту, что, если он хочет, чтобы ты приехал в Нью-Йорк, пусть вышлет деньги.

Я написал так, как сказал Билл, и в ответ получил письмо с вопросом, сколько именно надо прислать.

Я снова обратился к Биллу.

— Во сколько мне обойдется поездка в Нью-Йорк?

Билл подумал и сказал:

— Напиши, пусть вышлет сто долларов. Нет, лучше сто двадцать пять.

Так я и написал. Деньги пришли сразу, и я опять отправился к Биллу.

— Как ты добираться в Нью-Йорке туда, куда тебе нужно?

— Это несложно, — ответил он. — Сейчас я нарисую тебе план города.

Разговаривать мы начали во дворе, но потом перешли в кабинет Билла. Он достал лист писчей бумаги, вынул ручку и сел за стол. Я стоял позади и смотрел через его плечо.

Билл расчертил листок на квадраты одинаковой величины параллельными линиями, одну линию провел наискосок из верхнего угла в нижний.

— Эти продольные линии — улицы, — сказал он и ткнул в них кончиком пера. — Каждая идет с востока на запад. Вертикальные линии — улицы, тянущиеся с севера на юг. — Билл нарисовал сверху стрелку и поставил на ней букву «N». — Косая линия, вот здесь, — Бродвей. Носи этот план с собой, и у тебя никогда не будет никаких затруднений.

Некоторое время он задумчиво глядел на листок.

— Не вздумай останавливать на улицах прохожих и спрашивать, как тебе пройти по такому-то адресу. Ты так медленно говоришь, и у тебя столько времени займут разные «простите меня», «извините», «пожалуйста», что человек успеет уйти за квартал раньше, чем ты кончишь фразу. Кроме того, в Нью-Йорке вообще никто не умеет говорить по-английски.



Билл еще поглядел на план, потом взял его со стола, изорвал и выбросил в корзину для бумаг.

— Куда бы ты ни ехал, садись сразу в такси и говори адрес. Шофер довезет.

Я поблагодарил Билла и вышел. Прежде чем ехать в Нью-Йорк, я зашел к маме.

...Так как мне удалось издать свою книгу, и несколько моих рассказов появилось в «Колиерсе», Билл время от времени делился со мной мыслями о писательском ремесле. Однажды он сказал, чтобы я никогда не обращал внимания на критику. Он добавил еще, что в большинстве своем критики — неудачники, которые пробовали писать, но безуспешно, и поэтому они отыгрываются на всех тех, кто стал писателем. Билл клялся, что никогда не читает критические обзоры или письма, в которых критикуют его произведения. И я думаю, что он говорил правду.

Кроме того, он объяснил мне: издатель всегда возвращает автору рукопись на доработку, просто чтобы показать, что он понимает в книгах больше, чем писатель.

И еще Билл говорил, что любой рассказ должен строиться на конфликте, с обязательными завязкой и развязкой. Но больше всего публика любит читать о том, как двое мужчин стремятся переспать с одной и той же женщиной.

Кажется, именно в эти дни Билл установил железное правило.

— Самое лучшее, — сказал он, — договориться, что мы никогда не станем вмешиваться в работу друг друга и никогда не будем говорить о ней с посторонними.

Мы оба выполнили наш договор. И хотя мне не раз предлагали повышенные гонорары за критические статьи о книгах Билла, я всегда отказывался о нем писать. Уверен, что и Биллу делали подобные предложения и он их тоже отверг. Ко всем родственникам Билла, и особенно ко мне и к маме, часто приставали самые разные люди с расспросами о нем. Но мы никогда ничего не рассказывали, зная, как не выносит Билл, когда о нем и о его делах судачат посторонние.

Мама необыкновенно гордилась Биллом, и гордилась она им совершенно справедливо. Но она умела уважать его желания всегда и во всем. А если и случалось нам говорить о старшем брате публично, то только для того, чтобы опровергнуть многочисленные небылицы, которые о нем рассказывали. Мы не раз разоблачали всякие нелепости, касающиеся Билла, но все равно я до сих пор встречаю их в писаниях, которые авторы называют критическими исследованиями.

Еще десять или двенадцать лет назад я решил, что в случае, если доведется мне пережить брата, я напишу книгу о том, каким он был на самом деле.

## ГЛАВА 20

К нам, своим родным, брат был не просто щедр. Ему нравилось приходить на помощь близким в трудную для них минуту. Щедрость его распространялась и на негров, которые когда-либо работали у него. Они полагали, что имеют на Билла те же права, что и его родные. Билл всю жизнь считал себя обязанным заботиться о няньке Дина, Мамми Калли, и о дядюшке Неде, который принадлежал нашей семье еще во времена рабства. Совсем по-особому относился Билл к Мамми Калли. Она была полноправным членом нашей семьи. Большую часть своей жизни Калли отдала нам. Когда няня состарилась и не могла больше работать, мама и Билл позаботились о том, чтобы она не знала нужды. Правда, мамины средства были очень ограничены, так что основную часть расходов взял на себя Билл.

Калли жила на окраине города, примерно в четверти мили от нашей мамы, которая, если только позволяла погода, часто навещала ее. Стоило Мамми Калли исчезнуть надолго, мама или Билл спешили узнать, не случилось ли с ней что-нибудь. Билл снял для Калли квартиру в двухэтажном доме и договорился с соседкой, живущей наверху, что та будет ежедневно навещать к старушке.

Однажды, когда Калли возвращалась от нашей мамы, с ней случилось несчастье — возле самого дома ее сбил автомобиль. Соседи немедленно позвонили маме, и она приехала тотчас же. Тем временем Калли успели перенести домой, и, когда мама вошла к ней, она лежала в постели в полубессознательном состоянии.

Мама вызвала «скорую помощь» и отвезла старую негритянку в больницу. Всю дорогу она держала в своей руке черную, морщинистую ее руку. Казалось, Калли черпала в этом потаении силы для того, чтобы противостоять страшному и странному миру боли и галлюцинаций.

В больнице доктор осмотрел Калли и успокоил ее. Тем временем мама вызвала Билла. Он приехал немедленно, повидал больную и сделал все, чтобы обеспечить ей хороший уход.

Наша Калли прожила еще несколько лет.

Умерла наша Калли от старости, она скончалась у себя дома во сне, в своей постели.

Билл перевез покойницу к себе, и она сутки лежала в его гостиной у камина. Билл выбрал и место для ее могилы в той части городского кладбища, где у нас хоронят цветных. В день похорон черные и белые друзья Мамми Калли собрались в доме Билла. Он сам произнес над ней надгробное слово, и вся его семья шла за катафалком на кладбище, провожая Калли

в последний путь. Через некоторое время он поставил на ее могиле памятник.

Больше всех в семье Билл любил маму. Он делал для нее все, что только она позволяла делать. Наша мама, отличавшаяся удивительно независимым характером, тешила себя иллюзией, будто она живет на заработок, который ей дает живопись.

Билл много раз клал на ее имя в банк деньги, но мама, как правило, ими не пользовалась. Каждый год, в январе, когда Билл платил налоги, он вносил их за маму тоже. Он сам ходил в магазин, где она обычно покупала продукты, оставлял там сто долларов в счет ее будущих расходов и просил известить его, как только эта сумма будет израсходована, чтобы он мог тут же внести следующие сто долларов. Билл помогал и другим родственникам и всегда снабжал нас деньгами.

Особенно много сделал Билл для Дин, дочери нашего покойного брата Дина. Он считал себя невольным косвенным виновником гибели ее отца. Ведь это он послал Дина учиться летному делу в Мемфис, и тот погиб, летая на самолете, принадлежавшем Биллу.

Да, Билл считал себя причастным к гибели Дина и потому многие годы заботился о его ребенке. Дин так и не увидел своей дочери: она родилась через четыре месяца после его смерти. Спустя несколько лет вдова Дина вышла замуж вторично и переехала со своим мужем и маленькой Дин в Литл-Рок. Билл высылал деньги для девочки во время ее учебы в школе, а когда она поступила в «Ол Мисс», он взял на себя все расходы, необходимые для того, чтобы Дин получила высшее образование. Мало того, он решил научить ее обращаться с деньгами. Когда Дин поступила в университет, Билл пригласил ее к себе, и они вдвоем подсчитали, сколько денег понадобится ей на год. Билл тут же вручил ей всю сумму сполна и сказал, что распределить ее она должна сама. И надо отдать должное Дин: за годы, проведенные в «Ол Мисс», она ни разу не вышла из бюджета и не попросила у Билла ни цента сверх обусловленной суммы, даже когда отправилась учиться за океан. Прочувшись два первых года дома, Дин решила последний год провести в Женевском университете. Билл одобрил этот план. В июне, после экзаменов, девушка отплыла в Европу. Вскоре она начала переписываться с Биллом по-французски, это доставило много удовольствия обоим. А когда Дин вернулась домой, она влюбилась в Джона Мэлларда...

Билл устроил ей такую же свадьбу, как своей дочери Джилл. Помолвку Дин праздновали в саду у Билла. Мы стояли с бокалами шампанского, а Билл вышел на крыльцо, встал между Джоном и Дин и поздравил будущую чету. Билл сказал, что еще

слишком мало знает молодого человека, чтобы иметь о нем суждение, но, добавил брат, он абсолютно уверен в выборе Дин и рад приветствовать нового члена нашей семьи. И мы все выпили за здоровье Дин и Джона.

Билл отличался таким же твердым характером, как и все члены нашей семьи. Но порой он становился невыносимо упрямым, упрямым, как мул. Уж если он что говорил или делал, то стоял на своем до конца. Он никогда не вдавался в объяснения и никогда ни с кем не обсуждал своих дел. Иногда нам бывало трудно согласиться с тем, что он говорит или делает, но мы не пытались ни противоречить, ни разубеждать его.

Не могу припомнить, чтобы Билл обращался за помощью к кому бы то ни было и в каких бы то ни было обстоятельствах. Он всегда полагался только на самого себя.

Когда Кеннеди стал президентом США, то он разработал обширную программу поощрения деятелей искусства. Белый дом приглашал на свои приемы выдающихся поэтов, писателей, музыкантов и художников. Конечно, в список приглашенных попал и нобелевский лауреат Фолкнер. Однако, получив приглашение в Белый дом, брат вежливо отклонил его. Он сказал, что сто миль слишком большое расстояние для того, чтобы присутствовать на трапезе, и попросил Эстель написать ответ Первой леди — супруге президента.

Высказывания Билла цитировались множество раз, но все-таки я хочу привести одно его замечание, которое кажется мне особенно характерным для него. Оно было сделано во время депрессии. Билл наблюдал, как ВПА превращает наших независимых фермеров с холмов в горожан, в людей, живущих за счет подаяний правительства. Его возмущало то, что делало ВПА с его народом.

Билл сказал, что эти люди могли бы справиться со своими несчастьями, если бы только у них была возможность по-прежнему жить так далеко друг от друга, чтобы на помощь соседа не приходилось рассчитывать. Он хотел, чтобы они вернулись на свои фермы и обрели былую независимость. Эту черту характера Билл больше всего ценил и в окружающих и в себе.

## ГЛАВА 21

В последние годы Билл много писал по заказу для Голливуда. Работа его не требовала длительного пребывания в Калифорнии. Чаще всего он работал у Говарда Хоукса, которому нравилось, как пишет Билл. Он неоднократно предлагал Биллу делать сценарии по рассказам, купленным студией. Хоукс звонил Биллу по междугородному телефону и договаривался с ним обо всем. Только окончив работу над сце-



нарием, Билл ехал в Калифорнию. Условия оплаты тоже изменились. Раньше с Биллом заключали договор на определенное количество рабочих недель или месяцев. Теперь мистер Хоукс назначал плату аккордно за всю работу, выполненную в установленный срок. Кроме того, в контракте предусматривалась премия за досрочную сдачу сценария. Каждый сэкономенный день оплачивался в несколько раз дороже обычного.

Насколько я знаю, Билл всегда умудрялся получать премии. Покончив с делами в Голливуде, он немедленно возвращался домой.

У брата было доброе сердце. Таких, как он, обычно зовут простаками. Денег у него теперь было много, и он редко отказывал в помощи тем, кто нуждался по-настоящему. Каких только историй ему не рассказывали! Растрогать его было не трудно, но одурачить нелегко, если только история не была придумана очень уж ловко. Кроме того, Билл получал множество писем от разных лиц и организаций с просьбами о денежной помощи. Вот на эти просьбы Билл откликался редко и даже вряд ли знал о них. После смерти Билла в его кабинете нашли кипы нераспечатанных писем.

Билл очень много помогал неграм и белым, проживавшим в наших местах. Он знал в лицо большинство жителей в округе Лафайет, а если не знал, так слыхал о них. Мы же узнавали о его добрых делах случайно.

Про Билла говорили, что он недоступен. Действительно, он как бы возвел вокруг себя стену, спасаясь от разговоров о его творчестве. Он просто отказывался говорить на эту тему, а если с ним все-таки заводили разговор о его книгах, он прятался, как устрица, захопнувшая створки своей раковины. Он только что уши не затыкал и решительно не желал слушать собеседников. Критические замечания о его вещах всегда больно ранили Билла. И он защищался от них всеми доступными ему средствами. Он только однажды нарушил это правило. К Биллу обратился юноша-студент, который выбрал темой своего диплома творчество Билла. Студент этот пришел к нему, назвал себя, объяснил, чем именно он занимается, и спросил, не согласится ли Билл поговорить с ним о своих книгах.

Билл решил послушать, что написал о нем молодой человек. Убедившись, что студент относится к своей работе серьезно, Билл сделал ряд замечаний, которые, как он надеялся, должны были помочь молодому человеку.

Во время беседы студент пожаловался, что книгу Билла, о которой он пишет, ему удалось достать только в дешевом, двадцатипятицентovém издании.

— Вот это и есть ее настоящая

цена, — сказал Билл, — больше она не стоит.

Билл всегда сочувствовал всем, кого преследуют власть имущие. Вот почему он однажды вступил в контакт с компартией. Это случилось в 1930 году.

В округе Лафайет проживал тогда коммунист — единственный коммунист, зарегистрированный в нашем штате. Его одиночество вызывало сочувствие Билла, и он жертвовал пятьдесят долларов на нужды компартии. Пятьдесят долларов не слишком большая сумма, но взнос этот служил как бы данью уважения человеку, который один выступил против двух миллионов, против всех нас.

Насколько я знаю, Билл никогда не принимал участия ни в каких политических собраниях. Даже разъезжая с дядей Джоном по всей округе во время дядиной избирательной кампании, Билл не слушал его речей. Он был слишком занят, наблюдая за аудиторией и слушая выступления избирателей. Тем не менее Билла много раз обвиняли в том, что он коммунист, красный, розовый, разрушитель основ.

Наш город Оксфорд притягивает к себе всех, кому довелось хоть недолго прожить в нем. Чиновники правительственного аппарата, штатские и военные, профессора, работавшие несколько лет в университете «Ол Мисс», — все они поддавались особому очарованию города и, выйдя на пенсию, переезжали на жительство в Оксфорд.

Вот так появился у нас и полковник Ивэнс. Во время войны он преподавал в «Ол Мисс», читал курс военной подготовки, введенный правительством. Он познакомился с Биллом, и скоро они подружились. Оба увлекались охотой, любили долгие прогулки, природу и часто бывали вместе, потому что у них оказалось много общих интересов.

В пятидесяти милях от нашего города находится вторая в мире по величине земляная плотина. Она растянулась на две мили. Ее построили, чтобы собирать паводковые воды реки Талахатчи, которые спускают теперь в Миссисипи.

Обычно площадь водохранилища, замкнутого плотиной, достигает пяти миль в ширину и пятнадцать миль в длину. Во время разлива водяное зеркало увеличивается вдвое. Появление такого огромного озера внесло в нашу жизнь новшество — водный спорт.

Примерно к тому моменту, когда возникло новое озеро, Арт Гайтон, сосед и друг Билла, своими руками построил парусную шлюпку. Однажды Билл, проходя мимо мастерской Арта, увидел соседа за работой и остановился посмотреть, что тот делает. По мере того как работа продвигалась, Билл заинтересовывался ею все больше и больше, и, когда Арт спустил шлюпку на воду, Билл отправился с ним

в плавание и после первого же похода «заболел» парусным спортом.

А тут еще Билл обнаружил, что полковник Ивенс тоже увлекается яхтами. В конце концов они заразили энтузиазмом еще двух своих задушевных друзей — Росса Брауна и доктора Литла. Все четверо решили построить большую яхту с каютой, где можно было бы есть и спать. Росс и доктор, у которых их служба отнимала очень много времени, вложили деньги, а Билл и полковник взялись построить судно.

Билл, который наблюдал за работой Арта, считал себя уже квалифицированным плотником. А полковник Ивенс давно славился как мастер на все руки, и дома у него хранился огромный набор всевозможных инструментов.

Кроме того, полковник Ивенс был знаком с поставщиком красного дерева из Центральной Америки. Приятель полковника, однокашник по Вест-Пойнту, занимал там теперь должность военного коменданта, и Ивенс не сомневался, что сумеет добыть с его помощью красное дерево — идеальный материал для яхты. Ивенс списался с приятелем, и они с Биллом обоорудовали себе мастерскую на заднем дворе у полковника.

Красное дерево прибыло, и Билл с Ивенсом на долгие месяцы с головой ушли в постройку яхты. Судно получилось великолепное. На яхте провели электричество, поставили жаровню и холодильник. В каюте свободно помещалось шесть человек. По подсчетам Билла, яхта стоила не меньше, чем двадцать пять тысяч долларов.

Она простояла на нашем водохранилище несколько лет. К сожалению, однажды во время сильного шторма яхта сорвалась с якоря и затонула. Найти судно не удалось, хотя Билл вызывал водолазов из Мемфиса и они тщательно обшарили дно на месте предполагаемой катастрофы. Следов яхты так и не удалось обнаружить. К счастью, она была застрахована.

Тогда Билл купил яхту, которая, по правде говоря, нравилась ему больше, чем мощное судно, которое соорудил он вместе с полковником Ивенсом. Арта Гайтона как раз перевели из университета в новую университетскую клинику в Джэксоне, и он продал свою яхту Биллу.

Иногда Билл брал меня с собой. Когда брат увлекался каким-нибудь новым делом, он начинал читать специальную литературу — теперь пришла очередь книг по мореходству и судовождению. Билл изучал навигацию, искусство вождения яхты, устройство и оснастку судна и в результате научился ходить под парусом лучше, чем любой средней руки яхтсмен.

На борту яхты Билл всегда держал морской компас в футляре из красного дере-

ва. Иной раз на водохранилище начинается внезапный дождь или надвигается туман, и без компаса там можно попасть в беду. Билл завел на яхте спасательные пояса и строго следил за тем, чтобы все пассажиры надевали их. Большинство из нас отлично плавало, но Билл требовал соблюдения всех мер предосторожности. Ведь временами высота волн на водохранилище достигает двух метров.

Кроме того, на судне стоял мотор. Это Эстель настояла на том, чтобы яхту оснастили двигателем, хотя Билл, по-моему, ни разу им не воспользовался. Он купил мотор исключительно для того, чтобы утихомирить жену.

На покупке мотора Эстель настояла из-за дикого упрямства своего мужа. Однажды он вышел на озеро в полдень, а вернулся домой лишь на рассвете следующего дня. За это время Эстель чуть с ума не сошла. Она обзвонила весь город, чтобы узнать, не видел ли кто-нибудь Билла. Его видели. Он отошел на яхте примерно на милю от берега, и тут ветер сник. Заштилоло, Билл сидел под ослепительным солнцем, яхта слегка покачивалась, паруса обвисли. Мимо пронеслись мощные катера. Их капитаны предлагали Биллу отбуксировать его яхту к берегу. Но Билл отвечал: «Нет». Он вышел походить под парусом и решения своего менять не собирается. Друзья, опасаясь, что на воде под палящим солнцем Билла хватит солнечный удар, умоляли его вернуться на берег. Но он упрямо стоял на своем.

В конце концов все поняли, что только даром теряют время, и оставили Билла в покое. В полночь подул легкий ветерок, и Билл подошел к берегу. К рассвету, когда Билл вернулся домой, Эстель прошла через целую гамму чувств. Сперва она впадала в панику, затем обозлилась, но его все не было и не было, и Эстель устала и успокоилась. Это было так похоже на Билла. Благослови ее господь за то, что она всегда была снисходительна к его выходкам и причудам.

Моя жена говорит, что, если бы ей пришлось начать все сначала, она бы не хотела снова выйти замуж за писателя. Уверен, что то же самое не раз думала и Эстель. Наверное, дело тут в том, что большинство литераторов проводит много времени с семьей. Мы ведь работаем дома и вечно вертимся под ногами. А каждая хорошая женщина, безусловно, заслуживает супруга, который хотя бы по восемь часов пять дней в неделю находился там, где ее нет. Неудивительно, что женам писателей жизнь кажется нелепкой.

С возрастом у Эстель сильно ухудшилось зрение. Она обратилась к врачу, который обнаружил у нее катаракту. А с катарактой, как известно, ничего нельзя поделать, покамест она не созреет. Только тогда



ее можно удалить. А зреть она может и несколько лет.

Эстель ничего не сказала Биллу. Помочь он ничем не мог, и она решила не тревожить его. Эстель дождалась, пока катаракта созрела, и легла в больницу. Операция прошла успешно. На Эстель надели специальные очки и вернули ей зрение почти полностью.

Вскоре после того, как ее оперировали, я навестил Билла. Я вошел в его кабинет и увидел, что он стоит у распахнутого окна и смотрит вдаль. Я взял стул и сел около Билла. Он все еще не поворачивал головы.

— Последние несколько лет я был несправедлив к Эстель, — сказал наконец Билл. — Смотри, как здесь чисто, видишь?

— Вижу, — ответил я.

— Это Эстель убирала, — продолжал он, — тут теперь чище, чем прежде. А я-то думал, что она стала плохой хозяйкой. И только теперь узнал, что все это время она почти ничего не видела.

## ГЛАВА 22

В ту пору, когда Билл узнал, что ему присуждена Нобелевская премия, мне казалось, что он исписался полностью. Ведь уже несколько лет он твердил, что, если ему доведется еще сочинять, он переключится на детективные рассказы.

— Детективный жанр, — говорил Билл, — отличается великими достоинствами — стоит только придумать хорошую схему, а уж в дальнейшем можно повторять ее без конца, придется только менять имена героев и место действия.

Такой схемой-скелетом, по-моему, может служить роман Билла «Осквернители праха». Здесь невинного человека спасают от самосуда толпы, доказав, что роковая пуля не могла вылететь из его револьвера. Кроме этой повести, Билл написал еще несколько детективных историй, но уже не растягивал их до размеров романа.

Роман «Осквернители праха» экранизирован. Фильм снимали здесь, в Оксфорде. Билл не принимал никакого участия в съемках. Он заявил, что все это его не касается и пусть студия, которая снимает фильм, делает все, что ей заблагорассудится.

На киностудии хорошо знали, что Билл не выносит, когда его тревожат. И считались с этим. Несколько человек нанесли ему визит, но никто не был назойлив. А если Билл появлялся на съемках, ему тотчас приносили стул, чтобы он мог с удобством наблюдать за происходящим.

Раза два Билл брал на съемки маму. Удовольствие получили обе стороны — и актеры, и мама. В киногруппе все ухаживали за мамой, и ей это нравилось.

Еще до того, как появилось сообщение Нобелевского комитета, мы уже знали, что Билл выдвинут кандидатом на соискание Нобелевской премии.

В то утро, когда появилось наконец официальное сообщение, журналисты пришли к Биллу и попросили его сделать заявление для печати. Таким образом Билл узнал, что получил премию. Репортеры нашли Билла во дворе за домом, где он пилил дрова для камина. В своих первых, кратких сообщениях они называли Билла пятидесятидвулетним фермером, и ему это понравилось. Правда, Билл никогда по-настоящему не занимался сельским хозяйством, но он владел участком земли, считал себя человеком, кровно связанным с землей. Он любил родные места преданно и самозабвенно, радовался, когда его принимали за фермера.

Билл очень много знал о сельском хозяйстве, но сведения эти он приобрел в основном из книг. Когда мы купили ферму в Бит Ту, он начал подбирать соответствующую литературу и действительно изучал ее. Он, например, великолепно говорил об урожаях, хотя сам не собрал ни одного.

Билл поблагодарил репортеров за то, что они взяли на себя труд приехать и сообщить ему о том, что он теперь лауреат. Вот, кажется, все, что содержалось в первом его заявлении. А на другой день мы узнали, что Билл отказывается ехать в Швецию получать премию.

Узнав об этом, представители Государственного департамента забеспокоились. Им казалось, что отказ Билла может вызвать осложнения в отношениях между Швецией и США.

Но Билл продолжал стоять на своем. Он заявил, что, как только написанная им книга появляется на прилавках магазинов, она становится достоянием любого человека, который в состоянии ее купить. А вот он, Билл, после выхода книги в свет по-прежнему остается частным лицом и принадлежит лишь себе. И еще он сказал, что, если кому-нибудь заблагорассудилось присудить его книгам премию, отлично, пусть присуждают, однако никому не дано права решать, ехать ли ему, Биллу, за границу за этой премией или не ехать.

В Госдепартаменте знали, что Билл дружен с Ивенсом, и обратились к нему за помощью. Ивенс сделал как бы специальным эмиссаром правительства США при Билле. Полковник взялся за дело и уговорил Билла (не знаю, как это ему удалось) поехать в Швецию вместе с Джилл.

Тем временем Билли узнал, что он не сможет пойти на банкет в обычном своем костюме. Прием носит весьма официальный характер, на торжествах присутствует король, и Биллу придется облачиться во

фрак и надеть белый галстук. Но Билл одолел и это препятствие, взяв напрокат вечерний костюм. Из фрака, который Билл носил в бытность свою в университете, он давно уже вырос.

Конечно, мама следила в те дни за газетами. Пресса подробно описывала пребывание Билла и Джилл в Стокгольме. Их снимали на заснеженных улицах Стокгольма, на опушке парка, где Джилл кормит белок, и на прогулках, когда они беседуют с прохожими. Кроме того, газеты поместили на своих страницах многочисленные фотографии Билла, сделанные во время банкета: Билл получает диплом лауреата, Билл произносит речь.

Я не стану цитировать речь Билла, ее печатали и перепечатывали бесчисленное количество раз и издали отдельной брошюрой.

Как только Билл получил Нобелевскую премию, были переизданы все его книги. Они затопили книжный рынок. Издатели лихорадочно подбирали крохи, они охотились за вещами, случайно упущенными издательством «Рэндом Хауз», где регулярно печатался Билл.

Знаки отличия сыпались как из рога изобилия: тут были и медали, и почетные дипломы. Все они вместе с дипломом Нобелевской премии хранятся в нашем музее. Награды, присужденные Биллу, занимают там отдельную витрину.

Билл получил первую премию нью-йоркских газет. Иностранцы правительства США Билл неоднократно выступал во многих штатах и за границей. Он побывал во Франции, в Италии, в Южной Америке и в Греции.

## ГЛАВА 23

Государственный департамент постарался использовать Нобелевскую премию Билла как можно лучше. По поручению правительства США Билл неоднократно выступал во многих штатах и за границей. Он побывал во Франции, в Италии, в Южной Америке и в Греции.

Но для Оксфорда он оставался тем же Биллом, которого все хорошо знали, — немного странным, по мнению некоторых жителей нашего города, но, безусловно, своим.

Билл по-прежнему тренировал лошадей во дворе перед домом и частенько ездил верхом. Но больше он ходил пешком. Его можно было встретить на любой улице Оксфорда — и в центре, и на окраинах. Вот он шагает, сжимая в руке трость или зонтик.

С тех пор как Билл получил Нобелевскую премию, о нем много писали. Репортеры ходили за ним по пятам, фотографировали, комментировали каждый его шаг.



У. Фолкнер.

Больше всего мне нравится история, рассказанная одним студентом.

Студент этот занимался историей. Он разъезжал по Вирджинии, посещая места бывших сражений и изучая памятники нашей гражданской войны. В Вирджинии повсюду, где происходили бои, стоят памятники, и к ним подведены дороги. Таким образом, легко проследить, как развивалась та или иная военная операция в этом штате.

Студент рассказывал, что во время своих поездок он часто встречал Билла. В сером, забрызганном грязью «плимуте» Билл обьезжал поля бывших сражений, останавливаясь, чтобы прочесть надписи на памятниках, и подробно осматривал окрестности. Студент видел, что Билл изучает эти места с не меньшей настойчивостью, чем он сам.

## ГЛАВА 24

Билл часто говорил, что в английском языке слишком мало слов. Слов этих в первую очередь не хватало ему самому. Видимо, поэтому Билл в своих книгах употреблял все существующие английские слова, все до единого, и даже такие, о которых мы и не знали, что они существуют. Иногда мне казалось, что Билл сочинил сам некоторые слова. Но я заглядывал в словарь и всегда убеждался в своей ошибке. Билл действительно познакомил нас со словарным запасом нашего языка. Его не раз упрекали в том, что он недостаточно пользуется знаками препинания. Как-то при мне он сказал, что в следующей своей книге он оставит в конце специальную



страницу, заполненную знаками препинания. И пусть всякий, кому не хватает их в тексте, возьмет точки и запятые с последней страницы и расставит их по своему усмотрению.

В жизни Билла был целый период, когда он в печати и устно выступал в защиту интеграции. Нам, Фолкнерам, это не нравилось, однако остановить его мы не пытались. Хочешь жить не по-людски — твое дело.

Конечно, как только Билл выступил в защиту негров, на него обрушился поток брани. По ночам раздавались таинственные телефонные звонки, и чьи-то голоса угрожали расправой. Письма тоже были полны оскорблениями и бранью. Как я уже говорил, мы не сочувствовали Биллу и судачили между собой: «Получил по заслугам, так ему и надо! Должен был знать, на что идет». Только зря мы так говорили. Билл вовсе не получил по заслугам, он просто не реагировал на угрозы, не замечал их. Он ведь не брал трубки и не вскрывал писем, разве если только ему казалось, что в конверт вложен денежный перевод. Тогда он взрезал конверт и тряс его, ожидая, не выпадет ли оттуда чек.

После смерти Билла я осмотрел его кабинет. Там на отдельной полке лежала груда нераспечатанных писем и бандеролей с рукописями, которые ему присылали на прочтение. Он их просто складывал на полку.

Расплачиваться за идеи мужа пришлось Эстель. Добил ее присланный кем-то протокол заседания суда по делу об убийстве Эммет Тилл<sup>4</sup>. После этого, надо думать, и она перестала вскрывать почту Билла и отвечать на звонки.

...Один из профессоров английской литературы в «Ол Мисс» написал целую диссертацию, посвященную происхождению слова «сноупс» — фамилии героев многих книг Билла. Ученый ни разу и не встречал ее прежде. Его заинтересовало само звучание слова.

Впрочем, многие ученые ломали головы по поводу происхождения этого слова. Сам же Билл говорил только, что фамилия Сноупс — одна из самых счастливых его находок.

Билл писал исключительно о тех «сноупсах», которые завладели Оксфордом. Для него они всегда оставались роем саранчи, опустившейся на наш город и заполонившей его, «термитами, подточившими прежний социальный порядок».

На моих глазах в Оксфорде по вине детей «сноупсов» разыгралась настоящая

трагедия, во всяком случае, я так воспринял случившееся. Происшествие это произвело на Билла самое глубокое впечатление.

В одном из самых старинных и почтенных семейств нашего города был мальчик, постарше нас, страдавший припадками эпилепсии. Поэтому мальчика приходилось все время держать под наблюдением. Посещать школу он не мог, однако ему разрешали свободно гулять во дворе особняка, так что он был все время на виду у родных.

Семья эта жила в большом старом особняке, обнесенном чугунной решеткой. В те дни решительно все ставили изгороди вокруг своих участков, но мало кто мог позволить себе такую роскошь, как чугунная ограда.

Особняк стоял как раз на пути наших первых «сноупсов» в школу и в город. Мы — Билл, Джек и я — тоже часто оказывались здесь, когда шли в лес или в школу. Каждый раз, увидев во дворе большого мальчика, мы останавливались, чтобы поиграть с ним. Так поступали все наши ребята.

Мы знали его давно и не замечали, что он не такой, как все, — просто он был чуть постарше. Наигравшись, мы уходили, а мальчик провожал нас, идя по двору вдоль ограды. Потом он махал нам рукой на прощанье, а мы махали ему в ответ и говорили: «Пока, до свиданья. Мы скоро опять придем». И тогда больной возвращался на то место перед домом, где ему полагалось гулять.

Ворота особняка никогда не запирали, потому что больной ни разу не пытался выйти за ограду. Но «сноупсы» быстро заметили, что этот большой мальчик не похож на других детей. Сперва они не обращали на него внимания, просто старались держаться подалеже от ограды.

Однако мало-помалу они привыкли к мальчику и начали подбираться все ближе и ближе к его дому. Они очень скоро поняли, что им ничего не стоит обидеть больного.

Они стали дразнить его и однажды довели до того, что мальчик бросился на них. Он стоял как раз у ворот, ворота поддались под его напором, больной выскочил за ограду и кинулся в погоню за своими обидчиками. «Сноупсы» перепугались до полусмерти: они-то думали, что ворота бывают заперты всегда.

Мальчишки нажаловались родителям, а те обратились в полицию. Делать было нечего, родным пришлось спрятать мальчика от людей.

Мы встревожились, когда он исчез. Теперь мы уже не могли навещать его, и он не провожал нас вдоль длинной чугунной ограды. Думаю, что больше всех расстроился Билл. Мне кажется, что этот случай связан с тем, что он всегда изображал

<sup>4</sup> Речь идет о процессе по поводу убийства двумя белыми юношами негритянки-подростка Эммет Тилл. У. Фолкнер выступал в этом процессе на стороне обвинения.

«сноупсов» как нечто жестокое и примитивное. Для него они навсегда остались злобными существами, которые издеваются над больным ребенком.

На страницах любой книги рядом с ее героями всегда живет и существует еще один незримый персонаж — сам автор.

Зачастую трудно было понять, какой из Биллов — тот, который стоит перед вами, или тот, кто выглянул на миг из глубины его рассказов, — более реален и достоверен. Всегда казалось, что Билл идет по жизни как бы в окружении героев своих книг. Но в то же время перед вами стоял Билл Фолкнер, старинный ваш знакомый, которого вы так часто встречаете среди прохожих на главной площади города. Вот он шагает в брюках цвета хаки, в старом твидовом пиджаке и тропическом шлеме. Или, может быть, сегодня он появится в одном из диких своих рядов, в которых случалось нам видеть его не раз.

...Так что нет ничего удивительного в том, что, сидя в то утро на ступеньках похоронного бюро в ожидании гроба с телом Билла, я видел мысленно перед собой посреди главной городской площади героев его книг. Я видел их так же отчетливо, как его самого, как Джека и себя. Здесь был Уил, шериф из «Осквернителей праха».

Ведь примерно в такое же время, ранним утром, он готовил завтрак для своих посетителей и, стоя на кухне, жарил яичницу на сковородке и приговаривал: «Если кто-нибудь хочет не два яйца, а больше, пусть заранее скажет».

Оттуда, где я сидел, был виден тот кусок площади, по которому Джо Кристиаса вели из тюрьмы в суд. Это здесь бежал он в наручниках из-под стражи, а Перси Гримм гнался за ним на реквизированном велосипеде. А дальше, за домом шерифа, окна которого выходят на дорогу, расстилающуюся сейчас передо мной, стоял маленький ветхий домик проповедника Хайтауэра. Здесь каждый вечер на закате мерещился ему призрак кавалерийского отряда южан, мчащегося под звуки труб.

Всюду, куда бы я ни глянул, мне виделись Билл и его книги, действие которых протекает в городах Оксфорде и Джефферсоне, округе Лафайет страны Йокнапатофа.

И вот Билл умер. Он ушел в вечность, в будущее, но, навсегда поселившись там, в своей Йокнапатофе, он никогда больше не покинет нас.

Сокращенный перевод с английского  
Е. Егорьевой





## ГЛАВА I

1914 год. Начало июня. Рижское взморье. По пляжу идет худой, стройный человек с дегенеративным лицом. Сероватые волосы прилипают к плоскому лбу. Это немецкий поэт и переводчик русских символистов Ганс фон Гюнтер. Это первый встреченный мною поэт. Моя подруга знакомит меня с ним.

— Надя тоже пишет стихи.

Он вежливо, но чуть насмешливо улыбается на это наивное «тоже» и просит меня что-нибудь прочесть. Я читаю.

Вместо ответа он протягивает мне книгу в желтом кожаном переплете — стихотворения Александра Блока, изданные «Мусagetом». Авторская дарственная надпись четким, округлым почерком...

— А эти стихи вы знаете?

— Нет.

— Хотите прочесть? Мне кажется, они будут вам близки.

Он (о чудо!) доверяет мне книгу и уходит.

Я ложусь на теплую, желтую, как переплет этой книги, дюну. В ямку под локтем наползает песок. Сосны, особенные, тонкие, всегда наклоненные в одну сторону, прибрежные сосны всем стволом покачиваются на ветру. Мягко шумит море. Вполголоса читаю стихи Блока. Господи! Что же это? Вот они, те самые звуки, что снились мне с детства, те, что я хочу и не умею передать! И я прячу лицо в тонкие листы, пересыпанные песчинками.

Несколько дней я не расстаюсь с драгоценной книгой и стараюсь понять, что за сила в этих стихах, почему здесь такой размер, такой щемящий звук: хочу понять, о чем эти стихи. Я ощупью пробираюсь между строками, чтобы осознать их до конца, а не только отдаться звукам.

Так в мою жизнь вошли стихи Блока. Мне было восемнадцать лет. Его стихи помогли мне осознать самое себя, помогли понять, что такое поэзия, и помогли мне жить.

Робко я спросила Гюнтера, нельзя ли послать Блоку мои стихи. Тот равнодушно ответил:

— Не стоит. Блок этого не любит.

Я с завистью и тайным недоумением смотрела на землистое лицо Гюнтера, на светлые гладкие волосы и думала: «Неужели этому человеку Блок написал:

Ты был осыпан звездным цветом  
Ее торжественной весны,  
И были пышно над поэтом  
Восторг и горе сплетены.

.....

## Надежда Павлович

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ  
АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Но в мирной безвоздушной сини  
Очарованье доцвело,  
И вот — осталась нежность линий  
И в нимбе пепельном чело...»

Позже я прочитала в дневнике Блока: «Приходит Ганс Гюнтер с похвалами «Ночным часам», со своими какими-то нерусскими понятиями. Несколько слов, выражений лица, — и меня начинает бить злорадия. Никогда не испытал ничего подобного. Большого ужаса, чем в этом лице, я, кажется, не видал. Я его почти выгнал, трясаясь от не знания какого отвращения и брезгливости. Может быть, это грех» («Дневник». Запись от 10 ноября 1911 года).

В записи от 14 ноября как бы расшифровывается социальная природа этого «гюнтеровского ужаса»:

«Эти ужасы вьются кругом меня всю неделю — отовсюду появляется страшная рожа, точно хочет сказать: «Ааа... ты вот какой?.. Зачем ты напряжен, думаешь, делаешь, строишь, зачем?»

Такова вся толпа на Невском (...) Таков Гюнтер (...) Таково все «Новое время». Таковы «хитровцы», «апраксинцы»... Сенная площадь».

Говорит ли это несоответствие стихов и дневниковых записей о двойственности или неискренности Блока?

Нет. Это только конкретный пример того, как постепенно, но неотвратимо поэт прозревал настоящее лицо «страшного мира», как переоценивал он окружающих его людей.

Итог он подвел в 1916 году:

И к кому шел с открытой душой тогда,  
От того отвернуться пришлось.  
(«Ты твердишь, что я холоден, замкнут  
и сух...»)



Так впервые при встрече с Гюнтером и одновременно со стихами Блока дохнул на меня и тот «страшный мир», что окружал поэта.

Я не решилась послать Александру Александровичу свои стихи. Только через шесть лет я рассказала ему об этой встрече с Гюнтером и о роковых словах: «Блок этого не любит».

Александр Александрович тихонько засмеялся и сказал:

— А вы все-таки могли бы послать.

## ГЛАВА II

Я жила в Москве. Блок был в Петербурге. Казалось, что у меня идет своя жизнь, не имеющая прямого отношения ни к нему, ни к его стихам. За эти годы я ни разу не попыталась встретиться с ним. Я только жадно читала его стихи, да над столом моим всегда висел его сомовский портрет, который мне не очень нравился, но другого я не достала. В 1919 году стихи мои впервые были напечатаны в одном журнале со стихами Блока («Сирена», Воронеж, № 4—5). Там были опубликованы его стихи «Луна взошла», «На вздох родимый...» и др. Кстати, это первая публикация данного стихотворения Блока.

В 1918 году я часто встречалась с Белым. Сам он на одной из своих книжек, подаренных мне, написал о нашей дружбе. Я бы наши отношения дружбой не назвала. Он был нечто вроде «великого посвященного» от антропософии, я скромной ученицей, которую он считал способной и заслуживающей доверия.

Лекциями Белого я увлекалась, и мне казалось, что я вижу его чудесно сияющую и переливающуюся «ауру»<sup>1</sup>. Иногда он ссорился со мной из-за пустяков и набрасывался на меня яростно, обвиняя в неуважении к себе (например, тогда, когда приходил читать лекцию в Студию стиховедения<sup>2</sup> не в назначенное время и не заставлял ни одного слушателя — значит, я не оповестила — или сама приходила к нему не в назначенное им время), но потом он бурно каялся, и мы мирились. Рассеян он был феноменально. Он на самом деле на моих глазах надел себе на лысину вместо шапки черного кота Чубика, лежавшего в передней на вешалке.

Обыкновенно он смотрел не на человека, а как бы сквозь человека.

Вели мы с ним разговоры и на мистические и на политические темы. Он Октябрьскую революцию принимал со своей символистской и мистической позиции и укреплял меня в этом приятии.

А время было такое, что внутренний выбор стал необходим. Интеллигенция явно раскалывалась на два лагеря.

Я очень любила Белого и считалась с ним, но Блок был моей совестью, и ре-

шающее значение для меня имело внутреннее решение Блока. Я знала, что Белый многие годы был близок с ним; сам Белый, видимо, чувствовал, что для меня он в каком-то смысле является связью с Блоком, и при первом же моем посещении подарил мне не свою книгу, а «Стихи о Прекрасной Даме».

Я спросила его: «Как вы относитесь к Блоку?» — «К Саше? Саша — брат».

Когда мы говорили о большевиках, я спросила: «Что же Блок?» Борис Николаевич сразу ответил: «Он рад большевикам. Он думает, что другого пути для России нет». И стал мне рассказывать о том, как многие перестали подавать Блоку руку после выхода «Двенадцати».

Так Белый стал для меня живой связью с Блоком, не только поэтом, но и человеком.

В том же году я часто бывала у Вячеслава Иванова, который отличал меня среди молодежи. Он был настолько внимателен ко мне, что предложил показывать ему каждое новое стихотворение и очень строго разбирал мои стихи, останавливаясь буквально на каждой строчке. При этом он всегда исходил из моих авторских намерений, учитывая своеобразие моего поэтического лица, не навязывая свою манеру.

У Вячеслава Иванова жил его приятель, Владимир Николаевич Ивойлов-Княжнин, библиофил, собравший у себя в Петрограде прекрасную библиотеку, поклонник и исследователь Аполлона Григорьева. Сейчас в Москве он проходил военную службу. Голодал, томился по семье, оставшейся в Петрограде. Был он чудачком, бесребреником, но с некоторой незатейливой хитрецой и мрачноватым юмором. Был он не другом, а старым приятелем Блока. Мы с ним по-настоящему подружились.

Вдруг в Москве появились афиши. В мае 1920 года Блок должен был выступить в Большой аудитории Политехнического музея и во Дворце искусств, на Поварской (ул. Воровского, 52, в доме, где сейчас Союз писателей), а потом опять в Политехническом. У афиш стояла толпой молодежь. Я, почти не веря глазам, прочла афишу.

Был очень жаркий май. За городом стлалась синяя знойная дымка. Буйствовала, как никогда, сирень... И ландыши грудами лежали на лотках. У Никольских ворот, у белых башен Китайской стены, похожих на полочечки шапки, толпились беженцы, спекулянты, бродяги, богомолки, всякий прохожий и проезжий люд.

Надежда Григорьевна Чулкова, старая знакомая Блока, рассказывала мне, что перед самым началом вечера она встретила его, одиноко бродившего вдоль стен Политехнического музея и глядевшего на всю эту московскую сутолоку. Ее поразили его обветренное, загорелое лицо и красная шея.

Он огрубел, постарел, глаза тусклые, на лице морщины — чем-то напоминал матроса, вернувшегося из дальнего плавания. Он поздоровался и немного поговорил с ней. Она спросила, почему он не входит в музей. Он ответил: «Жду, пока Петр Семенович Коган закончит вступительное слово». Сказал ей, что он очень волнуется перед выступлением.

Впоследствии мне пришлось наблюдать, что всегда в день выступления он волновался уже с утра. Это не было страхом личного неуспеха. Его тревожило ощущение глубокой ответственности. Читая свои стихи, он нес людям самое важное для себя, настоящее и заветное. Поэтому ему хотелось донести до них неискаженными каждое слово, каждый оттенок мысли.

На всех его выступлениях в Москве и Петрограде в последний год его жизни характерен был самый выбор стихов. Он всегда читал «Голос из хора», «Перед судом», «Унижение», «Есть игра: осторожно войти...», «Пляски смерти», «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...». Только однажды в Петрограде я упростила его прочесть «Заключение огнем и мраком», но строчка «Узнаю тебя, жизнь, принимаю» прозвучала не радостно и открыто, а как-то горько и хрипло. Проходя мимо меня по эстраде, он мне сказал: «Это я прочел только для вас».

В 1920 году чтение Блока было записано С. И. Бернштейном на валик. Поэт выбрал для этого 15 стихотворений.

В 1921 году или в начале 1922 года, после смерти Блока, Бернштейн записывал и мое чтение стихов. Потом он предложил мне послушать запись Блока. Она немного меняла тембр его голоса, но прекрасно передавала манеру его чтения. Позже запись была перевезена в Москву, но валики с записью Блока не хранились Литмузеем с должной бережностью. Они отсырели и испортились за истекшие 40 лет.

В последние годы ведутся реставрационные работы над этими валиками в фоностудии при Бюро пропаганды художественной литературы в Союзе писателей в Москве. За эту трудоемкую работу взялся молодой ученый Л. А. Шилов.

Стихи, которые Блок читал в свой последний год, звучали предостерегающе и все время обращались к совести слушающих. Его чтение было действительно «испытанием сердец» и страшным судом: бесстрастный, глухой, горький голос был неподкупен.

Он каждого ставил перед самой правдой. В своей статье «О назначении поэта» Блок писал: «Слова поэта суть уже его дела. Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в глупых человеческого шлага; может быть, они собирают какие-то части старой породы,

носящей название «человек», части, годные для создания новых пород».

Для того чтобы стать новым, нужно настоящему отречься от старого мира, от «страшного мира», о котором говорили и блоковские «Пляски смерти», и «Унижение», и «Перед судом». Оттого и выбирал Блок эти стихи для своих последних в жизни выступлений.

Весь день 12 мая 1920 года — день первого выступления Блока в Москве — глухо раздавались взрывы, и дрожали от них стекла. Где-то за Ходынской рвались снаряды на артиллерийском складе, и поэтому в городе казалось особенно душно и тревожно.

Но зал Большой аудитории Политехнического музея был переполнен. Молодежь толпилась в проходах, все места были заняты. У многих в руках были цветы. На эстраде теснились маститые и не маститые писатели и артисты. Мы с Княжениным сидели в одном из первых рядов.

Блок вышел — очень простой, обыкновенный, в первую минуту даже некрасивый. Серый костюм. Усталое лицо, крепко сжатый рот.

Зал дрогнул волнением первой встречи... Потом аплодисменты без конца. Его очень любили и чтли как первого русского поэта нашего времени.

Блок стоял, наклонив голову, — ждал. Потом стал читать.

Вся красота и строгость этого лица просияли перед нами: он весь был такой, как его стихи.

Читая, он стоял, немного нагнувшись вперед, опираясь о стол кончиками пальцев. Жестов он почти не делал. В выговоре его был некоторый дефект (звуки «д» и «т» особенно выделялись), он очень точно и отчетливо произносил окончания слов, при этом разделял слова небольшими паузами.

Поцеловать — столетний — бедный —  
И зацелованный — оклад.

Эта схема приблизительно передает его манеру чтения. Чтение его было строго ритмично, но он никогда не «пел» свои стихи и не любил, когда «пели» другие. «Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание», — пишет он в своем дневнике о вечере в клубе поэтов 22 октября 1920 года.

О манере чтения Блока вспоминает его друг Евгений Павлович Иванов в письме к родным от 25 января 1930 года: «Мотив скрыт паузами» (собрание Н. П. Ильина в Москве).

Читая, Блок шел от смысла стихов, но самая музыка стихов, их ритм и смысл были слиты нераздельно и органично, поэтому его чтение так потрясало слушателей.



При этом в чтение свое он вкладывал глубоко личный оттенок, его стихи воспринимались как запись дневника, и единственной внутренней защитой их была только высокая гармония.

«Было время надежды и веры большой», — медленно и глухо выговаривал этот осенний, белый голос, и казалось, что он обращается к каждому из нас.

И такой человеческой простотой, добротой и сознанием вины звучало:

Я не только не имею права,  
Я тебя не в силах упрекнуть...

А когда он читал «Унижение» или «Пляски смерти», он словно сознавался: «Да, и я такой...» — и спрашивал: «А вы разве не виноваты в самом существовании того страшного и мертвого мира?» — и от этого страстного вопроса мы все опускали головы.

Все отчетливей становилась в его стихах интонация старшего и знающего. Недаром он говорил:

О, если б знали, дети, вы...

В эти майские дни 1920 года он уже думал о близости смерти, как он сам говорил мне осенью того же года.

Я была потрясена и стихами Александра Александровича, и всем его обликом, и тем страданием, которое было за этими чудесными стихами.

Княжнин предложил мне пойти вместе с ним за кулисы. Я отказалась.

На следующий день или через день я слушала Блока во Дворце искусств. Там он читал «Возмездие».

Мы сидели вместе: Вячеслав Иванов, Княжнин и я. В антракте мы гуляли в вестибюле, а потом они повели меня в комнату, которая служила артистической. Я была так взволнована чтением Блока, что даже не сообразила сразу, куда они меня ведут, а расположения комнат я не знала. Неожиданно увидев Александра Александровича перед собой, я убежала. Это было для меня примерно то же, что увидеть рядом с собой ожившего Лермонтова.

Домой меня провожал Княжнин. Я сказала ему: «Если можете, покажите Блоку мои стихи. Я давно этого хочу, но все не решалась».

На следующий день я дала ему несколько переписанных своих стихотворений. В одном из них была строка: «Узкий переулочек — кинутый ятаган».

Блок снова читал в Политехническом музее лирические стихи. Княжнин сказал мне, что стихи мои он передал. В антракте я пошла с Княжниным в артистическую. Стол и диван были завалены цветами и записками. Кто-то в углу яростно спорил. До меня доносились отдельные слова, вы-

крики: «Россия», «большевики», «искусство на новый лад», «девятый вал».

Блок стоял у окна побледневший, с холодным, отчужденным лицом. Он явно был не здесь, к нему обращались, заговаривали, он едва отвечал. Увидев Княжнина, он улыбнулся и двинулся к нам навстречу. Он сразу сказал мне: «Я прочел ваши стихи. Что вы хотите от меня услышать?» Я смутилась. Он сказал: «Мне ваши стихи понравились, я в них узнаю свое, какие-то отзвуки родного».

Тогда я осмелела. «Для меня это большая радость, но мне важнее, чтобы вы показали мне мои недостатки. Что мне надо делать? Ведь я начинающий поэт. А вас я, может быть, больше никогда не увижу».

Тогда его лицо потеплело: «Теперь я вам скажу только одно. Мне больше всего понравилась строка: «Узкий переулочек — кинутый ятаган». Это передает Москву: ее видишь. А вашего плохого я сейчас не помню». И засмеялся. Потом помолчал, задумался: «Приезжайте в Петроград! Я сам, хочу с вами говорить, но здесь сейчас не могу. Вы приедете?» — «Да, я приеду».

Он ласково пожал мне руку и отошел.

### ГЛАВА III

Через несколько дней я начала готовить свою поездку в Петроград. Я была секретарем Н. К. Крупской — вернее, секретарем президиума внешкольного отдела Наркомпроса, который она возглавляла, но она так жалела меня и баловала после перенесенного мною недавно тифа, что сразу отпустила, когда я сказала, что мне надо съездить в Петроград. Неожиданно для моей поездки нашелся и предлог. В Москве организовался Союз поэтов, я была членом президиума, председателем которого был Валерий Яковлевич Брюсов. В президиум входили еще Вячеслав Иванов, Борис Пастернак, Екатерина Волчанецкая-Ровинская, впоследствии ставшая детской писательницей, и Захаров-Мэнский. Других членов президиума не помню.

Недаром Белый сравнивал Брюсова с Иваном Калитой. Брюсов хотел взять на учет и организовать всех русских поэтов. У братских литературах мы пока не думали. В то голодное время первым вопросом был попросту вопрос физического сохранения в живых существующих поэтов — как не дать им умереть, как мало-мальски их обеспечить материально и добиться хотя бы элементарных условий для работы (топливо, одежда, бумага, пайки). Дальше стоял вопрос о создании как бы единого поэтического фронта — новой, революционной поэзии, принявшей советскую жизнь и связанной с массами. Мы ждали новых людей не только из Москвы, но и из Петрограда и провинции.

У Брюсова ко всему этому примени-



Н. А. Павлович.

валось и честолюбие. Он считал себя, и не без основания, самым знающим, самым ученым из поэтов, естественным и признанным хранителем поэтической культуры. Новую жизнь он принял и впоследствии стал коммунистом, занимал «посты».

Мне думается, что он хотел занять положение, подобное горьковскому, стать как бы «отцом» и центральной фигурой советской поэзии.

На одном заседании в конце мая он заговорил со мной о необходимости организации Петроградского отделения Союза поэтов. Меня он выбрал потому, что после общей нашей работы в 1-й Студии стиховедения считал, что у меня есть организа-

ционные способности. «Поезжайте в Петроград и предварительно переговорите с Блоком. Если он согласится встать во главе Петроградского отделения, это даст делу нужное направление».

Я была в восторге. Брюсов дал мне мандат на организацию Петроградского отделения Союза поэтов и письмо к Блоку. А Княжнин написал Блоку от себя. Содержания письма я не знала и прочла его только после смерти Александра Александровича и самого Владимира Николаевича с глубокой благодарностью к моему заботливому и доброму другу. Хранится оно в Москве, в ЦГАЛИ, среди переписки Блока. Цитирую по своей копии. Вот оно:



«Дорогой Александр Александрович. Не могу все уехать из города стольного — Москвы. Пришла оказия, надо Вам написать. Но, конечно, по нынешним временам не одни лирические чувства, а две целых просьбы.

Первая просьбушка обо мне самом.

Письмо это передаст Вам с рук на руки Надежда Александровна Павлович — стихотворица. Ее стихи, помните, давал вам читать для судьица на бумажках в квартире Коганши<sup>3</sup>.

Ей Вы и соболаговолите отдать те три тысячи рублей (3000 р.), которые я передал Вам при Вашем отъезде. Она деньги переправит моим.

А вторая моя просьбушка о самой Надежде — свет Александровне. Окажите — мне не в службу, а в дружбу — всякое ей содействие, такое, как бы мне самому.

Она очень хороший, мой первый друг в Москве, хороший, но «поэтический» человек, то есть рассеянный и неумелый.

Потолкуйте с ней по душам.

Это не прихоть женская — смотреть в рот великого человека, «что он говорит».

У нее есть к Вам всякие и деловые разговоры. Но, конечно, не в них суть.

Хочется мне, чтобы Вы этого человека, то есть Надежду Александровну, приветили по-человечески, поговорили не на скорую руку, а во всю мочь. Хочется мне этого, и я прошу — сделайте по-написанному.

Кланяюсь еще Самуилу Мионову Алянскому, Самуилу Мионовичу, изд[ате]лю.

Скоро надеюсь (надеюсь все еще!) сам нагрянуть в Питер.

Влад. Княжнин».

На письме есть пометка Блока: «19/III Горький дал 10 000. Дом искусств 6000».

Блок запомнил выражение «Надежда — свет Александровна» и часто звал меня так.

Был июнь 1920 года. Петроград был пуст. На Невском росла трава, пробиваясь между торцами, и мальчишки играли в бабки на трамвайных путях. В саду Адмиралтейства пели соловьи.

19 июня, приехав в Петроград, я остановилась на Выборгской, в семье старого моего знакомого Николая Павловича Корниловича — профессора анатомии Военно-медицинской академии. В тот же день, в четыре часа, я собралась к Блоку. Надела я свое лучшее платье из темно-синей выкрашенной полотняной занавески, с белым воротником, и белую шляпу-панаму с широкими полями. Волосы после тифа у меня были острижены и вились крупными локонами. Я решила, что вид у меня вполне приличествующий случаю и даже «поэтический».

Я пошла пешком с Выборгской на Пряжку. Дверь мне открыла худенькая старушка (ей тогда было 58 лет, но она

мне показалась глубокой старушкой) в белом платье и красной старинной пелерине, обшитой мехом. «Александра Александровича нет дома». Она встретила меня приветливо, но обстоятельно расспросила. «Вы из Москвы?» — «Письмо от Княжнина?» — «От Брюсова?» — «Тогда приходите к шести часам. Он уехал купаться в Стрельну и к обеду вернется. Он сегодня веселый ушел из дому. Ну, дай бог, он вас хорошо примет». Мне почувствовался какой-то трепет ее перед поэтом.

Это была мать Блока, Александра Андреевна Кублицкая-Пиотух, известная переводчица. Позже я поняла, что всем содержанием ее жизни был сын.

Я пошла бродить по Петрограду, устала и села отдохнуть в скверике на Покровской площади, под огромным старым деревом. Я и не заметила, как на широкие поля моей панамы упало несколько гусениц.

В шесть часов я опять поднялась по узкой заветной лестнице. Меня встретил сам Блок, узнал сразу и улыбнулся: «Ну вот и приехали!»

Он повел меня в столовую, где пили чай его жена, мать и высокая темноглазая девушка.

Я очень волновалась и смущалась, впервые входя в эту комнату. А тут еще все заметили моих злосчастных гусениц. Я чувствовала, что погибаю, но Блок засмеялся и спокойно снял их с меня. «Вот гады!» «Гады» было в его устах ласковое слово. Так он называл всех тварей, даже собак. Известно, что «Григорий Е.», которому посвящены стихи во втором томе, — это еж Григорий, а в одном из своих писем, написанных за две недели до смерти, он шутивно спрашивает своих знакомых об их коте.

Меня стали угощать чаем.

Блок начал меня расспрашивать в Москве, о Княжнине, Брюсове. Мать е в это время налила мне чаю и положила чашку большой кусок сахара (сахар в время был редкостью).

«Мама, положи Надежде Александр не еще!» — повернулся к ней Блок. И са прибавил кусок. Чай мой стал похож н, сироп, а я с детства ненавидела сладкий чай, но здесь я стеснялась протестовать. Потом, когда мы подружились, я рассказала Блоку о своем мучении, и он дразнил меня моей излишней почтительностью.

Блок интересовался планами Брюсова относительно создания Петроградского отделения Союза поэтов и согласился собрать инициативную группу. Мы составили приблизительный список приглашенных, наметили день и помещение (Вольфила<sup>4</sup>). Там я должна была сделать доклад о постановке дела в Москве.

Блок говорил: «Не знаю, выйдет ли из этого что-нибудь. Мы все тут разные, мо-

жет быть, и общего языка не будет. Но материальная помощь нужна многим, нужны пайки, нужна книжная лавка писателей. Союз может это организовать. А потом, может быть, придут и новые люди, как и Брюсов надеется. Мы сами не знаем, кого можно ждать. Начнем с материальной заботы о наших поэтах, а может быть, выйдет и что-нибудь большее».

Блок тепло вспоминал, как его встречали в Москве, сколько было любви, обращенной к нему.

Сейчас было светло и солнечно в этой белой комнате с двумя окнами на Пряжку. Здесь царил какой-то особенный порядок. За ширмой была постель Блока, между окнами стоял маленький письменный стол, у стены — шкаф, на верху которого были сложены различные издания стихов поэта. Эта проходная комната, с дверями в переднюю и комнату Любови Дмитриевны, служила и столовой. Летом обеденный стол придвигался ближе к окнам, зимой — к белой кафельной голландской печи.

Помню зимой стоячую лампу на обеденном столе. Блок почему-то держит руку на свету, чуть ниже абажура. Она четко обрисовывается, просвечивает. Это рука человека, не боящегося физического труда, крепкая, сильная, не утонченная, но благородная по очертаниям. Я смотрю на нее и думаю: «Эта рука написала все, что я так люблю».

Теперь слепок этой мертвой руки в Пушкинском доме.

Тогда был солнечный июньский день. За окнами синела Пряжка. С того берега доносились обрывки песен. Медленно проплывали баржи с дровами. Неподалеку на реке стирали прачки, пели «Яблочко».

Шел общий разговор.

Я с любопытством смотрела на жену Александра Александровича — Любовь Дмитриевну. Я знала, что ей посвящены «Стихи о Прекрасной Даме» и много других стихов. Передо мной была довольно высокая, полная сорокалетняя женщина, с лицом маловыразительным, несмотря на некоторое сходство ее с отцом, знаменитым Менделеевым. Красота, если она и была раньше, поблекла. Говорят, что в юности у нее были чудесные тигиановские краски. Сейчас кожа ее была испорчена гримом, так как Любовь Дмитриевна долго играла в разных театрах, а волосы потемнели. «Золотистых прядей на лбу», воспетых Блоком, не было. Голос ее также не имел звучности и приятного тембра.

«Этот голос — он твой, и его непонятному звуку...»

Непонятный, пленительный звук слышен был только поэту.

Грации в движениях тоже не было. Я видела ее на сцене, там она двигалась, особенно неуклюже и тяжеломерно. Глаза обычно были сонными.

Во всей мировой поэзии никогда еще не говорилось о возлюбленной — «ты без мысли смотрела», «сонливые очи». Но временами в этих «сонливых очах» вспыхивала какая-то сила, стихийная и непосредственная, всегда неожиданная. При моем дальнейшем знакомстве с Любовью Дмитриевной я никогда не могла предугадать, что она сделает, как будет реагировать на то или другое. В ней была очень нужная Блоку бездумная непосредственность.

Александр Александрович сказал мне однажды о ней: «Люба — язычница». Александра Андреевна говорила: «Люба неистовая, как ее отец». Александр Александрович до конца сохранил мистическое представление о ее сущности, видел черты «Прекрасной Дамы» в этих огрубевших чертах. Он говорил: «Я — что! Вот Люба-то гениальна»: не как артистка, конечно, и не как поэтесса (он знал цену ее искусству!), а гениальна, как носительница мировой души в соловьевском смысле и просто как воплощение жизненности, органической и самодовлеющей. Я еще спросила: «Дружны ли вы сейчас с ней? Друг ли она вам?» Он посмотрел куда-то далеко-далеко... и тень прошла по лицу. Я тихоно сказала: «Не об этом, а просто, в жизни». — «Да, дружны...»

Юное очарование Любови Дмитриевны я поняла только много лет спустя, после ее смерти. Мне пришлось выступать в Московском университете на вечере, посвященном 75-летию Блока.

Выступала там со своими воспоминаниями и родственница Любови Дмитриевны — Менделеева, которая играла королеву Гертруду в памятной бобловской любительской постановке «Гамлета». Она показывала старые снимки этого спектакля. Один из них поразил меня. Любовь Дмитриевна — совсем юная, в костюме Офелии, — стоит лицом к зрителям, освещенная направленным на нее рефлектором, а Блок — Гамлет, почти в профиль к зрителям, коленопреклоненно созерцает ее. У обоих удивительные лица. Никогда, ни в каком девичьем лице я не видела такого выражения невинности, какое было у нее. Это полудетское, чуть скуластое, некрасивое по чертам лицо было прекрасно. А его лицо — это лицо человека, увидевшего небесное виденье. И я поняла: дальше могла быть целая жизнь трагических и непоправимых ошибок, падений, страданий, но незабвенно было для поэта единственное — то, что когда-то открылось ему в этой девочке.

В тот первый вечер в блоковском доме я с волнением смотрела и на мать Блока, душевный склад которой я предчувствовала, зная стихи, посвященные ей сыном. До сих пор память о ней для меня священна. Скоро она стала для меня близкой и родной.



После чая Блок позвал меня в свой маленький кабинет. Сюда он увел гостей для разговоров с глазу на глаз.

Это была узкая комната в одно окно. Темноватые обои. Старый письменный стол, за которым было написано большинство его произведений. На стене черный, в желтоватых розах, железный поднос, вывезенный из Шахматова, и цветущие шахматовские снимки (сейчас этот поднос хранится в Пушкинском доме).

Блок сел в кресло перед столом. «Читайте стихи!» Я стала читать. Он слушал очень внимательно, иногда говорил: «Да, знаю. Все знаю».

Потом я стала читать свою поэму «Серафим», написанную под влиянием его «Двенадцати». Блок насторожился. Временами я видела по его лицу, что она ему не нравится. Когда я дошла до строк:

На куртке, на клеенчатой,  
Соленой влаги след.  
Идет корвет знаменчатый,  
Алеющий корвет, —

вдруг Блок переспросил меня: «Что, корвет?» — и засмеялся: «Ну, если корвет, то все в порядке! Не имею возражений».

Он сначала воспринял поэму в бытовом, в реалистическом плане, а «корвет» вскрывал весь ее наивный романтизм.

Впоследствии Блок полюбил эту поэму и хотел, чтобы она вышла отдельным изданием в «Алконосте». Она и отмечается там в проспектах издательства «готовящейся к печати».

В первый же вечер Блок обещал мне взять мои стихи для «Записок мечтателей» и рассказывал мне об «Алконосте», как о наиболее близком себе издательстве. Издатель «Алконоста» Самуил Миронович Алянский был глубоко предан Блоку и ничего серьезного без совета с ним не предпринимал. Этот прямодушный и культурный человек бескорыстно относился к своему делу. Александр Александрович ценил и честность его, и здравый смысл, и любовь к литературе. Блок считал «Алконост» издательством прогрессивным, объединяющим писателей, принимающих революцию и хранящих лучшие литературные традиции и свободу мысли.

Тенденции «Алконоста» не совпадали с Вольфилой, где большую роль играл Андрей Белый, но были к ней кое в чем близки.

«Алконост» и Вольфила в какой-то мере сближали сейчас Белого и Блока: Белый много печатался в изданиях «Алконоста», но решающее значение имело постоянное художественное и идейное руководство Блока. Впоследствии, когда Союз поэтов оказался совершенно несостоятельным как организующий центр прогрессивной поэзии и когда собрания в его клубе

приобрели чисто цеховой оттенок и утратили всякое дискуссионное значение, Блок стал думать о возможности редакционных собраний в «Алконосте», которые могли бы объединить людей, близких по воззрениям и устремлениям, но время для «литературных салонов» и подобных собраний было неподходящим.

Сколько я помню, мы, писатели и друзья «Алконоста», собирались только раз, зимой 1920/21 года, и говорили тогда обо всем этом.

Я свое участие в «Записках мечтателей» и объявление о том, что моя поэма «Серафим» готовится к печати, считала большой честью и радостью для себя. В Москве я и не мечтала об этом.

И вот опять вспоминаю тот первый вечер у Блока, который до сих пор мне кажется чудом.

Я так глубоко волновалась весь этот день и особенно в то время, когда читала ему стихи, что почти не отдавала себе отчета в том, что переживается мной. Теперь же я вдруг осознала на одно мгновение, с необыкновенной силой, что то немыслимое, о чем я мечтала годы, совершилось, что вот я сижу в этом кабинете, что передо мной Блок, что он принял к сердцу мои стихи, что он сам сказал мне о глубокой родственности наших стихов: «Здесь есть и подражание мне, но я вижу большее. Это идет действительно из одного источника. Подражание пройдет, а это останется». И меня охватило чувство огромного покоя. Я почти потеряла сознание. Это была естественная реакция после сильного волнения.

Блок увидел, что я побледнела, подошел и спросил, что со мной. Внимательно посмотрел на меня, понял и тихонько сказал: «Отдыхайте! Не торопитесь никуда и рассказывайте мне о себе».

Я рассказала ему все главное внутреннее, важнейшее, как можно рассказать только самому близкому человеку.

Сидела я у него до часа ночи.

Когда я вышла в белую петроградскую ночь, почти никто не встретился мне. Только изредка попадались патрули, издали звякало оружие. Белые, как будто мертвые, корабли отражались в Неве.

Я не чувствовала земли под ногами...

#### ГЛАВА IV

Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттук — Александра Андреевна Блок, так любила она подписываться, чтобы и фамилией не отделяться от сына, всей радости и страдания, всего смысла ее жизни.

Более пятидесяти лет прошло с тех пор, как она умерла, но с той же любовью, что и в то далекое время, я повторяю вечное живое для меня ее имя.

Вот она стоит, хрупкая, невысокая. В ней было удивительное сочетание неж-

ности и строгости, а строгость эта была у нее по отношению к самой себе. Других она прощала и, даже судя, умела не осуждать, а себе она не прощала ничего.

Чаще всего вспоминается мне она сидящей за большим письменным столом, уставленным портретами сына. И стена перед столом тоже увешана его портретами, снимками скульптур, подарками Александра Александровича, привезенными из его заграничных поездок. Узкая, белая, солнечная комната. Железная круглая печка, прислоняя к которой и заложив руки за спину, так часто стоял Александр Александрович, беседуя с нами.

Своим тонким, мелким почерком мать переписывала почти все его рукописи. В этом для нее была настоящая радость. Она вновь и вновь переживала каждую его мысль, каждый звук стиха.

Для Александры Андреевны ее «деточка» и «душенька», как она звала сына, был всем. День начинался и кончался мыслью о нем; всю жизнь она старалась разделять его интересы, и умственные и душевные, но слово «старалась» не подходит в данном случае, потому что связь между сыном и матерью была настолько глубока и органична, что они всегда ощущали друг друга и жили как бы одним строем чувств. «Сашенька сегодня мрачен», — скажет она, бывало (шепотом), а и говорить не надо было. Достаточно было поглядеть на него, чтобы знать настроение Александра Александровича. Но большая заслуга Александры Андреевны была в том, что она умела стоять на высоте умственных и общественных интересов сына. Эта связь, временами чудесная и радостная, иногда бывала мучительна, так как Александр Андреевна страдала припадками эпилептического характера, связанными с душевной депрессией. Во время этих приступов она как бы окаменевала в мертвой тоске, и это состояние даже на расстоянии передавалось сыну.

Наиболее чисто и проникновенно выражена внутренняя связь поэта с его матерью в стихотворении «Сын и мать».

Она знала сына до конца, во всех его слабостях и страхах, но и во всей его душевной высоте. Улыбаясь, она говорила: «Он только одного беспокойства мне не доставил — на аэропланах не летал. А так — я вечно за него боялась; или утонет, как Сапунов<sup>5</sup>, или пойдет по рельсам и заглядится на что-нибудь, хоть на девушку какую-нибудь (помните, «стройная, с тугой косой!»), а поезд налетит на него и раздавит, или еще что-нибудь».

Александра Андреевна всегда ощущала сына предназначенным для подвига. Она жертвенно, сознательно отдавала его трудной, грозной и чудесной доле поэта, но всегда, в падении и на высоте, она хотела быть с ним рядом. Дрожала по пустякам,

крестила, когда он уходил из дому, прислушивалась к его шагам, но принимала, не отступая, не малодушествуя, все действительно трагическое в его судьбе.

Я помню ее над гробом сына. Она стояла без слез, иногда словно окаменевшая, а иногда с невыразимой любовью глядящая на него и говорящая о нем, как о живом: «Пойдите к Сашеньке».

Она была настоящей «матерью поэта». И для нее, и для ее сына была характерна благородная скромность. Она глубоко, почти благоговейно чтит в людях одаренность души и ума и в этом же духе воспитала Александра Александровича. Нельзя представить себе Блока, занимающегося саморекламой и провозглашающего свою гениальность (если не считать интимной записи после окончания «Двенадцати»: «Сегодня я — гений»).

От матери же Александр Александрович выучился любить «беспощадную правду», как говорил он. Таким был он и сам с собой и с самыми близкими ему людьми. Основой человеческих отношений он считал правду. Он говорил мне: «Обещаю друг другу одно — беспощадную правду».

Он очень хорошо относился к одной девушке, и я никогда не забуду глубокой грусти в его голосе, когда он однажды сказал: «Неужели и она научилась лгать?»

Но в Блоке была настоящая человеческая доброта. Если какой-нибудь хороший человек поступал дурно, Блок говорил: «Это только факт», — а не ставил креста на человеке. Эта черта у него была также от матери. У меня сохранилось замечательное письмо ее, где она пишет о своем отношении к людям. Я за что-то рассердилась на Андрея Белого и написала ей об этом в Лугу. Она отвечает 21 мая 1921 года:

«Теперешнее отношение к Бор[ису] Ник[олаевичу] тоже совершенно мне непонятно и чуждо (подчеркнуто ею два раза. — Н. П.). Раз я его люблю, ставлю высоко, все его слабости знаю, не веря ему, как человеку, во многом, — я и буду его любить и ценить всегда. И никакие «факты» не изменят моего отношения, потому что настоящая любовь (опять два раза ею подчеркнуто. — Н. П.) фактов не боится».

Все страдания сына мать переживала вдвойне и не раз говорила мне: «Надя, как трудно жить Сашиной матери».

Одной из больших трудностей ее жизни были отношения с невесткой.

Любовь Дмитриевну она и любила и ненавидела: она была как бы заигипнотизирована отношением к той Александры Александровича, верила его «видениям», связанным с Любовью Дмитриевной, как с воплощением вечной женственности, и подчинялась ее стихийному жизнеутвер-





Александра Андреевна Блок — мать А. Блока.

ждению, но не любила ее так, как свекровь может не любить невестку, испортившую сыну жизнь, да и страдала от ее грубости и резкости, доходивших до жестокости.

Много внимания Александра Андреевна уделяла своей сестре, Марии Андреевне Бекетовой<sup>6</sup>, которая жила в 1920 году в Луге, и постоянно с ней переписывалась. Нужно было устроить Марии Андреевне командировку в Петроград. 25 августа 1920 года мы с Блоком сочиняли ей вызов от Союза поэтов и много при этом смеялись. Он рассказывал о шуточных мандатах, которые он выдавал матери и жене — «Рев-маме» и «Рев-Любе». В письме Александры Андреевны к Марии Андреевне, хранящемся в Пушкинском доме, живо зарисована эта сцена. Александр Александрович очень заботился о «тете Мане» и помогал ей материально.

Бытовые условия в блоковской семье были тогда тяжелые, как, впрочем, у большинства интеллигенции. Александр Александрович в прямом смысле этого слова не голодал, и слухи о том, что он умер от истощения, неверны, но, конечно, основной пищей были пшено, селедка. Сахару, жиров и мяса, без которого особенно страдал

Блок, не хватало. Это вызывало повторные цинготные явления.

В первый раз Александр Александрович заболел цингой на прифронтовых строительных работах во время империалистической войны. Во время же предсмертной болезни Блок был обеспечен лучше, но тоже недостаточно.

В конце 1920-го и в начале 1921 года домработницы не было. Хозяйничала, довольно неумело, Любовь Дмитриевна. Александра Андреевна ей помогала. Но большая нагрузка была и у Александра Александровича. Он сам носил дрова из подвала, невысоко, всего на второй этаж, но сердце у него уже сдавало. Часто приходилось ему самому убирать квартиру — и тогда в комнатах воцарялся фантастический порядок. Каждая вещь словно застыла на от века предназначенном ей месте. Было нечто почти судорожное в этой четкости и аккуратности. Но смягчалось шуткой.

Однажды я пришла, когда он кончал уборку. Дрова в кухне были сложены, как полагается, переплетом, но между ними была натянута свекла мохнатыми корневищами вверх. С хитрым и веселым видом Блок повел меня на кухню и сказал: «Смотрите, совсем ежи!»

Мария Михайловна Шкапская, поэтесса и очеркистка, рассказывала мне, как она пришла к Блоку, когда он укладывал возле печки лучинки для самовара. Они были тонко наструганы. Все кругом блестело. Блок сказал: «Этот порядок необходим, как сопротивление хаосу. Вы тоже это понимаете».

Меня он бранил за небрежность и рассеянность, за то, что я вечно что-нибудь теряла.

— Я все всегда могу у себя найти. Я всегда знаю, сколько я истратил. Даже тогда, когда я кутил в ресторанах, я сохранял счет...

Помолчал, усмехнулся: «Это ледяное... ирония...»

Я с отчаянием спросила у него, неужели он никогда не терял своих записных книжек. Он ответил: «У меня их 57. Я не потерял ни одной. А если уже потеряю, то все разом»<sup>7</sup>.

До самой старости Александра Андреевна сохраняла в душе неистребимую молодость, и, может быть, поэтому нам, молодежи, было легко с ней. Она тепло относилась и к Евгении Федоровне (Жене) Книпович, и к Марии Михайловне (Марусе) Шкапской, и ко мне.

Мы часто бывали у нее, особенно Женья и я.

Маруся рассказывала ей о своих ребятишках (у нее было два мальчика), и Александра Андреевна давала ей мудрые практические советы.

Я описывала революционную и литера-



турную Москву и Самару, где одно время работала в Пролеткульте, и читала ей свои стихи, явно посвященные Александру Александровичу. Сначала она к моему творчеству относилась несколько скептически, а позднее полюбила мои стихи и даже переписывала их для себя и Марии Андреевны. Она могла без конца рассказывать о сыне, а я была неутомимой и жадной слушательницей.

Александра Андреевна часто рассказывала о детстве Александра Александровича. До школы он жил уединенной семейной жизнью, почти не встречаясь со сверстниками, если не считать двоюродных братьев Кублицких.

Придя первый раз из гимназии, он был взволнован, но внешне сдержан. Мать стала его расспрашивать, что же было в классе. Он долго молчал, потом тихо сказал: «Люди».

Александра Андреевна переписала для меня его первое стихотворение:

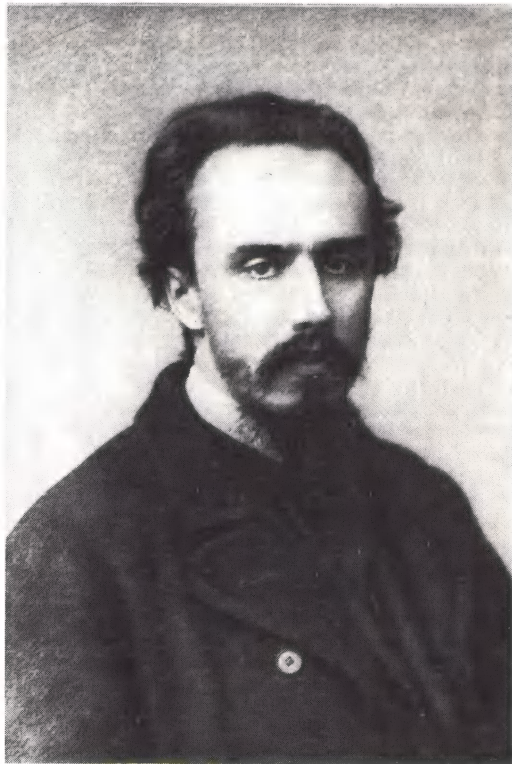
Жил на свете котя милый,  
Постоянно был унылый,  
Отчего — никто не знал,  
Котя это не сказал.

По рассказам матери, Александр Александрович был очень нежным, трогательно-ласковым ребенком. Взрослым он был с ней сдержан, иногда даже холоден и суховат, и его скупую ласку она безмерно ценила. Она радостно вспоминала, как он ее, больную, внес на руках в эту квартиру. Но отношение к матери у него всегда было ревниво-бережное. Мне вспоминается такой случай.

29 июля 1920 года Александр Александрович выступал на вечере, устроенном Вольфилой по поводу 20-летия со дня смерти Владимира Соловьева. Говорил он о Соловьеве с любовью и волнением. На вечере была и Александра Андреевна. На следующий день я уезжала в Москву, и она просила меня зайти к ее племянникам Кублицким; причем прибавила, что мне это будет нетрудно, потому что они живут невысоко. Говорили мы в антракте в артистической. Блок стоял в стороне и с кем-то разговаривал, но ему почудилось, что я отказываю Александру Андреевне в ее просьбе. Он гневно обернулся ко мне. И мать и я поняли его ошибку и засмеялись. Он сразу успокоился и сказал что-то ласковое.

Александра Андреевна считала себя виноватой в том, что после развода с его отцом, Александром Львовичем Блоком<sup>8</sup>, вышла вторично замуж за Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттх, с которым у нее не было общих интересов; не было и у Александра Александровича душевной близости с отчимом.

В любви, в дружбе она была очень тре-



Отец А. Блока.

бовательна, говорила в глаза то, что ей в близком человеке не нравилось. При всей своей любви к сыну и единоклассник с ним здесь она была самостоятельна и даже перед ним отстаивала милого ей человека. Она обладала живым воображением, хорошим слухом к стиху и литературным вкусом. Первым судьей сына была мать, и он считался с ее мнением. В ней был неистребимый романтизм. Мне она говорила шутя: «Очень хорошо, что вы появились у нас, но жаль, что вы приехали, а не пришли пешком странницей из глубин России». Под этой шуткой было и серьезное.

Иногда, делая перерыв в работе (он тогда переводил и редактировал Гейне) или вернувшись откуда-нибудь, Блок заходил к матери, становился спиной к железной круглой печке в ее комнате, и начинались разговоры.

В то время шли бытовые толки о том, что детей будут отбирать у матерей для коммунистического воспитания. Мы с М. М. Шкапской зашли к Александре Андреевне, которая возмущалась самой возможностью этого. Шкапская волновалась — для нее это был вопрос личного порядка. Александр Александрович долго



не вмешивался в спор, а потом неожиданно сказал: «А может быть, было бы лучше, если б меня... вот так взяли в свое время...»

Близким другом Александры Андреевны была Мария Павловна Иванова, которой Блок посвятил одно из прекраснейших стихотворений — «На железной дороге».

Когда я в 1920 году узнала ее, это была уже немолодая девушка необыкновенной доброты, отзывчивости и грусти. Всю себя она посвятила брату, Евгению Павловичу Иванову, и воспитанию его дочери Марины. Александра Андреевна делилась с ней своими заботами и трудностями, а та умела ее утешить и успокоить.

Много лет спустя после начала нашего знакомства я решила спросить Марию Павловну, как, при каких обстоятельствах Блок посвятил ей эти стихи. Она улыбнулась своей милой, застенчивой улыбкой: «Мне понравилось, он и посвятил».

Рассказывала, как в доме все радовались, когда Блок приходил. Иногда он бывал весел почти по-детски.

Мария Павловна была немногословна, но ее молчание всегда было доброжелательно и значительно.

Евгений Павлович Иванов, рыжий, с большой бородой, с прозрачными глазами, глубокими, добрыми и чуть лукавыми, был задушевным другом Блока.

В письме к родным от 24 января 1930 года Евгений Павлович пишет: «Читаю тут стихи Ал. Блока, купили в Госиздате новое, полное издание стихов и драм его, с предисловием Гольцева. Там утверждается, что я познакомился с Блоком в декабре 1903 года в «Мире искусства», тогда как это неверно: может, Мария Бекетова спросит, откуда эти сведения почерпнуты? Или с умыслом не упомянут март в «Новом пути»?»<sup>9</sup>

Чувство живой и глубокой связи с Блоком Евгений Павлович пронес через всю свою жизнь.

А жизнь Евгения Павловича сложилась трудно из-за хронической психической болезни жены, а потом и дочери. До революции они были материально обеспеченными людьми, после жили в постоянной бедности, на очень маленькое жалованье Евгения Павловича и его сестры. Временами работала и жена. В конце 20-х годов Евгений Павлович был выслан в Великий Устюг.

Атмосфера дома Ивановых всегда была удивительна: над страданием, над болезнями и невзгодами всегда торжествовали жизнеутверждение и любовь, и само страдание осмысливалось и возвышало этих людей.

Блок любил крепкий быт семьи Ивановых, некоторую их традиционность и в то же время одухотворенность.

Тут не было никакой лжи и коварства. Простота дружественных отношений соче-

талась с пониманием душевного мира поэта.

На свадьбе Евгения Павловича Блок был шафером.

Когда родилась Марина, Блок стал ее крестным отцом и относился к этому всерьез и очень по-своему. Так, он подарил духлетней Маринке прекраснейшую, как он считал, игрушку — большой корабль, который сейчас хранится в Пушкинском доме.

Надо знать все пристрастие Блока к морю и кораблям, чтобы оценить выбор именно этого подарка — вот уж от полноты сердца.

После смерти Александры Андреевны Мария Андреевна Бекетова поддерживала семейные дружественные отношения с Ивановыми и старалась им помочь материально, содействовала изданию переписки Евгения Павловича и Блока.

По-настоящему мы подружились с Евгением Павловичем после смерти Александра Александровича. Приезжая в Ленинград, я всегда бывала у них, и Мария Павловна и Александра Фаддеевна тепло встречали меня.

Я возвращалась в Москву в среду первой недели войны. Накануне я пришла к Ивановым. В доме у них не было никаких запасов, не было и денег. Я оставила им все, что могла. На следующий день Евгений Павлович провожал меня на вокзал. Мы вышли из дому заранее и немного посидели у Казанского собора. Чувствовали, что прощаемся. Он был печален, но очень светел и не терял мужества, как всегда. Зимой 1941/42 года он умер.

У Александры Андреевны познакомилась я и с Ольгой Дмитриевной Форш, которая печаталась в начале своей литературной деятельности под псевдонимом «Терек». Она вела с Александрой Андреевной сложные философские разговоры, к которым Блок относился довольно равнодушно. Александру же Андреевну трогали материнские трудности Ольги Дмитриевны, которая в то тяжелое время одна подымала двух детей-подростков — Тамару и Диму.

Позже, с весны 1921 года, мы с Ольгой Дмитриевной жили рядом в Доме искусств и сблизились, несмотря на разницу в возрасте.

Александра Андреевна знала о нашем сближении и в 1922 году подарила даже нам вместе первый том посмертного Собрания сочинений Александра Блока («Алконост», Петербург, 1922) с надписью: «Милой Ольге Дмитриевне и милой Наде от меня вместе» (подписи и даты нет). Ольга Дмитриевна великодушно уступила эту книгу мне (хранится у меня).

Схоронив сына, Александра Андреевна хотела только одного — скорее умереть. Когда ее спросили перед смертью, чего бы



ей хотелось, она ответила: «На кладбище». Потом спросила: «Скоро ли?» Ей сказали: «Теперь скоро» — и она успокоилась и улыбнулась. Так рассказывала мне Мария Андреевна Бекетова о ее смерти.

Сама я не могла с ней проститься — меня в Петрограде не было.

О смерти Александры Андреевны написала мне Ольга Дмитриевна Форш в феврале 1923 года в город Козельск Калужской губернии:

«Дорогая Надежда Александровна, в воскресенье, в 3 часа дня, умерла Александра Андреевна от грудной жабы. Она очень мучилась сутки (закупорка в легких), ей вприсынули морфий. Скончалась тихо, лежит с очень спокойным, добрым лицом. Похороны в среду на Смоленском, через дорожку против могилы сына. Я была у нее очень незадолго до кончины. Она очень была рада, говорила о том, что хочет умереть, только этого и ждет. О Вас очень вспоминала, она любила Вас».

## ГЛАВА V

Начинался самый счастливый и творческий период моей жизни. Сначала я жила на Бассейной, в Доме литераторов. В то время там останавливался и Георгий Иванович Чулков, который отнесся ко мне с большим вниманием и напечатал летом 1920 года в петроградской газете «Жизнь искусства» большую статью о моих стихах «Новь». Я стала сотрудничать в «Записках мечтателей».

С Блоком встречался очень часто.

5 июля должен был быть вечер Блока в Доме искусств. Я не только присутствовала на нем, но и получила в связи с ним автограф Блока. Билет я купила, но дома обнаружила, что штемпель поставлен неправильно, и с грустью сказала об этом Блоку. Тогда он написал администратору: «На билете Н. Павлович ошибочно поставлен штемпель 3 июля, тогда как она брала на 5-е, на мой вечер. А. Л. Блок».

Билет был исправлен, а записка осталась у меня. Сохранилась еще визитная карточка — Александр Александрович Блок «просит дать место Надежде Александровне Павлович в Доме искусств» 21 июня.

Когда я попала на вечер Блока в Петрограде, то сразу почувствовала разницу в настроениях московской и здешней публики. Реакционно настроенная часть литераторов охладела к нему после поэмы «Двенадцать». Среди молодежи выделялась группа начинающих поэтов — учеников Н. С. Гумилева, явно оппозиционная по отношению к Блоку.

Хотя на вечер было много людей, любивших Блока, но внутреннего единства у слушателей не было, и, вероятно, поэтому и Блок был здесь другим, чем в Москве.

В нем было больше замкнутости и противостояния тому, что шло к нему из зала.

Часто мне приходилось встречаться с Блоком и по делу, так как он был избран председателем Петроградского отделения Союза поэтов, а Всеволод Рождественский и я — секретарями.

Первое собрание поэтов было 27 апреля 1920 года у Чернышева моста, в старинном доме. Собралось очень мало поэтов, но Блока это не смутило.

Присутствовали: Блок, Белый, Гумилев, Лозинский, Оцуп, Рождественский.

Этот список интересен, как ядро будущего Союза поэтов. Я отвезла в Москву Брюсову протоколы наших собраний, московский президиум Союза поэтов утвердил состав президиума Петроградского отделения. Я рассказывала Валерию Яковлевичу, что некоторые петроградцы говорили с неудовольствием о том, что именно московские поэты считают себя объединяющим центром.

Действительно, сам тон тогдашней петроградской литературной жизни очень отличался от московского. Если в Москве он определялся Маяковским, Есениным, Брюсовым, Пастернаком, то здесь — Блоком, Гумилевым, Ахматовой, Лозинским, Кузминым... Чувствовались и разные традиции, уходившие корнями еще в пушкинскую эпоху, и совершенно иной ритм жизни, иной характер взаимоотношений.

Это противопоставление петербургских традиций московским достаточно остро выражено в заметке «Союз поэтов» в хронике сборника «Дом искусств», 1921 (на обложке — «1920»), № 1.

«Мысль о Союзе поэтов, о своевременности и необходимости профессионального объединения возникла уже давно, но петербургские поэты решили осуществить это объединение, конечно, не по шумному примеру московской «эстрады», а на новых петербургских началах. Учредители хотели, помимо защиты профессиональных интересов, найти в стенах союза возможность говорить о стихах и читать стихи, чувствуя себя при этом свободными от требований литературной улицы».

(Напомним, что этой «улицей» были Брюсов, Есенин, Хлебников, Маяковский, Пастернак и литературная молодежь Москвы, действительно часто выступавшая на «эстраде» в «Кафе поэтов», «Стоиле Пегаса» и других кафе.)

Председателем был избран Блок, секретарями — Рождественский и я, членами президиума были Оцуп, Лозинский, Эрберг<sup>10</sup>, Зоргенфрей<sup>11</sup>. Позднее в президиум вошла и М. М. Шапская. Председателем хозяйственной комиссии была Н. Грушко<sup>12</sup>.

Особое внимание было обращено на состав приемной комиссии. Мы ждали новых людей, надеялись на приток свежих сил.



Поэтому членами приемной комиссии были избраны Блок, Гумилев, Лозинский и Кузмин. Секретарем этой комиссии был Всеволод Рождественский.

Одной из первых подала заявление о приеме Мария Михайловна Шкапская. У меня сохранилась копия, а в архиве Шкапской находится подлинник ее заявления и отзыв членов комиссии. Привожу их как пример работы комиссии:

#### «Заявление

Прошу принять меня в число членов Союза поэтов. Первая книга моих стихов — «Mater dolorosa» — находится в наборе. Прилагаю несколько стихотворений для ознакомления.

М. Шкапская

Петроград 20.VII.1920 г.».

На обороте: «Стихи живые и своеобразные. Нахожу, что автора можно принять в действительные члены С. П.

Ал. Блок».

«Автор, по-моему, может быть принят в члены, хотя стихи, при однообразии своей чисто физиологической темы, часто неприятно натуралистически грубы и от неточности выражений местами непристойны, но поэтическое чувство и движение в них безусловно есть.

М. Кузмин».

«Полагаю, что автора следует принять в члены союза.

М. Лозинский».

Скоро членом Союза поэтов стала и Елизавета Полонская<sup>13</sup>.

Работа Союза поэтов налаживалась очень медленно. Мы плохо умели общаться друг с другом; состав союза был разнороден и по литературным вкусам, и по политическим тенденциям. Часть впоследствии эмигрировала (Г. Иванов, Оцуп, Одоевцева и др.).

Блока поддерживали Рождественский, Эрберг, Шкапская и я; Лозинский, Грушко, Кузмин, Ахматова держались нейтрально. Группа молодежи объединялась вокруг Гумилева; они были наиболее активны.

Позже приехали Сергей Митрофанович Городецкий и Лариса Михайловна Рейснер. Они, естественно, взяли нашу сторону. Но все принципиальные разногласия всплыли на поверхность несколько позже. Вначале они как бы подразумевались. В первое время основное внимание союза было обращено на вопросы материальные, бытовые, в которых равно были заинтересованы все члены союза независимо от их установок.

Блок был добросовестным в любой работе, за которую он брался. Он как-то сказал о себе: «Хоть я и ленив, я стремлюсь всякое дело делать как можно лучше». Здесь же он вначале действительно принимал к сердцу дела союза, понимая,

как он сказал в речи на юбилее Кузмина, что «потерять поэта очень легко, но приобрести поэта очень трудно».

Я помню, как Корней Иванович Чуковский с великим изумлением говорил о Блоке: «Я поражен, слыша от Александра Александровича не «я», но «мы».

Блок не пропускал ни одного заседания и входил во все мелочи. Так, у нас при союзе служил сторожем и курьером матрос. Однажды Блок приходит ко мне и достает какую-то бумажку: «Вот, чтобы не забыть. Матросу нужно: 1) дать бумагу, чтоб его отпускали с корабля; 2) прописать в домком».

Этот матрос почитал Блока за командира. Обычно он являлся к Александру Александровичу утром за распоряжениями. Блок давал ему поручения и посылал ко мне. Матрос рапортовал. Ему нравилось работать в Союзе поэтов. «Я понимаю так, что здесь я на культурном посту». А Блоку нравилось, что курьером у нас матрос. Блок заботился о дровах для союза и хотя бы о единовременных пайках для особо нуждающихся членов. Так, я помню его хлопоты о пайке для Кузмина.

Стали устраиваться вечера; первым публичным вечером был вечер вернувшихся с фронтов гражданской войны Городецкого и Рейснер. Блок сказал вступительную речь о задачах союза и тех новых молодых силах, которые мы ждем. Речь эта опубликована в Собрании его сочинений.

Отважный комиссар гражданской войны, Лариса Рейснер была красавицей с точеным холодным лицом. Очень умна, обворожительна, дивно танцевала. Напоминала она женщин эпохи Возрождения.

С Ларисой Рейснер Блок одно время встречался и катался с ней верхом, но, ценя ее красоту и ум, относился к ней с несколько опасливым интересом. В ней чувствовалось что-то неверное, ускользающее.

В то время она была женой Раскольниковой, жила в здании Адмиралтейства. Она, казалось, была к Блоку очень предупредительна и предлагала устроить в Балтфлоте выступления Союза поэтов и лекции.

Ее предложением хотел воспользоваться Блок для перевода из Москвы в Петроград Княжнина.

У Владимира Николаевича была большая семья, и они очень нуждались. Блок всегда относился к нему сердечно и сейчас был озабочен его судьбой; так как он знал о моей дружбе с Княжнинным, то, естественно, этой заботой он делился со мной и поручал мне все деловые хлопоты об его устройстве.

Так, Александр Александрович записал мне для памяти:

«Надо сказать, что он работал в архивах, что у него историко-литературные работы и что он вообще нужный человек, так



А. Блок.

чтобы его пригласили сами, а не по его просьбе».

Комиссия по изучению материалов для революционной истории флота была при Балтфлоте. Туда я должна была пойти как представитель Союза поэтов, хотя прямого отношения к Союзу поэтов Княжнин не

имел. Блок указывал мне самый тон моего обращения. В этой записке — характерная для Блока забота о сохранении достоинства нуждающегося писателя.

Увенчались ли успехом эти хлопоты, не могу сейчас вспомнить, но в этой же записной моей книжке сохранились записки,



которые мы, члены президиума Союза поэтов, писали друг другу на заседаниях (Рожественский, Шкапская и я).

Я пишу: «С Б[алтийским] флотом ничего не выходит. Лариса (Рейснер. — Н. П.) не желает работать. Рейснер-папа вышел в отставку, на прощанье познакомив меня со своим заместителем. В союзе они не нуждаются, Лариса скусающе говорила о просьбах Александра Александровича».

На заседаниях нашего президиума разногласия становились все отчетливее. Блок предложил выступления в районах, но они так и не осуществились, потому что мы, сочувствующие этому, были плохими и неумелыми организаторами, а у другой группы это предложение вызвало только нарекания и остроты.

5 октября открылся клуб поэтов. Мы получили помещение на Литейном, в бывшем доме Мурузи.

Наиболее интересен был вечер, на котором впервые после своего возвращения в Петроград выступал О. Э. Мандельштам.

Блок слушал его с большим интересом, особенно его стихи о Венеции, напоминавшие Александру Александровичу собственные венецианские впечатления.

С первого взгляда лицо Мандельштама не поражало. Худой, с мелкими неправильными чертами... Но вот он начал читать, нараспев и слегка ритмически покачиваясь. Мы с Блоком сидели рядом. Вдруг он тихонько тронул меня за рукав и показал глазами на лицо Осипа Эмилевича. Я никогда не видела, чтобы человеческое лицо так изменилось от вдохновения и самозабвения. Это поразило и Александра Александровича.

Гумилев и «гумилята» держались особым кланом, чувствуя свою связь с акмеизмом и старым «Цехом поэтов»<sup>14</sup>.

Для этой группы было характерно неприятие Октябрьской революции и презрительное отношение к окружающему (впоследствии некоторые из них докатились за границу до обслуживания фашистов).

У разных людей это было в различной степени, более или менее отчетливо, но в какой-то мере для многих из них искусство было некой цитаделью, где можно было противостоять врагу, а в крайнем случае отсидеться.

Гумилев держал себя метром. Мелкие черты лица — действительно словно с «персидской миниатюры», осанка и движения офицера.

Он яростно боролся за председательство в Союзе поэтов, чтобы искоренить блоковский дух и «вредные» революционные и демократические тенденции. Он презрительно фыркал, когда Блок заговаривал о выступлениях в районах или о новых поэтах, которые придут из народных масс. Он прямо говорил: «Это блоковское безумие». Поэма «Двенадцать» для него была прин-

ципально неприемлема. Думаю, что и сама форма поэмы шокировала его.

Особенно раздражало его пагубное, как Блок считал, влияние Гумилева на молодежь, уводящее от «музыки революции», которую Александр Александрович призывал неустанно слушать.

Искусство для искусства, самодовлеющее, оторванное от самого смысла жизни, от развития или потрясений народной жизни, для Блока было глубоко враждебно. Все его принципиальное расхождение с Гумилевым выражено в последней предсмертной статье «Без божества, без вдохновения», самое название которой звучит как точная формула. Они «топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма», писал Блок.

Блок все больше убеждался в том, что ничего «настоящего» из Союза поэтов не выйдет.

Не стоило тратить силы только на материальное устройство поэтов. Он уставал от мелких ежедневных дел. Никакого единого литературного фронта не получилось. В клубе поэтов не было даже принципиальных споров. По существу, все было уже понятно — говорить было не о чем.

...Сидим вокруг стола. Мучительно молчим. Лозинский предлагает читать стихи. Начинаем по кругу, по одному стихотворению. После каждого выступления — молчание, изредка скупое — о, какое вежливое! — замечание. И вот круг закончен. Делать больше нечего. Блок молчит упорно и привычно. Спасительный голос Лозинского предлагает начать круг снова.

Потом от нечего делать играли в буре, писали бессмысленные строчки на заданные рифмы. Помню блоковскую строку: «голубое манто-мотылек». В подобных состязаниях он был далеко не первым.

Иногда писались эпиграммы. В своих воспоминаниях об Александре Блоке, опубликованных в «Блоковском сборнике» Тартуского университета, я ошибочно приписала принадлежащую Л. Борисову эпиграмму на М. М. Шкапскую Всеволоду Рожественскому, да и написана она была позже.

Я привыкла к шумным московским литературным собраниям, к их простой, товарищеской атмосфере. Даже присутствие Брюсова или Вячеслава Иванова не сдерживало молодежи. Кипели споры, и бурно высказывались мнения. Помню вечера, на которых мне приходилось выступать в кафе поэтов «Савойя» с Есениным и Брюсовым, казалось бы, такими разными поэтами, но связанными одним дыханием эпохи. И публика эти общие выступления встречала как нечто закономерное. Там дышалось легко.

А здесь — в Петроградском клубе поэтов — как все было холодно, чопорно и

чинно! Переговаривались друг с другом, а общего разговора не получалось. Он даже и не начинался.

С облегчением расходились.

В августе нашла я маленькую комнату на Офицерской, главное достоинство которой была близость к дому Блока. Со всех заседаний Союза поэтов мы всегда вместе возвращались домой.

Спутник мой не любил носить портфель, ненавидел всякие свертки, даже под руку ему не нравилось брать. Он шел рядом твердым шагом, поддерживая меня только в самых темных и скользких местах, доводил до дому, и мы долго еще разговаривали в арке ворот.

## ГЛАВА VI

*И равнодушно величава,  
Проста среди простых людей,  
Она, как шаль, носила славу  
В прекрасной гордости своей.*

В Петрограде я познакомилась с Анной Андреевной Ахматовой и стала бывать у нее. Теперь, когда она скончалась, мне хочется вспомнить ее — молодую, стройную, гибкую, с ее классической челкой, с холодноватым лицом, и в обычной жизни иногда напоминавшим лицо трагической музы.

Познакомились мы так: летом 1920 года мне пришлось выступать с моими стихами в Доме литераторов на Бассейной. В антракте ко мне подошел невысокий болезненный человек и сказал: «Я — Шилейко, муж Анны Андреевны Ахматовой», — и пригласил меня к ним.

А я так любила ее стихи! Хотя литературного ее влияния я никогда не испытывала, но считала, что о нашем сокровенном, женском никто лучше ее не говорил, и стихи ее сами запоминались и повторялись. У меня даже не было соблазна подражать ей. Может быть, в какой-то мере это и определило наши отношения на многие годы.

В 1920—1921 годах мы встречались довольно часто, читали друг другу стихи; иногда вместе гуляли. Шилейко благоволил ко мне и охотно отпускал со мной Анну Андреевну.

В то первое мое посещение она показала мне стол своего мужа, ассириолога, заваленный обломками и плитками с клинописью: «Вот его библиотека».

Когда мы вошли в ее комнату, навстречу поднялся огромный, чудный сенбернар, которого они все-таки умудрялись держать в те голодные годы, и мгновенно покорило мое сердце.

В 1921 году она подарила мне стихотворение «А Смоленская нынче...», в более поздние годы — сломанный деревянный портсигар Блока, доставшийся

ей от одной приятельницы. И то и другое в моем фонде в Пушкинском доме.

В стихотворении Ахматовой «Ты знаешь, я томлюсь в неволе» говорится об «осуждающих взорах спокойных загорелых баб». Самое удивительное то, что мне пришлось разговаривать с этими тверскими — верней, бежецкими — бабами. В мае 1921 года меня пригласила художница Агнесса Шабад погостить у нее в Бежецком районе тогдашней Тверской области, на сельскохозяйственной станции, где муж ее работал агрономом, и, кстати, в самом Бежецке прочесть лекцию о современных поэтах. Гонорар обещали натурой, и это было тогда весьма заманчиво. Я и товарищам, о которых должна была читать, обещала, что-нибудь привезти.

В Бежецке в то время жил у тетки своей, Сверчковой, маленький сын Гумилева и Ахматовой — Лева; и она, узнав, что я еду туда, попросила навестить его и отвезти гостинцев.

Трудная судьба досталась потом этому мальчику, отразившаяся и в материнских стихах. Но это не помешало ему стать серьезным ученым-историком, и в одну из наших последних встреч Анна Андреевна высоко оценила его научные дарования.

Но вернемся к Бежецку 1921 года.

Между городом и сельскохозяйственной станцией лежало бывшее имение Гумилевых, и те же крестьянки, что ходили туда на поденщину, теперь работали на участках станции и убирали ее помещения. Я спросила их о прежних хозяевах. Нет, они не осуждали Анну Андреевну, они недоумевали, чувствовали в ней что-то необычное и по-хорошему, по-бабьи, по-свойски жалели ее.

«Бывало, косу расплетет и выйдет за околицу. Ходит и бормочет чего-то... Платье белое наденет... И худая была. Видать, до косточек ее прожгло... болью да заботой».

Об этом в моем стихотворении, посвященном Ахматовой:

О ней мне говорили бабы

В глухом, лесном углу тверском.

В этом же моем стихотворении есть строка «Проста среди простых людей». За ней — эпизод, поразивший меня.

Однажды летним утром 1920 года я пришла к Анне Андреевне. Огромный шереметевский двор был залит солнцем. Вдруг я увидела, что она почти бежит по двору в платочке, в туфлях на босу ногу, с каким-то свертком в руках.

— Куда вы?

— К нашему дворнику. У него воспадение легких. Ставлю компрессы.

Никогда этого не забуду, как не забуду ребенка соседки или домработницы, спавшего на креслах в ее комнате, ко-





Л. Д. Менделеева.

торого так бережно она потом унесла. К этому убитому осколком во время ленинградской блокады ребенку относятся ее стихи:

Принеси же мне горсточку чистой,  
Нашей невской студеной воды,  
И с головки твоей золотистой  
Я кровавые смою следы.

И товарищем она была верным в беде, делилась последним. Так за равнодушной величавостью, за некоторым высокомерием всегда оставалась живой ее простая доброта.

Годы не гасили и не уменьшали дарования Ахматовой.

Ширилась тематика, углублялись философские раздумья над эпохой, над стремительным бегом времени. Но ее поэзия была как бастион: казалась лирической, но по своей природе была монументальна: в молодых стихах Ахматовой уже есть та законченность и совершенство формы, что поражает нас в ее зрелых и поздних стихах. В мире происходят катаклизмы, хоронится эпоха, неистовствует война — все это отмечено, отражено, продумано и прочувствовано в ее стихах. И все-таки ни-

когда в них не бушует стихия, никогда она сама не вовлекается в водоворот.

Остается бег времени, но не бег поэта. Поэзия Ахматовой, может быть, наиболее статична во всей русской поэзии.

С грустью я думаю о том, что в последние годы между нами легла моя поэма «Воспоминание об Александре Блоке», где дан конфликт его с Гумилевым. Ахматова не приняла и не хотела принять ее, а я не могла изменить исторической правде, потому что в этом конфликте, как океан в капле, отразилось столкновение в русской культуре двух миров.

Но да будет благословенна благородная память Анны Андреевны Ахматовой!

Осень 1920 года. Нет хлеба. Нет дров. Поэты голодают...

В моей записной книжке того времени — обрывок какого-то спора на заседании Союза поэтов. Обмениваемся записками. Всеволод Александрович Рождественский, Мария Михайловна Шкапская и я.

Самая суть сейчас неясна. Однако можно понять, что надо идти в какое-то высокое учреждение, где встречали нас не очень любезно, и просить о материальной помощи союзу.

Рождественский пишет: «По-моему, навязываться не стоит. Побольше достоинства!» Я отвечаю: «Я тоже склоняюсь к этому, но голод Ахматовой, Кузмина, Пяста и многих...»

Блок ищет разных путей, чтобы помочь писателям, думает о книжной лавке поэтов. Ему самому приходится продавать книги. Недавно в архиве Ю. Н. Верховского был обнаружен его автограф: «За проданные для семинария русской литературы при Пермском университете книги...» Книжная лавка Союза поэтов облегчила бы членам союза продажу книг и избавила бы от посредников-буккинистов.

В то время тяжело нуждался и Алексей Михайлович Ремизов<sup>15</sup>. Хотя формально Ремизов и не подходил для членства в Союзе поэтов, но, во-первых, Блок чувствовал поэтическое начало его произведений, а во-вторых, желал хоть немного облегчить нужду этого талантливого и незаурядного человека с очень слабым здоровьем.

Поэтому Блок, думая о лавке поэтов, и ставил в письме ко мне вопрос о приеме Ремизова в Союз поэтов.

«Надежда Александровна, сейчас Алянский рассказал мне о лавке Дома Искусств и о возможности нашей лавки. Вы уже об этом знаете. Нам надо поскорее (на той неделе) отправиться к Федину в отдел печати просить о лавке Союза. Надо написать бумагу, напирая на то, что мы должны быть отдельными от дома Искусств, ибо: 1) нам нужны средства для

Союза; 2) мы никому не подчинены здесь — центр в Москве. Думаю, что хорошо бы пойти к Федину (который очень мил) Вам или Вам с М. М. Шкапской. Как Вы смотрите на то, чтобы пайщиком был Ремизов? Я лично не имею против, но его надо выбрать в Союз. По моему, основания есть, а ему было бы это материально важно.

Сейчас звонил Рождественский, я дал ему Ваш адрес.

Ваш А. Л. Блок.

И еще бы каких-нибудь аргументов!»

Мы со Шкапской к Федину ходили, но из этой затеи ничего не получилось. Отдельной книжной лавки поэтов нам не разрешили.

Вскоре в союзе началось внутреннее обострение отношений. Гумилевский «клан» все громче высказывал свое неудовольствие действиями нашего президиума и характером наших публичных выступлений.

Гумилев вел занятия в студии поэтов при Доме Искусств, где культивировался формализм и где молодежь воспитывалась на традициях, глубоко чуждых Блоку.

Образовался кружок молодежи «Звучащая раковина»: корни его уходили в акмеизм и «Цех поэтов».

При пере выборах в Союзе поэтов за баллотировали Шкапскую, меня, Сюнненберга (К. Эрберга). Блок хотел тоже уйти, но его всем союзом упростили остаться. Он формально пока оставался председателем, но от дел фактически отстранился. Все больше и больше определялся гумилевский курс.

Меня поражаало внутреннее одиночество Блока в тогдашней литературной среде.

С подавляющим большинством петроградских поэтов у него не было не только дружбы, но даже близкого знакомства и приятельства, как в прежние годы с Вячеславом Ивановым, Георгием Чулковым, Мережковским<sup>16</sup>. С М. Л. Лозинским у него были корректные, взаимно уважительные отношения. Блок высоко ценил его переводы, говорил об их благородном мраморе. Лозинский не только любил Блока, но и уважал и понимал его принципиальность. Когда Блок вышел из президиума союза, и Лозинский ушел с ним, хотя был в свое время одним из столпов акмеизма.

Кузмин был поглощен собственными переживаниями и стихами, да и был Блоку чужд, хотя ему нравились «Александрийские песни» и Кузмину он считал настоящим поэтом. Блок был в хороших отношениях с Зоргенфреем и Сюненбергом, но это были второстепенные поэты, значения не имевшие. Думаю, что Александр Александрович глубоко ценил их за порядочность и понимание его поэзии, его устремлений.

Пролетарские поэты держались особня-

ком. В Союз поэтов они тогда или совсем не входили, или входили только формально, активного участия не принимая. Блок с ними не общался.

Оставался Белый («брат», как о нем отзывался Блок, но и враг). Братья могут быть и врагами. Они мало встречались, в то время больше на заседаниях Вольфилы. Отношения их были сложны, но Блок и его мать находили у Белого черты гениальные.

Связывало их издательство «Алконост», близкое обоим и как бы воскрешавшее традиции их молодости. Разделяла их антропософия, к которой Блок относился отрицательно. Эта двойственная связь «братьев-врагов» сказалась и в двух столь различных текстах воспоминаний Белого о Блоке, различных прежде всего по тональности<sup>17</sup>.

Пяст, с ранней молодости связанный с Блоком, разделявший с ним увлечение Стриндбергом, Пяст, к которому Блок всегда относился с терпением и заботой, летом 1920 года еще не подавал ему руки за «Двенадцать». Блок принимал это с грустной усмешкой, но ему было больно.

Однажды осенью Блок тихо сказал: «Я его понимаю и не сержусь на него. Вы с ним встречаетесь (мы с Пястом жили в Доме искусств в одном коридоре. — Н. П.) Как он живет сейчас?»

А жил Пяст ужасно. Весь паек он отдавал оставленной им семье — жене и детям. Всегда голодный, оборванный, он бродил целыми ночами по Дому искусств и декламировал стихи громким, воющим голосом или стучал к соседям, будя их на рассвете, чтобы рассказать о видениях, тревожащих его больной ум.

Я видела, что Блок сердечно жалеет его и помнит старую дружбу, и мне страстно хотелось их помирить. Я рассказывала им друг о друге и долго была такой передаточной станцией, смяткая обе стороны, и наконец урезонила Пяста.

На каком-то вечере в Доме искусств, в артистической, он подошел к Блоку с протянутой рукой. Александр Александрович улыбнулся и ответил на его рукопожатие. Я их оставила вдвоем. Потом Пяст рассказывал, что заходил к Блоку, но прежняя близость так и не возобновилась.

Позже Пяст переехал в Москву, был одно время в Одессе, не раз попадал в психиатрические больницы, был сослан в Кадников Вологодской области. Там я ранней осенью гостила у друзей и гуляла с Пястом в сыром северном лесу. Он очень радовался моему приезду и кротко, как-то по-детски вспоминал своего великого друга.

В последний раз виделись мы в Голицыне, под Москвой, когда уже началась его предсмертная болезнь; после всех романтических увлечений Пяста, непременно связанных с какими-то астральными видениями, но терпящих жалкое фиаско в земных условиях, теперь возле него была про-



стая, заботливая женщина — Клавдия Ивановна Стоянова. Задыхаясь, он говорил о своих переводах Кальдерона, о старой своей «Поэме в тонах», словно подводил итог своему творчеству, и по-прежнему сумасшедшинка была в его глазах и рот кривился дикой усмешкой.

В 1940 году была у нас его похороны в Москве. Из морга Института имени Склифосовского вынесли дешевый гроб... Почерневшее лицо... Римский профиль... Несколько литераторов и несколько старых друзей... Бернштейны — И. И. и С. И.

Так ушел Владимир Алексеевич Петровский, который сам звал себя «безумным Пястом».

На следующих выборах Блока «за неспособность» забаллотировали как председателя, а выбрали Гумилева. Отстаивать свое председательское место — ничего более чуждого Блоку и вообразить нельзя.

Когда он ушел, с ним ушло большинство членов президиума: Рождественский, Лозинский. Бразды правления он передал Гумилеву не без чувства облегчения.

Когда через некоторое время к нему явилась делегация союза во главе с Гумилевым (сколько я помню, в нее входили Георгий Иванов и Нельдихен), Блок наотрез отказался вернуться. Как он рассказывал мне, в том разговоре с ними он впервые употребил формулу: «Без божества, без вдохновенья», которая потом стала названием его последней, предсмертной статьи, направленной против акмеизма. В этот период в петроградской поэзии ясно определялось два стана. Никаких общих путей не было.

Но для Блока было ясно, что новые поэты придут. Он верил в то, что придут новые люди, а «будут люди, будут и слова», говорил он.

Все, что возникло или пыталось возникнуть в годы революции, интересовало его. Таков был, например, его интерес к Пролеткульту до тех пор, пока он не почувствовал в нем «игры», то есть ненастоящего.

Он думал найти в пролетарских поэтах отзвук той стихии, которая заговорила с ним голосом «Двенадцати». Он меня почти всерьез спрашивал: «Они какие? Любят ли снега, любят ли корабли? А влюбляются, как мы?» Это было именно «почти всерьез». Ему хотелось увидеть каких-то новых людей, иной породы, иного мира, но близких внутренне.

Он прочел мою статью о пролетарских поэтах. Блок отметил логичность построения, а потом, помолчав, сказал:

— А ведь статья ваша им не за здравие!

— Но и не за упокой!

— Только они еще не выразители.

Петроградских пролеткультовцев он не

много знал, но их произведения его не трогали и не вызывали в нем интереса.

Петроградские пролеткультовцы не чуждались меня. Так, они однажды позвали меня выступить с ними на броненосце «Петропавловск», который стоял тогда на Кронштадтском рейде, на самой дальней сторожевой черте. Нас радостно встречали. Читали мы с приступки орудийной башни. Сама я туда подняться не могла, и один моряк просто взял меня в охапку и поставил. Волновалась я очень, но моряки встретили меня и улыбками и аплодисментами, что в большей степени относилось к моей молодости и к тому, что я была единственной женщиной среди выступающих. Слушали замечательно. Читала я им отрывки из своей поэмы «Серафим» и вглядывалась в их лица. Особенно поразил меня один молодой матрос с тонким, точно вырезанным на синеве моря и неба лицом. Он стоял вполоборота ко мне, глядя куда-то за море. К вечеру мы вернулись в город. Было это по старому стилю 30 августа — день именин Александра Александровича, и я прямо с корабля пошла к Блокам. Там собралось несколько близких знакомых. Был испечен пирог — редкость для того времени. Одна приятельница прислала муку. Я была так захвачена впечатлениями от броненосца, от выступления, от этого матроса, что Блок улыбнулся и сказал: «Я знаю, что сегодня ночью вы будете об этом писать стихи». Так оно и было.

Сам Блок почти по-детски любил все связанное с морем. Он часто рисовал корабли. У него был альбом, куда он наклеивал различные картинки, снимки, заметки. Больше всего там было кораблей.

Блока очень интересовали культурные запросы рабочих. Он все время присматривался к самой жизни, к новому для него общественному строю.

Я работала инструктором при совете профессиональных союзов, и мне поручено было подобрать материалы для плана лекций на 1920—1921 годы. Профессиональные союзы заполняли анкету, высказывали свои пожелания о количестве и тематике лекций на петроградских заводах. В анкете было три графы: лекции политические, профессиональные и общеобразовательные. Александр Александрович эти анкеты разбирал вместе со мной. Но он был против всякого искусственного, специфического выраживания литераторов и поэтов.

О молодежи, которая тянулась к «Цеху поэтов», он говорил, что стихи у них «фабричные», то есть у них фабричное производство стихов. Он был против студий стиховедения. Он считал, что поэту нужна общая культура, нужны знания, но нельзя «научить писать стихи», а студийцы воображают, что здесь-то они научатся этому делу. Он усмехался, слушая мои рассказы о занятиях у Брюсова. Еще в 1915 году,



когда я в первый раз передала Брюсову тетрадь моих стихов, он написал на ней: «Следует учиться поэзии. Валерий Брюсов». Позже, в 1918 году, я работала у него в семинаре 1-й Студии стиховедения на Молчановке, а затем в студии в Б. Гнезниковском переулке.

На занятиях своих Брюсов был суховат и деловит. Он требовал технического умения владеть сонетом, триолетом и другими строгими каноническими формами стиха и задавал нам задачи на стихосложение — например, написать стихотворение, все построенное на IV пеоне.

Брюсов говорил своим ученикам: «Вдохновение может прийти и не прийти, а уметь писать вы обязаны. Вот чернильница. Я не спрашиваю с вас вдохновения, а написать грамотное стихотворение о чернильнице вы можете!»

Когда кто-нибудь пытался роптать, он строго замечал: «Вы не стихи пишете сейчас — вы решаете задачу на стихосложение. Техника нужна для того, чтобы владеть всеми своими силами, когда придут к вам настоящие стихи».

Он гордился тем, что может на вечерах импровизировать на заданную слушателем тему, при этом пользуясь сложной строфикой — например, терцинами и октавами. При этом он всегда держал в руках лист чистой бумаги. Я спросила: «Зачем?» Он ответил: «Как-то помогает».

Такой подход к стихам был органически чужд Блоку. Он не отрицал технического умения («Каждое дело требует умения. И печку надо складывать умеючи»), но не его ставил во главу угла.

Да и брюсовское отношение к поэзии отнюдь не исчерпывалось этой школой мастерства. Все это не было так просто и примитивно. И Блок не раз вспоминал, какое значение он придавал в молодости тому же Брюсову.

Но вот вести такой «брюсовский» семинар в стиховедческой студии Блок и не захотел бы и не мог бы. Он разбил бы эту самую чернильницу, в воспевании которой мы упражнялись.

— Стихи пишутся иначе! — говорил он. — Талантливый человек, может быть, и в студии уцелеет, а бездарного совсем собьют с толку.

## ГЛАВА VIII

Комната моя на Офицерской была в огромном старинном доме. С улицы надо было пройти аркой ворот, потом большим двором, потом полупустой квартирой, откуда выехало большинство жильцов.

Была она не то что полуподвал, но на ступеньки две-три ниже улицы. Окно моей комнаты выходило в Максимилиановский переулок.

Почти каждый день мы с Блоком виде-



Ангелина —  
сестра А. Блока.

лись: или я бывала у них, или Александр Александрович хоть на минутку заходил ко мне, а то и просто останавливался у моего окна, проходя мимо. На низком и широком подоконнике было удобно сидеть, и мы иногда говорили очень долго.

Иногда, чтобы не обходить кругом через двор, Блок со смехом входил через окно.

Скоро после переезда я устроила новоселье. У меня были Блок, сестры Неслуховские, Шкапская и еще несколько человек.

Татьяна Константиновна Неслуховская, певица, взяла с собой гитару и пела цыганские песни. Александру Александровичу особенно нравилось, как она напевала вполголоса. Он любил самый звук старинной цыганской песни.

Несколько слов о сестрах Неслуховских. Мария Константиновна скоро стала моей близкой подружкой, а их дом — родным для меня. Это была удивительная семья. Отец, Константин Францевич, — географ, бывший полковник генерального штаба, хороший знакомый Ленина, который, нелегально приехав в Петербург, бывал у него.



Командовавший полком Неслуховский сразу перешел на сторону революции. Это был добрый и блестящий человек, необыкновенно сердечно и как-то весело встречавший молодежь, вечно наполнявшую их дом.

Жена его, с которой он разошелся, мать Марии и Татьяны, была из рода Алябевых — пушкинская красавица, и композитор Алябев был с ней в родстве.

Географические карты, книги, старинный фарфор, красное дерево, атмосфера дома, напоминавшая дом Ростовых. Здесь легко дышалось, много думалось и говорилось об искусстве и литературе. Татьяна Константиновна была с юности связана с революционной молодежью.

Мария Константиновна, с неправильным и прелестным лицом, статная, в локонах, словно сошедшая со старинного дагерротипа, была художницей. Она делала замечательные стилизованные куклы, целые макеты сцен различных эпох.

В 1922 году она вышла замуж за Николая Семеновича Тихонова, тогда недавно вернувшегося с фронтов гражданской войны и сразу покорившего всех нас стремительными стихами — молодого автора «Орды» и «Браги».

С Блоком Мария Константиновна познакомилась у меня и несколько раз с ним встречалась.

В серый осенний день Блок стоит у моего открытого окна. Только что прошел дождь. С крыши еще падают капли. Блок уже собирается уходить, вдруг задерживается, оглядывает сырой пустынный переулок и неожиданно начинает читать:

Лишь сырая каплет мгла с карнизов.

Я и сам

Собираюсь бросить злобный вызов  
Небесам.

Все на свете, все на свете знают:  
Счастья нет.

И который раз в руках сжимают  
Пистолет!

— Слышите, пистолет! Это же мальчишество!

Если в эти месяцы Блок и заговаривал о своей «конченности» как поэта и о близости смерти, то все же много еще было в нем внутреннего сопротивления надвигающейся болезни и депрессии. Он часто шутил, смеялся, поддразнивал меня, а я в ответ грозила ему устроить празднование его юбилея. Он сейчас же смирялся и умолял этого не делать.

— Я не хочу никаких юбилеев. Я и после смерти боюсь памятников, а пока жив — никаких чествований. После юбилея я и сам буду чувствовать себя мощами... — Он помрачнел и тихо добавил: — Сейчас я еще надеюсь, что буду писать, а тогда и надеяться перестану.

По русской привычке самые интересные и важные разговоры начинались в минуту прощания, на лестнице или у ворот.

Так 25 августа я прочла ему и его матери стихи: «Мне снилось, ты гибнешь в смертельном бою...» Мать не поняла, кому они посвящены, спросила меня, но я уклонилась от ответа. Когда я уходила, он все стоял у открытой двери, провожая и следя за мной. Я спустилась до первой площадки. Тогда он спросил: «Кому вы написали эти стихи?» Я ответила: «Вам». Он наклонил голову: «Это правда». Вот эти стихи:

Мне снилось, ты гибнешь в смертельном бою,

Ты с каждой зарею бледней.  
Я в поле пустынным березой стою,  
Вся в шепоте смутном ветвей.

Ты бился, и падал, и снова вставал  
Под ломкие звоны меча.  
Над камнем горячим мой ствол просиял,  
Как белая божья свеча.

И милых на помощь ты звал, но они  
В пустыню не знали путей,  
Лишь в листьях моих загорались огни  
Над трудной судьбою твоей.

Под ветром ложатся в степи ковыли  
И звоном встречают зарю.  
Я знаю, что насмерть ты бьешься вдаль,  
Что насмерть я в поле горю.

Всегда я уходила, ощущая его долгий прощальный взгляд.

24 августа он был у меня. Я отдала ему стихи, посвященные ему:

По силам мне любовь моя, другой,  
Счастливой, пусть и нежной, мне не надо!  
Любовь моя сурова, как суров  
Мой север, обнищавый и голодный,  
Как серая косматая река,  
Что под мосты волчицей убегает.  
И просто я смотрю в твои большие,  
Угрюмые и страстные глаза,  
И две судьбы за нашими плечами  
Перекликаются, как сосны на горе.

Оба эти стихотворения были ему дороги. Он напечатал их в «Записках мечтателей», только я не поставила посвящения.

Обычно он появлялся неожиданно, а я всегда ждала его. Так как он дразнил меня беспорядком в комнате, я усерднейшим образом подметала ее, а он все-таки, входя, осматривался и говорил: «Пылинка!..»

Хозяйство мое было очень бедно, но у меня была одна прекрасная чашка старинного фарфора, и он всегда пил из нее.

Я так радовалась, когда могла его чем-нибудь угостить в это голодное время. Особенно дороги мне были слова Александры Андреевны: «Смотрите, как Саша привык

к вам. Он ест при вас». От большой нервности он при чужих не мог есть.

Теперь же он спокойно ел и пил, бывая у меня. Каким-то чудом я получила паке-тик какао и берегла для него. И он трогательно баловал меня, когда я бывала у них. Обычно мой портфель оставался в передней. Он всегда тихонько клал в него какой-нибудь подарок: яблоко, папиросы, бумагу, кусочек сахара.

Приходя, он усаживался в углу. Над нами висела старинная икона богоматери Конеvской, или Голубицкой (которая сейчас блещет чудесными красками, расчищенная знаменитым Барановым, заведовавшим реставрационной иконописной мастерской Третьяковской галереи). Тогда она была темной, но для меня сияла.

На письменном столе у меня стоял портрет Блока с надписью: «Надежде Александровне Павлович на память о начале нашего знакомства. А. л. Блок. Июль 1920», — который он подарил мне 6 июля 1920 года.

Иногда целыми вечерами он молча сидел у меня. Надо было незаметно двигаться по комнате и как будто не обращать на него внимания, а иногда он рассказывал мне о самых чудесных уголках Петрограда и все хотел мне сам показать Летний сад, но не пришлось. Рассказывал он мне и о многом из своего прошлого, словно хотел, чтобы для меня стала ясней его жизнь.

Однажды он пришел ко мне хмурый, постаревший. Взял свой третий том и открыл «О чем поет ветер».

— А это вам нравится?

— Совсем не нравится, то есть стихи прекрасные, но это последняя усталость, а борьбы уже нет.

— Да! — ответил он даже с некоторым удовлетворением. — Мне было очень скверно, когда я писал эти стихи.

О пьесах своих он говорил: «Я писал на одну и ту же тему сначала стихи, потом пьесу, потом статью».

Приходя ко мне, он обычно перебирал книги на моем столе. Как-то раскрыл «Евгения Онегина» и целый вечер читал его вслух.

Пушкин был священной и великой любовью Блока, но Лермонтова он чувствовал ближе, родственней. Он рассказывал мне, что в юности думал о том, что ему предназначен подвиг, что он должен продолжать дело именно Лермонтова, но долга этого не выполнил.

«Тут и моя вина, и разница в исторических условиях. У Пушкина и Лермонтова была твердая культурная почва, успевшая отстояться после петровской эпохи. А у нас всю жизнь под ногами кипела огненная лава революции, все кругом колебалось, содрогалось, пока не рухнуло».

В другой раз он взял свой первый

том и бесстрастным, глухим голосом прочел стихотворение «Поле за Петербургом».

Когда мы воздвигали зданье,  
Его паденье снилось нам, —

и закрыл книгу: «Так все и вышло. А казалось, что хватит сил на постройку большого здания. Только тогда, когда бы снова оплотнеет и образуются новые глубокие корни, сможет возникнуть новая, великая литература и новое искусство».

В эти первые месяцы нашего знакомства Блок подарил мне три свои книги:

«Стихотворения А. А. Блока», книга III (1905—1914, изд. 2-е, изд-во «Мусaget», МСМХVI).

«Надежде Александровне Павлович в дни новых надежд».

Александр Блок. Август 1920. Петроград.

Александр Блок. Седое утро. Стихотворения. Петербург, «Алконост», 1920.

«Надежде Павлович — печальная книга».

Александр Блок. X. 1920».

(Пушкинский дом, архив Н. А. Павлович, ф. 578.)

А. А. Блок, Стихотворения, кн. 1-я. «Мусaget». «Надежде Павлович и эту книгу, на которой я в последние годы избегал делать надписи. Александр Блок». Даты не помню. Было это позже, осенью 1920 года. Книга у меня украдена в 30-х годах.

О своих «Стихах о Прекрасной Даме» Блок говорил мне: «Только это я еще люблю».

Неожиданно он спросил: «Как вы думаете, правильно ли говорят о переходе образа Прекрасной Дамы в образ Незнакомки, а потом России?».

Я ответила: «По-моему, нет». Он успокоенно сказал: «Конечно, нет! Они противоположны. Незнакомка — антитеза. Никакого перехода от одного образа в другой нет. А Россия — это особая статья».

Другой раз, когда мы шли однажды по Невскому, он вернулся к этому разговору:

— Когда я слышу об этом переходе образов одного в другой, то только машу рукой. Значит, ничего не поняли. Кто их смешивает, ничего не понимает в моих стихах. А «Короля на площади» вы понимаете?

— Нет! — честно сознаюсь я.

— Это петербургская мистика! — с удовлетворением говорит Александр Александрович.

В моей комнате очень холодно. Приближается зима. За стеной огромная, почти пустая, чужая квартира. Пар от дыхания. Мы говорим об Италии, о том пронзающем чувстве искусства, которое он там испытал, потом о человеческих возрастах, об





Мария Тимофеевна Блок.

умудренности, о Сиенском соборе... о непосредственном ощущении истории — «Этому тоже учит Италия!».

И, преодолевая стужу и петербургский сумрак в окне, он целый вечер читает мне стихи... «Итальянские стихи»: «Успение», «Благовещение» — весь цикл.

Особенно дорого ему было «Успение».

Потом он тихо и горько сказал: «Мне кажется, я уже никогда не смогу полюбить...»

— А как вы думаете, «Благовещение» — высокое стихотворение или нет?

— Высокое!

— А раньше, в первом варианте, оно было хорошим... бытовым! — сказал Блок с жалостью в голосе.

Потом В. Н. Орлов нашел черновой набросок этого стихотворения — «бытовой», по блоковскому определению (связанный со стихотворением «Перуджия»).

Это стремление к «бытовому» и жизненному было особенно характерно для зрелого Блока, потому что здесь он чувствовал пути к будущему.

Может быть, ни у кого из поэтов той поры не было такого страстного устремления к будущему, как у Блока.

Для него было мучительно, когда

особенно хвалили его «Незнакомку» и «Снежную маску», он не любил рассказывать об этом периоде или говорил иронически: «Незнакомка шаталась по Петроградской стороне, по Зелениной, у моста».

Он не любил своих стихов этого периода, считал, что в них особенно много тонких ядов искусства, о которых он писал А. И. Арсенишвили (8 марта 1912 года): «Боюсь я всяких тонких, сладких, своих, любимых, медленно действующих ядов. Боюсь и, употребляя усилие, возвращаюсь постоянно к более простой, демократической пище».

Он считал, что эти стихи уводят от жизни. «Пусть самый воздух синее блаженством, — одно непоправимо, нет будущего. Значит, нет человека».

А доминантой всего творчества Блока было стремление к будущему. Без этого он не мыслил правильного пути для поэзии.

Когда мы говорили с Александром Александровичем о том, что же именно он будет писать, если творческие силы вернутся к нему, мысль его неизменно останавливалась на «Возмездии», ибо поэма эта должна была связывать прошлое и будущее. К прошлому он возвращался ради заложенных в нем семян будущего.

Он стремился к большим эпическим полотнам. В течение ряда лет мысль его обращалась к поэме «Возмездие», задуманной как история русских Ругон-Маккаров, где, может быть, в последний раз в русской литературе отразился закат дворянской культуры и неотвратимость гибели даже лучших ее представителей, где показан конец рода, когда «вся тоска только для встречи с простой». Об этой девушке сказано, что она «все — лицо, пленительное все».

Она — словно сама новая жизнь, уже не безлика. Эпическая поэма «Возмездие», может быть, самое личное из произведений Блока. Если его лирика — «дневник» (который «Бог позволил ему написать стихами», как определил мне однажды сам поэт «Стихи о Прекрасной Даме»), если она — история его души, то в «Возмездии» много фактических автобиографических данных.

Александр Александрович не раз говорил со мной о поэме; разговоры эти часто бывали мучительными и сложными. Одной из главных угнетавших его навязчивых мыслей была мысль о том, что он «оглох» творчески и кончен как поэт. Иногда он раздражался, если вы ему в этом противоречили. Отталкивал каждое слово о возвращении творчества, считая, что эти разговоры только бередают его рану. А иногда сам заговаривал о продолжении «Возмездия».

Он рассказывал мне о своем детстве в Шахматове, о юности, когда в бешеной скачке он «загонял коня» («А ведь любил его — тоже демонизм»), о поездке в Варшаву, о сестре Ангелине, о реальной встрече с той девушкой, которой посвящены проникновенные предсмертные его строки в незаконченных набросках «Возмездия». Мне он имени ее не назвал. Он говорил о конце рода, о справедливом возмездии, о том, что у него никогда не будет ребенка.

Я спросила:

— А был?

— Был, в Польше. Она была простой девушкой, осталась беременной, но я ее потерял. И уже никогда не смогу найти. Может быть, там растет мой сын, но он меня не знает, и я его никогда не узнаю.

Я предполагаю, что встреча с «Марией» относится не к пребыванию в Варшаве после смерти отца, а ко времени работы в инженерно-строительной дружке, к годам первой империалистической войны. Тогдашнее пребывание в Варшаве было слишком кратковременным.

Разговор о простой девушке и ребенке (почему-то Блок представлял его именно сыном) был у нас в октябре 1920 года.

Во всяком случае, образ «Марии», девушки с Карпат, должен войти в пантеон женщин, связанных с поэзией Блока.

Очень скоро после смерти Александра Александровича я пришла к нему на могилу и встретила там с Александрой Андреевной. Было еще очень много легкая увядших венков, были и искусственные венки, были пышные свежие цветы: их приносили почти каждый день.

Я с грустью посмотрела на все это и сказала: «А ему хотелось самой простой могилы. Посеять бы здесь клевер!»

О том, что он желал только простой могилы и чтобы на нее не клали никакого камня, а только поставили бы крест, он говорил мне тоже осенью 1920 года. Оттуда, из этого разговора, и слова мои о клевере.

Когда убрали нарядные венки, могила на Смоленском и стала такой «простой могилой», с высоким белым крестом и древней медной иконкой на нем.

Теперь Блока перенесли на Волково, для «почетного погребения», положили в чужой склеп, выселив прежних «жильцов», поставили тяжелый гранитный памятник с плохим барельефом поэта, посадили в аккуратной каменной ограде приличные, мелкие кладбищенские цветы, сделали все, что Блок не любил, чего не хотел.

Мне мучительно тяжело бывать у этой холодной, парадной могилы. Гораздо лучше была могила Блока на Смоленском,

под старым кленом, который корнями обвивал белый глазетовый гроб и шумел над ним.

## ГЛАВА IX

Говоря со мной о поэме «Возмездие», Блок вспоминал и о покойной сводной сестре своей Ангелине Александровне, дочери от второго брака его отца.

До сих пор и сестра эта, и мачеха Блока — Мария Тимофеевна, урожденная Беляева, — оставались в блоковедении «белым пятном».

Сохранилось несколько высказываний о них Александра Александровича в письмах, дневниках и записных книжках, о сестре — сочувственных, о мачехе и ее родных сначала теплых, позже очень резких и неприязненных.

В 50-х годах мне пришлось встретиться с некоторыми членами семьи Беляевых, с племянником и племянницами Марии Тимофеевны, которые поделились со мной воспоминаниями и фотографиями Марии Тимофеевны и Ангелины.

Эти воспоминания не только дополняют высказывания Блока, но иногда и опровергают их фактическими данными.

Так, Блок пишет: «Генеалогия m-me Блок: военная, серенькая либерально-бездарная среда (артиллерия — то место, где «военный-штатский» всю жизнь колеблется между правостью и левостью); происхождение — частью английское (то есть подонки Англии), русские гувернеры, великая сухость и **безжалостность** души, соединенная с русским малокровием» («Дневник», 19 марта 1912 года).

Так вот о генеалогии и среде Беляевых.

Начнем с любимого брата Марии Тимофеевны — Сергея Тимофеевича, артиллерийского офицера и ученого, к которому она с Ангелиной переехала после своего разрыва с Александром Львовичем Блоком.

На слова Блока о «либерально-бездарной» артиллерийской среде скупое отвечает служебный послереволюционный формуляр Сергея Тимофеевича — инспектора артиллерии Московского укрепленного района, члена Высшего военного редакционного совета (ВВРС), члена уставной комиссии при начальнике артиллерии Реввоенсовета республики, преподавателя Высшей артиллерийской школы комсостава РККА. Последняя его должность была — старший руководитель кафедры тактики артиллерии Военной академии РККА.

Скончался он 24 февраля 1923 года внезапно, идя на лекцию в академию.

Хороша «либеральная бездарность» одного из организаторов молодой Советской Армии, военного ученого, перешедшего на сторону революции в самое тяжкое и от-



ветственное время и отдавшего ей все силы вплоть до смертного часа...

Такие вещи не делают сразу, и мы вправе усомниться в справедливости оценки Блока атмосферы в доме Беляевых и настроений хозяина и собиравшейся там артиллерийской молодежи. Не исключено и то, что при Блоке кое о чем и умалчивалось.

Блок говорит о «темном происхождении Беляевых». Да, это ничем не прославившие себя русские дворяне, военные из рода в род, но и не запятнавшие своей чести. А по женской линии действительно в этой семье есть английская кровь. Мать Сергея Тимофеевича и Марии Тимофеевны — урожденная Эллиот, внучка Федора Ивановича Эллиота, в конце XVIII века перешедшего из Англии на службу в русскую армию.

Вспомним, что предок Блока в том же XVIII веке, только несколько раньше, вышел из Брауншвейга и стал лейб-медиком императрицы Елизаветы Петровны.

А теперь о самой Марии Тимофеевне: она родилась 10 марта 1876 года, кончила петербургский Смольный институт.

Семья была большая: одна девочка и несколько сыновей — больших, сильных мальчишек: кадетов и юнкеров. Она была крохотной. Как-то Блок в раздражении написал о ней: «Крохотная фигурка, наделенная действительным упрямством». Братья звали ее «Махоткой», но слушались ее беспрекословно и говорили ей «вы», а она им «ты».

Вот она здесь, на фотографии, молодая, в амазонке, с ясным и открытым лицом. Это лицо человека доброго, думающего и волевого, только юное.

Семья переехала в Варшаву. Там Мария Тимофеевна познакомилась с красивым и сумрачным профессором-юристом Александром Львовичем Блоком, талантливым музыкантом, которого недавно оставила жена. Почему? Как ушла от него та жена, дочь известного ботаника Бекетова, да еще беременная? Что произошло? Почему он фактически лишен сына? Что говорил Марии Тимофеевне Александр Львович, мы не знаем, но она его пожалела и полюбила на всю жизнь. Даже впоследствии, уйдя от него, она не вышла замуж за другого.

Несмотря на странные и темные слухи, она стала его женой. И узнала то страшное, что и первая жена: болезненную жестокость, дикие вспышки ревности и гнева, подозрительность, наслаждение чужим страданием. Первый ребенок рождается мертвым. Это был мальчик, отец хотел назвать его тоже Сашей. Почему? Может быть, чтоб он заменил того, бекетовского Сашу, первенца? Потом страшные трехдневные роды, когда врач был призван

только в последний час. Родилась Ангелина (16 марта 1902 года).

Мария Тимофеевна прощает все, любит и терпит, считает своим долгом терпеть, — ведь она сама выбрала эту судьбу; она еще надеется переломить натуру мужа. Ведь бывает и хорошее, особенно когда он за роялем, тогда все судорожное в нем расправляется. Но к дочке он довольно равнодушен, ведь она рядом, и он не сдерживается при ней. Он поднимает руку на Марию Тимофеевну: четырехлетия Ангелина бросается спасать мать... И начинает заикаться от страха и нервного потрясения. Тогда Мария Тимофеевна уходит от мужа, спасая дочь, как ушла Александра Андреевна — мать поэта, спасая сына и тоже любя этого пленительного страшного человека.

Варшавская квартира Александра Львовича опустела, книги покрылись пылью. Она постепенно превращается в логово, описанное в поэме «Возмездие». Начинается мрачное плюшкинское скопидомство хозяина, испаряется былой либерализм, но остаются острый ум, судорожное стремление к систематизации, вероятно, чтобы обуздать душевный хаос, и... музыка. Да еще навек поставлена в кабинете детская кроватка Ангелины. Теперь горько любимой...

Изредка Александр Львович ездит в Петербург повидать сына и дочь. Его допускают к детям обе бывшие жены, но дети встречают его как чужого. Встреча мальчика-сына с отцом описана в «Возмездии». Когда Александр Львович приходил к Беляевым, Мария Тимофеевна уходила из дому, а в гостиную к нему выходила Ангелина вместе с девочкой чуть постарше, дочкой Сергея Тимофеевича — Лизой, вся жизнь которой была впоследствии связана с Ангелиной. Та и умерла на ее руках.

Александр Львович как-то попросил отпустить к нему Ангелину погостить, но Мария Тимофеевна отказала — «отпустить одну не могу, а поехать с ней считаю для себя невозможным».

Александр Львович щедро помогал дочери и бывшей жене. У Сергея Тимофеевича была своя большая семья. Мария Тимофеевна стала искать работу. Высшего образования у нее не было. Она взяла ту работу, которая была возможна для нее, бывшей смолянки. Она стала классной дамой екатерининской гимназии ведомства императрицы Марии, которому подчинялись все женские институты и где пригодился ее аттестат. Ангелина стала учиться в этой гимназии; таким образом, мать не разлучалась с дочерью. Блок говорил пренебрежительно о «классной даме», о ее кругозоре и литературных и общественных вкусах: «Следует помнить, что тысячи (ибо имя Марии Тимофеевны

Блок — легион) еще помнят Победоносцева, что в дни, когда всякий министр будет либеральничать, открыто осуждая режим Александра III, еще **очень жив** в самом обществе (в тусклой тысячной массе, на фоне которой действуем **мы**) дух старого дьявола» («Записные книжки», 7 мая 1911 года).

Да, Мария Тимофеевна не знала ни бекетовской старой культуры, ни русского революционного движения, ни интересов религиозно-философского общества, ни волнений литературной среды; она была консервативной благодаря институтскому воспитанию, православной, простой верующей женщиной. Жила церковными интересами, могла «положить у себя на полу» (за что ее упрекал Блок) полубезумную курсистку Сергееву, которая просила царя за епископа Гермогена. Тот ранее был покровителем и поклонником Распутина, а затем встал против него, когда понял, что такое Распутин и что стоит за ним. Тогда Гермоген попал в опалу — и синодскую, и царскую.

Для Блока все это мешалось в одно — в темную антиреволюционную и буржуазную стихию, олицетворением которой он теперь считал мачеху. А военная среда еще с детства вызывала в нем раздражение, ведь его отчим Франц Феликсович Кублицкий-Пиотух был тоже военным. Так старое раздражение слилось с новым.

Познакомился Блок с мачехой истрой только во время похорон отца.

Тяжело заболел, тот вызвал Марию Тимофеевну и Ангелину; они приехали и застали его еще в живых. Произошло примирение, и он умер, держа руку жены. Сын его не застал. Но провел ночь у гроба, и они вместе с мачехой «стерегли гроб».

Вот письмо Блока к жене от 9 декабря 1909 года:

«Моя сестра и ее мать настолько хороши, что я даже чувствую близость к ним обним. Ангелина интересна и оригинальна и очень чистая, но совсем ребенок, несмотря на 17 лет. Мария Тимофеевна удивительно простая и добрая. Я не прочь от знакомства с ними».

На похоронах и в отце открылось для Блока что-то новое и привлекательное.

Он пишет матери 4 декабря 1909 года (Варшава):

«Из всего, что я здесь вижу и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца — во многом совсем по-новому.

Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры... Смерть, как всегда, многое объяснила, многое улучшила и многое лишнее вычеркнула».

Блок мало ощущал кровное родство. 16 января 1916 года он пишет своей двоюродной сестре Софье Николаевне Тутолминой, с которой дружил в юности: «Я не чувствую связей родственных... Вот ты говоришь «брат», а я не умею ответить тебе так же горячо и искренно, потому что не чувствую этого слова».

Но в отношении Ангелины он его чувствует. Может быть, потому, что здесь кровное родство перекрещивалось с тайной внутренней близостью. Он писал ей:

Когда мы встретились с тобой,  
Я был больной, с душою ржавой,  
Сестра, сужденная судьбой,  
Весь мир казался мне Варшавой!

Лишь ты, сестра, твердила мне  
Своей волнующей тревогой  
О том, что мир — жилище Бога,  
О холоде и об огне.

Эта девушка также была верна вечному покою, как и ее великий брат, и у нее бывали странные мысли и чувства. Так, «Ангелина с детства не любит и боится, когда маленькая речка впадает в большую» («Зап. книж.», 15 мая 1916 года). Вероятно, для Ангелины было страшно поглощение личности.

В Варшаве Блок часто обедает у Марии Тимофеевны и возвращается в Петербург с ней и Ангелиной. Он начинает, иногда с Любовью Дмитриевной, бывать у них, а они у него. Обе бывшие жены Александра Львовича стали дружелюбно встречаться.

В 1910 году Мария Тимофеевна с дочерью ездили в Германию и привезли из Берлина в подарок Александру Александровичу «очень хорошую книгу» («Niebelungenlied» (письмо Блока к матери от 22 ноября 1910 года).

Не помогла ли эта книга возникнуть образам Зигфрида и меча Нотунга в строках «Возмездия»?

Ангелина и Лиза бывают у Блока, показывают ему свои стихи, обычные, девичьи, но он относится к ним внимательно и снисходительно.

Ангелина не получила и одной десятой доли поэтического таланта брата, но было в ее стихах что-то, его трогавшее. Не случайно он отмечает в «Записных книжках» (февраль 1910 года) ее поэму о девушке, не узнавшей жениха в заколдованном «звере» — мохнатом чудовище с человеческим музыкальным голосом. Дальше появляется фея Мороккотепя («голос, закутанный в шелк, она своим дыханием снимает границы тяжелых земных слов»). В «Дневнике» 10 января 1913 года он пишет: «Ангелина принесла мне (нам) прочесть свои стихи — плохие, с хорошими девическими чувствами».



Когда Ангелина приходит, бывает поразному. То Блок отмечает: «Мы с ней много и хорошо говорили» («Дневник», 2 января 1912 года). «Вечером у меня Ангелина — очень интересные лазаретно-филологические рассказы» («Зап. книж.», 15 мая 1916 года). Ангелина кончила Женский педагогический институт в Петербурге, но Блок относился к нему отрицательно как к реакционному и отсталому, возглавляемому профессором Платоновым.

С Ангелиной он мог говорить и о высоком, и о заветном, она многое понимала сердцем, но умом, образованием и бытом она была вне блоковской среды и ее литературных и общественных интересов, и это мучает и тревожит брата. «Я слаб, чтобы вывести Ангелину из мрака, ее окружающего. Надо, чтобы нашелся сейчас хоть один человек в мире, который **честно и религиозно** верит в будущее человечества, без консерватизма, без слезливости — без кровопийства. Есть ли он в мире?» («Зап. книж.», 6 мая 1911 года).

В другой раз: «Что будет с девушкой, которая растет среди тихих сумасшедших? Или махнуть рукой?» («Дневник», 13 января 1913 года).

Накануне, 12 января, он отмечает: «Ангелина «правеет», — мерзость, исходящая от м-те Блок, на ней отразилась».

19 марта 1912 года Блок в «Дневнике» пишет очень много о судьбе Ангелины:

«Лучше вся жестокость цивилизации, все «безбожие» «экономической» культуры, чем ужас призраков — времен отошедших...

Если Ангелина может **ковать свою жизнь** (а может ли женщина?), то спасение ей из лап все того же многоликого чудовища — естественный факультет Высших женских курсов. Из огня нужно бросаться в воду, чтобы только потушить тлеющее платье, чтобы протрезвиться. Сам Бог поможет потом увидеть ясное **холодное** и хрустальное небо и его зарю. Из черной копоти и красного огня — этого неба и этой зари не увидеть».

Блок полюбил сестру, поэтому так трогательна эта постоянная сердечная забота о ней.

«Надо ли спасать Ангелину или нет? И кто ее спасет? Или может быть, лучше прожить ей свой век, **ничего** не услышав — ни о боге, ни о мире, ни о любви, ни о свободе?»

Скоро после этого пришла Ангелина... такая нежная, чуткая, нервная и верующая, что нельзя ее оставлять так» («Зап. книж.», 7 мая 1911 года).

Блок отмечает в «Записных книжках» 24 марта 1918 года: «Вечером позвонила Мария Николаевна Беляева: Ангелина умерла в Новгородском лазарете, заразив-

шись воспалением спинного и головного мозга, в 10 дней — 20. II (ст. ст.). Ее хоронили, «как святую», с крестным ходом». Хоронил ее будущий патриарх Алексий, тогда епископ, лично ее знавший и высоко ценивший.

Александр Александрович написал Марии Тимофеевне, как его опечалила смерть Ангелины. А 24 января 1922 года умерла и мать.

Блок посвятил памяти сестры свой цикл стихов «Ямбы». Ей же была посвящена первая редакция «Возмездия». Оттиск первой редакции он послал ей в Новгород.

Обе они, и мать и дочь, похоронены в Новгороде, в одной могиле, в Мало-Кирилловском скиту.

## ГЛАВА X

Естественно, что мы с Александром Александровичем не могли не говорить о «Двенадцати». Летом и осенью 1920 года эта поэма еще не стала «классической», она разделяла людей, прежних друзей делала врагами, обижала сердце и была испытанием не только для читателей, но и для самого ее творца.

Блок говорил, что никогда, даже для себя самого не мог прочитать ее вслух — «Не умел».

Еще о «Двенадцати»: «Если рассматривать мое творчество, как спираль, то «Двенадцать» будут на верхнем витке, соответствующем нижнему витку, где «Снежная маска».

Необыкновенный разговор о «Двенадцати» был у нас в начале зимы 1920 года. Мы возвращались из Союза поэтов, с Литейного, из дома Мурузи, довольно поздно. Когда мы поднялись на гребень Горбатого моста через Фонтанку, около цирка, Блок неожиданно остановил меня. Кружила метель. Фонарь тускло поблескивал сквозь столбы снега. Не было ни души. Только ветер, снег, фонарь... Всю дорогу мы говорили совсем о другом. Вдруг Блок сказал:

— Так было, когда я писал «Двенадцать». Смотрю! Христос! Я не поверил — не может быть Христос! Косой снег, такой же, как сейчас.

Он показал на вздрагивающий от ветра фонарь, на полосы снега, света и тени.

— Он идет. Я всматриваюсь — нет, Христос! К сожалению, это был Христос — и я должен был написать.

Блок говорил отрывисто, почти резко. Потом он стал рассказывать, какой неопиcуемый шум и грохот он слышал три дня, ночью и днем, как будто рушился мир, а потом все оборвалось и стихло, и с тех пор он стал глухнуть.

— Вы читали Киплинга «Свет погас»? Там сплнет художник. А я глухну... И все-

таким я это слышал! Пусть я теперь не могу писать.

Я не смела ни прерывать его, ни успокаивать. Я видела великое — поэта во всей его высоте и страдании.

Никогда, ни на одну минуту не отрекался Блок от революции, от того великого катаклизма, шум которого он слышал, создавая «Двенадцать».

Пусть потом он видел все недостатки, но не глазами стороннего наблюдателя. Они были его болью. Он негодовал на ту атмосферу, которую создавал в Петрограде Зиновьев.

Отголоски этого протеста есть в речи Блока на Пушкинском вечере «О назначении поэта» и в его гневном обращении к чиновникам от культуры.

Злободневность его речи почувствовали участники этого вечера в Доме литераторов, и многие начали злорадствовать.

Мать Блока, описывая сестре Марии Андреевне Бекетовой это выступление поэта, говорит о «кадетском духе» многих присутствовавших. Один из них позволил себе в передней, когда Блок уходил, спросить его не без ехидства: «А как же с «Двенадцатью»? И Блок ответил ему, что он ни от чего не отрекается и ничего не меняет в своем отношении к революции.

## ГЛАВА XI

Мне выпала редкая судьба. С 1918 по 1920 год я имела возможность показывать свои стихи Брюсову, Вячеславу Иванову и Андрею Белому. В 1920—1921 годах мной руководил Блок. Шутя, я ему говорила:

— Там, в Москве, была для меня гимназия, а вы — мой университет.

Он раз навсегда разрешил мне показывать ему все, что я пишу. Он говорил мне: «Сейчас в ваших стихах есть влияние, иногда у вас даже простое подражание мне, но все это со временем упадет, и останется знание одного и того же мира».

Блок мог судить мои стихи изнутри, по самому существу их. Все литературные явления он делил на «настоящее» и «литературу». Так Блок произносил это слово, укоризненно и презрительно. «Литературой» были одинаково и эстетизм и спекуляция революционной тематикой, «литературой» была замена искреннего поэтического чувства всякими красотами. «Литературой» и «игрой» была ложь во всех ее проявлениях. Здесь Блок был неподкупен и беспощаден. Это чувство правды пронизывало все творчество поэта. Поэтому-то живой Блок ничем не искажал того образа, который создавался после чтения его стихов. Стихи были естественным выражением его существа. При всей

трагичности своего мироощущения Блок действительно был «сыном гармонии».

У него был абсолютный слух к стиху, как бывает абсолютный слух к музыке. В творчестве своем он исходил из музыкального начала.

Блок требовал от поэта верности слуха, касанья тех звуковых волн, подобных волнам эфира, объемлющих вселенную, которые катятся, по его выражению, «на бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком».

От ритмов он требовал органичности и верности этой звуковой стихии. Поэтому-то и был ему так дорог пушкинский ритм, проникающий в самые глубины народного духа. Ритмы Алексея Толстого он приводил как пример внешних, поверхностных. Кроме того, он указывал на связь эпохи и ритма, на органичность работы поэтов над доставшимся классическим наследием, на непрерывный процесс отбора. Когда я прочла ему свою неудачную поэму о Степане Разине, написанную ямбами, Блок заметил:

— Ямб-то у вас Алексея Толстого, а не Пушкина!

Я возразила:

— То Пушкин, а то я.

Блок оборвал меня:

— Но вы живете и после Пушкина и после Алексея Толстого. Бросьте! Эта поэма — мертворожденная.

Другой раз я пришла к нему с поэмой о Демоне и Тамаре, живущих в наше, советское время. Они те же, но своей настоящей сущности они сами не знают. Она им только снится, и они никак не могут войти в свою настоящую жизнь. Тамара — машинистка, она целую ночь печатает, и вдруг в стук «ремingtonа» начинает вплетаться сухой, нездешний, горький и страстный голос. Все это Блоку нравилось. Но вдруг он дошел до того места, где в ночном видении Тамаре мерещится родной аул и она чувствует дым кизяка. Блок рассердился.

— У вас нет чувства стиля. Зачем здесь этот натурализм? Если вы так пишете, значит, вы по-настоящему не чувствуете. Это у вас «ли-те-ра-ту-ра», «игра»! Вы придумываете, а не видите.

Ссорясь со мной, он говорил: «Ваши стихи обманчивы». Он считал, что стихи действительно должны быть глубочайшим выражением всего существа поэта. Он спросил меня: «А вы можете всю себя отдать искусству?» Я ответила: «Нет! Конечно, нет!»

Я думала, что искусство все-таки не самое высокое в душе человека, что есть и другие — может быть, более высокие — пути для подвига. Для меня казался драгоценней сам тот мир, слабым выражением которого была моя поэзия.

Блок часто возвращался к теме рус-



ской культуры во всем ее многообразии; он выступал против дробления на школы и направления. Для Блока был характерен синтетический, а не аналитический подход к жизни, поэзии, искусству, всей нашей культуре. Он ощущал «единый мощный поток», как он это называл, русской культуры, во всей ее национальной самобытности.

Он считал, что и в быту для художника необходима устойчивая среда, дом, где можно собрать себя, сосредоточиться, переработать полученные впечатления.

Он бранил меня за непомерное любопытство к жизни, которое иногда только рассеивало меня, так как было страстным, но поверхностным. Ему не нравилось, что у меня нет настоящего дома и быта.

— Вот вы всюду ходите, это ничего, но у вас нет почвы, нет дома. Я тоже бродяга, но я всегда и отовсюду приходил домой. Без дома вы сами себя потеряете.

В 1920—1921 годах Блок редактировал переводы Гейне и сам его переводил для «Всемирной литературы». Он предложил мне попробовать. Разбирая мои переводы, начинал анализировать стихи Гейне, его ритмику. Он требовал передачи гейневской интонации.

Как редактор Блок требовал прежде всего уловить самый дух подлинника: «Может быть, и формальная точность, о которой сейчас говорят, необходима, но главное «услышать поэта».

«Услышать поэта» — это значило прочесть подтекст его стихов, понять самое существо и внутреннюю необходимость найденного им ритма, задуматься над его паузами. У Гейне паузы чрезвычайно значительны. Когда Блок садился редактировать мои переводы, он часто говорил мне: «А теперь я буду вам показывать гейневские секреты».

Он говорил о глубокой еврейской национальной природе Гейне, которая пронизывает его чудесные немецкие стихи. Когда Гейне лиричен и торжествен, «слышен шелест пальмовых ветвей. Но сколько у него иронии и суророг! Посмотрите, как он бьется, оравен».

— Слышите, какое поразительное звучание в этом «Vergifet»? — И вдруг у самого Блока дрогнул голос: — А я не помню, как писать стихи!..

Блок принял два моих перевода Гейне для издания «Всемирной литературы», но многие мои опыты были неудачны.

Александр Александрович требовал сохранения гейневской интонации и смысловой точности.

Из современных переводчиков Блок выше всех ставил М. Л. Лозинского, блестяще сохранявшего ритмический рисунок подлинника и смысловую точность.

Однажды мы сидели в комнате матери Блока, Александры Андреевны, на ее ко-

ричневом, с изогнутой спинкой диванчике. Было рождество. Пахло елкой. От печки тянуло милым, домашним, особенно драгоценным в те годы теплом.

Вошел Александр Александрович в старом своем френче. Мы заговорили о романтизме, о немецких романтиках.

— У них нет настоящего величия. Кое-что они увидели в туманах. И в наших снах это было... Подождите, я сейчас покажу вам их портреты! — сказал Блок и ушел к себе.

Через несколько минут он принес какую-то книгу с портретами Тика, Новалиса, Гофмана и Brentano.

— У них невыразительные лица. С такими лицами нельзя достичь величия.

Я искоса посмотрела на прекрасное лицо самого Блока. Он заметил мой взгляд.

— Нет, я серьезно говорю. Они настоящего величия не достигли, не могли достигнуть.

Только о Brentano Блок сказал теплее:

— Да, один Brentano — иной. Он мог больше. Но как он кончил!..

И тихо, горько о Гейне:

— А Гейне все знал, все помнил, ни одного голубого цветка не забыл.

К Гейне у Блока было глубоко личное отношение: любви-вражды.

Поэтическими уроками Блока были для меня не только разборы моих и чужих стихов, не только разговоры о литературе, но вообще его замечания о глубокой связи культурных явлений. Так, вспоминается мне постановка «Короля Лира» в Большом драматическом театре. Лира играл Юрьев — как говорится, в высоком «штиле», несколько по старинке, с декламацией и подчеркнутыми жестами. В Москве я привыкла к другой манере игры, к мхатовской.

Юрьев меня совершенно не трогал, иногда в самых патетических местах я невольно улыбалась.

Когда Блок осведомился о моих впечатлениях, я все высказала ему. Он очень рассердился, прочел мне целую лекцию о культуре Александринского театра, о благородстве традиций, о том, что надо понимать и чувствовать стиль и исходить в своих требованиях из данного стиля, а не из прихотей или навыков своего вкуса, воспитания и т. д. В этом плане и надо принимать образ Лира, созданный Юрьевым.

Так же он учил меня критическому подходу к литературным произведениям, к учету эпохи, стиля, замысла автора.

Думаю, что это связано было у Блока с его почти инстинктивным уважением к труду художника, да и вообще к таланту и труду человека.

Блок стоит в своей комнате у раскры-

того окна. На Пряжке стирают прачки, поют «Яблочко». Он долго смотрит на них: «Как поют, как талантливо работают! Я часто ими любуюсь». За стеной Александры Андреевны, в соседней комнате, жил непутевый, удалой матрос Шурка, с которым у нее сложились своеобразные отношения: когда Шурка напивался или приводил своих подружек и шумел по ночам, Александра Андреевна тонким своим пальчиком стучала в стену и говорила: «Шура, я все слышу. Потихе!» — и Шурка покорно отвечал: «Ладно, бабуся!» И затихало.

Этот Шурка чудесно пел, и Александр Александрович любил слушать его песни.

Вообще я никогда не слышала сегований или брюзжания Блока или его матери на этого синеглазого соседа из другого мира.

## ГЛАВА XII

В начале зимы я стала замерзать в милой мне комнате на Офицерской, и Блок устроил меня в Дом искусств, на углу Невского и Мойки. Там жили Мариэтта Шагинян с мужем, дочкой и сестрой, Шкловские, Аким Волинский, Пяст, Всеволод Рождественский, Александр Грин, сестра Врубеля, Султанова, Мандельштам, позже Ольга Форш с детьми и художница Щекотихина.

Сначала меня поселили в маленькую и узкую, похожей на пенал или гроб, комнате, в так называемом «коридоре Пяста», или «обезьяннике». Соседями моими были В. Рождественский и Грин, писавший в то время «Алые паруса». Коридор упирался в комнату Пяста, больше похожую на берлогу. Грин был мрачен, в длинном своем черном сюртуке смахивал на факельщика. В быту он был хозяйствен и все умел. Как великую милость я принимала от него обычное полено, так им подсушенное, что мне оно шло на растопку «буржуйки», а об его растопке я и мечтать не дерзала. Разговаривать о литературе он не любил. В обращении был несколько суров.

Дом искусств талантливо описан О. Форш в «Сумасшедшем корабле» и в воспоминаниях Рождественского «Страницы жизни». Прибавлю только несколько коротких воспоминаний. По холодной лестнице, по уцелевшей бархатной елисеевской дорожке, ползуякрыв глаза, спускается Мандельштам и бормочет: «Зиянье аонид... зиянье аонид...» Сталкивается со мной: «Надежда Александровна, а что такое «аониды»?»

В кухне, единственном теплом месте этого фантастического дома, у плиты собирались Аким Волинский с философской книгой, повариха, гадающая на картах, Мандельштам, только что выменявший се-

ледку пайка на пирожное с сахарином, и я, спасающаяся от стужи нашего «обезьянника».

По кафелю пола звонко цокает копытами выпущенный в этот вечерний час из-под стола поросенок, которого откармливают на кухне. Волинский начинает рассказывать об Афоне, в древних монастырских библиотеках которого он работал. Он имел грамоту константинопольского патриарха, разрешавшую это, и его, как патриаршего посланца, а верней, эту грамоту встречали колокольным звоном. Мы ведем с ним религиозно-философские разговоры, и он говорит, что приятно поражен моим интересом к этой области, — ведь я еще очень молода.

Он сидит, старый, голодный, горбленый, с каким-то голым лицом, но весь поглощенный философскими вопросами, которые для него важнее бренного его существования: мир его памяти!

4 января 1921 года я справляла второе в Петрограде новоселье. В гостях у меня были Мария Константиновна Неслуховская, Владимир Сергеевич Городецкий, химик Фокин и Блок.

Александр Александрович принес мне «Двенадцать» (А. л. Блок, Двенадцать. Рисунки Ю. Анненкова. Петроград, «Алконост», 1918).

Дарственная надпись А. А. Блока была написана на листе, следующим за обложкой: «Надежде Павлович, запоздалый подарок на новоселье. Александр Блок. Январь 1921».

Было немного разведенного спирта, который принес химик. Было вино. Мария Константиновна дурачилась и спрашивала Блока:

— По каким местам шаталась Незнакомка?

Тот обстоятельно и добросовестно, говоря полными предложениями, отвечал:

— Незнакомка шлялась... (так и выговаривал!), — и точно указывал места и мосты: «Этот мост в конце Зелениной улицы, соединяющий Петроградскую сторону с Крестовским островом. На углу Зелениной улицы и Колотовской набережной был трактир...»

Под шум общего разговора он тихо говорил мне:

— Я раньше страшно пил. Бывало так, что падал без чувств и валялся где-нибудь. Сейчас совсем почти не пью.

11 января 1921 года мы были с Александром Александровичем на маскараде на Миллионной, в Школе ритма Ауэр. И Блок, и писатели, жившие в Доме искусств, получили туда приглашения, и мы с Александром Александровичем уговорились, что он зайдет за мной. Собрались туда и Рождественский, Пяст, Мандельштам. Должна была зайти ко мне и М. К. Неслуховская. Кому-то удалось вы-



хлопотать, чтобы Театр оперы и балета (бывш. Мариинский) прислал нам маскарадные костюмы. Они были изрядно измяты, и надо было их поправлять и гладить. Гладильную доску приспособили в моей узкой и длинной комнате. Дом искусств обслуживали бывшие лакеи и швейцары Елисеева. В этот вечер кто-то спросил у старого лакея Ефима, где сейчас Мандельштам, и получил изысканный ответ: «Господин Мандельштам у госпожи Павловны жабу гладят» (жаба). Это стало потом ховдовым словом.

Пришел Блок, посмотрел на нашу костюмерную и выбрал для себя темно-синее домино.

Зал был убран с убогой нарядностью — бумажные розы, гилянды и елочные ветки... Слабо горели электрические лампочки. Жалкие маскарадные костюмы... Многие маски в шинелях, в домодельной обуви на войлочных подметках... Шумная толпа. Торжественный полонез. Впереди Пяст ведет высокую, статную даму. Рядом суровый и чистый профиль Блока. Когда Александр Александрович снял маску, внимание было обращено на него. На нескромный лепет масок он отвечал мертвенной улыбкой, и они испуганно отступали.

Временами он оживлялся, становился веселее, смеялся и шутил с Марией Константиновной, которая была очень хороша в этот вечер. В антракте между танцами мы шли с ним по залу. На эстраде, великолепно и небрежно откинувшись в кресле, сидела высокая красивая женщина, и Блок внимательно и восхищенно взглянул на нее.

Но какая-то тяжелая, непрерывная и холодная дума омрачала его черты.

В своем синем капюшоне он до ужаса был похож на Данте. Под утро мы возвращались домой; на крыльце в лицо нам ударила вьюга. Снежные вихри, казалось, подымались на высоту Александрейского столпа. Вся площадь кипела вьюгой. Блок шел, перекинув свой маскарадный плащ, и тот развевался по ветру, словно темное крыло.

Мария Константиновна должна была ночевать у меня, и он проводил нас до Дома искусств. Парадная была заперта. Мы простились с ним и прошли двором. Невольно мы обернулись. Он все еще стоял за решеткой ворот, взявшись за ее прутья, занесенный снегом.

Все снится мне за мглою влажной  
Неугомонный пестрый бал, —

писала я об этом маскараде.

Но у Блока бывали еще просветы, когда он шутил. Особую остроту его шуткам придавали те серьезность и точность, которые вообще были присущи его репликам.

Так, я спросила его однажды:

— А как вы почувствовали славу?

— Развратился и перестал сам подходить к телефону.

Кстати, он не позволял домашним говорить, что его нет дома, когда он был дома. Надо было говорить правду: он занят, он не может подойти или прийти.

Александр Александрович считал, что правдивость должна быть и в пустяках, в житейских мелочах, иначе не сумеешь говорить правду и в большом, основном.

Сохранилось в нем даже молодое озорство. Поздняя осень 1920 года. Едва ползет переполненный трамвай. Толкаются. Мы с Блоком на площадке. И вдруг озорной блеск в его глазах.

— Как надену кепку и войду в трамвай, сразу хочу толкаться.

Это пустяк, шутка, но было в нем что-то и удалое, и отчаянное, и непосредственно народное, не потому ли так органичны ритмы «Двенадцати», частушечные запевы, так безупречно верны интонации героев «Двенадцати»? Была в нем необыкновенная тайная простота, о которой не подозревал литературный мир.

Так, в Шахматове он работал в саду. Подошла нищая старуха, стала жаловаться на боль в босых, натруженных ногах. Он тут же снял башмаки и отдал ей.

В то суровое время, когда мы познакомились, он умел думать о самых простых вещах: есть ли у тебя галоши, не простудилась ли ты.

Как-то я осталась без работы и без пайка, меня уволили по моему заявлению из Совета профсоюзов, так как на ряде заседаний я оставалась «при особом мнении». В четыре часа, когда я уныло сидела и не знала, что делать, вдруг пришла Александра Андреевна и принесла судки с обедом: «Сашенька велел мне отнести. Но вы пожалейте мою старость и дайте слово, что будете обедать у нас до тех пор, пока не получите пайка». Они с сыном знали, что именно голодная я и не приду обедать. Я заплакала. К счастью, очень скоро, через несколько дней, я уже получила работу в Черезутопе<sup>18</sup> и даже устроила Любови Дмитриевне там выступление с чтением «Двенадцати». Она там выступала 10 ноября 1920 года.

Но иногда он просто тебя не видел. Казалось, можно умереть перед ним, а он этого даже не заметит. Или так раздражался, «что к нему и не подступиться», — как говорила Александра Андреевна. Он мог быть и очень жестоким, но он никогда не оправдывал себя. Бывали у него и ярые всплески гнева. С ним бывало трудно. Я как-то вошла к нему в комнату. Он стоял у окна вполоборота ко мне и не заметил, что я вошла. Он весь был не здесь. Чувствовалось, что, если даже окликнуть его, он не услышит. Я молча вышла.

Он подарил мне первый том «Добротолубия», который хранится у меня.

На нем нет дарственной надписи, но в тексте много подчеркнуто, а на полях есть примечания, особенно в разделе сочинений Евагрия-монаха, например: «Этот демон (печали) необходим для художника», или: «Знаю, все знаю». Эти пометки Блока много говорят о его душевной жизни. О своих впечатлениях от этой книги Блок писал матери.

Все мрачнее становился Александр Александрович. Зимой 1920/21 года я захожу к нему в комнату. Печь горячая, хорошо натопленная, а он сидит около нее и все-таки зябнет. Говорит медленно и раздельно: «Эсхил хуже Гомера. Данте хуже Эсхила. Гёте хуже Данте — вот вам и прогресс».

### ГЛАВА XIII

Все чаще Блок повторял о душевной глухоте и слепоте, надвигающихся на него, и говорил о смерти. У них в доме было нехорошо. Он перестал говорить: «У нас». Все чаще слышалось горькое: «В этом доме». «В этом доме всегда темно и холодно», — говорил он.

Мы встречались все реже. В марте 1921 года наши отношения были прерваны, и я перестала бывать у них в доме. Близость сохранялась у меня только с Александрой Андреевной, непоколебимо верной в своей любви и дружбе.

Мы виделись с ней и переписывались. Ее поддержка помогла мне пережить это время. С Александром Александровичем мы увиделись только раз в Доме ученых, где выдавались пайки. И он и я стояли в очереди, с мешками в руках. Было полутемно и холодно. И было мне очень горько.

Он, видимо, увидел боль в моих глазах, подошел и молча крепко пожал мне руку. Это была моя последняя встреча с Блоком.

Потом я уехала в Бежецк читать лекции о современной поэзии и отдыхать у моей приятельницы на агропункте. На последнем вечере Блока в Петрограде я не была. А он в мае уехал в Москву и, вернувшись, смертельно заболел. Любовь Дмитриевна никого не пускала к нему, кроме С. М. Алянского. В начале болезни был еще у них Евгений Павлович Иванов. Блок рассказывал ему, что в начале июня ему страшно захотелось к морю, в Стрельну. Ходил он тогда уже с трудом: взял палку и кое-как добрал до трамвая. У моря было очень хорошо и тихо в тот день. Он долго так сидел один. «А вернулся — и слез», — сказал Александр Александрович. Последнее свидание двух друзей было недолгим. Евгений Пав-

лович добавил: «Саша тогда прощался со всем, что любил».

Этот рассказ Е. П. Иванова лег в основу начала главы «Смерть» в моей поэме «Воспоминания об Александре Блоке».

Перед самой смертью Александра Александровича пришла Л. А. Дельмас, но она видела его через дверь, а в комнату не вошла, как она мне рассказывала. Любовь Дмитриевна считала, что только она одна может спасти его и спасет, если он будет предоставлен всецело ее заботам.

Александр Александрович страдал от воспаления аорты и ряда других болезней, но страшно прогрессировало его психическое заболевание. Он не хотел жить. Даже лекарства, которые ему давала Любовь Дмитриевна, он умудрялся забрасывать на печку, вместо того чтобы принимать.

Временами на него находили приступы ярости. Он когочергой разбил бюст Аполлона, начинал оскорблять Любовь Дмитриевну.

Физические страдания в последние дни были так ужасны, что его стоны и вскриквания были слышны на улице со второго этажа. Он задыхался. Врачи считали, что психически он болен безнадежно, а физическое выздоровление не исключено. Продуктами во время болезни он был относительно обеспечен. Разговоры о смерти от голода — вздор. Было старое истощение, вызванное нехваткой мяса и недоеданием в годы революции.

Я считаю, что основным фактором последнего заболевания было его тяжелое психическое состояние, вызванное трагическим разладом в их семейной жизни, обостренными отношениями между матерью и женой, творческим кризисом, ощущением своей кончености как поэта, отсутствием того «покоя и воли», о которых тосковал Пушкин, утратой сопротивляемости к болезни.

Рассказ о болезни и смерти Блока я передаю со слов его матери. Она жила тогда в Луге, у Марии Андреевны Бекетовой, и страшно беспокоилась, но Любовь Дмитриевна запрещала ей приехать, утверждая, что этот приезд разволнует больного и вызовет ухудшение. Мать подчинялась. Наконец стало ясно, что болезнь опасна смертельно. Шли хлопоты об отправке его в Финляндию, в санаторий. С ним должна была ехать жена, но разрешение на выезд было выдано Наркоминделом только для одного, а отправить его одного было невозможно.

Друзья написали Александре Андреевне о настоящем положении дел, и та решила приехать. Любовь Дмитриевна не хотела ее впустить, но ей пришлось уступить, и Александра Андреевна вечером вошла на несколько минут к больному. Он не удивился, только спросил ее: «Мама, я умираю?» Она замаялась. У них был



уговор, что в случае приближения смерти этого они друг от друга не будут скрывать. Но у нее не хватило мужества выговорить эти слова, хотя она видела, что он умирает. Тогда Александр Александрович холодно усмехнулся и отвернулся от нее к стене. Она вышла и всю ночь просидела на табурете около закрытой двери.

Он очень страдал, стонал и вскрикивал от болей в сердце. А мать не решалась войти. В последние дни он часто повторял: «Прости меня, боже». Это его матери потом рассказывала Любовь Дмитриевна. Утром он закричал: «Мама!» Она вбежала. Он сказал ей: «Ты стань сюда!» Просил жену стать с другой стороны, вытянулся и умер.

Утро 7 августа 1921 года.

Утром ко мне вошла Женья Книпович. Она вернулась с Московского вокзала; по просьбе Любови Дмитриевны она должна была поехать в Москву хлопотать о визе для сопровождения Александра Александровича в Финляндию в санаторий. Она позвонила к Блокам и узнала, что час назад Александр Александрович скончался.

Мы побежали к ним. Белый дождливый петербургский свет в окне и косо поставленный длинный стол. Мертвый Блок, полужакрытый белым кисейным покрывалом (еще не принесли гробового покрывала): еще нет смертного холода. Прекрасное, суровое лицо. Скрещены руки, а на бледных желтоватых пальцах образ богоматери. Потом вместо него был положен Любовью Дмитриевной образок св. Софии — премудрости. Еще нет ни венков, ни цветов, ни плачущей толпы. Только несколько веточек роз в высокой вазе на комод, что стоял у его постели, и потрескивает зажженная лампада.

Потом стали приходить друзья и знакомые. Молчали и плакали. Мертвого Блока писали художники Лев Бруни, Анна Ивановна Менделеева — мать Любови Дмитриевны. Других не помню.

Одна писательница вызвалась ночью читать псалтырь. Она хотела Евангелие, но Любовь Дмитриевна сказала: «Уж если это делать, то по правилам церкви. Полагается псалтырь».

Читавшая рассказывала мне. Вечером из своей комнаты вышла в халате Л. Д.

и простилась с мертвым. И мать поцеловала его и ушла к себе. Она осталась одна. Было как-то жутко. Свеча колебалась, и по лицу его пробежали свет и тень. Выражение лица постепенно менялось. Она продолжала читать. Когда наступил рассвет, лицо действительно изменилось, выражение смягчилось, исчезло то грозное, что было в нем.

Придя утром 8 августа, я увидела это новое выражение лица покойного. Оно стало спокойным и более кротким. Казалось, что Александр Александрович спит. Потом лицо опять стало меняться, приобрело странное сходство с лицом его друга и издателя С. М. Алянского, сильнее проступили черты болезни, а на третий день началось тление, и перед нами лежал труп.

Принесли белый глазетовый гроб.

Несли на Смоленское кладбище в открытом гробу через невыемские мосты. По дороге прохожие спрашивали: «Кого хоронят?» — «Александра Блока». Многие вставали в ряды и шли вместе с нами. В соборе на кладбище заупокойную обедню пел хор бывшего Мариинского театра. Потом прощались, потом положили его под старым кленом и поставили белый высокий крест.

Прошло с тех пор более пятидесяти лет. «Года проходят мимо», но Блок остается с нами, со своей Родиной, с революцией. Он, призывавший «слушать музыку революции», никогда не отрекался от нее.

Он говорил мне в одну из очень мрачных своих минут осенью 1920 года, когда речь зашла о Мережковских и других эмигрантах: «Я могу пройти незаметно по любому лесу, слиться с камнем, с травой. Я мог бы бежать. Но я никогда не бросил бы России. Только здесь и жить и умереть».

Он видел все трудности и все недостатки нового строя. Но он не знал ни обывательского страха, ни злорадства, ни брюзжания. Он умел прямо смотреть в лицо революции и радовался ее грозному и прекрасному полету. Поэтому время не может исказить образа Блока. Живой, он останется в живом сердце Родины.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания составлены З. Г. Минц и И. А. Черновой.

<sup>1</sup> «Аура» — по мистическим учениям, окружающее человека излучение, отражающее его внутреннее состояние.

<sup>2</sup> Студия стиховедения в Москве была организована в начале 1918 года Н. А. Павлович и Вейцманом. Помещалась на Молчановке, в здании частной школы Геденовой.

<sup>3</sup> «Коганша» — Надежда Александровна Коган-Нолле, жена П. С. Когана.

<sup>4</sup> «Вольфила» — Вольная философская ассоциация, организованная в 1919 году, в работе которой принимал участие и Блок.

<sup>5</sup> Сапунов Николай Николаевич (1880—1912) — художник группы «Мир искусства», приятель А. А. Блока; утонул в Финском заливе во время катания на лодке.

<sup>6</sup> М. А. Бекетова (1862—1938) — тетка Блока, писательница и переводчица, автор ряда биографических работ о Блоке.

<sup>7</sup> Всего у Блока была 61 записная книжка, из них 15 он в 1921 году уничтожил.

<sup>8</sup> С А. Л. Блоком (1852—1909), государствоведом и философом, профессором Варшавского университета, мать Блока разошлась в 1889 году, а вернулась из Варшавы в дом Бекетовых еще до рождения сына.

<sup>9</sup> «Новый путь» (1903—1904) — петербургский литературный и религиозно-философский журнал, неофициально орган Религиозно-философского общества, с которым был связан Е. П. Иванов. В марте 1903 года в «Новом пути» были напечатаны стихотворения А. А. Блока. Тогда же, судя по письму Е. П. Иванова, произошло и знакомство с ним Блока.

<sup>10</sup> Эрбергер (Сюнненберг) Константин Александрович (1871—1942) — поэт, искусствовед, критик, близкий к символизму.

<sup>11</sup> Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882—1938) — поэт-символист, переводчик. В 1910-х годах был близок к Блоку. Ему посвящено

стихотворение «Шаги командора» (1910—1912).

<sup>12</sup> Грушко Наталья Владимировна (Маркова, род. в 1892 г.) — петроградская поэтесса.

<sup>13</sup> Е. Г. Полонская (род. в 1893 г.) — советская писательница, поэтесса, переводчица, литературный критик.

<sup>14</sup> «Цех поэтов» — литературная организация акмеистов.

<sup>15</sup> А. М. Ремизов (1877—1957) — прозаик, вскоре уехал вместе с женой за границу.

<sup>16</sup> Д. С. Мережковский — с Дмитрием Сергеевичем Мережковским (1865—1941) и его женой, Зинаидой Николаевной Гиппиус (1869—1945), Блок резко разошелся в период Октябрьской революции, после которой Мережковские эмигрировали во Францию.

<sup>17</sup> Имеются в виду воспоминания А. Белого о Блоке в «Записках мечтателей» (1921, № 6), в «Эпопее» (1922, № 1—4) и в мемуарах 1930-х годов.

<sup>18</sup> Через утоп — Чрезвычайный уполномоченный по топливу.



[illegible]

В апреле 1894 года в семье Александровых случилась беда: одновременно были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость Михаил Степанович Александров (известный большевистский публицист и историк, соратник В. И. Ленина — М. С. Ольминский), его сестра Людмила Степановна и жена Екатерина Михайловна.

До этого каждый из членов семьи Александровых жил своей жизнью. Мать Михаила Степановича — Ольга Николаевна — поселилась в Омске у старшего сына Николая — офицера, преподавателя кадетского корпуса. Другой ее сын — Владимир, тоже офицер, служил в Одессе. Михаил Степанович и его жена, как организаторы подпольной «Группы народовольцев», вели большую революционную работу в Петербурге. Людмила Степановна находилась на нелегальном положении, сотрудничая в Смоленской подпольной типографии партии «Народного права».

Когда на семью обрушилось несчастье, переписка стала главным средством общения. Особенно большое значение она имела для Михаила Степановича, вынужденного провести в одиночном заключении без малого пять лет. Письма, полученные в тюрьме, он бережно хранил. Много писем сохранилось и у его родных. Ниже приводятся выдержки из этих писем, которые дают представление не столько о политических взглядах авторов писем (почти каждое письмо проходило через цензуру прокурора), сколько об их нравственном облике. В Восточной Сибири, в городе Верхотенске, где отбывала ссылку Людмила Степановна, она познакомилась с одним из первых русских марксистов — Н. Е. Федосеевым. В письмах можно найти некоторые дополнительные штрихи, помогающие полнее воссоздать образ этого замечательного человека. Рассказывают письма и о других ссыльных-верхоленцах: Я. М. Ляховском — члене ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», А. М. Лежаве, ставшем впоследствии видным деятелем Советского государства, И. С. Антокольском — будущем большевике, сотруднике Исправ.

Все выдержки из писем, не оговоренные в примечаниях, публикуются впервые.

## I. ОБРАЗ МАТЕРИ

Ольга Николаевна Александрова в свете этой переписки предстает как женщина волевая и деятельная. Общественное положение и мировоззрение ее старших детей (офицеров Николай и Владимира) и младших (революционеров Михаила и Людмилы) было резко различным. Жить ей приходилось у старших, от них она в известной мере зависела материально, а по

О. Лежава

# «НЕ ДАМ ЗЛОРАДСТВОВАТЬ ВРАГУ»

(Из семейной переписки  
М. С. Ольминского)

духу ей значительно ближе были младшие. В этой сложной обстановке Ольга Николаевна занимала твердую принципиальную позицию, свои суждения о людях и событиях высказывала прямо, иногда резко и делала то, что считала своим долгом.

Ольга Николаевна не располагала деньгами для того, чтобы сразу после получения известия об аресте дочери, сына и его жены выехать из Омска в Петербург. О своих переживаниях в эти дни она рассказывает в письмах к невестке.

О. Н. Александрова —  
Е. М. Александровой  
19 июля 1894 г.

«Дорогая моя Екатерина Михайловна <...> Вы задали мне задачу не писать ничего ни про Мишу, ни про Людмилу, тогда как все мои помыслы сосредоточены на вас троих и думать больше я ни о ком и ни о чем не способна. Писать больше о себе! Да ведь это выйдет то же самое. Обо мне можно сказать только то, что я сама себе удивляюсь, как это я ворочаюсь, двигаюсь, ем, сплю и даже катаюсь и купаюсь и никогда ни одной слезинки, хотя ни на минуту, ни днем, ни даже во сне не забываю всех вас, а Людмилу в особенности <...>. Я вижу с знакомыми каждый день, и ни одна душа не подозревает, что у меня есть какое-нибудь горе. Никому ни намека! И не потому, чтобы это мне легко давалось, а просто потому, что некому даже намекнуть про какое бы то ни было горе; везде кругом сытое барство. Все мысли у женщин сосредоточены на костюмах и гуляньях, у мужчин, кроме службы, на картах и вкусно покушать! Ну кому же тут скажешь что-нибудь. Приходят гости мужчины — скорей, скорей затопляй плиту, готовь бифштекс, соус, беги туда, беги сюда. Приходят да-



мы или девицы — ну, узоры, вышивки, а если одна, то — «запрягай лошадей!». Едем кататься. Я люблю с ними кататься, ничего не нужно, ветерок поддувает, сидишь молчишь, все мысли в Петербурге, а она, т. е. та, с кем еду, заливается, хочешь, рассказывая какую-нибудь самую обыденную историю — если дама, то с ее детьми, если девица, то еще того пустее. Впрочем, все они и оне очень милые, вообще люди хорошие — сливки общества, только слушать или говорить с ними нечего. Это уж я приписываю себе, своему настроению. Правда, никто ничего не читает, дальше себя и своей семьи ничего не знает, но и с ними можно бы найти как время убить — если бы хотелось именно убить время! А вот этого-то и жаль! Жизнь подходит к концу, и жаль каждого убитого часа, а тут целые годы так идут! Вот Вам сколько о себе написала!..

В общем Омск прехорошенький город, и можно бы многое найти здесь интересное, если бы я была лет на 20 помоложе и не была бы всегда одна. Даже купаться хожу одна, потому что все долго спят, часов до 11, я только утро и люблю, летом и встаю не позднее 6 часов. Вот к 11-ти то уже и не хочется заходить за кем-нибудь, ждать, пока оденутся, причешутся, шляпу, вуаль, перчатки наденут, — скучно. Вот, кажется, зачеркнуть нечего<sup>1</sup>, но развлекла ли Вас хоть самую чуточку?

Целую крепко. Любящая О. А.».

**О. Н. Александрова —  
Е. М. Александровой  
26 августа 1894 г.**

«Дорогая моя Екатерина Михайловна!.. Вы просите описать Вам город Омск. Это для меня тема на сочинение, которого мне в мою жизнь ни разу не приходилось писать. Вы, конечно, не знаете, что образование женщины 45 лет назад ограничивалось курсом приготовительного класса настоящего времени. Ну а потом 23 года болезни мужа и при том уход за детьми и пр. и пр. и последние 8 лет скитанья от одного сына к другому из конца в конец через всю Евр. Россию, и вышел такой сумбур в голове, что не разбери господи. Потому посылаю Вам план г. Омска. Это для меня легче чем описание<sup>2</sup> <...>

Ольга Александрова».

Сообщение о том, что мать собирается в Петербург, взволновало Михаила Степановича. Он хорошо знал повадки жандармов: они попробуют запугать старую женщину и через нее постараются воздействовать на сына и дочь. В письме, проходящем через цензуру, нелегко преду-

предить мать, но Михаил Степанович все же пытается это сделать.

**М. С. Александров —  
О. Н. Александровой<sup>3</sup>  
26 сентября 1894 г.**

«Дорогая мамаша... Первое время тебе здесь будет чувствоваться, может быть, и тяжело. Особенно я боюсь, что люди, не заинтересованные в твоём спокойствии, вздумают огоршивать тебя представлением перспективы, ожидающей нас, в более печальном свете, чем это есть на самом деле <...> Поэтому я по совести и настоятельно прошу тебя не верить никаким мрачным предсказаниям, от сколь бы авторитетных лиц они ни исходили. Второе, что должно будет на тебя производить тяжелое впечатление, это самые свидания, как ввиду их краткости и редкости, так и по самой своей обстановке: видеть близкого человека и не иметь возможности даже позвать его руку... Так как первое свидание, по новости обстановки, должно будет особенно взволновать тебя, то я, пожалуй, предложил бы тебе поведаться сначала со мной, а потом уж с Людмилой. Впрочем, это будет зависеть от твоего мужества, потому и решай этот вопрос сама <...>

Михаил Александров».

Опасения Михаила Степановича оправдались: как только Ольга Николаевна приехала в столицу и подала прошение о свиданиях, ее сразу же вызвали в Жандармское управление на допрос. Через три дня — новый допрос<sup>4</sup>. Первую встречу с сыном жандармы устроили ей здесь же, в Жандармском управлении. Спустя четыре дня Михаил Степанович писал брату.

**М. С. Александров —  
Н. С. Александрову  
24 октября 1894 г.**

«Дорогой Коля!.. В четверг на прошлой неделе я видел мамашу. Она, вероятно, уже давно написала тебе и об этом свидании, и о всем другом, что ей здесь говорили. Вероятно, письмо ее тебя очень сильно расстроило <...>

М. Александров».

Следующее свидание состоялось в крепости.

**М. С. Александров —  
Н. С. Александрову  
14 ноября 1894 г.**

«<...> В субботу, 12-го числа, у меня было первое свидание здесь с мамашей, которая на этот раз порадовала меня своим бодрым видом <...> Она себя так держала на свидании, что я вынес впечатление, точно побывал у нее в гостях. Это, конечно, объясняется тем, что я в первый раз попал в комнату для свиданий, она же



О. Н. Александрова.

была уж там раньше<sup>5</sup> и чувствовала себя  
как дома <...>

Мих. Александров».

О том, что творилось на самом деле в  
душе матери, можно судить по ее письму  
к невестке.

**О. Н. Александрова —  
Е. М. Александровой  
8 января 1895 г.**

«<...> Каждый раз, как я уйду от  
моих несчастных, я ничего не помню! Чув-  
ство обнять, расцеловать Мишу, Людмилу  
так ужасно! Говорят, «кто на море не бы-



1. *Възможность* въведенія въ Россію табака изъ  
 Америки въ настоящее время. Въ настоящее время  
 въ Россіи не производится табака, а потому  
 необходимо въвозить его изъ чужеземныхъ  
 странъ. Въ настоящее время въ Россіи производится  
 табака, но въ такомъ маломъ количествѣ, что  
 для удовлетворенія потребностей Россіи  
 необходимо въвозить его изъ чужеземныхъ  
 странъ. Въ настоящее время въ Россіи  
 производится табака, но въ такомъ маломъ  
 количествѣ, что для удовлетворенія  
 потребностей Россіи необходимо въвозить  
 его изъ чужеземныхъ странъ.

[illegible]

вал, тот не молился». Неправда! Есть сила беспощадней всякой бури морской. Да, я начинаю роптать, в первый раз в жизни. Я ли не молилась! Я ли не делала всего направо и налево, чтобы облегчить хотя временно жизнь всех меня окружающих. Не делала я столько зла на свете, чтобы было за что меня так терзать. Не Бог знает, чего прошу! Только обнять дочь и сына не два, а четыре раза в месяц!.. И только из-за одного этого я бросила все в Омске, живу здесь, проживаю деньги, необходимые им же впоследствии! Простите, что быю на нервы — не выдержала. Не удивляйтесь, что я, входя в вашу тюрьму<sup>6</sup>, чувствую себя дома, раздеваюсь, сажусь с наслаждением на кровать в пустой камере и забываю не только то, что переживалось кем-то на этой самой кровати и еще будет переживаться до конца века, но забываю, что я в тюрьме, у меня дороже, милее этой кровати нет ничего на свете. Завтра, т. е. 9-го, буду у вас, но сказать что-нибудь все равно не скажется при свидетелях.

Ольга Александрова».

Намекая на продолжающиеся массовые аресты в Петербурге, Ольга Николаевна писала в Омск жене Николая.

О. Н. Александрова —  
М. Е. Александровой  
19 января 1896 г.

«Дорогая Мария Егоровна!.. Событий здесь, в том же роде, очень много за декабрь и генварь, так что нам, старым посетителям с узлами, не только сидеть, но и стоять негде, все новые и новые прибывают каждый понедельник, четверг и субботу, и все с подушками, одеялами и пр., и все по тем же делам. Кажется, камня на камне не останется! Вот как принялись! Боюсь, чтобы новых не припутали к старым, тогда черт знает как затянется <...>

Ольга Александрова».

В январе 1896 года был вынесен приговор М. С. Александрову, ошеломивший



Л. С. Александрова, 1890—1892 гг.

и его, и родных. Ожидали, что по окончании следствия, тянувшегося почти два года, Михаил Степанович, как и все остальные, будет выслан. Однако он получил еще три года одиночки и 5 лет ссылки в Восточную Сибирь.

**О. Н. Александрова —  
Н. С. Александрову  
24 января 1896 г.**

«Дорогой Коля! Может быть, теперь, когда я узнала наверное, что ожидает Мишу и Ек. Мих., я могу еще хоть сколь-



ко-нибудь думать и писать. Узнала я то, что пощады ему нет, и только одному ему из всех сотен набранных за эти два года, а именно: три года на Выборгской и пять лет Вост. Сибири. Ну и черт с ними! Пусть подавятся! Кровавищы!

Ек. Мих. пять лет Северо-Вост. части Вологодской губернии. Но ты очень не унывай, еще есть возможность выйти и из этого положения, т. е. просить заменить три года тюрьмы девятью годами Вост. Сибири. Ек. Мих., конечно, поедет за ним. Если это не удастся тотчас, то спустя некоторое время <...>

О. А.».

В этих условиях, когда самодержавие обрушило столь жестокие кары на революционеров, Ольгу Николаевну, естественно, возмутила паника, поднятая в Омске сыном Николаем и его женой по поводу стычек с корпусным начальством. Старая женщина, образование которой, по ее собственным словам, «ограничивалось курсом приготовительного класса», дает сыну-офицеру урок принципиальности. Ее письмо в Омск в январе—феврале 1896 года полны гнева и одновременно горячего желания помочь сыну с честью выйти из временных житейских неприятностей.

О. Н. Александрова —  
М. Е. Александровой  
26 января 1896 г.

«Ну и удивили Вы меня, дорогая Мария Егоровна, своей фразой: «Если Вы хоть сколько-нибудь любите вашего сына, то приезжайте как можно скорей. Нервы его не выдержат!.. В эти дни, когда решается вопрос жизни Миши и Ек. Мих., когда, кроме меня, одной никого нет, я брось все и спеши к вам за тысячи верст накануне выпуска хотя бы на два дня Ек. Мих. И два дня иногда дороже двух лет. Это называется «успокоили»! Что же у вас там случилось? Ведь не тюрьма же, не ссылка! Ведь мне бросить все и ехать мимо Людмилы<sup>7</sup> не так легко как бы, например, купить десяток апельсинов. 24-го был доклад<sup>8</sup>, Мише назначили выsidку на Выборгской, а Ек. Мих. выезд в Вологодскую губ., чего я больше всего боялась. В четверг я ему об этом сообщила, нелегко было мне это! Наст. Евг.<sup>9</sup> сообщила об этом Ек. Мих., тоже не было и ей легко, и затем от четверга до понедельника никто никого не может ни успокоить, ни поддержать. И я в эту-то минуту уеду? Вы пишете, что я не хочу к вам приехать! Да имею ли я право хотеть? Разве при таких условиях кто-нибудь имеет право думать о своем хотении? И, несмотря на это, Миша сказал: «Ну что же делать, буду сидеть!» Ек. Мих. хотя и заплакала, но сказала: «Миша у меня молодец, потерпит!» <...>

Да, пришло такое время, что лучше уж прекратить всякую переписку, если нельзя нравственно поддерживать друг друга, а то такие письма, как ваши, полные личного эгоизма, или как Коля пишет то Людмиле, то Мише, при их настоящем положении могут довести их нервы до чертиков. Знаю, что и ему нелегко, и Вам также с ним, но ведь не одни радости, но и все жена должна делить с мужем, если уж вышла замуж. При первой стычке с директором, которую нельзя иначе выносить, как выйти в отставку, вы уже спрашиваете, что же дальше будет, а чем же я-то помогу, не могу же я заставить директора дать дрова. Я бы сказала: ну и черт с ним, лучше сухая корка, только бы не видеть больше его рожи, не унижаться! Поймите же, что это оскорбление, которое нельзя выносить.

О. А.».

О. Н. Александрова —  
Н. С. Александрову  
24 января 1896 г.

«Дорогой Коля! <...> Что же вы так испугались остаться несколько месяцев без жалованья, где же ваши отрешения от всего? Ты в лес хотел, Марии Егоровне, кроме тебя, никто и ничто не нужно. Так неужели же вы вдвоем не прокормите себя несколько месяцев, пока ты найдешь дело? А я так думаю, что это было бы величайшее счастье для тебя <...> Когда успокоюсь немного, пойду опять к генерал-губернатору Иркутска Горемыкину, он еще здесь, и спрошу, не назначил ли он теперь места жительства для Людмилы. Если уже определил, тогда дам тебе телеграмму, и если хочешь, то, перекрестясь, подавай в запас, и переедем туда, я чувствую, что именно там-то и начнется наша новая, покойная жизнь; без вытягивания перед начальством из-за куса, который от усталости и волнений в горло не лезет. Ведь не идиоты же мы все, что сами себя не прокормим, наконец. Что касается до меня лично, то мне теперь больше моей пенсии ничего не нужно, Людмила тоже найдет заработок на столько же, ну а ты хоть немножко побольше. А тогда, отдохнувши год, другой, ты и опять можешь потянуть ляжку. Ведь ты еще не так стар, чтобы уж совсем-таки никуда не годился. Так чего же это вы испугались?! <...>

О. А.».

О. Н. Александрова —  
Н. С. Александрову  
10 февраля 1896 г.

«Дорогой мой Коля! Да успокойся же, возьми рассудок в зубы! Да и держи крепче. Предложи своему тетену<sup>10</sup> вопрос: что бы она сказала, если бы я одна, имея право сделать для нее что возможно, оставила бы ее в ту минуту когда бы ее и те-

бя, продержавши два года в одиночном заключении, объявили бы решение тебе еще три года одиночного заключения, а ей по этапу, с уголовными идти чуть не к Ледовитому океану зимой, при хроническом воспалении гортани. Она бы сказала: «Я бы умерла». А мне чуть не жизни стоило отбить<sup>11</sup> хоть эти 84 дня этапного пути от Вологды до Усть-Сысольска 700 верст по болотам, сугробам и пр. Из-за одного этого я забыла все на свете, забыла Людмилу. Я просто остервенела, когда мне это объявили. И отбила. По этапу она пойдет только до Вологды. Дальше поедет одна на свой счет <...>

Ольга Александрова».

## II. В БОРЬБЕ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО

Узнав о приговоре, М. С. Александров принял твердое решение — не дать злорадствовать врагу. В стихотворении Михаила Степановича «После приговора», написанном в тюрьме, есть такие строки:

Я был раздавлен, но сдержу рыдания,  
Не дам злорадствовать врагу,  
И для тебя в последнее свиданье  
Принять спокойный вид могу!..

Борьбу за человеческое достоинство он начал с первой же минуты, едва тюремная карета остановилась у ворот Выборгской одиночной тюрьмы.

— Обожди! — приказал конвойный Михаилу Степановичу.

— Не обожди, а обождите!

— Все равно.

— Вовсе не все равно. Вы унтер-офицер, а не знаете своих обязанностей. Я буду жаловаться.

Конвоир поспешил переменить тон:

— Потрудитесь обождать!..

Во время прогулки на тюремном дворе надзиратель закричал на одного из арестантов:

— Чего разговариваешь! Намордники на вас нужно.

Михаил Степанович вмешался:

— Арестанты не собаки.

— Да ведь я не вам сказал.

— А я вам говорю.

Надзиратель, не привыкший получать отпор, трусливо умолк.

Почувствовав по письмам старшего брата Николая, что он теряет голову, Михаил Степанович решительно вступает с ним в борьбу за его же человеческое достоинство. Не сговариваясь с Михаилом Степановичем, так же поступает его сестра Людмила.

М. С. Александров —  
Н. С. Александрову  
15 мая 1895 г.

«Как это мне ни неприятно, Коля, но я не могу не отвечать на твое последнее

письмо. Постараюсь внести в этот ответ как можно больше спокойствия. Ты в претензии, что я пишу к тебе, «лицу, состоящему на службе», письма с неодобрительными отзывами о лицах, также «состоящих на службе». Прошу, если угодно, перечитать все мои письма и найти там хоть намеки на отрицательное отношение к существующему порядку, закону и т. д. Я утверждаю, что таких даже намеков там не было. Было же отрицательное отношение к отдельным, не общим, а лично ко мне относящимся распоряжениям отдельных лиц. Скажи пожалуйста, с какого времени в России запрещено критически относиться к частным распоряжениям отдельных лиц администрации в частной переписке? Я утверждаю, что такого запрещения не только не существует в настоящее время, но даже не сразу вспомнишь, существовало ли оно когда-нибудь! Аракчеевщина? Но я не слышал, чтобы даже Аракчеев издавал подобные запрещения. «Слово и дело» XVIII в.? Но вспомни, что ведь «слово и дело» объявлялось в случае произнесения дерзких слов только против особ имп. фамилии. Бироновщина? Сомневаюсь, чтобы и при Бироне запрещалось отрицательно относиться, в частных сношениях, к действиям воевод, подьячих и проч. Господи, да укажи же мне, Коля, страну и эпоху, когда бы никакое действие начальства третьестепенного ранга не допускало критики?

М. Александров».

М. С. Александров —  
Н. С. Александрову  
6 июня 1895 г.

«И смех с тобой, Коля, и горе!

<...> Знаю я, что ты все пишешь с добрыми намерениями, но ведь таковыми вымощена и дорога в ад <...> В феврале твои просьбы «не унывать» каждый раз наводили на меня тоску, попытка твоя примирить меня с известными должностными лицами довела меня до белого каления против них (теперь это прошло), остаются советы «терпи». Я, как ты знаешь, русский человек и потому чем другим, а недостатком этой ослиной добродетели не страдаю. Но твои советы «терпеть» каждый раз поднимают во мне желчь и раздражение против всего и всех, кто и что ставит меня в положение, вызывающее необходимость «терпеть» <...>

Мих. Александров».

Л. С. Александрова —  
Н. С. Александрову  
5 февраля 1896 г.

«Дорогой Коля! <...> Неожиданный исход Мишиного дела разрушил все наши планы и надежды на будущее. Следовательно, приходится создавать новые, хотя и далеко не такие радужные. По моему



1898. 10 авг. Спб.

Вн. В. Кривошеина

Н. С. Александрова



Дорогая Людмила! В эти часы в  
 м. Габаровского, а именно в районе  
 Восточной. На великий случай сообщу тебе,  
 что содержание графика на основании  
 Высочайшего повеления от 18 августа  
 1890 года. Содержание этого акто  
 мия нечувствительна. В бумагах было  
 сказано: «Книжки отпечатаны в Моск.  
 Спб.». Теперь я и не знаю, с какой  
 для детей сгруппировать сейчас: с  
 октябрьской и с январской. До  
 сюда. Супер ладно, но зато  
 нет в Москве. Еще не знаю,

план выступит беспокойство обо мне (те-  
 перь она пишет Комаровскому<sup>12</sup>, что «со-  
 всем забыла, что Людмила существует на  
 свете»), и она придет сюда. Здесь я, ко-  
 нечно, употребляю все силы для ее успо-  
 коения <...> Может также случиться, что  
 маме придется проводить Ек. Мих. до ме-  
 ста ссылки или хоть только до Вологды,  
 если ее здоровье плохо, ибо в таком слу-  
 чае **сильнейшее** беспокойство у мамы и у  
 Миши будет о ней <...> Наша же роль  
 по отношению к маме сводится к тому же,  
 к чему и по отношению к Мише: ничем не  
 расстраивать, не волновать, стараться  
 успокоить и **ни в чем не препятствовать**  
 ей, т. е. предоставить полную свободу дей-  
 ствий, будут ли или не будут они соглас-  
 ны с нашими желаниями и взгляда-  
 ми <...> Свои «нервы», тревоги и волне-  
 ния спрячь на время подальше. Если же  
 тебе необходимо перед кем-нибудь «изли-  
 ваться», то можешь избрать для этого мою  
 особу, ибо у меня все последствия оди-  
 ночки давно исчезли и нервы в полном по-  
 рядке <...>

Людмила».

Л. С. Александрова —  
 М. С. Александрову  
 16 февраля 1896 г.

«Дорогой Миша, вчера приехала мама  
 и была у меня <...> Она довольно спо-  
 койна и бодр, очевидно, ей удалось  
 до некоторой степени примириться с по-  
 ложением наших дел, хотя заметно, что да-  
 лось это ей нелегко <...> Вообще о ней  
 можешь не беспокоиться <...> Я совер-  
 шенно здорова, за эти два месяца заме-  
 тно поправилась, настроение хорошее. Вре-  
 мя идет очень быстро <...>

Людмила Александрова».

Л. С. Александрова —  
 Н. С. Александрову  
 28 февраля 1896 г.

<...> зачем ты беспокоишься и вол-  
 нуешься о том, о чем нечего волноваться,  
 зачем ты мечтаешь и надеешься на то,  
 на что нельзя надеяться? Оставь события  
 идти своим чередом, и ты увидишь, что  
 все придет к хорошему концу; временные  
 неприятности в той или другой форме все-  
 гда бывают у всякого человека, без них  
 нельзя прожить жизнь; случились они и у  
 меня с Мишей, так ведь мы же не можем,  
 для твоего удовольствия, составить исклю-  
 чения из общего правила. Случались они  
 и у тебя, и ничего — жив остался и даже  
 жирком оброс. Теперь, вероятно, приеха-  
 ла уже к тебе мама, и ее приезд успо-  
 коит тебя больше, чем все мои разгла-  
 гольтствования; только ты не очень рас-  
 страивай ее и дай ей успокоиться и от-  
 дохнуть после полуторогодового мыканья  
 по тюрьмам да присутственным местам.

мнению, все они в настоящую минуту сво-  
 дятся к следующему: устроить так, чтобы  
 дать возможность Мише и маме (а отча-  
 сти и Ек. Мих.) пережить по возможности  
 легче тяжелое для них время, отбросив  
 совершенно мысли о своих личностях  
 (моей, твоей и т. д.) <...> Для Миши мы  
 пока можем очень мало сделать, только  
 ничем не расстраивать, не волновать его  
 и поддерживать бодрость духа <...> Во-  
 прос относительно мамы более сложный,  
 решать его нам с тобой абсолютно невоз-  
 можно. Мне кажется, что для того, чтобы  
 она могла пережить это время, ее надо  
 вполне **предоставить самой себе**. Просить  
 или советовать ей ехать к тебе или к Во-  
 лоду, оставаться в Москве или в Питере —  
**нельзя**: она должна сама, **по инстинкту**  
 выбрать **наименее тяжелое** положение для  
 себя. В настоящее время, пока она пере-  
 живает острый период беспокойства о Ми-  
 ше, вызывать ее из Питера было бы безу-  
 мием. Затем, когда она несколько привык-  
 нет к мысли, что он должен оставаться в  
 тюрьме, повидается с ним (первое время  
 свиданий не будет), убедится, что он спо-  
 коен и бодр, и сама немного успокоится  
 за него, тогда, быть может, на первый



М. С. Ольминский, апрель 1898 г.

Бери с нее пример: ведь она, несмотря на свои 60 лет, гораздо бодрее, чем ты, переносит все наши невзгоды; нравственной силы у нее еще много, а вот физически ей следует отдохнуть <...>

Людмила».

Откровенная, иногда нарочито резкая критика помогла Николаю Степановичу. Пренебрегая неприятностями по службе, он несколько раз приезжал в Петербург для свиданий с Михаилом Степановичем. Николай Степанович провожал в ссылку



по этапу сестру Людмилу, а во время пребывания Михаила Степановича в тюрьме и ссылке (около 10 лет) оказывал ему материальную помощь.

### III. «КНИГИ ЗДЕСЬ ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ»

Так писал М. С. Александров через полгода после ареста. И добавлял: «За книгой нередко целые дни пролетают незаметно».

Письма Михаила Степановича дают некоторое (далеко не полное) представление о том, что читал в одиночном заключении будущий публицист, историк и литературный критик.

**М. С. Александров —  
О. Н. Александровой  
9 июня 1894 г.**

«Дорогая мамаша! <...> За это время перечитал массу книг, между прочим всего Костомарова<sup>13</sup> <...> Подавал я прошение о разрешении купить Пушкина и Шекспира, чтобы иметь постоянно что-нибудь на вечер, и получил отказ <...>»

**М. С. Александров —  
Н. С. Александрову  
3 октября 1894 г.**

«Дорогой Коля! <...> Чтение здесь — все содержание жизни, и оно тем успешнее служит суррогатом последней, чем более книга отражает жизнь во всем ее разнообразии. Этим объясняется <...>, что с наибольшей жадностью я поглощаю журналы <...> В чтении журналов я держусь системы: прочитывать все имеющиеся издания последовательно за каждый год. Целью моей является — проследить развитие журналистики в ее целом. Пока я дошел только до 1873 года. Однако же от времени до времени отрывочность журнальных статей приедается, является потребность более целостного впечатления, и тогда я обращаюсь частью к книгам по истории, частью к английским романам. В августе я прочел, таким образом, 8 томов Шлоссера «История XVIII века»<sup>14</sup>. <...> Все 8 томов я прочел с неослабевающим удовольствием, несмотря на то, что многое из описываемого им мне уже раньше было известно по монографиям более подробно. Скажу более: я решил через несколько времени прочесть его еще раз. Брал я Стасюлевича «История средних веков»<sup>15</sup>, но одолел только два тома, да и то не сплошь <...>»

**М. С. Александров —  
О. Н. Александровой  
10 октября 1894 г.**

«Дорогая мамаша! <...> Сообщил Тушинскому<sup>16</sup>, что мне бы очень желательно хоть сколько-нибудь следить за земско-

статистической литературой и что я прошу его посодействовать мне чем можно <...> Мне хотелось бы на досуге позаняться французским языком, но не знаю, что купить. Нужно грамматику, словарь и книгу для чтения (но не самоучитель). Для последней цели мне хотелось бы иметь кого-нибудь из французских классиков <...> Не может ли Коля посоветоваться об этом со своими педагогами <...> Спроси у Людмилы, какие книги или учебники она желала бы иметь, а если Людмила скажет «никаких», то не слушай ее, а предоставь выбор книг хоть Коле или тому, кто их будет доставлять. Хорошо бы было присылать ежемесячно хоть по книге. Не знаю, читала ли она Шахова «Гёте и его время»<sup>17</sup>, и его же второй том. Книги хорошие».

**19 декабря 1894 г.**

«<...> Статистический выпуск я получил, прочел с интересом; хотелось бы и впредь своевременно получать их».

**М. С. Александров —  
Н. С. Александрову  
9 марта 1895 г.**

«Дорогой Коля! <...> Вчера и сегодня я проглотил два романа Майн-Рида: «Охотники за черепами» и «Квартеронка». Что это за прелестная вещь! Какая масса опасностей, приключений, всякого рода неожиданностей <...> Роман же «Охотники за черепами» представлял для меня двойной интерес, так как, после Робинзона, это была первая книга подобного рода, прочитанная мною в раннем детстве <...> Я вновь переживал в памяти все подробности первого чтения <...>»

**5 мая 1895 г.**

«<...> С большим удовольствием прочел Альфонса Додэ «Порт Тараскон»<sup>18</sup>. Знаком ли ты с похождениями Тартарена? Если нет, то очень много потерял. Их три книги: 1) «Тартарен из Тараскона», 2) «Тартарен на Альпах» и 3) «Порт Тараскон». Особенно рекомендую прочесть их в тяжелую минуту, и лучше всего вслух, например, вдвоем с М[арией] Е[горовной]. Эти книги разгонят всякий сплин <...>»

**2 августа 1895 г.**

«<...> На днях прочел не отрываясь роман Сибиряка «Орлиное гнездо».

**13 августа 1895 г.**

<...> Я теперь изрядно читаю, а кроме того довольно времени отнимает и подзубривание грамматики твоего сослуживца Мозера<sup>19</sup>. Можешь сказать ему спасибо — грамматика составлена толковей и интересней, чем другие, известные мне, так что подчас я даже увлекаюсь ею (!) <...>»

26 октября 1897 г.

«<...> Последние дни я увлекался романом Диккенса «Домби и сын». Кстати, давно я тебя, Коля, хочу спросить: когда ты в последний раз читал Гоголя? Читал ли его по выходе из кадетского корпуса хоть раз? Если нет, то ты много потерял <...>»

10 мая 1898 г.

«...прочел ли Гоголя? Неужели он не увлек тебя? Брось это ложное мнение, будто не стоит перечитывать книг, которые читал в юности. Нет, очень стоит, особенно сочинения первоклассных писателей».

Любимым писателем Михаила Степановича был М. Е. Салтыков-Щедрин. В тюрьме Ольминский выполнил огромную работу по составлению «Щедринского словаря»<sup>20</sup>.

#### IV. ПО ЭТАПУ В ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ

Весной 1896 года Ольга Николаевна вернулась в Омск. В Петербурге ей больше нечего было делать. Сын Михаил прочно засел на три года в «Крестах», его жена благополучно добралась до места ссылки — Сольвычегодска. В конце апреля 1896 года началось путешествие Людмилы в Восточную Сибирь. За ее продвижением по этапу с волнением следили все члены семьи Александровых.

Л. С. Александрова —  
О. Н. Александровой  
26 апреля 1896 г.

«Дорогая мама, сегодня утром получила твое письмо, а завтра мы, наконец, выезжаем из Москвы <...> Сегодня выдали «желающим» из политических казенные арестантские вещи; из Пугачевки<sup>20а</sup> все оказались желающими, и каждой из нас дали: мешок, две рубахи, юбку, портянки, коты и халат <...> (новый суконный), который может вполне заменить драповое пальто<sup>21</sup>; остальные вещи годятся только на тряпки или на кухонные полотенца (слишком грубый холст), а коты можно употреблять вместо калош; они такого же цвета и величины, как были туфли в крепости, только подошвы сделаны не из березовой коры, а толстые кожаные и подбиты гвоздями <...>

Людмила».

Л. С. Александрова —  
О. Н. Александровой  
Баржа на Капе.  
5 мая 1896 г.

«Дорогая мама, завтра мы, наконец, надеемся допоздны до Перми <...> Выхаляли мы из Москвы в количестве 26 человек политических, были посажены в отдельный вагон (без уголовных). В Нижнем с вок-

зала отправили прямо на баржу, где и пребываем уже целую неделю <...> Наше помещение состоит из большой камеры, где свободно может поместиться человек тридцать <...> Так как от Казани нас всего 19 человек, то все помещаемся на верхних нарах (светлых) <...>, вдоль прохода стоят два стола, на которых мы обедаем и чай пьем. Помещение на нарах, занимаемое нами, т. е. пятью женщинами, отделено нами от остальной камеры со всех сторон занавесками, и мы располагаемся в нем, как у себя дома<sup>22</sup> <...> В пище недостатка не терпим — на каждой пристани запасаемся всем необходимым <...> обед готовит какой-то повар, кажется, из уголовных (всеми хозяйственными делами заведует наш староста — Лежава, и я о них имею смутное представление) <...> Людмила».

Л. С. Александрова —  
Н. С. Александрову  
Тюмень.

9 мая 1896 г.

«Дорогой Коля <...> Сюда мы прибыли вчера (8 мая) рано утром, поместились в местной тюрьме <...> в Томске будем около 20 мая <...>

Людмила».

Н. С. Александров —  
М. С. Александрову  
28 мая 1896 г.

«Дорогой Миша! <...> мамаша 17 мая уехала в Томск на свидание с Людмилой, которая по-прежнему здорова и весела, говорит, что в дороге несравненно лучше, чем в одиночном заключении и в московской тюрьме <...>

Н. Александров».

О. Н. Александрова —  
Н. С. Александрову  
20 мая 1896 г.

«Дорогой Коля! Сегодня в 4 часа утра прибыла я в Томск <...> В 9 ч. поехала в Губернское правление <...> поговорила с помощником инспектора тюрьмы, он мне советовал на пристань завтра не выходить, а по приходе парохода завтра из Тюмени прямо ехать к начальнику тюрьмы и встретить их там с паспортом, там он в первую минуту и даст мне повидаться с Людмилой <...>

О. Александрова».

О. Н. Александрова —  
Н. С. Александрову  
22 мая 1896 г.

«Дорогой Коля! Вчера утром я отправилась на пристань, узнала там, что пароход из Тюмени пришел в 4 ч. утра с баржей. Поехала к Короленко<sup>23</sup> <...> С ним мы поехали вместе туда, нам сейчас же вызвали Людмилу, Вар. Ив. и ее мужа<sup>24</sup>.







Л. С. Александрова, 1896 г.

● Созналась, что в Москве ей было очень скверно, особенно при известии о твоём приговоре и еще от каких-то причин, которых не сказала, как я ни добивался. Сначала мне не разрешили взять ее к себе на телегу, но потом пустили ее, с тем чтобы

я ехал в цепи <...> Первый день палило солнце, на этапе пошел дождь, мы виделись с Людмилой в квартире офицера, который был к нам очень любезен. Далее я иногда ехал один, иногда с Людмилой, которая обыкновенно в моей телеге спала,



т. к. их поднимают в 2 часа ночи, чтобы выступить в 4. Когда Людмила спала, я был особенно счастлив, это были лучшие минуты моей жизни за последние многие годы стольких волнений <...> Хотя я по настоянию Людмилы и телеграфировал тебе, что этапное путешествие довольно удовлетворительно, но, в сущности, далеко не согласен с этим и уже с пути, прошившись с Людмилой, написал ей два раздирательных письма и одну телеграмму, чтобы не упорствовала, иначе я навсегда уйду в свои леса и сделаюсь отшельником; это подействовало, и по телеграмме Людмилиной о согласии мамаша немедленно вылетела из Омска, благополучно проследовала вторично через Томск, Мариинск и вчера, судя по телеграмме, догнала Людмилу в Красноярске, откуда и повезет ее в своем тарантасе под конвоем. Людмила, когда выпитая, очень интересна, шаловлива и даже, не замечая этого, немного кокетлива, но совершенно по-детски; я и не подозревал, что в ней сохранилось так много детского, точно у десятилетней девочки, хотя она и говорит, что из тюрьмы все они вышли стариками; но она удивительная идеалистка, совсем и не подозревает, как много в жизни грязи; очень любит конфеты, духи и цветы; все читала мне нотации, чтобы не пил и не барышничал, на все готова смотреть через призму и не видеть самой соли житейской. Вообще из этих свиданий я узнал столько, сколько не узнал бы в 5 лет при нормальной жизни в одной квартире <...>

Крепко целую тебя и остаюсь любящий брат твой

Николай Александров».

## V. В ВЕРХОЛЕНСКЕ

Ольга Николаевна не только проводила дочь до места назначения — Верхолenska, но и прожила с ней там, с небольшим перерывом, весь срок ссылки. Решившись в 60 лет на столь тяжелое путешествие почти с отчаяния, она потом не только не жалела об этом, но, напротив, считала, что именно так должны поступать все матери. Об этом свидетельствуют ее верхоленские письма.

О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
10 сентября 1896 г.

«<...> Потом моя предполагаемая поездка за Людмилой, не зная расстояния; но я была уверена, что как бы близко или далеко ее ни загнали, я все равно не доеду. Но не все ли равно, куда ни ехать, оставаться же в Омске, Одессе или Петербурге, зная, что она там где-то, для меня было совсем невозможно. Теперь, как ви-

дишь, я доехала, и даже преблагополучно, хотя волнений была масса».

О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
8 февраля 1897 г.

«Дорогой Миша! <...> не так страшен черт, как его малюют. Солнце одинаково светит всем, а здесь оно постоянной, чем где-нибудь; никогда мне еще не жилось так хорошо в отношении погоды и здоровья, как здесь <...>».

О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
6 августа 1897 г.

«Дорогой мой Миша! <...> Я очень довольна, что не осталась в Омске. Вот бы я мучилась, предполагая всякие ужасы, и холод, и голод, и пр. и пр. Не понимаю, зачем эти страдания матери остаются дома, отправляя дочерей и даже сыновей в ссылку. Если я когда-нибудь возвращусь в Европу, то ни одной матери не посоветую оставаться там. Пусть все следуют за своими детьми, и тем и другим будет лучше <...>».

К месту назначения, в Верхоленск, О. Н. и Л. С. Александровы прибыли 22 августа 1896 года. В письмах к Михаилу Степановичу его мать и сестра дают представление о Верхоленске того времени, о быте местных жителей, о жизни колонии ссыльных.

Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
9 сентября 1896 г.

«Дорогой Миша <...> Сюда приехали 22 августа <...> Остановились мы у живущего здесь политического ссыльного Гедеоновского<sup>25</sup> с добровольной женой<sup>26</sup>, а на другой день сняли единственную имеющуюся здесь квартиру. Сам Верхоленск хотя и называется городом, но ничем не отличается от среднего русского села; население, немного более 1000 душ, состоит главным образом из крестьян, значительную часть составляют поселенцы из уголовных. Никаких городских учреждений, кроме полиции с исправником во главе, не имеется, а имеется волостное сельское управление, затем почтово-телеграфная контора, 2 училища, мужское и женское, больница на 8 кроватей с одним врачом и фельдшером, одна церковь и два жандарма...

Мы занимаем половину крестьянской избы (в другой половине живут хозяева) <...>».

О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
10 сентября 1896 г.

«Дорогой мой Миша! <...> Ну уж город Верхоленск, ни базара, ни мясной

лавки, ни булочной, хлебной, овощной ни одной. Все обыватели имеют все свое для себя и продавать не желают. Вот и ходит Ал. Вас.<sup>27</sup> со двора во двор, почти просит, чтобы продали картошку, морковку. Один раз принес мне две репы, которые мы нафаршировали и его же вечером угостили. Гуляем каждый день по улицам и собираем шампиньоны, здесь их не едят; только свиньи нас обижают; пока мы утром возмизаем со стряпней, они все изроют, и нам мало остается. Больше прелестей в Верхоленске, кажется, нет никаких <...>.

Ольга Александрова».

Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
5 января 1897 г.

«Дорогой Миша <...> Я, кажется, уже писала тебе, что на весь Верхоленский округ нет ни одной акушерки, да не только Верхоленский, но и Балаганский и Нижнеудинский испытывают то же. Таким образом мне совершенно неожиданно для себя и помимо собственного желания пришлось принять эту обязанность на себя, — конечно, в качестве вольнопрактикующей, ну и недостатка в этой практике не чувствую, напротив, очень желала бы, чтобы ее было меньше, чтобы оставалось время и на отдых, и на умственные занятия. Вообще теперешняя моя жизнь сильно напоминает Сокурскую<sup>28</sup>, те же бессонные ночи, та же возня с бабами и ребятишками, раз даже ездила в деревню за 12 верст на волостных лошадях и под конвоем помощника волостного старшины (иначе исправник не решился меня отпустить), который дожидался меня в деревне и затем в целости доставил домой <...>

Людмила».

О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
8 февраля 1897 г.

«Дорогой Миша! <...> У Людмилы практика все увеличивается, на днях приезжала больная за 30 верст и еще придет за 40 верст <...>

Ольга Александрова».

О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
26 августа 1897 г.

«Дорогой Миша! <...> Коля как-то зимой прислал виноград в бочонках, пересыпанный просом. Вот это просо хозяева посеяли, и оно отлично уродилось; нужно собирать; они спрашивают, как собирать: жать или косить? Я сама не знаю; кажется, лучше жать, а то все выплещется. Да еще беда, как его обрушить? Никаких крупорушек, ни конных, ни водяных, ни ветряных, здесь нет. Ветряных мельниц совсем нигде я не встречала. Ячмень, пшеницу трут дома руками каждый для себя, сколько нужно на две-три каши. Это очень

трудно. Иногда баба сидит с утра до вечера, буквально не покладая рук, и натрет его фунтов 5—10, т. е. на две-три каши <...>

Ольга Александрова».

Как организовать свою жизнь в ссылке, «чтобы не одичать», не оторваться от политических интересов? Обсуждая в письмах этот вопрос, Михаил Степанович и Людмила Степановна отвечали на него примерно одинаково:

«...переписка есть один из главных и наиболее важных интересов ссылочной жизни, без которой является полная оторванность от всего внешнего мира», — пишет Людмила Степановна 9 ноября 1896 года.

«Главнейшее — забота, чтобы не одичать, т. е. чтение и переписка, в которую обязательно должен входить обмен мыслями...» (из письма Михаила Степановича от 5 января 1897 года).

Всеми силами старалась Людмила Степановна осуществлять все это на практике, а Михаил Степанович помогал ей, чем мог: и критикой, и добрым советом, и просьбами прислать то подробный конспект какой-либо статьи, то рецензию на новую книгу.

В письме от 7 июля 1897 года Людмила Степановна излагает на 7½ страницах статью Добролюбова о «Губернских очерках» Щедрина. М. С. Александров отвечает ей 17 августа 1897 года: «Твоей передачей статьи Добролюбова я очень доволен; это именно то, что мне было нужно».

Часто Михаил Степанович обсуждает с сестрой различные социальные проблемы: о роли сельской общины, о сибирском крестьянстве и т. п.

Получает Людмила Степановна и такое задание от брата: «Мне бы хотелось, Людмила, чтобы ты высказала Коле свое мнение о сельском хозяйстве. Только прочти предварительно первую главу «Убежища Монрепо» и в «Мелочах жизни»: «Помещик и хозяйственный мужичок».

Все просьбы брата Людмила добросовестно выполняла, и все же ее систематические занятия и переписка то и дело нарушались разными жизненными обстоятельствами, и между братом и сестрой вспыхивали споры.

М. С. Александров —  
Л. С. Александровой  
5 января 1897 г.

«<...> Я думаю, что человек в твоём положении должен располагать свою жизнь так. Главнейшее — забота, чтобы не одичать, т. е. чтение и переписка, в которую обязательно должен входить обмен мыслями по поводу прочитанного. На втором плане — ослабить тяжесть ссылки, т. е.



не упускать ничего, что может повеселить, развлечь и т. п. (и тут не последняя вещь — получение писем). На третьем месте — все прочее. По-моему, ты поставила свою жизнь как раз вверх ногами. На первом плане у тебя всякая дребедень вроде кухни, практики и т. п., а на самое важное — чтение и переписку — тебе некогда <...> Обиднее всего, что ты упускаешь самое дорогое время, пока память о тебе свежа. Потерянного не вернешь, и через 1—2 года ты окажешься заживо погребенной, все о тебе забудут или будут говорить: «Ей не до нас, у нее есть кухня и роженцы». И будут правы <...> Или тут, как и с кухней, дело в погоне за грошом. Зачем? Капиталов не наживешь и всех дыр не заткнешь. Нужды кругом много? Пусть, и все-таки никто не вправе предъявлять к тебе требования, как к ломовой лошади, а многие имеют право кое-что требовать от тебя, как от цивилизованного человека <...> Мих. Александров».

Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
27 июня 1897 г.

«Дорогой Миша! <...> В своем первом письме ты высказывал свою несимпатию к сибирскому обывателю-крестьянину. Я с тобой несогласна. Правда, он очень алчный, своего не упустит и где возможно сдерет с проезжего или приезжего человека, но надо принять во внимание, с одной стороны, ту упорную борьбу, которую им приходится вести с природой, чтобы отстоять свое существование, с другой стороны — какую громадную дань им приходится платить всякого рода начальству и всей шпане — первые явно обирают их (одно, например, власть имущее лицо откровенно признавалось мне, что в прежние годы, когда оно получало 700 руб. жалованья [в год] жили на 10 000 руб. ибо каждое волостное и сельское правление, каждый торговец были обложены данью, а теперь, мол, нам прибавили жалованья до 2-х тысяч, но жить стало труднее; последнее, положим, он врет, ибо и теперь они совместно с купцами и кулаками обдирают народ); шпана же, т. е. уголовные и поселенцы, просто грабят все, что плохо лежит. При таких условиях крестьянину, чтобы существовать, самому приходится поступать круто с другими. Все-таки из всех живущих, например, в Верхотенске только среди крестьян можно встретить честных людей. Все же прочее, вместе взятое, все чиновники, купцы, попы и уголовные (особенно из дворян) давно бы должны были на каторге даже по русским законам, если бы хоть сотая часть их дел была проверена мало-мальски добросовестно<sup>29</sup> <...>

Людмила Александрова».

М. С. Александров —  
Л. С. Александровой  
17 августа 1897 г.

«Дорогая Людмила! <...> Относительно сибирских крестьян ты, конечно, права, защищая их, но и я прав, утверждая, что они не нуждаются в благотворительной работе со стороны человека, не отличающегося сильным здоровьем и только что вынесенного тяжелой передрагу; уж если на то пошло, то, вероятно, более нуждаются в твоей даровой помощи уголовные ссыльные: они тоже люди <...>

Мих. Александров».

Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
19 августа 1897 г.

«Дорогой Миша! <...> целую неделю я ухлопала на одну больную, у которой приходилось бывать по четыре раза в день. Собственно, лечил ее товарищ Ляховский, я же по его просьбе взялась помогать ему; в результате наших трудов получилось следующее: во-первых, встал человек, который в противном случае должен был неминуемо погибнуть, а во-вторых, я заработала за неделю 25 р., которые окажутся далеко не лишними, если принять во внимание трудность заработка в ссылке вообще и недостаточность казенного пособия<sup>30</sup> для прожития <...>

Л. Александрова».

М. С. Александров —  
Л. С. Александровой  
28 сентября 1897 г.

«<...> Одобряю, что ты берешь деньги за свою работу — одобряю не ради денег, а ради принципа. У меня в последнее время сильно развилось воображение и прочтя в письме мамы сообщение такого рода: «Придет расфранченная барыня (к твоему товарищу врачу Л.), возьмет лекарство и пойдет, даже не скажет: «Благодарю вас». Жена хохочет, а он ругается... Так вот, прочтя это, я тотчас создала себе картину. Барыня приходит с лекарством домой. Муж ее спрашивает: «Сколько же ты, Маша, заплатила врачу?» — «Да ничего». — «Как? Разве не требовал?» — «Ну вот, посмеет он! Ведь знает, что я знакома с исправником». — «Молодец, Маша! С паршивой овцы хоть шерсти клок». Да, это мое убеждение, что тут дело не в деликатности, а в трусости («не посмеет: с исправником знакома»), и я очень рад, что ты, Людмила, по-видимому, вывела себя из положения паршивой овцы. Особенно возмутительно, что у Ляховского, как вы пишете, есть дети, которых он обирает в пользу барынь. Прочти ему это место моего письма <...> авось одумается <...>».

Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
24 ноября 1897 г.

«Дорогой Миша, совершенно неожиданно я снова была выбита из колеи и притом почти на целых два месяца <...> Ты обижаешься на меня, что мне, будто бы, «всякая баба дороже» тебя. Дело не в бабе, а в том, что окружающая жизнь, как от нее ни стараешься сторониться, нет-нет да и ударит по нервам, которые не замедлят отозваться и привлечь мое внимание, а следовательно, и заставить вмешаться. Это делается совершенно невольно, и справиться с собой в этом отношении мне <...> никак не удается; временами я очень завидую тем товарищам, которые сидят у себя, как в берлоге, и занимаются науками, ничего не замечая и не видя, что происходит вокруг них; но зато в другое время сама же злюсь на таких господ за такое их отношение; я понимаю, что это зависит от темперамента, и потому думаю, что, несмотря на все старания, мне никогда не удастся надолго засесть в «колею» <...>

Обстоятельства же, временно выбившие меня из колеи, были следующие. В конце августа и начале сентября у хозяев заболели тифом сперва один человек, а затем сразу в один день свалились еще трое; <...> так как помещение их таких размеров, что на ночь все 11 человек, укладываясь спать, занимают весь пол от двери до противоположной стены, и больные лежат попеременно со здоровыми, то я <...> нашла необходимым освободить свою половину избы, чтобы таким образом дать им возможность отделить больных от здоровых <...> Но так как в городе <...> свободных квартир не оказалось, то мы с мамой перебрались в квартиру товарища Лежавы, он же временно перебрался к другому товарищу. Для нас его квартира немного мала, но это еще не беда бы, главное <...> в избе было так же тепло, как на улице, — почти все время дома я из-под дохи не вылезала, а мама и день и ночь была одета в меховой шубе и калошах. Конечно, никакие занятия в голову не лезли, да, кроме того, по несколько раз в день я бегала к больным. К концу месяца больные начали поправляться (двое остались живы просто каким-то чудом) <...> [Вскоре] после этого вздумал появиться на свет новый социал-демократ; конечно, появление его не могло произойти без моей помощи, да и следующие, за тем 9 дней пришлось ухаживать за этой персоной. Теперь около недели я совершенно свободна <...> Как только покончу с письмами, примусь за занятия <...>

С сегодняшнего дня возобновляю свои занятия немецким языком <...> Из газет продолжаю услаждать себя «Русскими ведомостями», которые надоели мне до тош-

ноты, думала на будущий год заменить их какой-нибудь другой газетой, да ничего подходящего не могу найти <...>».

## VI. ЖИЗНЬ КОЛОНИИ

Постепенно верхоленская колония политических ссыльных пополнялась новыми людьми. В октябре 1896 года прибыл А. М. Лежава, в декабре — варшавский студент И. С. Антокольский, несколько позже — доктор Я. М. Ляховский. Первое известие о предстоящем приезде в Верхоленск Н. Е. Федосеева было здесь получено в конце января 1897 года. Об этом Людмила Степановна упоминает в письме к Екатерине Михайловне от 20 февраля 1897 года. А в своих воспоминаниях о Федосееве она пишет: «О его назначении в г. Верхоленск мы уже знали ранее как от местной полиции, так и из писем сольвыгодских товарищей, в которых они давали о Н. Е. самые лучше отзывы»<sup>31</sup>. В числе сольвыгодских товарищей, дававших самые лучшие отзывы о Федосееве, была, несомненно, Е. М. Александрова. Сообщая брату 27 июня 1897 года о приезде в Верхоленск Н. Е. Федосеева, Людмила Степановна добавляет: «Федосеев (на 5 лет) ранее был в Сольвыгодске 3 года и прямо оттуда попавший к нам. Он хорошо знаком с Ек. Мих. и много рассказывает мне про нее».

А в более позднем ее же письме к Е. М. Александровой (18 августа 1897 года) есть такая фраза: «Весеннее Ваше письмо и два письма для Н. Е. мною тоже получены».

В том же письме от 18 августа Л. С. Александрова дает перечень всех членов значительно выросшей за лето верхоленской колонии ссыльных:

Геодеоновский  
Лежава  
Александрова  
Зобнин<sup>32</sup>  
Антокольский  
Гольдберг<sup>33</sup>  
Ляховский  
Федосеев  
Плихтовский  
Юхоцкий

Юхоцкий и его сподвижник Плихтовский отравляли атмосферу колонии, и общение с ними ограничивалось вынужденным разбором их клеветных заявлений. Остальные члены колонии жили дружно, обсуждали политические новости, доходившие из России, прочитанные книги и газеты, совершали походы в лес и по реке на лодке, готовились к встрече проходивших через Верхоленск партий ссыльных.



**Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
9 ноября 1896 г.**

«Дорогой Миша <...> В конце октября в нашу однообразную жизнь было внесено некоторое разнообразие приездом нового товарища — Лежавы. Он шел в одной партии со мной до Красноярска, затем я уехала вперед, а они продолжали подвигаться черепашным шагом и только 2 октября прибыли в Иркутск. По его рассказам, дальнейшее их путешествие мало чем отличалось от путешествия до Красноярска, только солдаты (конвойные) были грубее, хотя не могу сказать, чтобы и ранее они были вежливы <...> Первую неделю по приезде Лежавы мы провели самым безалаберным образом: целые дни проходили в том, что мы всей толпой (4 человека) шатались из одной квартиры в другую, вследствие чего у каждого произошло запущение в житейских делах, а потому и было постановлено: собираться только по вечерам три раза в неделю, по очереди в каждой квартире для совместного чтения и бесед о прочитанном; впрочем, не возбраняется заходить друг к другу и в другое время. Читаем обыкновенно что-нибудь из журнальных или газетных статей, слушатели при этом занимаются ручной работой <...>

Людмила Александрова».

Верхоленская колония была еще совсем крошечной, и тем не менее она являлась уже крепкой организацией, на помощь которой могли рассчитывать проезжавшие через город партии ссыльных.

**О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
28 ноября 1896 г.**

«Дорогой Миша <...> Вчера весь вечер посвятили на делание пельменей, впяттером<sup>34</sup> сделали 500 штук, заморозили. Сегодня пойдем к Гедеоновским, сделаем еще столько же. Дело в том, что на днях проедут в Якутск 16 человек, в том числе и Надя<sup>35</sup>. Повидаться, конечно, не придется, но передать дорожное продовольствие хотелось бы, зная, как трудно по станциям достать даже черного хлеба <...>

Ольга Александрова».

**Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
5 января 1897 г.**

«Дорогой Миша <...> В прошлом письме я писала тебе, что жду якутскую партию; дождалась ее только 17 декабря; мне было разрешено свидание с Надей, но так как все они останавливались в одной избе и набились туда, как сельди в бочонки (16 человек, да жандармов столько же), то видела я всех, кое с кем разговарива-

ла, между прочим познакомились с неким Брусневым<sup>36</sup>, который также сидел в «Крестах» до мая этого года и рассказал мне кое-что о ваших порядках <...> Людмила».

**Л. С. Александрова —  
Е. М. Александровой  
20 февраля 1897 г.**

«Дорогая Екатерина Михайловна <...> 2 февраля мимо нас проехала новая партия на Якутск, состоящая из 5 человек: 4 шлиссельбуржца: Янович<sup>37</sup>, Мартынов<sup>38</sup>, Суровцев<sup>39</sup> и Шебалин<sup>40</sup>, а пятый местный Кузьмин, переведенный из Тунки в Олекминск. Мы заранее знали о проезде какой-то партии и караулили ее три дня и три ночи, пока, наконец, ночью она приехала, и, таким образом, нам удалось хотя издали повидать «воскресших из мертвых». Они едут в Якутку по манифесту <...> Вид у них у всех истощенный и старообразный. Двое едут без шуб, только в арестантских тулупчиках, а один даже без валенок. Мы успели снабдить их только провизией и деньгами, за одеждой же не было времени сбегать домой, но мы успели предупредить киренцев, и те вывезли им на встречу две шубы, так что на самую тяжелую часть пути они были обеспечены всем необходимым, а в Якутске их встретят товарищи <...>

Людмила».

**Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
24 февраля 1897 г.**

«Дорогой Миша <...> Недавно мы с мамой тоже присоединились к общей столовой для пробы, поэтому у нас в квартире теперь никакой стряпни и кухонной вонии нет. Мне это очень нравится, но я думаю, что маме скоро надоест ходить на обед, хотя столовая в этом месяце помещается почти напротив нас, в квартире Зобнина, обед в ней обходится около 6 руб. на человека, это очень дешево по здешним местам; стряпают сами участники по очереди, причем «бабы» избавлены от этой повинности — слишком большие для их сил чугуны варятся <...>

Людмила Александрова».

**Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
28 мая 1897 г.**

«Дорогой Миша <...> В конце марта эта столовая по очереди перешла в нашу квартиру, и мне пришлось принять на себя обязанности ее эконома <...> На страстной <...> всецело погрузилась в хозяйственные заботы и приготовления к пасхе <...> в течение трех дней трое товарищей почти непрерывно толкли у меня (для помощи), и заботы о куличах, пасхах, печениях и вареньях, распределение

между ними работы и слежение за тем, чтобы не испортили чего-либо, не оставляли ни одной свободной минуты <...> Куличи мои и паши, несмотря на то, что я взялась за них первый раз в жизни, удались на славу <...>

Людмила Александрова».

**Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
24 ноября 1897 г.**

«Дорогой Миша <...> С наездом к нам семейных (которые, к слову сказать, прибавили нам мелочных забот, особенно столичные жители вследствие своей беспомощности и трудной приспособляемости к новым условиям жизни — то сидят без хлеба или без мяса, то ребята без молока, — и как-то невольно приходится вникать в мелочи их хозяйственной жизни и по мере сил и возможности сглаживать их шероховатости). Так вот, с наездом семейных наша столовая распалась, и мы теперь обедаем дома, у нас же обедает Лежава, стряпаем я, мама и он по очереди <...>

Людмила».

**О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
8 февраля 1897 г.**

«Дорогой мой Миша! <...> Ты отчасти знаешь мой характер, я не могу не входить в интересы окружающей меня жизни где бы я ни была <...> На моей заботе лежит доставлять им [политикам] ржаной хлеб к обеду и пшеничные калачи к чаю; przygotowляет хозяйка, а я только развешиваю на безменчике <...> Если кто из них заходит за какой-нибудь книгой или газетой, тороплюсь с самоваром во всякое время дня и непременно навязываю стакан чаю или кофе <...>

Ольга Александрова».

**О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
1 июля 1897 г.**

«Дорогой Миша! <...> Квартира наша как раз посреди улицы <...> Каждый из них [политиков] куда бы ни пошел, непременно мимо наших окон, а окна так низко, что никак нельзя их не видеть, не остановить, не расспросить, кто куда, зачем идет, но расспрашивать редко приходится, потому что каждый сам заходит и рассказывает, кто, куда, зачем <...> Редко, редко приходится пробыть полдня в одиночестве. Но и тогда то одна Никитишна — молодая хозяйка придет, то другая Никитишна — старая <...> Вообще здесь хозяева ужасно любят заходить к приезжим квартирантам, постоять у притолоки и поговорить о своих делах. Молодежь их скоро отучила, уткнется носом в книгу и

молчит, читает <...> Я так не могу, потому ко мне не только Никитишны, но их ребяташки и даже их собаки приходят. К нашей кошке ходят все собаки политиков в гости <...>

Александрова».

**О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
26 августа 1897 г.**

«Дорогой Миша! <...> Людмила часто на меня сердится за то, что все мои помыслы заняты едой; но что же мне здесь делать, о чем заботиться, как не о том, чтобы все у всех было что поесть, когда сами они ни о чем этом не умеют думать <...>

Ольга Александрова».

До глубины души огорчал Ольгу Николаевну только Н. Е. Федосеев. И без того крайне строгий к себе и скромный в своих потребностях, Николай Евграфович под влиянием чудовищных обвинений Юхоцкого в буржуазности дошел до полного аскетизма, отказывался принимать какую-либо помощь от товарищеской кассы, верхоленцев. Он жил на казенное пособие, которого не хватало даже на квартиру и хлеб. Товарищей приводила в отчаяние непомерная щепетильность Федосеева.

**О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
26 августа 1897 г.**

«Дорогой Миша! <...> На Федосеева, который приехал из Сольвычегодска, я скоро буду жаловаться Ек. Мих. Он, один он, меня совсем не слушается. Квартиру все ищет на отшибе, без хозяев, без дров, без воды. Морозы начинаются, а он все еще ходит в лес рубить дрова и таскает по одному бревну, сапог и плащя порвет больше, и сам сидит без угольев в нетопленной хате. Потом он не хочет нисколько входить в мое положение. У меня только и есть одно развлечение: это русская печь и все прочее, а он ничего не ест ни у нас и ни у кого, это нас с женой доктора ужасно злит; придет, сидит и ничего не хочет, а сам с охоты приносит и мне и ей то уток, куликов, то дупелей. На днях притащил мешок шишек кедровых пуда два <...>

Ольга Александрова».

Летом за ягодами и орехами ходили за 10—15 верст, а Н. Е. Федосеев уходил охотиться и за 50 верст.

**Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
24 февраля 1897 г.**

«Дорогой Миша <...> В последнюю неделю я, несмотря на массу работы (медицинской), соблазнялась солнышком и



урывала время для прогулки. Один раз с товарищами забрались на горы в лес верст за 5 от города и развели там костер из сосновых веток; сидели там часа два, любясь пламенем костра, пока не озябли. Два раза ездили кататься и брали с собой маму, чтобы «проветрить» ее. В первый раз ездили за Лёну в деревню разыскивать овощей для столовой, но добыли только немного моркови и свеклы (в городе ничего подобного достать нельзя ни за какие деньги). В другой раз, в воскресенье, ездили на двух санях кататься по так наз. ручью — это ущелье между двумя хребтами гор тянется на 10 с лишним верст; весной в нем действительно бежит ручей, но скоро пересыхает <...>».

**Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
28 мая 1897 г.**

«Дорогой Миша <...> На пасху к нам приезжал товарищ из села Бирюлек (60 верст от Верхолёнска) Шумов — прекрасный тенор; прожил целую неделю; при нем все время проходило в прогулках по лесу (погода стояла хорошая) и в наслаждении пением (кроме него, у нас хорошие голоса еще у Лежавы и у Гедеоновского). Слава о музыкальных талантах Шумова дошла, очевидно, уже давно до слуха обывателей, ибо с его приездом к нам связан такой курьез. На пришедшем в Бирюльки официальном разрешении исправника на его поездку в Верхолёнск для совета с врачом оказалась следующая надпись, сделанная другой рукой: «Захватите скрипку». Он пришел в недоумение от этой надписи; местные власти ничего не могли ему объяснить, обратился по приезде в Качуг к заседателю, тот тоже не дал объяснений; из нас никто не имел по этому поводу разговора с полицией и официальные бумаги нам недоступны. Остается предположить одно, что кто-то из лиц, через руки которых проходила бумага, желал насладиться его пением и музыкой, ну и остался с носом, ибо распевать серенады для полицейских чинов и их семейств ни у кого нет желанья. Впрочем, это уже не первая попытка с их стороны завлечь наших певцов в свою компанию. Нечто подобное было вскоре по приезде сюда Лежавы <...>

Людмила Александрова».

**Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
29 июля 1897 г.**

«Дорогой Миша <...> на утро мы были разбужены известием, что подходят арестантские паузки, с которых в Верхолёнске ссадили двоих политиков <...> Когда паузки отошли, нам пришла фантазия проводить их на лодке; ехали мы ря-

дом с паузком часа полтора вниз по Лёне, и когда опомнились, то оказалось, что отъехали от города почти на 15 верст, считая по тракту, а по реке значительно более, ибо она делает изгибы. Течение Лёны страшно быстрое, ехать на веслах против течения нет никакой возможности, и вот нам пришлось, выйдя из лодки, тащить ее бечевой; намучились мои товарищи с этим страшно <...> Уже поздно вечером, часов в 11, выбившись из сил, решили бросить лодку и идти домой. Если бы наша верхолёнская полиция видела нашу радость, когда показался город, она бы оставила все свои страхи: дело в том, что стоит компании уйти за несколько верст от города, как полиция начинает волноваться — не побег ли; раз даже послали провожатых — городовика и крестьянина, которые шли следом за компанией, прячась от нее в кусты, а между тем во всех этих прогулках люди увлекаются, не соображая сил, и обратный путь совершают с большими усилиями. В этот раз, с лодкой, мы все время мечтали о том, чтобы за нами послали погоню на лошадях, тогда бы мы сели на лошадей, а лодку заставили тащить тех самых господ, которые поехали бы нас ловить, — по крайней мере не устали бы так и раньше были дома. Теперь здесь сезон ягод, которых масса в тайге, запасаются ими обыкновенно на всю зиму, ставят сперва в ледник, а затем на мороз; таким образом они сохраняются свежими до самой весны, не теряя своего вкуса. К сожалению, только ходить за ягодами, также и за кедровыми орехами надо далеко — верст за 10—15. Мы уже одну такую прогулку совершили — принесли массу голубицы и кедровых шишек. Все собираемся идти теперь за смородиной и малиной <...> Хорошо в тайге, хотя подчас и очень трудно пробираться сквозь чащу — в этой прогулке за ягодами моя юбка превратилась буквально в клочки лохмотьев <...>

Людм. Александрова».

**О. Н. Александрова —  
М. С. Александрову  
6 августа 1897 г.**

«Дорогой Миша! <...> Весь июль месяц прошел для нас вполне благоприятно. Чтобы поправить здоровье и нервы, Людмила два-три раза в неделю с 4-х или 5-ти часов утра уходит в лес и горы за ягодами, возвращается к ночи <...> Сегодня Людмила ушла с хозяйскими бабами за ягодами верст за 15 по горам и лесам. Бабы не хотели ее брать, уверяя, что она не сможет продрагаться в чащу, где растет черная смородина, малина, красная смородина. Но она на всякий случай, чтобы не заставлять их возвращаться из-за ее усталости, пригласила с собой Антокольского и Федосеева <...> Раньше вечера, конеч-

но, не возвратятся, но теперь я их отправила покойно, начинаю привыкать, да и медведь всякий забежит куда глаза глядят, когда закричат 15 девчонок, которые отправились с котомками вслед за нами <...>

Ольга Александрова.

**Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
19 августа 1897 г.**

«Дорогой Миша <...> Помимо всяких дел это время я по-прежнему продолжаю пользоваться всяким свободным и ясным днем, чтобы пойти в лес за ягодами; обыкновенно на такую прогулку уходит целый день с 5 час. утра до позднего вечера. В настоящее время запас черной смородины у меня достиг значительных размеров, хватит ее если не на всю зиму, то на половину навесное. Теперь настала очередь брусники и грибов <...>

Л. Александрова.

**Л. С. Александрова —  
М. С. Александрову  
24 ноября 1897 г.**

«Дорогой Миша <...> [У нас] случилось новое обстоятельство, здорово встревожившее всю колонию: один из товарищей<sup>41</sup> отправился на охоту к тунгусам (за 50 верст); недели две мы получали от него частые известия, дичь и пр., как вдруг прибегает оттуда крестьянин (буквально «прибегает», ибо, выйдя от тунгусов на рассвете, он пришел пешком в 4 ч. дня, отмахав без отдыха 50 верст) и сообщает, что товарищ заблудился в тайге и двое суток его не могут найти. Ушел утром на охоту, не взяв с собой даже хлеба и одетый в легенькой суконной курточке. Конечно, немедленно мы бросились к исправнику, чтобы устроить поиски в тайге, немедленно был отправлен туда отряд в 7 человек для этого, и еще в течение двух суток мы были в полной неизвестности о судьбе товарища, строились самые ужасные предположения, пока наконец получилось известие, что он найден живым и невредимым. Оказалось, что вскоре после того, как он вошел в тайгу, повалил снег, который и «задавил» его следы, по которым он мог бы найти дорогу назад. Он сбился и начал плутать; к счастью, к ночи набрел на шалаш, в котором нашел котелок, чай, хлеб и шубу (такие шалаши устраиваются крестьянами-охотниками в тайге на всякий случай, если кто-либо заблудится, что случается нередко и с самыми опытными охотниками в погоне за зверем). Подкрепив силы, согрешивши и отдохнув, он снова отправился искать выхода из тайги и к концу вторых суток наткнулся на охотников, которые и проводили его к тунгусам. Оказалось, что он за-

шел в сторону по тайге более чем на 30 верст, но, на счастье, отделался только страхом да усталостью. Встречен он нами, конечно, был с большой радостью, почти как вернувшийся с того света <...>».

Н. Е. Федосеев оказал большое влияние на своих товарищей по ссылке. Через три месяца после его приезда в Верхотенск Л. С. Александрова сообщала в письме к невестке: «На этой же неделе я, наконец, засела за чтение (произведений русских марксистов); пока читаю довольно усердно <...>» (из письма от 18 августа 1897 года).

А спустя еще три месяца (21 ноября) она же писала: «<...> в настоящее время вижусь часто только с двумя товарищами — Лежавой и Федосеевым, наиболее симпатичными и интересными для меня».

Н. Е. Федосеев не мог бы быть «наиболее симпатичным и интересным» для бывшей народоправки Людмилы Александровой, если бы его марксистское мировоззрение не становилось постепенно и ее мировоззрением. А А. М. Лежава писал в автобиографии о своем пребывании в Верхотенске: «Здесь я стал марксистом, близко сошелся с такими марксистами, как Н. Е. Федосеев, К. К. Бауэр, Ляховский и другие»<sup>42</sup>.

А вот и еще одно свидетельство дружеских, теплых отношений Л. С. Александровой и Н. Е. Федосеева. В метрической книге верхотенского Воскресенского собора имеется запись от 6 февраля 1898 года о бракосочетании Андрея Матвеева Лежавы и Людмилы Степановны Александровой. В графе: «Кто были поручители?» значится: «По женихе: челябинский купеческий сын Иван Михайлов Зобнин; по невесте: дворянин Николай Евграфов Федосеев».

Л. С. Александрова не могла писать подробно о том, что члены верхотенской колонии ссыльных вынуждены были неоднократно разбирать и опровергать клевету Юхоцкого, но намеки на тяжелые переживания, связанные с этими разборами, имеются во многих ее письмах.

**Л. С. Александрова —  
Е. М. Александровой  
18 августа 1897 г.**

«Дорогая Екатерина Михайловна <...> к июлю я чувствовала себя почти совсем хорошо <...> Но вскоре начались кое-какие неурядицы в колонии <...> Подробности: пока не пишу, ибо не имею права — впоследствии Вам будет все сообщено. Конечно, все это сильно раздражает и держит нервы в напряженном состоянии, не говоря уже о массе времени, которое сюда ухлопывается <...>».



Л. С. Александрова —  
Е. М. Александровой  
21 ноября 1897 г.

«<...> Ваше письмо пришло во время окончания большого «дела», история которого длилась несколько месяцев и всю колонию довела до черт знает какого состояния».

Товарищеский суд признал обвинения Юхоцкого, выдвинутые против Н. Е. Федосеева, гнуснейшей клеветой, а самого Юхоцкого «сознательно вредящим революционному делу». Но вопреки решению суда клеветник продолжал травлю Федосеева — человека необыкновенной нравственной чистоты.

Нервы Николая Евграфовича, измотанные многими годами тюрьмы и ссылки, не выдержали, и 21 июня 1898 года он покончил с собой.

24 августа Людмила Степановна писала брату:

«...Федосеев лишил себя жизни выстрелом из револьвера. Подробности писать не буду: мне стоило больших усилий за-

ставить себя написать более или менее подробно Ек. Мих. и вторично писать слишком тяжело, ибо каждый раз приходится переживать все пережитое, да и тебе лучше узнать эти подробности на воле, а не в одиночке.

Людмила».

М. С. Ольминский не был лично знаком с Н. Е. Федосеевым. Он глубоко уважал его как одного из первых русских марксистов, а кроме того, от жены и сестры ему передавалась любовь к этому обаятельному человеку. Только необычайно теплым отношением к Н. Е. Федосееву можно объяснить то, что до конца жизни Михаил Степанович хранил несколько засушенных цветков, присланных Николаем Евграфовичем из Верхолеска в Сольвычегодск Е. М. Александровой. И по сей день хранится конверт с этими цветами в фонде М. С. Ольминского (ЦПА ИМЛ). На конверте рукою М. С. Ольминского написано: «Цветы, посланные Н. Е. Федосеевым из Вост. Сибири товарищам в Сольвычегодск».

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Имеются в виду вычеркивания «тов. прокурора».

<sup>2</sup> В письме имеется схематический план Омска, составленный О. Н. Александровой.

<sup>3</sup> Эта выдержка из письма опубликована в книге: О. Лежава и Н. Нелидов. М. С. Ольминский. М., 1962, с. 57—58.

<sup>4</sup> Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР). Д. П. 7-ое Делопр. д. 86, т. 4, лл. 284, 286.

<sup>5</sup> На свидание с Людмилкой.

<sup>6</sup> Е. М. Александрова в это время уже была переведена из Петропавловской крепости в ДПЗ.

<sup>7</sup> Л. С. Александрова в это время была уже в Москве, в Центральной пересыльной тюрьме («Бутырках»).

<sup>8</sup> Доклад министра юстиции на высочайшее имя.

<sup>9</sup> Анастасия Евгеньевна Тимашевская.

<sup>10</sup> Жене — Марию Егоровну.

<sup>11</sup> Для Екатерины Михайловны.

<sup>12</sup> Врач Дмитрий Елеазарович Комаровский под видом двоюродного брата хо-

дил на свидания к Л. С. Александровой в Центральную пересыльную тюрьму в Москве.

<sup>13</sup> Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 1—2. СПб., 1880—1893.

<sup>14</sup> Ф. К. Шлоссер. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи. Т. 1—8. СПб., 1868—1871.

<sup>15</sup> М. М. Стасюлевич. История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. Т. 1—3. СПб., 1885—1887.

<sup>16</sup> Дмитрий Александрович Тушинский — служащий Статистического отделения С.-Петербургской губернской земской управы.

<sup>17</sup> А. А. Шахов. Гёте и его время. Лекции по истории немецкой литературы XVIII века. СПб., 1891.

<sup>18</sup> А. Доде. Порт Тараскон. Последние приключения знаменитого Тартарена. М., 1891.

<sup>19</sup> П. И. Мозер. Новый элементарный учебник французского языка, состоящий из трех частей. 1889—1891.

<sup>20</sup> См.: М. С. Ольминский. Щедринский словарь. М., 1937.

<sup>20a</sup> Пугачевская башня Центральной пересыльной (Бутырской) тюрьмы.

<sup>21</sup> В письме к Е. М. Александровой Людмила Степановна пишет о халате: «...он не только удобен, шит по мерке и из хорошего сукна, но даже не лишен изящества, только... с бубновым тузом желтого цвета (а самый халат серый) на спине».

<sup>22</sup> Чтобы не расстраивать мать, Людмила Степановна не сообщала о том, как тяжело ей было постоянно находиться на людях. Два года спустя, вспоминая этапное путешествие, она писала брату Михаилу: «...на барже минутами бывало так жутко, что я пряталась под нары, зарываясь там в багажные туки, чтобы хоть на несколько часов избавиться от шума голосов и вида человеческих фигур».

<sup>23</sup> Илларион Галактионович Короленко — брат писателя В. Г. Короленко. В Томске находился под негласным надзором полиции.

<sup>24</sup> Натансон Марк Андреевич — один из первых «чайковцев», активный участник «Земли и воли». В 1894 году арестован по делу партии «Народного права». Его жена, Варвара Ивановна, добровольно ехала в ссылку с мужем.

<sup>25</sup> Александр Васильевич Геденовский — осужден по делу

партии «Народного права». Прибыл в Верхотенск раньше других, так как весь путь проехал за свой счет.

<sup>26</sup> Екатерина Михайловна Геденовская добровольно вместе с мужем поехала в ссылку.

<sup>27</sup> А. В. Геденовский.

<sup>28</sup> В селе Сокур Саратовской губернии Л. С. Александрова работала в 1891—1892 годах по окончании Санкт-Петербургских Рождественских курсов лекарских помощниц и фельдшерниц.

<sup>29</sup> Ни одна из этих обличительных строк не вычеркнута, хотя на письме стоит штамп прокурора.

<sup>30</sup> 9 рублей 50 копеек в месяц.

<sup>31</sup> «Федосеев Николай Еврафович». Сборник Истпарта, 1923, с. 123.

<sup>32</sup> Иван Михайлович Зобнин — народоволец.

<sup>33</sup> Владислав Александрович Гольдберг — арестован в 1893 году за участие в демонстрации. После трех лет тюрьмы выслан на пять лет в Восточную Сибирь.

<sup>34</sup> О. Н. и Л. С. Александровы, А. В. и Е. М. Геденовские и А. М. Лежава.

<sup>35</sup> Надежда Петровна Фoniaкова — окончила вместе с Л. С. Александровой Рождественские курсы лекарских помощниц и фельдшерниц. Вместе они работали в Смоленской подпольной типографии.

<sup>36</sup> Михаил Иванович Бруснев — организатор одной из первых социал-демократических групп в Петербурге.

<sup>37</sup> Людвиг Фомич Янович в Шлиссельбургской крепости пробыл 10 лет.

<sup>38</sup> Сергей Васильевич Мартынов — народоволец, осужден по «процессу 12». В Шлиссельбургской крепости пробыл 12 лет.

<sup>39</sup> Дмитрий Яковлевич Суворовцев — народоволец, осужден по «процессу 14». В Шлиссельбургской крепости пробыл 12 лет.

<sup>40</sup> Михаил Петрович Шебалин — народоволец, осужден по «процессу 12». В Шлиссельбургской крепости пробыл 12 лет.

<sup>41</sup> Речь идет о Н. Е. Федосееве.

<sup>42</sup> «Энциклопедический словарь Гранат», 7-е издание, т. 41, с. 300.





— Ну, орлы, вот так. Начнем, орлы, с азов. Эта штуковина называется самолет. У нее два крыла и хвост. Вот эти колесики называются шасси. Чтоб не скрипели, их каждый день смазывают вазелином.

Он издевался над ними, новый инструктор. Он шурил глаза, опущенные выгоревшими ресницами, поигрывал тоненьким ивовым прутом и в такт словам стучал прутом по аспидно-черным наваксенным сапогам.

— А вы почему, курсант, хмуритесь? Авиация не любит хмурых людей... Впрочем, она и жориков не любит. В Москве, наверно, богато жориков.

Он не скрывал своей досады. Ему, летчику-инструктору первого класса, придали группу зеленых московских спецшкольников. Спецшкольников! Да еще московских! Сасово, Борисоглебск — и ни одного вылета. Спихнули, стало быть, на него. Кто же они еще, если не «жорики»? А под «жориками» лейтенант подразумевал что-то одному лишь ему понятное — сказывалось, что лейтенант был уроженцем Ростова.

— «Мы жили в этом городе, дружили в этом городе», — запел вдруг лейтенант и, неожиданно рассердившись, оборвал: — Чтоб завтра эту песню знать наизусть. Кто не выучит — в полет не пущу.

Песенное получалось у них начало в Батайске. И медицинское. С тревогой переступил Комаров порог санчасти, где снова, в который уже раз, заседала комиссия. «Повернитесь, присядьте, нуте-ка не дышите...» Он только что отправил письмо, в котором сегодня мы читаем такие строки: «А насчет комиссии я решил следующее: проходить буду так, как есть на самом деле. Обманывать не буду». Врач-ушник велел зажать нос и как следует надуться. Володя надулся так, что покраснело лицо, а в глазах запрыгали зайчики. Вот сейчас он услышит окончательный приговор...

— Отменно, молодой человек, отменно, — неожиданно сказал врач.

Потом был старичок невропатолог, который стучал молоточком по коленной чашечке.

— Мне уже сто раз стучали, — сказал старичку Володя. — А пока стучали — год пропал. Второгодник я, папаша.

«Невропатолог — умный и толковый старикашка. Я поговорил с ним, как с отцом. На душе спокойнее; он убеждал меня, что год не пропал, что вообще время не может пропасть, что этот год обогатил мой жизненный опыт. Советовал больше читать... Надо бы с ним подружиться. У него, я думаю, много книг...

## Валентин Ляшенко

### РУКУ, НЕБО!

Прошел также глазной и ушной кабинеты. Все в порядке. Зрение отличное. Даже уши в порядке, хотя я так боялся за них после борисоглебской барокамеры. Остался хирургический кабинет и терапевт. Сомневаюсь насчет селезенки, ведь я болел малярией...»

Успешно пройдя через врачебные кордоны, Володя тем более недоумевает, почему опять-таки не допускают к полетам. Что это за злой рок, в конце концов!

«Я, как есть, второгодник... В средней школе этого не было, а в авиации случилось, и довольно легко. Ребята повесили носы. Многие, среди них Николаев, особенно кричат, поговаривают о техническом училище и демобилизации.

Из десяти человек, проходивших комиссию, двое засыпались у ушника и троем дали перекомиссию. Это только на десять человек, прошедших трех врачей... Так что человек пятнадцать примерно уедут отсюда...»

А тем временем курсанты разучивали песню. Не очень-то разучивалась песня, потому что никто из ребят не предполагал, что до неба на этот раз и в самом деле уже подать рукой...

12 июля их инструктор тихонечко подошел к дверям казармы. Постоял, послушал, заулыбался — разгладился. Из дверей под аккордеонный перелив доносилось:

Мы жили в этом городе,  
Любили в этом городе...

И вдруг плюнул с досады, услышав припев:

Ростов-город, Ростов-град,  
И сам черт ему не рад...

Рванул на себя ручку двери.  
— Сми-и-ирна-а! — рявкнул дневальный.





Родители В. Комарова.

Страшен был в гневе инструктор.

— Кто из жориков сочинил эту гнусь? Кто из жориков тронул песню?

Не очень-то смутил курсантов гнев инструктора, изучили уже порядком все его взбрыки-выбрыки. Пересмеиваясь, вытолкнули вперед курсанта Комарова. Глаза у инструктора сделались круглыми. Торопливо заговорил, застегивая и без того застегнутую пуговицу гимнастерки:

— Курсант Комаров! Потрудитесь исправить песню обратно! Я жду, курсант Комаров! Начинайте, пойте...

Дружный смех был ему ответом.

— Он не умеет, товарищ лейтенант.

Ему... это... медведь... на ухо... Лучше не надо, товарищ лейтенант.

Инструктор мгновенно овладел собой. Он все-таки понимал толк в розыгрышах и по молодости лет не умел долго сердиться.

— Без слуха скучно жить, курсант Комаров. Назначаю вас завтра в провозной полет. В небе споем без свидетелей. Дуэтом!

Вот так получилось, что уже следующее свое письмо Комаров начинает своеобразным эпиграфом: «13.07.46 г. Счастливое авиационное число». Цифра 13 останется и потом счастливой в жизни Комарова. На самолете под № 13 он уйдет в первый самостоятельный полет. 13 марта 1954 го-

да ему придет долгожданный вызов в академию. 13 октября 1964 года он проведет в космосе, среди звезд. 13 июля следующего года он узнает, что его кандидатура одобрена для проведения первого испытательного полета на «Союзе-1».

В одном из последних писем Комарова читаем: «Настроение хорошее, бодрое. Вообще чертова дюжина ко мне благосклонна. А сегодня на календаре тринадцатое».

Среди читателей вряд ли найдется человек, ни разу в жизни не летавший на самолете. А Комаров, даже надев летную форму, ждал этого дня четыре года. Мы можем сделать вывод, что уже четырехлетнее ожидание было школой выдержки и упорства.

Мы не знаем, правда, как прошел тот первый полет. Уже после гибели Комарова в его квартире на книжной полке я увидел томик Сент-Экзюпери. Четким карандашом в нем были отмечены весьма характерные строки. Не давнее ли воспоминание, первое и потому самое острое, заставило Комарова вчитаться в них, вновь пережить радость открытия неба и отчеркнуть, чтобы не потерялись?

«Мощные колеса придавили тормозные колодки. Трава, прибитая ветром от винта, как будто течет метров на двадцать позади... Рев мотора попеременно то затихает, то усиливается, наполняя воздух плотной, почти твердой средой, которая смыкается вокруг тела...

Земля натягивается под колесами и мчится, словно приводной ремень. Ангарты на краю аэродрома, деревья, затем холмы возвращают горизонт, а сами ускользают».

Еще мы знаем из писем Комарова, что у него и в этом первом полете заложило уши. Не так, как в барокамере, не до острой боли, но все-таки заложило. Он скоро привык к этому ощущению и на первых порах старался не обращать на него внимания, терпел боль даже при резкой смене давлений: например, при пикировании, когда она, боль, давала себя знать основательно. Чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, расскажем, чем окончился в конце концов поединок Комарова с его летным недугом. В 1948 году, когда программа полетов усложнилась и в нее были включены элементы высшего пилотажа, Владимир вынужден был из-за нестерпимой боли обратиться к врачу. Опять же заметим, что он летал, преодолевая недуг, больше года. И наконец решился.

«В зоне ушей у меня закладывало всегда. Беспокоило, конечно, и предполагал, что это последствия моего полипа (в носу). Теперь решил, пока есть время, сделать операцию. Оказалось, что у меня так называемый аденоид носоглотки, то есть тот самый детский полип, огрубевший и выросший. Только и всего. Операция пустяковая, длилась всего лишь несколько ми-



В. Комаров.  
1944 г.

нут. Операция была 23-го, а сегодня я уже здоров, как бык».

И добавим, до конца своей жизни Комаров больше не жаловался на вестибулярный аппарат. В дальнейшем ему приходилось «пикировать» в барокамере с высоты и десять и двадцать километров, выдерживать учебную «разгерметизацию» космического скафандра, задышаться в липкой духоте термокамеры. Он выносил все выпавшее на долю его тела «космические» испытания с той же выдержкой, твердостью, терпением, с какой двадцатилетним курсантом, преодолевая пронзительную, сверлящую головную боль, бросал самолет в отвесное безжалостное пики.

Но полеты для курсанта — те же праздники. А еще были будни, армейские, строгие. Был инструктор, не спускавший «жорикам» ни малейшей провинности. Были самоволки и нагоняи от начальства. подъемы по тревоге — словом, была та армейская выучка, без которой, как ни крути, Володя Комаров не был бы тем «окончательным», «готовым», нашим Владимиром Комаровым, знакомым нам по газетным очеркам, по фотографиям, по устным рассказам, по улыбке, по движениям, по манере разговаривать и умению слушать.



Батайские письма Владимира Комарова позволяют его устами поведать о жизни и быте курсанта первого года обучения, любимца третьего курсантского батальона Володи «Комарика», то есть позволяют составить своеобразную биографику будней курсанта.

«В нашем авиатородке сколько угодно следов войны. Общежития, мастерские, ангары — все разбито. Остался каким-то чудом один четырехэтажный дом. Штаб помещается в бараке, мы живем в отремонтированном здании техсклада. А еще раньше жили в предбаннике, выдерживали карантин. Да, баня здесь хороша. Чистенькая, светлая, вода в неограниченном количестве. Пока мы жили в бане, то купались по три-четыре раза в день — это обязательно. Наверстали упущенное в Борисоглебске».

«Городок наш чудесный, весь в зелени. Особенно нравится мне главная аллея, которая тянется примерно с километр. Ветки деревьев ее полностью закрывают. Пустая машина кабиной задевает за них. Хорошо в свободное время погулять по ней».

«Столовая здесь меньше, чем в Борисоглебске, но чистая, белая. За столиком сидят по шесть человек. На стол накрывают белую клеенчатую скатерть, ставят соль, перец. Хотя норма и одна, а кормят здесь лучше. Во-первых, вкуснее приготовлена пища и больше. Только вот масло выдают все сразу в завтрак. А с белым мягким хлебом (напоминает московский) это недурно...

Мисок, кружек хватает на всех, так что обслуживают быстро. Одно плохо — это то, что ложки курсанты носят в карманах, по-солдатски. И вот ходить еще приходится много курсантам, потому что здания разбросаны (это и понятно, много разбитых). Из батальона до столовой метров четыреста, до учебно-летного отдела километр, а может, и больше, до штаба тоже метров четыреста. А с развода идти до караулки километр с лишним. Сапоги здесь быстро разобьешь».

«Такого самолетного класса, как в Борисоглебске, конечно, нет, машины стоят под открытым небом. Мы здесь стали прямо-таки заводными. С самого утра приходится заводить себя. Все переходы, все построения совершаем бегом: здесь нет различий — идем ли на обед, с завтрака или с занятий. Быстрее, быстрее, быстрее! Везде бегаем, личного времени почти что нет. На самоподготовку отводится только два часа. А еще ежедневная чистка оружия...»

«Самое тяжелое время для меня — это вечерний час в постели перед сном. Ложимся около девяти, хотя и чувствуешь усталость, но не спишь. В голову лезут мысли о доме, о родителях. Представляю, как трудно им сейчас там, а маме вдвойне. Я писал ей, что перевели в эскадрилью.

Этого достаточно, чтобы она ежедневно беспокоилась обо мне. О полетах не пишу, думаю, что так лучше».

А тем временем инструктор все внимательнее приглядывался к неторопливому в движениях, лобастому курсанту. Находил в нем инструктор какую-то особенную ясность и бесхитрость, импонирующую аккуратность и подтянутость. Не лез курсант Комаров вперед товарищей и ничем вроде бы среди них не выделялся. Однако, странное дело, никогда не терялся в группе курсантов, был своего рода центром, так что и комэску, и инструктору, разговаривая с курсантами, приходилось поневоле обращаться вроде бы как к Комарову. Он не ходил в заводилах, но и не числился в пай-мальчиках. Разве что учебные записи Комарова по неискоренимой аккуратистской привычке были — хоть выставлял их на стенд лучших работ...

Однажды в полете инструктору на миг показалось, что заклинило ручку управления. Дернул сильнее — ручка поддалась. На учебных самолетах управление спаренное. Это в другой кабине курсант Комаров в забывчивости положил на ручку ладонь.

Позже инструктор наблюдал, как легко курсант Комаров выбрасывает вверх штангу, равную его весу. Это было тем более удивительно, что с виду в нем не очень-то угадывалась физическая сила. Разве что на спортплощадке, в майке и трусиках, он выделялся среди курсантов рельефом мышц, налитыми силой плечами, коротким, мощным столбом шеи. Но он неизменно уступал другим курсантам в упражнениях на ловкость, был откровенно неуклюж на волейбольной площадке, на турнике и брусьях, ненавидел кольца и, честно говоря, не питал в то время большой любви к физическим упражнениям, особенно таким, где требовалась точность движений, точная дозировка мышечного усилия.

Это не могло не сказаться на особенностях овладения им летным мастерством. Поначалу все складывалось удивительно удачно. Вслед за 13 июля, «счастливым авиационным числом», наступило 9 июня следующего года — день первого самостоятельного вылета на самолете. Как мы знаем, опять же под номером тринадцать.

«Счастье мне улыбается. Я первым из нашей группы вылетел самостоятельно, мне стали планировать больше полетов. Так сложилось у меня, а вот судьба троих из нашей группы неопределенна. Самостоятельно их не выпускают (не получается посадка), а через день минут по 10—15 дают провозных».

Но вот инструктор стал усложнять полетное задание курсанта Комарова, и Володя со всей самокритичностью признается: «Мои полеты теперь средние. В зоне все получается, кроме переворотов. Хоть я уже и закончил зоны, а перевороты как следует



не отработал. Вместо переворота на 180 градусов у меня получается на 270 градусов или «бочка» на планировании. Никак не усвою момента дачи рулей на вывод и постановки их нейтрально. На следующей неделе придется сдавать зачет по технике пилотирования. Я не уверен, что все получится хорошо».

И инструктор был не уверен. Курсанту никак не удавалось «почувствовать» самолет, слиться с ним в едином дыхании. Не хватало чистоты в работе с рулями. Курсант работал с «перебором». Если делал «горку», то круче «горки» не придумать, и один раз едва не сорвался в «штопор». На боевом развороте в исполнении курсанта Комарова у инструктора Молодцова темнело в глазах от перегрузки.

— В бою тебя, конечно, сбить будет трудно, — рассуждал инструктор. — Но и ты, извиняй, напасть точно не сможешь. Чувствуй машину, Володя, чувствуй...

Они незаметно и крепко подружились. Не раз и не два будет вспоминать потом Комаров своего первого инструктора, будет неизменно щедр на хорошие, от души слова по адресу инструктора. За внешней грубоватостью лейтенанта легко проглядывалась истовая влюбленность в небо, в скорость, в самолеты. Он не был собственно педагогом, не очень-то искал тропинок к сердцам курсантов, начисто отрицал какие-то там педагогические приемы, но и то, и другое, и третье ему заменяла непосредственность участия во всех курсантских делах. Успех — на двоих, неудачу — на двоих, и как не простить лейтенанту даже грубый педагогический промах, если видишь, чувствуешь, осязашь, что он переживает твою неудачу куда сильнее, нежели ты ее переживаешь сам?

Часами занимался Володя на тренировке, а инструктор стоял рядом и от досады постанывал:

— Не так, не так...

Вновь и вновь они уходили в совместный полет. Володя завел особую записную книжечку (в этом весь Комаров), куда аккуратно, неизменным каллиграфическим почерком заносил после полета малейшие свои огрехи («Очень помогла мне записная книжечка. Все ошибки записываю в нее, а после полета обязательно просматриваю»).

Нет, он меньше всего полагается на интуицию, на автоматическую оттренированность движений, которой добивается инструктор. Вернее, ему только этого мало, он (и в этом опять же весь Комаров) должен осознать все свои действия в воздухе, разложить их по полочкам и самым тщательным образом проанализировать. Кто еще, кроме Комарова, мог послать вот такое подробное аналитическое письмо?

«Вначале у меня были действительно эти ошибки: я поспозно давал рули на вывод

и слишком плавно. Но эти ошибки я быстро исправил, когда мне указал на них инструктор. Но... перевороты все не получались. И только в последнюю зону, когда опять я полетел с инструктором, удалось «охватить» этот переворот. И ошибка моя заключалась в том, что рано ставил рули нейтрально».

Переворот выполняется на скорости 140 км/ч в режиме горполета. Как только установил эту скорость, небольшим движением ручки «на себя» создаешь задрис самолету градусов 15—20 — это для того, чтобы вращение самолета вокруг продольной оси было не со снижением. Затем одновременно «даем» ногу до отказа и ручку по диагонали «на себя» в сторону переворота, самолет начинает переворачиваться. В тот момент, когда он перевернется на 80 градусов, то есть плоскость будет перпендикулярна земле, убираем газ. Когда самолету до положения вверх колесами остается довернуться градусов 30, нужно дать рули «на вывод», то есть противоположную ногу до отказа и ручку по диагонали «от себя» за ногой. Этим мы прекращаем вращение самолета вокруг продольной оси.

Машина стреловидная, тяжелая и замедленно реагирует на отклонение рулей, поэтому она по инерции поворачивается эти оставшиеся 30 градусов и в положении вверх колесами прекращает вращение. Самолет опускает нос, и только тогда нужно поставить рули нейтрально. Самолет начинает пикировать. Беру ручку «на себя», выводим самолет из пикирования и в угле планирования (смотрим по капоту) даем газ.

Моя ошибка была в том, закоренелая ошибка, что я рано ставил рули в нейтральное положение. После дачи рулей на вывод самолет еще не прекращал вращения, а я ставил рули нейтрально, и самолет медленно, снижаясь, продолжал вращение дальше. Вот тебе и «бочка» на планировании. И как только я заметил эту ошибку и стал следить, чтобы не повторять ее, все стало получаться хорошо».

Не забудем, однако, что это была только первая ступень овладения мастерством. Сколько еще записных книжек исчеркает Комаров, сколько еще напишет таких «аналитических» писем! Завидовал ли он курсантам, которые с моцартовским вдохновением схватывали и тут же, вслед за инструктором, виртуозно выполняли сложнейшие фигуры? Такие курсанты были, и, наверное, Комаров им завидовал. Но это была творческая зависть, и он преодолевал ее по-своему, по-комаровски. Он схватывал не на лету, не сразу, но зато прочно и навсегда. Он систематически и целеустремленно вкладывал в себя знания, содержал их в себе в образцовом порядке.

Курсанту-рундеркинду стоило из-за по-





В. Комаров.  
1947 г.

годы не полетать неделю, как перед инструктором вставала задача «втянуть» курсанта, напомнить. Комаров и после месячного перерыва взлетал с прежней уверенностью, выдерживал скорость до километра, а углы разворотов — до долей градусов. Он был «надежным» курсантом, и не случайно, наверное, полеты по новой программе инструкторы начинали с полета Комарова. Он первым вылетел на Ту-2, потом первым вылетел на Як-11.

Вспомни, читатель, ты наблюдал эту машину (верткую, стремительную) на воздушных парадах. На ней установлено немало мировых рекордов. В то время ее верткость и стремительность были в новинку. Курсанты восторгались ею, а инструкторы предупреждали: «Осторожно,

ребята, она еще себе на уме». Где бы затем ни был Комаров, на каких бы марках ни летал, его неизменно тянуло к десаафовским аэродромам, на которых единственно и надолго закрепились эти машины, столь любимые воздушным акробатам. На Як-11 он провел свой первый учебный воздушный бой, освоил полеты в группе, на Як-11 впервые завис вниз головой в «мертвой петле»...

Беспокоило, однако, больше другое. Академия, высшее образование...

Откуда было знать Комарову, что в будоражащей его голову мысли об академии проявлялась, давала себя знать новая тенденция развития советской авиации? Летчик-инженер! Такого понятия еще не существовало в авиационном лексиконе, но

оно уже рождалось с самой логикой стремительного движения авиационной мысли. Уже чертили небо первые реактивные самолеты, один за другим сокрушались рекорды скорости, высоты и дальности. Через год-два советские академии уже выпускают первых экстраспециалистов, на груди которых рядом с академическим значком непривычным сочетанием будет сиять значок авиационного аса. Они почти все уйдут в испытатели — эти первые люди, соединившие в себе вершину инженерных знаний и высочайшее летное мастерство. А по их дороге пойдут другие...

Владимир Комаров уже прощупывает эту дорогу: «Мечта об академии разгорается во мне все ярче».

В его размеренной курсантской жизни вроде бы ничего особенного не происходит: занятия, полеты, занятия, полеты. Разве что Володя начинает относиться к себе вдумчивей и строже, он на глазах взрослеет.

В курсантской среде Володя слышит пуританином. Что-то давненько он не уходил в самоволку, не ходит и на вечера в курсантский клуб.

«Меня уже не привлекают веселые компании, танцы и все прочее. Не вижу в этом пользы, а потому сижу «дома».

«Был раза два в кино, и больше нет никакого желания. В свободное время читаю, что доставляет мне больше удовольствия, чем кино или фланирование до мозолей на ногах по улицам».

Он с удовольствием бы съездил в Ростов, но таких длительных увольнительных курсантам не дают.

«Ездил в Ростов. Возили с Кузнецовым уголь начальнику санслужбы. Осмотреть город не пришлось, потому что мы были без увольнительных и всего только часа полтора. Даже искупаться не пришлось, хотя пляж здесь замечательный. Ребята с девочками примерно моего возраста спокойно идут, о чем-то разговаривают, смеются, а ты сидишь в машине и рад хоть этому».

«Еще раз съездил в Ростов с командиром. Покупали кое-что для офицерского вечера. С утра разъезжали по магазинам, но все же выбрали время сходить в театр. Смотрел «Губернатор провинции». Артисты играли вяло. Зал был пуст».

Во дворе отчего дома.  
1947 г.





Пришло новое увлечение — боксом. Достойно внимания, что любому делу, которому отдавался Комаров, он не отдавался слепо и безрассудно. Затратить на что-то драгоценное время? Он должен знать, что это действительно необходимо.

«Боксеры наши готовятся к соревнованиям. Я тоже хочу подзаняться, а то поправляюсь не по дням, а по часам. Мой вес округлился до цифры 70... Каково? Я все удивляюсь, откуда это берется? Прямо хоть сейчас станю генералом, солидность достаточная... При таком положении дел я и решил заняться боксом. Нужно поддерживать себя физически, чтобы окончательно не раскиснуть за зиму. «Деремся», конечно, любя, по-дружески. Достается больше мне, как новичку».

Больше всего Владимира беспокоят письма из дому. Мать тяжело больна, отец тоже похварывает. Что и говорить, им живется несладко. В последний приезд от Владимира не ускользнуло, что относительный недостаток на столе в честь приезда сына дался матери с огромным трудом. Сыновнее сердце сжималось от жалости к ее худеньким плечам, к изможденному болезнью и военной нуждой лицу. Чем он может помочь семье? Несколькими рублями курсантского довольствия?

Уже шестой год он учился «на летчика». Не многовато ли? Не слишком ли дорого для материнских сединок обходится его честолюбивое желание во что бы то ни стало стать летчиком? Он мог бы три года назад легко попасть в техническое училище. Был бы уже лейтенантом, помогал бы семье деньгами... В одном из писем у Комарова вырывается:

«К нам в эскадрилью назначен техником звена лейтенант, выпускник Харьковского училища, тоже бывший спецшкольник. И вот представьте, мне еще два года тянуть солдатскую лямку, а он уже более-менее самостоятельный человек. Я помню, как они старались обмануть комиссию, чтобы попасть в летное училище. Как им хотелось быть асами!»

Чем ближе срок окончания училища, тем сильнее Комаров горит нетерпением. В его письмах появляются подробнейшие перечисления всех задержек (настоящих и мнимых). Появляются потоки раздражения от нелетной погоды, от чьей-то нераспорядительности.

«С весны будем продолжать полеты на «Яках» и сразу же начнем на «Лавочкиных». Все будет зависеть, как и всегда у нас, от бензина, исправной материальной части, погоды, а больше всего от организации полетов».

«Погода стоит — весь месяц летать можно. Но машин на всех еще нет. Как перегонят, так и начнем летать на всю катушку».

«Летать, как можно больше летать», — говорят нам. Что-то, а к полетам всегда готовы. За уши не оттянешь...»

Цель близка. Один-единственный бросок — и он достигнет ее. Надо, во-первых, коль скоро следующей целью стоит академия, окончить училище на «отлично», по первому классу. Во-вторых, не терять времени, находить минуты для занятий по программе вступительных экзаменов. И читать, как можно больше читать. Он не обманулся насчет старичка невропатолога — у врача оказалась богатейшая домашняя библиотека. Да и в клубной курсантской библиотеке кое-что имеется. Так что полный вперед, курсант Комаров!

У него мягкий, ровный, располагающий к себе характер. Курсантское окружение Комарова тех лет и нынче не может припомнить случая, чтобы Володя вспылывал, нагрубил, нахамил, соврал. Он пользуется непрерываемым авторитетом, его честность общепризнана, так что в жарких курсантских дебатах можно было услышать: «Не веришь? Спроси у Комарова». Он не подлаживается к начальникам, а из-за врожденного неприятия любой несправедливости у многих из них ходит далеко не в любимчиках. Нашумел, например, в училище случай, когда тихий, скромный курсант Комаров вдруг подал на имя генерала весьма энергично написанный рапорт, который разоблачал махинации с продуктами в курсантской столовой. Сколько курсантов дежурили по кухне до него, сколько курсантов «не заметили» недовешенной пайки хлеба и подозрительно тонких ломтиков масла! Шел сорок восьмой год, только-только отменили карточки, питание в училище оставляло желать много лучшего... А тут еще злоупотребления. Не сразу была признана его правота, началось хождение по инстанциям. В одном из писем Комарова находим отголоски этой давней истории: «Получилось, что раз я подал рапорт на имя генерала, значит, не доверяю своим командирам, которые ходят дежурными по столовой, что не знаю устава и т. д.».

В другой раз он имел неосторожность возразить командиру на разборе полетов. Курсант Комаров со свойственной ему педантичностью напомнил, что неделю назад этот же элемент полета другой командир объяснял совсем иначе. «Я лишь хотел уяснить, как же правильно. Я не придал этому случаю никакого значения и забыл о нем. Но командир, оказывается, помнил». И в самом деле, оказывается, что командир расценил это как подрыв авторитета. «Полетели мы с ним на стрельбу по наземным целям... По программе полета он должен был выполнить стрельбу, а я повторять. После взлета думаю, что он, как обычно, будет управлять самолетом, я почти что отпустил ручку управления и



жду: вот сейчас он возьмет управление на себя. Самолет летит по прямой все дальше. Вдруг слышу в наушниках: «Куда летите?..» Сразу же самолет был буквально перевернут — значит, командир не в себе». Возвратились на аэродром. «Ни за что я получил нагоняй... Здесь же был командир эскадрильи. Начал ругать меня, говорить, что я считаю себя самым умным, а всех остальных дураками... Результат — был отстранен на день от полетов и стал нерадивым курсантом...» И еще из этого же письма: «Обидно, когда тебя не понимают, не понимают твоей честности, откровенности. Не могу я быть хитрым».

Этот случай изрядно обеспокоил Комарова: ведь он поставил себе целью окончить училище с отличной аттестацией. Иначе нечего и мечтать об академии — середнячком-то он училище всегда окончит. Но козь скоро надо применить хитрость, подладиться — нет, на это Комаров не согласен. Но как все-таки медленно тянется время!

«Усиленно работаем в две смены с утра и до позднего вечера... Работаем на самых лучших, современных машинах... Если бы не две неприятности, в результате которых мы лишились двух машин на некоторое время (с ребятами все хорошо, отделались без всяких царапин), то было бы еще лучше».

Он готовится к отъезду на полевой аэродром, где начнутся последние контрольные полеты. А пока шлифует взлеты и посадки: говорят, комиссия не очень придирается к фигурному пилотажу, считает, что в частях курсанты это наверстают, зато не дает спуска малейшим ошибкам в обычном пилотировании. «Вот я пишу, что закончил «круг», «зоны», и, читая это, все кажется так просто. Но это не так. Сколько переволноваться, пережить пришлось за это время вместе с нашим инструктором...»

Инструктор неизменно отмечает, что курсант Комаров летает уверенно, грамотно. Его ошибки уже скорее исключение из правил, в них появляется элемент случайности.

«Летаю ничего, подходяще. Но вот в полете с командиром звена я выполнил четвертый разворот. Говоря нашим языком, получил оттяжку. Весь полет выполнил хорошо, а вот на четвертом развороте потерял скорость на 20 км/ч. Увлёкся заходом, отлично зашел, даже самому понравилось, а скорость просмотрел. И на выводе вместо 270 допустил 250. При перетягивании ручки на этом развороте можно сделать виток «штопора», из-за которого теряешь в высоте 400—450 м. Принимая во внимание, что 4-й разворот выполняется на высоте 300—350 м, то... вывод ясен, я думаю. Вот за это мне и досталось. Теперь у меня, конечно, внимание на этом развороте распределяется иначе».

«Я вполне уверен в себе. Нужно толь-

ко немного доработать посадку — иногда допускаю резкие движения ручкой в момент приземления, а нужно плавно «добирать» ручку по мере погашения скорости на пробеге. Ничего. В нескольких полетах отработаем».

Полевой аэродром встретил курсанта Комарова низкими свинцовыми облаками и раскисшей взлетной дорожкой. Шел апрель сорок девятого года. В окаймляющих аэродром лесополосах цвели жерделы (дикий абрикос), над мокрыми пашнями кружились грачи. Жили по-военному, в палатках, ждали улучшения погоды. Руки тосковали по штурвалу. Эта тоска, неясная, томительная, есть первый признак становления летчика. Ее появления ждут у курсанта инструкторы. Наверное, если бы не существовало понятия «нелетная погода», его стоило бы выдумать. Ибо как иначе, кроме как по нетерпению, по тоскливому взгляду на облака, по особому зуду в ладонях узнаешь летчика, почувствуешь летчика?

«Живем в лагере — городе полотняном... Леса здесь нет, дерна тоже, уют и удобство в палатке создать трудно. Живем, можно сказать, в ямах, накрытых брезентом. Пока что сыровато, потому что всю неделю моросил дождь. Он поливал и сверху, и подбирался под кровати. Дождь этот приковал нас к земле — не летали. Но в последние два дня погода улучшилась, солнышко быстро подсушило землю, и сегодня наши ребята уже «подлетывали». А я в наряде, дневальный по лагерю... Зато познакомился с будущим своим инструктором. Суровый дядька, старый школяр, говорить много не любит... Но механики говорят — хороший человек...»

«Хороший человек» после первого же полета нашел, что у курсанта Комарова нет своего «почерка».

— По-учебному летаете, курсант, — сказал инструктор. — И развороты у вас до того правильные, что противно смотреть...

Это было что-то новое в преподавании. Уж у кого, как не у курсанта Комарова, отработана техника пилотирования, кто, как не курсант Комаров, до километра выдерживает заданную скорость и пилотирует чисто, любого дорогого посмотреть.

— Не вижу я по вашему полету, курсант, — продолжал инструктор, — какой у вас, например, характер. Летать без характера — все равно что кушать без аппетита...

Известно, однако, что аппетит приходит во время еды, а то, что летчики называют своим почерком, находится в прямой пропорции к количеству налетанных часов. Комаров в последний год обучения летает много, жадно. Бывали дни, когда он делал подряд семь-восемь вылетов. Пропыленный, загорелый, невыразимо счастливый близ-





В кабине самолета.

ким окончанием училища — таким мы видим Комарова на последней финишной прямой его пути к профессии летчика. Счастлирое, незабываемое время. Через несколько секунд после взлета его скоростная машина выскакивала на Азовское море. До конца своих дней сохранит Комаров это незабываемое юношеское воспоминание: синяя лазурь моря, синяя лазурь неба, и между ними, в прозрачном хрустальном атмосферном столбе купается его самолет. Он летчик, он уже почти летчик! Слышишь, море? Слышишь, голубая лазурь? Ему уже позволено выполнить пару лишний «бочек» — инструктор понимает нетерпение новорожденной души летчика. Он и машина уже близнецы-братья. Ее элероны — продолжение его нервов. Ее мотор — это его собственное сердце. Крепкие нервы и крепкое сердце!

Но почему так долго нет писем из дому? Да, да, конечно, — новый адрес полевой почты... Знакомый лейтенант едет на два дня в Батайск. Не сочтет ли он за труд привезти письма курсанту Комарову? И вот оно в руках, отцовское письмо. Что-то адрес написан неаккуратно. Непохоже такое на отца...

— Курсант Комаров! Получите полетное задание на сегодня. Что с вами, курсант Комаров?

...Не дождалась мать сына-летчика...

— Я сегодня... не могу летать...

Ночь. Степь. Палатка с распахнутыми в ночную прохладу крыльями. Приглушенное тьмой урчание самолетных моторов. С кем облегчить душу? Кому излить горе?..

«Мне очень тяжело сейчас и трудно писать. Умерла мама... Это она мне говорила, чтобы я учился, учился всю жизнь свою, где бы я ни работал. Как трудно было ей дать мне воспитание и образование. В тяжелые годы войны, когда мы с ней остались одни (это до моей поездки в спецшколу), она была готова отдать мне последний кусок хлеба, лишь бы я хорошо занимался, она готова была отказать себе во всем. Как она ждала и хотела увидеть своего летчика!.. Я хотел и мечтал после окончания училища взять маму с собой, сделать так, чтобы жизнь ее на старости лет была спокойной, счастливой, как только это возможно. И это было бы лишь маленькой благодарностью за все. Как мне мучительно больно за все свои проделки и шало-



Он мечтает о новых полетах.

сти. Сколько светлых воспоминаний связано с дорогим словом «мама», и какой острой болью в сердце отзываются они, когда ее нет. Я на всю жизнь запомню ее, такую маленькую, с ее мягкими движениями в отъезд из Москвы, когда она в пос-

ледний раз провожала меня, поцеловала и, сама в слезах, осталась у дверей».

В эту ночь, мучительно лунную и мучительно долгую, мы в последний раз видим Комарова с папиросой. Утром ему выправили отпускные документы. С попутным



грузовиком Володя добрался до станции. Взял билет — и вдруг вернул его обратно. Какой смысл ехать, если мать уже похоронили?..

— Курсант Комаров! Ваше полетное задание на сегодня — воздушный бой...

«Противником» летал командир эскадрильи. Они набрали высоту и красиво разошлись параллельными курсами, будто боксеры, приветствующие друг друга прикосновением перчаток, или фехтовальщики, засвидетельствовавшие уважение друг друга изящным предбоевым пируэтом. На границе зоны, отведенной для боя, Володя выполнил боевой разворот и увидел, что «противник» стремительно уходит в облака. Редкие, пухлые, они не скрывали самолета комэска, но смысл маневра был понятен: получить преимущество высоты. Сейчас комэск переводит бой на вертикаль. Вот его «Лавочкин-7», красиво завалившись на крыло, начал атаку сверху. Володя уходил, наращивая скорость, закладывая глубокие виражи направо и налево, чтобы «противник» не мог догадаться, в какую сторону последует самый главный маневр. Однако в последнюю минуту он почувствовал, что уйти виражом не удастся. Комэск уже навязал бой на вертикалях, и надо его принимать. Бросить самолет в пике? Уйти боевым разворотом? Решение зависит от скорости «противника». Надо ее почувствовать, соотнести с возможностями «Лавочкина», а на размышление отпущены буквально доли секунды. Пальцы на ручке управления побелели от напряжения, по щекам катится едкий пот. Пора! Ручку на себя, правую педаль до отказа. На плечи наваливается тяжесть. Рев мотора переходит в басовый ключ, пропеллер вдребезги разносит встретившиеся на пути облака. В верхней точке разворота он переворачивает самолет и, вновь наращивая на снижении потерянную скорость, ищет «противника». Роли переменялись. Теперь он преследует, он диктует волю «противнику». Комэск пожинает плоды собственной выучки. Высота, скорость, маневр, огонь — не комэск ли втолковывал курсантам эту основную формулу боя?

«Летаю по последнему разделу обучения — боевое применение. Это самые интересные и практически самые важные полеты для летчика-истребителя. Подробно писать об этом нельзя... Могу лишь сказать, что получается подходяще, хорошо...»

Получалось настолько «подходяще» и «хорошо», что начало внушать серьезное беспокойство. Особенно с той поры, когда Володе однажды предложили вылететь в зону на Ту-2 с новичком курсантом. Уж не присматриваются ли к нему, чтобы оставить затем инструктором?

«По отношению ко мне командиров, даже очень больших командиров, я

чувствую, что эта участь может меня постигнуть».

Такой вариант его совершенно не устраивает. Почему?

«Поступить в академию с инструкторской работы мне, кажется, гораздо труднее, чем из строевой части».

До чего же упорен, до чего же верен поставленной цели этот лобастый, широкий в кости курсант! И вообще он немного странный. Ребята таскают в нагрудном кармане фотографии своих девчонок. Курсант Комаров носит фотографию матери. Он редко подступает к командиру с просьбой об увольнительной, охотно меняется с товарищами дневальством. У него нет в городе знакомой девушки, однако ремень и пуговицы у него всегда начищены до блеска, подворотничок неизменно чист, как будто он только-только собрался в увольнение, кровать застелена безукоризненно, в тумбочке образцовый порядок. Вот только к самостоятельности его так и не удалось приохотить. Зато библиотечный формуляр курсанта Комарова давно разбух от вкадавшейся.

...Он сдает экзамены один за другим легко, против фамилии Комарова появляется все больше и больше отличных отметок. Контрольные полеты, материальная часть, строевая подготовка...

«Ну, основное закончил. Как будто глыба свалилась с плеч. Так мы ждали этого дня! Не верится, что я уже настоящий летчик! Не представляю, каким я буду офицером, как буду жить и работать».

То, что произошло в последний день экзаменов, совершенно не вяжется с характером Комарова. Не вяжется настолько, что мы могли бы вообще опустить этот эпизод из описания его жизни, счесть этот эпизод досадным недоразумением, нелепой случайностью. Тем более что командир, когда ему доложили об этом случае, не поверил вначале и переспросил: «Комаров? Что-то непохоже. Вы не спутали?»

Однако в любой случайности есть своя закономерность. В данном случае нам важен не сам по себе этот преходящий эпизод, а отношение к нему Комарова. Детство и взрослость — вот что в нем переплетено тем диалектическим узлом, который ни один человек не минует в пору мужания. Обратите внимание на ту безжалостность, с которой юный Комаров подвергает себя самобичеванию:

«Вчера сдавали последние экзамены: строевую и физподготовку. До этого дня у меня было все хорошо, «тянул» на 1-й разряд. По строевой подготовке тоже получил пятерку. И чтобы быть полностью уверенным в отличном окончании, боясь получить четверку или тройку по физподготовке (ты же знаешь, какой я гимнаст), я попросил одного курсанта сдать за меня... Были уже такие случаи и проходили

успешно, гладко. И на этот раз, кроме меня, было еще двое таких же «умных». Ну и... нас разоблачили. Шум поднялся! Такой случай на государственном экзамене!.. Как глуп я, самый глупый мальчишка. Большой глупости и придумать нельзя. Как зелены мы еще, как молоды! Не умеем мы сначала подумать, а потом делать, не умеем еще...»

Мечта об отличном окончании училища рухнула в один день. Не верится, что спортивный конфуз произошел с тем самым Комаровым, который через десять лет получит три спортивных разряда, который не сможет жить без утренней зарядки, без спортгородка, без ежедневной, и немалой притом, гимнастической нагрузки. Одно за другим шлет он письма, где клеймит себя, винит себя. Себя, и никого больше.

«Да, в порядочного поросенка я вырос. И теперь этого поросенка нужно будет превратить в порядочного человека. Это то, с чего мне нужно заново начинать...»

Что было дальше?

«Вся моя история закончилась благополучно. 15-го числа все классное отделение пересдавало физподготовку и строевую. Я физо сдал на «четыре», а по строевой получил пятерку... Когда же приехал из округа председатель госкомиссии, то он не разрешил исправлять оценки. Приказал все оставить прежние (а там порядочно

троек), а нам троим исправили двойку на тройку. Итак, у меня одна тройка и четверка по дисциплине...»

Если уж четверку по дисциплине мнительный Комаров называет благополучным исходом, то можно представить, каких кар за содеянное он ожидал. Тем более, видно, удивило его написанное командиром «Представление к присвоению звания лейтенанта», в котором командир, невзирая на происшествие, дает ему отличную рекомендацию:

«Летную программу усваивает успешно, а приобретенные знания закрепляет прочно. Летать любит, летает смело и уверенно. Государственные экзамены по технике пилотирования и боевому применению сдал с оценкой «отлично». Материальную часть самолета эксплуатирует грамотно...»

Происшествие забыто, как будто его и не было. В самом деле, не омрачать же радость окончания училища одним-единственным преходящим эпизодом? Он ждал этого дня почти восемь лет. Пятнадцатилетним мальчишкой, надев форму спецшкольника, он начал видеть себя в мечтах летчиком, лейтенантом. Теперь ему двадцать третий год, его выправке теперь навсегда противопоказано штатское платье, а в характере через добродушие и застенчивость, почти не видные за добродушием и застенчивостью, пробиваются воля, упорство и редкостное самообладание...



Ноудополнеѣтъгдѣдожнпоплѣѣгоро  
ды ѡлоостыни исѣлы ѡсѣкини  
мнѡгимидоходы . дандетенебоѣръ  
ски иприказнылюден . дандпоробы  
люденасѣнихъ ѣиподапалѣкто  
рымѡбнходѣѣасѣконоѣдти .  
иисѣѡбнходѣпопелѣѡустройти  
ѡмонастырѣ иѡмонастырѣпогре  
вы илѣдники ипопѣрниѡсобныѣ "



В середине XVI века царь Иван Грозный и Алексей Адашев, опираясь на поддержку влиятельных боярских кругов, осуществили важные реформы, преобразившие Русское государство. Смерть Адашева и попытка Грозного утвердить принципы единодержавия положили конец эпохе реформ и полностью изменили политическую ситуацию. Знать охотно простила бы царю отставку его худородного советника Адашева, но она не желала мириться с покушением на прерогативы Боярской думы. На случай смерти Иван IV в 1561 году назначил семь душеприказчиков, которые должны были править страной от имени малолетнего наследника до его совершеннолетия. Большинство мест (четыре из семи) в опекуновом совете должны были получить «дядя» наследника — бояре Захарьины<sup>1</sup>. Распоряжения царя по поводу опекуновского совета не осуществились, но они показали всем, кто пришел к власти после Адашева. От участия в политической жизни были отстранены такие влиятельные люди, как удельные князья Владимир Старицкий и Иван Бельский, как авторитетные вожди Боярской думы князья Александр Горбатый и Дмитрий Курлятев, Иван Шереметев и Михаил Морозов, вершившие дела в пору реформ.

Стремление Грозного править с помощью нескольких родственников, вызвало повсеместное негодование. Бояре громко жаловались на нарушение старинных привилегий думы. Первыми запротестовали владельцы удельных княжеств — дядя царя князь Глинский и глава Боярской думы князь Бельский. При аресте у Бельского были найдены охранные грамоты от польского короля Сигизмунда II Августа, гарантировавшие ему убежище в Литве, а также подробная роспись дороги до литовского рубежа. По-видимому, у Бельского были единомышленники в среде высшей знати. Одному из них — троюродному брату царя князю Вишневецкому удалось бежать за рубеж вскоре после изобличения Бельского. Царь был встревожен изменой своих удельных вассалов, но пытался уладить конфликт мирными средствами. После кратковременного ареста Глинский и Бельский получили назад наследственные земли. Однако раздор между царем и знатью быстро разрастался. Князь Курлятев, пытавшийся бежать в литовские пределы, был насильственно заточен в монастырь. Попали в тюрьму удельные князья Воротыньские, владения которых располагались близ литовской границы.

Оттесненная от кормила власти, но не

## Р. Г. Скрынников

(Ленинград)

# БЕГСТВО КУРБСКОГО

сокрушенная удельно-боярская оппозиция все чаще обращала свои взоры в сторону Литвы. Там искали спасения те, кто не хотел мириться с самодержавными устремлениями Грозного. Оттуда ждали помощи те, кто подумывал об устранении царя Ивана. Тревога властей по поводу литовских связей оппозиции усиливалась по мере того, как на русско-литовской границе разгоралась война. В конце концов царь заподозрил в измене своего двоюродного брата — князя Владимира. Подозрения имели под собой основания. В 1563 году, когда царская армия и старицкие удельные полки скрытно двигались к Полоцку, из царской ставки бежал знатный дворянин Борис Хлызнев-Кольчев, предупредивший полоцких воевод о намерениях Грозного. Беглец принадлежал к числу близких людей князя Владимира и, как полагал царь, имел от него поручения к королю Сигизмунду II. Опасаясь предательства, Иван учредил бдительный надзор за семьей брата<sup>2</sup>.

Интрига старицких «государей» вышла наружу после того, как удельный дьяк Савлук Иванов решил разоблачить своего господина в глазах царя. Князь Владимир пытался отделаться от доносчика и упрятал его в тюрьму. Но Грозный велел привезти Савлука в Москву и получил от него подробные сведения о замыслах удельного князя и его сообщников. Официальная летопись, составленная после примирения братьев, в нарочито туманных выражениях упоминает о «многих неправдах» и «неисправлениях» удельного князя<sup>3</sup>. Но со временем Грозный сам разъяснил, в чем заключались эти «неисправления». «А князю Володимеру, — писал он, — почему было быти на государстве? От четвертого удельного родился. Что его достоинство к государству, которое его поколение, разве ваши [бояре] измены к нему, да его дурист? <...> яз такие досады стерпети не мог, за себя есмь стал»<sup>4</sup>. Казалось,

Московские воеводы извещают Ивана IV об измене Курбского.



бояре были не прочь заменить неугодного им царя Ивана его недалеким родственником, который стал бы послушной игрушкой в их руках. Вина Старицких была очевидной, и царь отдал приказ о конфискации Старицкого княжества и о предании суду удельных владык. Судьбу царской родни должно было решать высшее духовенство. (Боярская дума в суде формально не участвовала. Царь не желал делать бояр судьями в своем споре с братом. К тому же в думе было слишком много приверженцев Старицких.) На соборе царь в присутствии князя Владимира огласил пункты обвинения. Митрополит и епископы признали их основательными, но приложили все усилия к тому, чтобы прекратить раздор в царской семье и положить конец расследованию.

Конфликт был улажен в конце концов чисто семейными средствами. Царь презирал брата за «дурость» и слабости, и проявил к нему снисхождение. Он полностью простил его, вернул удельное княжество, но при этом окружил людьми, в верности которых не сомневался. Свою тетку, энергичную и честолюбивую княгиню Ефросинию, Иван не любил и побаивался. В отношении нее он дал волю родственному озлоблению. Ефросинии пришлось разом ответить за все: нестарая, еще полная сил женщина надела монашеский куколь.

В период суда над Старицким было получено множество сведений о пролитовских связях удельно-боярской оппозиции. Самый важный донос поступил от бывшего сподвижника Адашева боярина М. Морозова, находившегося в почетной ссылке в Смоленске. После полоцкой кампании в руки Морозова попал литовский пленник, заявивший, что литовцы спешно стягивают силы к Стародубу, наместник которого обещал им сдать крепость. Морозов поспешил сообщить о показаниях пленника царю<sup>5</sup>. Иван придал отписке Морозова самое серьезное значение. Стародубские воеводы были арестованы и преданы суду. И хотя показания пленного более всего компрометировали наместника Стародуба князя Василия Фуникова, пострадал не он, а его правая рука — воевода Иван Шишкин-Ольгов, родня Адашева-Ольгова. Власть обвинили в измене всех родственников покойного правителя. На плаху посланы были его брат окольничий Данила Адашев с сыном, тесть Петр Туров, их родня — Сатины. Суд над стародубскими изменниками повлек за собой массовые преследования. По свидетельству современников, власти составили обширные проскрипционные списки. В них стали записывать «сродников» Сильвестра и Адашева, и не только «сродников», но и «друзей и соседей знакомых, аще и мало знакомых, многих же отнюдь и не знакомых»<sup>6</sup>. Арестованных мучили «различными муками» и ссылали на

окраины, в «дальние грады». Стародубское дело накалило политическую атмосферу до крайних пределов и вызвало первую вспышку террора.

Жертвами террора стали «великие» бояре Иван и Никита Шереметевы, бояре и князья Михаил Репнин, Юрий Кашин, Дмитрий Хилков и другие.

Страх и подозрения омрачили взаимоотношения Ивана с его старыми друзьями, к числу которых принадлежал князь Андрей Михайлович Курбский. Царя, по его словам, уязвило «согласие» князя с изменниками, и он подверг воеводу «малому наказанию», отправив его в крепость Юрьев с почетным титулом наместника Ливонии<sup>7</sup>. В глазах Курбского такое назначение было знаком немилости.

Только что закончился победоносный полоцкий поход, в котором Курбский выполнял весьма важное и опасное поручение. Он командовал авангардом армии — сторожевым полком. Обычно на этот пост назначали лучших боевых командиров. В дни осады Полоцка Курбский находился на самых опасных участках осадных работ: он устанавливал туры против неприятельского острога. После завоевания Полоцка победоносная рать вернулась в столицу, ее ждал триумф. Военачальники могли рассчитывать на награды и отдых. Но Курбский лишен был всего этого. Царь приказал ему ехать в Юрьев и дал на сборы менее месяца. Всем памятно было, что Юрьев послужил местом ссылки «правителя» Алексея Адашева. Прошло менее трех лет с того дня, когда Адашев после успешного похода в Ливонию отбыл к месту службы в Юрьев, потом заключен был в юрьевскую тюрьму и там умер.

По прибытии в Юрьев Курбский обратился к своим друзьям, печерским монахам, с такими словами: «Многажды много вам челом бую, помолитесь обо мне, окаянном, понеже паки напасти и беды от Вавилона на нас кипети мнози начинают»<sup>8</sup>. Чтобы понять заключенную в словах Курбского аллегорию, надо знать, что Вавилоном называли тогда царскую власть. Почему Курбский ждал от царя новых для себя неприятностей? Вспомним, что в это самое время Грозный занялся розыском о заговоре князя Владимира, которому Курбский доводился родственником. Царские послы впоследствии заявили в Литве, что Курбский изменил царю задолго до побега, в то самое время, когда он «подыскивал под государем нашим государства, а хотел видети на государстве князя Володимера Андреевича, а за князем Володимером Андреевичем была его сестра двоюродная, а князь Володимирово дело Андреевича потому же как было у вас (в Литве) дело Швидригайлу с Ягайлом»<sup>9</sup>.

Аналогичные обвинения Грозный адресовал и непосредственно эмигранту Курб-



скому. Последний не оставил без внимания царские упреки и ответил на них в таких выражениях: «А о Володимере брате воспоминаешь, аки бы есть мы его хотели на царство — воистину о сем не мыслих, понеже (Володимир) и не достоин был того»<sup>10</sup>. Беглый боярин утверждал, будто он угадал грядущую немилость от царя в тот момент, «когда еще сестру мою (царь) насилием от меня взял еси за того брата твоего». Тут Курбский явно покривил душой. Именно брак его сестры княжны Одоевской со Старицким ввел князя в круг ближней царской родни и позволил достичь высокого положения при дворе.

В ближайшие месяцы после суда над Старицкими обстановка в Москве еще более осложнилась. Умер престарелый митрополит Макарий, пользовавшийся авторитетом как у взысканного молодого царя, так и у вождей боярской оппозиции. Преемником Макария стал бывший духовник царя Афанасий. Ему предоставлены были особые почести и привилегии. Царские милости упрочили согласие между монархом и церковью, что вызвало решительное осуждение со стороны вождей боярства.

Получив известия о происшедших в Москве переменах, юрьевский наместник Курбский написал второе послание своим единомышленникам в Печерский монастырь, которое, однако, не осмелился отослать и хранил в своем тайнике на воеводском дворе. Послание рельефно выразило настроения полуопального боярина.

Прежде всего Курбский обвинил церковных руководителей «осифлян» (последователей Иосифа Волоцкого, сторонника богатой и сильной церкви) в том, что они подкуплены царем и богатства ради угодничают перед властями. Нет больше в России, писал он, святителей, которые бы спасли гонимую братию и обличили бы царя в его «законопреступных» делах. Слова Курбского свидетельствовали о том, что распри между царем и знатью привели к ожесточенной вражде. Могушественные вассалы не желали мириться с покушениями монарха на их власть и имущество. Курбский дерзко обвинял «державного» правителя в кровожадности, в том, что своей свирепостью он превзошел «зверей кровоядцев». Из-за нестерпимых мук, продолжал боярин, некоторым придется «без вести бегуном ото отечества быть»<sup>11</sup>. Этот намек вполне объясняет, почему Курбский осмелился изложить на бумаге свои самые затаенные мысли. Он закончил тайное послание в Печоры перед самым побегом в Литву.

Озабоченный тем, чтобы оправдать задуманную измену, Курбский встал в позу защитника всех обиженных и угнетенных на Руси, позу критика и обличителя общественных пороков. С желчью писал он о

«нерадении державы» и «кривине суда» в стране, печалился о бедственном положении дворян, не имеющих не только «коней, ко бранем уготовленных», но и «дневных пищи», с удивительным сочувствием отзывался о безмерных страданиях торговцев и крестьян, задавленных податями. «Земледелец все днесь узрим, — писал боярин, — како стражут, безмерными данми продаваемыми... и без милосердия биеми»<sup>12</sup>. В устах Курбского слова сочувствия крестьянам звучали необычно. Ни в одном из своих многочисленных произведений он больше ни единым словом не вспомнил о землепашцах. Из многочисленных судебных дел литовского периода известно, как Курбский обращался со своими подданными и соседями. Соседей по имению он нередко бил и грабил, а «купецкий чин» сажал в водяные ямы, кишевшие пиявками, и вымогал у них деньги<sup>13</sup>.

Пробыв год на воеводстве в Юрьеве, Курбский 30 апреля 1564 года бежал в литовские владения. Под покровом ночи он спустился по веревке с высокой крепостной стены и с несколькими верными слугами ускорил в ближайший неприятельский замок — Вольмар. По словам американского историка Э. Кинана, русский на-

Осада Казани.





местник Ливонии мог бы захватить семью, поскольку он бежал, по крайней мере, на трех лошадях и успел взять двенадцать сумок, набитых добром<sup>14</sup>. В самом ли деле Курбский был столь черствым человеком, с легким сердцем покинувшим жену? В этом можно усомниться. Побег из тщательно охранявшейся крепости был делом исключительно трудным, и Курбский утверждал, что его самого верные слуги вынесли «от гонения на своей вые» (шее)<sup>15</sup>. Жену же свою беглец попросту не мог взять с собой. Ливонский хронист Ф. Ниештадт со слов слуги Курбского записал, что боярыня Курбская ждала в то злосчастное время ребенка<sup>16</sup>.

В спешке беглец бросил почти все свое имущество. (За рубежом он особенно сожалел о своих воинских доспехах и великолепной библиотеке.) Причиной спешки было то, что московские друзья тайно предупредили боярина о грозящей ему царской опале. Сам Грозный подтвердил основательность опасений Курбского. Его послы сообщили литовскому двору о том, что царь проведаль об изменных делах Курбского и хотел было его наказать, но тот убежал за рубеж<sup>17</sup>. Позже в беседе с польским послом Грозный признался, что намерен был убавить Курбскому почестей и отобрать «места» (земельные владения), но при этом клялся царским словом, что вовсе не думал предать его смерти<sup>18</sup>. В письме Курбскому, написанному сразу после его побега, Иван IV не был столь откровенен. В самых резких выражениях он упрекал беглого боярина за то, что он поверил наветам лжедрузей и утек за рубеж «единого ради (царского. — Р. С.) малого слова

гнева»<sup>19</sup>. Царь Иван кривил душой, но и сам он не знал всей правды о бегстве бывшего друга. Обстоятельства отъезда Курбского не выяснены полностью и по сей день.

После смерти Курбского литовское правительство отняло у его семьи земельные владения. На суде наследники Курбского, отстаивая свои права, предъявили судьям все документы, связанные с отъездом боярина из России. В ходе разбирательства выяснилось, что побегу Курбского предшествовали секретные переговоры. Сначала царский наместник Ливонии получил из Литвы «закрытые листы», то есть неофициальные письма секретного содержания. Одно письмо было от литовского гетмана князя Ю. Н. Радзивилла и подканцлера Е. Воловича, а другое — от короля Сигизмунда II. Когда соглашение было достигнуто, Ю. Н. Радзивилл отправил в Юрьев «открытые листы», то есть заверенные грамоты, с обещанием приличного вознаграждения в Литве. «Открытые листы» были скреплены печатями и подписями короля и руководителей Литовского королевского совета — «Рады»<sup>20</sup>.

Учитывая удаленность польской столицы, несовершенство тогдашних транспортных средств, худое состояние дорог, а также трудности перехода границы в военное время, можно заключить, что тайные переговоры в Юрьеве продолжались никак не менее одного или даже нескольких месяцев. Возможно, что срок этот был еще более длительным.

Ныне стали известны новые документы по поводу отъезда Курбского. Мы имеем в виду письмо короля Сигизмунда II Августа, написанное задолго до измены царского наместника Ливонии. В этом письме король благодарил князя воеводу витебского за старания его в том, что касается воеводы московского князя Курбского, и позволял переслать тому же Курбскому некое письмо. Иное дело, продолжал король, что из всего этого еще выйдет, и дай бог, чтобы из этого могло что-то доброе начаться, ибо ранее к нему не доходили подобные известия, в частности, о таком «начинании» Курбского<sup>21</sup>.

Слова Сигизмунда по поводу «начинания» Курбского могут показаться поразительными, если принять во внимание дату — 13 января 1563 года, выставленную на королевском письме. До сих пор историки полагали, что Курбский затеял изменнические переговоры перед самым побегом из России, когда он стал опасаться за свою безопасность. Теперь мы убеждаемся в том, что все началось значительно раньше — за полтора года до отъезда царского наместника.

Еще одно обстоятельство может послужить важной уликой в деле Курбского. Из королевского письма следует, что ини-

Наградная золотая монета.





Русские войска в походе.

циатива переговоров с московским воеводой принадлежала некоему «князю воеводе витебскому». Кто он, не названный по имени адресат Курбского? Если мы обратимся к литовским документам той поры, то сможем установить, что «князь воевода» — это известный нам князь Радзивилл. Цепь фактов замкнулась. Король позволил Радзивиллу отправить письмо Курбскому. «Закрытый лист» Радзивилла, как мы установили выше, положил начало секретным переговорам Курбского с литовцами.

В истории измены Курбского открывается еще одна неизвестная прежде страница. Царский любимец, по-видимому, завязал контакты с неприятелем до того, как Грозный по немилости отправил его управлять Ливонией. Измена высокопоставленного воеводы, участвовавшего в разработке и осуществлении планов войны, грозила большими осложнениями. Она открыла литовцам доступ к военным секретам русских. Тяжелая кровопролитная война между Россией и Польско-литовским государством длилась уже несколько лет. Королевская армия терпела крупные неудачи. Потому Сигизмунда II так обрадо-

вало «начинание» Курбского, и он выразил надежду на «доброе», с его точки зрения, дело, дело, которое не ошибся в своих ожиданиях.

Новые документальные данные заставляют заново пересмотреть известия ливонских хроник, повествующие о действиях Курбского на посту наместника русской Ливонии. Сложившаяся в Ливонии ситуация отличалась большой сложностью. Ливонские земли оказались поделенными между Россией, Швецией и Литвой. В Риге находились литовцы, в Юрьеве — русские, а в замке Гельмет, расположенном между этими городами, сидели шведы. Шведский король Эрик XIV передал Гельмет своему брату — герцогу Юхану III, от имени которого замком управлял некий граф Арц. Когда король подверг Юхана аресту, Арц не захотел разделить участь своего сюзерена и затеял тайные переговоры с литовцами в Риге, а затем с Курбским в Юрьеве. Шведский наместник заявил, что готов сдать царю замок Гельмет. Договор был подписан и скреплен. Но кто-то выдал заговорщиков литовским властям. Арца увезли в Ригу и там колесовали в конце 1563 года.



Ливонский хронист осветил в благоприятном для Курбского духе его переговоры с Арцем. Но он добросовестно записал также распространившиеся в Ливонии слухи о предательстве Курбского в отношении шведского наместника Ливонии. «Князь Андрей Курбский, — записал он, — также впал в подозрение у великого князя из-за этих переговоров, что будто бы он злоумышлял с королем польским против великого князя»<sup>22</sup>. Сведения о тайных сношениях Курбского с литовцами показывают, что подозрения царя вовсе не были беспочвенными. В рижском архиве найдены документы, проливающие новый свет на историю побега Курбского. Первый документ — это запись показаний Курбского, данных им ливонским властям тотчас после бегства из Юрьева. Подробно рассказав литовцам о своих тайных переговорах с ливонскими рыцарями и рижанами, Курбский продолжал: «Такие же переговоры он вел с графом Арцем, которого тоже уговорил, чтобы он склонил перейти на сторону великого князя замки великого герцога финляндского, о подобных делах он знал много, но во время своего опасного бегства забыл»<sup>23</sup>. Неожиданная немногословность и ссылка на забывчивость косвенно подтверждают слухи о причастности Курбского к смерти Арца. После бегства в Ливонию боярин принял к себе на службу слугу казенного графа и в его присутствии не раз со вздохом сокрушался о кончине его господина. Не желал ли он отвести от себя подозрения насчет предательства?

Занимая высокий пост царского наместника Ливонии, Курбский имел возможность оказать литовцам важные услуги. Примечательно, что его изменнические переговоры с литовцами вступили в решающую фазу в то самое время, когда военная обстановка приобрела кризисный характер. 20-тысячная московская армия вторглась в литовские пределы, но адресат Курбского Радзивилл, располагавший информацией о ее движении, устроил засаду и наголову разгромил московских воевод. Курбский бежал в Литву три месяца спустя после этих событий<sup>24</sup>.

История измены Курбского, быть может, дает ключ к объяснению его финансовых дел. Будучи в Юрьеве, боярин обращался за займами в Печерский монастырь, а через год явился на границу с мешком золота. В его кошельке нашли огромную по тем временам сумму денег в иностранной монете — 30 дукатов, 300 золотых, 500 серебряных талеров и всего 44 московских рубля<sup>25</sup>. Курбский жаловался на то, что после побега его имущества конфисковала казна. Значит, деньги получены были не от продажи земель. Курбский не увозил из Юрьева воеводскую казну. Об этом факте непременно упомянул бы Грозный. Остает-

ся предположить, что предательство Курбского было щедро оплачено королевским золотом. Заметим попутно, что в России не имевшие хождения золотые монеты (дука́ты) заменяли ордена: получив за службу «угорский» (дукат), служилый человек носил его на шапке или на рукаве.

Историки обратили внимание на странный парадокс. Курбский явился за рубеж богатым человеком. Но из-за рубежа он тотчас же обратился к печерским монахам со слезной просьбой о вспомоществовании. Объяснить парадокс помогают подлинные акты Литовской метрики, сохранившие решение литовского суда по делу о выезде и ограблении Курбского. Судное дело<sup>26</sup> воскрешает историю бегства царского наместника в мельчайших деталях. Покинув Юрьев ночью, боярин добрался под утро до пограничного ливонского замка Гельмета, чтобы взять проводника до Вольмара, где его ждали королевские чиновники. Но гельметские немцы схватили перебежчика и отобрали у него все золото. Из Гельмета Курбского, как пленника, повезли в замок Армус. Тамошние дворяне довершили дело: они содрали с воеводы лисью шапку и отняли лошадей<sup>26</sup>.

Когда ограбленный до нитки боярин явился в Вольмар, то там он имел возможность поразмыслить над превратностями судьбы. На другой день после гельметского грабежа Курбский обратился к царю с упреком: «Всего лишен бых и от земли божия тобою туне отогнан бых»<sup>27</sup>. Слова беглеца нельзя принять за чистую монету. Наместник Ливонии давно вступил в изменнические переговоры с литовцами, и его гнал из отечества страх разоблачения. На родине Курбский до последнего дня не подвергался прямым преследованиям. Когда же боярин явился на чужбину, ему не могли ни охранная королевская грамота, ни присяга литовских сенаторов. Он не только не получил обещанных выгод, но подвергся насилию и был обобран до нитки. Он разом лишился высокого положения, власти и золота. Катастрофа исторгла у Курбского невольные слова сожаления о «земле божьей» — покинутом отечестве.

Прибыв в Ливонию, беглый боярин первым делом заявил, что считает своим долгом довести до сведения короля «происки Москвы», которые следует «незамедлительно пресечь». Курбский выдал литовцам всех ливонских сторонников Москвы, с которыми он сам вел переговоры, и назвал имена московских разведчиков при королевском дворе<sup>28</sup>.

Одновременно, будучи в Вольмаре, Курбский решил объяснить с царем. История первого письма Курбского к царю весьма интересна. В древнейших рукописных сборниках письмам сопутствует устойчивое окружение — «конвой», — включавшее записку самого Курбского в Юрьев,



Тѣмъ такъ его повѣскашн блановѣдѣ  
 црѣ великомъ дѣлю сказашъ прогдѣ  
 споего кнѣзѣмъ дѣла измѣнныя  
 дѣла. что гдѣ црѣ великомъ дѣлю  
 дѣлашъ мнѣмъ гдѣ измѣнныя дѣла  
 бѣгъ сподпникѣ и измѣнныя гдѣ  
 сконкѣшъ дѣла прихѣлахъ королѣ  
 мнѣмъ го кропо пролитіе прѣтѣн  
 ское королѣ. ѣсѣмъ горадѣ пошѣстра

Василий Шибанов рассказывает Ивану Грозному «изменные дела» своего «государя» Курбского.

послание эмигрантов Тетерина и Сарыхозина к юрьевскому наместнику и обращение литовского воеводы А. Полубенского к юрьевским дворянам. Все эти письма составлены были в Вольмаре по одному и тому же поводу. Таким поводом послужил

побег Курбского<sup>29</sup>. Литовский воевода А. Полубенский предпринял попытку вызвать из Юрьева доспехи и книги Курбского, предложив в обмен русских пленников. Его предложения были, по-видимому, отвергнуты. Со своей стороны, новый



юрьевский наместник Морозов потребовал от литовцев выдачи всех русских беглецов, ждвших Курбского в Вольмаре. Литовцы отклонили это требование, а двое московских беглецов, Тетерин и Сарыхозин, составили насмешливый ответ Морозову.

Текстуальные совпадения в послании Курбского царю и письме Тетерина Морозову не оставляют сомнения в том, что эмигрантский кружок сообща обсуждал эти письма перед отправкой их на родину. Вероятно, именно русские эмигранты познакомили Курбского с некоторыми литературными материалами, которые облегчили ему работу над посланием к царю.

Текстологические исследования позволяют восстановить во всех деталях процесс составления знаменитого письма Курбского. В первых строках боярин яркими красками обрисовал царские гонения на «сильных во Израиле» — будто бы «доброхотную» Ивану знать<sup>30</sup>.

Усилия Курбского устремлены к единой цели: доказать, что его измена была вынужденным шагом человека, подвергнутого на родине преследованиям. Каждая строка его письма проникнута этой мыслью. Но если прислушаться внимательнее к жалобам «изгнанника», то можно заметить в них странное несоответствие. С удивительным красноречием беглец защищает всех побитых и заточенных на Руси, но слова его теряют всякую конкретность, едва речь заходит о его собственных обидах. В конце концов боярин отказывается даже перечислить эти обиды под тем предлогом, что их слишком много.

В действительности Курбский ничего не мог сказать о преследованиях на родине, лично против него направленных. Поэтому он прибегнул к цитатам богословского характера, чтобы обличить царя в несправедливости. Эти цитаты он заимствовал, однако, не из «священного писания», а из письма некоего литовского монаха Исаяи, сидевшего в московской тюрьме<sup>31</sup>. Пересланное в Литву из Вологды с лазутчиками, это письмо попало к Курбскому, очевидно, из рук русских эмигрантов.

С помощью цитат из Исаяи Курбский пытался доказать, что Грозный впал в «небытную ересь» (иначе говоря, царь как еретик надеется избежать суда божьего), что сам он, автор письма, сколько ни вопрошал свою совесть (перед лицом бога), не нашел в себе никакого прегрешения против царя. Последняя цитата из Исаяи гласила: «И воздал еси мне злая возблагая и за возлюблене мое — непримирительную ненависть»<sup>32</sup>. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что за «возлюблением» Курбского, за его мнимым «доброхотством» царю крылось давнее предательство.

Беглый боярин решил передать письмо Грозному через своих юрьевских друзей, и

для этого послал в Юрьев верного холопа Василия Шибанова. Холоп должен был испросить взаймы деньги у печерских монахов, а заодно наведаться в Юрьев и передать верным людям записку Курбского. В записке заключена была просьба вынуть из-под печи в воеводской избе боярские «писания» и передать их царю или печерским старцам<sup>33</sup>. После многих лет унижений и молчания Курбский жаждал бросить в лицо бывшему другу гневное обличение, а заодно оправдать перед всеми свою измену.

Тайный гонец Курбского не успел осуществить своей миссии. Его поймали и в окопах увезли в Москву. Предание о подвиге Шибанова, вручившего царю «досадительное» письмо на Красном крыльце в Кремле, легендарно<sup>34</sup>. Достоверно лишь то, что пойманный холоп даже под пыткой не захотел отречься от господина и громко похвалял его, стоя на эшафоте<sup>35</sup>.

Раздоры с думой и вызов, брошенный Курбским, побудили Грозного взяться за перо для вразумления строптивых подданных.

Курбский получил эпистолию царя через несколько месяцев после побега. В то время он уже переехал из Вольмара в Литву, и король наградил его богатými именьями<sup>36</sup>. Интерес к словесной перепалке с Грозным стал ослабевать. Беглый боярин составил краткую доказательную отписку царю, но так и не отправил ее адресату. Отныне его спор с Иваном могло решить лишь оружие. Интриги против «божьей земли», покинутого отечества, занимали отныне все внимание эмигранта. По совету Курбского король натравил на Русь крымских татар, а затем послал свои войска к Полоцку<sup>37</sup>. Курбский участвовал в литовском вторжении. Несколько месяцев спустя с отрядом литовцев он вторично пересек русские рубежи. Результаты этого нового вторжения были подробно описаны в дневниковой записи рижского дипломатического агента от 29 марта 1565 года. Автор дневника вел переговоры с высшими сановниками Литвы и с их слов узнал о разгроме отборной 12-тысячной русской армии. Эта победа, записал он, одержана была благодаря ренегату Курбскому, перебежавшему на сторону короля. Хорошо зная местность, Курбский с 4-тысячным литовским войском занял выгодную позицию, вследствие чего русские должны были растянуть свои силы по узкой дороге и оказались окруженными со всех сторон болотом. Сражение завершилось кровавым побоищем: около 12 тысяч русских были перебиты, 1500 взяты в плен<sup>38</sup>.

Реляция Курбского и его литовских сторонников, без сомнения, преувеличила масштабы одержанной ими победы. Однако совершенно очевидно, что действия беглого боярина нанесли немалый ущерб

России. Опрокинув русские заслоны, неприятель, по словам рижского агента, разорил четыре воеводства в землях москвитов. Враги увели много пленных и 4 тысячи голов скота<sup>39</sup>. Легкая победа вскружила боярскую голову. Изменник настойчиво просил короля дать ему 30-тысячную армию, с помощью которой он вызвался завоевать Москву. Если по отношению к нему есть еще некоторые подозрения, заявлял Курбский, он согласен, чтобы в походе его приковали цепями к телеге, спереди и сзади окружили стрель-

цами с заряженными ружьями, чтобы те сейчас же застрелили его, если заметят в нем неверность; на этой телеге, окруженный для большего устрашения всадниками, он будет ехать впереди, руководить, направлять войско и приведет его к цели (к Москве), пусть только войско следует за ним<sup>40</sup>.

Эмигрант не выражал больше сожаления о «божьей земле» и не выставил себя защитником всех преследуемых и гонимых на Руси. Круг предательства замкнулся: Курбский поднял меч на родную землю.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Р. Г. Скрынников. Начало опричнины. Л., 1966, с. 147—149.
- <sup>2</sup> Там же, с. 181—184.
- <sup>3</sup> «Полное собрание русских летописей» (далее — ПСРЛ), т. XIII. М., 1965, с. 368.
- <sup>4</sup> «Русская историческая библиотека» (далее — РИБ), т. XXXI. СПб., 1914, с. 121.
- <sup>5</sup> «Витебская старина», т. IV. Витебск, 1885, с. 65.
- <sup>6</sup> РИБ, т. XXXI, с. 278.
- <sup>7</sup> «Послания Ивана Грозного». М. — Л., 1950, с. 13.
- <sup>8</sup> РИБ, т. XXXI, с. 381.
- <sup>9</sup> Центральный Государственный архив древних актов (ЦГАДА), ф. 79, дела Польского двора, кн. 12, л. 289.
- <sup>10</sup> РИБ, т. XXXI, с. 133.
- <sup>11</sup> Там же, с. 398.
- <sup>12</sup> Там же.
- <sup>13</sup> «Жизнь князя А. М. Курбского в Литве и на Волыни», т. II. Киев, 1849, с. 6.
- <sup>14</sup> Keenan E. The Kurbski — Groznyi Apocrypha. Cambridge, 1971, с. 37, 200.
- <sup>15</sup> «Жизнь князя А. М. Курбского», т. II, с. 312.
- <sup>16</sup> Ф. Ниештадт. Летопись. Сб. материалов и статей по истории Прибалтийского края, т. IV. Рига, 1880, с. 36.
- <sup>17</sup> Сб. Русского исторического общества, т. 71. СПб., 1892, с. 321.
- <sup>18</sup> М. Петровский. Рецензия на «Сказания князя А. Курбского» (изд. 3-е, издал Н. Устрялов. СПб., 1868). — «Известия Казанского университета», 1873, кн. 4, с. 7—28.
- <sup>19</sup> «Послания Ивана Грозного», с. 13.
- <sup>20</sup> «Жизнь князя А. М. Курбского», т. II, с. 193.
- <sup>21</sup> Письмо Сигизмунда II Августа от 13 января 1563 г. Познань. Архив Курник. Кочп. № 1536. Этот источник любезно указал нам Б. Н. Флоря.
- <sup>22</sup> «Летопись Ф. Ниештадта», с. 36.
- <sup>23</sup> Государственный архив Латвийской ССР (Рига). Фонд А-2, оп. К-8, д. 35, л. 4.
- <sup>24</sup> Р. Г. Скрынников. Начало опричнины, с. 189—191.
- <sup>25</sup> Акт Литовской метрики о бегстве князя А. М. Курбского. — «Известия отде-
- ния русского языка и словесности АН», 1914, кн. 2, ч. XIX, с. 284.
- <sup>26</sup> Там же.
- <sup>27</sup> РИБ, т. XXXI, с. 3.
- <sup>28</sup> Государственный архив Латвийской ССР (Рига). Фонд А-2, оп. К-8, д. 35, л. 3.
- <sup>29</sup> Р. Г. Скрынников. Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973, с. 36—40.
- <sup>30</sup> РИБ, т. XXXI, с. 2—3.
- <sup>31</sup> Р. Г. Скрынников. Переписка, с. 63—67.
- <sup>32</sup> РИБ, т. XXXI, с. 3.
- <sup>33</sup> Там же, с. 359—360.
- <sup>34</sup> Н. Устрялов. Сказания кн. А. М. Курбского. Изд. 2-е. СПб., 1842, с. 372.
- <sup>35</sup> ПСРЛ, т. XIII, с. 383; «Послания Ивана Грозного», с. 13.
- <sup>36</sup> «Жизнь князя А. М. Курбского», т. II, с. 194.
- <sup>37</sup> ПСРЛ, т. XIII, с. 387.
- <sup>38</sup> Государственный архив Латвийской ССР (Рига). Фонд А-2, оп. К-8, д. 43, л. 11—11 об.
- <sup>39</sup> Там же.
- <sup>40</sup> Там же.





30 августа 1658 года страшный ураган бушевал над Лондоном. Такой бури Англия, говорят, не знала больше ста лет. Ветер опрокидывал колокольни, срывал крыши с домов, топил корабли на Темзе. В парках и окрестных лесах появились гигантские просеки, на полях был развезен собранный в снопы урожай. Грохот и завывания бури проникали даже за толстые стены Уайтхолла, бывшего королевского дворца, а ныне резиденции лорда-протектора Оливера Кромвеля, который вот уже добрый десяток лет был первым человеком Англии.

Сейчас, однако, не порывы ветра заставляли обитателей дворца вздрагивать и прислушиваться. В его стенах разыгрывалась другая драма: старый протектор умирал. После кончины любимой дочери его свалила «трехдневная лихорадка» — так определили болезнь придворные медики. Сильный озноб чередовался с жаром, на лице больного выступал пот; он слабел и часто впадал в забытие. В соседней комнате капелланы и индепендентские проповедники неустанно просили бога о выздоровлении «его высочества». Время от времени кто-нибудь из них шел к больному, чтобы прочесть вслух отрывок из Библии или помолиться у его изголовья.

У ворот дворца собирались люди. Кто они были? Осторожные горожане, готовившиеся к переменам? Соратники по борьбе в парламенте, ныне лишенные постов и вынужденные вести частную жизнь? Или, может быть, солдаты, ветераны двух гражданских войн, еще помнившие, как Кромвель сам учил их правильно держать пику и заряжать мушкет? Во всяком случае, толпа была спокойна и почтительна. Она ждала новостей.

Члены Тайного совета, бодрствовавшие у постели больного, старались скрыть опасность, угрожавшую жизни протектора, и за стены дворца выходили лишь обнадеживающие известия. Но тревога чувствовалась повсюду. Под предлогом совместных молебствий о здоровье Кромвеля каждый день собирались высшие армейские офицеры. Они обсуждали «состояние дел» в стране и возможные последствия смерти правителя<sup>1</sup>. Всех волновал вопрос: кто будет преемником?

3 сентября между тремя и четырьмя часами пополудни стало известно, что Кромвель умер.

В реляциях, разосланных по всей Англии, сообщалось, что сразу же после его смерти «собрался Совет и вскрыл письмо, скрепленное печатью лорда-протек-

## Т. А. Павлова

# КРОМВЕЛЬ И ЕГО НАСЛЕДНИК

тора, в котором объявлялось, что лорд Ричард должен наследовать ему как протектор»<sup>2</sup>. Опубликованный в правительственных газетах официальный отчет гласил: «...Когда он отошел, к несказанной печали всех добрых людей, немедленно собрался Тайный совет и, уверившись, что лорд-протектор мертв, и на основании несомненного и точного знания, что его высочество, когда был жив, согласно «Смиренной петиции и совету», объявил и назначил благороднейшего и прославленного господина, лорда Ричарда, старшего сына его высочества, наследовать ему в правлении в качестве лорда-протектора, Совет по сему так и решил»<sup>3</sup>.

Утром 4 сентября лорд Ричард под звуки труб был провозглашен «полноправным протектором республики Англии, Шотландии и Ирландии, владений и территорий, ей принадлежащих»; ему желали «долгой жизни, а этим нациям мира и счастья под его правлением»<sup>4</sup>. Вечером на Тауэр-хилле загремели пушки, салютуя новому протектору.

Так Ричард Кромвель, старший сын Оливера Кромвеля, вождя Английской революции, стал правителем Англии. Это был 32-летний человек, «мягкий, сдержанный и спокойный», «приятный и вежливый в общении», но, как считали, не отличавшийся умом, честолюбием и силой воли, свойственными отцу<sup>5</sup>. Интересы к политике или наукам он не высказывал. Любимым его занятием была охота. Очень скоро он обнаружил свою слабость и сделался игрушкой в руках борющихся за власть клик. Протекторат пал, не просуществовав и года. Кромвель должен был бы это, казалось, предвидеть. Последняя конституция протектората, принятая в 1657 году — «Смиренная петиция и совет», — давала ему право назначить преемником любого, кого он пожелает. Что заставило его оставить свой выбор на Ричарде, которого

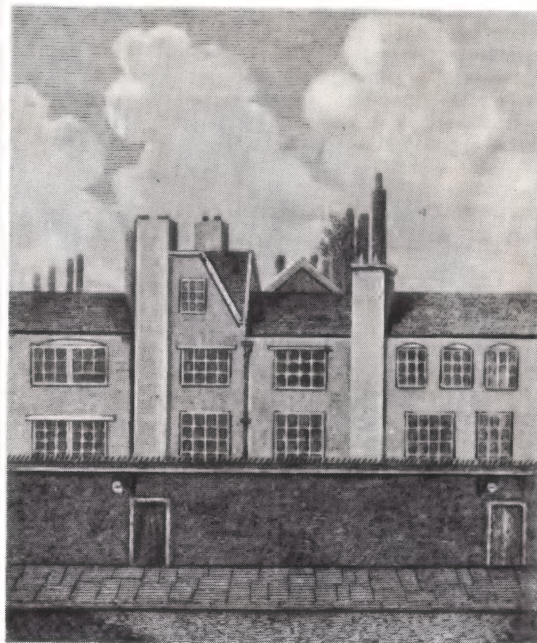


*Отомвелл*

19<sup>th</sup> October 1651

*Терло*

11<sup>th</sup> August 1657.



OLIVER CROMWELL'S House in Whitehall.

Уайтхолл.  
Автографы Кромвеля — 1651 г. и 1657 г.

он сам часто бранил за леность и равнодушные к судьбам республики? И что было в письме, вскрытом членами Тайного совета после смерти Кромвеля? Да и было ли оно вообще, это письмо?

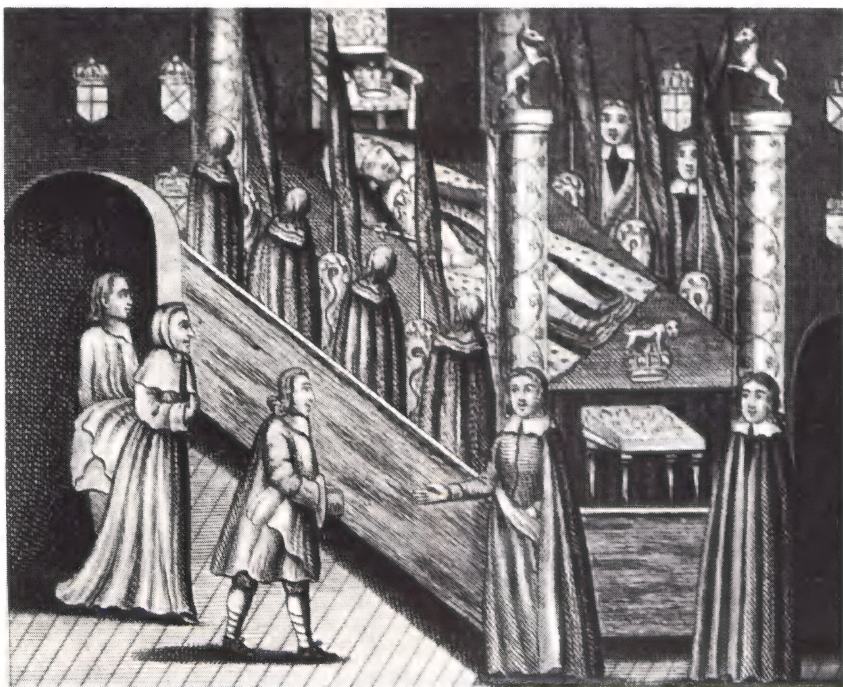
### ИСЧЕЗНУВШЕЕ ПИСЬМО

Обратимся к собранию документов, содержащему наиболее полные сведения о последних днях жизни протектора. Это коллекция писем, которая принадлежала государственному секретарю Терло, советнику и поверенному Кромвеля. Естественно, что в те дни, когда здоровье протектора вызывало наихудшие опасения, его приближенные, в первую очередь сам Терло, старались сообщить его родным вне Лондона подробные сведения о положении дел. 30 августа Терло писал Генри Кромвелю, второму сыну протектора, занимавшему пост лорда-наместника Ирландии: «...Я боюсь наших собственных разногласий, которые могут быть довольно велики, если его высочество не выберет и не назначит до того, как умрет, своего наследника, чего с<sup>к</sup> в действительности, я полагаю, до сих пор не сделал. Он собственной

рукой обозначил кого-то в бумаге перед тем, как был утвержден парламентом<sup>6</sup>, и запечатал это в форме письма, адресованного мне, но и имя этого лица, и саму бумагу держал в тайне. Когда он заболел в Гемптон-Корте, он послал м-ра Джона Баррингтона<sup>7</sup> в Лондон за нею, сказав ему, что она лежит на его письменном столе в Уайтхолле; но ее не суждено было найти ни там, ни вообще где бы то ни было, хотя ее очень тщательно искали»<sup>8</sup>.

Итак, за три дня до смерти Кромвеля документа с назначением преемника не существовало. Не появился он и позднее. Сообщение в листке новостей было ложью. А газетная информация и текст провозглашения были составлены в довольно туманной форме: «...на основании несомненного и точного знания... в Совете было решено...»

Больше об этом письме ничего не известно. Да и сама история, рассказанная Терло, кажется странной. Почему письмо, написанное больше чем за год до смерти протектора и содержащее сведения первостепенной государственной важности, было положено в такое доступное и незащищенное место, а не находилось, допустим, у



Протектор в гробу.

лорда-хранителя Большой печати или у того же Терло? Правда, известна крайняя подозрительность, овладевшая Кромвелем в последние годы его жизни. Говорили, что он не доверял личной охране и даже самым близким родственникам, в каждом иностранце видел врага и, постоянно опасаясь покушения, носил под одеждой тонкую кольчугу. Но тем более в таком случае он должен был позаботиться о надежном сохранении своего завещания.

С другой стороны, письмо, скрепленное печатью Кромвеля, перед которым все дрожали, и адресованное Терло, главе тайной полиции, вряд ли могло просто «затеряться». Не вероятнее ли предположить, что оно было с умыслом похищено и уничтожено? Но это значило бы, что наследник, названный в нем, не Ричард Кромвель, а кто-то другой.

### КОГДА ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

Если, однако, поверить Терло и допустить, что письмо было действительно утеряно и Кромвель назначил Ричарда своим наследником устно, то остается выяснить, когда и как это было сделано? В том же

письме от 30 августа Терло описывал ход болезни Кромвеля: «Идет уже тринадцатый день с тех пор, как лихорадка свалила его... и приступы жара чрезвычайно сильны. В субботу (то есть 28 августа. — Т. П.) ...в течение 24 часов было два приступа, один за другим, которые его крайне ослабили и угрожали его жизни. И вонистину с субботнего утра он едва ли имел передышку от приступов. Доктора все еще надеются, что он сможет побороть ее, хотя их надежды перемежаются с большими опасениями».

Далее следует уже известная нам история об исчезнувшем письме, после чего Терло сообщает: «Его высочество настолько болен, что невозможно беспокоить его делом такой важности (то есть назначением наследника. — Т. П.) В этот день он кое-что говорил об этом, но его болезнь не позволяет ему завершить это полностью; и если господу будет угодно не отпустить ему времени назначить наследника до того, как он умрет, решение будет более мучительным и наше положение опасным»<sup>9</sup>.

Письмо написано в 9 часов вечера. На следующий день, 31 августа, Терло сообщал тому же адресату об ухудшении





Элизабет Клейпол  
дочь О. Кромвеля.

здоровья протектора: последний «находится в большой опасности и настолько сейчас слаб, что неспособен сделать ничего относительно государственных дел». Тон письма мрачен. «Дело, похоже, идет к смерти...»<sup>10</sup> — пишет Терло.

Таким образом, ни 30, ни 31 августа наследник еще не был назван. Это подтверждает и шифрованное письмо зятя Кромвеля, лорда Фоконберга, который писал Генри в Ирландию 30 августа: «Наследник, насколько я знаю, до сих пор еще не назван. Терло, кажется, решил побудить его в перерывах (между приступами. — Т. П.) к такому назначению; но то ли из опасений вызвать его неудовольствие, если он поправится, то ли (рассердить) потом других, если это не удастся, он еще этого не сделал и, полагаю, и не сделает»<sup>11</sup>. Французский посол Бордо писал из Лондона 31 августа: «До этого часа его семья не верила, что болезнь столь опасна, и не приняла никаких мер относительно будущего, ибо никто не осмеливался говорить о преемнике. Об этом также ничего не было сказано на собрании армейских офицеров, где генерал Флитвуд говорил только на божественные темы. Поэтому

еще нельзя определенно сказать, кто станет преемником, или после его смерти будет восстановлена республика»<sup>12</sup>.

Казалось бы, все ясно. Но вот через четыре дня Терло, участник всех этих событий, непостижимым образом противореча сам себе, пишет в официальном сообщении Генри Кромвелю: «Его высочеству было угодно перед своей смертью назначить милорда Ричарда наследником. Он сделал это в понедельник»<sup>13</sup> (то есть 30 августа!). Заявление весьма категорично. Непонятно только, почему оно так запоздало. В письме от 30 августа — том самом, где говорится, что болезнь протектора «не позволяет ему завершить это полностью», Терло сделал приписку: «И если что-нибудь еще случится (а я молю господина, чтобы это было во благо), я немедленно дам вам знать». Почему же тогда он не сообщит о назначении Ричарда в тот же вечер, а отложил новость на четыре дня? И почему он не написал об этом в письме от 31 августа, вместо того чтобы сетовать, будто у него нет ничего нового добавить?

Листаем документы дальше и видим письмо лорда Фоконберга от 7 сентября, где он тоже извещает «дорогого брата» Генри о смерти отца. «Вечером накануне

Элизабет Кромвель —  
жена протектора.



смерти и не ранее, в присутствии четырех или пяти членов Совета он объявил милорда Ричарда своим наследником; на следующее утро он потерял речь и между тремя и четырьмя часами пополуночи отошел...»<sup>14</sup>. Вечером, накануне смерти? Значит, 2 сентября? Заявление Фоконберга не менее категорично, чем сообщение Терло. Кроме того, он упоминает еще о каких-то «четырех или пяти членах Совета», в присутствии которых это было сделано. В письмах и бумагах Терло от такого более официального назначения никаких сведений нет. Нельзя ли узнать об этом где-нибудь еще?

В 1665 году, когда все треволнения великой революции были позади и страна вот уже пятый год пожинала горькие плоды «счастливой реставрации», в Лондоне вышел в свет толстый фолиант под названием: «Хроника королей Англии. Со времен римского владычества до смерти короля Якова. К каковой добавлено правление короля Карла I и первые 13 лет (правления) его священного величества короля Карла II». Автором основной части «Хроники» был некто Ричард Бейкер, умерший в 1645 году. Четвертое издание, вышедшее в 1665 году, отличалось от предыдущих тем, что издатели добавили описание событий, происходивших между 1658 и 1660 годами. В этой «Хронике», оказывается, были подробно описаны все обстоятельства, связанные со смертью Кромвеля. Протектор, читаем мы, во время болезни устно заявил Терло и своему капеллану Томасу Гудвину, что он желает сделать наследником сына Ричарда. Разговор этот, однако, был прерван, и оба собеседника Кромвеля, «тут же переговорив между собой, поняли, что дело слишком велико и значительно для того, чтобы они одни несли все бремя свидетельства о нем; и потому решили использовать первую же возможность, чтобы снова навести его на это и попросить его позвать кого-нибудь еще, кому он мог бы сообщить свою волю в данном деле»<sup>15</sup>.

Весь этот разговор, согласно «Хронике», состоялся 31 августа — в тот самый день, когда и Терло, и Фоконберг, и Бордо утверждали, будто протектор находится при смерти.

2 сентября, пишет далее автор «Хроники», поняв, что протектор слабеет, Терло и Гудвин спросили его, помнит ли он, что он сказал им о преемнике, и «продолжает ли он или нет быть того же мнения относительно назначения его сына Ричарда?» Он ответил утвердительно. Тогда они позвали к умирающему Финнеса, Уолли и Гоффе; и все пятеро «подожли к кровати, и один из них спросил его касательно того, что он заявил д-ру Гудвину и м-ру Терло. Он на это снова сказал: он хотел бы, чтобы его сын, его сын Ричард наследовал ему»<sup>16</sup>.

Эту версию как будто подтверждает Бордо. После смерти Кромвеля, пишет он, «собрался Тайный совет, и по сообщению пяти его членов, которые заявили, что накануне вечером господин протектор устно назначил своего старшего сына, Совет признал его протектором»<sup>17</sup>.

Итак, перед нами три даты назначения Ричарда Кромвеля: 30 августа (Терло), 31 августа («Хроника») и 2 сентября (Фоконберг, «Хроника», Бордо). Оставим пока вопрос о датах открытым и попробуем выяснить у современников, как Кромвель назвал Ричарда.

## КАК БЫЛ НАЗНАЧЕН РИЧАРД?

К сожалению, непосредственные свидетели этого — родные Кромвеля и члены Тайного совета — не оставили никаких воспоминаний о том, в каких словах выразил он свою последнюю волю. За исключением весьма сомнительной версии «Хроники», мы располагаем всего двумя свидетельствами.

Первое принадлежит посланнику Бранденбургского курфюрста И. Ф. Шлецеру. В письме от 10 сентября 1658 года Шлецер со слов лейб-медика Кромвеля Джорджа Бейта рассказывает: после кратковременного перерыва болезнь Кромвеля вечером 2 сентября вспыхнула с новой силой. Кромвель, готовясь к смерти, горячо молился, а Бейт внимал его словам, спрятавшись за портьерой. Он слышал, как протектор, окончив молитву, позвал находившихся поблизости членов Совета и произнес перед ними длинную, прочувствованную речь. Протектор доказывал, что во всех своих действиях не имел иной цели, кроме славы божьей и блага церкви, и теперь обязан исполнить последний долг перед родиной и назначить преемника. Далее следовал произнесенный Кромвелем пространный панегирик достоинствам Ричарда: его богобоязненности, рвению в религиозных и государственных делах, верности закону и свободам народа, спокойствию и миролюбию его нрава и т. п.<sup>18</sup>.

Это пересказ Шлецером сообщения доктора Бейта. Но Бейт сам писал о смерти Кромвеля в книге, которая была напечатана в 1660 году, уже после Реставрации. Бейт, заметим, был опытным врачом и внимательным наблюдателем. Он особенно хорошо изучил болезнь протектора, так как сопровождал его в шотландском походе 1650—1651 годов, когда она впервые начала донимать Кромвеля. Есть свидетельства, что Бейт находился у постели Кромвеля в ночь накануне смерти<sup>19</sup>. Откроем его книгу.

Описываются события, происшедшие 2 сентября. «После же того, — пишет Бейт, — как ранним утром пришел другой (врач), который всю ночь неусыпно забо-



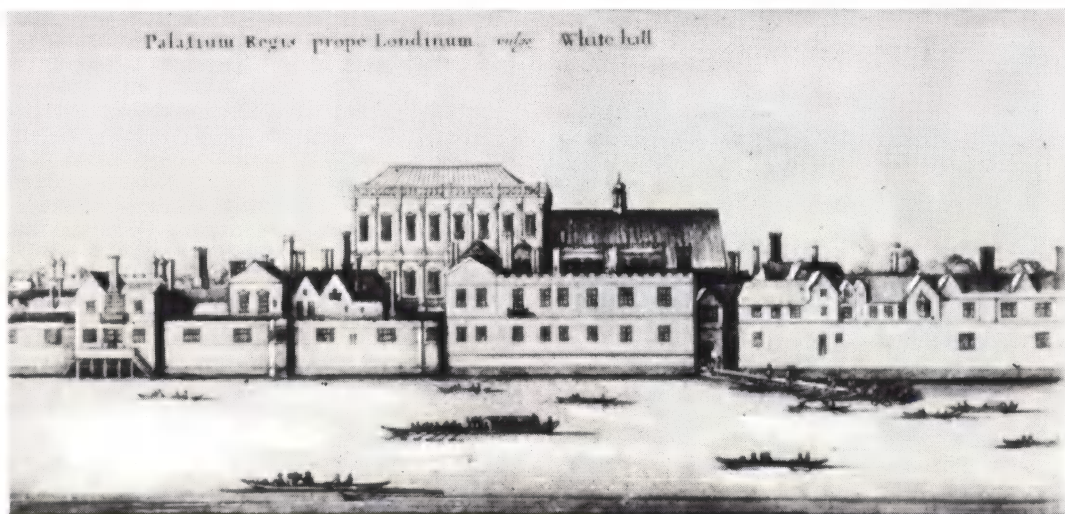


Генри Кромвель.

тился о больном, и доложил, насколько плохо себя чувствовал (больной) из-за того приступа, всеми было заявлено, что тот едва ли выберется из следующего приступа. Побуждаемые этим заключением врачей, те, кто действовал от Тайного совета, в назначенное время приходят увещевать его, чтобы он решил относительно преемника. И так как (Кромвель), находившийся в коматозном состоянии, вопреки всем ожиданиям, ответил им, они вторично обратились к нему с вопросом, назначает ли он Ричарда, старшего сына, преемником. Тот кивнул головой»<sup>20</sup>.

Таким образом, Бейт, если верить показаниям Шлецера, описывает одни и те же события совершенно по-разному. Где же он лжет?

Первое сообщение — Шлецеру — было сделано (если вообще было сделано) сразу же или через несколько дней после смерти Кромвеля, но, вероятнее всего, уже тогда, когда Ричард был провозглашен протектором. Ведь письмо Шлецера датировано 10 сентября. В напряженной обстановке первых дней правления нового протектора, когда все опасались беспорядков, информация, опровергающая или ставящая под сомнение назначение Ричарда, могла навлечь немалые беды. Известно, какие густые шпионские сети опутывали Англию в последние годы жизни Кромвеля. Центром этой системы всеобщего наушничества был государственный секретарь Терло. Конечно, за всеми, кто находился возле Кромвеля в последние дни его жизни, в особенности же за лейб-медиками, внимательно следили. В случае расхождения их наблюдений с официальной версией их должны были —

Уайтхолл.  
1647 г.

подкупом или угрозами — заставить молчать. В таких условиях Бейт мог сделать только сообщение, безусловно подтверждающее законность назначения Ричарда.

В 1658 году Джордж Бейт был уже немолод — ему исполнилось 50. Он был известным врачом — сначала придворным медиком короля Карла I и его сторонником, затем, после казни короля, состоял при Кромвеле. В душе он всегда симпатизировал монархии (это видно из его сочинений), но умел уживаться с республиканцами и с самим лордом-протектором. После реставрации, когда вышла в свет его книга, он снова был роялистом и придворным медиком короля Карла II. Со стороны окружения Кромвеля ему уже ничто не грозило, и он мог писать правду. Поэтому напечатанный в его книге рассказ и выглядит более правдоподобным, чем сообщенная им Шлецеру слащавая версия.

## КОМУ ВЕРИТЬ?

Вернемся теперь к вопросу о датах. «Хроника» Бейкера ввела в нашу историю столько новых действующих лиц, что настала пора разобраться, кто они и почему именно они оказались у постели протектора в решающий момент.

На первом месте среди свидетелей, несомненно, находится Джон Терло. В 1658 году ему минуло 42 года, и за плечами его была весьма успешная карьера. Изучив право, он начал как один из парламентских секретарей, затем побывал с миссией в Европе и в 1652 году был назначен секретарем Государственного совета с внушительным окладом. Он участвовал в составлении «Орудия управления» — первой конституции протектората, и в то же время состоял в секретной разведывательной службе. В 1655 году протектор доверил ему контроль над почтой — как иностранной, так и английской. При исполнении всех этих сомнительных обязанностей Терло обнаруживал исключительное рвение и незаурядные способности. Он держал многочисленный штат шпионов и осведомителей как в Англии, так и за границей, особенно при дворе изгнанного короля, перехватывал и перлюстрировал письма, подкупал и шантажировал свидетелей. По его приказу подозреваемых в «измене» или «заговоре с целью покушения на жизнь протектора» хватали, без суда и следствия бросали в тюрьмы, перевозили из одного каземата в другой, продавали в рабство на Барбадос. Его обвиняли в том, что он брал большие взятки с откупщиков акциза и покрывал их махинации<sup>21</sup>.

В 1657 году он был среди тех, кто предлагал Кромвелю принять корону. Он так умело восхищался всемогущим протектором и так тонко льстил ему, что сделался одним из тех немногих друзей, с

которыми Кромвель «бывал весел и на время забывал свое величие»<sup>22</sup>. Современники шутили, что Кромвель в делах государственной важности не доверял никому, кроме Терло, и даже ему<sup>23</sup>.

При Ричарде Кромвеле его влияние на политику сильно возросло. Он направлял неопытного протектора, писал за него речи, сколачивал большинство в парламенте и, по существу, был лидером протекторской партии. Когда же стало ясно, что близится реставрация, Терло, не дожидаясь ее, первый предложил помощь королю. Вскоре после восстановления монархии он был арестован, но заявил, что, если его повесят, будет опубликована «черная книга», которая приведет на виселицу половину всех роялистов. Его выпустили.

Такой человек, нравственные качества которого никак нельзя назвать безупречными, был неотступно при Кромвеле и в дни его болезни. Он прислушивался к каждому слову, каждому вздоху больного и внимательно следил за всеми переменами в его состоянии. Мало того, создается впечатление, что он назойливо приставал к больному, заставляя его решать вопрос о наследнике, когда тот этого не хотел. 30 августа он добивался от Кромвеля назначения преемника, но тот или не мог, или не желал «завершить это полностью». «Терло, кажется, решил принудить его в перерывах (между приступами болезни. — Т. П.) к такому назначению», — писал Фоконберг.

Несомненно, слабый и неопытный Ричард был наиболее удобным для Терло кандидатом в протекторы: при нем Терло сохранил бы все свои доходные должности, а его влияние на политику усилилось бы (как это в действительности и случилось). При ином претенденте глава тайной полиции мог бы не только лишиться своего поста, но и угодить в тюрьму. Все это заставляло предполагать, что именно Терло завладел завещанием Кромвеля и уничтожил его, ибо оно, видимо, содержало назначение, которое противоречило его планам. Может быть, он умышленно затягивал назначение до тех пор, пока не стало ясно, что Кромвель готов согласиться на его, Терло, предложение? По-видимому, 30 августа Терло пытался удержать Кромвеля от назначения, с которым был не согласен. Ибо если Ричард явился избранныком отца с самого начала, зачем вообще было это обсуждать?<sup>24</sup>

Все это, однако, гипотезы. Пойдем дальше. Вторым свидетелем, данные которого противоречат заявлению Терло, был Томас Беласайз, граф Фоконберг, зять Кромвеля. Этот 30-летний человек происходил из старинного и знатного рода. В отличие от своих родственников-роялистов он принял сторону парламента, служил при дворе Кромвеля и был женат на его третьей дочери — Мэри. Похоже, что





Джон Терло.

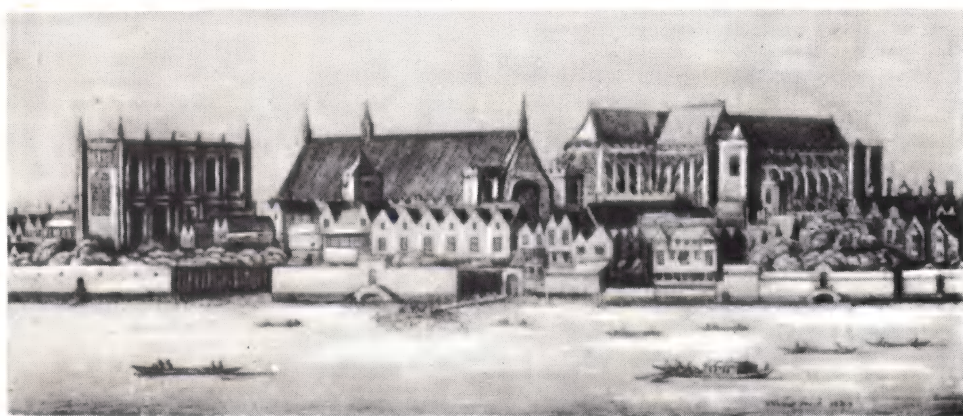
лорд Фоконберг стоял в стороне от дворцовых интриг и недолго любил Терло. При назначении преемника он не присутствовал. Но его сообщение, возможно, заслуживает некоторого доверия.

Согласно письму Фоконберга и «Хронике», в акте 2 сентября участвовали, кроме Терло, еще четыре человека. Кто они?

Первым назван Натаниель Финнес. Это человек почтенного возраста (около 50 лет) и происхождения (сын виконта). В религиозных вопросах он придерживался умеренного, пресвитерианского мировоззрения, в свое время выступал за переговоры с королем. Впоследствии он примирился с протекторатом Кромвеля, занимал при нем высокие посты и убеждал его стать королем. То, что он появился у постели умирающего в момент назначения преемника, неудивительно: он был одним из лордов-хранителей Большой печати и членом Тайного совета. А почему оказались в спальне Кромвеля офицеры Уолли и Гоффе, которые не состояли в списках Тайного совета?

Судьбы их схожи, и имена часто упоминаются вместе. Эдвард Уолли был дальним родственником Кромвеля, а Уильям Гоффе — зятем Уолли. Оба они с начала гражданской войны воевали на стороне парламента, отличились в битвах и дослужились до высоких чинов. Оба подписали смертный приговор королю и способствовали установлению личной диктатуры Оливера Кромвеля. Оба являлись активными сторонниками протектората, пользовались влиянием при дворе и были назначены майор-генералами. После смерти Кромвеля всеми силами поддерживали Ричарда. Они

Парламент, дворец  
и Вестминстерское аббатство.  
XVII век.



были убеждены в том, что протекторат — наилучшая форма правления для Англии.

Остается сказать несколько слов о капеллане Томасе Гудвине, тем более что он упомянут в «Хронике» как свидетель дважды — при разговоре Терло с Кромвелем 30 (или 31?) августа и при назначении Ричарда 2 сентября. Этот немолодой человек был пуританским богословом и проповедником. С 1649 года служил капелланом государственного совета, постоянно жил в Уайтхолле и получал весьма солидный оклад. Безусловно, этот человек, находясь постоянно во дворце и будучи близко допущен к Кромвелю, особенно в последние недели, находился под неусыпным наблюдением, а может быть, и влиянием Терло.

Когда сразу же после смерти Кромвеля собрался Тайный совет в составе 11 человек, Финнес и Терло рассказали о словесном назначении Ричарда, а затем туда же были вызваны Уолли, Гоффе и Гудвин, которые подтвердили сказанное клятвой. Так написано в «Хронике», и это единственный источник, перечисляющий лиц, присутствовавших при назначении. В неопубликованных журналах Совета процедура заседания описана так: «Будучи полностью информирован ...как письменно, так и устно, известными членами Совета и другими, которые были туда вызваны, что его высочество при жизни назначил и объявил лорда Ричарда своим наследником», Совет единогласно решил признать это назначение законным<sup>25</sup>.

Возникает вопрос: насколько можно верить самой «Хронике»? Та ее часть, которая имеет отношение к нашей истории, издана Эдвардом Филипсом, племянником Мильтона, поэтом и памфлетистом. Авторство же ее приписывается не ему, а Томасу Кларджесу, родственнику и доверенному лицу генерала Монка, которому Монк якобы передал находящиеся в его распоряжении бумаги<sup>26</sup>. Этих документов автор продолжения «Хроники», однако, не называет, и многое у него расходится с другими документальными данными. Сообщения «Хроники» поэтому нельзя принимать на веру. Из журналов же Совета явствует, что члены его по каким-то причинам договорились держать обстоятельства назначения Ричарда в тайне, не записывать ни даты его, ни имен присутствовавших; никаких письменных свидетельств, о которых упоминает журнал, тоже не сохранилось.

## СЛУХИ

Мы рассмотрели свидетельства участников событий. Но имеются сообщения и других современников, не так, может быть, близко стоявших ко двору, но тем не менее кое-что знавших. Несмотря на старания членов Совета, темные слухи — через шпионов, проповедников, прислугу — про-



Ричард Кромвель.

сачивались за стены Уайтхолла и будоражили умы.

Видный деятель республиканской партии и оппонент Кромвеля Эдмунд Ледло, оставивший полные тонких наблюдений и глубоких раздумий мемуары, въехал в Лондон на следующий день после страшной бури 30 августа. Немедленно по прибытии он посетил Уайтхолл. Вот что он пишет: «В Уайтхолле не хотели, чтобы было известно, что он (Кромвель) столь опасно болен. Однако согласно «Петиции и совету» хранители Большой печати пришли к протектору, чтобы он подписал декларацию о том, кого следует назначить его преемником. Но то ли он не хотел открывать свои намерения сделать наследником своего сына, дабы тем самым в случае выздоровления не обидеть других, кому он дал повод ожидать этой власти; то ли он находился в таком расстройстве тела и ума, что не мог заниматься этими делами; то ли, наконец, он хотел назвать или называл кого-нибудь другого, — мне неясно. Ясно одно, что уполномоченные не были допущены к нему до следующей пятницы (то есть до 3 сентября. — Т. П.) когда симптомы смерти у него стали очевидны»<sup>27</sup>.





Генерал Джордж Монк.

Особенное оживление болезнь и смерть Кромвеля вызвали в стане роялистов. В первые дни после его кончины осведомитель короля-изгнанника Джон Барвик доносил своему повелителю: Кромвель назначил Ричарда наследником «в последний день перед своей смертью, и так невразумительно, что некоторые сомневаются, сделал ли он это вообще. Все поспешности ожидали, — добавляет Барвик, — что дело такой важности не может быть совершенно без официального документа, скрепленного подписью и печатью и представленного Совету, и т. д. Но те, кто знает, говорят, что это было сделано лишь устно перед Терло и одним из хранителей Большой печати; и кто хорошенько поразмыслит над «Провозглашением», будет иметь основания думать, что сочинителю его не следует слишком верить»<sup>28</sup>.

В мемуарах другого роялиста, Роберта Бейли, читаем: Кромвель «не написал собственноручно имя Ричарда как своего наследника, и едва ли он мог собственными устами объявить свою высокую волю; этому нет больше свидетелей, кроме секретаря Терло и Томаса Гудвина. Многие так же дрожали от страха перед ним,

мертвым, как и перед живым»<sup>29</sup>. Джон Брамстон сообщает: «Терло и главные из кромвелевских советников передали ее (власть) юному Кромвелю, сославшись, что это была воля старого Кромвеля»<sup>30</sup>. Роджер Кок утверждает: «Кромвель своей последней волей, когда он был в здравом уме, назначил Флитвуда наследником; а Ричард был поставлен на его место тайно, хитростью некоторых из Совета, когда Кромвель потерял сознание»<sup>31</sup>.

В 1663 году появилась книга некоего Хита «Бич, или Жизнь и смерть, рождение и похороны Оливера Кромвеля, последнего узурпатора». В ней автор, вероятно, повторяя признания Бейта, писал: когда члены Тайного совета увидели, что Кромвель умирает, «они немедленно приступили к нему с вопросом о назначении наследника... но он тогда едва ли был в себе, и когда они это поняли, то спросили его, назначает ли он своего сына Ричарда, на что он ответил утвердительно»<sup>32</sup>.

А вот что пишет в мемуарах граф Уорвик: «Один из его (Кромвеля. — Т. П.) врачей, с которым я был близко знаком (уж не Бейт ли? — Т. П.) уверял меня, что в течение всей его болезни он никогда не владел разумом настолько, чтобы определить что-либо относительно своего наследника или государственных дел... И хотя Терло, секретарь, и Гудвин, пастор, утверждали, что он дал им ясные указания, что его сын Ричард должен быть преемником, и они потом уже привели других, чтобы об этом свидетельствовать, все же его врач уверял меня, что он никогда не был в таком состоянии, дабы определенно сознать, что он делает»<sup>33</sup>.

Вопрос о правильности назначения Ричарда снова всплыл вскоре после созыва парламента в январе 1659 года. Республиканская оппозиция в палате общин выступала против утверждения Ричарда «законным и полноправным протектором», мотивируя это тем, что назначение Ричарда было «загадочным», «очень темным и недостаточным»<sup>34</sup>. «Протекторская власть, — сказал, например, депутат-республиканец Артур Гезлбриг, — была дана последнему протектору на время его жизни с правом назначить преемника. Разве мы не должны рассмотреть это? Итак, если этого не было сделано, если никакой преемник не был назначен, если бог воспрепятствовал этому, не следует ли нам назначить его?»<sup>35</sup> Ту же позицию занимал лидер республиканцев Генри Вэн-младший. Он говорил: «Протектор не был назначен должным образом»; и пока не будет доказано, что назначение Ричарда — непреложный факт, титул его будет подвергаться сомнению<sup>36</sup>.

В анонимном памфлете «25 вопросов» читателя спрашивали: «Разве назначение (Ричарда протектором. — Т. П.) не яв-



ляется крайне сомнительным и неопределенным? И не должен ли парламент поставить вопрос о законности одного? Где же эта декларация о назначении его преемником, подписанная протектором, скрепленная его печатью и провозглашенная при его жизни? И из чего явствует, что старый протектор был в здравом уме и твердой памяти, когда назначал наследника, и что он сделал это добровольно, а не вынуждаемый постоянной настойчивостью лиц, чья власть и интересы связаны и зависят от власти правителя государства?»<sup>37</sup>

Итак, большинство современников, за исключением узкого круга стоявших у трона лиц, подвергали сомнению назначение Кромвелем своего старшего сына, а свидетельствовавшие в пользу этого факта придворные противоречат сами себе и друг другу. Но не пора ли предоставить слово самому Кромвелю? Был ли действительно его разум, как утверждают многие, помрачен в последние недели жизни? Владел ли он своим рассудком? Интересовался ли государственными делами? Что чувствовал, о чем думал этот незаурядный человек в последние дни жизни? И прежде всего что он говорил?

### ЧТО ГОВОРИЛ КРОМВЕЛЬ?

К счастью, до нас дошли не только речи и письма Кромвеля тех времен, когда он был еще полон сил, но и записи очевидца о словах его последних дней, его молитвах перед лицом смерти, его лихорадочном бормотании. Эти записи были изданы в 1659 году. Их автор — Чарльз Харви, камергер Кромвеля. Брошюра, выпущенная Харви, называлась: «Собрание некоторых эпизодов, касающихся его высочества Оливера Кромвеля во время его болезни, в котором приводятся многие из его высказываний на смертном одре; вместе с его молитвой (произнесенной) за два или три дня до смерти»<sup>38</sup>.

Не каждому слову в этих записях можно безоговорочно доверять. В них, несомненно, чувствуется стремление представить Кромвеля великим человеком, борцом и мучеником за народное дело. Но общее состояние духа умирающего они рисуют достаточно ярко.

Тяжким ударом для Кромвеля явилась смерть его любимой дочери Элизабет. Она мучительно умирала от рака в возрасте 29 лет. Кромвель днями и ночами, забросив государственные дела, сам ухаживал за больной. Когда она умерла, он чувствовал себя настолько разбитым, что не поехал на похороны, состоявшиеся 10 августа. После 13 августа он не подписал ни одного документа — безусловное свидетельство его тяжелого недуга.

16 августа приступ лихорадки заставил его спать; но боль душевная была сильнее

физического недомогания. В поисках утешения, рассказывает Харви, он велел принести Библию и прочесть ему отрывок из посланий апостола Павла. «Когда это прочли, — пишет Харви, — он сказал (приводя его собственные слова так точно, как я могу их вспомнить): «Это место однажды уже спасло мне жизнь, когда мой старший сын умер, что пронзило, как кинжалом, мое сердце, но это спасло меня»<sup>39</sup>.

Религиозные раздумья, однако, еще не поглощали целиком протектора. В четверг, 19 августа, он присутствовал на заседании Совета и немного занимался государственными делами<sup>40</sup>. 20 августа он выехал на прогулку, но на следующий день, в субботу, слег опять и больше не поднимался. Говорили, что он на какое-то время обрел покой, пришел в счастливейшее расположение духа и совершенно уверился в своем скором выздоровлении. Флитвуд писал, что Кромвель «в его болезни имел великие откровения от господина и получил некоторые заверения в том, что он поправится»<sup>41</sup>.

Однако 24 августа вечером, после переезда в Уайтхолл, предпринятого по совету врачей, начался новый приступ болезни, а с ним и упадок духа. Много раз меха-

Джон Ламберт.







Лондонский мост.  
XVII век.

нически повторял он Символ веры, но надежды не было в его тоне. Видимо, его мучила совесть. Трижды слышали, как он шептал: «Страшное дело — попасть в руки бога живого». Как-то больной подозвал капеллана. «Скажите мне, — спросил он, — возможно ли однажды избранному потерять благодать?» — «Нет, невозможно», — ответил проповедник. «Тогда я спасен, — сказал Кромвель, — ибо я знаю, что некогда я получил благодать»<sup>42</sup>.

30 августа, после страшной бури, сознание Кромвеля как будто прояснилось. Говорили, что он получил «откровение» и «сказал своим врачам, что он теперь будет жить, чтобы завершить свое дело»<sup>43</sup>. В этот день, если верить Терло, он говорил о будущем наследнике. Приступов не случилось и на следующий день, но слабость была очень велика. Все это время Кромвель часто и горячо молился. 2 сентября, когда окружающим стало ясно, что он умирает, его разговор с богом все еще продолжался. Он произносил «некоторые безмерно самоуничижающие слова, кляня и осуждая себя»<sup>44</sup>. Он говорил и так: «Я хотел бы жить еще, чтобы и дальше служить богу и его народу, но мое дело сделано, и все же бог да будет со своим народом»<sup>45</sup>. В ночь со 2 на 3 сентября он стал очень беспокоен и часто разговаривал сам с собой. Ему предложили выпить лекарства и заснуть, но он ответил: «Моя забота — не пить или спать, моя забота — поспешить поскорее уйти»<sup>46</sup>. Наутро он потерял дар речи.

Вот что известно о словах умирающего Кромвеля. Мы видим: отношения с небесными силами занимали его неизмеримо

больше, чем земные дела. Мелочная возня вокруг наследования, ведшаяся во время его болезни, мало волновала его. Он был всецело погружен в себя, в свою историческую и божественную миссию, как он ее понимал.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ

Нам остается выяснить еще один вопрос: если Кромвель действительно назначил преемника в утерянном (или уничтоженном?) письме за год до смерти, то кого он назначил? Современники единодушно сходятся на том, что это был не Ричард. Но если не Ричард, то кто?

В уже цитировавшемся отрывке из книги Роджера Кока прямо указывается, что Кромвель еще до болезни, когда находился в полном сознании, назначил преемником своего зятя, популярного в армии генерала Чарльза Флитвуда. Несколько выше Кок пишет: «Ко всем беспокойствам прибавились нелады в семье Кромвеля; зять Флитвуд и муж сестры Кромвеля Десборо стали интриговать с республиканцами и непокорными офицерами, так что они редко навещали его; хотя Кромвель, чтобы смягчить Флитвуда, обещал назвать его своим преемником». И даже: «После смерти Кромвеля между армейскими офицерами-республиканцами и сторонниками протектората возникли споры: кто будет наследником? Первые говорили, что Кромвель, когда был здоров, обещал своему зятю Флитвуду, что он будет наследовать; но вторые говорили, что, хотя Кромвель и был болен, все же он объявил наследником своего сына Ричарда и что это была его по-





Лондонский Тауэр.

следняя воля; и кроме того, кромвелевский Совет (который согласно «Орудью управления» имел эту власть) избрал Ричарда»<sup>47</sup>.

Действительно, первая конституция протектората, «Орудие управления», давала право назначения преемника именно протекторскому Совету. Тайный совет собрался немедленно после смерти Кромвеля и заседал при закрытых дверях три часа. Никаких записей о предмете разговоров на этом заседании, как мы видели, не сохранилось; лишь «Хроника», изданная Филиппом, указывает, что, когда свидетели назначения, дав свои показания, удалились, встал генерал Десборо и, «заклиная богом», просил присутствующих заявить, если они недовольны. «Хроника» тоже указывает, что Кромвель в утерянном письме назвал своим наследником Флитвуда, и члены Совета, зная это, заставили последнего поклясться, что, если завещание будет найдено, он тем не менее согласится с устным назначением Ричарда и не будет требовать изменений<sup>48</sup>.

В «Хронике» имеется и еще одна любопытная деталь. Описывая назначение, якобы происшедшее 2 сентября, ее автор сообщает, что Флитвуд и Десборо, за которыми было послано, опоздали к тому моменту, когда пятеро задали умирающему вопрос о наследнике. Они явились всего несколькими минутами позже и заявили, что согласны со свидетельскими показаниями этих пятерых<sup>49</sup>. Таким образом, наиболее, казалось бы, заинтересованное лицо — Флитвуд — при назначении умышленно или случайно не присутствовал. Впрочем, он, кажется, и не претендовал на роль преемника.

На Флитвуда, как на намечавшегося Кромвелем наследника, указывают и доктор Бейт<sup>50</sup>, и Хит<sup>51</sup>, и многие другие современники. Ф. Уорвик, например, пишет: «Было известно, что имелась бумага, подписанная Кромвелем, которая назначала Флитвуда его преемником»<sup>52</sup>.

Чарльз Флитвуд, способный и честолюбивый генерал, сумел завоевать особую любовь армии тем, что покровительствовал ее наиболее левым элементам. Именно связь с ними, по-видимому, и заставила его, обычно поддерживавшего все действия Кромвеля, выступить против принятия протектором королевского титула. После этого и начались, вероятно, упоминаемые Коком переговоры генерала с лидерами республиканцев. Положение Флитвуда как главы армии и его единодушие с тестем во всех остальных вопросах политики делает возможным предположение, что именно его Кромвель избрал первоначально в качестве преемника<sup>53</sup>.

Менее определенные свидетельства имеются относительно других возможных преемников. Называли властного и грубого генерала Десборо, указывали на находившегося в опале соперника Кромвеля, блестящего генерала Ламберта; называли даже прославившегося в гражданских войнах и тоже удаленного ныне от дел генерала Ферфакса<sup>54</sup>.

Интересно, что ни у кого не возникало предположений относительно второго сына протектора — Генри Кромвеля. Между тем все единодушно признают, что Генри был более способным государственным деятелем, чем Ричард. В 31 год Генри уже занимал один из важнейших постов — лорда-





Генерал Чарльз Флитвуд.

наместника Ирландии и, судя по всему, справлялся со своими обязанностями неплохо. То, что Кромвель не делал ни малейших намеков относительно Генри, достаточно ясно видно из документов. Исследователи полагают, что, хотя Генри и обладал «реальными политическими способностями», он был очень непопулярен в армии и главное — среди лидеров военной партии. Генералы вроде Флитвуда и Десборо слишком много думали о своих выгодах, чтобы принять Генри Кромвеля как хозяина. Консервативные члены Совета также не одобрили бы его избрания, так как он был младшим сыном протектора<sup>55</sup>.

И именно Ричард был самым подходящим для правящих кругов кандидатом на пост протектора. Он мог на первых порах удовлетворить все политические партии. Члены Тайного совета и лидеры армейских офицеров надеялись диктовать неопытному правителю свою волю. Консервативным кругам буржуазии и дворянства, объединенным в партию пресвитериан, импонировало и то, что Ричард не был причастен к казни короля, и то, что он, являясь старшим сыном протектора, наследовал власть, то есть соблюдалась правила монархии.

Среди современников действительно существовало мнение, будто Ричард был проникнут монархическими симпатиями и мог послужить интересам короля<sup>56</sup>. С другой стороны, республикански настроенные джентри и буржуазия надеялись вынудить вялого Ричарда сделать некоторые уступки в свою пользу. Ричард Кромвель, таким образом, оказался преемником своего отца не случайно.

### ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ...

Наша история подходит к концу. Ничто в ней на первый взгляд не кажется точно установленным. Ни одно из свидетельств не является достаточно проверенным. Твердое убеждение создается только в одном: официальная версия назначения Ричарда ложна, прямым свидетелем, прежде всего Терло, верить нельзя. Нерешенными остаются множество вопросов: кого назвал Кромвель в утраченном письме? Куда исчезло письмо? Почему Терло противоречит сам себе, а другие свидетели противоречат Терло? Назвал ли Кромвель преемника, когда болел, и если назвал, то кого и при каких обстоятельствах? Если не будут найдены новые документы, то на эти вопросы вряд ли вообще удастся ответить. Но, сопоставляя все данные, учитывая характер действующих лиц и политическую ситуацию, можно попытаться вообразить себе действительную картину. Эта реконструкция, конечно, будет только гипотетической. На историческую достоверность она не претендует. И все же попытаемся...

Итак, вскоре после пышной церемонии утверждения в сане протектора летом 1657 года Кромвель, человек уже преклонного возраста, но еще полный сил, пишет бумагу, в которой официально заявляет, что назначает преемником своего зятя и ближайшего помощника генерала Флитвуда. Видя, что Флитвуд несколько охладил к нему после недавних переговоров относительно королевского титула, и боясь потерять столь сильного и популярного в армии соратника, Кромвель даже намекнул ему, что тот после его смерти станет лордом-протектором Англии...

Все это не укрылось от глаз вездесущего Терло. Вскрывать и перлюстрировать письма было его профессией, и, разумеется, такой важный документ не мог пройти мимо его внимания. Он знал, где это письмо хранится, и представлял себе его содержание. Посланный за письмом Баррингтон, доверенное лицо Терло, передал ему завешание из рук в руки. Терло уничтожил его, а окружающим и самому Кромвелю было объявлено, что письмо не нашли.

Когда Кромвель опасно заболел, Терло стал ждать момента, чтобы затеять с ним



Листок под названием «Апофеоз Кромвеля». 1658 г. (?).

разговор о преемнике. Опасаясь его гнева или нежелательного назначения, он не начинал разговора прямо. Между тем письма этих дней со всей очевидностью говорят о том, что Терло очень боялся отсутствия назначения вообще. «И поистине, ми-

лорд, — писал он Генри Кромвелю, — мы имеем основания бояться, что дела наши будут очень плохи, если ныне господь призовет к себе его высочество. Не то, чтобы шансы Карла Стюарта, как я думаю, были столь уж велики, или его партия так уж



сильна сама по себе, но я боюсь наших собственных разногласий, которые могут быть довольно велики, если его высочество не выберет и не назначит до того, как умрет, своего наследника...»<sup>57</sup> Таким образом, Терло было важно не допустить, чтобы назначение вообще не состоялось. Иначе в Совете неминуемо вспыхнули бы споры и страна, быть может, опять оказалась на грани гражданской войны.

С другой стороны, именно Терло должен был исподволь и незаметно подготовить общественное мнение к одобрению назначения того наследника, который был ему нужен. За неделю до смерти Кромвеля кто-то распустил слухи (впоследствии не подтвердившиеся), будто Ричард назначен «генералиссимусом всех вооруженных сил, как на море, так и на суше»<sup>58</sup>. И — что самое удивительное! — венецианский посол сообщал на родину о том, что преемником Кромвеля будет Ричард, еще 27 августа, то есть когда, по всем свидетельствам, еще никакого разговора о преемнике с протектором не было!<sup>59</sup> Венецианская разведка, в те времена лучшая в мире, и тут доказала свое превосходство. Французский посланник сообщал об этом только 1 сентября (и опять-таки еще до окончательного утверждения): «Семья собирается воспользоваться этим удобным случаем, чтобы утвердить милорда Ричарда...»<sup>60</sup>

...30 августа, когда бушевал ураган, Терло решил, что момент настал. Оставшись наедине с протектором (или в присутствии верного ему Гудвина), он спросил Кромвеля о наследнике. Кромвель был очень слаб и погружен в себя. Поняв вопрос Терло, он скорее всего повторил имя того, кто значился в утерянном письме. Терло стал убеждать его, что лучше было бы назначить Ричарда. Но... «болезнь не позволила ему завершить это полностью»...

В письме к Генри, где Терло вскользь сообщает об этом разговоре, имеется знаменательный постскрипtum: «То, что сказано относительно преемника, — абсолютный секрет. Я умоляю ваше превосходительство сохранить его»<sup>61</sup>. Именно Генри надо было самым удовлетворительным образом объяснить отсутствие письменного назначения и наиболее правдоподобно представить назначение Ричарда: ведь он был вторым после него претендентом «по крови» и мог потребовать отчета. А для остальных весь этот разговор должен был оставаться тайной. Иначе могли возникнуть те самые беспорядки, которых Терло так боялся.

Не считая разговор с протектором оконченным, Терло, однако, не возобновлял его как раз тогда, когда лихорадка отпустила

больного. Когда же 2 сентября стало ясно, что Кромвель умирает, медлить более было нельзя. Терло зовet Гудвина и своих ближайших помощников, а за Флитвудом и Десборо посылает с таким расчетом, чтобы они опоздали, и входит в спальню умирающего. Кромвель в бреду, он едва ли узнает их. Он беспрерывно что-то бормочет, продолжая свой нескончаемый диалог с богом. Люди ему мешают. «Так Ричард, Ричард?» — спрашивают они. Он кивает — лишь бы поскорее ушли — и снова поднимает глаза к небу.

Когда пятеро выходят, Терло видит по их лицам, что процедура назначения их не удовлетворяет. Они верные люди, они будут свидетельствовать перед всеми в пользу Ричарда, и все же для пущей убедительности (вдруг да кто-нибудь проболтается, что Кромвель не был в здравом уме!) он заявляет им и подоспевшим Флитвуду и Десборо, что действительное назначение было сделано 30 августа, когда протектор был в полном сознании. Так он впоследствии и напишет Генри Кромвелю, не заботясь о том, что все будут называть днем назначения 2 сентября. А имя капеллана, слышавшего первый разговор, на всякий случай не упомянет — зачем лишний свидетель!

Но надо еще убедить Совет. Он собирается 3 сентября. Вызываются свидетели, дают клятвенные показания, удаляются. Три часа проходят в переговорах. Флитвуд и Десборо — наиболее опасные соперники — согласны признать Ричарда. Так им сейчас удобнее. Если начнутся беспорядки — не на их головы падет народное недовольство протекторатом. Генералы заявляют, что даже если утерянное письмо найдется, они все равно согласятся признать законным наследником Ричарда. Но другие члены Совета в некотором недоумении: «законная процедура» не соблюдена. Встает грубый солдафон Десборо и требует, чтобы недовольные или сомневающиеся высказались. Все молчат. Совет единогласно постановляет считать протектором Ричарда. Финнес и Терло составляют текст провозглашения.

Но и этого недостаточно. Как посмотрит на такое назначение армия? И Флитвуд посылает на заседающий тут же, в Уайтхолле, Совет офицеров. Флитвуд просит Совет единодушно поддержать нового протектора. Офицеры не возражают. Затем отправляют гонцов в Сити, чтобы заручиться поддержкой именитых горожан, финансовой опоры власти.

И только после этого утром следующего дня гремят фанфары и Ричард торжественно вводится в сан лорда-протектора. «Король умер — да здравствует король!»

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> J. Thurloe. Collection of the State Papers, vol. VII. London, 1742, p. 362, 365, 369, 374.

<sup>2</sup> Clarke Papers. Selections from the Papers of William Clarke, vol. III, London, 1899, p. 162.

<sup>3</sup> «The Parliamentary or Constitutional History of England», vol. XXI. London, 1760, p. 226.

<sup>4</sup> Ibid., p. 228—229.

<sup>5</sup> L. Hutchinson. Memoirs of the Life of the Colonel Hutchinson, London a. o., 1913, p. 299; Th. Burton. Parliamentary Diary from 1656 to 1659, vol. IV. London, 1828, p. 481—483; Dictionary of National Biography, vol. V. London, 1950, p. 186—191.

<sup>6</sup> Утверждение Кромвеля парламентом произошло 26 июня 1657 года, вскоре после принятия второй конституции протектората — «Смирной петиции и совета».

<sup>7</sup> Кромвель заболел в начале августа во дворце Гемптон-Корт, в нескольких милях от Лондона, куда переселился со всем двором на время болезни дочери. Джон Баррингтон — один из камергеров Кромвеля.

<sup>8</sup> «Thurloe State Papers», vol. VII, p. 364.

<sup>9</sup> Ibid., p. 363—364.

<sup>10</sup> Ibid., p. 366.

<sup>11</sup> Ibid., p. 367.

<sup>12</sup> F. P. G. Guizot. Histoire de la République d'Angleterre et de Cromwell, t. 2, Bruxelles, 1854, p. 512.

<sup>13</sup> «Thurloe State Papers», vol. VII, p. 372.

<sup>14</sup> Ibid., p. 375.

<sup>15</sup> R. Baker. A Chronicle of the Kings of England. London, 1679, p. 634.

<sup>16</sup> Ibid., p. 634—635.

<sup>17</sup> F. P. G. Guizot. Op. cit., t. 2, p. 515.

<sup>18</sup> W. Michael. Cromwell, Bd. II, Berlin, 1907, S. 191—193.

<sup>19</sup> См.: F. J. Varley. Oliver Cromwell's latter End. London, 1939, p. 21.

<sup>20</sup> G. Bate. Elenchi Motuum Nuperorum in Anglia. Pars secunda. Londini, 1663, p. 217.

<sup>21</sup> Ch. Firth. John Thurloe. — Dictionary of National Biography, vol. XIX, p. 822.

<sup>22</sup> B. Whitelocke. Memoirs of the English Affaires, vol. IV. Oxford, 1853, p. 289.

<sup>23</sup> Ch. Firth. Op. cit., p. 222.

<sup>24</sup> W. H. Dawson. Cromwell's Understudy: the Life and Times of General John Lambert. London a. o., 1938, p. 291.

<sup>25</sup> G. Davies. The Restoration of Charles II. 1658—1660. San-Marino (California), 1955, p. 4.

<sup>26</sup> A. Wood. Athenae Oxonienses, vol. III. Oxford, 1813—1820, p. 148.

<sup>27</sup> E. Ludlow. Memoirs. 1625—1679, vol. II. Oxford, 1894, p. 44.

<sup>28</sup> E. Clarendon. State Papers, collected by, vol. III. Oxford, 1786, p. 415.

<sup>29</sup> R. Baillie. The Letters and Journals. 1637—1662, vol. III. Edinburgh, 1842, p. 425.

<sup>30</sup> J. Bramston. The Autobiography. London, 1845, p. 112.

<sup>31</sup> R. Coke. A Detection of the Court and State of England during the Four last Reigns and the Inter-regnum. London, 1697, p. 406.

<sup>32</sup> Ja. Heath. Flagellum: or, the Life and Death, Birth and Burial of Oliver Cromwell, the Late Usurper. London, 1663, p. 195.

<sup>33</sup> Ph. Warwick. Memoirs of the Reign of King Charles II. London, 1703, p. 388—389.

<sup>34</sup> Th. Burton. Parliamentary Diary from 1656 to 1659, vol. III. London, 1828, p. 140.

<sup>35</sup> Ibid., p. 141.

<sup>36</sup> Ibid., p. 565.

<sup>37</sup> Political Tracts. Commonwealth of England. 1643—1660. London, s. a., p. 8.

<sup>38</sup> Отрывки из этого памфлета напечатаны в кн.: «Cromwelliana». Westminster, 1810, p. 177—178.

<sup>39</sup> «Cromwelliana», p. 177.

<sup>40</sup> «The Writings and Speeches of Oliver Cromwell», ed. by W. C. Abbott, vol. IV. Cambridge, 1947, p. 867.

<sup>41</sup> «Thurloe State Papers», vol. VII, p. 355.

<sup>42</sup> «Writings and Speeches», vol. IV, p. 871.

<sup>43</sup> «Thurloe State Papers», vol. VII, p. 416.

<sup>44</sup> «Cromwelliana», p. 178.

<sup>45</sup> Ibid., p. 177.

<sup>46</sup> Ibidem.

<sup>47</sup> R. Coke. Op. cit., p. 403, 405.

<sup>48</sup> R. Baker. Op. cit., p. 635.

<sup>49</sup> Ibid., p. 634—635.

<sup>50</sup> R. Bate. Op. cit., p. 215, 223.

<sup>51</sup> Ja. Heath. Op. cit., p. 195.

<sup>52</sup> Ph. Warwick. Op. cit., p. 390.

<sup>53</sup> Ch. Firth. Charles Fleetwood.—Dictionary of National Biography, vol. VII, p. 263.

<sup>54</sup> См.: F. P. G. Guizot. Geschichte Richard Cromwells und der Wiederherstellung des Königtums in England. Leipzig, 1856, S. 2. W. H. Dawson. Op. cit., p. 288—295.

<sup>55</sup> Ch. Firth. The Last Years of the Protectorate, vol. II. London, 1909, p. 306.

<sup>56</sup> R. Baker. Op. cit., p. 637.

<sup>57</sup> «Thurloe State Papers», vol. VII, p. 364.

<sup>58</sup> Ibid., p. 415; «The Clarke Papers», vol. III, p. 161.

<sup>59</sup> «The Writings and Speeches», vol. IV, p. 870.

<sup>60</sup> F. P. G. Guizot. Histoire de la République d'Angleterre, 2, p. 513.

<sup>61</sup> «Thurloe State Papers», vol. VII, p. 364.





А. В. Суворов.



П. С. Нахимов.



М. И. Кутузов.



Орден Суворова.



Орден Нахимова.



Орден Кутузова



Орден Богдана Хмельницкого.



Орден Александра Невского.



Орден Ушакова.



На груди многих советских людей можно увидеть орденские планки — свидетельства боевого и трудового героизма. С особым уважением мы смотрим на орден и медали ветеранов Великой Отечественной войны — времени величайших испытаний и массового героизма советских людей. Каждая из наград может рассказать о подвиге, а то и о нескольких героических делах, совершенных во имя победы над врагами. Приумножая славные боевые традиции своих предков, народы нашей страны явили миру в 1941—1945 годах новые примеры доблести и воинского мастерства. Не случайно во время Великой Отечественной войны были учреждены награды, носящие имена великих полководцев и флотоводцев нашей страны. Ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Ушакова, Нахимова вдохновляли тысячи отмеченных ими советских воинов на новые подвиги, напоминая о героическом военном прошлом нашей Родины.

Издавна на Руси воины с особой гордостью носили боевые знаки отличия, полученные за защиту Отечества. Посмотрите на любой из портретов Михаила Илларионовича Кутузова, гениального русского полководца, ученика П. А. Румянцева и А. В. Суворова. Грудь фельдмаршала украшают высшие русские и иностранные ордена. С 19 лет он участвовал в кровопролитнейших сражениях. И по наградам, которые полководец получил, можно проследить весь его боевой путь. Даже простое перечисление военных кампаний и сражений, в которых он принимал участие, дает представление о мужестве и военном таланте Кутузова. Военные походы 1764, 1765, 1769 годов, участие под командованием П. А. Румянцева в трех знаменитых битвах 1770 года — при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле — таково начало непосредственной ратной деятельности Кутузова. В последующие годы русско-турецкой войны 1768—1774 годов он участвовал еще в нескольких сражениях, в том числе в бое при Алуште в Крыму, где был тяжело ранен. За все подвиги, совершенные в этой войне, Кутузов, кроме повышения в чине, был удостоен почетнейшей боевой награды — ордена Георгия 4-й степени. В статуте ордена Георгия, учрежденного в 1769 году, было сказано: «Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену св. Георгия за воинские подвиги; удостоивается же оно единственно тот, кто не только обязанность свою исполнял во всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием». Орденом награждался, например, тот, кто, «лично предводительствуя войском, одержит над

## В. Дуров ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ

неприятелем, в значительных силах состоящим, полную победу, последствием которой будет совершенное его уничтожение» или, «лично предводительствуя войском, возьмет крепость». Эта награда могла быть выдана также за взятие неприятельского знамени, захват в плен вражеского главнокомандующего или корпусного командира...

Орден Георгия подразделялся на четыре степени, причем сначала выдавалась низшая — 4-я степень, в каждый последующий раз — более высокая. Судить о том, насколько почетной была эта награда, можно по тому, что высший орден Российской империи Андрея Первозванного получило более тысячи человек, в то время как ордена Георгия 1-й степени было удостоено всего лишь 25 человек.

Награжден был 1-й степенью ордена Георгия и Кутузов, но через 37 лет после получения 4-й степени. А за это время в его послужном списке появились названия сражений, составивших славу русскому оружию. Кутузов принимал участие в осаде и взятии Очакова в 1788 году, в знаменитом штурме Измаила в 1790 году, где особенно отличился, командуя штурмовой колонной на решающем участке наступления. После боя Суворов так отзывался о роли Кутузова в победе: «Он шел на моем левом фланге, но был моей правой рукой». За участие в штурме Измаила Кутузов был представлен к награждению орденом Георгия 3-й степени. Более высокую, 2-ю степень ордена Георгия Кутузов получил в 1791 году за сражение при Мачине, где действия отряда, которым он командовал, решили исход боя. После этого были еще многочисленные сражения, в которых росло полководческое мастерство Кутузова. Было и множество орденов, повышений в чине и других наград. Но самую почетную в рус-



ской армии награду, орден Георгия 1-й степени, М. И. Кутузов получил за кампанию, которая стала одной из самых ярких страниц истории военного искусства, — изгнание из пределов России агрессоров в Отечественную войну 1812 года. И не случайно один из высших советских военных орденов, учрежденных в Великую Отечественную войну, получил имя гениального русского полководца.

Таким образом, каждый орден одного из отечественных военачальников соответствует важнейшей вехе в истории нашей страны.

К эпохе Отечественной войны 1812 года, во время которой так проявился полководческий талант Кутузова, российская наградная система уже прошла долгий путь развития.

Кому не известно имя русского богатыря Алеши Поповича, кто в детстве не восхищался его находчивостью, ловкостью, бесстрашием! Но мало кто знает, что в действительности в Киевской Руси существовал храбрый полководец Александр Попович, чьи подвиги легли в основу многих былин. Когда в самом начале XII века к Киеву подступали половцы, Александр Попович встал во главе оборонявшихся и разбил врагов. В награду за подвиг, как сообщает нам древнерусская летопись, князь киевский возложил на победителя золотую гривну — почетнейшую боевую награду. Это летописное сообщение является самым ранним упоминанием о награждениях особыми знаками отличия на территории нашей страны.

В дальнейшем, в XV—XVI веках, на Руси возникает обычай массового награждения после того или иного военного похода особыми знаками — медалями. Награду получали, как правило, все участники события с той только разницей, что чем выше было положение воина, тем более значительным по размеру и весу знаком его отмечали. Воевода, например, мог получить большую золотую медаль на тяжелой, также из золота, цепи, для награждения же рядовых воинов предназначались маленькие знаки, изготовлявшиеся иногда даже не из золота, а из серебра, и лишь слегка золотившиеся. Тем не менее демократический русский обычай поголовного награждения всех участников отдельных походов выгодно отличал отечественную наградную систему от наградных систем любого из государств того времени. В Англии лишь в 1670 году отмечено первое массовое награждение всех участников сражения специально отчеканенными медалями. В другие страны этот обычай пришел еще позже, лишь в середине XVIII столетия.

До нашего времени дошла большая золотая медаль эпохи Ивана Грозного. Эта

награда явно предназначалась для ношения — в верхней части ее пробиты два отверстия для прикрепления к одежде или к золотой цепи. Интересно свидетельство англичанина Д. Флетчера, относящееся ко времени правления уже сына Ивана Грозного, Федора Ивановича. Англичанин говорит о значении наградных знаков на Руси, а также о способах их ношения. «Тому, кто отличится храбростью перед другими, или окажет какую-либо особенную услугу, царь посылает золотой с изображением св. Георгия на коне, который носят на рукаве или шапке, и это почитается самой большою честью, какую только можно получить за какую бы то ни было услугу».

Традиция массовых пожалований знаков отличия наряду с персональными награждениями сохранялась и в XVII веке. Так, в 1654 году на Украину были присланы десятки тысяч золотых медалей для казаков Богдана Хмельницкого, достоинством от золотой копейки до тройного червонца. Самому же гетману была вручена золотая медаль в 10 золотых (около 34 граммов), его сыну Юрию — в 4 золотых, а генеральному войсковому писарю Ивану Выговскому (ставшему между прочим после смерти Б. Хмельницкого гетманом) — в 6 золотых.

В самом конце XVII века был учрежден первый русский орден — св. Андрея Первозванного. В проекте его устава, составленном при непосредственном участии царя Петра I, разъяснялось, кому и за что должна выдаваться эта регалия: «...В воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям; ибо ничто столько не поощряет и не воспламеняет человеческого любочестия и славолюбия, как явственные знаки и видимое за добродетель воздаяние».

Этот документ свидетельствует о том, какое большое значение придавал Петр I знакам отличия вообще и, в частности, ордену Андрея Первозванного. Жаловалась эта награда весьма скупой. За всю петровскую эпоху, богатую выдающимися событиями и выдвинувшую много талантливых деятелей, как гражданских, так и военных, прославивших Россию и на полях сражений, и на мирном поприще, андреевскими кавалерами стало менее 40 человек. Сам Петр получил орден Андрея лишь через пять лет после его учреждения, в 1703 году, за конкретный военный подвиг. В мае этого года солдаты русской гвардейской пехоты, посаженные в лодки, атаковали в устье Невы два боевых шведских судна, вооруженных одно десятью, а другое четырнадцатью пушками, и с одними лишь мушкетами и шпагами взяли корабли



на бордаж. Руководил операцией Петр I, «понеже иных на море знающих не было». В награду за этот бой Петр и получил знаки первого русского ордена.

Петром I было задумано учреждение еще одного ордена, предназначавшегося в награду лишь за военные отличия и получившего имя знаменитого русского полководца Александра Невского. Сам Петр не успел никого наградить этим орденом. При Екатерине же, ставшей во главе государства после смерти мужа, в число самых первых кавалеров ордена Александра Невского, задуманного как военная награда, попали и лица гражданские. Так и стал этот орден наградой, даваемой и за военные и за гражданские заслуги.

В начале XVIII века в России появляется еще один очень почетный знак отличия — наградной портрет Петра I, носившийся на груди. Эта награда предназначалась, так же как и орден, для персональных пожалований за личные заслуги как на военном, так и на гражданском поприще.

Функции же массового знака отличия выполняли по-прежнему медали. Внешне эти медали существенно отличались от подобных же наград XVI—XVII столетий. Медали петровского времени несли на себе явные признаки особого знака отличия. На них помещался, как правило, портрет Петра, указывалась дата события, послужившего причиной для награждения, и часто даже изображалась сцена сражения, если медаль была боевой.

На протяжении двух первых десятилетий XVIII века, с 1700 по 1721 год, Россия вела тяжелую Северную войну со Швецией, поэтому подавляющее число медалей петровского времени связано с событиями этой войны. В октябре 1702 года штурмом была взята старинная русская крепость Орешек, находившаяся 90 лет в руках шведов и переименованная после ее возвращения России в Шлиссельбург — «город-ключ». «Сим ключом много замков отперто», — писал позднее Петр, оценивая значение этой крепости.

Все участники штурма этой крепости в 1702 году, помимо других наград, получили медали. Медальми же были отмечены участвовавшие во взятии двух шведских судов в устье Невы в 1703 году, в победных сражениях при Калише в 1706 году, при деревне Лесной в 1708 году.

Но центральным сражением на суше со шведами явилась Полтавская битва, фактически предрешившая исход всей Северной войны. Все победители были щедро награждены орденами, наградными портретами, а также специально отчеканенными серебряными медалями. Последние предназначались лишь для унтер-офицеров и

рядовых гвардейских Преображенского и Семеновского полков. На унтер-офицерских медалях, кроме портрета Петра, изображалось сражение конницы, на солдатских — бой пехоты. Носились полтавские медали уже на голубых узких лентах, получивших цвет ленты ордена Андрея Первозванного.

В 1714 году произошла знаменитая морская битва при мысе Гангут, занимающая в истории русского флота такое же место, как Полтавское сражение в списке побед сухопутной армии России. В результате боя были захвачены десять боевых шведских судов. Победу торжественно праздновали. Было роздано большое количество наград. Участвовавшие в сражении офицеры получили золотые медали, «каждый по пропорции своего чина», а все матросы и солдаты десанта — серебряные. Композиция изображений и надписи на офицерских и солдатских медалях за Гангут были одинаковыми. На лицевой стороне традиционный портрет Петра I, на оборотной — схема построения русских и шведских судов в тот момент, когда русские перешли в решительную атаку. Помещена на оборотной стороне и дата сражения — 27 июля 1714 года.

После же смерти Петра в 1725 году обычай награждения медалями в России на несколько десятилетий прерывается. Причиной тому было забвение петровских военных традиций и засилье в стране иностранцев, заставивших на время русскую армию, которая являлась прежде образцом для всей Европы, слепо копировать отсталые порядки, царившие в то время в европейских странах, главным образом прусские.

Лишь во второй половине XVIII века русская армия и флот постепенно освобождаются от иностранного влияния и возрождают свои национальные традиции. И результаты этого не замедлили сказаться. Уже во время Семилетней войны русские войска, действовавшие против прусских, нанесли последним ряд сильных поражений. Русские солдаты и казаки появились на улицах Берлина. Не случайно первая солдатская медаль, выдававшаяся после длительного перерыва, была посвящена славной победе русского оружия именно над прусскими войсками при Кунерсдорфе 1 августа 1759 года. Эта победа ярко продемонстрировала тот очевидный факт, что ни прусская, ни какая-либо другая западноевропейская армия не могли служить примером для российских вооруженных сил. Интересно, что на обороте кунерсдорфской медали была надпись: «Победителю над пруссаками». И еще долго после раздачи этой награды, отчеканенной тридцатитысячным тиражом, в Россию приезжали прусские эмиссары, за любые деньги скупавшие у награжденных медали, символи-

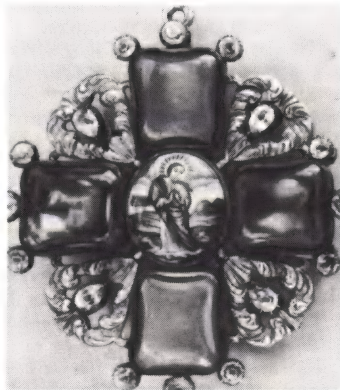




Знак ордена Александра  
Невского.



Крест в память взятия  
Очакова.



Крест ордена Анны.

зировавшие мужество, силу воинского духа и мастерство русских солдат.

В дальнейшем значительное число побед русской армии и флота XVIII века — такие, как славные сражения при Кагуле, Чесме, Кинбурне, Очакове, Измаиле, а также ряд других, — было отмечено специальными наградами медалями.

В XIX веке русская армия и флот вписали также немало славных страниц в отечественную историю, продолжив героические традиции победителей при Полтаве, Чесме, Измаиле. Суровым испытанием стала для России Отечественная война 1812 года, из которой она вышла победительницей благодаря мужеству и патриотизму простых русских людей. Велик был также вклад в победу значительной части русского офицерства и генералитета, учеников и наследников великого Суворова.

В память войны 1812 года была учреждена наградная медаль, чеканившаяся в серебре и бронзе. Серебряная медаль предназначалась для всех участвовавших в сражениях, бронзовая — для дворян, купцов и деятелей церкви, в боях не участвовавших. «Крестьяне, из среды коих исходит воин на защиту отечества и которые в самое грозное время показали дух православия, верности и мужества, едва ли когда имевший место в бытописаниях, — говорилось в царском манифесте по случаю учреждения медали, — крестьяне — верный наш народ, да получит мзду свою от бога».

Еще одна награда, правда иностранная, хранит для нас память о ярчайшем героизме русских войск в Отечественную войну. В августе 1813 года, когда сражения ве-

лись уже далеко за пределами России, солдаты русской первой гвардейской дивизии, число которых не превышало 12 тысяч человек, совершив быстрый марш-бросок, вступили под Кульмом в бой с 40-тысячным французским корпусом маршала Вандаммы. Русскому отряду надо было не только выдержать первый удар противника, но и продержаться в течение дня, чтобы дать возможность войскам союзников покинуть крайне невыгодные позиции. Сражение длилось до темноты. На поле боя пало 6 тысяч русских солдат и офицеров, но французский корпус не сумел прорвать оборону русских и обрушиться на проходившие в это время узкой горной дорогой войска союзников. На второй день к русской дивизии подошло подкрепление, и французы были наголову разбиты. За ходом сражения наблюдали русский император Александр I и прусский король Фридрих-Вильгельм III. Последний был так восхищен стойкостью русских войск, спасавших союзников, что тут же, на поле боя, наградил всех русских солдат и офицеров незадолго до этого учрежденным Железным крестом — почетнейшей боевой наградой, которую имели к тому времени лишь несколько военнослужащих в самой Пруссии. Несколько позже в связи с последним обстоятельством уже задним числом был выпущен указ, в котором награда, полученная русскими за сражение при Кульме, названа не Железным, а Кульмским крестом. В 1816 году из Пруссии были присланы специально изготовленные для награждения русских участников Кульмского сражения знаки и розданы на параде в Петербурге. Всего их получило

7131 оставшихся к тому времени в живых русских героев Кульма.

Самой крупной из войн XIX столетия, не считая наполеоновских, была Крымская кампания, которую вела Россия с коалицией, в состав которой входили Великобритания, Франция, Турция и присоединившаяся к ним позднее Сардиния. Знаменитые события этой войны, такие, как Синопский бой, защита Севастополя, оборона Петропавловска-на-Камчатке, остались яркими вехами в отечественной военной истории.

Основной русской наградой в память Восточной войны, как называлась официально война 1853—1856 годов, была учрежденная в августе 1856 года бронзовая медаль для всех гражданских и военных чинов империи. О степени участия награжденного в этой войне свидетельствовала лента, на которой носилась медаль. Награда выдавалась на четырех различных лентах — георгиевской, андреевской, владимирской и аннинской.

Медалью на черно-оранжевой ленте самого почетного русского военного ордена — св. Георгия — награждались участники успешных для русских войск военных действий в Восточной войне.

На георгиевской ленте медаль получили участники Синопского сражения, происшедшего в ноябре 1853 года, в котором русская эскадра, возглавляемая адмиралом П. С. Нахимовым, разгромила турецкую военную эскадру, уничтожив при этом 15 из 16 кораблей противника и не потеряв ни одного своего.

На этой же ленте медаль вручалась участникам боевых действий на Кавказском театре, в ходе которых войска Отдельного Кавказского корпуса, поддерживаемые с моря судами русской Черноморской эскадры, разбили турецкую армию, захватив при этом ряд сильных крепостей противника.

В августе 1854 года к берегам Камчатки подошла соединенная англо-французская эскадра из шести кораблей, возглавлявшаяся двумя адмиралами — английским и французским. 18 августа вражеские корабли встали на якорь в Авачинской губе, намереваясь захватить Петропавловск-на-Камчатке — главную русскую базу в этом районе. Силы защитников Петропавловска вместе с добровольцами из местного гражданского населения составили менее тысячи человек при 39 орудиях береговых батарей и 29 орудиях двух военных судов, находившихся в Петропавловской бухте. Корабли же противника имели более 200 пушек.

Гарнизон Петропавловска, возглавляемый военным губернатором Камчатки генерал-майором В. С. Завойко, принял неравный бой. Были отбиты две попытки противника высадить с кораблей при под-

держке артиллерии десанты в окрестностях города. При этом был нанесен чувствительный урон нападающим. 27 августа англо-французская эскадра покинула русские территориальные воды, а героические защитники Камчатки наряду с другими наградами получили право носить медаль «В память войны 1853—56 гг.» на георгиевской ленте.

Все военные и гражданские чины, принимавшие участие в боевых действиях на других театрах войны (где успех чаще сопутствовал союзникам) или находившиеся в местах, которые были объявлены на осадном или военном положении, получили медали на голубой ленте ордена Андрея Первозванного.

Все прочие военные и гражданские чины были удостоены медалей на чернокрасной ленте ордена Владимира, а купечество, жертвовавшее средства на войну или помощь раненым, — на золотистокрасной ленте ордена Анны.

Медали, предназначавшиеся для участников войны 1853—1856 годов, были двух видов — светлой бронзы, дававшиеся чинам военного и морского ведомства, и темной бронзы, которые получали гражданские лица. В ноябре 1856 года особым указом награждение светлой бронзовой медалью на андреевской ленте было распространено на лиц всех сословий, даже крепостного состояния, имеющих Знак Отличия военного ордена (Георгиевский крест. — В. Д.) медаль за Севастополь или раненных во время военных действий.

Герои обороны Севастополя были награждены особой медалью — «За защиту Севастополя». Ее получить могли все участвовавшие в обороне города с 13 сентября 1855 года, когда Севастополь был объявлен на осадном положении, по 27 августа 1855 года, день последнего штурма, в том числе и лица крепостного состояния. Особо в указе отмечено право на медаль женщин, «которые несли службу в госпиталях или во время обороны Севастополя оказали особые услуги».

Медаль «За защиту Севастополя» была серебряной и носилась на георгиевской ленте. В отличие от указа дата завершения обороны города на ней названа не 27, а 28 сентября, когда русские были вынуждены отойти на новую линию обороны на Северной стороне.

Особым уважением пользовались отмеченные самой почетной русской боевой наградой — офицерским орденом Георгия и солдатским Георгиевским крестом. В памятной книжке П. С. Нахимова среди прочих важных дел, намечавшихся на день, часто встречаются и записи о награждении особо отличившихся, например: «георгиевские кресты нижним чинам», «узнать о всех наградах офицерских», «бастионным командирам георгиевские кресты», «кресты



давать и тем, которые были и прежде представлены», и др.

Адмирал хорошо понимал важное значение боевых наград. Поощряя отличившихся и вызывая у других похвальное желание заслужить также подобные знаки отличия, командиры получали дополнительную возможность поддерживать высокий боевой дух подчиненных. Один из участников защиты Севастополя, офицер, сражавшийся на знаменитом 4-м бастионе, впоследствии вспоминал: «Нахимов, приходя на бастион, приносил на раздачу нам георгиевские кресты, которые называл гостинцем». Этот же офицер, кстати, сам награжденный за храбрость орденом Георгия 4-й степени, пишет далее, что лейтенант Львов, командир одной из батарей 4-го бастиона, смертельно раненный вражеским ядром, прощаясь с ним, «просил одной награды: дать двоим комендорам его батареи георгиевские кресты, что и было мною исполнено...».

Так было не только на героическом 4-м бастионе, из 600 защитников которого, первыми встретивших врага, в конце осады остались в живых только пятеро, русские самоотверженно сражались на всех участках обороны Севастополя.

Особенно прославился лейтенант Н. А. Бирюлев, начальник аванпостов перед 3-м бастионом. За многочисленные подвиги Бирюлев был награжден Золотым оружием с надписью «За храбрость» и несколькими боевыми орденами, в том числе и орденом Георгия 4-й степени. В представлении к ордену Георгия, подписанном П. С. Нахимовым, так говорится о смелом лейтенанте:

«...Подвиги лейтенанта Бирюлева заключаются в следующем:

С первого начала военных действий офицер отличается особым мужеством, особенно же 9 и 20 декабря 1854 г. и 1 января 1855 г. при трех вылазках, в которых взято в плен 3 офицера и 53 рядовых и много побито неприятеля. Всегда командовал охотниками и, всегда будучи впереди, первый бросался в неприятельские траншеи; увлекал людей к неустрашимости и обращал неприятеля в бегство. Сверх сего, ночью с 19 на 20 декабря 1854 года (новый год неприятеля) вызвался с 100 человек охотников, бросился на высоту против батарей на бульваре, <...> штыками выбил оттуда французов, разорил их работы и устроил на том самом месте завалы, в которых под его наблюдением наши штуцерные держатся и доселе...

Вице-адмирал На х и м о в».

Достойными своего начальника были и подчиненные лейтенанта Бирюлева, среди них знаменитый матрос Кошка, о подвигах которого в Севастополе ходили легенды, матрос И. Шевченко, в одном из боев грудью закрывший от вражеской пули сво-

его командира, и многие другие солдаты и матросы.

Защитники Севастополя сражались не ради наград и поощрений, а сознавая свой патриотический долг. Один из офицеров, тяжело раненный, на вопрос, какую он хотел бы получить награду за свою храбрость, ответил: «Поставьте на бастион бомбическую пушку».

Адмирал П. С. Нахимов за три дня до гибели узнал о том, что удостоен царем награды, так называемой аренды — весьма крупной ежегодной денежной выдачи сверх основного жалованья, и воскликнул при этом известии: «Да на что мне аренда? Лучше бы они мне бомб прислали!» И до этого адмирал, не имевший ни семьи, ни «сухопутных» друзей и посвятивший себя целиком русскому флоту, почти все свои деньги раздавал морякам и раненым в госпиталях. Поэтому о том, что делать с этой наградой — арендой, он долго не раздумывал. Один из его современников писал по этому поводу: «...Удостоившись по окончании последней бомбардировки Севастополя получить в награду от государя императора значительную аренду, он только и мечтал о том, как бы эти деньги употребить с наибольшей пользой для матросов или на оборону города».

Кроме общей медали за Севастополь, для его защитников был учрежден еще ряд наград и привилегий, вполне ими заслуженных. Ведь из 16 тысяч военных моряков черноморского флота, сошедших на берег и составивших ядро защитников города, к концу обороны осталось в строю лишь 800 человек. Поэтому месяц, проведенный в осажденном Севастополе, засчитывался как целый год военной службы. Один из героев, юный Николай Пищенко, в 13-летнем возрасте уже получил Георгиевский крест, был произведен в унтер-офицеры и имел 11-летний стаж военной службы.

Особой награды были удостоены сестры милосердия из Петербурга и Москвы, работавшие в Крыму во время этой войны. Все они получили специально отчеканенные серебряные медали с надписью «КРЫМ—1854—1855—1856», хотя и не предназначенные для ношения, но считавшиеся почетным знаком отличия.

Знаменитая Даша Севастопольская, отличившаяся во время обороны города как особо неутомимая и заботливая сестра милосердия, добровольно выполнявшая свои обязанности, была награждена не серебряной, а золотой медалью.

Многие жены и сестры матросов, сражавшихся на севастопольских бастионах, по мере возможности помогали им тем, что приносили стоявшим у орудий матросам и солдатам квас и воду, доставляли на руках боеприпасы, когда вражеский огонь не давал возможности привезти их на подводах, перевязывали раненых. За эти подви-



ги, совершавшиеся совершенно бескорыстно, некоторые из них были представлены к награждению медалями, что было редчайшим случаем. Так, одна из них, жена матроса Елена Михайлова, во время осады Севастополя находилась на Малаховом кургане, оказывая посильную помощь оборонявшимся, и при этом была ранена пулей в бок. По указанию самого Нахимова она в числе других женщин, проявивших мужество при обороне Севастополя, была представлена к награждению серебряной медалью «За усердие». Вдова другого матроса, убитого в Севастополе, Дарья Ткач, была отмечена, также Нахимовым, еще более высокой наградой — боевой серебряной медалью «За храбрость» на георгиевской ленте.

За участие в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, в ходе которой было окончательно подорвано турецкое господство на Балканах, русским правительством была учреждена наградная медаль трех образцов: серебряная, светло-бронзовая и темно-бронзовая.

Серебряную медаль получили все участники героической обороны Шипки, Баязета, а также штурма турецкой крепости Карс.

Светло-бронзовую медалью награждались те, кто сражался в прочих битвах этой войны. И наконец, темно-бронзовую медаль получили лица, находившиеся в зоне военных действий, но непосредственного участия в боях не принимавшие.

Вместе с русскими воинами серебряную медаль получили также болгарские ополченцы, проявившие себя в Шипкинской эпопее.

В память освобождения Балкан от турецкого ига были учреждены также болгарские, сербские, черногорские и румынские награды. Многие военнослужащие русской армии, сыгравшей решающую роль в избавлении балканских народов от иноземного гнета, получили эти награды.

И в русско-японской войне 1904—1905 годов были продемонстрированы всегда отличавшие русских солдат и матросов стойкость, мужество и воинское мастерство.

27 января 1904 года произошло знаменитое морское сражение при Чемульпо двух русских кораблей — крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с целой японской эскадрой в составе 6 крейсеров и 8 миноносцев. В этом бою один вражеский корабль был потоплен и два других сильно повреждены. Но силы были неравны — мощь огня только одного японского крейсера «Асама» превосходила количество вооружения «Варяга» и «Корейца», вместе взятых. Чтобы врагам не достались русские корабли, их экипажи сами потопили «Варяг» и взорвали «Кореец». В награду за этот бой весь личный состав русских



Знаки военного ордена Св. Георгия.

судов, участвовавших в сражении, был отмечен специально отчеканенной медалью на особой ленте, имевшей цвета русского военно-морского андреевского флага. На лицевой стороне медали был изображен Георгиевский крест, окруженный венком и надписью: «За бой «Варяга» и «Корейца» 27 янв. 1904 г. Чемульпо»; на оборотной стороне — «Варяг» и «Кореец» на рейде Чемульпо, готовые к бою с японской эскадрой.

Подвиги русских воинов, совершенные на полях брани, никогда не будут забыты. Советские люди чтят мужество и патриотизм, проявленные русскими солдатами и офицерами. В советских музеях бережно хранятся награды героев Очакова и Измаила, Кульма и Бородина, Севастопольской обороны и Шипки.

Многие советские воины рядом с орденами, которыми они были награждены во время Великой Отечественной войны, гордо носили полученные ими раньше Георгиевские кресты. Среди них был, например, полный георгиевский кавалер донской казак К. Недурбов, за подвиги в боях с фашистами удостоенный высокого звания Героя Советского Союза.







Перед нами портрет простолюдина. В облике его, казалось бы, нет ничего примечательного: низок ростом, стрижен «под горшок», рыжеватые усы и борода, чуть курносый нос; одет в длиннополый, до пят, коричневатый кафтан.

Между тем это единственный дошедший до нас портрет знаменитого Петра Телушкина.

...В один из осенних дней 1830 года вокруг Петропавловской крепости собралась толпа. С помощью одних только веревок верхолаз сумел подняться на самую вершину тридцатиметрового шпиля, к основанию креста. Благодаря своей ловкости и бесстрашию он ухитрился на высоте более ста двадцати метров произвести ремонт кровли и закрепить полуоторванное крыло фигуры ангела, несущего крест.

Человек, совершивший беспримерный для того времени поступок, — петербургский кровельщик Петр Телушкин.

Автор портрета, Григорий Григорьевич Чернецов, был также выходцем из народа. Сын провинциального иконописца, не имевший средств на учебу, он приехал в Петербург с твердым намерением стать художником. Преодолев жестокую нужду и лишения, Чернецов блестяще закончил Академию художеств и вскоре сделался известным пейзажистом.

В 1832 году император Николай I поручает Чернецову написать картину «Парад на Царицыном лугу». Эта картина, носящая теперь название «Парад на Марсовом поле», экспонируется в настоящее время во Всесоюзном музее А. С. Пушкина (Ленинград).

Сохранилось два<sup>1</sup> до сего времени не воспроизводившихся эскиза, дающих представление о первоначальном композиционном замысле картины. В отличие от окончательного варианта, в этих эскизах публика размещена гораздо дальше от Царицына луга, у памятника Суворову, и заполняет собой весь первый план. Войска остались вдали, в глубине полотна. По сравнению с окончательным вариантом «Парада», где длинный ряд зрителей дан несколько статично (это обусловлено однообразно-линейным расположением их вдоль одной стороны Марсова поля), в эскизах они размещены более свободно и естественно.

Очевидно, первоначальный композиционный замысел художника не удовлетворил Николая I. «Живописец его величества» Г. Г. Чернецов вынужден был выполнять волю императора. И все же художник не отступил совсем от своего намерения. Во всяком случае, и участвующие в пара-

## Г. Назарова

(Ленинград)

## «ПАРАД НА МАРСОВОМ ПОЛЕ»

### Г. Г. ЧЕРНЕЦОВА

(Эскизы и этюды к картине)

де военные, и прибывшие на торжество зрители — равноправные «герои» картины.

Огромное полотно (его размеры более 2 метров по вертикали и около 3,5 метра по горизонтали) превратилось в своего рода портретную галерею Петербурга пушкинской поры.

Фрагмент картины.







Г. Г. Чернецов.  
«Парад на Марсовом поле».

Этюд к картине.





Фрагмент картины.

Пять лет (с 1832 по 1837 год) работал живописец над своей удивительной картиной. Более двухсот портретов!

Ценность портретной галереи в «Параде» возрастает оттого, что к ней приложе-

но «объяснение фигур» — своеобразный указатель, составленный самим художником: рисунок, на котором скопированы все те, кто помещен в картине, и названы их фамилии. Иногда художник сообщает и краткие биографические сведения.





Фрагмент картины.

Вглядываясь в картину, мы узнаем известных писателей, актеров, художников: А. С. Пушкина, И. А. Крылова, В. А. Жуковского, Н. И. Гнедича, Д. В. Давыдова, М. Н. Загоскина, Карла и Александра Брюлловых, Василия и Петра Каратыги-

ных, А. Г. Венецианова, В. И. Демут-Малиновского, В. Н. Асенкову, Е. А. Телешеву и многих других.

Эта своеобразная живописная энциклопедия знакомит нас и с такими, например, деятелями русского искусства, как Андрей

Осипович Сихра и его ученик Семен Николаевич Аксенов, популярными в 1820-е годы гитаристами и композиторами, в наше время известными, пожалуй, только специалистам. Оба музыканта издавали нотные сборники для любителей игры на семиструнной гитаре. Они публиковали арии из опер иностранных композиторов и русские народные песни, среди которых были и такие знаменитые, как «Среди долины ровныя» и «Выйду ль я на реченьку».

Создавая свою многопортретную картину, Чернецов сделал множество зарисовок и этюдов. К сожалению, до нас дошло лишь около двух десятков эскизов, а порой и совсем законченных портретов, отличительной особенностью которых является их исключительная документальная точность<sup>2</sup>. Среди них — живописный этюд, на котором запечатлены А. О. Сихра и С. Н. Аксенов. Это единственное<sup>3</sup> известное нам и до сего времени не воспроизводившееся изображение музыкантов<sup>4</sup>.

Среди сохранившихся этюдов находится и тот портрет Телушкина, о котором шла речь выше. Небольшой по размеру, выполненный маслом на картоне, он хранится сейчас в Государственной Третьяковской галерее. На обороте портрета — пунктуальная запись художника: «Петр Телушкин... казенный крестьянин кровельного цеха... Г. Чернецов». Аналогичная запись есть и в указателе к картине: «П. Телушкин, крестьянин Ярослав. губ., починивший крест без лесов на шпиге колокольни Петропавловского собора в С. П. Б. в октябре и ноябре 1830 года».

В «Параде на Марсовом поле» Телушкин стоит неподалеку с книгопродавцем А. Ф. Смирдиным, актером Н. О. Дюром, художниками А. А. Ивановым и А. Я. Кухаревским. Человека простого звания Чернецов поместил в своей картине среди знаменитостей Петербурга.

Так, прекрасный художник, пламенный патриот Григорий Григорьевич Чернецов отдал дань и талантливому русскому мастеру — золотые руки Петру Телушкину и ряду других замечательных современников Пушкина, много сделавших для развития и становления русской культуры.



Петр Телушкин.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Один из них принадлежит Весоюзному музею А. С. Пушкина, другой — Государственной Третьяковской галерее.

<sup>2</sup> Напомним об известном эскизе Г. Г. Чернецова к портрету Пушкина, где указан рост поэта.

<sup>3</sup> Не считая самой картины, где погрудные портре-

ты музыкантов размещены в разных концах ряда зрителей.

<sup>4</sup> Этюд находится в Государственной Третьяковской галерее.



Cher (C).

Donner et sans dire que la  
meilleure confiance ne saurait Vous échapper  
par aucun moyen, Madame. Notre amour en  
noblesse Chérie. C'est donc avec une  
confiance absolue en Vous, Madame, que je  
Vous prie d'agréer les respects d'un mortel  
qui a voulu vous venir à celle de sa chère sœur,  
tout en restant, le plus soumis de ses sujets.

Grand ligneau  
(chef d'œuvre de la ligne) (T. 10. 12)



18 mai 1840

à quatre heures de la nuit, pour vous de la ligne de 1840.

Si la lettre Vous est parvenue, Madame, veuillez  
bien me répondre par l'homme qui Vous l'a  
apportée en disant mot, « Oui! »



## 1. СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

Некое «неустановленное лицо» — есть такая интригующая пометка на архивных документах — записало со слов генерал-адъютанта Рылеева:

«Государь сказывал, что мать будущей Юрьевской вышла к нему на одной из станций южных дорог и стала жаловаться на свое расстроенное состояние, прибавляя, что у нее в Петербурге, в Смольном, дочь, которая останется бесприданницей. «Окажите, ваше величество, ей милости!..» Государь говорил, что он давно забыл об этом и вспомнил только при каком-то посещении Смольного института. Она ему сразу понравилась, и при дальнейшем посещении он заключил, что она его полюбила. «Но клянусь, что я не касался до нее до тех пор, пока доктора не предъявили мне, что она зачахнет от любви»<sup>1</sup>.

А. М. Рылееву можно, пожалуй, верить. Труднее верить ссылке Александра II на диагноз медиков. Не станем томить читателя: «будущая Юрьевская» не зачахла...

Ее звали Екатериной. Урожденная Долгорукая, она — находка для беллетриста, склонного описывать альковные приключения. Такой беллетрист волен черпать полные, хотя и мутные, пригоршни из книжки, посвященной любви могущественного монарха и княжны-бесприданницы, написанной на досуге Морисом Палеологом, тем самым Палеологом, который представлял Францию при последнем Романове<sup>2</sup>.

Нам дела нет до сожительств Александра II с довольно красивой шатенкой, которая была моложе его почти на тридцать лет. Однако тема заметки понуждает коснуться некоторых эпизодов дворцовой хроники.

Задолго до рождения Долгорукой пятикратные пушечные выстрелы Петропавловской крепости возвестили бракосочетание великого князя Александра с принцессой Марией Гессен-Дармштадтской. Певчие придворной церкви запели «Господи, силою твоею возвеселится царь», и Николай I повел к аналою «высокобращующихся»<sup>3</sup>.

Когда «будущая Юрьевская» еще была в пеленках, означенная чета уже обзавелась детьми. А когда «будущая Юрьевская» танцевала полонез на институтских балах, великий князь Александр, сделавшийся Александром II, не испытывал уже к своей болезненной супруге ничего, кроме холодной сдержанности.

И сама Екатерина Долгорукая, и ее

Юрий Давыдов

## «НИКТО И НИКОГДА НЕ УЗНАЕТ НАШИХ ИМЕН»

Тринадцать безымянных господ. — Княгиня в роли связанной. — Автографы № 678. — Предшественники «Священной дружины»?

родственники принадлежали к тем громким фамилиям, которых на перевале века — и чем дальше, тем круче — обирал «чуждый». Но царским вельюем с Екатериной Долгорукой дело обернулось иначе.

Она поселилась в Зимнем. Ее назначили фрейлиной. У нее появился банковский счет, вилла в Ливадии и прочее, прочее, прочее.

Шли годы. У «будущей Юрьевской» рождались дети. Секрет адюльтера стал секретом полишинеля. Но оставалась тирания этикета, приходилось блюсти приличия. Впрочем, это не препятствовало Долгорукой, пользуясь высочайшим покровительством, брать взятки. Было и еще одно утешение: царь обещал княжне подвечечное платье, как только он «освободится» от императрицы, а та день ото дня угасала...

Майским утром 1880 года к Собственному подъезду Зимнего дворца подкатили две кареты, сопровождаемые всадниками конвоя: Александр II приехал из Царского Села, его сын — с Елагина острова.

Императрица приказала долго жить. В дневнике наследника записано: «Что было страшно тяжело, это сейчас же после надо было присутствовать у папá за докладом военного министра, как будто ничего и не было! Не понимаю, как папа мог выдержать доклад и выслушивать в продолжение целого часа совершенно пустячные бумаги!»<sup>4</sup>

Еще и сапог не износил и едва ли сорокоуст отчитав, Александр II обвенчался с княжной. Генеалогия, ушлая служанка августейших особ, отыскала в числе ее предков Мономахова сына Юрия, и Долгорукую нарекли светлейшей княгиней Юрьевской.

Александр II, женившись, вознамерился короновать жену. Брак мorganатический? Да, но есть прецедент: Петр I и Екатерина I. И вот некий чиновник отбыл в первопрестольную, дабы выудить из архива



церемониал коронования Марты Скавронской в 1724 году<sup>5</sup>.

А пока царь желал хранить в тайне таинство своего второго брака. Однако уже несколько дней спустя это стало достоянием улицы. Там расценили «событие» философически: «Матушка-царица померла, делать нечего — повенчался с другой»<sup>6</sup>.

Но когда Александр II представил свою супругу наследнику, тот отметил в дневнике: «Новость была неожиданна и странна». Потом выразился так: «Просто не знаешь, где находишься», «положительно мысли путались»<sup>7</sup>. И совсем потерял голову, узнав о намеченном короновании матеи, объявил, что уедет в Данию, к родственникам цесаревны. В ответ Александр II пригрозил ему лишением престола в пользу Георгия, своего сына от княгини Юрьевской<sup>8</sup>.

Скандал в благородном семействе, хотя и не принимал форму бунта, остро досаждал царю, и он сел писать что-то вроде «объяснительной записки», адресованной императорской фамилии. Писал на листе из старых бумажных запасов с округлым знаком: «Император Н. I», словно бы звал на подмогу тень грозного батюшки<sup>9</sup>.

## 2. ТРИНАДЦАТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ

Дворцовая история разыгрывалась за кулисами Истории.

На сцене Истории происходили события истинно драматические.

Было коллективное подвижничество «хождения в народ». Завязалась отчаянная схватка горстки героев с самодержавием. Взлет революционного духа, безоглядность жертвенного порыва революционеров остановили на России «зрачок мира».

В августе 1879 года возникла «Народная воля». В порядок дня был поставлен и «центральный акт» — цареубийство.

Рубеж 70—80-х годов отмечен лихорадочным состоянием элиты. В формуле — «кризис верхов» — не только аспекты политические и административные, но и спектр настроений и чувств.

Смятением дышат страницы дневника будущего Александра III, страницы тетради с толстым кожаным переплетом и металлическим замком: «Просто ужас, что за милое время!», «Господи, дай нам средства и вразуми нас, как действовать! Что нам делать!», «Самые ужасные и отвратительные годы, которые когда-либо проходила Россия — 1879 и начало 1880 г.»<sup>10</sup>.

Причитали не в одной лишь Северной Пальмире, но и в белокаменной, где некий граф заносил в свою памятную книжку: «Мы живем как на вулкане. Спаси, господи, Россию от страшного внутреннего зла!»<sup>11</sup>.

Военный министр Д. А. Милютин сетовал, что многие официальные лица «без-

действуют и потакают самым опасным для общественного спокойствия происшествиям»<sup>12</sup>.

Однако не все желали «потакать». Нашлись и нежелающие. Нашлись и объединились в августе 1879 года, чуть ли не день в день с возникновением «Народной воли».

Основоположников-народовольцев было одиннадцать-двенадцать<sup>13</sup>. Они задались целью ниспровергнуть самодержавие и самодержца. Не желавших «потакать» было тринадцать. Они решили «парализовать зло, образовать железный круг около его величества и умереть вместе с ним, если ему суждено погибнуть».

«Мы, — заявлял один из тринадцати, — торжественно поклялись, что никто и никогда не узнает наших имен... Мы основали лигу, род ассоциации, управляемой тайно, и неизвестной даже полиции, которой, впрочем, и без того многое остается неизвестным»<sup>14</sup>.

Жалобы на плохое состояние политической полиции, как и желание добиться ее высокого профессионализма, тоже одна из примет «кризиса верхов».

После халтуринского взрыва в Зимнем дворце (февраль 1880 года) был призван на спасение династии «варяг» — М. Т. Лорис-Меликов. Граф называл Третье отделение «гнусным учреждением», «нарывом», «пучиной мерзости»... То не был голос совести и сердца, а было недовольство и раздражение администратора, сознававшего необходимость реорганизации сыска. Чтобы управлять тройкой, пусть и чудо-тройкой, надо держать вожжи в одних руках.

Его союзницей в деле совершенствования тайной полиции явилась княгиня Юрьевская. «В этом надо отдать ей полнейшую справедливость, — признавал Лорис-Меликов. — Она подготовила почву и однажды сказала мне: «Теперь говорите государю, я уже говорила ему»<sup>15</sup>.

Почему княгиня Юрьевская поддержала Лорис-Меликова? Существует упоминание, что у нее были давние счеты с Третьим отделением: когда-то шеф жандармов, державший сторону императрицы, грозился «истребить» соперницу-«девичку»<sup>16</sup>. Если это и верно, то все-таки слишком невесомо, чтобы определять поведение княгини Юрьевской. Нет, она, лично она, и, вероятно, горячее прочих, жаждала сильной и всепроникающей полиции. Только сохранив царя от покушений террористов, она могла рассчитывать на корону.

В августе 1880 года Третье отделение собственной его величества канцелярии было заменено департаментом государственной полиции министерства внутренних дел, бразды которого принял генерал от кавалерии граф М. Т. Лорис-Меликов.

Тот же аноним из числа тринадцати, письмо которого мы цитировали выше,

сомневался в надежности даже «хорошей полиции». Ибо: «Полиция — это институт, где каждый отбывает свою повседневную обязанность, только о ней и думая». Иная статья, подчеркивал аноним, «мы, наши агенты». Ибо: «...все избраны из заклятых врагов социалистов. Полиция бегут нигилисты, нас они не знают и принимают за своих собратьев»<sup>17</sup>.

Приведенные строки адресованы княгине Юрьевской. Будучи союзницей Лориса, она приняла и роль посредницы между Т. А. С. Л. и Александром II.

### «Т. А. С. Л.»

Письма, лежащие перед нами, внешне красивы.

Голубоватая бумага; в левом верхнем углу монограмма, увенчанная короной. Пернила плотные, на растворе нигрозины, как сказал бы каллиграф, «хорошо скользящие с пера». Слегка наклоненный вправо, «приятный во всех отношениях» почерк человека, привычного к кабинетным занятиям и вполне владеющего французским. Никаких помарок на всех тридцати страницах. На двух из них — увесистая печать красного сургуча того добротного качества, который придает оттиску гляцевитость. На печатях отчетливы и лавровый венчик, и звезда с лучами, и крест, похожий на орденский, и надписи: «Т. А. С. Л.», «БОГ И ЦАРЬ», «1879», «СПБ. ОТДЕЛЕНИЕ».

Первое письмо датировано 18 мая 1880 года; последнее — лишь числом и месяцем — 17 декабря. Есть вовсе недатированные, есть с оборванным текстом. Все письма без конвертов. Все начинаются кратким обращением: «Мадам». И все отложились в архивном фонде Александра II, в деле № 678<sup>18</sup>.

Едва перелистав эту таинственную корреспонденцию, определяешь два обстоятельства. Архивная подборка неполна: в одном из писем упомянута некая предыдущая информация, а между тем ее не обнаруживаешь в указанном фонде. (Еще досаднее то, что мы не знаем, где письма княгине Юрьевской к этому анониму. А письма были: «Я имел честь получить Ваш любезный ответ», — свидетельствует аноним, каковой для княгини Юрьевской, конечно, не был анонимом.) И далее. Неизвестный автор принадлежал к «высшим сферам». Это явствует не только из его прямых заявлений, но и из мелочной осведомленности. Так, например, он сообщает княгине Юрьевской, что такая-то депеша, ночная и спешная, «была отправлена на Английскую набережную», а в другом месте называет «мадемуазель Шебеко» как возможный, так сказать, канал связи.

На Английской набережной квартировал князь М. М. Долгорукий, старший брат княгини Юрьевской; одно время, до пере-

селения в Зимний, она тоже жила в этом особняке. А Варвара Шебеко подвизалась компаньонкой у княгини Юрьевской — дел рачительница, детям — нянька; к тому же один из братьев княгини Юрьевской был женат на сестре В. И. Шебеко.

О чем же сообщал рыцарь с опущенным забралом в своих голубоватых французских письмах? О чем извещал он даму-патронессу, неоднократно напоминающую о необходимости хранить все в секрете от всех, кроме государя, и столь же неоднократно подчеркивая полное доверие «Т. А. С. Л.» к той женщине, чувства которой к царю не могут не внушать высокого уважения?

Ясности ради процитируем не хронологически, а тематически.

Возникновение «Т. А. С. Л.» корреспондент княгини Юрьевской объяснял «безмятежной дремотой общества», в то время как «адский мир нигилистов, революционеров, социалистов, коммунистов — этих российских санюлотов» «раздавался вширь и бурлил на всю Россию».

«Что же делать? Как предупредить мятеж, революцию?» — вопрошал аноним. «В эту годовину кризиса», повествует он, тринадцать человек «не впади в общую одурь и решились спасти того, кто слишком хорош для народа, не знающего признательности».

«Название нашей лиги, — писал он позже, — «Тайная антисоциалистическая лига». Наш девиз — «Бог и царь», наш герб — звезда с семью лучами и крестом в центре. Ныне нас насчитывается около двухсот агентов, и число их непрерывно растет во всех уголках России. При желании, мадам, вы могли бы составить представление, хотя и смутное, о нашей лиге, вспомнив об обществе франкмасонов и других подобных обществах и ассоциациях с их девизами и гербами».

Очевидно, «мадам» выразила подобное желание, и аноним не заставил просить себя дважды. Мы приведем его строки не ради иронической улыбки, а потому, что они дают некоторое представление о структуре лиги:

«Великий лигер, два высших лигера и младшие лигеры, деятельные члены, депутаты, секретари канцелярий, агенты администрации — одним словом, вся административная часть лиги (за исключением ее членов) в молчании собираются в большой зале собраний, где происходит молебен. У каждого черные уставные одежды, на груди знак с серебряными лигистскими литерами, у некоторых гербовые знаки на левом рукаве... После молебна исполняются различные церемонии, каковые происходят в молчании, и лица у всех закрыты, ибо, по законам лиги, никто не должен знать, кто именно его непосредственный начальник, дабы избежать уколов самолюбия и предупредить измены. Именно здесь я имел



честь сообщить ассамблее милостивейшее слово его величества. (Отсюда нетрудно заключить, что письма, посланные княгине Юрьевской, были читаны Александром II и что деятельность лиги, неизвестной официальной полиции, одобрялась царем. — Ю. Д.) В ответ, как знак нижайшего подчинения и признательности, все эти черные фигуры склонились... пока пелся гимн «Боже, царя храни». Затем началось обсуждение. (Очевидно, каких-то очередных дел. — Ю. Д.) Под конец, по обычаю, члены лиги и свиты удалились. Лигеры проследовали в полусвещенный «Черный кабинет», и двери были закрыты. Они (лигеры. — Ю. Д.) заняли места вдоль стен, на которых висят гербовые знаки... Все, что решается в «Черном кабинете», неотменимо — скорее Нева потечет в Ладогу, чем не исполнится в назначенный час приказ, здесь данный... Вот, мадам, пример наших церемоний, которые напоминают церемонии обществ, известных в истории, и которые не могут быть иными в лиге, члены которой связаны клятвой».

В посланиях к княгине Юрьевской рассеяны и другие лигистские «организационные моменты». Встречаются упоминания о филиалах в самом Санкт-Петербурге и в других городах европейской России. Агенты обозначаются номерами (даже трехзначными!) и литерами. Есть и ликующее известие о том, что «под развевающимися знаменами лиги» действует пара великих князей, близкие друзья графа Лорис-Меликова, один из членов подчиненной ему Верховной распорядительной комиссии.

(Сам граф не был взыскан особой милостью лигеров: «Мы хорошо знаем, каков его характер и кто он есть. Это смелый и добрый человек, но малознергичный и лишенный талантов, хотя он и споспешествует благу, ибо наделен доброй волей и предан делу (что ныне встречается редко). Однако он не относится к тому роду людей, которых следует назвать железными и из которых состоит наша лига. Не знаю, хватило бы у него духу умереть за благо. Поэтому было бы бесполезно посвящать его в наши тайны и в данный момент причислять к нашей лиге».)

Оставим в стороне «развевающиеся знамена». Обратимся к методам лиги. Увы, они освещены весьма сумеречным светом.

Можно, например, понять, что одним из приемов «железных людей» было (коли было!) проникновение и внедрение в подполье: «Отмечу, мадам, что четверть наших агентов находится среди революционеров»; «...наша лига располагает примерно двумястами особами, которые действуют не силой, но тем не менее способствуют падению социалистов».

Но если и центр «Т. А. С. Л.», и филиалы, и агенты, если все это существовало не только на голубоватой бумаге с монограм-

мой, а «взаправду», то корреспондент княгини Юрьевской должен был отразить в своих письмах не одни лишь «развевающиеся знамена».

#### 4. ПЫЛЬ В ГЛАЗА ИЛИ ВСЕ-ТАКИ «НЕЧТО»?

Едва аноним оставляет тривиальности типа «гроза близится», «прилив нарастает», «анархия опрокинет», едва переходит к конкретному, как от его писем шибает враньем.

Вот, скажем, он осведомляет Зимний, что лигеры-де избавили императора от беды, изъяв оружие и бомбы, захватив «многие личности», «в частности, двух руководителей». И далее: «Снаряд, о котором я говорил, прибыл прямо из Америки в ящике с ярлыком фирмы швейных машин. Еще в декабре 1880 г. (Ошибка, так как письмом помечено маем 1880 г. — Ю. Д.) нам телеграфировали, что русские социалисты состоят в переписке с американскими. Ящики хранились в петербургском магазине, и никто не подозревал об их содержимом».

Судя по всему, «акция» выдалась крупная. И сразу выстраивается вереница «но». Во-первых, мы-то теперь точно знаем, что никаких снарядов народовольцы из-за океана не получали, а изготавливали домашними средствами. Во-вторых, что сталося с захваченными лицами? Их убили? Но сам «великий лигер» заявлял, что лига «никогда не присваивает себе права жизни и смерти», что она не намерена «марать руки в крови». Может быть, пленников передали полиции? Опять-таки сам «великий лигер» всячески отмежевывался от официальной полиции, приносящей «один вред».

Объективности ради приведем пример, который как будто бы свидетельствует о некоторой осведомленности в делах подпольщиков.

В письме — тоже майском, 1880 года — аноним бьет во все колокола: он умоляет княгиню Юрьевскую уговорить царя не ездить на развод караулов в Михайловском манеже.

Почему «великий лигер» лишает монарха излюбленного и привычного удовольствия? А потому, что «возник новый план злодеяния» — на пути к манежу, «квартиры заняты» революционерами, и, вероятно, будет брошена бомба.

Каждый, кому известны перипетии народовольческой охоты за царем, поневоле насторожится. Да, в начале 1880 года путь к манежу еще не был заминирован, но Исполнительный комитет уже «составил, — как пишет В. Н. Фигнер, — проект снять магазин или лавку на одной из улиц Петербурга, по которым наиболее часто совершался проезд императора; из лавки предполагалось провести мину для взрыва...

Так как царь обязательно должен был ездить в Михайловский манеж, то магазин искали по улицам, ведущим к нему»<sup>19</sup>.

Сохранилась тетрадь начальника гусдарева конвоя капитана К. Ф. Коха, где зафиксированы все маршруты Александра II. Они не изменились и после доноса «великого лигера». Больше того, 1 марта 1881 года полиция осмотрела сырную лавку, из которой шла минная галерея под Малой Садовой. Осмотрела и... ничего не обнаружила.

Да, Александр II случайно не поехал в тот день по Малой Садовой, но не случайно именно в роковом районе манежа его настигла бомба Гриневецкого, и капитан-охранник лучше выдумать не мог, как нарисовать в своей официальной тетради череп с двумя перекрещенными косточками<sup>20</sup>.

Казалось бы, на сей раз «великий лигер» действительно направил указующий перст в самую опасную точку. Однако, заглянув в казенную «Хронику социалистического движения», мы читаем: «Достоинно внимания, что анархисты с давних пор обратили внимание на Малую Садовую; это видно из того обстоятельства, что еще в декабре 1879 г. (подчеркнуто нами. — Ю. Д.) из-за границы были получены сведения (правда, преждевременно), что в этой столь населенной части города изготовлялись мины»<sup>21</sup>.

Итак, полиция знала о «путях к манежу» за полгода до того, как «великий лигер» явил «свою проницательность». Остается догадываться, что источником этой сверхбдительности был разговор с кем-то из высших чинов Третьего отделения.

И все же... все же мы не можем снять знак вопроса, выставленный в начале этого раздела нашей заметки. Конечно, в письмах анонима присутствуют блеф, мистификация, пыль. Но присутствует, как нам кажется, и нечто весьма серьезное.

Речь идет об Исполнительном комитете «Народной воли».

Пятый параграф устава, принятого в Липецке, гласил: «Комитет должен быть невидим и недосягаем». Члены комитета, по свидетельству В. Н. Фигнер, обязывались «ни в сношениях частного и общего характера, ни в официальных актах и заявлениях (то есть на следствии и суде. — Ю. Д.) не называть себя членами Исполнительного комитета, а только агентами его». Пополнение производилось без огласки, кооптацией сверху вниз<sup>22</sup>. Разумеется, архисекретной была и численность комитета. Когда один из революционеров спросил А. И. Баранникова: «Как велико число членов Исполнительного комитета?», последний поступил невежливо, зато в точности по уставу: он ничего не ответил<sup>23</sup>.

На вопрос этот ответили другие. Но уже

после того, как трагедия была окончена и занавес опустился.

В. Н. Фигнер: 28 человек.

Л. А. Тихомиров: 26 человек.

А. П. Корба: 17 человек.

Историк В. А. Твардовская определила число членов комитета в 31 человек<sup>24</sup>.

Поскольку в разное время в тесной, сплоченной руководящей группе было неодинаковое число находящихся в строю, возьмем за среднее 25 человек.

Существуют сведения и об активных бойцах, готовых по знаку комитета выступить на улицу с оружием в руках: 500 человек. А тех, кто «принадлежал к партии или находился под сильным ее влиянием», было в несколько раз больше<sup>25</sup>.

Все это, повторяем, строжайшие секреты народовольцев.

В письме «великого лигера» численность Исполнительного комитета названа: 24 человека. Названо и число активных бойцов: 600 человек! И тут же оговорено: к ним следует прибавить 900, а возможно, и 1500 человек, «которые принадлежат к группам и действуют, как солдаты в бою, согласованно и безостановочно, не считаясь с препятствиями».

Указанное письмо лигера не датировано. Но оно следует за январским 1881 года и еще одним, тоже недатированным. Стало быть, вероятнее всего, писано весной 1881 года. А в феврале того же года Исполнительный комитет, собравшись на конспиративной квартире у Вознесенского моста, как раз и насчитал 500 активных бойцов<sup>26</sup>. Не поразительное ли совпадение фактических данных?

## 5. «ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЛИЦИАНТЫ»

Генерал Рылеев, упомянутый в начале нашей заметки, так отозвался о событии 1 марта 1881 года: курсивы записи, очевидно, передают голосовые модуляции рассказчика:

— Первого марта, после развода в Михайловском манеже, государь пил чай у великой княгини *Екатерины Михайловны*, куда тоже была приглашена княгиня *Екатерина Михайловна Юрьевская*, но не приехала. Убийство совершено на *Екатерининском* канале... Венчание государя с княжной Долгорукой происходило в 3 ч. 30 мин. пополудни; последний вздох погибшего государя произошел в 3 ч. 33 мин. пополудни...<sup>27</sup>

От этого нажима на имя «Екатерина», как и от сопоставления венчания с агонией, отдавало бы примитивной мистикой, если бы в них не сказывалось отношение к княгине Юрьевской, мгновенно утратившей все свое влияние.

Вчерашние лизоблюды рассеялись. Даже Лорис-Меликов, столь многим обзанный княгине Юрьевской, поспешно



подличал, предложив Александру III какую-то темную махинацию с ее деньгами, каковые были немалые — почти три с половиной миллиона<sup>28</sup>.

«Милый Саша» — так княгиня Юрьевская, словно с разбегу, продолжала именовать наследника, а теперь уже венценосца — «милый Саша» на фокус, изобретенный Лорисом, не пошел. Но, понятно, теплых чувств к мачехе он не питал. Особенно крепко помнилась отцовская угроза отдать престол сыну княгини Юрьевской, резвому и неглупому, но ленивому Гоге.

У Александра III хватало здравого смысла не придавать серьезного значения слухам о том, что мачехой и сводным братцем могут воспользоваться в целях дворцового переворота. (Между тем слух этот был упорным и распространенным. Так, в апреле 1887 года Ф. Энгельс писал Ф. Зорге: «Панслависты хотят посадить на престол сводного брата нынешнего царя, старшего сына Александра II и Долгорукой».) И все же царь косился в сторону европейских курортов, где рассеивала свое горе светлейшая княгиня. Больше того, распорядился об учреждении за нею секретного наблюдения.

Осуществлял надзор обер-шпион, руководитель русской агентуры в Европе П. И. Рачковский. Не трогая пикантных подробностей как самого наблюдения, так и нравственности безутешной вдовы Александра II, укажем, что Рачковский добывался тайного просмотра ее архива. Рачковский был пройдохой, но это ему не удалось, о чем автор настоящей заметки весьма сожалеет. Кто знает, может быть, бумаги из архива княгини Юрьевской пролили бы свет и на «Тайную лигу»? Где ныне ее архив (княгиня умерла в Ницце, в 1922 году, 75 лет от роду), сохранился ли он — нам неизвестно<sup>29</sup>.

Правда, известны мемуары княгини Юрьевской. Она укрывалась за мужским псевдонимом — «Виктор Лаферте»<sup>30</sup>. Книжка, как справедливо отметил профессор П. А. Зайончковский, не представляет ценности для историка<sup>31</sup>. Ни ценности, ни достоверности не находили в ее мемуарах и весьма осведомленные современники. А. А. Толстая, сестра министра Д. А. Толстого, хорошо знавшая дворцовые круги, резко опровергала княгиню Юрьевскую в своей брошюре, напечатанной в Париже<sup>32</sup>.

Каким бы пустым ни было сочинение «Виктора Лаферте», а в России оно долго находилось под запретом. «Это объясняется, — писал историк освободительного движения В. Я. Богучарский, — не какими-либо крамольными ее свойствами, а лишь теми особенностями русской жизни, благодаря которым все, касающееся жизни двора (за исключением того, что считается возможным публиковать в «Правительственном вестнике»), не подлежало <«веде-

нию»? — Ю. Д. > простых смертных»<sup>33</sup>.

Для автора настоящей заметки самый большой грех указанных мемуаров состоит в том, что в них нет и словечка о «Тайной лиге», нет даже и намека, над которым стоило бы задуматься.

Между тем, по нашему мнению, задуматься есть резон. Ведь пока княгиня Юрьевская кропала (или диктовала какому-то наемному перу) свои воспоминания, дело, затеянное ее друзьями-лигерами, процветало. Только теперь сообщество не именовалось космополитическим термином, а звалось «Священной дружиной»<sup>34</sup>.

Факт давний, непреложный, отмеченный и архивными документами, и мемуарами, и комментаторами: «Священная дружина» возникла в марте 1881 года, после смерти Александра II. Возникла и была выразительнейшей реакцией на ее зловещим шорохом «совиных крыл» Победоносцева.

Но письма «великого лигера», все, что в той или иной степени, пусть пока и недостаточной, из них выясняется, — не есть ли свидетельство того, что «Священная дружина» продолжательница «Тайной лиги»? Лиги, возникшей в августе 1879 года, в период «кризиса верхов».

В самом деле, сходство разительное.

Цель — одинаковая: «тайный крестовый поход против врагов порядка», как формулировала «Хроника социалистического движения»<sup>35</sup>, «Хроника», кстати сказать, составлена под главной редакцией генерала Шебеко, родного брата В. Шебеко, которая гнездилась подле княгини Юрьевской и о которой писал «великий лигер».

Закоперщики — если не одни и те же (именного списка лигеров мы покамест не обнаружили), то и там и здесь люди с весом и положением. Структуры — родственные: центр, филиалы, агенты.

Генерал и публицист Р. А. Фадеев, близкий к Александру III, сыграл для «Священной дружины» роль повивальной бабки. Он указывал, что идея «священной дружины» носилась в воздухе еще до «Священной дружины»<sup>36</sup>. Можно, пожалуй, добавить, что «идея» не только носилась в воздухе, как нетопырь, но и ползала во тьме и прaxe, как рептилия, обернувшаяся «Тайной лигой».

Небезынтересно следующее. П. А. Кропоткин в «Записках революционера» говорит, что для «охраны царя была основана тайная лига». Правда, тут речь о временах Александра III. Но вот что примечательно: Кропоткин различает «Тайную лигу» и «Священную дружину». Может быть, он имел в виду «Добровольную охрану», это дочернее «предприятие» при «Священной дружине», а может быть, что-то слышал о «Т. А. С. Л.»<sup>37</sup>?

Мы решаемся лишь предполагать следующее: лигеры, в отличие от дружинников, были малочисленны; лигеры, опять-

таким в отличие от дружинников, не были связаны с официальной полицией, чурались, избегали ее. И хотя однажды «великий лигер» пожаловался на то, что ассоциация «уже становится достоянием света», она в этом отношении пользовалась, очевидно, большей секретностью, нежели «Священная дружина».

Было бы неверным считать, что даже так называемое общество дружно рукоплескало дружинникам. Нет, иные пожимали плечами. «Неизвестно, — писал один из таких недоумевающих, — что во всей этой затее было более изумительно: то ли, что люди во всех отношениях почтенные, заслужившие всеобщее уважение, добро-

вольно взяли на себя роль полициантов со всеми ее далеко не всегда красивыми атрибутами, или то, что те же люди находили в этом известного рода удовлетворение, словно дети, взявшие в руки новую игрушку»<sup>38</sup>.

Если вполне благонамеренный чиновник говорил о некрасивых «атрибутах», то человек совершенно неблагонамеренный определил дружинников как «Общество частной инициативы спасения» и как «Клуб взволнованных лоботрясов». По таким «когтям» нетрудно узнать «льва»: Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в «Письмах к тетеньке» и в «Современной идиллии».

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 46, оп. 2, д. 145.

<sup>2</sup> М. Палеолог. Александр II и Екатерина Юрьевская. Пг.—М., 1924.

<sup>3</sup> Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 678, оп. 1, д. 5.

<sup>4</sup> Там же, ф. 677, оп. 1, д. 308, л. 36.

<sup>5</sup> В. Н. Чичерин. Воспоминания. М., 1934, с. 118.

<sup>6</sup> Е. А. Перетц. Дневник. М.—Л., 1927, с. 22.

<sup>7</sup> ЦГАОР, ф. 677, оп. 1, д. 307, лл. 82, 103.

<sup>8</sup> «Исследования по социально-политической истории России». Л., 1971, с. 304.

<sup>9</sup> ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, д. 1020.

<sup>10</sup> Там же, ф. 677, оп. 1, д. 307, лл. 289, 320, 332.

<sup>11</sup> ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 1, д. 87, л. 272 об. Л. А. Комаровский. Дневник.

<sup>12</sup> Д. А. Милютин. Дневник. М., 1950, т. 3, с. 85.

<sup>13</sup> В. Фигнер. Полное собрание сочинений в семи томах. М., 1932, т. 1, с. 149.

<sup>14</sup> См. сноску 18.

<sup>15</sup> ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 1, д. 235. И. М. Семевский. Третья поездка моя за границу. Заметки и выписки. 1881—1882.

<sup>16</sup> М. Палеолог. Указ. соч., с. 75—76.

<sup>17</sup> См. сноску 18.

<sup>18</sup> ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, д. 678, лл. 1—30. В дальнейшем цитаты из писем «великого лигера» к княгине Е. М. Долгорукой-Юрьевской приводятся без ссылок на источник.

<sup>19</sup> В. Фигнер. Цит. соч., с. 212.

<sup>20</sup> ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, д. 1123, л. 152 об.

<sup>21</sup> «Хроника социалистического движения в России. 1878—1887. Официальный отчет». М., 1906, с. 155.

<sup>22</sup> В. А. Твардовская. Организационные основы «Народной воли». «Исторические записки». М., 1960, т. 67.

<sup>23</sup> «Революционное народничество». М.—Л., 1965, т. 2, с. 289.

<sup>24</sup> В. А. Твардовская. Указ. соч., с. 137.

<sup>25</sup> В. Фигнер. Цит. соч., с. 227. С. С. Волк. «Народная воля». М.—Л., 1966, с. 277.

<sup>26</sup> В. Фигнер. Цит. соч., с. 227 (сноска).

<sup>27</sup> «Русская старина», 1907, № 12, с. 728.

<sup>28</sup> ЦГАОР, ф. 677, оп. 1, д. 1146.

<sup>29</sup> Там же, ф. 102, ДП-3, 1886, оп. 82, д. 395.

Последнее упоминание имени Е. М. Юрьевской в делах департамента полиции относится уже к XX веку. Оно имеет характер почти комический. В 1910 году княгиня Юрьевская решила погостить в России. Она прибыла на границу, в Вержболово в

сопровождении целого штаба прислуги, но без паспорта. На вопрос жандарма «светлейшая» раздраженно отвечала, что «сколько раз она ни приезжала в Россию, от нее никто, никогда не требовал паспорта». Аргумент сразил ротмистра, и вдова Александра II проследовала в Петербург. ЦГАОР, ф. 102, ДП-00, оп. 240, д. 130.

<sup>30</sup> Laferté V., Alexandre II. Paris, 1882.

<sup>31</sup> П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964, с. 38.

<sup>32</sup> Брошюра была издана анонимно, хотя обычно А. А. Толстая пользовалась псевдонимами Dame russe или Russe (Une).

<sup>33</sup> ЦГАЛИ, ф. 1696, оп. 1, д. 57, л. 27.

<sup>34</sup> См. статью Л. Т. Сенчаковой «Священная дружина» и ее состав». «Вестник Московского университета», 1967, № 2.

<sup>35</sup> «Хроника социалистического движения», с. 189.

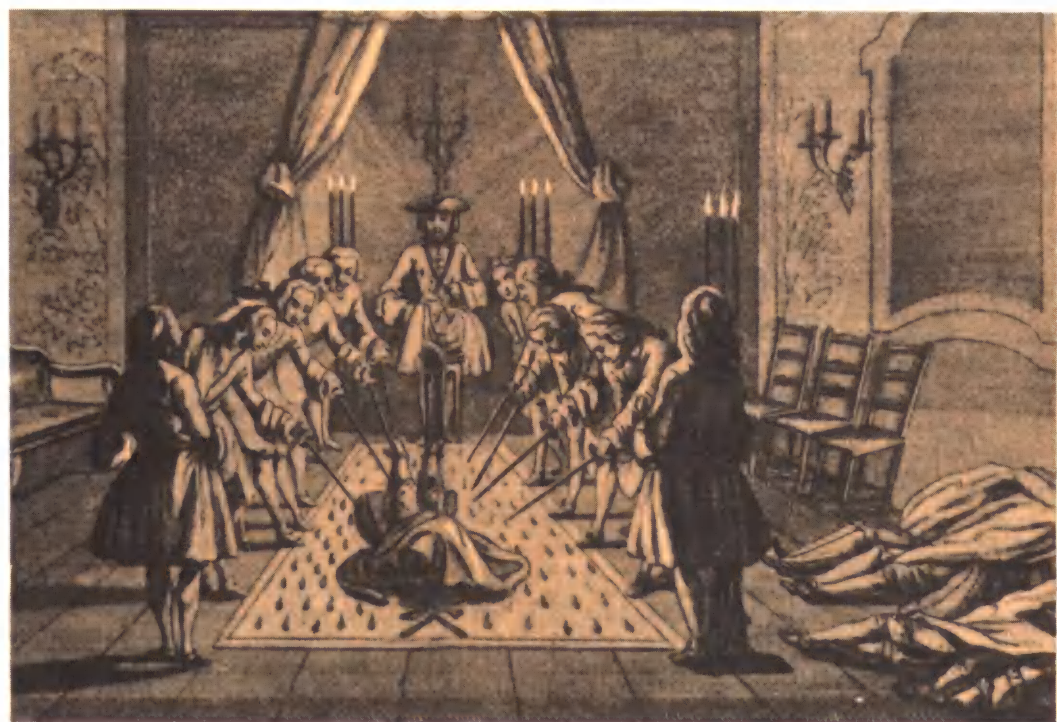
<sup>36</sup> Р. А. Фадеев. Собр. соч. СПб., 1889, т. III, с. 15.

<sup>37</sup> П. А. Кропоткин. Записки революционера. М.—Л., 1938, с. 280—281.

<sup>38</sup> В. М. Голицын. Москва в семидесяти годах. «Голос минувшего», 1919, № 5—12, с. 151.

Редакция журнала неточно озаглавила мемуары В. М. Голицына: они повествуют не только о семидесяти годах. Авторское название рукописи: «Старая Москва». ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 1, д. 45.







## 1. «ПОТОМ ПОТУШИЛИ СВЕЧИ, ЗАЖГЛИ СПИРТ...»

«Из комнаты его повели по коридорам, поворачивая взад и вперед, и, наконец, привели к дверям ложи. Вилларский кашлянул, ему ответили масонскими стуками молотков, дверь отворилась перед ними. Чей-то басистый голос (глаза Пьера всё были завязаны) сделал ему вопросы о том, кто он, где, когда родился, и т. п. Потом его опять повели куда-то, не развязывая ему глаз, и во время ходьбы его говорили ему аллегории о трудах его путешествия, о священной дружбе, о предвечном строителе мира, о мужестве, с которым он должен переносить труды и опасности... Потом потушили свечи, зажгли спирт, как это слышал по запаху Пьер, и сказали, что он увидит малый свет...»

Читатель, конечно, тотчас узнал эпизод «Войны и мира».

Романист не грешил против истории, направив своего героя в ложу «свободных каменщиков». Такие, как Пьер, титулованные и нетитулованные, офицеры и статские, действительно приобщались к масонству.

Это религиозно-этическое учение, это франк-масонство (в переводе с французского — «вольные каменщики») проникло в Россию в XVIII веке. Призывало оно к единению на основе братской любви, взаимопомощи и самоусовершенствования. Заметим, что масонскими ложами подчас прикрывались и участники тайных обществ, задававшие политическими целями.

Масонство существует и поныне. Сравнительно недавно английский «Обсервер» опубликовал статью К. Кросса о современном масонстве Британии. Ежедневник «За рубежом» сопроводил перевод его статьи «Заметкой на полях» В. Осипова: «...Ни в Британии, ни в какой-либо другой стране механизм буржуазной власти (помимо государственных органов, суда, полиции, армии и пр. и пр.) никогда не замыкался и не замыкается только политическими партиями, как бы ни велико было их число. Они обрамлены еще и десятками других, как правило, подчеркнуто «неполитических организаций» — светских, деловых, клубных, молодежных, религиозных и полурелигиозных, — которые густой, с мелкой ячейкой сетью лежат на обществе, воздействуя на его взгляды и настроения, формируя и контролируя их».

Романовы не сумели приспособить масонство, запретив его еще при Алек-

## Юрий Давыдов «ТЕМНА ВОДА ВО ОБЛАЦЕХ»

сандре I. Но масонство не умерло вместе с Безуховыми. В предыдущей статье мы упомянули масонский «мотив», возникший под занавес старой России.

Нет оснований придавать особое значение этому «мотиву» в годы мощных классовых битв, войн и революций. Но он все же, как говорится, имел место. Много тут мутного, неотчетливого, путаного — «темна вода во облацех». При некоторой игривости воображения можно учуять и запах тайны, но, скажем наперед, то будут «тайны мадридского двора». В них ни грана сенсационного.

## 2. ИЩИТЕ МАСОНА

В начале нашего века появилось на книжном рынке сочинение Н. Л. и Г. Бутми «Фран-масонство и государственная измена». Под инициалами скрывался, очевидно, Н. Н. Рейхельт, сотрудник монархического «Гражданина», газеты, не ахти как ценившейся даже монархистами; Бутми был публицистом крайне правого толка.

Так вот, книжка толковала об английском масонстве — орудии внешней политики Британии, о роли масонства во времена Французской буржуазной революции, о том, что еще два десятка лет назад мировое масонство насчитывало полтора миллиона «вольных каменщиков», и о том, что теперь, то есть в начале века двадцатого, действуют несколько масонских лож.

История масонства была уже изучена дотошно, существовала огромная многоязычная литература, но авторы «открыли Америку», отождествив масонство и русских революционеров.

Сделано это было так. Для расправы с противниками, утверждала книжка, в арсенале масонов существует «удар в сонную артерию». Двое «каменщиков»



настигают жертву. Один хватает ее за плечо. Несчастный оборачивается, выгибая шею. В тот же миг второй масон перерезает жертве сонную артерию. А далее сообщалось: наблюдается, именно так поступают революционеры. Стало быть, масоны и есть революционеры. И наоборот.

Плевать на логику, лишь бы обыватель вздрогнул. И обыватель вздрогнул: книжный рынок поглотил не один тираж сочинения Н. Л. и Г. Бутми. Третье издание тиснули в 1906 году.

В том же году о масонстве заговорили в редакции, что помещалась в Москве, на Страстном бульваре. Разговор тоже начался историческим экскурсом и тоже шел в близкое. Однако сонную артерию уже не трогали.

На исходе девятьсот шестого года «Московские ведомости» — орган, по определению В. И. Ленина, консервативной оппозиции правительству — напечатали в двух номерах «Несколько слов о масонах». Со ссылкой на европейского политика английское масонство характеризовалось британской «международной тайной полицией», в недрах которой некогда пестовались будущие сокрушители бастилий. Засим следовала историческая параллель: в наше время с нею якшаются кадеты.

Англичан помянули не все.

Осенью шестого года граф Бенкендорф, императорский посол в Лондоне, сообщил царскому правительству пренебрежительное известие: в Россию собирается «депутация представителей парламента, муниципалитетов и просветительных учреждений Англии». Зачем и почему? «Для выражения сочувствия русскому народу». По какому поводу? Посол не разъяснял. Это было и без того ясно: по случаю недавнего разгрома первой Государственной думы, в большинстве своем кадетской. Далее Бенкендорф заверял, что посольство не станет иметь никаких отношений с депутацией и что негодующий король Эдуард предпринимает меры для предотвращения этого вояжа<sup>1</sup>.

Весть о предполагаемой депутации бежала русские газеты, столичные и провинциальные. Черносотенцы послали телеграммы царю и председателю совета министров: депутация есть «дерзкое оскорбление вашего императорского величества»; «надеемся, что вы мудро предотвратите совершение гнусного дела»...

Однако, кажется, никто, кроме «Московских ведомостей», не указал на участие в депутации масонов. И никто, судя по всему, не указал, кроме Страстного бульвара, что «вольные каменщики» из «New reform

club» желают поддержать своих братьев, состоящих одновременно в кадетской партии.

Оказывается, покамест на берегах Темзы крахмалили манишки и манжеты, на берегах Невы и Москвы-реки припасали икру и шампанское. Для торжественной встречи и деловых бесед возникли особые комитеты; в петербургском председательствовал П. Милюков, в московском — П. Долгорукий.

Островитяне — «каменщики» не явились. И все же кадетствующие масоны, или масонствующие кадеты, образовали вместо временных комитетов единый и постоянный англо-русский комитет.

Несмотря на отсутствие источников, сведения, приведенные в статье, заставляют припомнить: часть российской буржуазии действительно ориентировалась на Сити. Можно, пожалуй, отметить и то, что П. Милюков (много позже, после Октября, за границей) состоял в масонах высокого ранга. Но следует и оговориться: таково мнение как раз той белоэмигрантской прессы, которая сводила старые счета с экс-лидером кадетов...

В 1909 году некто Шечков прочел доклад «о значении масонства в нашей современной, далеко еще не успокоившейся, государственной жизни». Отданный типографии доклад занял тридцать журнальных страниц под названием — «Масоны и Государственная дума».

Докладчик сразу заинтриговал слушателей. Отчего это состав думских депутатов разделен на 11 отделов? Не на 10 или 12, а именно на 11? Почему думских фракций — 7? Не 8 или 9, нет — 7? С какой целью такой-то документ подписан 33 думцами, а такой-то 66?

И Шечков отвечал: «Да, действительно, эти одиннадцатирицы и семирисы останутся для нас тайно за семью замками (о, ужас, и он не избежал sacramentalной «семерки»! — Ю. Д.) если загадку их присутствия будем искать в потребностях самой Г. Думы, а не в потребностях некой, вне Думы стоящей организации».

Заглянув в скрижали масонства, Шечков обнаружил кабалистическое значение «7» и «11», а затем и установил как непреложность: в Таврическом дворце гнездится масонская система «шотландских высших степеней».

Все это потребовалось не ради арифметической гимнастики. Полицейский чиновник, выведенный Дюма-отцом, повторял: «Ищите женщину», а Шечков — «Ищите масона». Если персонаж «Рудина», ненавистник слабого пола, вопрошал: «Как ее зовут?», то Шечков вопил: «Как его зовут?» Оговорившись, что нет, мол, охоты называть «политических деятелей, и без того известных за масонов», он про-

1. Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 102, оп. 236, ед. хр. 767, л. 5.

изнес имена П. Милюкова, В. Маклакова, Е. Кедрина...

Кажется, ни Милюков, ни В. Маклаков (во всяком случае, до 1917 года) не признавались в масонстве. Иное дело Е. Кедрин.

Кто он такой? Присяжный поверенный, депутат I Государственной думы, гласный петербургской городской думы, а сверх того, как указано в архивном документе, человек, «состоящий под особым надзором полиции»<sup>2</sup>.

В молодости Кедрин был весьма близок к народолюбцам. На процессе первомайцев защищал он С. Л. Перовскую, впоследствии и другого вождя «Народной воли» — А. Д. Михайлова. Именно Е. Кедрин спас предсмертное письмо Перовской, тюремные письма и завещание Михайлова: получил из рук подсудимых и вынес на волю.

В годы, о которых сейчас речь, Кедрин и вправду был связан с масонами, участвовал в их парижском съезде и заявил об этом публично в газетном интервью, да и французская пресса отметила сей факт. Но вот что важно: Кедрин, беседа с журналистом, сделал существенное добавление, метившее в «Московские ведомости» и шечковых. «Черносотенцы, — сказал Кедрин, — стараются всех уверить, что освободительное движение в России вызвано масонами. Это совершенно неверно».

Небезынтересно, что к числу знакомых Кедрина принадлежала член Исполнительного комитета «Народной воли» В. Н. Фигнер. После длительного заточения и ссылки она уехала за границу. В одном из писем (март 1910 года) Фигнер, сообщив революционеру-шлассельбуржцу Н. А. Морозову о своих публичных лекциях, добавила: «Еще буду читать в масонской ложе, где, говорят, состоят членами интеллигентные и влиятельные люди...»

Принадлежал к масонству и другой адвокат — А. Ф. Керенский. Тут нет секрета, достойного пристальных разысканий или обращения к позднейшей зарубежной мемуаристике. Частностями можно разжиться, но главное-то давным-давно известно.

Сподвижник В. И. Ленина В. Д. Бонч-Бруевич в своих воспоминаниях, увидевших свет чуть не полвека назад, писал: «Керенский был вспоен и вскормлен масонами еще когда он состоял членом Государственной думы и был специально воспитываем ими на роль политического руководителя...»

Мемуарист, которому не откажешь в осведомленности, указывал: «...Оппозиционная деятельность русских либералов

имела непосредственную связь с масонами, через них проникала всюду и везде, в самые потаенные места самодержавного организма, везде имела свое влияние. Роль масонов в февральском движении еще подлежит всестороннему исследованию. Так, мне доподлинно теперь известно, что такие общественные деятели, как М. М. Ковалевский, Котляревский, М. А. Стахович, Гергард, как оказалось после, и Струве, и целый ряд трудовиков и лиц, принадлежащих к конституционно-демократической (к-д) и народно-демократической партиям, а также принадлежащих к так называемой народно-социалистической партии, — действительно принадлежали к масонским разветвлениям различных их групп, лож и орденов, которые в большом числе, как оказывается, имелись у нас в Петербурге, особенно во время реакции после 1905 года, вплоть до свержения самодержавия, причем они даже принимали деятельное участие в февральском движении».

### 3. «ИДЕЯ ВЫРОЖДЕНЧЕСТВА», ИЛИ «ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ЧЕРТА»

К масонству, как к некой объединяющей, надпартийной «силе», тяготели и поборники самодержавия. В 1907 году суворинское «Новое время» предложило учредить масонский орден, чтобы подлить масла в угасающую идею монархизма: «Надо основать русское масонство, такую связь между людьми, которая выдвигала бы все полезное и деятельное, все честное, не падающее или не желающее попасть в политику». И поясняло: общество подбирало бы кандидатов на административные должности, осуществляя в дальнейшем контроль за их «моральной высотой».

Другая газета тотчас высмеяла суворинский прожект. «Реакция, — писала «Русь», — разлагается скорее, чем сама замечает... И по очень простой причине: государственное управление не может существовать одними репрессиями... И вот механическая, переставшая быть живою мысль подсказывает идею вырожденчества...»

Не только старику Суворину мерцала такая идея. До некоторой степени занимала она и П. А. Столыпина — министра внутренних дел и председателя совета министров в 1906—1911 годах.

Судя по архивным документам, Столыпин поначалу не размышлял в духе суворинского предложения, а может, и вовсе не думал о масонах до тех пор, пока по распоряжению Николая II не передали ему депешу Нелидова.

Посол Нелидов писал из Парижа в апреле 1908 года: «До меня дошли сведения о попытках, делаемых в России для основания у нас масонских лож. С этой целью



приезжал сюда в прошлом году уже давно принадлежащий, говорят, к франк-масонам гласный петербургской думы Кедрин. Недавно сюда прибыл некий князь Бебутов, который вошел в сношения для этой цели с здешними главарями масонства. Я нахожу излишним выставлять всю опасность учреждения у нас франк-масонства, в особенности того, которое теперь управляет Францией, постепенно низводя ее нравственный уровень и убивая все высшие побуждения»<sup>3</sup>.

Вот эту депешу и передали Столыпину. Две недели спустя департамент полиции изготовил совершенно секретный циркуляр для начальников районных охранных отделений. Циркуляр указывал, что цель масонов «водворение Царства Разума, Правды и Справедливости». Предписывалось «обратить серьезное внимание» на «беззамедлительное выяснение лиц, причастных к этому преступному сообществу»<sup>4</sup>.

Но впоследствии подумалось П. А. Столыпину: а пусть они будут, все эти «Астреи», «Северные звезды» и как там бишь еще! Пусть будут, да только... только под бдительным оком охраны. И Столыпину потребовалась обстоятельная информация о современном состоянии масонства. Он доверительно, в частном, что ли, порядке обратился к испытанному мастеру сыска, хотя и пребывавшему на покое, но достаточно осведомленному.

Тот принялся за работу, и, надо полагать, не без надежды на гонорар. Доклад был уж почти исписан, но премьер отправился в Киев, а в Киеве, в оперном театре, где давали «Сказку о царе Салтане», Столыпина застрелили.

Отставной обер-шпион, вздохнув, взял ножницы, настриг из доклада несколько статей и продал «Новому времени». Статьи были подписаны псевдонимом. Они вызвали отклик газеты «Будущее», которая указала на специфическую осведомленность нововременского автора. И тогда, в марте 1912 года, чиновник особых поручений при министре внутренних дел доложил начальству, что статьи о русском масонстве писаны отставным действительным статским советником Л. А. Ратаевым, то есть бывшим вдохновителем «великого» предателя Азефа и бывшим коноводом Особого отдела, святая святых департамента полиции...<sup>5</sup>

Для годов реакции характерно и «академическое» увлечение масонством. В Петербурге на лекции Тире Соколовской, знатока и историка масонства, валила пуб-

лика, жаждающая не столько исторического знания, сколько опиума мистики. В Москве издавался «популярно-научный и литературный» журнал «Русский франк-масон». Право, неудивительно: в то же самое время книгопродавцы сбывали и «популярно-научную» книжицу «Естественная история черта»...

#### 4. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА В СУТАНЕ

Занимался масонством не только отставной действительный статский советник Ратаев, но и коллежский асессор Алексеев, состоящий на действительной полицейской службе.

Осенью 1910 года он приехал в Париж и поселился в отеле «Richerpanse». Отсюда коллежский асессор (по табели о рангах особа, равная майору) слал докладные, адресованные товарищу министра внутренних дел генералу Курлову.

Четыре алексеевские мемории опубликованы после революции. Они длинные и водянисты, как огурек, выращенный в бутылке. Большую часть сведений вполне можно было бы почерпнуть, сидя, скажем, на Фонтанке, а не в зланных местах Елисейских полей, где асессор поил каких-то масонов, распачиваясь департаментскими сребренниками... Попробуем хоть что-нибудь вылучить из его посланий.

После некоторых перипетий Алексеев напал на нужного человека. Им оказался (или казался!) аббат Турмантэн, секретарь и главная пружина Антимасонской ассоциации. Аббат будто бы располагал мощной агентурой, проникавшей во все поры враждебного лагеря. Если сами масоны обладали ритуальным молотком, то святой отец действовал молотком золотым, который отворяет почти все двери: аббат платил щедро.

Коллежского асессора Турмантэн принял сухо. Нет, нет, он поглощен французскими делами, Россией он не занимается. Да, да, он высоко, очень высоко чит русского царя, но Россией не занимается.

Алексеев доложил: «Убедившись в том, что при настоящем положении вещей аббат Турмантэн больше мне ничего не скажет, я поднял вопрос о том, насколько вообще возможно полное освещение масонского вопроса в России».

И тут-то аббат — «высококондейный и честный», так агент оценил своего собеседника — выставил условия: крупный единовременный взнос и ежегодная субсидия. Все это-де на расчетный счет ассоциации. «Мне лично, — сказал Турмантэн, — ничего не нужно». И скромно добавил: «Вот разве что русский орден».

Вроде бы почин был сделан. Увы, при следующих встречах аббат снова казался неприступным. Алексеев предпринял обходной маневр: он имел randevu с помош-

3. ЦГАОР, ф. 102, оп. 238, ед. хр. 267, л. 2.

4. Там же, л. 3.

5. ЦГАОР, ф. 109, оп. 235, ед. хр. 702, т. 3(1), л. 16.

ником аббата. Тот, поломавшись, принял-таки взятку. Очевидно, перепало и аббату — Турмантэн помягчал.

Конечно, журчал святой отец, можно и должно помочь правительству императора Николая. Пути и способы, хотя и чрезвычайно затруднительны, найдутся. Он, Турмантэн, готов пойти на риск.

И пошел... ва-банк: пятьсот тысяч франков на бочку!

Алексеев ахнул: на русские-то деньги примерно двести тысяч золотом!

Аббат не моргнув глазом пустился в объяснения.

Помилуйте, да ведь не с мелкой сошкой возжаться. Извольте ли знать, один из очень-очень важных масонов, как раз тот, у коего на руках все планы и связи, относящиеся к России, он, видите ли, обретается в крайности: со дня на день выходит срок векселей... И вот ежели сейчас же, не мешкая, аббат вручит ему и выручит его, тогда... Медлить нельзя, наседали Турмантэн, никак нельзя. Решайтесь, сударь!

Сударь решиться не мог. Он бросился в отель, к перу и бумаге. Он умолял генерала Курлова согласиться. И просил отвечать телеграфом. Курлов ответил, но весьма неопределенно. Определенным было только то, что его превосходительство не намерен отвалить эдакую прорву деньжищ. Надо отдать должное генералу: кот в мешке — товар дешевый.

Аббат быстро смекнул, что зарвался, съехал на мизерную повременную ставку и сделался попросту платным осведомителем. Сообщал он пустяки, и все ж темную лошадку в сутане держали при департаментской конюшне вплоть до войны 1914 года.

А коллежский асессор сидел себе в Париже. Он «специализировался», устраивая застолья и отзванивая франками. Сверх того Алексеев скупал масонскую и антимасонскую литературу. Приобрел и «Масонский репертуар», изданный знакомым ему неутомимым аббатом. «Репертуар» содержал имена 30 тысяч участников масонских лож. Алексеев выковырял оттуда имена русских: опять-таки Недрин, профессор М. М. Ковалевский, писатель А. В. Амфитеатров и еще малоизвестные, а то и вовсе неизвестные литераторы, инженеры, торговцы, аптекари, студенты.

Подобные секреты департамент полиции мог заполучить и без дорогостоящего парижского представителя «фирмы». Ну, хотя бы из подробного отчета о заседаниях петербургской масонской ложи, черным по белому опубликованного в «Таймсе».

Однако департамент не оставлял

«братьев» и своим, так сказать, домашним попечением. Известно, что в архивах московской охраны находился полный список членов ложи «Астрей». Надо полагать, и петербургские «братья» не обошлись без «собственного корреспондента». Да только вот что: таинственные «каменщики» не очень-то пугали политическую полицию — арестов и обысков не производилось, в тюремных списках масонские деятели не значились.

## 5. МЫШЬЯ БЕГОТНЯ

После Октября и гражданской войны «осколки разбитого вдребезги», разметанные по белу свету, подводили итоги и отыскивали причины «катастрофы». Некоторые обратились к русскому масонству.

Один, редкостно дремучий, скомпировал пухлую книгу, изданную в Харбине. По автору, масонов в России всегда было тьмы и тьмы: начиная с Петра I, М. И. Кузова и кончая большевиками; досталось и многим русским писателям, находившимся тогда вне родины, в том числе И. А. Бунину, коему проклятые масоны «организовали» Нобелевскую премию.

Другие тронули сюжет осторожно и осмотрительно. Не зачеркивая, но и не выпячивая. И притом указывая на оживление масонства в преддверии семнадцатого года. Либеральный историк С. Мельгунов посвятил масонам главу в работе о дворянско-буржуазных заговорах, направленных к дворцовому перевороту.

По мнению Мельгунова, связь между группами и группочками осуществлялась «преимущественно по масонской линии». Не признавая за этой «линией» существенного значения, Мельгунов отметил, что заговорщики, прикрываясь масонскими передниками, пытались достичь «политического объединения».

С. Мельгунов не «тушил свечи», не «зажигал спирт», не «напущал» таинственности, а говорил, что приверженность к масонству таких людей, как В. А. Маклаков, Н. В. Некрасов, М. И. Терещенко, — секрет, не стоящий выведенного яйца.

Может быть, историк о чем-то недоговаривал? Ведь вот же, цитируя указанные выше воспоминания В. Д. Бонч-Бруевича, он опустил имя Керенского Да, весьма вероятно, недоговаривал, умалчивал.

Давно замечено: представление об исчерпанности всякого исторического исследования ошибочно. По-видимому, и мышья беготня масонов, едва различимая в грохоте таких событий, как русские революции, еще требует дополнительных разысканий и разоблачений.







О революционных связях Марии Николаевны Ермоловой сохранились лишь разрозненные сведения, которые С. Н. Дурьин собрал воедино в капитальной биографии актрисы. Так, известно, что в 1873—1874 годах, то есть в годы массового «хождения в народ», юная Ермолова (впрочем, уже получившая к тому времени известность на сцене Малого театра) участвовала в народническом кружке Семена Ивановича Васюкова, общалась с такими героинями революционного народничества, как Софья Бардина, Лидия Фигнер, Ольга Любатович<sup>1</sup>. Руководитель этого кружка Васюков четырежды в 70—80-е годы арестовывался, а член кружка Н. Я. Фалин за участие в знаменитой Казанской демонстрации 6 декабря 1876 года был сослан в Сибирь, где вскоре сошел с ума и умер в арестантской психиатрической больнице<sup>2</sup>.

С тех пор и до конца жизни к людям, идеям, делам и жертвам революционного движения Ермолова выказывала неизменное сочувствие. В 1876 году, когда власть имущие, напуганные «хождением в народ», преследовали любые проявления свободомыслия, Мария Николаевна демонстративно сыграла в пьесе Лопе де Вега «Овечий источник» роль Лауренсии — крестьянской девушки, призывающей народ к восстанию. В дни грандиозного судебного процесса «193-х» по делу о «хождении в народ» (октябрь 1877 — январь 1878 года) она выступала на студенческих вечерах с чтением стихов Л. И. Пальмина «Не плачьте над трупами павших бойцов...», читала также, «где это было возможно, на концертах» полузапретную «Узницу» Я. П. Полонского, а в 1881 году вскоре после казни «цареубийц» артистка, пораженная гибелью Софьи Перовской, выбрала для своего бенефисного спектакля драму Луиджи Гуальтьери «Корсиканка», в которой вдохновенно исполнила роль Гюльнэры, убивающей деспота. Спектакль прошел 25 ноября 1881 года с триумфальным успехом. Власти были встревожены опасной тенденциозностью «Корсиканки» и после первого же представления распорядились исключить пьесу из репертуара навсегда<sup>3</sup>.

Не мудрено, что уже к середине 80-х годов Ермолова оказалась под наблюдением Департамента полиции, собиравшего агентурные «указания» о ней. Это подтверждается, во-первых, донесением заместителя начальника Московского охранного отделения Н. С. Бердяева в Департамент полиции от 26 июня

## Н. А. Троицкий

(Саратов)

# ЭПИЗОД ИЗ БИОГРАФИИ М. Н. ЕРМОЛОВОЙ

1884 года о «жертвователях в литературный фонд». Донесение было составлено в ответ на запрос Департамента полиции о политической благонадежности московских «жертвователей». Н. С. Бердяев сообщил затребованные сведения о трех лицах: преподавателе гимназии В. П. Шереметевском («в политическом отношении скомпрометирован не был»), журналисте Д. А. Линева («находился под гласным полицейским надзором ввиду крайней политической неблагонадежности») и о М. Н. Ермоловой. Марию Николаевну руководитель московской охраны охарактеризовал таким образом: «Ермолова Мария Николаевна, артистка московского Малого театра, замужем за присяжным поверенным Шубинским<sup>4</sup>, сочувствует революционному движению и оказывает материальную помощь партии»<sup>5</sup>.

На первом листе донесения Н. С. Бердяева начертана резолюция: «Об Ермоловой сообщ[ить] мин[истру] импер[аторского] двора<sup>6</sup>. О Шереметевском — мин[истру] нар[одного] просв[ещения]». В исполнение этой резолюции 10 июля последовала секретная записка товарища министра внутренних дел, командира корпуса жандармов П. В. Оржевского к министру императорского двора и (по совместительству) начальнику личной охраны царя графу И. И. Воронцову-Дашкову. Вот текст документа<sup>7</sup>.

«Конфиденциально.

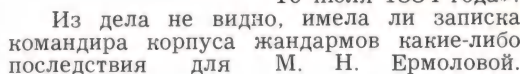
Товарищ  
министра внутренних дел  
заведующий полицией

Его сиятельству  
графу И. И. Воронцову-Дашкову

Милостивый государь граф Иларион  
Иванович!

В газете «Русские ведомости» от 25 апреля сего года помещено было объя-





судимости. По М. Н. Ермоловой  
по распоряжению Департамен-  
та Министров, назначенные под  
материальную поддержку под-  
держивать в г. Вильно, в  
виду крайней необходимости,  
необходимости его, за-  
менить по освобождению от  
этого подбора, назначить для  
удовлетворения материальной под-  
держки на один год, отве-  
тственности ему, Ермоловой  
была в состоянии, по посыл-  
ке в 1884 г. в Монархический  
Министерство Государственного  
Министерства Министров назначить  
на один год в Вильно  
судимости.

из Департамента Мария Ни-  
колаевна, артистка сего  
судимости Монархического  
защиты за Монархический  
Монархический Монархический  
судимости Монархический  
судимости Монархический  
судимости Монархический  
судимости Монархический

По распоряжению Департамента

По распоряжению Департамента

В 1884 году Мария Николаевна была уже знаменита. По-видимому, Департамент полиции, учитывая, с одной стороны, популярность артистки, а с другой стороны,

малую определенность сыскных «указаний» против нее, счел возможным и далее ограничиться слежкой за ней, не прибегая до поры до времени к репрессиям.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: С. Н. Дурылин. Мария Николаевна Ермолова, Очерк жизни и творчества. М., 1953, с. 103—107.

<sup>2</sup> См.: С. И. Васюков. Былые дни и годы. «Исторический вестник», 1908, № 5, с. 524.

<sup>3</sup> С. Н. Дурылин. Указ.

соч., с. 138—140, 145—147, 159—164, 166.

<sup>4</sup> Николай Петрович Шубинский (1853—1920) был выдающимся адвокатом. Блестяще защищал на суде участников исторической Морозовской стачки 1885 года.

<sup>5</sup> ЦГАОР, ф. 102, 3 дело-

производство, 1884, д. 387, лл. 30—30 об.

<sup>6</sup> Малый театр, как и все вообще казенные, «императорские» театры, находился в ведении Министерства императорского двора.

<sup>7</sup> ЦГАОР, ф. 102, 3 дело-производство, 1884, д. 387, лл. 32—32 об. (беловик, подписанный П. В. Оржевским).





Василий Адрианович Слесарев родился 5(17) августа 1884 года в селе Следневе Мархоткинской волости Ельнинского уезда Смоленской губернии, в семье местного торговца Адриана Петровича Слесарева. Адриан Петрович не был силен в грамоте, но знал ей цену и сумел проникнуться глубоким уважением к просвещению. Он не жалел денег на книги, выписывал газеты и журналы, любил видеть своих сыновей и дочерей за чтением и четверым из них сумел дать высшее образование.

Василий Слесарев рано научился читать. Журналы «Природа и люди», «Знание для всех», «Мир приключений», романы Жюль Верна будили и питали воображение мальчика. Он мечтал о том, чтобы проникнуть в глубины океана, о полетах на стремительных воздушных кораблях, об овладении еще непознанными силами природы. Ключ к осуществлению этих мечтаний он видел только в технике. Целыми днями он что-то мастерил, строгал, выпиливал, прилаживал, создавая узлы и детали фантастических машин, аппаратов, приборов.

Адриан Петрович сочувственно относился к увлечениям сына и, когда Василию исполнилось 14 лет, отвез его в Москву и определил в Комисаровское техническое училище. Василий Слесарев учился с жадностью и упорством. В полученном им по окончании училища аттестате по всем 18 предметам стояли только пятерки.

В Комисаровском техническом училище Слесарев проучился шесть лет. Приезжая в Следнево на каникулы, Василий поселялся в светелке мезонина, висившего над крышей отчего дома. С каждым его приходом светелка все больше становилась похожей на своеобразную лабораторию. Чего только в ней не было — и фотоаппарат, и волшебный фонарь, и подозрительная труба, и даже исправленный Василием старый фонограф. Светелка освещалась электрической лампочкой, работавшей от самодельной гальванической батареи, которая питала также звонковую сигнализацию. Одной из первых выполненных здесь юным исследователем работ было определение состава глазури для отделки глиняной посуды. Смешивая со свинцом различные компоненты, Слесарев создал свой особый рецепт приготовления глазури и, нанося ее на «горлачи» (так и по сей день называют смоляне глиняные горластые крынки для молока), подвергал их обжигу на костре.

Василий смастерил также токарный станок, который приводился в действие

## С. М. Яковлев

(Ленинград)

## ОТЕЦ «СВЯТОГОРА»

при помощи установленной на крыше ветряной турбины. Статор турбины и ее ротор Слесарев сделал из натянутого на рамки холста, а скорость ее вращения регулировалась рычагами прямо из светелки.

В 1904 году Василий Слесарев поступил на первый курс Петербургского электротехнического института.

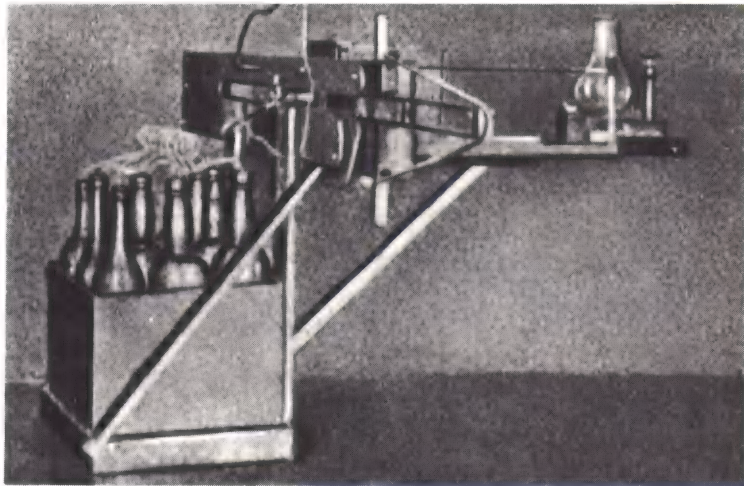
Из-за активной роли, которую играло студенчество в революционной борьбе 1905 года, власти временно прекратили занятия в ряде высших учебных заведений столицы. Участник студенческих выступлений, Слесарев вынужден был уехать из Петербурга в Следнево. А вскоре он перебрался в Германию и поступил в Дармштадтское высшее техническое училище.

На каникулы он по-прежнему приезжал в Следнево и поселялся в своей лаборатории-светелке. Однако теперь научный профиль этой лаборатории стал заметно меняться, так как на студента Слесарева произвели сильное впечатление успехи зарождавшейся авиации. Правда, успехи эти были еще весьма скромны, и зачастую достигались они ценою человеческих жертв. По мнению Слесарева, это происходило потому, что многие энтузиасты авиации подменяли недостаток теоретических познаний беззаветной удачей и отвагой. Слесарев преклонялся перед пионерами авиации, но в то же время понимал, что одного героизма мало. Он считал, что надежные летательные машины человек сможет создать лишь тогда, когда глубоко усвоит законы природы. Конечно, эта точка зрения не было оригинальной. Мысль о том, что путь к созданию летательных машин должен лежать через изучение полета летающих существ, высказал еще Леонардо да Винчи в середине XV века.

В XVIII веке эту мысль развил перуанец де Кардонас, предлагавший соорудить для человека крылья, подобные крыльям кондоров, за полетом которых он наблюдал.

В. А. Слесарев у «Святогора».





Снимки, сделанные В. А. Слесаревым.

Киноустановка В. А. Слесарева.

В 70-х годах прошлого столетия русский врач Н. А. Арендт разработал теорию полета планера. Эту теорию он создал благодаря многочисленным экспериментам с птицами. Результаты своих исследований Арендт изложил в ряде статей, а в 1888 году издал брошюру «О воздухоплавании, основанном на принципе парения птиц».

Полет птиц изучали в России многие авторы проектов орнитоптеров<sup>1</sup> (Михневич, Спичин, Бертенсон, Барановский, Телешев и др.).

Широко известны также работы французского физиолога Э. Марей (1830—1904), в течение многих лет изучавшего полет птиц и насекомых.

В 90-х годах XIX столетия французский инженер К. Адер пытался строить летательные машины, кладя в их основу данные своих наблюдений за полетом птиц и летучих мышей.

Этим же путем шел немецкий инженер Отто Лилиенталь, «первомученик авиации», как назвал его Герберт Уэллс.

Великий русский ученый Н. Е. Жуковский, основоположник современной аэродинамической науки, также немало поработал над изучением полета птиц. В октябре 1891 года он выступил на заседании Московского математического общества с сообщением «О парении птиц», заключавшем в себе критический научный обзор и обобщение всего, что было сделано к этому времени в области теории полета.

Трудно теперь сказать, был ли студент Слесарев знаком с работами своих пред-

шественников в области изучения полета представителей животного мира или он самостоятельно пришел к мысли о необходимости подобных исследований. Во всяком случае, он был твердо убежден в важности этой работы.

Поселяясь на время каникул в Следневе, Слесарев частенько уходил из дому с ружьем. Возвращался он с тушками убитых ворон, ястребов, ласточек, стрижей. Он тщательно взвешивал, препарировал птиц, измерял величину их тела, длину крыльев и хвоста, изучал структуру и расположение перьев и т. д.

С таким же упорством Слесарев изучал насекомых. Энтомолог-неофит, он мог часами наблюдать за полетом бабочек, жуков, пчел, мух, стрекоз. У него в светелке появилась целая коллекция летающих насекомых. Он составлял сравнительные таблицы их весов, промеров крыльев и пр.

А потом началось нечто совсем необычное: экспериментатор, вооружаясь ножницами, то укорачивал большим синезеленым мухам крылья, то делал их более узкими, то приклеивал своим жертвам протезы из крыльев мертвых мух и внимательно наблюдал за тем, как та или другая операция отражается на характере полета насекомых.

Подклеивая к телу мух волоски одуванчика, Слесарев фиксировал положение их брюшка, заставляя насекомых летать по его усмотрению совершенно несвойственным им образом — то вертикально вверх, то вверх и назад, то вверх и вперед и т. д.

Однако Слесарев вскоре убедился, что

<sup>1</sup> Орнитоптер — летательный аппарат с машущими крыльями.

непосредственное зрительное восприятие ограничивает возможность всестороннего познания полета насекомых, что ему нужна специальная тончайшая измерительная и регистрирующая аппаратура. Он сконструировал и изготовил оригинальные приборы, автоматически записывающие величину затрат энергии подопытных насекомых, запираемых им в построенную из легких соломинок ротативную машинку (микродинамометр) и нагружаемых тончайшими полосками папиросной бумаги. Из стеклянных нитей, которые он получал, расплавляя над пламенем свечи стеклянные трубки, Слесарев сделал тончайшие аэродинамические весы. Эти приборы давали экспериментатору возможность определять мощность летающих насекомых и измерять энергию, затрачиваемую ими на полет. Так, например, Слесарев установил, что большая сине-зеленая муха способна развивать в полете энергию около 1 эрга, причем наибольшая скорость этой мухи достигает 20 метров в секунду.

Сложнее оказалось выявить механизм полета насекомых. Сестра Слесарева, ташкентский врач П. А. Слесарева, вспоминает, как она, будучи девочкой, не раз присутствовала при опытах брата. По его поручению она приклеивала к крыльям мух и стрекоз тончайшие соломинки, после чего тело подопытного насекомого фиксировалось в штативе, а экспериментатор медленно протягивал около машущих крыльев закопченную бумажную ленту. Приклеенные к крыльям соломинки выцарапывали на ленте следы, по которым Слесарев изучал характер движения крыльев насекомого. Однако такие эксперименты давали лишь приближенную и недостаточно точную картину исследуемого явления.

Слесарев задался мыслью так поставить свой опыт, чтобы своими глазами видеть механику полета насекомых, видеть, какова последовательность движения их крыльев и тела в различных стадиях полета, в какой плоскости и с какой скоростью осуществляется движение их крыльев, и т. д. Для этого требовалась киноаппаратура. И вот Слесарев изобрел и самостоятельно изготовил остроумную импульсную съемочную установку, позволившую запечатлеть движение крыльев насекомых на непрерывно движущейся киноленте со скоростью 10 тысяч и более снимков в секунду. Съемка осуществлялась в свете, получаемом от серии искровых разрядов батареи статических конденсаторов (лейденских банок), сделанных из винных бутылок.

С обогащением оборудования следневской лаборатории самодельной рапидсъемочной аппаратурой изучение полета насекомых сразу продвинулось вперед, и Слесарев смог прийти к ряду интересных

выводов, имевших большое научно-теоретическое и прикладное значение. Так, например, он обратил внимание на то, что принцип полета насекомых «может послужить образцом для конструирования машины, которая бы сразу поднималась в воздух, без всякого разбега».

Пользуясь своей аппаратурой, Слесарев показал: что все насекомые машут крыльями в строго определенной плоскости, ориентированной относительно центральной части тела; что управление полетом насекомого производится с помощью перемещения центра тяжести насекомого под влиянием сжатия или вытягивания брюшка; что передняя кромка крыльев насекомого является ведущей, и при каждом взмахе крыло поворачивается около нее на 180 градусов; что скорость на концах крыльев у всех насекомых почти постоянна (около 8 метров в секунду), а число взмахов крыльев обратно пропорционально их длине<sup>2</sup>.

Созданную им аппаратуру для изучения полета насекомых Слесарев демонстрировал в 1909 году на воздухоплавательной выставке во Франкфурте. Аппаратура эта и полученные с ее помощью результаты вызвали большой интерес у немецких инженеров и ученых, а на свою киноустановку Слесарев через год после выставки получил в Германии патент<sup>3</sup>.

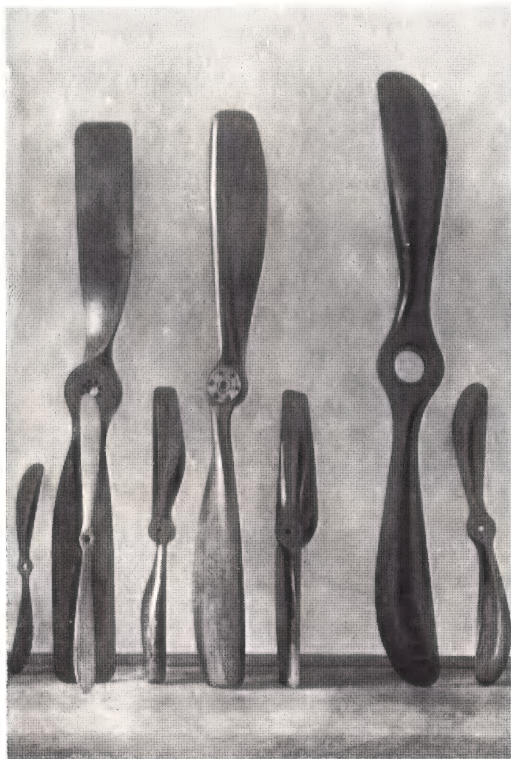
В начале 1909 года Василий Слесарев окончил Darmstadtское высшее техническое училище, получив диплом I степени, и по возвращении в Россию, желая иметь русский инженерный диплом, поступил на последний курс Московского высшего технического училища. Выбор этого учебного заведения не был случайным. В те годы Московское высшее техническое училище было центром молодой авиационной науки, которая создавалась под руководством «отца русской авиации» — профессора Николая Егоровича Жуковского.

Вокруг Жуковского сгруппировалась передовая студенческая молодежь. Из этого студенческого воздухоплавательного кружка вышли такие прославленные впоследствии летчики, авиаконструкторы и деятели авиационной науки, как Б. И. Росинский, А. Н. Туполев, Д. П. Григорович, Г. М. Мусинянц, А. А. Архангельский, В. П. Ветчинкин, Б. С. Стечкин, Б. Н. Юрьев и др. Действенным членом

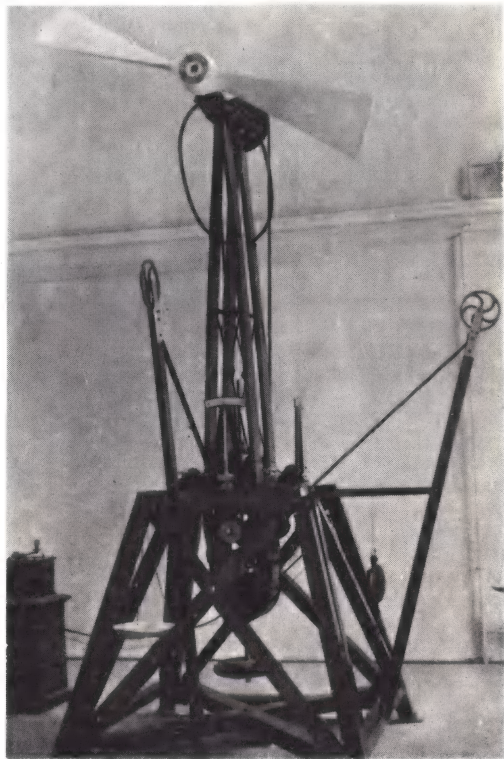
<sup>2</sup> Свою аппаратуру для изучения полета насекомых, методику экспериментов и их результаты Слесарев описал впоследствии в статьях «Полет мухи с приклеенными крыльями» и «Полет насекомых», опубликованных в журнале «Техника воздухоплавания» № 1 за 1912 год и № 4—5 за 1914 год.

<sup>3</sup> Германский патент № 225879, класс 57-а, выданный 24 сентября 1910 года.





Воздушные винты, испытанные В. А. Слесаревым в аэродинамической лаборатории.



Прибор для испытания воздушных винтов, сконструированный В. А. Слесаревым.

этого кружка стал и студент Слесарев. Он много сделал для оснащения аэродинамической лаборатории кружка аппаратурой и выполнил в ней ряд интересных исследований, связанных с работой воздушных винтов. Доклад Слесарева, посвященный этим исследованиям, а также исследованиям полета насекомых в Московском обществе любителей естествознания, был весьма заметным событием.

Н. Е. Жуковский видел в Слесареве «одного из наиболее талантливых русских молодых людей, всецело преданного изучению воздухоплавания»<sup>4</sup>. Особенно привлекало в Слесареве умение не только интуитивно предложить то или иное оригинальное решение вопроса, но и исследовать его теоретически и экспериментально, самостоятельно найти этому решению соответствующую конструктивную форму, оснастить его точными расчетами и чертежами и, если требовалось, своими же руками воплотить идею в материале.

Однажды Николай Егорович показал

Слесареву письмо декана кораблестроительного отделения Петербургского политехнического института, профессора Константина Петровича Боклевского, который сообщал Жуковскому, что после долгих хлопот ему удалось добиться государственной субсидии в 45 тысяч рублей на устройство аэродинамической лаборатории, которая должна будет служить одновременно и учебной базой, и базой для научно-исследовательских работ по аэродинамике. В конце письма Боклевский спрашивал, не сможет ли Николай Егорович рекомендовать ему одного из своих питомцев, способных заняться устройством лаборатории.

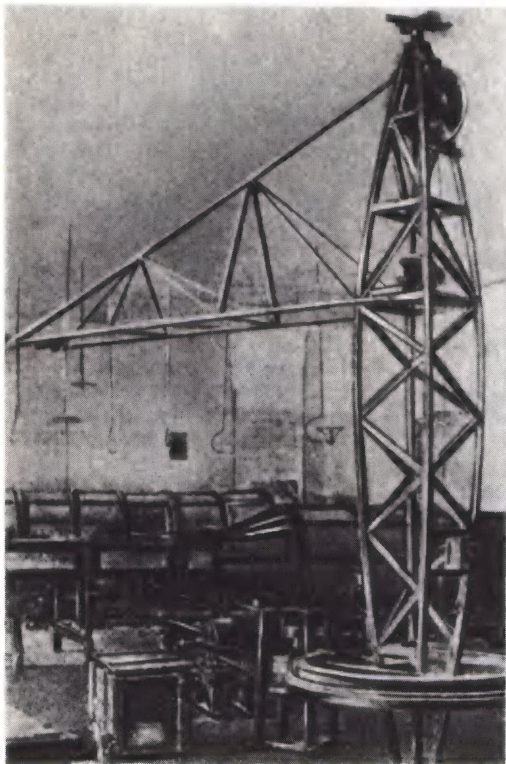
— Как вы, Василий Адрианович, посмотрите на то, если я порекомендую коллеге Боклевскому именно вас? Думается, что вы плодотворно будете сотрудничать с Константином Петровичем. В убытке останусь лишь я. Но... что поделаешь: интересы нашего общего дела важнее личных симпатий. Не так ли?..

И уже летом 1910 года Слесарев переехал из Москвы в столицу.

В том же году здание, отведенное для аэродинамической лаборатории, было пере-

<sup>4</sup> Записка Н. Е. Жуковского, хранящаяся в Научно-мемориальном музее его имени.





Ротативная машина. сконструированная  
В. А. Слесаревым.



Аспирационный глушитель системы В. А. Слесарева.

строено под руководством Слесарева. Затем он энергично приступил к оснащению лаборатории новейшей измерительной аппаратурой, аэродинамическими весами высокой точности и т. д. Слесарев спроектировал и построил для лаборатории большую аэродинамическую трубу диаметром в 2 метра, в которой скорость воздушного потока достигала 20 метров в секунду. Для спрямления вихрей в трубе была установлена решетка из тонких полос железа и встроена камера, замедлявшая поток воздуха. Это была самая большая, самая «скоростная» и наиболее совершенная по своей конструкции аэродинамическая труба.

Слесарев изготовил также для лаборатории малую аэродинамическую трубу диаметром в 30 сантиметров. В этой трубе с помощью всасывающего вентилятора, установленного в конце рабочего канала, поток воздуха двигался со скоростью до 50 метров в секунду.

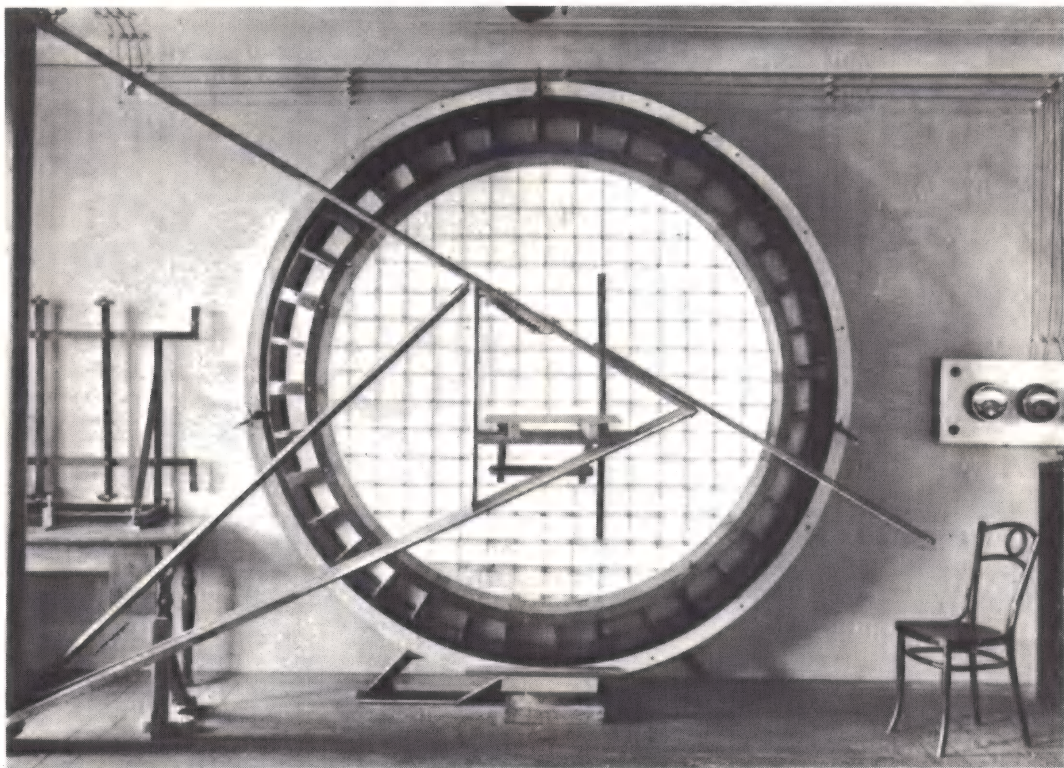
Созданная Слесаревым лаборатория по своим размерам, богатству и совершенству аппаратуры намного превосходила лучшую в те времена аэродинамическую лаборато-

рию знаменитого французского инженера Эйфеля на Марсовом поле в Париже.

Кроме занятий со студентами Слесарев руководил проводившимися в лаборатории исследованиями лобового сопротивления частей аэроплана во время полета. Он предложил так называемый искровой способ наблюдений, при котором в аэродинамической трубе на пути воздушного потока ставилась алюминиевая свеча, дававшая сноп искр, двигавшихся вместе с потоком. Выяснилось, что широко применявшиеся в тогдашнем самолетостроении наружные проволоки и расчалки вызывают в полете очень большое сопротивление воздуха и что в связи с этим стойки аэропланов должны иметь «рыбообразное» сечение. Слесарев также много сил отдает усовершенствованию корпуса аэроплана и дирижабля, исследует различные конструкции воздушных винтов, создает свой способ определения абсолютной скорости летящего аэроплана, решает ряд вопросов аэробаллистики.

Слесарев плодотворно работает в смежных отраслях авиационной науки. Как известно, легкость и прочность — два враж-





Рабочая часть большой аэродинамической трубы.

дующих начала, примирение которых составляет одну из основных задач конструкторов. Пионеры-авиаконструкторы в поисках оптимальных соотношений этих враждующих начал вынуждены были зачастую идти на ощупь, что нередко приводило к роковым последствиям. Это побудило Слесарева взяться за разработку основ авиационного материаловедения. В 1912 году он издает первый на русском языке научный курс авиационного материаловедения. Ряд выдвинутых Слесаревым положений не утратил своего значения и сегодня.

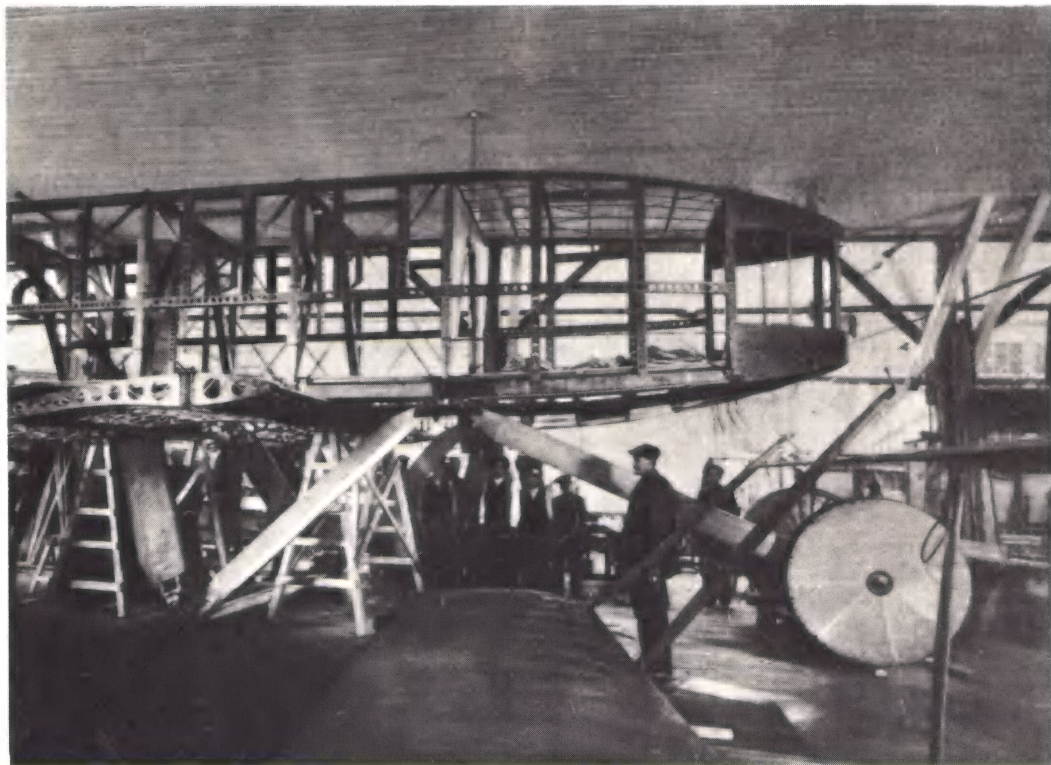
Стремясь сделать результаты своих работ достоянием широких кругов научно-технической общественности, Слесарев публикует статьи в специальных периодических изданиях, выступает с публичными докладами и сообщениями на заседаниях петербургских и московских воздухоплавательных организаций. Особый интерес представляют доклады Слесарева, сделанные им на проводившихся в 1911, 1912 и 1914 годах под руководством Н. Е. Жуковского Всероссийских воздухоплавательных съездах. Так, например, в апреле 1914 года, на III Всероссийском воздухо-

плавательном съезде Слесарев сообщил о том, как проектировались и строились первый в мире четырехмоторный воздушный корабль «Илья Муромец» и его предшественник самолет «Русский витязь». Все аэродинамические эксперименты и поверочные расчеты по созданию этих самолетов проводились под руководством Слесарева в аэродинамической лаборатории Петербургского политехнического института.

Летом 1913 года Слесарев был командирован за границу. Результаты поездки изложены Слесаревым в его докладе «Современное состояние воздухоплавания в Германии и Франции с научной, технической и военной точек зрения», прочитанном 23 октября 1913 года на заседании VII отдела Русского технического общества.

Знакомясь с различными конструкциями немецких, французских и русских аэропланов, Слесарев отчетливо видел их слабые места. В некоторых конструкциях четко прослеживалась хорошая осведомленность изобретателей в вопросах аэродинамики, но неважно обстояло дело с решением вопросов чисто конструкторского





Постройка самолета «Святогор».

характера; в других аэропланах заметен был почерк опытного конструктора, но весьма сомнительно выглядело решение проблем, связанных с аэродинамикой. Все это привело Слесарева к мысли о создании такого аэроплана, конструкция которого гармонично сочетала бы в себе сумму всех последних достижений тогдашней авиационной науки и техники. Подобный смелый замысел мог осуществить только человек, стоявший в авангарде научно-технических идей своего времени. Именно таким передовым инженером, ученым и конструктором и был Слесарев.

То, что последовало после того, как Василий Адрианович заявил о желании создать ультрасовременный аэроплан, не может не вызвать изумления: всего в течение какого-нибудь года Слесарев, не оставляя своих служебных обязанностей по Политехническому институту, самостоятельно, без чьей-либо помощи, разработал проект воздушного корабля-гиганта, выполнив при этом колоссальный объем экспериментальных, расчетно-теоретических и графических работ, которых с лихвой хватило бы для целой проектно-конструкторской организации.

По совету матери Слесарев назвал задуманный им самолет-гигант «Святогором»<sup>5</sup>.

«Святогор» — боевой воздушный корабль-биплан с палубой для скорострельной пушки, должен был подниматься на высоту в 2500 метров, обладать скоростью свыше 100 километров в час. По расчетам продолжительность непрерывного полета новой машины достигала 30 часов (уместно напомнить, что лучший заграничный самолет того времени «Фарман» мог брать горючего всего на 4 часа, а самолет «Илья Муромец» — на 6 часов полета). Полетный вес «Святогора» достигал по проекту 6500 килограммов, в том числе 3200 килограммов полезной нагрузки (полетный вес «Ильи Муромца» — 5000 килограммов, полезная нагрузка — 1500 килограммов). Для представления о размерах «Святогора» достаточно сказать, что проектные параметры его были следующими: длина —

<sup>5</sup> Святогор — былинный богатырь, отличавшийся огромным ростом («выше леса стоячего, головой упирается под облако ходячее») и необыкновенной силой.



21 метр, размах верхних крыльев — 36 метров. «Святогор» выгодно отличался от других самолетов изящной формой крыльев, напоминавших в сечении крылья такого прекрасного летуна, как стриж. Особое внимание Слесарев обратил на обтекаемость наружных стоек и тщательное «заклизовывание» всех выступов, что впоследствии стало одним из неперенных требований к конструкциям самолетов. В этом отношении, как отмечали академик С. А. Чаплыгин и профессор В. П. Ветчинкин, Слесарев «далеко опередил свое время».

Василий Адрианович искусно спроектировал для «Святогора» гнутые из фанеры пустотелые трубчатые конструкции, которые до сих пор остаются непревзойденными по оптимальности соотношения их прочности и легкости. Для деревянных деталей аэроплана Слесарев предпочел использовать ель, как материал, дающий наименьший вес при заданной прочности.

Проектом предусматривалось установить на «Святогоре» два мотора «Мерседес», по 300 лошадиных сил, с расположением их для удобства одновременного обслуживания в общем машинном отделении фюзеляжа, близко к центру тяжести самолета (идея такого расположения моторов впоследствии была использована немецкими авиаинженерами при постройке в 1915 году двухмоторного самолета «Сименс—Шуккерт»).

Слесарев, еще работая в своей следневской лаборатории, заметил, что число взмахов крыльев насекомого при полете обратно пропорционально их длине. Проектируя «Святогор», Слесарев воспользовался этими выводами. Он сконструировал огромные пропеллеры диаметром в 5,5 метра, придав их лопастям форму, близкую форме крыльев стрекозы, а скорость вращения пропеллеров не должна была превышать 300 оборотов в минуту.

Проект Слесарева был тщательно изучен технической комиссией особого комитета Воздухоплавательного отдела Главного инженерного управления. Все расчеты конструктора были признаны убедительными, и комитет единогласно рекомендовал приступить к постройке «Святогора».

Начавшаяся первая мировая война, казалось бы, должна была ускорить реализацию проекта Слесарева. Ведь обладание такими аэропланами, как «Святогор», сулило русскому военному воздушному флоту огромные преимущества перед военной авиацией Германии. Петербургский авиационный завод В. А. Лебедева брался построить первый воздушный корабль «Святогор» за три месяца. Это означало, что за короткий срок Россия могла бы

иметь на вооружении целую эскадру грозных воздушных богатырей.

Однако время шло, а проект Слесарева лежал без движения, так как военное министерство (во главе которого стоял генерал В. А. Сухомлинов — один из пайщиков Русско-Балтийского завода, где в то время строились самолеты «Илья Муромец», приносящие акционерам огромные прибыли) уклонилось от ассигнования 100 тысяч рублей на постройку «Святогора».

Только после того, как авиатор М. Э. Малынский (богатый польский помещик), «желая послужить родине в тяжелую годину ее борьбы с австро-немецками», предложил оплатить все расходы по постройке «Святогора», военное ведомство вынуждено было передать заказ заводу Лебедева. Строительство «Святогора» шло крайне медленно, поскольку завод был перегружен другими военными заказами.

«Святогор» был собран только к 22 июня 1915 года. Вес его оказался на полторы тонны больше проектного, так как представители военного ведомства требовали от завода обеспечения 10-кратного (!) запаса прочности всех ответственных узлов «Святогора».

Но главная беда ждала Слесарева впереди. Поскольку разразившаяся война исключала возможность получения из враждебной Германии двух предусмотренных проектом моторов «Мерседес», то чиновники военного ведомства не придумали ничего лучшего, как предложить Слесареву моторы «Майбах» со сбитого немецкого дирижабля «Граф Цеппелин». Из этой затеи ничего не получилось, да и не могло получиться, так как моторы были слишком сильно повреждены.

Лишь после бесплодной возни с моторами «Майбах» военное начальство решило заказать двигатели для «Святогора» французской фирме «Рено». Заказ был выполнен только к началу 1916 года, причем фирма, отступив от условий заказа, поставила два мотора мощностью всего по 220 лошадиных сил и значительно более тяжелые, чем предполагалось.

Испытания «Святогора» начались в марте 1916 года. При первой же 200-метровой пробежке самолета по аэродрому правый мотор вышел из строя. Кроме того, выяснилось, что со времени сборки самолета некоторые его детали обветшали и требуют замены. Для приведения двигателя и самолета в порядок нужно было изыскать дополнительно 10 тысяч рублей. Но специально созданная комиссия признала, что «затрата на достройку этого аппарата даже самой ничтожной казенной суммы является недопустимой».

Слесарев энергично протестовал против такого заключения и при поддержке профессора Боклевского настоял на назна-

чении новой комиссии под председательством самого Н. Е. Жуковского, которая, ознакомившись с самолетом Слесарева, записала в своем протоколе от 11 мая 1916 года: «Комиссия единогласно пришла к выводу, что полет аэроплана Слесарева при полной нагрузке в 6,5 т при скорости 114 км/ч является возможным, а посему окончание постройки аппарата Слесарева является желательным»<sup>6</sup>.

Вслед за тем, на состоявшемся 19 июня 1916 года заседании комиссия Жуковского не только полностью подтвердила свое заключение от 11 мая, но и пришла к выводу, что при установке на «Святогоре» двух предусмотренных конструктором моторов общей мощностью в 600 лошадиных сил самолет сможет при полной нагрузке в 6,5 тонны показывать значительно более высокие летные качества, чем это предусмотрено проектом, а именно: летать со скоростью до 139 километров в час, набирать высоту 500 метров в течение 4,5 минуты и подниматься до «потолка» в 3200 метров<sup>7</sup>.

Поддержка Жуковского позволила Слесареву возобновить подготовку «Святогора» к испытаниям. Однако работы велись в плохо оборудованной кустарной мастерской, так как все заводы были перегружены военными заказами. Это сильно отражалось на качестве изготавливавшихся деталей, что при возобновлении обкатки «Святогора» на аэродроме вызывало мелкие поломки. К тому же следует помнить, что аэродромов в современном понимании этого слова в те времена еще не существовало и обкатка «Святогора» производилась на плохо выровненном поле. В результате этого при одной из пробежек по полю колесо «Святогора» из-за неудачного крутого поворота попало в глубокую дренажную канаву, что привело к повреждению самолета. Противники Слесарева вновь предприняли активные действия. Василий Адрианович все же и на этот раз сумел настоять на необходимости завершения испытаний своего детища. Однако в условиях усилившейся разлуки военного времени дело опять сильно затянулось. К тому же денег военное ведомство не дало, а личные средства Слесарева были уже полностью им исчерпаны<sup>8</sup>. Разразившиеся в феврале 1917 года революционные события

надолго сняли с повестки дня вопрос о судьбе «Святогора».

Молодая Советская Россия, истекая кровью, вела неравный героический бой с голодом, разрухой, контрреволюционерами и интервентами. В обстановке тех дней все попытки Слесарева привлечь интерес к «Святогору» правительственных и общественных организаций были заведомо обречены на неудачу. А когда ему удалось добиться приема у влиятельных людей — его внимательно выслушивали, сочувствовали:

— Погодите, товарищ Слесарев. Придет время... А сейчас, согласитесь с нами, не до «Святогора».

И Слесарев терпеливо ждал.

В январе 1921 года Совет Труда и Обороны по указанию В. И. Ленина создал комиссию для разработки программы развития советской авиации и воздухоплавания. Несмотря на переживаемые страной трудности, связанные с восстановлением разрушенного народного хозяйства, Советское правительство ассигновало на развитие авиационных предприятий 3 миллиона рублей золотом.

В мае 1921 года Слесареву поручили готовить материалы для возобновления постройки «Святогора». Слесарев выехал в Петроград. Его воображению уже рисовались очертания нового воздушного линкора, еще более могучего, грандиозного и более совершенного, чем «Святогор». Однако этим мечтам не суждено было осуществиться: 10 июля 1921 года пуля убийцы оборвала жизнь этого замечательного человека на пороге новых славных дел во имя прекрасного будущего.

<sup>6</sup> Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА), ф. 2008, оп. 1, д. 343, лл. 108—110.

<sup>7</sup> Материалы аэродинамической лаборатории Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина. К протоколу комиссии приложено свыше десятка расчетных таблиц и схем.

<sup>8</sup> Источником этих средств была организованная Слесаревым в Петрограде мастерская, выполнявшая заказы военного ведомства на изготовление стальных стрел для сбрасывания с аэропланов на скопления войск противника (см. материалы ЦГВИА, ф. 802, оп. 1, д. 173, л. 126).





В пустынной местности Хампи, расположенной в штате Карнатака, сохранилось несколько полуразрушенных построек, и среди них одно своеобразное каменное здание — Лотосовый павильон. Он составлял часть дворцового ансамбля Виджайянагара — города Победы — столицы мощного южноиндийского царства с таким же названием, процветавшего в XIV—XVI веках.

Лотосовый павильон — типичный образец дворцовой архитектуры Виджайянагара. Здание как бы стоит на многих опорах, между которыми зияют сквозные арки. По общей форме оно похоже на три небольших двухэтажных павильона, соединенных друг с другом углами. На втором этаже несколько оконных проемов. Все увенчано высокими многоступенчатыми пирамидальными крышами. Арки тоже многоступенчатые: одна входит в другую («перспективная» арка), образуя богатое, изящное обрамление входов. Эта оригинальная красивая деталь еще больше подчеркивает обаятельность стен, пустоту внутри. Чувствуется, что у здания была какая-то нарядная одежда и окружение богатого архитектурного ансамбля. Теперь оно голо и одиноко.

Но когда-то вокруг дворца кипела жизнь. Сейчас трудно было бы и представить себе, что видел этот безмолвный свидетель в дни былой славы Виджайянагара. Как выглядел он сам, пока вихрь событий не обнажил его, разрушив все вокруг, оставив его жалким и каким-то неожиданным среди природы.

Но, к счастью, история донесла до нас голоса людей, лицезревших славу города Победы или знавших от других об этом знаменитом южноиндийском средневековом царстве.

Мы слышим и голос нашего великого землепроходца Афанасия Никитина. Находясь в 1470 году в соседнем индийском царстве Бахманидов, постоянно воевавшем с Виджайянагаром, он и оттуда смог дать верное описание и оценку фактов, чем вообще отличается его знаменитое «Хождение за три моря».

«А индийский же наместник очень силен, рати у него много, а сидит на горе в Виджайянагаре. И город у него весьма велик, около него три рва, да сквозь него течет река, а по одну сторону города злая лесная дебрь, по другую же сторону подошла долина, весьма чудная местностью и пригодная для всего. На ту сторону прийти неоткуда, дорога сквозь город, и город взять неоткуда, подошла великая гора да дебрь злая, заросли колючего кустарника».

Лотосовый павильон.

## С. Тюляев

# ГОРОД ПОБЕДЫ — ВИДЖАЙЯНАГАР

В столице побывал в 1443 году Абд-ар-Раззак — посол от сына Тимура — Шах-руха, правителя Герата.

«Город Биджанагар таков, что зрачок глаза не видывал подобного места и ухо рассудка никогда не познавало, что на свете существует нечто подобное. Он состоит из семи крепостей и стольких же стен, окружающих одна другую. Вокруг внешней стены лежит полоса земли (шириной в 50 ярдов), где размещены камни, величиной в рост человека, наполовину закопанные в землю, тогда как другая половина возвышается над ней. Они укреплены один около другого так, что ни конь, ни пехотинец не могут силой или свободно приблизиться к крепости.

Седьмая крепость на севере и является дворцом царя. Расстояние между двумя противоположными воротами наружной крепости — северными и южными — равно двум парсангам и стольким же — с востока на запад. Пространство, разделяющее первую стену от второй и вплоть до третьей крепости заполнено возделанными полями, домами и садами. Между третьей и седьмой стенами встречаются бесчисленные толпы людей, много лавок и базаров. Около царского дворца четыре базара, расположенные один напротив другого. На севере виден портик дворца райи (царя. — С. Т.). Над каждым базаром возвышается аркада с великолепной галереей, но зал аудиенций царского дворца господствует надо всем остальным. Базары чрезвычайно длинные и широки.

Повсюду продаются розы. Этот народ не может жить без роз, и они считают их столь же необходимыми, как пищу...

Каждый разряд людей, представляющих определенную профессию, имеет лавки, прилегающие одна к другой; ювелиры продают открыто на базарах жемчуг, рубины, изумруды и бриллианты. В этих приятных местах, как и в царском дворце, я видел многочисленные протоки и каналы,



выложенные тесаным камнем, отполированным и гладким».

Венецианский путешественник Николо Контти, посетивший Виджайянагар в 1420 году, так описывает столицу:

«Великий город Виджайянагар расположен возле очень крутых гор. В окрестности он простирается на 60 миль; его стены доходят до гор и охватывают долины, лежащие у их подножия, увеличивая тем самым территорию города... Считают, что в городе имеется 90 тысяч человек, способных носить оружие».

Португальский торговец Д. Паеш дает нам живописную картину городского вида (1520—1522 гг.):

«Размер города я здесь не описываю, потому что его нельзя охватить взглядом ни с какого пункта, но я взобрался на холм, откуда я мог видеть большую его часть; я не мог видеть его весь, потому что он расположен между несколькими цепями холмов. То, что я увидел отсюда, показалось мне величиной с Рим и весьма великолепным с виду. В нем много древесных рощ, сады при домах и много труб для воды, текущей посреди садов; местами есть искусственные озера. Близко около царского дворца растет пальмовая роща и другие деревья, богатые плодами. Ниже мавританского квартала протекает небольшая речка, и там много фруктовых и простых садов, большей частью там манговые деревья и арековые пальмы, апельсиновые и прочие деревья, растущие так тесно друг к другу, что они образуют густой лес; есть там также белый виноград. Вся вода в город поступает из двух водоемов, о которых я говорил, находящихся за первой окружающей стеной...

Народ города бесчислен настолько, что я не хочу об этом писать, чтобы это не прослыло сказочным, но я заявляю, что никакой военной отряд, конный или пеший, не может проложить себе дорогу ни через какую улицу или переулочек, так велико число людей и слонов».

Паеш проник и внутрь дворца, дал хотя и мимолетное, но интересное описание архитектуры храмов:

«Вы должны понять, что это круглый храм, сооруженный целиком из скалы; отделка всех ворот напоминает по тонкости столярную работу. В этом сооружении много фигур, выступающих на локоть из каменной поверхности (протомы. — С. Т.), так, что их видно со всех сторон. Они вырезаны так хорошо, как нельзя лучше, лица так же хорошо исполнены, как и все остальное, и место, где находится каждая фигура, как бы осенено листвою... Кроме того, у этого храма есть меньший портик на столбах, которые все из камня и вместе со своими пьедесталами так хорошо исполнены, что кажется, что они созданы в Италии. Все поперечные части и балки сде-

ланы из того же камня, безо всякого применения деревянных досок или бревен, и вся почва выложена тем же самым камнем».

Во дворце, по его словам, на столбах «были розы и цветы лотоса, все из слоновой кости и все так хорошо исполнены, как нельзя лучше. Это так богато и прекрасно, что вы не найдете других подобных примеров. На этой же стороне нарисован образ жизни всех людей, которые побывали здесь, включая даже слепцов и нищих».

Интересно рассказал Абд-ар-Раззак о царском приеме:

«Однажды посланцы, направленные из царского дворца, пришли навестить меня, и к концу того же дня я представился при дворе... Раджа сидел в зале, окруженный самыми внушительными регалиями царства. Справа и слева от него предстала многочисленная толпа людей, расположенных кольцом. Царь был облачен в одежду зеленого сатина, и вокруг шеи он носил воротник из жемчуга превосходной воды и из других великолепных драгоценностей. Цвет его лица был оливковый, его сложение было тонкое, и он был довольно высок; на его щеках можно было заметить легкий пушок, но у него не было бороды. Выражение его лица было чрезвычайно приятно... Если сообщения верны, число его принцесс и наложниц восходит до семисот».

О торжественных шествиях ко дворцу пишет персидский хронист начала XVII века Феришта в своей «Истории Декана».

«От ворот города до дворца, расстояние между которыми равно шести милям, дорога была устлана тканями из золотой нити, бархатом, сатином и другими дорогими материями. Два принца ехали верхом бок о бок между рядами красивых мальчиков и девочек, которые, приближаясь, колыхали над своими головами золотыми блюдами и серебряными цветами и затем бросали их, чтобы их подбирал народ. После этого жители города — мужчины и женщины делали приношения согласно своим рангам. Пройдя через сад, находящийся в центре города, родственники Дэва Райи, обрамлявшие толпами улицы, выражали свое повиновение, приносили дары и пешими присоединялись к кавалькаде, выступая впереди принцев. По прибытии к дворцовым воротам, султан и райя спешивались со своих коней и всходили на великолепные паланкины, унизанные драгоценными камнями, в которых их несли обоих вместе к апартаментам, приготовленным для приема жениха и невесты, где Дэва Райя прощался и удалялся на покой в свой собственный дворец».

Со сказочным великолепием происходило на глазах у Паеша празднование Деят Ночей в честь верховного божества Шивы, начавшееся с традиционного шествия танцовщиц.

«Кто может точно описать великие богатства, которые эти женщины носили на себе? Воротники из золота с таким большим количеством бриллиантов, рубинов и жемчуга, браслеты на их руках, пояса и ножные браслеты... Все завершалось процессией почетной личной женской свиты — принцесс в высоких головных уборах, несущих светильники в золотых сосудах. Они были так нагружены драгоценностями, что едва могли ходить».

Под конец празднества было показано еще более поразившее португальца зрелище:

«Всюду были расставлены воины, обрамлявшие улицы, плоские крыши домов и склоны окружающих холмов, так что не было видно ни равнины, ни холма, которые не были бы покрыты войсками».

Царь покидает свой дворец, едучи верхом, о чем я уже вам говорил, одетый во многие богатые белые одежды, мной уже упоминавшиеся, с двумя зонтами государства, сплошь вызолоченными и покрытыми малиновым бархатом, с драгоценными камнями и орнаментом.

Возможно, я не смогу описать величие знати и людей высокого чина, и мне не поверят, если бы я попытался сделать это. Затем стоило взглянуть и на их лошадей и оружие, ими носимое; вы бы увидели, что они покрыты металлическими пластинками, и я не нахожу слов выразить, что я видел. Попытаться сделать это и описать все, что я видел, безнадежно, потому что я двигался вперед, так часто повертываясь из стороны в сторону головой, что почти падал назад на свою лошадь совсем без чувств!»

«...Перед царем шло много слонов, покрытых узорчатыми попонами, — продолжает португальский negociant, — перед ним также вели около двадцати лошадей в полной сбруе, с седлами, вышитыми золотом, и с драгоценными камнями, что наглядно показывало величие и положение повелителя. Около царя везли клетку, какие бывают в Лиссабоне в день празднования Корпо де Диос, она была золоченой и очень большой; мне кажется, она была сделана из меди и серебра. Ее несли шестнадцать человек, по восемь с каждой стороны; кроме того, были и другие люди,

делавшие это, в свою очередь, и в ней несли идола, о котором я уже говорил».

В таком сопровождении царь проезжал, глядя на своих воинов, которые громко восклицали, ударяя в свои щиты. Кони ржали, слоны ревели, так что казалось, что весь город перевернется, холмы и долины и вся почва дрожали от залпов пушек и мушкетов. Было действительно чудесно видеть бомбы и фейерверк над равнинами. Поистине казалось, что весь мир собрался здесь».

Царство Виджайянагар — золотой колосс, стоявший на глиняных ногах. В чем была его слабость, видно из слов другого португальского торговца — Ф. Нуниша, посетившего царство между 1535 и 1537 годами, когда там правил Ачюта:

«Простому народу было очень трудно, те, кто владел землями, были такими тиранами!» То же пишет Афанасий Никитин про соседнее царство Бахманидов, где гнет феодальной знати был таким же сильным.

«А земля людна вельми, а сельские люди голы вельми, а бояре сильны добре и пышны вельми».

В тот страшный день 1565 года, когда при Таликоте союзные войска неприятеля — деканских султанов — начали сражение, армия царя Виджайянагара насчитывала 700 тысяч человек пехоты, 32 600 всадников и 651 боевой слон и намного превышала вражескую.

Но в битве военачальник индусского войска был свергнут со своего слона. Его армия, состоявшая из массы простого народа, ставшего воинами по необходимости, не имела причин защищать своего владыку. Она перестала сопротивляться и бежала.

Неприятель одержал победу. Виджайянагар был взят и начисто ограблен и разрушен. Несколько месяцев завоеватели срывали золотое одеяние великого города.

Феришта пишет: «Военная добыча была так велика, что каждый рядовой воин приобрел себе золото, драгоценности, платки, оружие, лошадей и рабов».

«Тысяча лет — город, тысяча лет — лес», — говорят индусы. Около вечнозеленого дерева одиноко возвышается Лотосовый павильон, лишенный нарядов каменный остов — символ истории Виджайянагара.



**Прометей.** (Ист.-биограф. альманах серии «Жизнь замечательных людей».) Т. 11. Сост. А. Ефимов. М., «Молодая гвардия», 1977.

368 с. с ил.

В очередном, одиннадцатом томе историко-биографического альманаха «Прометей» помещены статьи о Нельсоне, А. Курбском, Н. Ф. Федорове, воспоминания об А. Блоке, У. Фолкнере, письма М. С. Олминского, В. Комарова и другие материалы.

п 70302—012 326—74  
078(02)—77

001

**ПРОМЕТЕЙ. Т. 11.**

Редактор **А. Ефимов**

Макет и оформление **Р. Тагировой**

Художественный редактор **А. Степанова**

Технический редактор **Е. Брауде**

Сдано в набор 27/X 1975 г. Подписано к печати 21/XII 1976 г.  
А1513. Формат 70×100<sup>1/16</sup>. Бумага № 1. Печ. л. 23 (усл. 29,9).  
Уч.-изд. л. 41,2. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 69 к. Т. П.  
1974 г., № 326. Заказ 2022.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типогра-  
фии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.











PLACEMENT

==